



ЭРИК ХОБСБАУМ „Эпоха крайностей“

ЭРИК
ХОБСБАУМ

ЭПОХА
КРАЙНОСТЕЙ

КОРОТКИЙ
ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК

1914
1991



КОРОТКИЙ ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

1914
1991

ИЗДАТЕЛЬСТВО НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
НЕЗАВИСИМАЯ
ГАЗЕТА

ИСТОРИЯ ВЕЛИКИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ERIC HOBBSBAM

AGE OF EXTREMES

The Short Twentieth Century

1914–1991

ЭРИК ХОБСБАУМ

ЭПОХА КРАЙНОСТЕЙ

Короткий двадцатый век

1914–1991



ИЗДАТЕЛЬСТВО
НЕЗАВИСИМАЯ
ГАЗЕТА

УДК 94
ББК 63.3(0)
Х68

Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Project» при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) — Россия и Института «Открытое общество» — Будапешт.

Eric Hobsbawm
Age of Extremes
The short twentieth century
1914—1991
Copyright © Eric Hobsbawm 1994

Перевод с английского
Нарышкиной Е. М. («Предисловие», «Двадцатый век: взгляд с птичьего полета», гл. I—XIII),
Никольской А. В. (гл. XIV—XIX, подписи к иллюстрациям)

Научный редактор Захаров А. А.

Художник Черногаев Д. Д.

Хобсбаум Эрик

Х68 Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914—1991).— М.: Издательство Независимая Газета, 2004.— 632 с., ил.— (Серия «История великих цивилизаций»).

ISBN 5-86712-162-3

Известный историк Эрик Хобсбаум посвятил эту книгу «короткому двадцатому веку» — периоду между 1914 и 1991 годами, когда в мировой истории произошли грандиозные события, навсегда изменившие жизнь человеческого сообщества, — от Первой мировой войны и русской революции до распада СССР.

УДК 94
ББК 63.3(0)

ISBN 5-86712-162-3

© Издательство Независимая Газета, 2004
© Нарышкина Е. М., перевод на русский язык, 2004
© Никольская А. В., перевод на русский язык, 2004

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
Двадцатый век: взгляд с птичьего полета	11
<i>Часть первая. «Эпоха катастроф»</i>	
Глава первая. Эпоха тотальной войны	31
Глава вторая. Мировая революция	66
Глава третья. Погружение в экономическую пропасть	97
Глава четвертая. Отступление либерализма	122
Глава пятая. Против общего врага	157
Глава шестая. Искусство 1914—1945 годов	195
Глава седьмая. Конец империй	217
<i>Часть вторая. «Золотая эпоха»</i>	
Глава восьмая. «Холодная война»	245
Глава девятая. Золотые годы	278
Глава десятая. Социальная революция 1945—1990 годов	310
Глава одиннадцатая. Культурная революция	343
Глава двенадцатая. Третий мир	368
Глава тринадцатая. «Реальный социализм»	397
<i>Часть третья. Времена упадка</i>	
Глава четырнадцатая. «Десятилетия кризиса»	429
Глава пятнадцатая. Третий мир и революция	460
Глава шестнадцатая. Крах социализма	489
Глава семнадцатая. Конец авангарда — искусство после 1950 года	527
Глава восемнадцатая. Маги и их ученики: естественные науки во второй половине двадцатого века	549
Глава девятнадцатая. На пути к третьему тысячелетию	586
Библиография	615

Предисловие

Историю двадцатого века нельзя писать так же, как историю какой-либо другой эпохи, хотя бы только потому, что невозможно говорить о том времени, в котором живешь, как о периоде, знакомом лишь со стороны, из вторых рук, по результатам позднейших исторических исследований. Моя собственная жизнь по времени совпала с большей частью эпохи, о которой говорится в этой книге, и почти всю ее, начиная с подросткового возраста и по сей день, я интересовался жизнью общества, т. е. впитывал в себя все взгляды и предрассудки эпохи как современник, а не как ученый. Это является одной из причин, почему, будучи историком, большую часть своей жизни я избегал работать над периодом времени после 1914 года, хотя в некоторых работах и писал о нем. Моя специализация — девятнадцатый век. Тем не менее я считаю, что сейчас уже возможно взглянуть на «короткий двадцатый век», длившийся с 1914 года до конца советской эпохи, в определенной исторической перспективе, однако перехожу к этому вопросу без знания научной литературы, за исключением лишь небольшого числа архивных источников, собранных историками двадцатого века, коих наблюдается огромное количество.

Вне всякого сомнения, одному историку невозможно знать всю историографию двадцатого века, даже историографию на каком-либо одном из основных языков, в отличие от специалиста по классической античности или истории Византийской империи, который знает не только всю литературу, написанную в эти периоды, но также и более позднюю литературу о них. Мои познания в этой области в сравнении с нормами исторической эрудиции неглубоки и разрозненны. Самое большее, что я был в состоянии сделать, — это бегло просмотреть литературу по наиболее сложным и спорным вопросам, например по истории «холодной войны» или по истории 1930-х годов, чтобы убедиться, что взгляды, выраженные в этой книге, не противоречат логике исследований. Хотя, вероятно, имеется ряд спорных точек зрения, а также вопросов, в которых я показал свое невежество.

Эта книга опирается на очень неоднородный фундамент. Помимо обширного, но не систематизированного чтения в течение довольно продолжительного периода, дополненного тем, что, как правило, становится неизбежным результатом всякого чтения — а именно курсами лекций по истории двадцатого века для выпускников Новой школы социальных исследований, я опирался на собственный опыт, а также на воспоминания и суждения людей, живших в период «короткого двадцатого века», — тех, кого социальные антропологи называют «участвующий наблюдатель». Историческое значение такого опыта не зависит от участия в важных событиях или знакомства со знаменитыми историческими или политическими фигурами. В сущности, мой случайный опыт журналиста во время исследования той или иной страны, главным образом в Латинской Америке, сложился из интервью с президентами и государственными деятелями. Эти интервью в большинстве своем значили немного, поскольку, как правило, они произносятся на публику. Люди, могущие пролить свет на те или иные проблемы, — те, кто хочет и может говорить свободно, обычно не несут бремени ответственности за важные события. Тем не менее, даже отрывочные, а иногда и неточные, эти сведения о людях и странах помогли мне необычайно. Иногда это было всего лишь впечатление от одного и того же города с интервалом в тридцать лет (например, от Валенсии или Палермо), которое может много рассказать о темпах и масштабах социальных изменений в третьей четверти двадцатого века. Это могло быть просто воспоминание о чем-то, некогда услышанном в разговоре и по неясным причинам отложившемся в памяти. Понять двадцатый век историк во многом может помочь чуткое ухо и пристальный взгляд. Надеюсь, мне удалось донести до читателей кое-что из того, что я узнал, благодаря именно этим качествам.

Кроме того, настоящая книга опирается на информацию, почерпнутую у коллег, студентов и всех тех, кого я утруждал во время работы над ней. В некоторых случаях это происходило систематически. Глава, посвященная науке, была дана мною на рассмотрение моему другу Алану Макаю, члену Королевского общества, являющемуся не только специалистом в области кристаллографии, но и энциклопедистом, и моему другу Джону Мэддоксу. Кое-что из того, что я писал об экономическом развитии, было взято из лекций моего коллеги по Новой школе, Лэнса Тейлора. Но гораздо больше было почерпнуто из газет, дискуссий, конференций по различным макроэкономическим проблемам во Всемирном институте развития экономических исследований университета ООН в Хельсинки, когда он был преобразован в главный международный центр исследований и дискуссий под руководством доктора Лаллы Джейавардена. В целом те летние месяцы, которые я смог провести в этом удивительном учреждении в качестве приглашенного специалиста у Макдоннелла Дугласа, оказались бесценны, не в последнюю очередь благодаря его ин-

тересу к СССР, с жизнью в котором он близко познакомился в последние годы его существования. Я многое почерпнул из конференций и коллоквиумов, где академики встречаются со своими коллегами главным образом для того, чтобы обогатиться чужими мыслями. У меня нет возможности выразить свою признательность всем коллегам, которые официально и неофициально помогли мне дополнениями и замечаниями, а также благодарность за информацию, полученную от интернациональной группы студентов, которых я имел счастье обучать в Новой школе. Должен особо отметить, что сведения о турецкой революции, а также о природе миграции в страны третьего мира и социальной мобильности почерпнуты мною из курсовых работ Фердана Эргута и Алекса Джалка. Я признателен также моей ученице Маргарите Гисеске за сведения, почерпнутые из ее докторской диссертации.

По мере того как историк двадцатого века приближается к сегодняшнему времени, он становится все более зависимым от источников двух типов: периодической прессы и экономических и иных обзоров, статистических отчетов и других публикаций национальных правительств и международных учреждений. Безусловно, я многим обязан таким газетам, как лондонские «*Guardian*» и «*Financial Times*», а также «*New York Times*». Моя признательность за бесценные публикации ООН, ее различным агентствам и Всемирному банку отражена в библиографии. Не забыта и их предшественница, Лига Наций. Несмотря на почти полное поражение, которое она понесла в своей практической деятельности, ее замечательные экономические исследования и анализы, суммированные в новаторской работе 1945 года «Индустриализация и мировая торговля», заслуживают благодарность потомков. Ни одна история экономических, социальных и культурных преобразований, произошедших в двадцатом веке, не может быть написана без этих источников.

Большую часть того, что содержится в этой работе, за исключением личных суждений автора, читатели должны будут принять на веру. Нет смысла перегружать подобную книгу обширным аппаратом ссылок и других свидетельств эрудиции. Я старался ограничиться в своих ссылках цитатами из первоисточников, статистикой и другими количественными данными (в разных источниках иногда приводятся отличные друг от друга цифры), иногда для подтверждения высказываний, могущих показаться неожиданными и непонятными для читателя, или в случаях, когда нетрадиционный взгляд автора требует определенных обоснований. Эти ссылки в тексте заключены в скобки. Полное название источника можно найти в конце книги. Библиография является лишь полным списком всех источников, цитируемых в книге и тех, на которые дается ссылка в тексте. Это отнюдь не систематический путеводитель для дальнейшего чтения.

Тем не менее необходимо указать некоторые работы, на которые я опирался довольно часто, и те, которые помогли мне в наибольшей степени. Я не хо-

чу, чтобы их авторы почувствовали себя недооцененными. В основном я обязан работам двух своих друзей — историка экономики и неутомимого собирателя статистических данных П. Байроха и И. Беренда, бывшего президента Венгерской Академии наук, которому я обязан концепцией «короткого двадцатого века». В области политической истории мира со времен Второй мировой войны моим надежным и критическим (чему не приходится удивляться) гидом являлся П. Калвокоресси. В работе над периодом Второй мировой войны я многое почерпнул из великолепной книги Алана Милворда «Война, экономика и общество 1939—1945», а в описании послевоенной экономики мне во многом помогли работы «Процветание и упадок: мировая экономика 1945—1980 годов» Ван дер Вее, а также «Капитализм после 1945 года» Филипа Армстронга, Эндрю Глина и Джона Харрисона. «Холодная война» Мартина Уокера заслуживает гораздо более высокой оценки, чем та, которую дало ей большинство равнодушных критиков. Моей работе по истории послевоенных левых движений очень помог доктор Дональд Сассун, работающий в колледже Королевы Марии и Вестфилдском колледже Лондонского университета, любезно разрешивший мне прочитать его незаконченное обширное и глубокое исследование по этому предмету. В написании раздела об СССР я особенно обязан работам Моше Левина, Алека Ноу, Р. В. Дэвиса и Шейлы Фицпатрик; о Китае — работам Бенджамина Шварца и Стюарта Шрама, об исламском мире — Ире Лapidус и Никки Кедди. Мои взгляды на искусство во многом обогатили Френсис Гаскелл и работы Джона Виллетта по веймарской культуре (а также беседы с ним). Работая над шестой главой, я многое почерпнул из книги «Дягилев» Линна Гарафола.

Приношу свою особую благодарность всем тем, кто помог мне в подготовке этой книги. Во-первых, это мои сотрудники Джоанна Бедфорд в Лондоне и Лиз Гранде в Нью-Йорке. Особая благодарность талантливой госпоже Гранде, без которой я не смог бы, вероятно, заполнить огромные пробелы в своих знаниях и проверить полузабытые факты и ссылки. Многим я обязан Рут Сайерс, печатавшей мои наброски, и Марлен Хобсбаум, читавшей эти главы не с точки зрения профессионала, а как обычный читатель, интересующийся современным миром, которому и адресована эта книга.

Я уже говорил о своей благодарности студентам Новой школы, посещавшим мои лекции, в которых я старался сформулировать свои идеи и толкования. Им и посвящается эта книга.

Эрик Хобсбаум
Лондон—Нью-Йорк, 1993—1994

Двадцатый век: взгляд с птичьего полета

Двенадцать мнений о двадцатом веке

Исайя Берлин (философ, Великобритания): *«Должен сказать, что лично я большую часть двадцатого века прожил, не испытав серьезных лишений. Все же я считаю его самым ужасным столетием в западной истории».*

Хулио Каро Бароха (антрополог, Испания): *«Существует явное противоречие между жизненным опытом одного человека — детством, юностью и старостью, которые прошли спокойно и без особых приключений, и событиями двадцатого века (...) страшными событиями, которые пережило человечество».*

Примо Леви (писатель, Италия): *«Мы, прошедшие лагеря смерти, не можем быть беспристрастными свидетелями. К этой неутешительной точке зрения я постепенно пришел, перечитав то, что пишут люди, выжившие в лагерях, включая меня самого. Мы являемся не только очень небольшой, но и аномальной группой людей, которым благодаря везению, ловкости или лжи никогда не пришлось достигнуть самого дна. Те, кому не повезло и кто увидел лицо Горгоны, не вернулись обратно или молчат».*

Рене Дюмон (агроном, эколог, Франция): *«Мне он видится только как век массового уничтожения и войн».*

Рита Леви Монтальчини (лауреат Нобелевской премии, ученый, Италия): *«Несмотря ни на что, в этом веке произошли революционные изменения к лучшему (...) например, расцвет прессы и возрастание роли женщины после многовекового угнетения».*

Уильям Голдинг (лауреат Нобелевской премии, писатель, Великобритания): *«Не могу отделаться от мысли, что это был самый жестокий век в истории человечества».*

ЭРНСТ ГОМБРИХ (историк искусств, Великобритания): *«Главная отличительная черта двадцатого века — необычайный рост населения земного шара. Это бедствие, катастрофа. Мы не знаем, что с этим делать».*

ИЕГУДИ МЕНУХИН (музыкант, Великобритания): *«Если бы мне пришлось подводить итог двадцатого века, я бы сказал, что он породил величайшие мечты, когда-либо посещавшие человечество, и разрушил все иллюзии и идеалы».*

СЕВЕРО ОЧОА (лауреат Нобелевской премии, ученый, Испания): *«Наиболее фундаментальным достижением является развитие науки, действительно ставшее беспрецедентным (...) Это и есть главная характерная черта нашего столетия».*

РЕЙМОНД ФЁРТ (антрополог, Великобритания): *«С точки зрения технологий я бы выделил среди наиболее важных достижений двадцатого века развитие электроники, а с точки зрения идей — переход от относительно рационального и научного видения вещей к нерациональному и менее научному».*

ЛЕО ВАЛИАНИ (историк, Италия): *«Наш век продемонстрировал, как эфемерны идеалы справедливости и равенства, однако также и то, что если нам удастся сберечь свободу, то всегда можно все начать сначала (...) Не стоит впадать в отчаяние даже в самых безысходных ситуациях».*

ФРАНКО ВЕНТУРИ (историк, Италия): *«Историки не могут ответить на этот вопрос. Для меня двадцатый век — это только вечно повторяющаяся попытка понять это».*

(Agosti and Borgese, 1992, p. 42, 210, 154, 76, 4, 8, 204, 2, 62, 80, 140, 160)

I

28 июня 1992 года президент Франции Миттеран совершил внезапную незапланированную поездку в Сараево, в то время находившееся в эпицентре балканской войны, которой суждено было унести к концу этого года многие тысячи человеческих жизней. Цель его визита заключалась в том, чтобы напомнить мировой общественности о серьезности боснийского кризиса. Естественно, присутствие известного, немолодого и явно болезненного государственного деятеля под огнем артиллерии и стрелкового оружия вызвало много высказываний и выражений восхищения. Однако один аспект этого поступка Миттерана фактически не вызвал никаких комментариев, хотя он безусловно яв-

лялся очень важным: его дата. Почему президент Франции выбрал для своего визита именно этот день? Потому что 28 июня было годовщиной убийства в 1914 году в Сараеве эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда, через считанные недели приведшего к началу Первой мировой войны. Каждому образованному европейцу, ровеснику Миттерана, была очевидна связь между датой и местом — намек на историческую катастрофу, ускоренную политическим просчетом. Можно ли было лучше подчеркнуть потенциальный подтекст боснийского кризиса? Однако почти никто не придал значения этой аллюзии, за исключением нескольких профессиональных историков и старожилов. Историческая память коротка.

Разрушение прошлого или, скорее, социальных механизмов, связывающих современный опыт с опытом предыдущих поколений, — одно из самых типичных и тягостных явлений конца двадцатого века. Большинство молодых мужчин и женщин в конце этого века выросли в среде, в которой отсутствовала связь с историческим прошлым. Это делает профессию историка, обязывающую помнить то, что забывают другие, более необходимой в конце второго тысячелетия, чем когда-либо раньше. Однако именно по этой причине историки должны быть больше, чем простыми летописцами, хроникерами и составителями, хотя это также является их необходимой обязанностью. В 1989 году всем правительствам земного шара, и в особенности всем министерствам иностранных дел, очень помогла бы конференция на тему мирного урегулирования после двух мировых войн, о котором большинство из них явно забыло.

Однако цель этой книги — не рассказ об истории «короткого двадцатого века» (периода с 1914 года по 1991 год). Я хочу понять и объяснить, почему история повернула именно в том, а не в другом направлении, и проследить связь между событиями. Для каждого моего ровесника, пережившего весь «короткий двадцатый век» или большую его часть, это интересно и с автобиографической точки зрения. Ведь мы ведем речь в расширенном (и уточненном) виде о собственном опыте и собственных воспоминаниях. Мы говорим, как люди, которые, каждый по-своему, в определенном месте и в определенное время были вовлечены в его историю, как актеры в пьесе (какой бы незначительной ни была наша роль) и как очевидцы. Наши взгляды на это столетие сформировались под влиянием его ключевых событий. Мы — часть этого столетия. Оно — часть нас. Об этом не следует забывать читателям, принадлежащим к другой эпохе, например студентам, поступающим в университеты, для которых даже вьетнамская война является доисторическим событием.

Для историков моего поколения прошлое составляет неотъемлемую часть не только потому, что мы принадлежим к той генерации, когда улицы и общественные места все еще называли в честь общественных деятелей и событий (станция Вильсона в довоенной Праге, станция метро «Сталинград» в Пари-

же), когда мирные договоры все еще подписывались, вследствие чего имели названия (Версальский договор), и военные мемориалы напоминали о вчерашнем дне, но и потому, что общественные события вкраплены в структуру нашей жизни. Они являются не только опознавательными знаками нашей личной истории, но и тем, что формирует общественную и частную жизнь. Для автора этих строк 30 января 1933 года — не просто дата назначения Гитлера рейхсканцлером Германии. Это зимний полдень в Берлине, когда пятнадцатилетний подросток и его младшая сестра возвращались домой из школы и где-то по дороге увидели газетный заголовок, сообщавший об этом событии. Его буквы до сих пор стоят у меня перед глазами.

Однако прошлое является частью настоящего не только для престарелых историков. На огромных пространствах земного шара каждый, достигший определенного возраста, независимо от своего образования и жизненного пути, прошел через одни и те же главные испытания. Все они коснулись нас в той или иной степени. Мир, начавший трещать по всем швам в конце 1980-х годов, сформировался под влиянием революции 1917 года в России. На всех нас лежит ее отпечаток, поскольку мы привыкли думать о современной промышленной экономике в терминах бинарной оппозиции «капитализм» и «социализм» — как об альтернативах, исключаящих одна другую. Термин «социалистическая» отождествляется с экономикой, организованной по образцу СССР, «капиталистическая» — со всей остальной экономикой. Сейчас становится ясно, что это разделение являлось произвольным и до некоторой степени искусственным и понять его можно только в определенном историческом контексте. Однако даже когда я пишу эти строки, не так просто представить себе, хотя бы ретроспективно, другие принципы классификации, более реалистичные, чем те, благодаря которым США, Япония, Швеция, Бразилия, Федеративная Республика Германия и Южная Корея были занесены в одну категорию, а государственные экономики и системы советского региона, разрушившиеся после 1980-х годов, — в тот же разряд, что и экономики Восточной и Юго-Западной Азии, которые явно не были подорваны.

В мире, пережившем конец советской эпохи, привычки и представления тем не менее сформировались под влиянием тех, кто победил во Второй мировой войне. Те же, кто оказался побежденным или связан с ними, не только принуждены были молчать, но и фактически оказались вычеркнуты из истории и интеллектуальной жизни, оставшись лишь в роли врага в мировом нравственном сражении добра против зла (именно это может произойти с теми, кто потерпел поражение в «холодной войне», хотя, скорее всего, не в таких масштабах и не на такое длительное время). Таково одно из последствий эпохи религиозных войн, главной чертой которых является нетерпимость. Даже те, кто подчеркивал плюрализм своих идеологий, не считали мир достаточно вместительным для долговременного сосуществования с соперни-

чающими светскими религиями. Религиозные и идеологические конфронтации, характерные для двадцатого столетия, выстроили баррикады на пути историка, главная задача которого состоит не в том, чтобы судить, а в том, чтобы понять даже то, что трудно постичь умом. Однако на пути этого понимания стоят не только наши страстные убеждения, но и исторический опыт, который их сформировал. Первые легче преодолеть, поскольку известное французское выражение «*tout comprendre c'est tout pardonner*» («понять — значит простить») верно далеко не всегда. Понять эпоху нацизма в истории Германии и соотнести ее с историческим контекстом не означает забыть о геноциде. Во всяком случае, тот, кто жил в этот необычный век, вряд ли сможет воздержаться от его оценки. Однако гораздо труднее его понять.

II

Как нам постичь смысл «короткого двадцатого века», т. е. периода с начала Первой мировой войны до развала Советского Союза, который, как мы можем видеть в ретроспективе, образует единую историческую эпоху, теперь подошедшую к концу? Мы не знаем, что придет вслед за ним и каким станет третье тысячелетие, хотя можем определенно сказать, что оно будет формироваться под влиянием двадцатого века. Однако нет серьезных сомнений в том, что в конце 1980-х и начале 1990-х годов закончилась одна эпоха в мировой истории и началась другая. Это очень важно для современных историков, поскольку, хотя они могут строить предположения о будущем в свете своего понимания прошлого, их занятие совсем не похоже на работу букмекеров на скачках. Единственные скачки, на анализ которых они могут претендовать, уже выиграны или проиграны. Во всяком случае, достижения предсказателей за последние тридцать или сорок лет независимо от их профессиональной квалификации были столь ничтожны, что лишь правительства и институты экономических исследований все еще верят им или говорят, что верят. Возможно, со времен Второй мировой войны эти достижения стали еще меньше.

В этой книге «короткий двадцатый век» по своей структуре напоминает триптих или исторический «сэндвич». За «эпохой катастроф», длившейся с 1914 года до окончания Второй мировой войны, последовал тридцатилетний период беспрецедентного экономического роста и социальных преобразований, который, возможно, изменил человеческое общество более кардинально, чем любой другой сравнимый по протяженности период. В ретроспективе его можно рассматривать как некую разновидность золотого века. Именно таким он и казался сразу же после своего окончания в начале 1970-х годов. В последние десятилетия двадцатого столетия началась новая эпоха распада, неуверенности и кризисов, а для обширных частей земного шара, таких как

Африка, бывший СССР и бывшие социалистические страны Европы,— эпоха катастроф. После того как на смену 1980-м годам пришли 1990-е, настроения тех, кто раздумывал о прошлом и будущем двадцатого столетия, можно было охарактеризовать как упаднические. В 1990-е годы стало казаться, что «короткий двадцатый век» двигался через недолгий период «золотой эпохи» по дороге от одного кризиса к другому в неизвестное и сомнительное, хотя и не обязательно апокалиптическое будущее. Что же до метафизических рассуждений о «конце истории», историки могут предсказать точно — будущее наступит. Единственным совершенно точным общим правилом в истории является то, что, пока существует человечество, она будет продолжаться.

Соответствующим образом построено и содержание этой книги. Она начинается с Первой мировой войны, ознаменовавшей крушение западной цивилизации девятнадцатого века. Экономика этой цивилизации была капиталистической, конституционные и правовые структуры — либеральными, облик ее основного класса — буржуазным, успехи в науке, образовании, материальном и нравственном прогрессе — выдающимися. Она являлась европоцентрической, поскольку именно Европа была колыбелью революций в науке, искусстве, политике и промышленности, ее экономика проникла в большинство стран земного шара, а солдаты завоевали и поработили их; ее население (включая широкий и все увеличивающийся поток европейских эмигрантов и их потомков) росло, достигнув наконец трети человечества, а ее главные государства образовали мировую политическую систему*.

Период с начала Первой мировой войны до окончания Второй мировой войны стал для этого общества «эпохой катастроф». На протяжении сорока лет оно переживало одно бедствие за другим. Бывали времена, когда даже трезвые консерваторы не надеялись на его выживание. Оно было расшатано двумя мировыми войнами, за каждой из которых следовали волны мировых восстаний и революций, приведшие к власти систему, претендовавшую на то, чтобы стать исторически неизбежной альтернативой буржуазному и капиталистическому обществу. Сначала эта система воцарилась на одной шестой части земного шара, а после Второй мировой войны охватила треть мирового населения. Огромные колониальные владения, созданные до «эпохи империи» и во время нее, расшатались и рассыпались в пыль. Вся история современного империализма, столь прочного и уверенного в себе в день смерти королевы Великобритании Виктории, длилась не больше человеческой жизни, например жизни Уинстона Черчилля (1874—1965).

* Я постарался описать и объяснить развитие этой цивилизации в трехтомной истории «долого девятнадцатого века» (с 1780-х годов по 1914 год), где попытался проанализировать причины, приведшие к ее упадку. В этой книге время от времени, по мере необходимости, я буду обращаться к этим работам: «Эпоха революции, 1789—1848», «Эпоха капитала, 1848—1875» и «Эпоха империи, 1875—1914».

Более того, беспрецедентный мировой экономический кризис поставил на колени даже самые развитые капиталистические экономики и, казалось, разрушил созданную единую универсальную мировую экономику — выдающееся достижение либерального капитализма девятнадцатого века. Даже США, которых обошли стороной войны и революции, казалось, были близки к краху. Во время упадка экономики фактически исчезли институты либеральной демократии, что происходило с 1917 по 1942 год почти повсеместно, кроме окраин Европы и некоторых частей Северной Америки и Тихоокеанского бассейна, по мере наступления фашизма и его сателлитных авторитарных движений и режимов.

Демократию спас только временный и странный союз между либеральным капитализмом и коммунизмом для защиты от претендовавшего на мировое господство фашизма, поскольку победа над гитлеровской Германией была, несомненно, одержана Красной армией, которая только и могла это сделать. Во многих отношениях время возникновения союза капитализма и коммунизма против фашизма (в основном 1930-е и 1940-е годы) является доминантой истории двадцатого века и ее ключевым моментом. Это было время исторического парадокса в отношениях капитализма и коммунизма, находившихся в течение большей части двадцатого века (за исключением краткого периода антифашизма) в состоянии непримиримого антагонизма. Победа Советского Союза над Гитлером стала победой режима, установленного Октябрьской революцией, что продемонстрировало сравнение экономики царской России во время Первой мировой войны и советской экономики во время Второй мировой войны (*Gatrell/Harrison, 1993*). Без этой победы западный мир сегодня, возможно, состоял бы (за пределами США) из различных вариаций на авторитарные и фашистские темы, а не из набора либерально-парламентских государств. Один из парадоксов этого странного века заключается в том, что главным долгосрочным результатом Октябрьской революции, цель которой состояла в мировом свержении капитализма, стало его спасение как в военное, так и в мирное время, т. е. сообщение ему стимула — страха, способствовавшего его самореформированию после Второй мировой войны, а также обогащение капиталистической экономики методиками экономического планирования, содействовавшими ее преобразованию.

Однако с большим трудом пережив тройное испытание депрессией, фашизмом и войной, либеральный капитализм очутился перед лицом мирового наступления революции, которая теперь могла объединиться вокруг СССР, в результате Второй мировой войны ставшего сверхдержавой.

И все-таки, как мы теперь можем видеть в ретроспективе, причина успеха мирового наступления социализма на капитализм заключалась в слабости последнего. Если бы не произошло крушения буржуазного общества девятнадцатого века во время «эпохи катастроф», то не произошла бы Октябрьская

революция и не возник бы СССР. Экономическая система (названная социалистической), состряпанная наскоро на руинах аграрной евразийской громады бывшей Российской империи, нигде в мире не рассматривалась в качестве реальной глобальной альтернативы капиталистической экономике (да и сама не считала себя таковой). Только Великая депрессия 1930-х годов заставила считаться с этой системой, ставшей защитой от фашизма, благодаря которому СССР стал необходимым орудием поражения Гитлера и как следствие — одной из двух сверхдержав, противостояние которых являлось мировым доминирующим фактором всю вторую половину «короткого двадцатого века», при этом (как мы теперь можем понять) во многих отношениях стабилизируя его политическую структуру. Если бы либеральный капитализм не сдал своих позиций, СССР в середине двадцатого века в течение полутора десятилетий не стоял бы во главе социалистического лагеря, захватившего треть человечества, причем какое-то время даже казалось, что социалистическая экономика может обогнать в своем развитии капиталистическую.

Как и почему капитализм после Второй мировой войны, ко всеобщему и своему удивлению, стал развиваться ускоренными темпами, вступив в беспрецедентную и, возможно, аномальную «золотую эпоху» 1947—1973 годов, вероятно, является основным вопросом, стоящим перед историками двадцатого века, по которому до сих пор нет согласия. Я тоже не претендую на истину в последней инстанции. Может быть, более глубокий анализ должен подождать до того времени, когда в ретроспективе «длинный цикл» второй половины двадцатого века можно будет увидеть полностью. Однако, хотя мы сейчас и можем дать в целом оценку «золотой эпохе», кризисные десятилетия, которые мир пережил после нее, еще не закончились (по крайней мере, ко времени написания этих строк). Но о чем уже можно говорить с большой уверенностью, так это о необычайных масштабах и последствиях экономических, социальных и культурных преобразований — наиболее быстрых и фундаментальных в известной нам истории человечества. Различные аспекты этого явления обсуждаются во второй половине книги. Историки двадцатого века, глядя на него из третьего тысячелетия, возможно, сочтут влияние этого периода на историю двадцатого века решающим, поскольку изменения в человеческой жизни, которые он принес с собой во всем мире, были столь же глубоки, сколь и необратимы, и продолжаются до сих пор. Журналисты и авторы философских эссе, решившие, что вместе с крушением империи Советов история закончилась, ошибались. Более верно говорить о том, что в третьей четверти двадцатого века закончился семи- или восьмимысячелетний период человеческой истории, начавшийся с изобретения сельского хозяйства в каменном веке, хотя бы только потому, что закончилась долгая эпоха, в которой подавляющее большинство человечества жило сельским хозяйством и скотоводством.

По сравнению с нею история противостояния «капитализма» и «социализма», как мне кажется, будет иметь более ограниченный исторический интерес, сравнимый с религиозными войнами шестнадцатого и семнадцатого веков и крестовыми походами. Для тех, кто жил в любой период «короткого двадцатого века», эта эпоха, естественно, занимает важное место, так же как и в этой книге, поскольку она написана историком двадцатого века для читателей начала двадцать первого века. Детально рассмотрены социальные революции, «холодная война», природа, границы, фатальные ошибки «реального социализма» и его крах. Тем не менее важно помнить, что значительное и долговременное влияние режимов, порожденных Октябрьской революцией, стало мощным катализатором модернизации отсталых аграрных стран. Случилось так, что главные достижения социализма совпали с «золотой эпохой» капитализма. Нет смысла углубляться в вопрос о том, насколько эффективны или даже насколько осознанно организованы были альтернативные стратегии, нацеленные на то, чтобы похоронить мир наших предков. Как мы увидим, до начала 1960-х годов достижения этих двух систем казались одинаковыми, что после разрушения Советского Союза выглядит абсурдно. Вспомним, что британский премьер-министр в разговоре с американским президентом в то время называл СССР государством, «работоспособная экономика которого (...) вскоре превзойдет капиталистическую на пути к материальному процветанию» (Horne, 1989, p. 303). Однако следует лишь заметить, что в 1980-е годы социалистическая Болгария и несоциалистический Эквадор имели больше общего, чем каждая из этих стран имела с Болгарией и Эквадором образца 1939 года.

Крах советского социализма и его огромные и все еще не в полной мере осмысленные, но в основном негативные последствия стали самым сенсационным явлением кризисных десятилетий, последовавших за «золотой эпохой». К тому же им суждено было стать десятилетиями *мирового* кризиса. Этот кризис в различной степени и различным образом повлиял на государства земного шара, причем он коснулся всех стран, независимо от их политических, социальных и экономических систем, поскольку в «золотую эпоху» впервые в истории была создана единая, все более интегрированная универсальная мировая экономика, во многих случаях пересекающая границы государств, т. е. транснациональная экономика, проникавшая все больше через барьеры государственных идеологий. В результате были подорваны признанные институциональные устои всех режимов и систем. Вначале трудности, возникшие в 1970-е годы, рассматривались лишь как временная пауза в «большом скачке» мировой экономики, и страны всех экономических и политических типов и моделей искали временные решения. Но постепенно становилось все более ясно, что наступила эпоха долговременных трудностей, и капиталистические страны стали пытаться найти радикальные решения, зачастую следуя курсу теологов неограниченного свободного рынка, отвергавших по-

литуку, так хорошо служившую мировой экономике в «золотую эпоху», но теперь, казалось, терпевшую неудачу. Однако последователи принципа неограниченной свободы предпринимательства были не более удачливы, чем все остальные. В 1980-е и начале 1990-х годов капиталистический мир вновь зашатался под бременем тех же трудностей, которые возникли в годы между Первой и Второй мировыми войнами и, казалось, были устранены в период «золотой эпохи»: массовой безработицы, резких экономических спадов, извечного противостояния нищих и богачей, ограниченных государственных доходов и неограниченных расходов. Социалистические страны с их ослабшей и ставшей уязвимой экономикой оказались так же и даже более радикально оторваны от своего прошлого и, как мы знаем, устремились к распаду. Этот распад можно считать вехой окончания «короткого двадцатого века», так же как Первую мировую войну можно считать вехой его начала. На этой стадии моя история завершается.

Она завершается (как должна завершаться любая книга, законченная в начале 1990-х годов) взглядом в неизвестное. Распад одной части мира выявил нездоровье всех остальных. После того как 1980-е годы сменились 1990-ми, стало очевидно, что мировой кризис стал всеобщим не только в экономике, но и в политике. Крушение коммунистических режимов от полуострова Истрии до Владивостока не только породило огромную зону политической нестабильности, хаоса и гражданских войн, но и разрушило систему, стабилизировавшую международные отношения в течение сорока лет. Оно также выявило ненадежность тех внутренних политических систем, которые в существенной степени опирались на эту стабильность. Экономическая нестабильность подрывала политические основы либеральной демократии, парламентской и президентской, так хорошо функционировавшие в развитых капиталистических странах после Второй мировой войны. Она также подрывала и все политические системы третьего мира. Базовые политические единицы — территориальные, суверенные и независимые государства-нации, включая самые старые и стабильные, оказались разорванными на части силами наднациональной и транснациональной экономики, а также давлением со стороны желающих отделиться регионов и этнических групп. Некоторые из них (такова ирония истории) требовали для себя устаревшего и нереального статуса карликовых суверенных государств-наций. Будущее политики оставалось туманным, однако ее кризис в конце «короткого двадцатого века» был очевиден.

Еще более очевидным, чем кризис мировой экономики и мировой политики, явился социальный и нравственный кризис — следствие происходивших с 1950-х годов изменений в жизни людей, — который также нашел широкое, хотя и неоднородное распространение во время кризисных десятилетий. Это был кризис убеждений и представлений, на которых строилось современное общество после того, как в начале девятнадцатого века модернизаторы

выиграли свое знаменитое сражение против ретроградов,— кризис рационалистических и гуманистических исходных посылок, разделяемых и либеральным капитализмом, и коммунизмом. Эти общие исходные послылки сделали возможным короткий, но плодотворный союз этих противоборствующих систем против фашизма, отвергавшего идеи гуманизма. Консервативный немецкий обозреватель Михаэль Штюмер справедливо заметил в 1993 году, что предметом разногласий являлись убеждения Запада и Востока:

Существует странный параллелизм между Западом и Востоком. На Востоке государственная доктрина настаивала на том, что человечество является хозяином своей судьбы. Однако даже мы верили в менее официальную и менее экстремальную версию того же самого лозунга: человечество находится на пути к тому, чтобы стать хозяином своей судьбы. Притязание на всемогущество полностью исчезло на Востоке и лишь отчасти у нас, однако кораблекрушение потерпели обе стороны.

(Bergedorf, 98, p. 95)

Парадоксально, что эпоха, единственной целью которой, основанной на беспрецедентных достижениях науки и техники, являлась помощь человечеству, закончилась отрицанием идей гуманности значительной частью общества, включая тех, кого считали западными мыслителями.

Однако нравственный кризис состоял не только в отрицании исходных посылок современной цивилизации, но также в разрушении исторически сложившихся структур построения человеческих отношений, унаследованных современным обществом от доиндустриального и докапиталистического общества, которые, как мы теперь можем видеть, создали условия для развития первого. Это был кризис не какой-то одной формы организации общества, но кризис всех ее форм. Странные призывы к возрождению «общинного духа» были голосами не нашедших себя и не думающих о будущем поколений. Они звучали в период, когда подобные слова, потеряв свое традиционное значение, стали пустыми фразами.

По выражению поэта Т. С. Элиота, «так мир кончается — не взрывом, а нитьем». «Короткий двадцатый век» закончился и тем, и другим.

III

Что общего имел мир образца 1990-х годов с миром образца 1914 года? Его население составляло пять или шесть миллиардов человек, примерно в три раза больше, чем накануне Первой мировой войны, несмотря на то что во время «короткого двадцатого века» больше людей, чем когда-либо раньше в исто-

рии, было послано на смерть в результате решений, принимавшихся другими людьми. Недавние подсчеты «мегасмертей» в двадцатом веке дали цифру в 187 миллионов (*Brzezinski, 1993*), что составляет более одной десятой всего населения земного шара в 1900 году. Большинство людей 1990-х были более высокими и здоровыми, чем их родители, лучше питались и гораздо дольше жили, во что с трудом верится после катаклизмов 1980-х и 1990-х годов в Африке, Латинской Америке и бывшем СССР. Мир стал несравнимо богаче, чем когда-либо раньше, по своим возможностям производства товаров и услуг и по их бесконечному разнообразию. Иначе просто не удалось бы поддерживать население в несколько раз большее, чем когда-либо раньше в мировой истории. Большинство людей до начала 1980-х годов жили лучше своих родителей, а в развитых странах даже лучше, чем они когда-либо могли мечтать. В течение нескольких десятилетий в середине двадцатого века казалось даже, что в наиболее богатых странах найдены способы распределения по крайней мере некоторой части этого огромного богатства среди рабочих с определенной степенью справедливости, однако в конце двадцатого века неравенство вновь одержало верх. Оно также широко распространилось в бывших социалистических странах, где раньше все были более или менее равны в своей бедности. Человечество стало гораздо более образованным, чем в 1914 году. Фактически впервые в истории большинство человеческих существ можно было назвать грамотными, по крайней мере в официальной статистике, хотя значение этого достижения было гораздо менее ясно в конце двадцатого века, чем в 1914 году, принимая во внимание огромную и все увеличивающуюся брешь между минимумом знаний, официально считающимся грамотностью (часто граничащим с понятием «практически неграмотный»), и уровнем образованности элиты.

Мир наводнили передовые и революционные технологии, созданные на базе достижений естественных наук, которые в 1914 году можно было лишь прогнозировать. Возможно, самым ярким их результатом явилась революция на транспорте и в средствах коммуникаций, фактически победившая время и пространство. В результате обычной семье ежедневно и ежечасно стало доступно больше информации и развлечений, чем в 1914 году было доступно императорам. Люди получили возможность разговаривать друг с другом через океаны и континенты, нажав лишь несколько кнопок. В культурном отношении исчезло преимущество города перед деревней.

Почему же тогда двадцатое столетие закончилось не праздником в честь этих беспрецедентных достижений, а ощущением тревоги? Почему, как показывают эпиграфы к этой главе, столь многие умы, склонные к анализу, смотрели на него без удовлетворения и уверенности в будущем? Не только потому, что оно являлось, без сомнения, самым кровавым столетием из всех, которые нам известны, по масштабам, частоте и длительности войн, шедших

непрерывным потоком, на короткое время прекратившись лишь в 1920-е годы, а также по небывалому размаху катастроф, выпавших на долю человечества, от самых жестоких в истории случаев голода до систематического геноцида. В отличие от «долгого девятнадцатого века», периода почти непрерывного материального, интеллектуального и *нравственного* прогресса, т. е. улучшения условий жизни цивилизованного общества, с 1914 года наблюдалось явное снижение уровня жизни, в то время считавшегося нормой для средних классов развитых стран и все шире распространявшегося в более отсталые регионы и менее образованные слои населения.

Поскольку это столетие научило и продолжает учить нас, что человеческие существа могут приспособиться к жизни в самых жестоких и теоретически невыносимых условиях, не так просто оценить масштабы (к сожалению, все увеличивающиеся) возврата к тому, что наши предки в девятнадцатом веке называли «стандартами варварства». Мы забываем, что старый революционер Фридрих Энгельс испытал ужас от взрыва бомбы, брошенной ирландскими республиканцами в Вестминстере, поскольку, как бывший солдат, он считал, что война должна вестись против военных, а не против мирных людей. Мы забываем, что погромы в царской России, бросившие вызов общественному мнению и заставившие русских евреев миллионами пересекать Атлантику с 1881 по 1914 годы, были бы почти незаметны по сравнению с современными массовыми убийствами: жертвы этих погромов исчислялись десятками, а не сотнями, не говоря уже о миллионах. Мы забываем, что некогда международная конвенция обуславливала, что военные действия «не должны начинаться без предварительного явного и недвусмысленного предупреждения в форме аргументированного объявления войны или ультиматума с условным объявлением войны». Кто вспомнит, когда была последняя война, начинавшаяся с такого «явного или условного объявления войны»? Как давно какая-либо война закончилась формальным договором о мире, обсуждавшимся воюющими государствами? В ходе двадцатого века войны все больше велись против экономик и инфраструктур государств, а также против их гражданского населения. С начала Первой мировой войны число потерь среди мирного населения намного превышало военные потери во всех воюющих странах, кроме США. Многие ли вспомнят строки, смысл которых в 1914 году считался само собой разумеющимся:

Цивилизованные военные действия, как нам говорят учебники, должны ограничиваться, насколько это возможно, выведением из строя вооруженных сил противника, иначе война продолжалась бы до уничтожения одной из воюющих сторон. «Совершенно обоснованно (...) в государствах Европы эта практика переросла в привычку».

(*Encyclopedia Britannica, XI ed., 1911, art: War*)

Мы не совсем безразличны к возрождению насилия и даже убийств в качестве нормы во время действий, предпринимаемых современными государствами во имя общественной безопасности, однако не в полной мере осознаем, сколь драматичный поворот назад оно составляет в долгой эпохе правового развития, начавшейся с первым официальным запрещением пыток в одной из западных стран в 1780-е годы и длившейся до 1914 года.

Тем не менее мир образца конца «короткого двадцатого века» нельзя сравнивать с миром образца его начала в терминах исторической бухгалтерии — «больше» или «меньше». Этот мир стал качественно иным, по крайней мере в трех отношениях.

Во-первых, он больше не был европоцентрическим, и это породило в Европе, в начале двадцатого века являвшейся признанным центром власти, богатства, интеллекта и западной цивилизации, упадок и разрушения. Число европейцев и их потомков уменьшилось с одной трети человечества до одной шестой его части, причем европейские страны, которые едва были способны воспроизводить свое население, тратили огромные усилия (за исключением США до 1990-х годов) на то, чтобы оградить себя от потока иммигрантов из бедных стран. Отрасли промышленности, которые первоначально стали развиваться в Европе, переместились в другие регионы мира. Заокеанские страны, для которых Европа некогда служила примером, обратили свои взгляды в другую сторону. Австралия, Новая Зеландия, даже омываемые двумя океанами США видели будущее в Тихоокеанском бассейне.

«Великие державы» Европы образца 1914 года исчезли, как исчез СССР, наследник царской России, или были низведены до регионального или провинциального статуса, возможно, за исключением Германии. Сама попытка создать единое наднациональное «европейское сообщество» и возродить чувство европейской самобытности, чтобы заменить им старые привязанности к историческим нациям и государствам, продемонстрировала глубину этого упадка.

Имела ли эта перемена важное значение для кого-либо, кроме историков политики? Вероятно, нет, поскольку она повлекла за собой лишь незначительные изменения в экономической, культурной и интеллектуальной конфигурации мира. Еще в 1914 году США являлись главной промышленной державой и главным инициатором, моделью и движущей силой массового производства и массовой культуры, покоривших мир в течение «короткого двадцатого века». США, несмотря на свою самобытность, были заокеанским продолжением Европы и ставили себя в один ряд со Старым Светом в рамках западной цивилизации. Независимо от своих планов на будущее США оглядывались назад из 1990-х годов на «американское столетие» как на эпоху своего расцвета и триумфа. Группа государств, индустриализация которых осуществлялась в девятнадцатом веке, оставалась самым значительным средото-

чием богатства, экономического и научно-технического могущества на земном шаре. Здесь люди имели самый высокий из до сих пор существовавших жизненный уровень. В конце двадцатого века это с лихвой возмещало деиндустриализацию и перемещение производства на другие континенты. В этом отношении впечатление полного упадка старого европоцентрического западного мира было лишь кажущимся.

Более важной явилась вторая трансформация. В период с 1914 до начала 1990-х годов земной шар превратился в единый работающий организм, каким он не был, да и не мог быть, до 1914 года. Для многих целей, особенно экономических, земной шар теперь фактически является базовой организационной единицей, а прежние структурные единицы, такие как национальные экономики, определяемые политикой территориальных государств, стали тормозом для транснациональной деятельности. Уровень, достигнутый к 1990-м годам в строительстве «глобальной деревни» [выражение, придуманное в 1960-е годы (*MacLuhan, 1962*)], наблюдателям середины двадцать первого столетия не покажется особенно впечатляющим, тем не менее именно благодаря этому уровню произошли преобразования не только в некоторых экономических и технических видах деятельности и научных разработках, но и в важных аспектах частной жизни, главным образом благодаря огромным достижениям на транспорте и в средствах коммуникаций. Возможно, самая поразительная отличительная черта конца двадцатого века — это конфликт между ускоряющимся процессом глобализации и неспособностью государственных учреждений и коллективного поведения человеческих существ привыкнуть к нему. Как ни странно, в своем частном поведении люди с меньшим трудом привыкали к спутниковому телевидению, электронной почте, отпускам на Сейшелах и трансокеаническим переездам.

Третья трансформация, в некоторых отношениях самая болезненная, — это разрушение старых моделей социальных взаимоотношений, а в связи с этим разрыв связей между поколениями, т. е. между прошлым и настоящим. Это особенно хорошо видно на примере наиболее развитых стран западного капитализма, где ценности абсолютного асоциального индивидуализма являются преобладающими как в официальных, так и в неофициальных идеологиях, хотя те, кто их придерживается, зачастую сожалеют об их социальных последствиях. Сходные тенденции, усиленные разрушением традиционных обществ и религий, а также крушением или саморазрушением общества, наблюдались и в странах «реального социализма».

Такое общество, состоящее из сборища эгоцентричных, думающих только о своих собственных интересах индивидуалистов, которых в других условиях нельзя было бы объединить вместе, и имела всегда в виду теория капиталистической экономики. Еще с «эпохи революции» наблюдатели всех идеологических окрасок предсказывали разрушение старых социальных связей и сле-

дили за развитием этого процесса. Вспомним Коммунистический манифест: «Буржуазия (...) безжалостно разорвала разнородные феодальные связи, привязывавшие человека к своим „природным господам“, и не оставила никаких других связей между людьми, кроме голой корысти». Однако новое революционное капиталистическое общество на практике функционировало несколько иначе.

На самом деле, новое общество функционировало не благодаря массовому разрушению всего того, что оно унаследовало от старого общества, а благодаря избирательному приспособлению наследия прошлого для своих нужд. Нет никакой «социологической загадки» в готовности буржуазного общества «внедрить радикальный индивидуализм в экономику и разорвать все традиционные социальные отношения в этом процессе (т. е. там, где они ему мешали), в то же время избегая „радикального экспериментаторского индивидуализма“ в культуре (а также в сфере поведения и морали)» (*Daniel Bell, 1976, p. 18*). Наиболее эффективным способом создания промышленной экономики, основанной на частном предпринимательстве, было сочетание ее с мотивациями, не имевшими ничего общего с логикой свободного рынка, например с протестантской этикой, воздержанием от немедленного вознаграждения, этикой тяжелого труда, семейным долгом и верой, но не с бунтом индивидуализма, отвергающего общественную мораль.

И все же Маркс и другие пророки разрушения старых ценностей и социальных связей были правы. Капитализм являлся долговременной и непрерывно революционирующей силой. По логике вещей он должен был закончиться с разрушением тех частей докапиталистического прошлого, которые считал удобными и очень важными для своего развития. Он должен был закончиться после того, как был срублен по крайней мере один сук из тех, на которые он опирался. Однако этот процесс идет уже с середины двадцатого столетия. Под влиянием небывалого экономического подъема «золотой эпохи» и последующих лет, вызвавших самые кардинальные социальные и культурные изменения в обществе со времен каменного века, этот сук начал трещать и ломаться. В конце двадцатого века впервые появилась возможность увидеть, каким может стать мир, в котором прошлое, включая прошлое, перешедшее в настоящее, утратило свою роль, а прежние сухопутные и морские карты, по которым люди, поодиночке и коллективно, ориентировались на своем жизненном пути, больше не дают представления о суше, по которой мы шагаем, и о море, по которому мы плывем. Глядя на них, мы не в состоянии понять, куда может привести нас наше путешествие.

С такой ситуацией часть человечества столкнулась уже в конце двадцатого века, а большинству это предстоит в новом тысячелетии. К тому времени, возможно, станет более ясно, чем сейчас, куда мы движемся. Однако уже теперь мы можем оглянуться на путь, приведший нас сюда, что я и попытался

сделать в настоящей книге. Мы не знаем, под воздействием чего будет формироваться будущее, хотя я не смог преодолеть искушения поразмышлять над некоторыми его проблемами, поскольку они возникли в период, который только что закончился. Будем надеяться, что новый мир, идущий на смену старому, окажется более справедливым и жизнеспособным. Старый век завершился не самым лучшим образом.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Эпоха катастроф»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Эпоха тотальной войны

Шеренги серых лиц с застывшей маской страха,
Они стремятся к смерти из траншей,
А время глухо бьет на их запястьях,
Потупив взгляд и зубы сжав, надежда
Скользит в крови. Останови их, Иисус!

Зигфрид Сассун (1947, р. 71)

Ввиду обвинений воздушных атак в «варварстве», вероятно, было бы лучше для соблюдения приличий сформулировать менее жесткие правила и по-прежнему номинально ограничить бомбардировки только военными по виду объектами (...) чтобы не слишком подчеркивать тот факт, что воздушная война сделала такие ограничения устаревшими и невозможными. Вероятно, должно пройти время до того, как начнется следующая война, пока население не станет более образованным в вопросе значения военно-воздушных сил.

Правила авиационных бомбардировок, 1921 (Townshend, 1986, р. 161)

(Сараево, 1946). Здесь, как и в Белграде, я вижу на улицах большое количество молодых женщин с седеющими или совершенно седыми волосами. Их лица измучены, но все еще молоды, а формы тел выдают их юность еще очевиднее. Мне кажется, что я вижу, как рука последней войны прошлась по головам этих хрупких существ.

Подобное зрелище нельзя сохранить для будущего. Эти головы вскоре станут совсем седыми и исчезнут. Жаль. Ничто не могло бы рассказать более наглядно следующим поколениям о нашем времени, чем эти юные седые женщины, у которых украдена беззаботность юности.

Пускай память о них останется хотя бы в этой краткой записи.

Андрич. Записки у обочины (Andrić, 1992, р. 50)

I

«Во всей Европе гаснет свет,— произнес министр иностранных дел Великобритании Эдуард Грей, глядя на светящиеся в темноте огни Уайтхолла в ту ночь, когда Германия и Великобритания вступили в войну 1914 года,— и при жизни мы не увидим, как он зажжется вновь». В Вене великий сатирик Карл Краус уже готовился написать на документальном материале выдающуюся антивоенную драму-репортаж, названную им «Последние дни человечества». Оба они смотрели на мировую войну как на конец света и в этом были не одиноки. Однако она не стала концом света, хотя были моменты во время длившегося тридцать один год мирового конфликта, начавшегося с объявления Австрией войны Сербии 28 июля 1914 года и закончившегося безоговорочной капитуляцией Японии 14 августа 1945 года (через четыре дня после взрыва первой атомной бомбы), когда конец значительной части человечества казался не столь отдаленным. Несомненно, именно тогда Бог или боги, по мнению верующих, создавшие наш мир и все в нем сущее, должны были сильно пожалеть о том, что сделали.

Человечество выжило. Тем не менее огромное сооружение цивилизации девятнадцатого века рухнуло, когда в пламени мировой войны сгорели подпиравшие его опоры. Не осознав этого, нельзя понять и сути двадцатого века. На нем лежит отпечаток войны. Он жил и мыслил понятиями мировой войны даже тогда, когда орудия молчали и рядом не рвались бомбы. Его история, и в особенности история исходного периода распада и катастрофы, должна начинаться с тридцати лет мировой войны.

Для людей, ставших взрослыми до 1914 года, контраст этот был столь драматичен, что многие из них, включая поколение родителей пишущего эти строки, по крайней мере жители Центральной Европы, вообще отказывались признавать неразрывную связь с прошлым. Слово «мир» означало для них «мир до 1914 года» — ведь потом пришло время, которое больше не заслуживало подобного названия. Это можно понять — до 1914 года в течение целого столетия не было ни одной значительной войны, т. е. войны, в которую были бы вовлечены все или большая часть государств, являвшихся основными действующими лицами на международной арене того времени,— шесть европейских «великих держав» (Великобритания, Франция, Россия, Австро-Венгрия, Пруссия, после 1871 года ставшая Германией, объединенная Италия), США и Япония. Была только одна непродолжительная война, где столкнулись более двух «великих держав» — Крымская война 1854—1856 годов, в которой Россия воевала с Великобританией и Францией. Вообще, большинство войн с участием крупных государств было весьма скоротечно. Возможно, самым длительным в этот период был не международный конфликт, а гражданская война в США (1861—1865). В то время продолжительность войн измерялась месяцами или даже (как в вой-

не между Пруссией и Австрией в 1866 году) неделями. Между 1871 и 1914 годами в Европе просто не происходило войн, в которых армии крупных держав пересекали бы границу врага, хотя на Дальнем Востоке Япония воевала с Россией (1904—1905) и одержала победу, приблизив тем самым русскую революцию.

Мировых войн не было вообще. В восемнадцатом веке Франция и Великобритания участвовали в ряде конфликтов, поля сражений которых простирались от Индии через Европу до Северной Америки, пересекая мировые океаны. Но между 1815 и 1914 годами ни одна из главных держав не сражалась против другой за пределами своих ближайших владений, хотя захватнические походы империалистических (или претендующих на это) держав против более слабых заокеанских соперников были обычным явлением. Большинство из них являлось захватническими войнами с неравными возможностями, как, например, войны США против Мексики (1846—1848) и Испании (1898) и различные кампании по расширению границ британской и французской колониальных империй, хотя терпению побежденных один или два раза пришел конец, когда французы вынуждены были в 1860-х годах уйти из Мексики, а итальянцы в 1896 году из Эфиопии. Даже наиболее грозные конкуренты современных государств с арсеналами, постоянно пополнявшимися самыми передовыми орудиями уничтожения, могли в лучшем случае надеяться только на отсрочку неминуемого поражения. Подобные экзотические конфликты скорее служили материалом для приключенческой литературы или газетных отчетов о технических новшествах середины девятнадцатого века, чем напрямую затрагивали большинство населения государств-победителей.

Все изменилось в 1914 году. В Первую мировую войну оказались втянуты все крупные мировые державы и фактически все европейские государства, за исключением Испании, Нидерландов, трех Скандинавских стран и Швейцарии. Кроме того, за пределы собственных территорий были направлены, часто впервые, войска заокеанских стран. Канадцы воевали во Франции, австралийцы и новозеландцы ковали свое национальное самосознание на полуострове в Эгейском море (мыс Галлиполи стал их национальным мифом), и что еще более важно, Соединенные Штаты не прислушались к советам Джорджа Вашингтона, предостерегавшего от «европейских сложностей», и послали свои войска в Европу, предопределив тем самым ход истории двадцатого века. Индийских солдат отправляли воевать на Ближний Восток и в Европу, на Западе появились китайские трудовые батальоны, а во французской армии сражались африканцы. Хотя военные действия за пределами Европы и не имели принципиального значения (за исключением ближневосточных операций), война на море опять приобрела всемирный характер: ее первое сражение произошло в 1914 году у Фолклендских островов, а решающие кампании с участием немецких подводных лодок и транспортного флота союзников развернулись над поверхностью и в глубинах северных морей и Атлантики.

То, что Вторая мировая война являлась *мировой* без всяких преувеличений, вряд ли требует доказательств. Добровольно или нет, в нее были вовлечены фактически все независимые государства мира, хотя республики Латинской Америки участвовали в ней только в самой незначительной степени. Колонии имперских держав в этом вопросе вообще не имели выбора. За исключением будущей Ирландской Республики, Швеции, Швейцарии, Португалии, Турции и Испании в Европе и, возможно, Афганистана за ее пределами, фактически все страны земного шара были вовлечены в войну, или подверглись оккупации, или пережили и то и другое. Что касается полей сражений, то названия островов Меланезии и поселений в пустынях Северной Африки, Бирме и на Филиппинах стали не менее известны читателям газет и слушателям радио (по существу это была война информационных сводок), чем названия сражений в Арктике, на Кавказе, в Нормандии, под Сталинградом и Курском. Вторая мировая война стала уроком мировой географии.

Локальным, региональным и мировым войнам двадцатого века суждено было стать гораздо более широкомасштабными, чем всем происходившим ранее. Из семидесяти четырех международных войн, имевших место между 1816 и 1965 годами, которые американские специалисты, любящие заниматься подобной статистикой, классифицировали по количеству убитых на поле сражения, четыре главные произошли в двадцатом веке: две мировые войны, война Японии против Китая в 1937—1939 годах и корейская война. На полях сражений в каждой из них было убито более миллиона человек. В самой массовой по документам международной войне постнаполеоновского периода девятнадцатого века, войне между Пруссией (Германией) и Францией 1870—1871 годов, было убито около 150 тысяч человек, что по количеству погибших примерно сопоставимо с войной в Чако 1932—1935 годов между Боливией (население 3 миллиона) и Парагваем (население 1,4 миллиона). Одним словом, 1914 год открыл эпоху массового уничтожения (*Singer, 1972, p. 66, 131*).

Объем книги не позволяет обсуждать причины Первой мировой войны, которые автор этих строк попытался кратко обрисовать в работе «Эпоха империй». По существу, она началась как европейская война между Тройственным союзом (Францией, Великобританией и Россией), с одной стороны, и «центральными державами» (Германией и Австро-Венгрией) — с другой. Сербия и Бельгия были немедленно втянуты в нее после нападения Австрии на первую (что фактически развязало конфликт) и Германии на вторую (что являлось частью стратегического плана немцев). Турция и Болгария вскоре присоединились к «центральным державам», с другой стороны Тройственный союз также оформлялся в мощную коалицию. Подкупом в него была вовлечена Италия. Там же оказались Греция, Румыния и (в основном номинально) Португалия. К союзникам присоединилась и Япония — по существу только для того, чтобы захватить позиции Германии на Дальнем Востоке и в

западной части Тихого океана, однако ее интересы не простирались дальше пределов этого региона. И что более важно — в 1917 году Тройственный союз поддержали США, что в конечном счете и явилось решающим фактором.

Перед Германией, как и во время Второй мировой войны, встала проблема войны на два фронта помимо Балкан, где она оказалась благодаря своему союзу с Австро-Венгрией. Однако, поскольку в этом регионе находились три из четырех «центральных держав» (Турция, Болгария и Австрия), проблема здесь не стояла столь остро. Германия предполагала молниеносно разгромить Францию на западе, а затем с такой же стремительностью победить Россию на востоке до того, как царская империя сможет привести в действие всю свою колоссальную военную машину. Таким образом, как и во Второй мировой войне, Германия планировала молниеносную кампанию (которая впоследствии будет названа блицкригом), поскольку ничего другого ей просто не оставалось. Этот план почти увенчался успехом. Немецкая армия двинулась на Францию, помимо других маршрутов и через нейтральную Бельгию, и была остановлена только за несколько десятков миль от Парижа на реке Марне через пять-шесть недель после объявления войны. (В 1940 году подобному плану суждено было осуществиться.) Затем немцам пришлось немного отступить, после чего обе стороны (французы уже пополнили свои войска остатками бельгийской армии и британскими наземными силами) наскоро построили параллельные линии оборонных укреплений, которые протянулись без перерыва от побережья Ла-Манша во Фландрии до швейцарской границы, оставив значительную часть Восточной Франции и всю Бельгию под немецкой оккупацией. В течение следующих трех с половиной лет их позиции существенно не изменились.

Это и был знаменитый Западный фронт, ставший той страшной мясорубкой, какую история войн, вероятно, еще не видела. Миллионы людей смотрели друг на друга через брустверы из мешков с песком, наваленных над траншеями, в которых они жили вместе с крысами и вшами. Время от времени их генералы пытались вырваться из этого тупика. Дни, недели все нарастающих шквальных обстрелов, впоследствии названных одним немецким писателем «стальным ураганом» (*Ernst Jünger, 1921*), должны были подавить оборону противника и заставить его прижаться к земле, когда по команде волны людей через защищенные колючей проволокой брустверы бросятся в атаку к нейтральной полосе, в хаос полузатопленных воронок от снарядов, поваленных деревьев, грязи и брошенных трупов, чтобы затем устремиться вперед на косящий их пулеметный огонь. Попытка немцев прорвать оборону под Верденом в феврале — июле 1916 года вылилась в сражение с участием 2 миллионов солдат, из которых больше миллиона были ранены и убиты. Попытка провалилась. Наступление англичан на Сомме, имевшее целью заставить немцев отойти от Вердена, стоило Великобритании 420 тысяч убитых, причем бо ты-

сяч выбыло из строя в первый день наступления. Неудивительно, что в памяти англичан и французов, которые большую часть войны сражались на Западном фронте, она запечатлелась как «великая война», оставившая по себе более страшные воспоминания, чем Вторая мировая. Французы потеряли почти 20 % мужского населения призывного возраста, и если включить сюда военнопленных, раненых, инвалидов и людей с обезображенными лицами, еще долго служивших зримым напоминанием о войне, окажется, что лишь один из трех французских солдат прошел Первую мировую войну невредимым. Шансы 5 миллионов английских солдат выйти из войны без увечий были примерно такими же. Англичане потеряли целое поколение — полмиллиона мужчин до тридцати лет (Winter, 1986, p. 83), главным образом среди высших слоев общества. Юные джентльмены, долг которых призывал их стать офицерами и подавать пример мужества, шли в бой во главе своих солдат и гибли первыми. Была убита четверть оксфордских и кембриджских студентов до двадцати пяти лет, служивших в британской армии в 1914 году (Winter, 1986, p. 98). Немцы, хотя число их убитых было даже больше, чем у французов, из своей гораздо более широкой призывной возрастной группы потеряли убитыми не так много — около 13 %. Однако даже значительно меньшие потери США (116 тысяч убитых по сравнению с 1,6 миллиона французов, почти 800 тысячами англичан и 1,8 миллиона немцев) ярко демонстрируют кровопролитность Западного фронта. Во Второй мировой войне потери США были в 2,5—3 раза больше, чем в Первой, но американские войска в 1917—1918 годах участвовали в военных действиях всего полтора года по сравнению с тремя с половиной годами во Второй мировой войне и воевали только на одном узком участке, а не по всему миру.

Ужасам войны на Западном фронте суждено было иметь еще более мрачные последствия. Безусловно, подобный опыт ужесточил методы ведения войны и политики: если на поле брани можно было не считаться ни с человеческими, ни с иными потерями, почему, собственно говоря, не поступать так и в политических конфликтах? Большинство людей, прошедших Первую мировую войну главным образом в качестве новобранцев, вернулись с нее убежденными пацифистами. Однако некоторые солдаты, пройдя эту войну, в результате общения со смертью укрепились в чувстве превосходства над другими людьми — в особенности над женщинами, детьми и теми, кто не воевал. Им суждено было пополнить первые ряды послевоенных ультраправых. Адольф Гитлер являлся лишь одним из тех, для кого опыт фронтовика в дальнейшей жизни стал определяющим. Впрочем, прямо противоположная реакция имела равно негативные последствия. После войны политикам, по крайней мере в демократических странах, стало совершенно ясно, что такой кровавой бани, как в 1914—1918 годах, избиратели больше не потерпят. После 1918 года стратегия Англии и Франции, так же как и поствьетнамская полити-

ка США, была основана на этой исходной предпосылке. В 1940 году это помогло Германии одолеть не только Францию (вынужденную съжаться за своими недостроенными укреплениями, а когда они были разрушены, оказавшуюся просто не в состоянии воевать дальше), но и Англию, боявшуюся быть втянутой в обширную наземную войну, подобную той, которая выкосила ее население в 1914—1918 годах. Впоследствии демократические правительства не смогли преодолеть искушения, заботясь о жизнях своих собственных граждан, совершенно не считаться с потерями населения враждебных государств. Сбрасывать атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году не было никакой необходимости, поскольку победа к тому времени была уже совершенно очевидна. Целью этой акции было спасение жизней американских солдат. Да и соображение, что это сможет помешать союзнику США — СССР укрепить притязания на главенствующую роль в поражении Японии, возможно, тоже присутствовало в умах американских политиков.

В то время как Западный фронт пребывал в кровавом тупике, на Восточном происходили изменения. В первый месяц войны немцы сокрушили неудачное наступление русских войск в сражении под Танненбергом, а затем с помощью австрийцев изгнали Россию из Польши. Несмотря на редкие контр-наступления русских, было очевидно, что «центральные державы» одерживают верх, а Россия ведет лишь оборонительные бои, сопротивляясь наступлению немцев. На Балканах «центральные державы» также владели ситуацией, несмотря на неудачные военные действия трещавшей по швам империи Габсбургов. Их местные противники, Сербия и Румыния, в пропорциональном отношении понесли самые большие потери в военной силе. Союзники, даже оккупировав Грецию, не смогли продвинуться вперед вплоть до крушения «центральных держав» летом 1918 года. План Италии открыть еще один фронт против Австро-Венгрии в Альпах провалился, главным образом потому, что большинство итальянских солдат не видело смысла воевать за государство, которое они не считали своей родиной и на языке которого мало кто мог говорить. После крупного поражения при Капоретто в 1917 году, оставившего память о себе в романе Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие», итальянцам даже пришлось просить помощь у союзнических армий. Пока Франция, Великобритания и Германия выматывали друг друга на Западном фронте, Россия все более дестабилизировалась в результате войны, которую она явно проигрывала, а Австро-Венгерская империя все быстрее приближалась к краху, подталкиваемая местными националистическими движениями, что не вызывало никакого энтузиазма у союзников, справедливо предвидевших в результате нестабильную Европу.

Проблема преодоления тупика на Западном фронте была ключевой для обеих сторон, так как без победы здесь ни одна из них не могла одержать верх, тем более что к этому времени война на море тоже зашла в тупик. За исклю-

чением отдельных рейдов, предпринимаемых противником, союзники контролировали океаны, однако на Северном море английский и немецкий военный флот, столкнувшись, парализовали действия друг друга. Результат единственной попытки затеять масштабную битву на море (1916) был весьма спорным, но поскольку это заставило немецкий флот возвратиться на свои базы, в конечном итоге преимущество осталось за союзниками.

Каждая из сторон старалась преуспеть, используя технические новшества. Немцы, традиционно сильные в химии, варварски применяли на полях сражений ядовитые газы, однако это не принесло ожидаемого результата. Следствием этих действий стал единственный случай истинно гуманного отношения государств к подобным способам ведения войны—Женевская конвенция 1925 года, благодаря которой мир дал торжественное обещание не использовать химических средств на полях сражений. И действительно, хотя все государства продолжали разрабатывать химическое оружие и ожидали, что противник будет делать то же самое, ни одна из сторон не применяла его во время Второй мировой войны, хотя никакие гуманные чувства не помешали итальянцам травить газами население своих колоний. Резкое падение нравственных ценностей цивилизации после Второй мировой войны в конце концов возвратило применение отравляющих газов. Во время ирано-иракской войны в 1980-е годы Ирак, в то время с энтузиазмом поддерживаемый западными государствами, широко использовал их против неприятельских солдат и мирного населения. Англичане первыми начали применять бронемашину на гусеничном ходу, позже известные под названием «танк», однако недалёковидные британские генералы тогда еще не понимали их возможностей. Обе стороны использовали новые и пока еще ненадежные самолеты наряду со сконструированными Германией сигарообразными наполненными водородом дирижаблями, производя опыты воздушных бомбардировок, к счастью без особого эффекта. Воздушные налеты также заняли подобающее место во Второй мировой войне, особенно как средство устрашения мирного населения.

Единственным новым оружием, имевшим решающее значение во время военных действий 1914—1918 годов, стала подводная лодка. Это произошло оттого, что обе стороны, будучи не в состоянии одолеть друг друга на поле боя, решили устроить блокаду мирного населения противника. Поскольку все снабжение в Великобританию поставлялось по морю, немцам казалось, что они могут отрезать этот путь, активизировав атаки своих подводных лодок против британского морского флота. Эта затея в 1917 году была близка к успеху, пока не были найдены эффективные способы противодействия. Главным образом благодаря ей в войну вступили Соединенные Штаты. Англия в свою очередь постаралась блокировать снабжение Германии, чтобы парализовать немецкую военную экономику и истощить немецкое население. Эти

попытки оказались более успешны, чем предполагалось, поскольку, как мы увидим, немецкая военная экономика вовсе не была столь эффективной и рациональной, как об этом с гордостью всегда заявляла Германия, в отличие от немецкой военной машины, которая как в Первой, так и во Второй мировой войне намного превосходила все другие. Превосходство германской армии могло в тот момент оказаться решающим, если бы союзники начиная с 1917 года не получили поддержки США с их практически неограниченными ресурсами. Однако Германия, даже скованная союзом с Австрией, одержала полную победу на востоке, ввергнув Россию из войны в революцию и лишив ее в 1917—1918 годах большей части ее европейских территорий. Вскоре после позорного мира в Брест-Литовске (март 1918 года) немецкая армия, которая теперь без помех могла сосредоточиться на западном направлении, совершила успешный прорыв на Западном фронте и вновь двинулась на Париж. И хотя благодаря притоку американских солдат и снаряжения союзники восстановили свои силы, некоторое время казалось, что планы Германии близки к осуществлению. Но это был последний рывок обессиленной страны, предчувствовавшей свое близкое поражение. Когда летом 1918 года союзники начали наступление, до окончания войны оставалось всего несколько недель. «Центральные державы» не только признали свое поражение, их правительства потерпели полный крах. Осенью 1918 года революция захлестнула Центральную и Юго-Восточную Европу так же, как годом раньше она охватила Россию (см. следующую главу). От границ Франции до Японского моря ни одно прежнее правительство не удержалось у власти. Шатались даже государства, входившие в коалицию победителей, хотя трудно поверить, что Великобритания и Франция не устояли бы как стабильные политические субъекты, чего нельзя сказать об Италии. Из побежденных стран ни одна не избежала революции.

Если бы величайшие министры и дипломаты прошлого, все еще служившие примером для руководителей министерств иностранных дел их стран,— скажем, Талейран или Бисмарк — поднялись из могил, чтобы взглянуть на Первую мировую войну, они, безусловно, задались бы вопросом: почему здравомыслящие политики не попытались остановить эту кровавую бойню при помощи компромиссных решений до того, как она разрушила карту мира 1914 года? Мы тоже вправе задать этот вопрос. Никогда еще войны, не преследовавшие ни революционных, ни идеологических целей, не велись с такой беспощадностью до полного истребления и истощения. Но в 1914 году камнем преткновения была отнюдь не идеология. Она, разумеется, разделяла воюющие стороны, но лишь в той степени, в которой мобилизация общественного мнения является одним из средств ведения войны, подчеркивая ту или иную угрозу признанным национальным ценностям, например опасность русского варварства для немецкой культуры, неприятие французской и британской

демократиями германского абсолютизма и т. д. Более того, даже за пределами России и Австро-Венгрии находились политики, предлагавшие компромиссные решения и пытавшиеся оказывать воздействие на союзников тем упорнее, чем ближе становилось поражение. Почему же главные противоборствующие державы вели Первую мировую войну как игру, которую можно было лишь полностью выиграть или полностью проиграть?

Причина заключалась в том, что эта война, в отличие от предыдущих, которые, как правило, преследовали узкие и вполне определенные цели, не ограничивала себя подобными пределами. В «эпоху империи» политика и экономика слились воедино. Международная политическая конкуренция возникла благодаря экономическому росту и соревнованию, и ее характерной чертой было то, что она не знала границ. «Естественные границы» «Стандарт Ойл», Германского банка или «Алмазной корпорации Де Бирс» находились на краю вселенной или, вернее, в пределах возможностей их экспансии (*Hobsbawm, 1987, p. 318*). Более конкретно: для двух главных противников, Германии и Великобритании, границей могло стать только небо, поскольку Германия стремилась занять то господствующее положение на суше и на море, которое занимала Великобритания, что автоматически переводило бы на второстепенные роли и так сдававшую позиции британскую державу. Вопрос стоял так: или — или. Для Франции тогда, как и впоследствии, ставки были менее глобальны, но не менее важны: она жаждала отплатить Германии за свой неизбежно снижающийся экономический и демографический статус. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос, останется ли она великой державой. В случае обеих этих стран компромисс не решал проблем, он давал лишь отсрочку. Сама по себе Германия, вероятно, могла бы ждать, пока все увеличивавшиеся размеры и растущее превосходство выдвинут ее на то место, которое, как считали германские власти, принадлежит ей по праву и которое она рано или поздно все равно займет. И действительно, доминирующее положение дважды побежденной Германии, больше не претендовавшей на статус главной военной державы в Европе, в начале 1990-х годов стало куда более убедительным, чем все притязания милитаристской Германии до 1945 года. Именно вследствие этого, как мы увидим, Англия и Франция после Второй мировой войны были вынуждены, пусть неохотно, смириться со своим переходом на вторые роли, а Федеративная Республика Германия при всей своей экономической мощи признала, что в мире после 1945 года статус монополюс господствующего государства стал ей не по силам. В 1900-х годах, на пике имперской и империалистической эпохи, претензии Германии на исключительное положение в мире («немецкий дух возродит мир», как тогда говорили) и противодействие этому Великобритании и Франции, все еще бесспорно «великих держав» европоцентрического мира, являлись причиной непримиримого антагонизма. На бумаге, без сомнения, был возможен компромисс по тем

или иным пунктам почти мегаломанических* военных целей, которые обе стороны сформулировали сразу же после начала войны, но на практике единственной военной целью, имевшей значение, была полная и окончательная победа, которая во Второй мировой войне стала именоваться «безоговорочной капитуляцией противника».

Эта абсурдная и саморазрушительная цель погубила и победителей, и побежденных. Она ввергла побежденных в революцию, а победителей в банкротство и разруху. В 1940 году Франция была захвачена меньшими по численности германскими силами с оскорбительной быстротой и легкостью и подчинилась Гитлеру без сопротивления оттого, что страна была почти смертельно обескровлена войной 1914—1918 годов. Великобритания так и не смогла стать прежней после 1918 года, поскольку подорвала свою экономику, исчерпав во время войны все ресурсы. Более того, абсолютная победа, скрепленная навязанным карательным миром, разрушила даже те слабые шансы, которые еще существовали, на восстановление того, что хотя бы отдаленно напоминало прежнюю стабильную буржуазную либеральную Европу, что сразу же понял экономист Джон Мейнард Кейнс. Исключив Германию из европейской экономики, нельзя было больше надеяться на стабильность в Европе. Но это соображение было последним, что могло прийти в голову тем, кто настаивал на исключении Германии из европейского процесса.

Мирный договор, навязанный побежденным главными уцелевшими победителями (США, Великобританией, Францией, Италией), который не совсем точно называют Версальским договором**, исходил из пяти главных соображений. Во-первых, произошло крушение многих режимов в Европе, а в России возникло альтернативное революционно-большевистское государство, поставившее целью перевернуть мировой порядок и ставшее магнитом, отовсюду притягивавшим революционные силы (см. главу 2). Во-вторых, необходимо было установить контроль над Германией, которой в одиночку почти удалось разгромить коалицию союзников. По вполне понятным причинам это явилось (и до сих пор остается) главной заботой Франции. В-третьих, возникла необходимость перекроить карту Европы как с целью ослабления Германии, так и для того, чтобы заполнить огромные незанятые пространства, образовавшиеся в Европе и на Ближнем Востоке в результате одновременного крушения Российской, Австро-Венгерской и Османской империй. Главными претендентами на их наследство, по крайней мере в Европе, выступили различные националистические движения, которые старались поддержи-

* Мегаломания — мания величия (примеч. пер.).

** Формально по Версальскому договору мир был заключен только с Германией. Различные парки и загородные королевские дворцы дали названия другим мирным договорам: Сен-Жермен — с Австрией, Трианон — с Венгрией, Севр — с Турцией, Нейи — с Болгарией.

вать государства-победители при условии, что те останутся антибольшевистскими. Фактически основным принципом перекраивания карты Европы стало создание государств-наций по этнически-языковому принципу. В основу этого принципа было положено «право наций на самоопределение». Президент США Вильсон, чьи взгляды рассматривались как выражение мнения державы, без которой война была бы проиграна, являлся страстным приверженцем этой веры. Надо сказать, что, как правило, ее придерживались (и до сих пор придерживаются) те, кто далек от этнических и языковых реалий регионов, предназначенных для разделения на однородные нации-государства. Эта попытка закончилась провалом, последствия которого до сих пор можно увидеть в Европе. Национальные конфликты, раздиравшие континент в 1990-х годах, явились отголосками тех самых версальских решений*. Перекраивание карты Ближнего Востока шло вдоль традиционных границ империалистических владений, по обоюдному согласию Великобритании и Франции. Исключением стала Палестина, где британское правительство, во время войны стремившееся к международной еврейской поддержке, неосторожно и весьма неопределенно пообещало создать «национальный дом» для евреев. Палестинской проблеме суждено было стать еще одним кровоточащим напоминанием о последствиях Первой мировой войны.

Четвертой группой вопросов стали вопросы внутренней политики стран-победительниц (т. е. фактически Великобритании, Франции и США) и разногласия между ними. Самым важным результатом этой политической деятельности явился отказ американского конгресса ратифицировать мирный договор, написанный большей частью президентом (или для него). В результате США отказались от участия в договоре, что имело далеко идущие последствия.

И наконец, страны-победительницы отчаянно пытались найти такой способ мирного урегулирования, который сделал бы невозможным развязывание еще одной войны вроде той, которая только что опустошила мир. Эта попытка потерпела явное поражение. Через двадцать лет мир снова был охвачен войной.

Создание свободного от большевизма пространства и перекраивание карты Европы совпали друг с другом, поскольку самым действенным способом борьбы с революционной Россией, если она случайно выживет (что в 1919 году отнюдь не казалось бесспорным), было изолировать ее за «санитарным кордоном» (*cordon sanitaire*) из антикоммунистических государств. Поскольку территория этим государствам была в большой степени или полностью вы-

* Гражданская война в Югославии, сепаратистские волнения в Словакии, выход Прибалтийских республик из бывшего СССР, конфликт между Венгрией и Румынией по поводу Трансильвании, сепаратизм в Молдове (Молдавии, бывшей Бессарабии), закавказский национализм — таков неполный перечень проблем, которых не существовало до 1914 года, поскольку для этого не было причин.

делена из бывших российских земель, их враждебность к Москве могла быть гарантирована. По порядку с севера на юг этими странами являлись: Финляндия—бывшее автономное княжество, которому Ленин разрешил выйти из состава России; три маленькие балтийские республики (Эстония, Латвия, Литва), еще не имевшие исторического опыта собственной государственности; Польша, независимость которой была восстановлена после более чем векового перерыва, и чрезвычайно разросшаяся Румыния, удвоившая свою площадь за счет империи Габсбургов и Бессарабии, до этого принадлежавшей России. Большая часть этих территорий была отторгнута от России Германией и, если бы не большевистская революция, несомненно вернулась бы обратно к России. Попытка распространить этот «кордон» на Кавказ потерпела неудачу, в основном благодаря тому, что революционной России удалось договориться с некоммунистической, но также революционной Турцией, не испытывавшей дружеских чувств к британским и французским империалистам. Поэтому краткое существование независимых республик в Армении и Грузии, появившихся в результате Брест-Литовского мира, так же как и попытки англичан отторгнуть богатый нефтью Азербайджан, не пережило победы большевиков в гражданской войне 1918—1920 годов и советско-турецкого договора 1921 года. Одним словом, на востоке союзники признали границы, навязанные Германией революционной России там, где им не помешали это сделать силы, находящиеся вне их контроля.

На территории бывшей Австро-Венгрии также имелись большие участки, которые предстояло поделить. В результате Австрия и Венгрия были сведены к чисто немецким и мадьярским образованиям и превратились в задворки Европы. Сербия увеличилась до современной Югославии путем присоединения Словении (до этого принадлежавшей Австрии), Хорватии (до этого принадлежавшей Венгрии), а также ранее независимого маленького родового королевства пастухов и контрабандистов — Черногории, сурового горного края, где жители реагировали на беспрецедентную потерю независимости массовым обращением в коммунизм, при котором, как они думали, высоко ценится мужество и героизм. Коммунистическая идея также ассоциировалась у них с православной Россией, чью веру непокоренные жители Черногории столько веков защищали против турок. Новая Чехословакия родилась в результате объединения бывшего промышленного центра империи Габсбургов с некогда принадлежавшими Венгрии землями, на которых проживали словацкие и русинские крестьяне. Румыния разрослась в многонациональный конгломерат, Польша и Италия также извлекли выгоду из этого передела. Не имелось никаких исторических прецедентов или логики в комбинациях с Чехословакией и Югославией, создание которых явилось результатом националистической идеологии, проповедовавшей как силу общих этнических корней, так и нежелательность появления слишком мелких национальных

государств. Все южные славяне (=югославы) были объединены в одно государство, то же произошло и с западными славянами чешских и словацких земель. Как и следовало ожидать, все эти политические браки поневоле оказались не слишком прочными. Кстати, за исключением остатков Австрии и Венгрии, потерявших большую часть своих территорий, но на практике не лишившихся своих национальных меньшинств, новые государства, отторгнутые от России и от империи Габсбургов, оказались не менее многонациональными, чем их предшественники.

Чтобы держать Германию постоянно ослабленной, ей был навязан карательный мир, оправдываемый тем аргументом, что это государство единственное несет ответственность за войну и все ее последствия (пункт о «военных преступлениях»). Это достигалось не столько за счет отторжения ее территорий (земли Эльзаса и Лотарингии вернулись обратно к Франции, а значительный регион на западе — к восстановленной в прежних границах Польше — тот самый «польский коридор», который отделял Восточную Пруссию от остальной Германии), сколько за счет лишения Германии ее мощного морского и воздушного флота, уменьшения ее армии до 100 тысяч человек, навязывания теоретически бессрочных репараций (возмещения военных издержек, понесенных победителями), а также военной оккупации части Западной Германии. Не в последнюю очередь это было достигнуто и путем лишения Германии всех ее заморских колоний — они были распределены между Великобританией с ее доминионами, Францией и, в меньшей степени, Японией (из-за растущей непопулярности империализма они теперь назывались не колониями, а «подмандатными территориями»). Внешнее управление отсталыми народами, вверенное человечеством имперским державам, должно было гарантировать им не эксплуатацию, но всемерное процветание. За исключением статей, касающихся территориальных вопросов, к середине 1930-х годов от Версальского договора ничего не осталось.

Что касается механизма предупреждения следующей мировой войны, то было очевидно, что союз великих европейских держав, поддерживавший равновесие на континенте до 1914 года, полностью разрушен. Альтернатива, которую навязывал упрямым европейским политикам президент Вильсон со всем либеральным пылом принстонского ученого-политолога, предполагала учреждение всемирной Лиги Наций (т. е. независимых государств), которая решала бы все возникающие проблемы мирным и демократическим путем до того, как они выйдут из-под контроля, преимущественно путем открытых переговоров («гласно достигнутых открытых соглашений»), поскольку война, ко всему прочему, перевела привычные и разумные международные переговорные процессы в область «тайной дипломатии». В значительной степени это явилось реакцией на секретные договоренности, заключенные во время войны союзниками и переброившие послевоенную Европу и Ближний Вос-

ток с поразительным отсутствием хоть какого-то внимания к жизненным интересам обитателей этих регионов. Большевики, обнаружив эти секретные документы в царских архивах, поспешили их опубликовать, чтобы довести до сведения всего мира, после чего стало необходимо свести к минимуму ущерб, нанесенный этими разоблачениями. Фактически учреждение Лиги Наций явилось частью процесса мирного урегулирования, однако она потерпела почти полную неудачу, превратившись просто в организацию для сбора статистических данных. Впрочем, в начале своей деятельности Лига Наций решила один или два второстепенных территориальных вопроса, не подвергавших особому риску мир во всем мире,— в частности, спор между Финляндией и Швецией по поводу Аландских островов *. Отказ США от участия в Лиге Наций лишил последнюю какого-либо реального веса.

Нет необходимости углубляться в исторические детали периода между Первой и Второй мировыми войнами, чтобы увидеть, что версальские решения просто не могли стать фундаментом для прочного мира. Они были обречены с самого начала, и поэтому следующая война стала практически неизбежна. Как уже упоминалось, США почти сразу же официально вышли из договора, а в мире, который больше не был европоцентрическим, ни одно соглашение, не поддержанное страной, теперь являвшейся главной мировой державой, не могло иметь веса. Как мы увидим, это было справедливо не только для политики, но и для экономики. Две главные европейские и, несомненно, главные мировые державы, Германию и Советскую Россию, временно не только исключили из международной игры, но сделали все, чтобы лишить их статуса независимых игроков. При возвращении на сцену одной (или обеих) этих держав достигнутый мир, опиравшийся только на Великобританию и Францию, поскольку Италия также оставалась недовольной, не смог бы устоять. Между тем рано или поздно, вместе или порознь, Германия и Россия неизбежно должны были вновь появиться на политической сцене.

Незначительный шанс сохранить мир исчез после отказа стран-победительниц допустить побежденных к процессу мирного урегулирования. Вскоре стало ясно, что полное подавление Германии, как и абсолютная изоляция Советской России, невозможно, но осознание реального положения вещей шло медленно и трудно. В частности, Франция крайне неохотно отказалась от надежды удерживать Германию слабой и беспомощной (англичан, в отличие от французов, не терзали воспоминания о поражении и оккупации). Что ка-

* На Аландских островах, расположенных между Финляндией и Швецией и являющихся частью Финляндии, жило исключительно шведскоговорящее население, в то время как в только что обретшей независимость Финляндии агрессивно насаждался финский язык. Для присоединения островов к Швеции Лига Наций разработала схему, которая гарантировала исключительное использование шведского языка на их территории и защищала их от нежелательной иммиграции с материковой части Финляндии.

сается СССР, то страны-победительницы предпочли бы, чтобы этого государства вообще не было. Став на сторону контрреволюционных сил в гражданской войне в России и посылая войска для их поддержки, они не выказывали никакого желания признать существование Страны Советов. Их коммерсанты отклоняли предложения самых выгодных концессий для иностранных инвесторов, сделанные Лениным, которому нужно было любыми способами налаживать экономику, почти уничтоженную мировой войной, революцией и начавшейся гражданской смутой. Советская Россия была вынуждена развиваться в изоляции. Преследуя политические цели, оба отверженных государства Европы — Советская Россия и Германия — сблизились в начале 1920-х годов.

Возможно, следующей войны можно было избежать или, по крайней мере, отсрочить ее наступление, если бы довоенная экономика была восстановлена в прежнем виде как глобальная система экономического роста и процветания. Однако через несколько лет, в середине 1920-х годов, когда казалось, что военная и послевоенная разруха уже позади, разразился самый глубокий экономический кризис со времен промышленной революции (см. главу 3). В результате в Германии и Японии к власти пришли милитаристы и ультраправые, являвшиеся сторонниками политики целенаправленной ломки существующего порядка путем резкой конфронтации, при необходимости военной, а не постепенных изменений путем переговорных процессов. С этого времени новую мировую войну можно было не только предвидеть, но и предсказать в плановом порядке. Те, кто вырос в 1930-е годы, ожидали ее. Страшные видения эскадрилий самолетов, сбрасывающих бомбы на города, и жутких фигур в противогазах, на ощупь, как слепцы, прокладывающих путь сквозь завесу ядовитого газа, часто являлись воображению моего поколения: во втором случае эти видения оказались ошибочными, в первом — пророческими.

II

Обстоятельствам, приведшим ко Второй мировой войне, посвящено гораздо меньше исторической литературы, чем обстоятельствам начала Первой мировой. Причины этого понятны. За редчайшим исключением, ни один серьезный историк никогда не сомневался, что Германия, Япония и, в меньшей степени, Италия являлись агрессорами. Страны, втянутые в войну против этих трех государств, неважно, капиталистические или социалистические, не хотели воевать, и большинство из них делало все возможное, чтобы этого избежать. На вопрос о том, кто или что послужило причиной Второй мировой войны, можно ответить в двух словах: Адольф Гитлер.

Ответы на вопросы истории, безусловно, не так просты. Как мы видели, создававшаяся в результате Первой мировой войны обстановка в мире в осно-

ве своей не могла быть стабильной не только в Европе, но и на Дальнем Востоке, и поэтому никто не думал, что мир продлится долго. Существующим положением не были удовлетворены не только побежденные государства, которые (в особенности Германия) полагали, что имеют достаточно причин для недовольства. Все партии в Германии, от коммунистов на крайнем левом фланге до национал-социалистов на крайнем правом, единодушно считали Версальский договор несправедливым и неприемлемым. Парадоксально то, что если бы в Германии действительно произошла революция, то она могла породить менее опасную для всего мира страну. Два побежденных государства, ставших по-настоящему революционными, Россия и Турция, были слишком заняты собственными проблемами, включая защиту своих границ, чтобы обострять международную напряженность. В 1930-е годы они являлись стабилизирующими силами, причем Турция оставалась нейтральной и во время Второй мировой войны. Однако Япония и Италия, несмотря на то что они воевали на стороне победителей, также чувствовали себя обделенными, хотя японцы расценивали ситуацию более реалистично, чем итальянцы, чьи имперские аппетиты значительно превосходили их возможности. В результате Первой мировой войны Италия приобрела значительные территории в Альпах, на Адриатике и даже в Эгейском море — почти все, что обещали ей союзники за переход на их сторону в 1915 году. Однако торжество фашизма в Италии — контрреволюционного и поэтому ультранационалистического и империалистического движения — ясно говорило о ее неудовлетворенности (см. главу 5). Что касается Японии, то весьма значительные сухопутные и морские военные силы превратили ее в едва ли не самую грозную державу на Дальнем Востоке, особенно после того как Россия сошла со сцены. Международное признание этого обстоятельства было закреплено Вашингтонским военно-морским соглашением 1922 года, которое раз и навсегда положило конец морскому владычеству Великобритании, установив соотношение 5:5:3 для численности американских, британских и японских военно-морских сил соответственно. И все же Япония, индустриализация которой шла с курьерской скоростью (хотя по абсолютному объему ее экономика оставалась все еще на весьма скромном уровне — 2,5% мирового промышленного производства в конце 1920-х годов), без сомнения, чувствовала, что заслуживает гораздо большего куска дальневосточного пирога, чем ей было выделено имперскими державами. Более того, фактически не обладая никакими природными ресурсами, необходимыми для современной экономики, Япония остро ощущала свою зависимость. Ее импорт в любое время мог быть заблокирован с помощью иностранных военно-морских сил, а экспорт полностью зависел от американского рынка. Военное давление с целью создания близлежащей материковой империи в Китае (этот вариант обсуждался) могло помочь укоротить японскую систему коммуникаций, этим сделав ее более защищенной.

И все же не шаткость мира после 1918 года явилась главной причиной Второй мировой войны. Ею стала агрессия трех недовольных держав, с середины 1930-х годов связанных друг с другом различными договоренностями. Вехами на пути к войне стали вторжение Японии в Маньчжурию в 1931 году, вторжение Италии в Эфиопию в 1935 году, вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании в 1936—1939 годах, вторжение Германии в Австрию в начале 1938 года, расчленение Чехословакии, осуществленное Германией в том же году, немецкая оккупация того, что осталось от Чехословакии, в марте 1939 года (сопровождавшаяся оккупацией Албании Италией) и немецкое вторжение в Польшу, которое фактически и привело к началу войны. Можно упомянуть еще об одной группе ключевых негативных событий: провал мер, предпринятых Лигой Наций против Японии, отсутствие действенных шагов против Италии в 1935 году, неспособность Великобритании и Франции должным образом отреагировать на одностороннее расторжение Германией Версальского договора и, в особенности, на повторный захват ею Рейнской области в 1936 году; отказ этих стран от вмешательства в гражданскую войну в Испании («политика невмешательства»), провал их ответных мер на оккупацию Австрии, их уступки немецкому шантажу в отношении Чехословакии (Мюнхенское соглашение 1938 года), а также отказ СССР от дальнейшего противостояния Гитлеру в 1939 году (пакт Гитлера—Сталина в августе 1939 года).

И все же, хотя одна из сторон явно не желала войны и делала все возможное, чтобы ее избежать, а другая прославляла ее и, как в случае Гитлера, активно к ней стремилась, ни один из агрессоров не хотел той войны, которая в итоге получилась, в тот момент, когда она все-таки началась, и с теми врагами (по крайней мере с некоторыми из них), с которыми пришлось воевать. Япония, несмотря на влияние военной машины на ее политику, несомненно, предпочла бы добиться своей цели — создания восточноазиатской империи — без *мировой* войны, в которую она оказалась втянутой только потому, что в нее вступили США. Какой войны хотела Германия, когда и против кого она собиралась воевать — все эти вопросы по-прежнему остаются спорными, поскольку Гитлер не был человеком, который документирует свои замыслы. Тем не менее две вещи нам ясны. Состоявшееся в 1939 году нападение на Польшу (поддержанную Великобританией и Францией) не входило в планируемую им игру, а война, в которую он в конце концов оказался втянут, — не только против СССР, но и против США — стала кошмаром для каждого немецкого генерала и дипломата.

Германии (как впоследствии и Японии) молниеносная наступательная война нужна была по тем же причинам, что и в 1914 году. Объединенные и скоординированные, ресурсы потенциальных врагов каждой из этих стран были неизмеримо больше, чем их собственные. Кроме того, ни Германия, ни Япо-

ния никогда серьезно не готовились к длительной войне и не делали ставку на новое оружие с длительным сроком производства (англичане, напротив, зная о превосходстве противника на суше, с самого начала вкладывали деньги в дорогостоящее и технологически сложное оружие, планируя долгосрочную войну, в которой они и их союзники должны опередить противника по производству современного вооружения). Японии, в отличие от Германии, удалось избежать столкновения с коалицией противников, поскольку она не принимала участия ни в войне Германии против Франции и Великобритании в 1939—1940 годах, ни в войне против России после 1941 года. В отличие от всех остальных держав, она столкнулась с Красной армией в неофициальной, но имевшей важное значение войне 1939 года на границе Сибири и Китая, понеся при этом большие потери. В декабре 1941 года Япония вступила в войну только против Великобритании и США, но не против СССР. К несчастью для Японии, единственная держава, с которой ей пришлось воевать, США, настолько превосходила ее по своим ресурсам, что фактически была обречена на победу.

Некоторое время казалось, что Германии повезло больше. В 1930-х годах, когда война уже приближалась, Великобритании и Франции не удалось договориться с Советской Россией, которая в конце концов предпочла союз с Гитлером. В то же время американские политики удерживали президента Рузвельта от оказания реальной помощи стороне, которую он решительно поддерживал. Поэтому в 1939 году война началась как чисто европейская, а после вторжения Германии в Польшу (которая была завоевана и поделена с лояльным теперь СССР за три недели) продолжалась как западноевропейская война Германии с Великобританией и Францией. Весной 1940 года Германия с оскорбительной легкостью опустошила Норвегию, Данию, Нидерланды, Бельгию и Францию, оккупировав первые четыре страны, а Францию поделив на две зоны: одна, зона непосредственной оккупации, находилась под управлением немцев, а во второй было создано марионеточное французское государство (его правители, собранные из различных группировок французской реакции, больше не хотели называть его республикой) со столицей в провинциальном курортном городке Виши. Только Великобритания продолжала воевать с Германией, сплотив все силы нации под руководством Уинстона Черчилля и полностью отказавшись от любого соглашения с Гитлером. Именно в это время фашистская Италия опрометчиво решила выбраться за ограду нейтралитета, за которой ее правительство до этого предусмотрительно отсиживалось, и открыто поддержать Германию.

Фактически война в Европе закончилась. Даже если бы море и британские военно-воздушные силы не позволили Германии вторгнуться в Великобританию, трудно было представить, что в результате войны последняя могла бы вернуть свои позиции на континенте, не говоря уже о том, чтобы победить

Германию. Несколько месяцев в 1940—1941 годах, когда Великобритания сражалась в одиночку, стали великим моментом в истории английского народа, во всяком случае тех англичан, которым посчастливилось остаться в живых, но силы были слишком неравны. Американская программа перевооружения «Защита Западного полушария», выдвинутая в июне 1940 года, фактически исходила из того, что дальнейшее предоставление оружия британцам бесполезно, и даже после того как Великобритания выстояла, она рассматривалась американцами главным образом в качестве отдаленного форпоста. Между тем передел Европы уже произошел. СССР по договору с Германией оккупировал европейские владения царской империи, утраченные в 1918 году (за исключением части Польши, захваченной Германией), и часть Финляндии, против которой зимой 1939—1940 годов Сталин затеял бездарную войну, немного отодвинувшую советские границы от Ленинграда. Между тем Гитлер занялся пересмотром версальских договоренностей (оказавшихся столь недолговечными) в отношении бывших владений Габсбургов. Как и следовало ожидать, попытки Великобритании расширить войну на Балканах привели к тому, что весь полуостров, включая греческие острова, был захвачен Германией.

Германия даже пересекла Средиземное море и вторглась в Африку, когда ее союзницу Италию, вызывавшую своими военными действиями еще большее разочарование, чем Австро-Венгрия во время Первой мировой войны, едва не вышвырнули из африканских колоний англичане, атаковавшие со своей главной базы в Египте. В это время африканский корпус германской армии, возглавляемый одним из самых талантливых генералов, Эрвином Роммелем, угрожал всем английским соединениям на Ближнем Востоке.

Военные действия возобновились с новой силой после нападения Гитлера на СССР 22 июня 1941 года — решающей даты во Второй мировой войне. Это вторжение, вынудившее Германию начать войну на два фронта, было столь бессмысленным, что Сталин просто не верил, что Гитлер строит подобные планы. Но для Гитлера завоевание обширной восточной материковой империи, богатой природными ресурсами и рабской силой, представлялось вполне логичным шагом. Он, подобно многим военным экспертам (за исключением японских), фатально недооценивал способность Советов к сопротивлению. Кстати, для этого имелись серьезные основания: развал Красной армии в результате чисток 1930-х годов (см. главу 13), тяжелое состояние страны, общие последствия террора и бездарное вмешательство в военную стратегию самого Сталина. Действительно, первоначальное продвижение немецких армий было столь же молниеносным и казалось таким же успешным, как их кампании на Западе. К началу октября они подошли к окраинам Москвы, и есть свидетельства, что в течение нескольких дней Сталин был настолько деморализован, что обдумывал условия заключения мира. Но этот момент про-

шел, и огромные пространства земли, людские ресурсы, физическая выносливость русских и их патриотизм, а также стремление победить любой ценой остановили продвижение немцев и дали СССР время собраться с силами. Не последнюю роль в этом сыграли талантливые военачальники (некоторые из них были только что освобождены из лагерей). 1942—1945 годы стали единственным периодом времени, когда Сталин приостановил террор.

То, что война с Россией не была завершена за три месяца, как ожидал Гитлер, для Германии означало поражение, поскольку она не была подготовлена к длительной войне и не смогла бы ее выдержать. Несмотря на свои победы, она имела и производила гораздо меньше военных самолетов и танков, чем Великобритания и Россия, не говоря уже о США. Новое немецкое наступление, начавшееся в 1942 году после изнурительной зимы, казалось столь же успешным, как и все остальные, и продвинуло немецкие войска далеко на Кавказ и в низовья Волги, но уже не могло повлиять на исход войны. Немецкие войска были остановлены, разбиты, окружены и в итоге вынуждены сдаться под Сталинградом (лето 1942 — март 1943). После этого началось наступление русских войск, в конечном итоге приведшее их в Берлин, Прагу и Вену. После Сталинграда все уже понимали, что поражение Германии — лишь вопрос времени.

Между тем война, бывшая до этого в основном европейской, стала по-настоящему мировой. Это произошло частично благодаря росту антиимпериалистических настроений (тогда еще без труда подавляемых) в колониях и зависимых территориях Великобритании, по-прежнему остававшейся величайшей из мировых империй. Странников Гитлера среди буров Южной Африки удалось интернировать (правда, они вновь вышли на политическую арену после войны, создав в 1948 году режим апартеида), а захват власти Рашидом Али в Ираке весной 1941 года — быстро пресечь. Гораздо важнее было то, что благодаря победам Гитлера в Европе влияние колониальных держав в Юго-Восточной Азии значительно ослабло, а образовавшийся вакуум заполнила Япония, претендовавшая на протекторат над беззащитными остатками французских владений в Индокитае. США не собирались терпеть экспансию «держав оси»* в этой части мира и начали оказывать жесткое экономическое давление на Японию, чья торговля и снабжение полностью зависели от морского сообщения. Именно этот конфликт привел к войне между двумя странами. После нападения японцев на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года война приобрела общемировой характер. Через несколько месяцев японцы захва-

* «Державы оси» — коалиция, возглавляемая Германией, Италией и Японией, противостоявшая союзникам во Второй мировой войне. Была заключена серия соглашений между Германией и Италией, сопровождавшаяся провозглашением «оси», связывающей Рим и Берлин (25 октября 1936 года), а затем германо-японским антикоминтерновским пактом, направленным против СССР (примеч. пер.).

тили всю территорию Юго-Восточной Азии, континентальную и островную, угрожая напасть на Индию из Бирмы, а с острова Новая Гвинея — на безлюдную северную часть Австралии.

Скорее всего, война с США была для Японии неизбежна, поскольку уйти от столкновения можно было в единственном случае — отказавшись от надежд создать мощную экономическую империю (цветисто названную «великой восточноазиатской сферой всеобщего процветания»), являющуюся основной целью японской политики. В свете тех пагубных последствий, которые повлекла за собой неспособность европейских стран сопротивляться Гитлеру и Муссолини, едва ли можно было ожидать, что США под руководством Ф. Д. Рузвельта станут реагировать на экспансию Японии так же, как Великобритания и Франция реагировали на экспансию Германии. Во всяком случае, американское общественное мнение рассматривало Тихий океан (в отличие от Европы) как зону влияния США, наподобие Латинской Америки. Американский «изоляционизм» просто прикрывал нежелание вмешиваться в европейские дела. Фактически именно западное (т. е. американское) эмбарго на японскую торговлю и замораживание японских активов побудило Японию к действию, иначе ее экономика, полностью зависевшая от импорта, поступавшего морским путем, была бы задушена незамедлительно. Но игра, которую она начала, была крайне опасной и в конечном итоге оказалась самоубийственной. Япония стремилась использовать единственный, быть может, шанс в короткий срок создать вождевленную империю Южного полушария. Причем она понимала, что для этого потребуются парализовать действия американского военного флота — единственной силы, которая могла бы вмешаться в ее планы. А это означало, что США, многократно превосходящие Японию по военной мощи и ресурсам, *немедленно* начнут войну, в которой у Японии не было шансов на победу.

До сих пор неясно, почему Гитлер, полностью поглощенный войной с Россией, без всякой причины объявил войну и США, тем самым предоставив правительству Рузвельта возможность вступить в европейскую войну на стороне Великобритании, не встречая никакого политического сопротивления на родине. У Вашингтона было очень мало сомнений, что нацистская Германия представляла гораздо более серьезную или, по крайней мере, гораздо более глобальную опасность для США и остального мира, чем Япония. Поэтому США сознательно решили сосредоточиться на разгроме Германии перед тем, как одолеть Японию, и соответственно распределили свои ресурсы. Расчет оказался верным. Потребовалось еще три с половиной года, чтобы одержать победу над Германией, после чего Япония была поставлена на колени за три месяца. Безрассудство Гитлера не имеет разумного объяснения, хотя мы знаем, что он упрямо и фатально недооценивал возможность США вступить в войну, не говоря уже об их экономическом и техническом потенциале, по-

скольку считал, что демократии вообще неспособны к действию. Единственная демократия, которую он принимал всерьез, была британская, хотя ее он вполне справедливо считал не полностью «демократичной».

Решение Гитлера напасть на Россию и объявить войну США предопределило исход Второй мировой войны. Однако ясно это стало не сразу, поскольку «державы оси» достигли пика своего успеха к середине 1942 года и не теряли военную инициативу вплоть до 1943 года. Кроме того, западные союзники не возобновляли активных действий в Европе до 1944 года, поскольку, воюя в Северной Африке и Италии, должны были преодолевать мощное сопротивление немецких войск. Между тем основным оружием западных союзников против Германии являлись боевые самолеты, что, как показали более поздние исследования, было крайне неэффективно и приводило в основном к уничтожению мирного населения и разрушению городов. Наступление продолжали только советские войска; при этом лишь на Балканах (главным образом в Югославии, Албании и Греции) вдохновляемое коммунистами вооруженное сопротивление создавало для Германии (а еще больше для Италии) серьезные военные проблемы. Тем не менее Уинстон Черчилль был прав, когда после нападения на Пёрл-Харбор утверждал, что при условии «правильного распределения подавляющих сил» грядущая победа не вызывает сомнений (*Kennedy, p. 347*). С конца 1942 года никто не сомневался, что «Большой союз» победит «державы оси». Союзники уже начали размышлять о том, как распорядиться предстоящей победой.

Нет необходимости проследить дальнейший ход военных действий, заметим только, что на западе Германия ожесточенно сопротивлялась даже после того, как союзники в июне 1944 года открыли второй фронт в Европе. В отличие от 1918 года в Германии не наблюдалось никаких признаков антигитлеровской революции. Только немецкие генералы, составлявшие ядро традиционной прусской военной машины, в июне 1944 года подготовили заговор с целью свержения Гитлера, поскольку являлись здравомыслящими патриотами, а не энтузиастами в духе вагнеровских «Сумерек богов». Не имея массовой поддержки, они потерпели неудачу и были уничтожены сторонниками Гитлера. На востоке, в Японии, приближение краха было еще менее заметным. Она была полна решимости воевать до конца, и именно поэтому для ускорения ее капитуляции на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Победа в 1945 году была абсолютной, а капитуляция — безоговорочной. Побежденные государства были полностью оккупированы победителями. Формальный мир не заключался, поскольку политической власти, не зависимой от оккупационных сил, просто не существовало — по крайней мере, в Японии и Германии. Более всего на мирные переговоры походила серия конференций 1943—1945 годов, на которых главные союзные державы — СССР, США и Великобритания — договаривались о разделе военной добычи и

(не слишком успешно) пытались наметить основы послевоенных отношений друг с другом. Речь идет о конференциях в Тегеране в 1943 году, в Москве осенью 1944 года, в Ялте в начале 1945 года и в Потсдаме в августе 1945 года. Максимального успеха в ходе этих переговоров удалось достичь только в выработке принципов политических и экономических отношений между государствами, включая создание ООН. Этим вопросам посвящена особая глава (см. главу 9).

Вторая мировая война велась с гораздо большим ожесточением, чем Первая. Противники воевали «до полной победы», без каких бы то ни было уступок и компромиссов с обеих сторон (исключая Италию, в 1943 году перешедшую на сторону противника и сменившую политический режим, с которой в силу этого обращались не как с оккупированной территорией, а как с побежденной страной, имеющей законное правительство. Этому способствовал и тот факт, что союзники не могли изгнать немецкие войска и опирающуюся на них фашистскую «социальную республику» Муссолини с половины территории Италии в течение почти двух лет). В отличие от Первой мировой войны, такая непримиримость с обеих сторон не требует специального объяснения. Это была «война вер» или, говоря современным языком, война идеологий. Несомненно также, что для большинства участвовавших в ней стран это была война за выживание. Преступления нацистов в Польше и на оккупированных территориях СССР, а также судьба евреев, о систематическом истреблении которых постепенно становилось известно недоверчивому человечеству, ясно показывали, что установление немецкого национал-социалистского режима несет с собой рабство и смерть. Поэтому война велась без всяких ограничений. Вторая мировая война превратила массовую войну в войну тотальную.

Ее потери поистине неисчислимы, невозможны даже приблизительные подсчеты, поскольку в этой войне (в отличие от Первой мировой) мирных граждан погибло не меньше, чем солдат, причем многие самые ужасные побоища происходили в такое время и в тех местах, где никто не был в состоянии (или не хотел) подсчитывать потери. Согласно имеющимся оценкам, число людей, непосредственно погубленных этой войной, в три — пять раз превышает потери Первой мировой войны (*Milward, 1979, p. 270; Petersen, 1986*). Или, говоря иначе, погибло от 10 до 20% *всего* населения СССР, Польши и Югославии; от 4 до 6% населения Германии, Италии, Австрии, Венгрии, Японии и Китая. Потери Великобритании и Франции были гораздо меньше, чем в Первой мировой войне, — около 1% всего населения, но в США — несколько выше. Однако все эти цифры приблизительны. Потери СССР, по разным подсчетам, составляли 7, 11, 20 и даже 50 миллионов. Но важна ли статистическая точность, когда порядок цифр столь астрономичен? Разве геноцид был бы менее ужасен, если бы историки пришли к заключению, что истреб-

лено не 6 миллионов евреев (неточные и почти наверняка завышенные цифры первоначального подсчета), а 5 или даже 4? Что изменится, если мы узнаем, что в результате девятисот дней блокады Ленинграда (1941—1944) от голода и истощения погиб не миллион, а лишь три четверти или полмиллиона людей? В самом деле, можно ли *представить себе* эти цифры? Что, например, для читателя этих строк означает тот факт, что из 5,7 миллиона русских военнопленных в Германии умерло 3,3 миллиона? (*Hirschfeld, 1986*) Единственным достоверным фактом, касающимся военных потерь, является тот, что в целом мужчин погибло больше, чем женщин. В 1959 году в СССР на четверо мужчин в возрасте от 35 до 50 лет все еще приходилось семь женщин (*Milward, 1979, p. 212*). Восстанавливать здания после войны гораздо легче, чем человеческие жизни.

III

Нам кажется вполне естественным, что современные способы ведения войны затрагивают все население, мобилизуя большую его часть; что для производства оружия, используемого в невероятных количествах, требуется перестройка всей экономики; что война производит неисчислимые разрушения и полностью подчиняет себе жизнь вовлеченных в нее стран. Однако все эти черты присущи лишь войнам двадцатого века. Разумеется, и раньше случались крайне разрушительные войны; некоторые из них могли послужить прообразом современных тотальных войн, как, например, войны революционной Франции. До наших дней гражданская война 1861—1865 годов остается самой кровавой в истории США. В ней погибло столько же американцев, сколько во всех последующих войнах с участием США, вместе взятых, включая обе мировые войны, Корею и Вьетнам. Тем не менее до двадцатого века войны, затрагивающие все общество, являлись исключением. Джейн Остен писала свои романы во время наполеоновских войн, но неосведомленный читатель вряд ли догадался бы об этом, потому что их нет на страницах ее книг, хотя молодые джентльмены, появляющиеся в романах, без сомнения, принимали в них участие. Невозможно представить, чтобы какой-нибудь романист мог писать так о воюющей Великобритании двадцатого века.

Чудовище тотальной войны обрело силу далеко не сразу. Тем не менее начиная с 1914 года войны бесспорно стали массовыми. Уже в Первую мировую в Великобритании было призвано на фронт 12,5% всего мужского населения, в Германии — 12,5%, во Франции — почти 17%. В годы Второй мировой войны мобилизации подверглось около 20% всей активной рабочей силы (*Milward, 1979, p. 216*). Заметим вскользь, что такой уровень массовой мобилизации, продолжавшейся много лет, можно поддерживать только с помощью совре-

менного высокопродуктивного производства или же при наличии экономики, большая часть которой находится в руках непризывной части населения. Традиционные аграрные экономики обычно могут мобилизовать столь большую часть своей рабочей силы только посезонно, по крайней мере в умеренном поясе, поскольку в земледельческом году есть периоды, когда требуются все свободные руки (например, при сборе урожая). Даже в индустриальных обществах столь значительное отвлечение рабочей силы оборачивается огромной нагрузкой на оставшихся трудящихся. Именно поэтому в результате современных массовых войн окрепло влияние профсоюзов и произошла революция в труде женщин — временная после Первой мировой войны и постоянная — после Второй.

Кроме того, войны двадцатого века являлись массовыми в том смысле, что в ходе военных действий использовались и истреблялись невиданные ранее объемы материальных ресурсов. Отсюда немецкое выражение *Materialschlacht* («битва материалов») для описания сражений на Западном фронте в 1914—1918 годах. Наполеону, к счастью для Франции, имевшей в то время крайне ограниченные производственные возможности, в 1806 году удалось выиграть сражение под Йеной и тем самым сокрушить Пруссию, использовав всего лишь 1500 артиллерийских снарядов. Между тем накануне Первой мировой войны Франция планировала выпуск 10—12 тысяч снарядов *ежедневно*, а к концу войны ее промышленность вынуждена была производить уже 200 тысяч снарядов в день. Даже царская Россия могла производить 150 тысяч снарядов в день, или 4,5 миллиона в месяц. Неудивительно, что в итоге в машиностроении произошла настоящая революция. Что касается не столь разрушительной военной атрибутики, то можно вспомнить, что во время Второй мировой войны армия США заказала более 519 миллионов пар носков и более 219 миллионов пар штанов, а немецкие войска, верные бюрократической традиции, за один только год (1943) заказали 4,4 миллиона пар ножниц и 6,2 миллиона подушечек для печатей военных канцелярий (*Milward, 1979, p. 68*). Массовой войне требовалось массовое производство.

А производство в свою очередь требовало организации и управления — даже если целью являлось уничтожение человеческих жизней максимально быстрыми и эффективными способами, как в немецких концентрационных лагерях. Предельно обобщая, тотальную войну можно назвать самым большим предприятием, известным до этого человечеству, которое требовало четкой организации и руководства.

Подобное положение дел создавало принципиально новые проблемы. Военные вопросы всегда являлись прерогативой правительств с тех пор, как в семнадцатом столетии они отказались от услуг наемников и взяли в свои руки руководство регулярными армиями. Фактически армии и войны очень скоро превратились в «производства», комплексы экономической деятельно-

сти, заметно превосходившие любой частный бизнес. Вот почему в девятнадцатом веке они столь часто служили источником знаний и управленческого опыта для многочисленных частных предприятий, развивавшихся в промышленную эпоху, например для строительства железных дорог или сооружения портов. Более того, почти все правительства занимались производством вооружений и военного имущества, хотя к концу девятнадцатого века оформился своеобразный симбиоз правительств и специализированных частных фирм по производству оружия. Это явление было особенно заметно в высокотехнологичных секторах, таких как производство артиллерии и военных кораблей; оно предвосхитило то, что мы теперь называем «военно-промышленным комплексом» (см. *Эпоха империй*, глава 13). Тем не менее главной чертой периода, простирающегося от французской революции до Первой мировой войны, являлось то, что экономика, насколько это было возможно, в военное время продолжала работать так же, как и в мирное («*business as usual*»), хотя, разумеется, даже тогда определенные отрасли никак не могли отгородиться от войны — например, легкая промышленность, которой нужно было выпускать военную форму с гораздо более высокой производительностью, чем в мирное время.

Главным вопросом, волновавшим правительства, являлся финансовый. Чем оплачивать войну? Делать ли это за счет займов или путем прямого налогообложения? И на каких условиях? В результате управление военной экономикой перешло в руки государственных казначейств и министерств финансов. Первая мировая война, продлившаяся намного дольше, чем предполагали правительства, и потребовавшая гораздо больше людей и оружия, сделала производство по принципу «*business as usual*», а с ним и владычество финансовых ведомств невозможным, хотя чиновники государственного казначейства (подобно молодому Мейнард Кейнсу в Великобритании) по привычке продолжали сокрушаться по поводу готовности политиков добиваться победы, не считаясь с финансовыми затратами. И они, безусловно, были правы. Великобритания потратила на обе мировые войны гораздо больше, чем могла себе позволить, что имело длительные негативные последствия для ее экономики. При ведении войны современными методами нужно не только рационально расходовать деньги, но и планировать экономические процессы.

В ходе Первой мировой войны правительства постигали это на собственном опыте. К началу Второй мировой они подошли уже вполне подготовленными, главным образом благодаря урокам прошлой войны, которые их чиновники тщательно изучили. И все же только по прошествии времени правительствам стало ясно, насколько всеохватывающим должно быть управление экономикой в военных условиях и насколько существенно плановое производство и распределение ресурсов (иное, чем в мирное время). В начале Второй мировой войны только два государства, СССР и, в меньшей степени, на-

цистская Германия, имели хоть какие-то механизмы подобного контроля над экономикой, что неудивительно, поскольку советские идеи планирования первоначально вдохновлялись и до некоторой степени основывались на тех знаниях о немецкой плановой экономике 1914—1917 годов, которыми располагали большевики (см. главу 13). Некоторые государства, особенно Великобритания и США, не имели даже зачатков подобных механизмов.

Парадокс заключается в том, что среди плановых экономических систем эпохи тотальных войн военные экономики западных демократий — Великобритании и Франции в Первую мировую войну, Великобритании и США во Вторую — значительно превзошли Германию с ее традициями и теориями рационально-бюрократического управления (о советском планировании см. главу 13). О причинах этого можно только гадать. Немецкая военная экономика менее систематично и эффективно могла мобилизовать все свои ресурсы для войны и не слишком заботилась о мирном населении. Жители Великобритании и Франции, пережившие Первую мировую войну, стали даже относительно более здоровыми, чем прежде, хотя и несколько обеднели, однако реальный доход рабочих этих стран повысился. Немцы же в основном обнищали, а реальные доходы их рабочих заметно упали. Аналогичные сравнения по результатам Второй мировой войны затруднительны, поскольку Франция очень скоро сошла со сцены, США были богаче и испытывали гораздо меньшие трудности, СССР — беднее и находился в куда менее благоприятном положении. Военная экономика Германии эксплуатировала всю Европу, но завершила войну, понеся гораздо больший ущерб, чем западные страны. Благодаря плановой военной экономике, ориентированной на равенство, самопожертвование и социальную справедливость, более бедная в целом Великобритания, чье потребление на душу населения к 1943 году снизилось на 20%, закончила войну с более благоприятными показателями питания и здоровья населения. Что касается немецкой системы, то она была несправедлива в самой основе. Германия эксплуатировала ресурсы и рабочую силу всей оккупированной Европы и обращалась с негерманским населением как с низшей расой, а в некоторых случаях (с поляками, а главным образом с русскими и евреями) — фактически как с рабами, о выживании которых едва ли стоит заботиться. Число иностранных рабочих в Германии постоянно росло и к 1944 году составило пятую часть рабочей силы страны (30% из них было занято в военной промышленности). Но даже при таком положении дел местный пролетариат мог похвастаться лишь тем, что его реальные заработки остались на уровне 1938 года. В Великобритании детская смертность и общий уровень заболеваемости населения во время войны пошли на спад. А в оккупированной и поработанной Франции, традиционно славившейся своими продовольственными богатствами и после 1940 года в войне не участвовавшей, средний вес и выносливость населения всех возрастов понизились.

Тотальная война безусловно произвела революцию в управлении. Но насколько она революционизировала технологию и производство? Другими словами, ускорилось или замедлилось в результате экономическое развитие? Война, без сомнения, способствовала техническому прогрессу, поскольку конфликт между развитыми воюющими странами являлся не только противостоянием армий, но и конкуренцией технологий, обеспечивающих армию эффективным оружием. Если бы не Вторая мировая война и не страх, что нацистская Германия тоже может использовать достижения ядерной физики в собственных целях, не была бы создана атомная бомба и в двадцатом веке не были бы затрачены огромные средства, необходимые для производства любого вида ядерной энергии. Другие технические новшества, изобретенные в первую очередь для военных целей,— сразу приходят на ум авиация и компьютеры — нашли гораздо более эффективное применение в мирное время. Однако это не противоречит факту, что война и подготовка к ней явились главным стимулом ускорения технического прогресса, поскольку на это отпускались огромные средства, чего почти наверняка не произошло бы в мирное время, когда средства выделяются более медленно и осторожно (см. главу 9).

Впрочем, взаимосвязь войны и технического прогресса не следует переоценивать. Более того, современная индустриальная экономика строится на постоянных технических новациях, которые, несомненно, имели бы место и без всяких войн (в полемических целях можно даже предположить, что в мирное время обновление идет быстрее). Главное состоит в том, что войны, в особенности Вторая мировая, в значительной степени способствовали распространению технических знаний, без сомнения, дав огромный импульс промышленной организации и способам массового производства. Правда, в конечном счете они способствовали лишь приближению перемен, а не коренным преобразованиям.

Ускорила ли война экономический рост? С одной стороны, безусловно нет. Слишком велики были потери производственных ресурсов, не говоря уже о сокращении работающего населения. 25 % довоенных основных фондов в СССР было разрушено во время Второй мировой войны, 13 % в Германии, 8 % в Италии, 7 % во Франции и только 3 % в Великобритании (следует учитывать, что эти цифры отчасти компенсировались новым военным строительством). Что касается СССР, то в этом экстремальном случае общий экономический эффект войны был сугубо отрицательным. В 1945 году сельское хозяйство страны лежало в руинах, так же как и великие стройки первых пятилеток. Осталась только мощная, но совершенно не применимая к мирным задачам военная промышленность, голодающие люди и массовые разрушения.

С другой стороны, на экономику США войны, несомненно, оказали благотворное влияние. Уровень ее развития в обеих войнах был совершенно бес-

прецедентным, особенно во Второй мировой войне, когда темпы экономического роста составляли 10% в год — больше, чем когда-либо до или после. В обеих войнах США выигрывали оттого, что, во-первых, были удалены от мест сражений и являлись главным арсеналом для своих союзников и, во-вторых, благодаря способности американской экономики расширять производство более эффективно по сравнению с другими экономическими системами. Возможно, именно долгосрочные экономические последствия обеих мировых войн смогли гарантировать экономике США то глобальное превосходство, которое сохранялось на протяжении всего двадцатого века и начало постепенно сглаживаться только к его завершению (см. главу 9). В 1914 году это была уже самая крупномасштабная, но еще не доминирующая экономическая система. Войны, которые укрепили ее, ослабив (относительно или абсолютно) ее соперников, внесли важные перемены в такое положение дел.

Если считать, что США (в обеих войнах) и Россия (особенно во Второй мировой войне) представляют собой две крайности экономического воздействия войн, то остальной мир располагается где-то между этими крайностями, но в целом ближе к российскому, а не к американскому варианту.

IV

Остается оценить последствия эпохи войн для человечества. Уже упоминавшееся нами число людских потерь является лишь частью проблемы. Как ни странно, при гораздо меньшем числе жертв Первая мировая война произвела более серьезное впечатление на современников, чем Вторая с ее огромными потерями (по понятным причинам это не касается СССР), о чем свидетельствует широчайшая известность памятников жертвам и культ павших на Первой мировой. Вторая мировая война не создала ничего равноценного Могиле Неизвестного Солдата, а после нее празднование годовщины Дня памяти павших (11 ноября 1918 года) постепенно утратило былую торжественность, с которой это событие отмечалось после Первой мировой войны. Возможно, 10 миллионов убитых явились бóльшим потрясением для тех, кто совершенно не ожидал таких жертв, чем 45 миллионов для людей, уже переживших мясорубку войны.

Безусловно, тотальность военных действий и решимость обеих сторон вести войну любой ценой и без всяких ограничений оставили след в памяти человечества. Без них трудно объяснить нарастающую жестокость и бесчеловечность двадцатого века. Несомненно, причиной этого стала волна варварства, поднявшаяся после 1914 года. Известно, что к началу двадцатого века пытки были официально запрещены во всей Западной Европе. С 1945 года мы опять без особого отвращения приучили себя к тому, что негуманное отноше-

ние к людям практикуется по крайней мере одной третью государств — членов ООН, включая самые старые и цивилизованные (Peters, 1985).

Рост всеобщей жестокости произошел не только благодаря высвобождению скрытого внутри человека потенциала варварства и насилия, который война естественным образом узаконивает, хотя после Первой мировой войны это, несомненно, проявилось у определенного типа бывших фронтовиков, особенно тех, кто служил в карательных отрядах и подразделениях ультраправых националистов. С какой стати мужчинам, которые убивали сами и были свидетелями того, как убивали и калечили их друзей, испытывать угрызения совести, преследуя и уничтожая врагов правого дела?

Одной из основных причин такой жестокости явилась непривычная демократизация войны. Тотальные конфликты превратились во «всенародные войны» по двум причинам. Во-первых, это произошло потому, что гражданское население и его жизнь стали преимущественной, а иногда и главной стратегической целью. Во-вторых, потому, что в демократических войнах, как и в демократической политике, враг, как правило, демонизируется — его надо сделать в должной степени ненавистным или хотя бы достойным презрения. Войны, с обеих сторон ведущиеся профессионалами, особенно обладающими сходным социальным статусом, не исключают взаимного уважения, соблюдения правил и даже благородства. У насилия свои законы, наглядным примером чего могут служить военные летчики в обеих войнах. Об этом Жан Ренуар снял свой пацифистский фильм «Великая иллюзия». Профессиональные политики и дипломаты, когда они не слишком зависят от требований избирателей и прессы, могут объявлять войны или договариваться о мире, не испытывая ненависти к противнику, как боксеры, пожимающие друг другу руку перед началом боя и пропускающие вместе по стаканчику после его окончания. Однако тотальные войны нашего столетия очень далеки от войн эпохи Бисмарка. Ни в одной войне, в которой затронуты массовые национальные чувства, не могут соблюдаться ограничения былых аристократических войн. Надо сказать, что во Второй мировой войне природа гитлеровского режима и поведение немцев в Восточной Европе (включая даже старую, ненацистскую германскую армию) во многом явились причиной этой демонизации.

Еще одной причиной такой жестокости стала совершенно новая черта войны — ее обезличенность. Убийства и увечья превратились в отдаленные последствия нажатия кнопки или поворота рычага. Техника сделала жертвы войны невидимыми. Не стало врага, которого можно было рассмотреть через прицел винтовки или проткнуть штыком. На прицеле орудий Западного фронта находились не люди, а статистика — причем даже не реальная, а предполагаемая статистика, как показал «подсчет потерь» противника во время американо-вьетнамской войны. Далеко внизу под брюхом бомбардировщика

находились не люди, которым суждено быть сожженными заживо или лишенными крова, а только цели. Застенчивые молодые военные, которые, безусловно, не смогли бы всадить штык в живот какой-нибудь беременной крестьянке, не испытывали угрызений совести, сбрасывая снаряды на Лондон и Берлин или атомную бомбу на Нагасаки. Трудолюбивые немецкие бюрократы, которые наверняка пришли бы в ужас, если бы их лично заставили отправлять на смерть несчастных евреев, спокойно составляли железнодорожные расписания для регулярного отправления «поездов смерти» в польские концентрационные лагеря, не испытывая при этом чувства личной причастности. Величайшими жестокостями нашего столетия стали обезличенные жестокости дистанционных решений, особенно когда они могли быть оправданы печальной производственной необходимостью.

Так мир приучился к принудительному изгнанию людей и их уничтожению в астрономических масштабах — явлениям столь непривычным до этого, что для них пришлось придумать новые слова, такие как «апатрид» (лицо без гражданства) и «геноцид». Первая мировая война привела к истреблению турками до сих пор точно не установленного числа армян (самая распространенная цифра — 1,5 миллиона), что можно считать первой в новейшее время попыткой уничтожения целого народа. Впоследствии произошло более известное массовое истребление нацистами около 5 миллионов евреев — о достоверности этой цифры тоже до сих пор идут споры (Hilberg, 1985). В результате одной только Первой мировой войны и русской революции с насиженных мест были сорваны миллионы людей, ставшие беженцами или жертвами столь же масштабных принудительных «обменов населения» между странами. В общей сложности 1,3 миллиона греков были репатриированы в Грецию, главным образом из Турции, 400 тысяч турок высланы в государство, которое заявляло на них права, около 200 тысяч болгар переселены на сократившуюся в размерах историческую родину; помимо этого, 1,5 или 2 миллиона российских подданных, спасавшихся от русской революции или воевавших на стороне побежденных во время гражданской войны, оказались лишенными родины. Главным образом по этим причинам, а не из-за бегства спасавшихся от геноцида 320 тысяч армян был изобретен новый документ для тех, кто во все более бюрократизирующемся мире не имел бюрократических оснований для проживания ни в одной стране, — «нансеновский паспорт» Лиги Наций, названный в честь великого норвежского исследователя, избравшего своей второй профессией помощь обездоленным. По приблизительным подсчетам, за 1914—1922 годы в мире появилось от 4 до 5 миллионов беженцев.

Однако этот первый поток выброшенных за борт людей был несопоставим с потоком беженцев Второй мировой войны ни по численности, ни по бесчеловечности обращения с ними. Подсчитано, что к маю 1945 года в Европе находилось около 40,5 миллиона принудительно перемещенных лиц, не считая

насильственно угнанных на работу в Германию, и немцев, бежавших от наступающих советских войск (*Kulischer, 1948, p. 253—273*). Около 13 миллионов немцев были изгнаны с территорий Германии, аннексированных Польшей и СССР, а также из Чехословакии и районов Юго-Восточной Европы, в которых они издавна проживали (*Holborn, p. 363*). Их приняла новая Федеративная Республика Германия, предложившая дом и гражданство любому вернувшемуся немцу, так же как новое государство Израиль предложило право на репатриацию любому еврею. Когда, кроме эпохи массового бегства людей, государства могли серьезно делать подобные предложения? Из 11 332 700 «перемещенных лиц» разных национальностей, обнаруженных в Германии армиями победителей в 1945 году, 10 миллионов вскоре вернулись к себе на родину, хотя половина из них была вынуждена сделать это вопреки своему желанию (*Jacobmeyer, 1986*).

Однако существовали не только европейские беженцы. Деколонизация Индии в 1947 году породила 15 миллионов беженцев, вынужденных пересекать новые границы между Индией и Пакистаном в обоих направлениях, не считая 2 миллионов, убитых во время волнений среди гражданского населения, сопровождавших деколонизацию. В результате корейской войны (еще одного побочного следствия Второй мировой войны) появилось около 5 миллионов корейских беженцев. После создания Израиля (что тоже явилось последствием Второй мировой войны) около 1,3 миллиона палестинцев было зарегистрировано Ближневосточным агентством ООН по делам палестинских беженцев; в свою очередь, к началу 1960-х годов 1,2 миллиона евреев мигрировали в Израиль, большей частью также в качестве беженцев. Одним словом, глобальная катастрофа, вызванная Второй мировой войной, без преувеличения стала самой массовой в истории человечества. Не менее трагическим последствием этой катастрофы является то, что человечество научилось жить в таком мире, где убийства, насилие и массовое изгнание стали повседневностью, на которую мы просто не обращаем внимания.

Тридцатилетие, прошедшее со времени убийства австрийского эрцгерцога в Сараеве до безоговорочной капитуляции Японии, следует считать столь же разрушительным периодом, каким для Германии семнадцатого века стала Тридцатилетняя война. И Сараево — первое Сараево, — безусловно, стало началом всеобщей эпохи катастроф и кризисов в мировой истории, что является предметом рассмотрения настоящей и последующих четырех глав. Тем не менее поколениям, живущим после 1945 года, тридцатилетняя война не оставила по себе память того же рода, как ее более локальная предшественница семнадцатого века.

Это произошло отчасти оттого, что непрерывной эпохой войн она представляется лишь историку. Для тех, кто ее пережил, то был опыт двух различных, хотя и связанных между собой войн, разделенных относительно мир-

ным межвоенным периодом, составившим от 13 лет для Японии (чья вторая война началась в 1931 году в Маньчжурии) до 23 лет для США (которые не вступали во Вторую мировую войну вплоть до декабря 1941 года). Так произошло еще и потому, что каждая из этих войн имела свою собственную историческую природу и характер. Обе стали кровавыми бойнями, не знавшими аналогий, оставив в памяти ужасы «технического» истребления людей, наполнявшие дни и ночи следующих поколений: отравляющие газы и воздушные бомбардировки после Первой мировой войны, грибообразное облако атомного взрыва — после Второй. Обе войны закончились социальным крахом и (как мы увидим в следующей главе) революциями на обширных территориях Европы и Азии. Обе оставили воюющие стороны истощенными и ослабленными, за исключением США, которые вышли из обеих войн, не только не понеся потерь, но обогатившись и став экономическим владыкой мира. И все же насколько разительно различие между этими войнами! Первая мировая война ничего не решила. Те надежды, которые она породила — на мирное сосуществование народов под руководством Лиги Наций, на возрождение мировой экономики образца 1913 года и даже (среди тех, кто приветствовал русскую революцию) на свержение мирового капитализма в течение нескольких лет и даже месяцев поднявшимися угнетенными массами, — все эти надежды были вскоре развеяны. К прошлому не было возврата, будущее постоянно откладывалось, настоящее оказалось горьким и мучительным, за исключением нескольких недолгих лет в середине 1920-х годов. Вторая мировая война, напротив, способствовала решению многих вопросов, по крайней мере на несколько последующих десятилетий. Острые социальные и экономические проблемы, присущие капитализму «эпохи катастроф», казалось, сгладились. Экономика западного мира вступила в золотой век, западная политическая демократия, опираясь на небывалый рост жизненного уровня, демонстрировала свою прочность, война была изгнана в страны третьего мира. С другой стороны, выяснилось, что революция также нашла пути для развития. Прежние колониальные империи прекратили существование или находились на грани исчезновения. Союз коммунистических стран, объединившихся вокруг СССР, теперь превратившегося в сверхдержаву, казалось, мог бросить вызов Западу в экономическом соревновании. На поверку все это оказалось иллюзией, но рассеиваться она начала не ранее 1960-х годов. Насколько нам теперь известно, стабилизировалась даже международная обстановка, хотя в то время ситуация выглядела несколько иначе. В отличие от первой послевоенной эпохи, бывшие враги — Германия и Япония — вновь интегрировались в западную экономику, а новые враги — США и СССР — так и не дошли до открытой схватки.

Даже революции, которыми закончились обе войны, были совершенно различными. Социальные потрясения после Первой мировой войны были

порождены отвращением к тому, что большинство современников считало бессмысленной бойней. Эти революции носили антивоенный характер. Революции, произошедшие после Второй мировой войны, возникли на волне народной борьбы против общего врага — Германии, Японии, т. е. против империализма. Эти революции, как бы ни были они кровопролитны, их участники считали справедливыми. Но с точки зрения историка оба типа послевоенных революций, как и обе мировые войны, можно рассматривать как единый процесс. К этому предмету мы теперь и обратимся.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мировая революция

При этом [Бухарин] добавил: «Думаю, что мы вступили в тот период революции, который может продлиться пятьдесят лет, прежде чем она, наконец, победит во всей Европе, а затем и во всем мире».

Артур Рэнсом. Шесть недель в России в 1919 (Ransome, 1919, p. 54)

Как ужасно читать поэму Шелли (не говоря уже о песнях египетских крестьян 3000-летней давности), осуждающую угнетение и эксплуатацию. Наверное, их будут читать и в будущем, когда все еще сохранятся угнетение и эксплуатация, и люди скажут: «Еще в те дни...»

*Бертольд Брехт,
читая «Маску анархии» Шелли в 1938 году (Brecht, 1964)*

Вслед за французской революцией в Европе произошла русская революция, и это еще раз напомнило миру, что даже самый могущественный из захватчиков может быть побежден, если судьба отечества находится в руках бедноты, пролетариата, рабочих людей.

*Из стенной газеты итальянских партизан 19-й бригады
Эусебио Джамбоне, 1944 (Ravone, 1991, p. 406)*

Порождением войны двадцатого века стала революция, в частности русская революция 1917 года (в результате которой появился Советский Союз, на завершающем этапе тридцатилетия мировых войн превратившийся в сверхдержаву), а в более общем смысле революция как общемировая константа в истории двадцатого столетия. Сама по себе война не обязательно приводит к кризису, распаду и революции в воюющих государствах. В действительности до 1914 года наблюдалась как раз противоположная практика, во всяком случае в отношении прочных режимов, не испытывавших проблем с легитимностью власти. Наполеон I горько жаловался, что австрийский император мог благополучно властвовать, проиграв сотню сражений, а король Пруссии — пережив

военную катастрофу и потеряв половину своих земель, в то время как сам он, дитя французской революции, оказался бы под угрозой после первого поражения. Но в двадцатом веке влияние мировых войн на государства и народы стало столь огромным и беспрецедентным, что они были вынуждены напрягаться до последних пределов, а то и до точки разрушения. Только США вышли из мировых войн почти такими же, как вступали в них, разве что став еще сильнее. Все остальные государства в конце войны ждали серьезные потрясения.

Казалось очевидным, что прежний мир обречен. Старое общество, старая экономика, старые политические системы, как говорят китайцы, «утратили благословение небес». Человечеству нужна была альтернатива. К 1914 году она уже существовала. Социалистические партии, опираясь на поддержку растущего рабочего класса своих стран и вдохновленные верой в историческую неизбежность его победы, олицетворяли эту альтернативу в большинстве стран Европы (*Эпоха империй*, глава 5). Казалось, нужен лишь сигнал, и народ поднимется, чтобы заменить капитализм социализмом, а бессмысленные страдания мировой войны — чем-то более позитивным, например кровавыми муками и конвульсиями рождения нового мира. Русская революция или, точнее, большевистская революция в октябре 1917 года была воспринята миром в качестве такого сигнала. Поэтому для двадцатого столетия она стала столь же важным явлением, как французская революция 1789 года для девятнадцатого века. Не случайно история двадцатого века, являющаяся предметом исследования этой книги, фактически совпадает со временем жизни государства, рожденного Октябрьской революцией.

Однако Октябрьская революция имела гораздо более глобальные последствия, чем ее предшественница. Хотя идеи французской революции, как уже известно, пережили большевизм, практические последствия октября 1917 года оказались гораздо более значительными и долгосрочными, чем последствия событий 1789 года. Октябрьская революция создала самое грозное организованное революционное движение в современной истории. Его мировая экспансия не имела себе равных со времен завоеваний ислама в первый век его существования. Прошло всего лишь тридцать или сорок лет после прибытия Ленина на Финляндский вокзал в Петрограде, а около трети человечества оказались живущими при режимах, прямо заимствованных из «Десяти дней, которые потрясли мир» (*Reed, 1919*), под руководством ленинской организационной модели — коммунистической партии. После второй волны революций, возникших на заключительной стадии длительной мировой войны 1914—1945 годов, большинство охваченных ими стран пошло по пути СССР. Предметом настоящей главы является именно эта двухступенчатая революция, хотя сначала мы рассмотрим первую, определяющую революцию 1917 года и тот особый отпечаток, который она наложила на своих последователей.

Влияние, оказанное ею, было поистине огромно.

I

В течение значительного периода «короткого двадцатого века» советский коммунизм претендовал на то, чтобы стать альтернативной капитализму более прогрессивной системой, исторически призванной одержать над ним победу, поскольку большую часть этого периода даже многие из тех, кто отвергал притязания коммунизма на превосходство, были уверены, что он победит. За исключением достаточно существенного периода 1933—1945 годов (см. главу 5), международную политику всего «короткого двадцатого века», начиная с Октябрьской революции, легче всего расценивать как извечную борьбу сил старого порядка против социальной революции, победу которой напрямую связывали с судьбой Советского Союза и международного коммунизма.

По мере того как проходил «короткий двадцатый век», подобное представление о мировой политике как о дуэли двух конкурирующих социальных систем (каждая из которых после 1945 года объединилась вокруг сверхдержавы, обладавшей оружием массового поражения) становилось все менее реалистичным. К 1980-м годам это так же мало значило для международной политики, как крестовые походы. Тем не менее можно понять, откуда возникло такое представление. Вспомним, что с еще большей убежденностью, чем даже французская революция в якобинский период, Октябрьская революция считала себя не столько национальным, сколько всемирным явлением. Она совершалась не для того, чтобы дать свободу и социализм России, а чтобы стать началом мировой пролетарской революции. Для Ленина и его товарищей победа большевизма в России являлась прежде всего началом сражения за победу большевизма в более широком мировом масштабе, которая только в этом случае имела смысл.

То, что царская Россия созрела для революции, вполне ее заслуживала и что эта революция несомненно свергнет царизм, признавалось всеми здравомыслящими наблюдателями в мире начиная с 1870-х годов (см. *Эпоху империи*, главу 12). После 1905—1906 годов, когда царизм был фактически поставлен революцией на колени, никто серьезно в этом не сомневался. Некоторые историки утверждают, что, если бы не катастрофа Первой мировой войны и большевистской революции, царская Россия превратилась бы в процветающее либерально-капиталистическое индустриальное государство и была уже на пути к нему, однако потребуется микроскоп, чтобы обнаружить предпосылки этого до 1914 года. В действительности нерешительный и непрочный царский режим, едва оправившись от революции 1905 года, снова оказался перед лицом растущей волны социального недовольства. Несмотря на преданность армии, полиции и государственного аппарата, в последние месяцы перед началом войны казалось, что страна вновь находится на грани революции. Однако, как и во многих воевавших государствах, массовый энтузиазм

и патриотизм в начале войны разрядили политическую ситуацию (в случае России ненадолго). К 1915 году проблемы царского правительства опять казались непреодолимыми, так что революция, произошедшая в марте 1917 года, вовсе не стала неожиданностью*. Она опрокинула русскую монархию и была встречена с радостью всем западным политическим миром, кроме самых закоренелых традиционалистов-реакционеров.

И все же, за исключением романтиков, видевших прямой путь от коллективизма российской деревни к социалистическому обществу, все наблюдатели были уверены, что русская революция не может быть социалистической. Для подобных преобразований не было условий в крестьянской стране, являвшейся олицетворением бедности, невежества и отсталости, где промышленный пролетариат, назначенный Марксом на роль могильщика капитализма, составлял всего лишь очень малую, хотя и сплоченную часть общества. Эту точку зрения разделяли даже русские революционеры-марксисты. Само по себе свержение царизма и упразднение системы крупного землевладения могло, как и ожидалось, вызвать буржуазную революцию. Классовая борьба между буржуазией и пролетариатом (которая, согласно Марксу, может иметь только один исход) затем продолжалась бы в новых политических условиях. Конечно, Россия не находилась в изоляции, и революция в этой огромной стране, простиравшейся от Японии до Германии, одной из небольшого числа «великих держав», определявших ситуацию в мире, не могла не иметь огромных международных последствий. Сам Карл Маркс в конце жизни надеялся, что русская революция послужит неким детонатором, вызвав пролетарскую социалистическую революцию в промышленно более развитых западных странах, где имелись для нее все условия. Как мы увидим, в конце Первой мировой войны казалось, что все именно так и произойдет.

Существовала лишь одна сложность. Если Россия не была готова к марксистской пролетарской социалистической революции, значит, она не была готова и к либерально-буржуазной революции. Однако даже те, кто мечтал только об этой революции, должны были найти способ осуществить ее, не опираясь на малочисленный и ненадежный российский либеральный средний класс — незначительное меньшинство населения, не обладавшее ни репутацией, ни общественной поддержкой, ни традициями участия в представительных органах

* Поскольку Россия все еще использовала юлианский календарь, на тринадцать дней отстававший от григорианского, принятого в остальном христианском и западном мире, Февральская революция на самом деле произошла в марте, а Октябрьская — 7 ноября. Именно Октябрьская революция реформировала русский календарь, как она реформировала и русскую орфографию, продемонстрировав глубину своего влияния. Хорошо известно, что даже подобные незначительные изменения обычно требуют социально-политических потрясений. Так, самым долгосрочным последствием французской революции мирового масштаба явилось введение метрической системы мер.

власти. Кадеты — партия буржуазных либералов — получили менее 2,5 % депутатских мандатов в избранном свободным голосованием (и вскоре распущенном) Учредительном собрании 1917—1918 годов. Иначе буржуазно-либеральную революцию в России можно было осуществить лишь с помощью восстания крестьян и рабочих, которые не знали и не интересовались тем, что это такое, под руководством революционных партий, имевших другие цели; однако, вероятнее всего, силы, делавшие революцию, перешли бы от буржуазно-либеральной стадии к более радикальной «перманентной революции» (используя выражение Маркса, воскрешенное во время революции 1905 года молодым Троцким). В 1917 году Ленин (чьи мечты в 1905 году не шли дальше создания буржуазно-демократической России) сразу же понял, что либеральной лошадке не победить на российских революционных скачках. Это была реалистичная оценка. Однако в 1917 году он, как и остальные российские и нероссийские марксисты, понимал, что в России просто не существовало условий для *социалистической* революции. Русским революционерам-марксистам было ясно, что их революция должна распространиться куда-нибудь в другое место.

По всем признакам казалось, что именно так и произойдет, поскольку Первая мировая война закончилась массовым крушением политических систем и революционным кризисом, в частности в потерпевших поражение странах. В 1918 году все четыре правителя побежденных держав (Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии) лишились своих тронов, как и царь побежденной Германией России, свергнутый еще в 1917 году. Кроме того, социальная нестабильность, в Италии чуть не закончившаяся революцией, ослабила даже те европейские государства, которые вышли из войны победителями.

Как мы уже говорили, общественные системы европейских стран, принимавших участие в войне, начали разрушаться под воздействием страшных военных перегрузок. Волна патриотизма, сопровождавшая начало войны, пошла на спад. К 1916 году усталость от войны начала превращаться в угрюмое и тихое недовольство бесконечной и бессмысленной бойней, которой, казалось, никто не хочет положить конец. В 1914 году противники войны чувствовали свою беспомощность и одиночество, однако в 1916 году они уже понимали, что говорят от имени большинства. Насколько круто изменилась ситуация, было продемонстрировано, когда 28 октября 1916 года Фридрих Адлер, сын лидера и основателя австрийской социалистической партии, обдуманно и хладнокровно застрелил в венском кафе австрийского премьер-министра графа Штюргка (в ту эпоху еще не знали о службе безопасности). Это была акция публичного антивоенного протеста.

Антивоенные настроения, безусловно, укрепили политические позиции социалистов, все более решительно возвращавшихся к прежней оппозиционности войне, провозглашенной ими до 1914 года. В действительности некоторые партии (например, в России, Сербии и Великобритании) никогда не пе-

реставали быть противниками войны, и даже когда социалистические партии ее поддерживали, именно в их рядах можно было найти ее главных громогласных противников *. В это же время организованное рабочее движение, возникшее в гигантской военной промышленности всех воюющих держав, стало главным центром антикапиталистической и антивоенной деятельности. Профсоюзные активисты на фабриках — опытные работники, искушенные в переговорах с владельцами («цеховые старосты» в Великобритании, «*betriebsobleute*» в Германии) — стали символами радикализма, так же как мастера и механики новых, оснащенных современной техникой военных кораблей, похожих на плавучие фабрики. И в России, и в Германии главные военно-морские базы (Кронштадт, Киль) стали основными революционными центрами. Во время гражданской войны в России 1918—1920 годов восстание на французских военных кораблях в Черном море явилось причиной прекращения французской военной интервенции против большевиков. Так антивоенные настроения приобрели цель и организаторов. Именно в это время австро-венгерские цензоры, проверявшие корреспонденцию своих солдат, стали замечать изменение тона в их письмах. «Если бы только Господь ниспослал нам мир» превратилось в «с нас хватит» или даже в «говорят, что социалисты собираются заключить мир».

Поэтому неудивительно (по сведениям тех же цензоров), что русская революция явилась первым политическим событием в мировой войне, нашедшим отражение даже в письмах крестьянских и рабочих жен. Естественно (особенно после того, как Октябрьская революция привела к власти большевиков), что устремления к миру и социальной революции слились воедино: в трети всех писем, перлюстрированных с ноября 1917 по март 1918 года, выражались надежды на обретение мира с помощью России, еще в одной трети — с помощью революции, а в остальных 20 % — при сочетании того и другого. То, что русская революция должна иметь исключительное международное влияние, было ясно всегда: даже ее первый этап 1905—1906 годов заставил пошатнуться самые древние империи, от Австро-Венгрии и Турции до Персии и Китая (*Эпоха империй*, глава 12). К 1917 году вся Европа превратилась в пороховой погреб, в любую минуту готовый взорваться.

II

Россия, созревшая для социальной революции, измученная войной и находящаяся на грани поражения, стала первым из режимов Центральной и Восточ-

* По этой причине в 1917 году влиятельная Независимая социал-демократическая партия Германии (НСДПГ) откололась от большинства социалистов (СПГ), продолжавших поддерживать войну.

ной Европы, рухнувших под тяжестью стрессов и перегрузок Первой мировой войны. Этот взрыв ожидался, хотя никто не мог предсказать время и обстоятельства детонации. За несколько недель до Февральской революции Ленин в своем швейцарском изгнании все еще сомневался, доживет ли он до нее. Царское правление рухнуло в тот момент, когда демонстрация женщин-работниц (во время празднования традиционного для социалистического движения «женского дня» — 8 марта, совпавшего с массовым увольнением рабочих на известном своей революционностью Путиловском заводе) для проведения всеобщей забастовки отправилась в центр столицы через покрытую льдом реку, по существу, требуя лишь хлеба. Слабость режима проявилась, когда царские войска и даже всегда послушные казаки остановились, а потом отказались атаковать толпу и начали брататься с рабочими. Когда после четырех дней волнений войска взбунтовались, царь отрекся и был заменен либеральным Временным правительством не без некоторой симпатии и даже помощи со стороны западных союзников, боявшихся, что находящийся в безнадежном положении царский режим может отказаться от участия в войне и подпишет сепаратный мир с Германией. Четыре анархических дня, когда Россией никто не управлял, положили конец Империи *. Более того, Россия уже настолько была готова к социальной революции, что массы Петрограда немедленно расценили падение царя как провозглашение всеобщей свободы, равенства и прямой демократии. Выдающимся достижением Ленина стало превращение этой неуправляемой анархической народной волны в большевистскую силу.

Итак, вместо либеральной и конституционной, ориентированной на Запад России, готовой и стремящейся воевать с Германией, возник революционный вакуум: с одной стороны беспомощное Временное правительство, а с другой — масса народных Советов, спонтанно вырвавшихся повсюду, как грибы после дождя **. Советы действительно обладали властью или, по крайней мере, правом вето у себя на местах, но понятия не имели, как эту власть использовать. Различные революционные партии и организации — большевики, меньшевики, социал-демократы, социал-революционеры и многочисленные мелкие левые фракции, — выйдя из подполья, старались утвердиться в

* Человеческая цена, заплаченная за это, была выше, чем цена октябрьского переворота, хотя и относительно скромной: ранены и убиты были 53 офицера, 602 солдата, 73 полицейских и 587 гражданских лиц (*W. H. Chamberlain, 1965, vol. 1, p. 85*).

** Такие «Советы», по-видимому, берущие свое начало от российских самоуправляемых деревенских общин, возникли как политические объединения среди фабричных рабочих во время революции 1905 года. Поскольку собрания избираемых напрямую делегатов были повсеместно знакомы организованному рабочему движению и апеллировали к их врожденному чувству демократии, термин «Совет» в переводе на местные языки иногда имел сильную интернационалистскую окраску.

этих органах, чтобы координировать их и подстраивать под свою политику, хотя первоначально только Ленин видел в них альтернативу правительству («вся власть Советам»). После свержения царизма лишь малая часть населения знала, что представляли собой лозунги революционных партий, а если даже и знала, то вряд ли могла отличить их от лозунгов их противников. Народ больше не признавал никакую власть, даже власть революционеров, хотя те и претендовали на первенство.

Городская беднота требовала хлеба, рабочие — увеличения заработной платы и сокращения рабочего дня. Основным требованием крестьян, составлявших 80 % населения, являлась земля. И все сходились в желании прекращения войны, хотя масса солдат — бывших крестьян, из которых состояла армия, — сначала выступала не против войны как таковой, а против жесткой дисциплины и грубого обращения высших чинов. Лозунги с требованием хлеба, мира и земли завоевали быстро растущую поддержку, как и те, кто их распространял. В основном это были большевики, число которых из небольшой группы в несколько тысяч в марте 1917 года к началу лета увеличилось до четверти миллиона. Вопреки мифологии «холодной войны», представлявшей Ленина организатором переворотов, единственным подлинным преимуществом, которым обладали большевики, была способность понимать то, чего хотят массы, и вести их в нужном направлении. Когда Ленин понял, что, вопреки программе социалистов, крестьяне хотят раздела земли на семейные участки, он немедленно призвал большевиков к этой форме экономического индивидуализма.

Напротив, Временному правительству и его сторонникам не удалось осознать свою неспособность заставить Россию подчиняться его законам и декретам. Когда коммерсанты и управляющие пытались наладить трудовую дисциплину, они лишь восстанавливали против себя рабочих. Когда Временное правительство настаивало на том, чтобы бросить армию в новое наступление в июне 1917 года, армия уже не хотела воевать, и крестьяне-солдаты отправились домой в свои деревни, чтобы вместе с семьями принять участие в дележе земли. Революция распространялась вдоль линий железных дорог, по которым они возвращались назад. Еще не настало время для немедленного свержения Временного правительства, но начиная с лета недовольство усиливалось и в армии, и в главных городах, что было на руку большевикам. В основном крестьянство поддерживало наследников народников — социал-революционеров (*Эпоха капитала*, глава 9), хотя их радикальное левое крыло тяготело к большевикам и даже непродолжительное время входило в их правительство после Октябрьской революции.

Когда большевики (в то время в основном рабочая партия) почувствовали свою власть в главных российских городах и особенно в столицах, Москве и Петрограде, и получили поддержку армии, положение Временного прави-

тельства стало еще более шатким, особенно в августе 1917 года, когда ему пришлось обратиться к революционным силам в столице для отражения попытки контрреволюционного переворота, предпринятой генералом Корниловым. Поднявшаяся волна поддержки неумолимо толкала большевиков к немедленному захвату власти. В действительности, когда пришел этот момент, власть не столько нужно было захватить, сколько подобрать. Говорят, что больше людей пострадало на съемках великого фильма Эйзенштейна «Октябрь», чем во время настоящего штурма Зимнего дворца 7 ноября 1917 года. Временное правительство, которое никто не стал защищать, просто растаяло в воздухе.

С момента падения Временного правительства и до настоящего времени идут постоянные споры по поводу Октябрьской революции, как правило, не имеющие смысла. Главный вопрос состоит не в том, был ли это военный или мирный государственный переворот, осуществленный врагом демократии Лениным, а в том, к чему могло привести падение Временного правительства. С начала сентября Ленин пытался убедить колеблющихся соратников не только в том, что власть может легко ускользнуть от них, если очень быстро не захватить ее путем спланированной акции, когда она находится так близко. Так же настойчиво он ставил вопрос: «Смогут ли большевики удержать государственную власть, если они ее захватят?» Что реально могли сделать те, кто попытался бы управлять проснувшимся вулканом революционной России? Ни одна партия, кроме большевиков, не была готова взять на себя эту ответственность, а ленинская статья «Большевики должны взять власть!» наводит на мысль, что далеко не все члены партии разделяли его уверенность. Имея благоприятную политическую ситуацию в Петрограде, Москве и северных армиях и получив на короткое время возможность *немедленного* захвата власти, было действительно трудно выбрать другой путь. Военная контрреволюция только начиналась. Находившееся в безнадежном положении Временное правительство, не желавшее подчиниться Советам, могло сдать Петроград германской армии, подошедшей уже к северной границе теперешней Эстонии и находившейся в нескольких милях от столицы. Ленин редко боялся смотреть в лицо даже самым мрачным фактам. Он понимал, что, если большевики упустят время, поднявшаяся волна анархии может спутать их карты. В конце концов ленинские аргументы убедили его соратников. Если революционная партия не захватила власть, когда текущий момент и массы призывали ее, чем она тогда отличается от нереволюционной партии?

Однако дальнейшие перспективы были неясны, даже если предположить, что власть, захваченную в Петрограде и Москве, можно будет распространить на остальную Россию и удержать вопреки анархии и контрреволюции. План Ленина поручить новому Советскому правительству (т. е. первоначально партии большевиков) «социалистическое преобразование Российской

республики» по существу являлся авантюрой по превращению русской революции в мировую или, по крайней мере, в европейскую революцию. Разве можно вообразить, часто говорил он, что победа социализма «может произойти (...) если не будет полностью уничтожена русская и европейская буржуазия»? Между тем главной и единственной задачей большевиков было удержать власть. Заявления нового режима о том, что его цель — это социализм, были лишь пустыми декларациями. На деле он занялся национализацией банков, установлением «рабочего контроля» над существующими предприятиями, т. е. официально взял под контроль всю их деятельность со времени революции, требуя непрекращающегося производства. Больше говорить было не о чем*.

Новый режим удержался. Он пережил позорный мир, навязанный Германией в Брест-Литовске за несколько месяцев до того, как она сама потерпела поражение; в результате были потеряны Польша, балтийские земли, Украина и значительные части Южной и Западной России, а также фактически и Закавказье (Украину и Закавказье впоследствии удалось вернуть). Союзники не видели оснований вести себя благородно по отношению к мировому центру подрывной деятельности. Различные контрреволюционные «белые» армии и режимы поднялись против Советов, финансируемые союзниками, которые посылали британские, французские, американские, японские, польские, сербские, греческие и румынские войска на русскую землю. В худшие периоды жестокой и хаотичной гражданской войны 1918—1920 годов Советская Россия уменьшилась до клочка территории в Северной и Центральной России где-то между Уралом и теперешними прибалтийскими государствами с незащищенным перстом Петрограда, указующим на Финский залив. Единственными важными преимуществами, которые имел новый режим, из ничего создавший победоносную Красную армию, являлись неавторитетность и разобщенность «белых», восстановивших против себя российское крестьянство, и вполне обоснованные подозрения западных держав по поводу отправки своих мятежных солдат и матросов на войну с революционными большевиками. К концу 1920 года большевики одержали победу.

Итак, вопреки ожиданиям, Советская Россия выжила. Власть большевиков просуществовала не только дольше, чем Парижская коммуна в 1871 году (как заметил Ленин с гордостью и облегчением через два месяца и пятнадцать дней после переворота), но сохранилась в годы непрекращающегося кризиса и катастроф, германского нашествия и позорного мира, потери территорий, контрреволюции, гражданской войны, иностранной военной ин-

* «Я говорил им: делайте все, что хотите, берите все, что вам нужно, мы поддержим вас, но заботьтесь о производстве, заботьтесь о том, чтобы производство было полезным. Переходите на полезные работы, вы будете делать ошибки, но вы научитесь» (Ленин. Доклад о деятельности Совета народных комиссаров, 11 (24) января 1918 г.) (*Lenin, 1970, p. 551*).

тервенции, голода и экономического упадка. Она не могла иметь стратегии и перспективы, каждый день выбирая между решениями, необходимыми для сиюминутного выживания и теми, которые грозили немедленной катастрофой. Кто в состоянии учесть возможные отдаленные последствия для революции решений, которые должны приниматься немедленно, иначе — конец и никаких отдаленных последствий уже не будет? Один за другим все необходимые шаги были сделаны. Когда новая Советская республика выбралась из ужасов сражений, оказалось, что ее ведут в направлении, далеко от того, которое имел в виду Ленин, выступая на Финляндском вокзале.

И все-таки революция выжила. Это произошло по трем главным причинам: первая — она обладала исключительно сильным аппаратом государственного строительства, состоявшим из шестисоттысячной централизованной и дисциплинированной коммунистической партии. Какова бы ни была ее роль до революции, эта организационная модель, без устали пестуемая и защищаемая Лениным с 1902 года, добилась своей цели. Фактически всем революционным режимам двадцатого века пришлось взять за основу ее принципы. Во-вторых, было совершенно очевидно, что это *единственное* правительство, которое могло и хотело сохранить Россию как единое государство. Поэтому оно получило значительную поддержку многих русских патриотов, в частности офицеров, без которых не могла быть создана новая Красная армия. По этим причинам с исторической точки зрения выбор в 1917—1918 годах происходил не между либерально-демократической или нелиберальной Россией, а между существованием России и ее распадом, как случилось с другими устаревшими и побежденными империями, например с Австро-Венгрией и Турцией. В отличие от них большевистская революция в целом сохранила многонациональное территориальное единство старого царского государства по крайней мере в течение следующих семидесяти четырех лет. Третьей причиной было то, что революция разрешила крестьянству взять землю. Когда дошло до дела, коренная масса великорусского крестьянства — основа этой страны, как и ее новой армии, решила, что для них больше шансов получить землю при «красных», чем при возврате прежних помещиков. Это дало большевикам решающее преимущество в гражданской войне 1918—1920 годов. Однако, как оказалось, русские крестьяне были слишком большими оптимистами.

III

Мировой революции, которая оправдала бы решение Ленина вести Россию к социализму, не произошло, вследствие чего Советская Россия была ввергнута в период разрухи, отсталости и изоляции. Выбор ее будущего развития был

предопределен или, по крайней мере, точно обозначен (см. главы 13 и 16). Волна революций прокатилась по земному шару в течение двух лет после Октября, и надежды приведенных в боевую готовность большевиков казались не лишены оснований. «*Völker, hört die Signale*» («Люди, слушайте сигналы») была первая строчка припева Интернационала в Германии. Сигналы звучали, громко и отчетливо, из Петрограда и, после того как в 1918 году столица была перенесена в более безопасное место,— из Москвы*. Они были слышны везде, где имели влияние рабочие и социалистические движения, независимо от их идеологии. «Советы» были созданы рабочими табачного производства на Кубе, где мало кто знал, где находится Россия. Годы 1917—1919 в Испании стали известны как «большевистское двухлетие», хотя местные левые были страстными анархистами, т. е. политически находились на противоположном полюсе от Ленина. Революционные студенческие движения вспыхивали в Пекине в 1919 году и Кордобе (Аргентина) в 1918 году, вскоре распространившись по всей Латинской Америке и породив местных революционных марксистских лидеров и их партии. Индейский националист и повстанец М. Т. Рой попал под влияние революционных идей в Мексике, где местная революция, вступившая в наиболее радикальную фазу в 1917 году, сразу же объявила о своем духовном родстве с революционной Россией. Маркс и Ленин стали ее иконами вместе с Монтесумой и Эмилиано Сапатай, вдохновляя на борьбу рабочих-индейцев. Изображения этих вождей все еще можно увидеть на громадных фресках мексиканских художников-революционеров. Через несколько месяцев Рой приехал в Москву, чтобы сыграть главную роль в формировании новой антиколониальной политики Коминтерна. Благодаря жившим в Индонезии голландским социалистам (таким, как Хенк Снеевлит) Октябрьская революция оказала влияние на самую массовую организацию индонезийского национально-освободительного движения — «Сарекат Ислам». «Эта акция русского народа,— писала провинциальная турецкая газета,— когда-нибудь в будущем превратится в солнце и озарит все человечество». Далеко в глубине Австралии суровые стригали овец (в большинстве своем ирландские католики), не выказывавшие никакого интереса к политической теории, приветствовали Советы как государство рабочих. В США финны, в течение долгого времени являвшиеся наиболее убеж-

* Столицей царской России был Санкт-Петербург. Во время Первой мировой войны это название звучало слишком по-немецки и поэтому было заменено на Петроград. После смерти Ленина город был переименован в Ленинград (1924), а после развала СССР вернулся к своему первоначальному названию. Советский Союз (примеру которого следовали его некоторые угодливые сателлиты) был необычайно привержен политической топонимии, часто осложненной зигзагами и поворотами партийной линии. Так, Царицын на Волге стал Сталинградом, сценой эпического сражения во Второй мировой войне, но после смерти Сталина был переименован в Волгоград. Во время написания этих строк он все еще носит это название.

денными социалистами в эмигрантских землячествах, в массовом порядке становились коммунистами, проводя в мрачных шахтерских поселках Миннесоты митинги, «на которых упоминание имени Ленина заставляло сердце биться (...) В мистической тишине, почти в религиозном экстазе, мы восхищались всем, что приходило из России» (Koivisto, 1983). Одним словом, Октябрьская революция стала событием, которое потрясло мир.

Даже многие из тех, кто знал о революции не понаслышке, что, как правило, менее всего вызывает религиозный экстаз, стали ее приверженцами — от военнопленных, вернувшихся домой на родину убежденными большевиками и впоследствии ставших коммунистическим лидерами своих стран, подобно хорватскому механику Иосифу Броз (Тито), до журналистов, как, например, Артур Рэнсом из «*Manchester Guardian*» (незначительный политик, больше известный как автор замечательных детских книжек о море). Еще меньший приверженец большевизма, чешский писатель Ярослав Гашек, будущий автор «Похождения бравого солдата Швейка», впервые в жизни обнаружил, что стал борцом за идею и, что самое удивительное, начал меньше пить. Он принимал участие в гражданской войне как комиссар Красной армии, после чего вернулся к более привычной пьяной жизни среди пражской анархической богемы на том основании, что послереволюционная Советская Россия его разочаровала.

Тем не менее события, произошедшие в России, стимулировали не только революционеров, но, что более важно, и революции в других странах. В январе 1918 года, через несколько недель после взятия Зимнего дворца, когда большевики тщетно пытались любой ценой заключить мир с наступающей германской армией, волна массовых политических забастовок и антивоенных демонстраций прокатилась по Центральной Европе. Она началась в Вене, распространилась через Будапешт и чешские регионы в Германию и закончилась восстанием австро-венгерских военных моряков на Адриатике. Так как последние сомнения по поводу поражения «центральных держав» были развеяны, их армии в конце концов распались. В сентябре болгарские солдаты-крестьяне вернулись домой, провозгласили республику и отправились маршем на Софию, но сразу же были разоружены с помощью немцев. В октябре империя Габсбургов распалась на части после окончательного поражения на итальянском фронте. На ее месте были созданы новые государства-нации в надежде (которая оправдалась), что победившие союзники предпочтут их опасностям большевистской революции. И действительно, первой реакцией Запада на призыв большевиков к народам заключить мир и опубликование ими секретных соглашений, в которых союзники поделили между собой Европу, явились «Четырнадцать пунктов» президента Вильсона, разыгравшего националистическую карту против ленинского интернационализма. Зона небольших государств-наций должна была создать род карантинного пояса

против «красного вируса». В начале ноября мятежные матросы и солдаты распространили германскую революцию с военно-морской базы в Киле по всей стране. Была провозглашена республика, и место императора, отправившегося в голландское изгнание, в качестве главы государства занял социал-демократ и бывший шорник*.

Революция, сметая все режимы от Владивостока до Рейна, стала воплощением антивоенного протеста. С установлением мира ее взрывоопасность была в основном исчерпана. Социальное содержание революции оставалось туманным; правда, для солдат-крестьян Австро-Венгерской, Османской и Российской империй, мелких государств Юго-Восточной Европы и их семей оно состояло из четырех пунктов: требования земли, недоверия к столицам, чужеземцам (особенно евреям) и правительству. Благодаря этим требованиям крестьяне на больших пространствах Центральной и Восточной Европы стали сторонниками революции (однако не большевиков), за исключением Германии (кроме Баварии), Австрии и некоторых районов Польши. Их расположения пришлось добиваться с помощью земельной реформы даже в таких консервативных и контрреволюционных странах, как Румыния и Финляндия. С другой стороны, там, где они составляли большинство населения, это служило гарантией того, что социалисты (не говоря уже о большевиках) не победят на всеобщих демократических выборах. Подобное положение не обязательно создавало крестьянские бастионы политического консерватизма, однако служило фатальной помехой для левых социалистов или (как в Советской России) вело их к разочарованию в демократии. По этой причине большевики, сами требовавшие созыва Учредительного собрания (революционная традиция, известная с 1789 года), распустили его сразу же после начала работы, через несколько недель после Октября. Создание небольших государств-наций в соответствии с планами Вильсона, хотя и не устраняло национальные конфликты в зонах революций, также ослабляло возможность большевистской революции, что, безусловно, являлось целью союзников-миротворцев.

С другой стороны, влияние русской революции на европейские перевороты 1918—1919 годов было столь очевидным, что в Москве оптимистически смотрели на перспективы распространения революции среди мирового пролетариата. Тем не менее историкам (и даже некоторым местным революционерам) было ясно, что имперская Германия является социально и политически стабильным государством с мощным, но в основном умеренным рабочим движением, которое, конечно, не стало бы стремиться к вооруженной революции, если бы не война. В отличие от царской России и трещавшей по швам Австро-Венгрии, в отличие от Турции — пресловутого «европейского больно-

* Фридрих Эберт (1918—1925) (примеч. пер.).

го», а также в отличие от диких вооруженных обитателей гор юго-востока континента, в этой стране вряд ли можно было ожидать переворотов. И действительно, по сравнению со стремившимися к активным действиям революционными массами побежденных России и Австро-Венгрии, германские революционные солдаты, матросы и рабочие оставались такими же умеренными и законопослушными, какими их рисовали в своих анекдотах русские революционеры («там, где есть табличка, запрещающая публике ступить на траву, немецкие товарищи пойдут только по тропинке»).

И все же это было государство, где революционные матросы пронесли знамя Советов через всю страну, где исполнительный орган берлинских рабочих и солдатских депутатов учредил социалистическое правительство, где февраль и октябрь, казалось, слились воедино, поскольку власть в столице попала в руки социалистов-радикалов сразу же после отречения кайзера. Однако все это оказалось иллюзией, следствием полного, хотя и временного паралича старой армии, государства и властных структур под влиянием двойного шока от окончательного поражения и революции. Через несколько дней старый режим, превратившись в республику, снова оказался в седле и больше серьезно не беспокоился по поводу социалистов, которые даже не смогли получить большинства на первых выборах, хотя те проводились через несколько недель после революции *. Еще меньше новое правительство беспокоила вновь созданная на скорую руку коммунистическая партия, чьи лидеры, Карл Либкнехт и Роза Люксембург, были вскоре застрелены наемными убийцами.

Тем не менее революция 1918 года в Германии укрепила надежды российских большевиков, тем более что в Баварии в 1918 году была провозглашена социалистическая республика, просуществовавшая, правда, очень недолго, а весной 1919 года, после убийства ее лидера, недолговечная Советская республика была провозглашена в Мюнхене, столице немецкого искусства, интеллектуальной контркультуры и (что политически менее опасно) пива. Эти события совпали с другой, более серьезной попыткой распространения большевизма в западном направлении — созданием Венгерской Советской республики, просуществовавшей с марта по июль 1919 года **. Обе эти попытки были подавлены с предсказуемой жестокостью. Более того, разочарование в социал-демократах вскоре привело к радикализации немецких рабочих, многие из которых отдали предпочтение независимым социалистам, а после 1920 года — коммунистической партии, которая в результате стала самой крупной

* Умеренное большинство социал-демократов получило чуть менее 38% голосов, а революционные независимые социал-демократы — около 7,5%.

** Ее поражение разметало по всему миру диаспору политических и интеллектуальных беженцев. Среди них были Александр Корда, впоследствии ставший киномагнатом, и будущий актер Бела Лугоши, больше всего известный как звезда первого фильма ужасов «Дракула».

партией данного толка за пределами Советской России. После всего этого разве нельзя было ожидать в Германии аналога Октябрьской революции? Однако 1919 год, явившийся годом наивысшего подъема социальных волнений на Западе, принес поражение этой единственной попытке распространить большевистскую революцию за пределы России. Хотя в 1920 году революционная волна быстро пошла на убыль, большевистское руководство в Москве не оставляло надежд на революцию в Германии до конца 1923 года.

Однако именно в 1920 году большевики совершили то, что при взгляде в прошлое кажется главной их ошибкой,— произвели раскол международного рабочего движения. Они сделали это путем структурирования международной коммунистической организации по образцу авангарда ленинской партии, состоявшего из элиты штатных «профессиональных революционеров». Октябрьская революция, как мы видели, завоевала широкие симпатии среди социалистических движений всего мира, вышедших из мировой войны более радикальными и многократно умножившими свои силы. Как правило, в социалистических и рабочих партиях имелись большие группы людей, считавших, что следует вступить в новый, Третий (или Коммунистический) интернационал, созданный большевиками для замены Второго интернационала (1889—1914), скомпрометированного и ослабленного мировой войной, которой он не смог противостоять*. За это проголосовали социалистические партии Франции, Италии, Австрии и Норвегии и независимые социалисты Германии, оставив в меньшинстве неперестроившихся оппонентов большевизма. Однако Ленину и большевикам нужно было не международное движение социалистических сторонников Октябрьской революции, а корпус абсолютно преданных, дисциплинированных активистов, что-то вроде мировой ударной группы для революционных завоеваний. Партии, не желавшие принять ленинскую структуру, не допускались в новый Интернационал или исключались из него, поскольку он мог быть только ослаблен «пятыми колоннами» оппортунизма и реформизма, не говоря уже о том, что Маркс как-то назвал «парламентским кретинизмом». В предстоящем сражении было место лишь для солдат.

Однако все это имело смысл только при одном условии: мировая революция по-прежнему находится на подъеме и ее сражения произойдут в ближайшем будущем. Однако, несмотря на то что ситуация в Европе была далека от стабильности, в 1920 году стало ясно, что большевистская революция не стоит на повестке дня на Западе, хотя также было очевидно и то, что в России большевики утвердились надолго. Без сомнения, видя, как в Европе встречали Интернационал, можно было решить, что Красная армия, одержавшая по-

* Так называемым Первым интернационалом являлась основанная Карлом Марксом Международная ассоциация рабочих (1864—1872).

беду в гражданской войне, а теперь рвавшаяся к Варшаве, распространит революцию на Запад. Это могло стать побочным результатом короткой русско-польской войны, спровоцированной территориальными амбициями Польши. Возродив свою государственность после полутора столетий перерыва, Польша требовала восстановления границ восемнадцатого века, которые теперь находились далеко в глубине Белоруссии, Литвы и Украины. Наступление Советов, которое оставило замечательный литературный памятник — «Конармию» Исаака Бабеля, приветствовали многие современники, от австрийского романиста Йозефа Рота, впоследствии автора элегий, воспевавших Габсбургов, до Мустафы Кемаля, будущего главы Турции. Но среди польских рабочих не удалось поднять восстания, и Красная армия повернула назад от ворот Варшавы. С этого времени волнения на Западном фронте прекратились. Перспектива революции переместилась в Азию, которой Ленин всегда уделял большое внимание. И действительно, с 1920 по 1927 годы надежды мировой революции возлагались на Китай, где ширилось национально-освободительное движение, сначала под руководством Гоминьдана, а затем партии Национального освобождения, чей лидер Сунь Ятсен (1866—1925) приветствовал советскую модель, советскую военную помощь и рождение китайской коммунистической партии. Планировалось, что в 1925—1927 годах Гоминьдан в союзе с коммунистами совершит великое наступление на север со своих баз в Южном Китае, в результате чего впервые после падения империи в 1911 году большая часть Китая должна была оказаться под контролем единого правительства. Но глава националистов генерал Чан Кайши направил свои силы против коммунистов и разгромил их. Впрочем, даже когда еще не имелось доказательств, что Восток пока не созрел для пролетарской революции, надежды на Азию не могли компенсировать провал революции на Западе.

К 1921 году этот факт уже не вызывал сомнений. Революция шла на спад и в Советской России, хотя политическая власть большевиков была непоколебима. На Западе революция вообще была снята с повестки дня. Третий конгресс Коминтерна понял это, но полностью не признал, потребовав создания «объединенного фронта» с теми самыми социалистами, которых Второй конгресс Коминтерна вычеркнул из армии революционеров. Речь шла о подготовке будущих поколений революционеров. Но было уже слишком поздно. Движение окончательно раскололось, большинство левых социалистов, как отдельных деятелей, так и партий, опять вернулись в социал-демократический лагерь, руководимый в основном умеренными антикоммунистами. В европейском левом движении коммунисты составили меньшинство, причем (за исключением Германии, Франции и Финляндии) довольно малочисленное, хотя и страстно убежденное. Этому положению не суждено было измениться до 1930-х годов (см. главу 5).

IV

Годы революции породили не только огромную отсталую страну, руководимую коммунистами и преданную идее построения общества, альтернативного капиталистическому, они породили также дисциплинированное международное движение и, что не менее важно, поколение преданных идее революционеров, идущих под знаменем Октября и руководимых из штаб-квартиры в Москве. (Несколько лет существовали надежды вскоре перенести ее в Берлин, и немецкий, а не русский оставался официальным языком Интернационала в период между мировыми войнами.) Новое движение не знало, как развивать мировую революцию после стабилизации обстановки в Европе и поражения коммунизма в Азии. Беспорядочные попытки коммунистов инициировать разрозненные вооруженные восстания (в Болгарии и Германии в 1923 году, в Индонезии в 1926 году, в Китае в 1927 году, а также запоздалое и неподготовленное восстание в Бразилии в 1935 году) потерпели поражение. В мире в период между мировыми войнами чувствовалось приближение катастрофы, что вскоре доказали наступление Великой депрессии и приход к власти Гитлера (см. главы 3—5). Однако это не объясняет внезапного резкого перехода Коминтерна в период 1928—1934 годов к ультрареволюционной риторике и фракционному левачеству, поскольку, несмотря на речи и декларации, на практике революционное движение тогда нигде не было готово взять власть. Эту оказавшуюся политически пагубной смену ориентиров скорее можно объяснить изменением международной политики Советской коммунистической партии после прихода к руководству Сталина. Возможно, также имела место попытка компенсировать все более очевидное расхождение между интересами СССР как государства, которое неизбежно должно сосуществовать с другими государствами (СССР с 1920 года стал приобретать международное признание), и интересами движения, чьей целью являлось свержение всех остальных правительств.

В конце концов государственные интересы Советского Союза одержали победу над интересами Коминтерна, который Сталин низвел до инструмента советской государственной политики под жестким контролем коммунистической партии, чистя, перетасовывая и реформируя его кадры по своему желанию. Мировая революция принадлежала риторике прошлого. Теперь любая революция была приемлема только в том случае, если: а) она не входила в противоречие с советскими государственными интересами и б) могла быть подчинена прямому контролю Советов. Западные правительства, которые видели в наступлении коммунистических режимов после 1944 года по существу расширение власти Советов, без сомнения, понимали намерения Сталина; их понимали и «неперестроившиеся» революционеры, горько обвинявшие Москву в том, что она препятствует всем попыткам коммунистов взять

власть в свои руки, даже тогда, когда они оказались успешными, как в Югославии и Китае (см. главу 5).

Тем не менее до самого конца Советская Россия даже в глазах многих своекорыстных и коррумпированных представителей ее номенклатуры оставалась чем-то большим, нежели просто одной из великих держав. Освобождение мира и создание альтернативы капиталистическому обществу являлось, помимо прочего, ее главной целью. Ради чего еще могли бездушные московские бюрократы финансировать и вооружать партизан прокоммунистического Африканского национального конгресса, чьи шансы свергнуть систему апартеида в Южной Африке на протяжении десятилетий были ничтожно малы? (Как ни странно, китайский коммунистический режим, критиковавший СССР за предательство революционных движений после разрыва отношений между двумя этими странами, не имел сравнимых с СССР практических достижений в поддержке освободительных движений третьего мира.) Правда, в конце концов в СССР поняли, что человечеству не суждено измениться в результате вдохновленной Москвой мировой революции. Даже искреннее убеждение Никиты Хрущева в том, что социализм «похоронит» капитализм благодаря своему экономическому превосходству, постепенно угасло в долгом сумраке брежневской эпохи. Вполне возможно, что именно благодаря окончательному крушению веры в мировую роль этой системы она рухнула без всякого сопротивления (см. главу 16).

Однако ни одно из этих сомнений не омрачало стремлений первого поколения тех, кого вдохновлял сияющий свет Октября, посвятить свою жизнь мировой революции. Подобно ранним христианам, большинство социалистов перед Первой мировой войной верило в великие апокалиптические изменения, которые уничтожат все зло и создадут общество без несчастий, угнетения, неравенства и несправедливости. Марксизм придал тысячелетним надеждам научную основу и историческую неизбежность, а Октябрьская революция доказала, что великие преобразования начались.

Общее число солдат безжалостной в осуществлении благородных целей армии освобождения человечества составляло, возможно, не более нескольких десятков тысяч; число профессиональных революционеров, «менявших страны чаще, чем пару обуви», как сказал Бертольд Брехт в стихотворении, написанном в их честь, составляло, вероятно, не более нескольких сотен. Ни тех, ни других не надо путать с теми, кого итальянцы в те годы, когда их коммунистическая партия насчитывала миллион, называли «коммунистическим народом», — миллионами сторонников и рядовых членов, для которых мечта о новом и справедливом обществе также была реальностью, хотя на практике они являлись обычными активистами старого социалистического движения, чья приверженность была скорее классовой и общественной, а не лич-

ной преданностью. Однако, хотя число их было невелико, без них нельзя понять двадцатый век.

Ленинская «партия нового типа», костяк которой составляли профессиональные революционеры, явилась той силой, с помощью которой всего лишь через тридцать лет после Октября треть человечества оказалась живущей при коммунистических режимах. Вера и безоговорочная преданность штабу мировой революции в Москве давали коммунистам возможность видеть себя (говоря социологически) частью всемирной Церкви, а не секты. Промосковские коммунистические партии теряли лидеров в результате чисток, но до тех пор, пока душа не ушла из этого движения после 1956 года, оно не раскололось, в отличие от раздробленных групп отколовшихся марксистов, пошедших за Троцким, и еще более раздробленных маоистских «марксистско-ленинских» групп, появившихся после 1960 года. Как бы ни были они малочисленны (когда в Италии в 1943 году был свергнут Муссолини, итальянская коммунистическая партия состояла примерно из 5000 мужчин и женщин, главным образом вышедших из тюрем и вернувшихся из изгнания), коммунисты являлись тем же, чем были большевики в феврале 1917 года,—ядром миллионной армии, потенциальными руководителями населения и государства.

Для людей того поколения, особенно для тех, кто, пусть даже в детстве, пережил годы переворота, революция была событием, совершившимся при их жизни и говорившим о том, что дни капитализма сочтены. Новейшая история казалась современникам преддверием окончательной победы, которую смогут разделить лишь некоторые солдаты революции («мертвые в отпуску»), как сказал русский коммунист Левине незадолго до того, как был казнен при подавлении советской республики в Мюнхене в 1919 году). Если само буржуазное общество имело столько причин сомневаться в будущем, почему они должны были быть уверены в его выживании? Однако их собственная жизнь демонстрировала его реальность.

Обратимся к истории молодой немецкой пары, встретившейся благодаря баварской революции 1919 года,— Ольги Бенарио, дочери процветающего мюнхенского адвоката, и Отто Брауна, школьного учителя. Впоследствии Ольге довелось участвовать в подготовке революции в Западной полушарии, работая вместе с Луисом Карлосом Престесом (за которого она фиктивно вышла замуж), организатором долгого похода повстанцев через бразильскую сельву, убедившим Москву оказать поддержку восстанию в Бразилии в 1935 году. Восстание было подавлено, и Ольга была депортирована бразильскими властями в гитлеровскую Германию, где в конце концов погибла в концлагере. Тем временем Отто, которому повезло больше, отправился совершать революцию на Восток в качестве военного эксперта Коминтерна в Китае и, как оказалось, стал единственным белым, принимавшим участие в

знаменитом «великом марше» китайских коммунистов (пережитый опыт разочаровал его в Мао). После этого он работал в Москве, а затем вернулся к себе на родину в Германию, к тому времени ставшую ГДР. Когда еще, кроме первой половины двадцатого века, жизнь людей могла сложиться подобным образом?

Итак, в послереволюционном поколении большевизм впитал все остальные социально-революционные традиции или вытеснил их на периферию. До 1914 года во многих странах анархизм являлся гораздо более действенной революционной идеологией, чем марксизм. За пределами Восточной Европы Маркс рассматривался скорее как духовный наставник массовых партий, чей неизбежный, но отнюдь не революционный приход к власти он предсказал. К 1930-м годам анархизм перестал быть важной политической силой даже в Латинской Америке, где красно-черное знамя всегда вдохновляло большее число борцов, чем красное. (Даже в Испании анархизм исчез в результате гражданской войны. При этом многократно выросла популярность коммунистов, до этого обладавших незначительным влиянием.) Социал-революционные группы, существовавшие за рамками московского коммунизма, считали Ленина и Октябрьскую революцию своими духовными ориентирами и, как правило, возглавлялись бывшими деятелями Коминтерна, размежевавшимися с ним по идеологическим причинам или изгнанными оттуда во время все более безжалостной охоты на еретиков, начавшейся после того, как Иосиф Сталин захватил и упрочил власть над Советской коммунистической партией и Интернационалом. Немногие из этих отколовшихся центров достигли каких-либо политических успехов. Самый авторитетный и знаменитый из еретиков, изгнанник Лев Троцкий — один из лидеров Октябрьской революции и создатель Красной армии — потерпел полное поражение в своих практических начинаниях. Его «Четвертый интернационал», собиравшийся конкурировать со сталинским Третьим интернационалом, не имел фактически никакого влияния. Когда он был убит по приказу Сталина в своем мексиканском изгнании в 1940 году, его политическое влияние было очень незначительным.

Одним словом, быть революционером все больше означало быть последователем Ленина и Октябрьской революции и почти обязательно членом или сторонником какой-нибудь промосковской коммунистической партии, особенно когда после победы Гитлера в Германии эти партии поддержали политику объединения против фашизма, которая позволила им выйти из сектантской изоляции и завоевать массовую поддержку не только рабочих, но и интеллигенции (см. главу 5). Молодежь, жаждавшая свержения капитализма, прониклась крайними коммунистическими убеждениями и приветствовала международное движение, руководимое Москвой. Марксизм, возрожденный Октябрем в качестве революционной идеологии, теперь воспринимался ис-

ключительно в интерпретации московского Института марксизма-ленинизма, ставшего международным центром распространения этой теории. Больше никто не предлагал теорий, объясняющих мировые процессы, и не пытался, а главное, не был в состоянии изменить их. Такое положение дел сохранялось до 1956 года, когда разложение сталинской идеологии в СССР и упадок промосковского международного коммунистического движения вовлекли в общественную жизнь некогда оттесненных на обочину мыслителей, традиции и организации левого движения. Но даже после этого они продолжали существовать в гигантской тени Октября. Хотя каждый, обладающий минимальным знанием истории идеологии, мог обнаружить идеи Бакунина и даже Нечаева, а не Маркса у студенческих радикалов в 1968 году и позже, это не привело к сколько-нибудь заметному возрождению анархистских теорий и движений. Напротив, 1968 год породил повальную моду на марксистскую теорию (как правило, в версиях, которые изумили бы самого Маркса) и множество различных марксистско-ленинских сект и групп, объединившихся на основе критики Москвы и старых коммунистических партий как недостаточно революционных и ленинских.

Парадоксально, что это формально самое полное восприятие социально-революционной традиции произошло в тот момент, когда Коминтерн явно отошел от своей первоначальной революционной стратегии 1917—1923 годов или, скорее, наметил стратегию захвата власти, совершенно противоположную той, которой он придерживался в 1917 году (см. главу 5). Начиная с 1935 года критическая левая литература была полна обвинений в том, что руководимые Москвой движения упустили, отвергли, более того, предали возможность совершить революцию, потому что Москва больше не хочет ее. До тех пор пока пресловутое «монолитное» руководимое Советами движение не начало распадаться изнутри, эта критика имела мало значения. Пока коммунистическое движение сохраняло свое единство, сплоченность и поразительный иммунитет к расколу, оно являлось единственным светочем для сторонников мировой революции. Более того, вряд ли можно отрицать тот факт, что страны, которые отказались от капитализма во время второго этапа мировой социальной революции, проходившего с 1944 по 1949 год, сделали это под влиянием промосковских коммунистических партий. Только после 1956 года появилась возможность выбора между несколькими революционными движениями, реально претендовавшими на политическую и подрывную эффективность. Но даже эти разновидности троцкизма, маоизма, а также группы, вдохновленные кубинской революцией 1959 года (см. главу 15), в той или иной степени являлись ленинскими по происхождению. Старые коммунистические партии все еще оставались, как правило, самыми многочисленными партиями крайнего левого толка, но к этому времени их прежний коммунистический энтузиазм угас.

V

Сила мировых революционных движений заключалась в коммунистической форме организации ленинской «партии нового типа», явившейся новым словом в социальном строительстве двадцатого века и сравнимой с созданием христианских монашеских орденов в Средние века. Эта форма делала даже малочисленные организации крайне эффективными. Партия могла требовать от своих членов полной преданности и самопожертвования, больше, чем могла требовать военная дисциплина, а также абсолютной сосредоточенности на выполнении решений партии любой ценой, что производило глубокое впечатление даже на противников. Тем не менее связь между моделью «авангардной партии» и великими революциями, которые она была предназначена совершить (что иногда ей удавалось), далеко не ясна, хотя совершенно очевидно, что эта модель получила признание уже *после* победы революций или во время войн. Ленинская коммунистическая партия в основном строилась как элита (авангард) лидеров или, точнее (до того, как революция одержала победу), как контрэлита, а социальная революция, как показал 1917 год, определяется поведением масс в тех ситуациях, когда ни элиты, ни контрэлиты не могут управлять ими. Оказалось, что ленинская модель имела большую притягательность для молодых членов прежних элит, особенно в странах третьего мира, вступавших в коммунистические партии гораздо охотнее настоящих пролетариев, несмотря на героические и отчасти успешные попытки активизировать последних. Распространение коммунизма в Бразилии в 1930-х годах происходило главным образом за счет притока в партию младших офицеров и молодых интеллектуалов из семей крупных землевладельцев (*Martins Rodrigues, 1984, p. 390—397*).

С другой стороны, чувства настоящих «народных масс» (иногда даже активных сторонников «авангарда») зачастую расходились с идеями их лидеров, особенно во время массовых восстаний. Так, мятеж испанских генералов против правительства Народного фронта в июле 1936 года немедленно спровоцировал социальную революцию в крупных областях Испании. То, что восставшие, особенно анархисты, приступили к коллективизации средств производства, было неудивительно, хотя коммунистическая партия и центральное правительство позднее противодействовали этим преобразованиям и, где могли, отменяли их (плюсы и минусы подобных действий продолжают обсуждаться в политической и исторической литературе). К тому же мятеж генералов породил самую мощную волну антиклерикализма и убийств священнослужителей, став отголоском народных волнений 1835 года, когда жители Барселоны в ответ на неудачно прошедшую корриду подожгли несколько церквей. Около семи тысяч духовных лиц (т. е. 12—13 % всего количества священников и монахов, однако лишь небольшое число монахинь) были убиты;

только в одной епархии Каталонии (Героне) было уничтожено более шести тысяч статуй святых (*Hugh Thomas, 1977, p. 270—271; M. Delgado, 1992, p. 56*).

Этому ужасающему эпизоду сопутствовали два обстоятельства. Во-первых, его осудили представители левого крыла испанских революционеров, хотя они и не являлись убежденными антиклерикалами, включая и традиционно презирующих Церковь анархистов. Во-вторых, и исполнители, и многие свидетели увидели в этом подлинный смысл революции — коренное изменение порядков общества и его ценностей, и не на один короткий символический миг, а навсегда (*M. Delgado, 1992, p. 52—53*). Это хорошо понимали лидеры, утверждая, что главными врагами являются капиталисты, а не священники, однако в глубине души массы думали иначе. (Но были бы народные массы настроены столь же антиклерикально в менее «мужском» обществе, чем иберийское? Серьезные исследования на тему отношения женщин к таким событиям, возможно, могли бы пролить некоторый свет на этот вопрос.)

Однако разновидность революции, при которой политический порядок и власть внезапно испарились, оставив мужчин и женщин (насколько последним это разрешено) на улице, предоставленных самим себе, оказалась редкой в двадцатом столетии. Даже наиболее близкий нам по времени пример внезапного крушения существующего строя — иранская революция 1979 года — отнюдь не была стихийной, несмотря на необычайно единодушные выступления народных масс Тегерана против шаха, большинство из которых были спонтанными. Благодаря структуре иранского клерикализма новый режим уже имелся в остатках старого, хотя и не сразу приобрел четкие формы (см. главу 15).

В действительности типичная постоктябрьская революция «короткого двадцатого века» (мы не учитываем здесь локальные волнения) или была инициирована государственным переворотом (как правило, военным) и захватом столицы, или являлась следствием продолжительного вооруженного противостояния (как правило, в сельских районах). Поскольку младших офицеров радикальных или левых взглядов было достаточно много в бедных, отсталых странах, где военная жизнь обеспечивала перспективы успешной карьеры для способных и образованных молодых людей, не имеющих семейных связей и средств, подобные перевороты являлись типичными для таких государств, как Египет (выступление «свободных офицеров» в 1952 году), Ирак (революция 1958 года), Сирия (несколько переворотов, начиная с 1950-х годов) и Ливия (свержение монархии в 1969 году). Военные являются неотъемлемой частью революционной истории Латинской Америки, хотя там они редко брали в свои руки государственную власть, руководствуясь левыми взглядами. С другой стороны, к удивлению большинства наблюдателей, в 1974 году именно военный путч, совершенный молодыми офицерами, разочаровавшимися и приобретшими радикальные взгляды в ходе долгой и безуспеш-

пешной колониальной войны, сбросил самый старый диктаторский режим в мире («революция красных гвоздик» в Португалии). Однако их союз с сильной коммунистической партией, вышедшей из подполья, и различными радикальными марксистскими группами просуществовал недолго, к облегчению Европейского сообщества, в которое Португалия вскоре вступила.

Социальная структура, идеологические традиции и политические функции вооруженных сил в развитых странах заставляли военных, интересовавшихся политикой, выбирать правые партии. Перевороты в союзе с коммунистами или даже с социалистами не совпадали с их интересами. Правда, в освободительных движениях во французской колониальной империи бывшие солдаты подготовленных Францией в своих колониях туземных войск (гораздо реже офицеры) сыграли заметную роль, особенно в Алжире. Их опыт, полученный во время Второй мировой войны и после нее, был в основном негативным, и не только по причинам традиционной дискриминации, но также потому, что выходцев из колоний в войсках «Свободной Франции» генерала де Голля, как и большинство иностранных участников Сопrotивления во Франции, как правило, отодвигали на вторые роли.

Среди солдат армии «Свободной Франции» на официальных парадах победы после освобождения было гораздо больше белых, чем среди тех, кто в действительности заслужил славу, сражаясь в рядах Сопrotивления. Тем не менее в целом колониальные армии имперских держав, даже когда ими командовали сами туземцы, оставались лояльными или, вернее, аполитичными, даже с учетом 50 тысяч индийских солдат, служивших в «индийской национальной армии» под руководством японцев (M. Echenberg, 1992, p. 141—145, M. Barghava and A. Singh Gill, 1988, p. 10; T. R. Sareen, 1988, p. 20—21).

VI

Путь к революции через долгую партизанскую войну был открыт довольно поздно, лишь в двадцатом веке; возможно, это произошло потому, что такие методы борьбы, осуществляемые в основном в сельских регионах, исторически ассоциировались с устаревшими идеологиями, которые скептически настроенные городские наблюдатели легко путали с консерватизмом или даже с реакцией и контрреволюцией. В конце концов партизанские войны времен французской революции и Наполеона неизменно были направлены *против* Франции и никогда в поддержку этой страны или ее революции. Само слово «герилья» (*guerrilla*) вошло в марксистский словарь только после кубинской революции 1959 года. Большевики, которые во время гражданской войны вели регулярные боевые действия наряду с нерегулярными, использовали термин «партизан», ставший общепринятым во время Второй мировой войны

благодаря движению Сопротивления, поддерживаемому Советами. Оглядываясь в прошлое, удивляешься, почему действия партизан не сыграли почти никакой роли во время гражданской войны в Испании, хотя там должно было быть достаточно возможностей для их деятельности в республиканских районах, оккупированных силами Франко. Коммунисты стали организовывать довольно значительные партизанские центры после Второй мировой войны. Ранее в багаже творцов революции такого средства просто не имелось.

Исключением стал Китай, где эту новую стратегию начали применять некоторые (но не все) коммунистические лидеры после того, как Гоминьдан в 1927 году под руководством Чан Кайши выступил против своих бывших коммунистических союзников, а коммунистические восстания в крупных городах потерпели сокрушительное поражение (как произошло в Кантоне в 1927 году). Мао Цзэдун, главный сторонник новой стратегии, которая в конце концов сделала его лидером коммунистического Китая, исходил не только из того, что после пятнадцати лет революции обширные регионы Китая находились вне зоны контроля центральной власти, но, как преданный почитатель «Речных заводей», великого классического романа китайского социал-бандитизма, видел в партизанской тактике традиционную для его страны форму социальной борьбы. Вне сомнения, каждый получивший классическое образование китаец заметил бы сходство между созданными Мао в 1927 году в горах тремя первыми партизанскими зонами и горной крепостью героев «Речных заводей», подражать которым молодой Мао призывал своих коллег-студентов еще в 1917 году (*Schram, 1966, p. 43—44*).

Однако стратегия Китая, какой бы героической и вдохновляющей она ни была, казалась не подходящей для стран с налаженными современными внутренними коммуникациями и наличием правительств, имевших обыкновение управлять всей территорией, как бы это ни было далеко и физически трудно. Между прочим, вначале методы Мао не были особенно успешны и в самом Китае, где националистическое правительство, осуществив несколько военных кампаний, в 1943 году вынудило коммунистов оставить созданные ими свободные советские территории в главных регионах страны и отступить в ходе легендарного «великого марша» в отдаленный малонаселенный пограничный регион на северо-западе.

После того как бразильские мятежные лейтенанты, последователи Луиса Карлоса Престеса, в конце 1920-х годов вышли из лесов и начали строить коммунизм, больше ни одно значительное левое движение в мире не пошло по партизанскому пути. Исключением стала борьба генерала Сесара Аугусто Сандино против американской морской пехоты в Никарагуа (1927—1933), пятьдесят лет спустя вдохновившая сандинистскую революцию. (До сих пор непонятно, зачем Коминтерн пытался представить партизаном Лампьяу, зна-

менитого бразильского разбойника и героя тысячи дешевых изданий.) Даже Мао стал путеводной звездой революционеров лишь после кубинской революции.

Мощным стимулом для выбора партизанского пути в революции явилась Вторая мировая война, когда возникла необходимость противостоять оккупации гитлеровской Германии и ее союзников на большей части континентальной Европы, а также на обширных территориях европейской части Советского Союза. Спротивление, в особенности вооруженное, значительно возросшее после нападения Гитлера на СССР, мобилизовало различные коммунистические группировки. Когда гитлеровская армия была наконец побеждена с помощью местных движений Сопротивления (см. главу 5), а фашистские и оккупационные режимы в Европе рухнули, в нескольких странах, где вооруженное Сопротивление было наиболее успешным, социал-революционные силы под контролем коммунистов пришли к власти или попытались это сделать. Так произошло в Югославии, Албании, однако не получилось в Греции из-за военной поддержки, оказанной правящему режиму Великобритании, а позднее и США. Возможно, нечто подобное могло произойти, хотя и ненадолго, в Северной Италии, но по причинам, о которых до сих пор идут споры в рядах потерявшего былую силу левого движения, коммунисты не попытались это сделать. Коммунистические режимы, после 1945 года установленные в Восточной и Юго-Восточной Азии (в Китае, Северной Корее и французском Индокитае), также следует считать наследниками партизанского движения военного времени. Даже в Китае победоносное шествие Мао к власти началось только после того, как японской армии в 1937 году удалось разгромить главные силы националистического правительства. Подобно тому как Первая мировая война породила первую волну социальной революции, Вторая мировая война инициировала ее вторую волну, хотя и совершенно иначе. На этот раз именно военные действия, а не отвращение к ним привели к власти революционеров.

Характер и политика новых революционных режимов рассматриваются в другом месте (см. главы 5 и 13). Здесь нас интересует сам революционный процесс. Революции середины двадцатого века, произошедшие после побед в длительных войнах, отличались от классических сценариев 1789 года или Октября, а также от постепенного распада старых режимов, таких как императорский Китай или Мексика времен Порфирио Диаса (*Эпоха империй*, глава 12), по двум причинам. Во-первых (и в этом они имеют сходство с революциями, произошедшими в результате успешных военных переворотов), здесь не было никаких сомнений в том, кто совершил революцию и пришел к власти — политические группы, объединившиеся с победоносными армиями СССР, поскольку ни Германия, ни Япония, ни Италия не могли быть побеждены *только* силами Сопротивления. Этого не произошло даже в Китае. (При

этом победоносные западные армии, разумеется, противостояли прокоммунистическим режимам.) Не было междуцарствия и вакуума власти. Наоборот, случаи, когда многочисленные силы Сопротивления не смогли прийти к власти сразу же после крушения гитлеровской Германии и ее союзников, наблюдались там, где западные союзники поддерживали прежнее правительство в освобожденных странах (Южная Корея, Вьетнам) или где внутренние антигитлеровские силы сами были расколоты, как произошло в Китае. Там коммунисты после 1945 года все еще должны были бороться с коррумпированным и теряющим власть, но являвшимся союзником победителей правительством Гоминьдана, за чем без энтузиазма наблюдал СССР.

Во-вторых, путь партизан к власти неизбежно вел их из городов и промышленных центров, где традиционно базировались социалистические рабочие движения, в сельскую глубинку, поскольку партизанскую войну легче всего вести в лесах, горах, густом кустарнике, на малонаселенных территориях вдали от больших городов. По словам Мао, прежде чем завоевать город, деревня должна его окружить. В Европе городские восстания — парижское летом 1944 года, миланское весной 1945 года — произошли лишь перед окончанием войны. Варшавские события 1944 года явились наказанием за преждевременное городское восстание: у повстанцев в запасе оказался лишь один выстрел, хотя и громкий. Одним словом, для большинства населения даже революционной страны повстанческий путь к революции означал, что придется долго ждать перемен, которые придут откуда-то извне, не имея возможности сделать ничего существенного. По-настоящему активными борцами сопротивления неизбежно оказывалось весьма незначительное меньшинство.

На своей территории партизаны, конечно, не могли действовать без массовой поддержки, не в последнюю очередь потому, что в длительных конфликтах их силы должны были пополняться из местных жителей. Тем не менее отношение партизан к массам было отнюдь не таким простым, как в известном высказывании Мао о партизанской рыбе, плавающей в народной воде. В типичной партизанской стране почти любая преследуемая группа лиц, объявленных вне закона, не нарушавшая местных норм поведения, могла пользоваться широкой поддержкой населения в борьбе против иностранных солдат и центрального правительства. Однако глубоко укоренившееся в сельской местности деление на врагов и друзей также означало, что победившие друзья автоматически рисковали приобрести врагов. Китайские коммунисты, создававшие сельские советские районы в 1927—1928 годах, к своему удивлению, обнаружили, что обращение в коммунизм деревни, в которой доминировал один род, помогало созданию сети «красных деревень», базировавшейся на родственных кланах, но также вовлекало в войну против их традиционных врагов, создававших такую же сеть «черных деревень». Коммуни-

сты жаловались, что «иногда классовая борьба переходила в сражение между двумя деревнями. Бывали случаи, когда нашим войскам приходилось осаждать и разрушать целые деревни» (*Räte-China, 1973, p. 45—46*). Удачливые партизаны научились преодолевать эти трудности, однако (о чем свидетельствуют воспоминания Милована Джиласа о войне югославских партизан) освобождение являлось гораздо более сложным делом, чем обычное восстание угнетенных местных жителей против иностранных завоевателей.

VII

Больше ничто не могло омрачить радости коммунистов, оказавшихся во главе всех государств от Эльбы до китайских морей. Мировая революция, о которой они мечтали, была уже на пороге. В результате второй волны революций вместо одинокого, слабого и изолированного Советского Союза возникло около дюжины государств, возглавляемых одной из двух мировых сверхдержав, по праву заслуживавших это название (термин «сверхдержава» возник в 1944 году). К тому же не исчезла движущая сила мировой революции, поскольку деколонизация бывших империй была еще в полном разгаре. Разве не сулило все это дальнейшего наступления коммунизма? Разве международная буржуазия сама не боялась за будущее оставшихся оплотов капитализма, по крайней мере в Европе? Разве французским промышленникам, родственникам молодого историка Ле Руа Ладюри, восстанавливавшим после войны свои фабрики, не приходила в голову мысль, что в конечном итоге или национализация, или Красная армия освободят их от всех проблем? Как вспоминал Ле Руа Ладюри, будучи уже немолодым консерватором, эти настроения укрепили его решение в 1949 году вступить во французскую коммунистическую партию (*Le Roy Ladurie, 1982, p. 37*). Разве заместитель министра торговли США не докладывал президенту Трумэну в марте 1947 года, что большинство европейских стран стоит на краю пропасти и их можно столкнуть туда в любое время; а остальные тоже находятся в угрожающем положении? (*Loth, 1988, p. 137*)

Все это определяло умонастроение людей, возвращавшихся из подполья, с фронтов, из Сопrotивления, тюрем, концлагерей или изгнания, чтобы взять на себя ответственность за будущее стран, большинство из которых лежало в руинах. Возможно, некоторые из них заметили, что капитализм оказалось гораздо проще разрушить там, где он был слаб или едва существовал. Вряд ли можно было отрицать резкое увеличение левых настроений в мире. Однако новые коммунистические власти в своих преобразованных государствах волновались отнюдь не о будущем социализма. Они думали о том, как восстановить разрушенные страны, преодолеть враждебность населения, об опасно-

сти агрессии капиталистических держав против еще не окрепшего социалистического лагеря. Парадоксально, но сходные опасения тревожили сон западных политиков и идеологов. И «холодная война», наступившая после второй волны мировой революции, стала воплощением этих ночных кошмаров. Обоснованные или нет, эти страхи Запада и Востока тоже являлись порождением эпохи мировой революции, начавшейся в октябре 1917 года. Однако эта эпоха уже близилась к закату, хотя ее эпитафию стало возможно написать лишь через сорок лет.

Тем не менее она изменила мир, хотя и не так, как ожидали Ленин и его последователи, вдохновленные Октябрьской революцией. Достаточно пальцев на руках, чтобы сосчитать те немногие государства за пределами Западного полушария, которые избежали того или иного сочетания революции, гражданской войны, сопротивления иностранной оккупации или профилактической деколонизации, предпринятой обреченными на распад империями (в Европе такими исключениями стали Великобритания, Швеция, Швейцария и, возможно, Исландия). Даже в Западном полушарии (опуская многие резкие изменения в правительствах, в местном масштабе всегда считавшиеся революциями) основные социальные революции — мексиканская, боливийская, кубинская — резко изменили латиноамериканскую сцену.

Подлинные революции, совершенные во имя коммунизма, исчерпали себя. Однако еще не пришло время для панихиды, поскольку китайцы, пятая часть населения планеты, продолжают жить в стране, управляемой коммунистической партией. И все же очевидно, что возврат к эпохе прежних режимов сегодня так же невозможен, как он был невозможен для Франции после окончания революционной и наполеоновской эпохи или как возвращение бывших колоний к прежней жизни. Даже там, где опыт коммунизма был кардинально пересмотрен, настоящее бывших коммунистических стран и, вероятно, их будущее несет и еще долго будет нести в себе специфические черты контрреволюции, которая сменила революцию. Нет способа вычеркнуть советскую эпоху из российской и мировой истории, как будто ее не существовало вовсе, так же как нет способа вернуть Санкт-Петербург в 1914 год.

Однако косвенные последствия эпохи переворотов, начавшейся после 1917 года, были столь же глубоки, как и ее прямые последствия. После русской революции постепенно начался процесс освобождения колоний и деколонизация; тогда же было положено начало как политике жестокой контрреволюции (в форме фашизма и других подобных движений — см. главу 4), так и политике социал-демократии в Европе. Часто забывают о том, что до 1917 года все рабочие и социалистические партии (за исключением лежащих на периферии Австралии и Океании) до наступления социализма выбирали путь постоянной оппозиции. Первые европейские социал-демократические и коалиционные правительства появились в 1917—1919 годах (Швеция, Финляндия,

Германия, Австрия, Бельгия), за которыми через несколько лет последовали Великобритания, Дания и Норвегия. Мы забываем, что сама умеренность таких партий в значительной степени являлась реакцией на большевизм, как и готовность старой политической системы интегрировать их.

Одним словом, историю «короткого двадцатого века» нельзя понять без русской революции и ее прямых и косвенных последствий. Фактически она явилась спасительницей либерального капитализма, дав возможность Западу выиграть Вторую мировую войну против гитлеровской Германии, дав капитализму стимул к самореформированию, а также поколебав веру в незыблемость свободного рынка благодаря явной невосприимчивости Советского Союза к Великой депрессии. Это мы и рассмотрим в следующей главе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Погружение в экономическую пропасть

Ни один из когда-либо созывавшихся конгрессов Соединенных Штатов, проверив состояние нашего государства, не обнаруживал более обнадеживающей перспективы, чем та, которая возникает сейчас (...). Огромные богатства, созданные нашей промышленностью и бизнесом и приумноженные нашей экономикой, получили широчайшее распространение среди населения страны и мощным потоком вышли за ее пределы, чтобы содействовать мировому развитию и делу благотворительности. Потребности людей перешли из сферы необходимости в сферу роскоши. Постоянный рост производства отвечает возросшему спросу на родине и расширению внешней торговли. Страна может оценивать настоящее с удовлетворением и смотреть в будущее с оптимизмом.

*Президент Кэлвин Кулидж, Послание к конгрессу,
4 декабря 1928*

Перед войной безработица стала самым распространенным, самым коварным и разрушительным недугом нынешнего поколения, она является типичной социальной болезнью западной цивилизации нашего времени.

«The Times», 23 января 1943

I

Предположим, что Первая мировая война явилась причиной лишь временно-го, хотя и катастрофического крушения стабильных до этих пор экономики и культуры. После устранения последствий войны экономическая жизнь могла бы вернуться к нормальной исходной точке, как это произошло в Японии, которая, похоронив 300 тысяч человек, погибших при землетрясении 1923 года, расчистила руины и заново отстроила свою столицу, ставшую гораздо более защищенной от землетрясений, чем прежде. Каким же мог бы быть мир в период между войнами при таких обстоятельствах? Мы не знаем этого, да и не-

зачем заниматься домыслами о том, чего не было и почти наверняка не могло произойти. Однако вопрос этот небесполезен, поскольку помогает нам осознать глубокое влияние на историю двадцатого века мирового экономического кризиса, разразившегося в период между мировыми войнами.

Если бы не он, вне всякого сомнения, не появился бы Гитлер. Однако почти наверняка не было бы и Рузвельта. Кроме того, маловероятно, что советскую систему стали бы рассматривать в качестве серьезного экономического соперника и альтернативы мировому капитализму. Да и для неевропейского восточного мира последствия этого экономического коллапса были крайне драматичны. Одним словом, мир второй половины двадцатого века нельзя понять, не осознав влияния произошедшего экономического краха. Это и является предметом настоящей главы.

Первая мировая война разрушила прежний мир лишь частично, главным образом в Европе. Мировая революция, ставшая наиболее драматичным аспектом крушения буржуазной цивилизации девятнадцатого века, распространялась все более широко: от Мексики до Китая и, приобретая форму движений за колониальное освобождение, от Магриба до Индонезии. Однако достаточно просто найти регионы земного шара, жителей которых описанные события не коснулись, в частности Соединенные Штаты Америки, а также обширные пространства Африки к югу от Сахары. Тем не менее Первая мировая война сопровождалась крахом подлинно мирового масштаба, по крайней мере там, где оказались затронуты рыночные отношения. Кстати, именно самоуверенные Соединенные Штаты, также оказавшиеся не защищенными от катаклизмов, обрушившихся на менее счастливые континенты, стали эпицентром самого мощного мирового потрясения, когда-либо отмеченного историками экономики,— межвоенной Великой депрессии. Одним словом, между мировыми войнами капиталистическая мировая экономика потерпела такой крах, что трудно было представить, как она сможет возродиться.

Функционирование капиталистической экономики никогда не бывает равномерным, и колебания различной амплитуды, часто очень резкие, являются неотъемлемой частью этого процесса. Так называемый «торговый цикл» подъемов и спадов был знаком всем бизнесменам начиная с девятнадцатого века. Считалось, что этот цикл с некоторыми изменениями повторяется каждые 7—11 лет. Несколько более длительная периодичность впервые была замечена в конце девятнадцатого века, когда специалисты проанализировали неожиданные осложнения предыдущих десятилетий. За беспрецедентным мировым ростом производства, длившимся с 1850 года до начала 1870-х годов, последовали два с лишним десятилетия экономической нестабильности (ученые-экономисты говорили о Великой депрессии, что не совсем верно), а затем наступил новый резкий подъем (*Эпоха капитала, Эпоха империи, гла-*

ва 2). В начале 1920-х годов русский экономист Н. Д. Кондратьев, впоследствии ставший одной из первых жертв сталинских чисток, выявил наблюдавшуюся с конца восемнадцатого века закономерность экономического развития, которая проявлялась в виде серии так называемых «длинных волн» протяженностью от 50 до 60 лет. Однако ни он, ни кто-либо еще не смог дать удовлетворительного объяснения этим колебаниям, а скептически настроенные статистики, как всегда, отрицали их существование. С тех пор теория «длинных волн» известна в литературе по мировой экономике под его именем. В частности, Кондратьев сделал заключение, что в конце каждой «длинной волны» мировой экономики происходит спад. Он оказался прав*.

В прошлом волны и циклы, длинные, средние и короткие, бизнесмены и экономисты учитывали так же, как фермеры учитывают прогноз погоды, которая тоже имеет свои спады и подъемы. Они считали, что с этим ничего не поделаешь; циклы создавали перспективы или проблемы, могли привести к процветанию или банкротству отдельных лиц или целых отраслей промышленности. Только социалисты во главе с Карлом Марксом считали, что циклы являются частью процесса, в ходе которого капитализм порождает непреодолимые внутренние противоречия, ставящие под вопрос существование капиталистической системы как таковой. Остальные ожидали, что мировая экономика должна развиваться и процветать, что она и делала в течение более ста лет, за исключением внезапных коротких катастроф, носивших циклический характер. Непривычным в новой ситуации стало то, что, возможно, в первый и пока единственный раз в истории капитализма эти колебания, казалось, действительно угрожают существованию системы. Более того, было похоже, что в некоторых важных отраслях экономики этот извечный подъем прекратился.

История мировой экономики, начиная с промышленной революции, являлась историей ускорения технического прогресса, непрерывного, хотя и неравномерного экономического роста и постоянно расширяющейся «глобализации», т. е. все более сложной и разветвленной системы всемирного разделения труда, все более густой сети товарных и финансовых потоков, объединяющих все части мировой экономики в единую всемирную систему. Технический прогресс даже ускорился в «эпоху катастроф», оказывая влияние на ход мировых войн и одновременно претерпевая изменения под их воздействием. Хотя для большинства людей главные экономические события этой эпохи были разрушительны, кульминацией чего стала Великая депрессия 1929—1933 годов, экономический рост не прекращался даже в это время. Он

* Тот факт, что на основе теории «длинных волн» Кондратьева стали возможны эффективные прогнозы (что весьма нетипично для экономических теорий), убедил многих историков и даже некоторых экономистов: в этом, несомненно, что-то есть, даже если мы не знаем, что именно.

просто замедлился. В экономике США, самой масштабной и богатой экономике того времени, средний рост валового национального продукта на душу населения между 1913 и 1938 годами составлял лишь скромные 0,8% в год. Начиная с 1913 года за 25 лет прирост мирового промышленного производства составил более 80%; иными словами, наращивание этого показателя происходило в два раза медленнее, чем в предыдущую четверть века (*W. W. Rostow, 1978, p. 662*). Как мы увидим далее (глава 9), контраст с эпохой, наступившей после 1945 года, оказался еще более разительным. Но все-таки если бы какой-нибудь марсианин наблюдал за кривой нашего экономического развития с достаточно большого расстояния, чтобы рассмотреть те неравномерные колебания экономики, которые человеческие существа испытывали на земле, то он (она или оно) сделал бы заключение, что мировая экономика, без всякого сомнения, продолжает развиваться.

И все же в одном отношении это было не так. Глобализация экономики, казалось, прекратилась в период между Первой и Второй мировыми войнами. По любым оценкам, интеграция мировой экономики находилась в застое или даже в упадке. Предвоенные годы явились периодом наиболее масштабной за всю человеческую историю массовой миграции, но затем эти потоки иссякли или, скорее, были остановлены военными разрушениями и политическими ограничениями. За пятнадцать лет, предшествовавших 1914 году, в США переселились почти 15 миллионов человек. В последующие пятнадцать лет этот поток уменьшился до 5,5 миллиона; в 1930-е и военные годы он почти полностью прекратился — в США перебравшись менее трех четвертей миллиона человек (*Historical statistics, I, p. 105, Table C 89—101*). Миграция жителей Испании и Португалии в Латинскую Америку снизилась с одной целой и трех четвертых миллиона за десятилетие с 1911 по 1920 год до менее четверти миллиона в 1930-е годы. В конце 1920-х годов мировая торговля восстановилась после потрясений Первой мировой войны и послевоенного кризиса, немного превысив уровень 1913 года, затем опять сократилась во время Великой депрессии. К концу «эпохи катастроф» (т. е. к 1948 году) ее объем существенно не превышал уровня, достигнутого перед Первой мировой войной (*W. W. Rostow, 1978, p. 669*). С начала 1890-х годов по 1913 год мировая торговля выросла более чем в два раза. Следовательно, с 1948 по 1971 год она должна была вырасти пятикратно. Этот застой тем удивительнее, если вспомнить, что Первая мировая война породила значительное число новых государств в Европе и на Ближнем Востоке. Казалось бы, увеличившаяся протяженность государственных границ должна была автоматически привести к увеличению торговли между государствами, поскольку коммерческие сделки, ранее осуществлявшиеся внутри одной и той же страны (например, Австро-Венгрии или России), не расценивались как международные. (Статистика мировой торговли учитывает только товары, которые пересекают границы.) Точно так же

многомиллионные массы спасавшихся от войны беженцев (см. главу 11) должны были по идее привести к росту, а не сокращению мировых миграционных потоков. Но во время Великой депрессии иссякли даже международные финансовые потоки. Между 1927 и 1933 годами количество международных кредитов снизилось более чем на 90 %.

Что же явилось причиной этого застоя? Высказывались различные предположения; например, что самая обширная из мировых экономик, экономика США, становилась фактически самодостаточной, за исключением снабжения некоторыми видами сырья; она никогда особенно не зависела от внешней торговли. Однако даже государства, в экономике которых внешняя торговля играла значительную роль, такие как Великобритания и Скандинавские страны, имели ту же тенденцию. Современники сосредоточили свое внимание на более заметной причине для тревоги и были почти наверняка правы. Каждое государство теперь делало все возможное для того, чтобы защитить свою экономику от внешней угрозы, т. е. от мировой экономики, которая явно переживала большие сложности.

Поначалу и отдельные предприниматели, и правительства ожидали, что после временных разрушений, принесенных Первой мировой войной, мировая экономика каким-нибудь образом возвратится к параметрам счастливых довоенных лет, которые они считали нормой. К тому же стремительный послевоенный подъем, по крайней мере в странах, не ослабленных революцией и гражданской войной, безусловно, казался обнадеживающим признаком, хотя и бизнесмены, и правительства были озабочены чрезмерным ростом влияния рабочих и их профсоюзов, который вел к повышению производственных затрат из-за более высокой заработной платы и сокращения рабочего дня. Однако процессы восстановления оказались более сложными, чем ожидалось. К 1920 году быстрый подъем прервался, и денежная система рухнула. Это подорвало влияние рабочего класса — уровень безработицы в Великобритании никогда после этого не падал ниже 10 %, профсоюзы потеряли половину своих членов за двенадцать последующих лет, этим еще раз склонив чашу весов в пользу работодателей, а надежды на экономическое процветание оставались иллюзорными.

Англосаксонский мир, Япония и «нейтральные» государства предпринимали все возможное для дефляции, чтобы вернуть свою экономику к старым твердым принципам стабильной валюты, гарантированной устойчивым финансовым положением и золотым стандартом, но это не могло предотвратить влияния последствий войны. Между 1922 и 1926 годами им более или менее удалось преуспеть в своих начинаниях. Однако в обширной зоне государств, потерпевших поражение в войне и испытавших политические потрясения, от Германии на западе до Советской России на востоке, произошел сокрушительный обвал денежной системы, сравнимый только с крахом экономики

коммунистического мира после 1989 года. В экстремальном случае Германии 1923 года стоимость денежной единицы уменьшилась до одной миллионной ее стоимости в 1913 году, что на практике означало, что цена денег упала до нуля. Даже в менее экстремальных случаях последствия были огромны. Дед автора этих строк, получавший страховку как раз в то время, когда в Австрии началась инфляция*, любил рассказывать о том, как, получив значительную сумму девальвированными деньгами, он обнаружил, что ее хватило как раз на то, чтобы купить выпивку в его любимом кафе.

Одним словом, частные накопления исчезли полностью, лишив бизнес притока капитала, что в достаточной степени объясняет привлечение в немецкую экономику иностранных займов в последующие годы. Это сделало ее особенно уязвимой после наступления Великой депрессии. В СССР ситуация была не намного лучше, хотя здесь уничтожение частных денежных вкладов не имело таких экономических и политических последствий. Когда в 1922—1923 годах эта чудовищная инфляция прекратилась, главным образом благодаря решению правительства остановить печатание бумажных денег в неограниченных количествах и обменять старые дензнаки на новые, жители Германии, имевшие стабильный доход и сбережения, разорились, хотя в Польше, Венгрии и Австрии деньги до некоторой степени сохранили свою ценность. Тем не менее отрицательное воздействие пережитого опыта на среднюю и мелкую буржуазию этих стран было очень велико. Этот опыт подготовил Центральную Европу к приходу фашизма. Механизмы подготовки привыкания населения к долгим периодам патологической инфляции (например, путем «индексации» зарплаты и других доходов — это слово было впервые использовано в 1960-е годы) были изобретены лишь после Второй мировой войны**.

К 1924 году эти послевоенные волнения поутихли, и казалось, что можно думать о переходе к нормальной жизни. Фактически наблюдался возврат мирового экономического роста, хотя некоторые из производителей сырья и продуктов питания, особенно североамериканские фермеры, испытывали затруднения, поскольку цены на первичную продукцию вновь понизились после короткого подъема. «Ревущие двадцатые» не были благоприятными для фермеров США. Кроме того, безработица в большей части Западной Европы оставалась небывало высокой по стандартам довоенного времени. Почти забыт тот факт, что даже во время экономического бума в 1924—1929 году она в среднем равнялась 10—12% в Великобритании, Германии и Швеции и не ме-

* В девятнадцатом веке, в конце которого цены значительно снизились по сравнению с его началом, люди настолько привыкли к стабильности или уменьшению цен, что слова «инфляция» было достаточно, чтобы описать то, что мы теперь называем «гиперинфляция».

** Ни балканские, ни балтийские правительства никогда полностью не теряли контроля над инфляцией, хотя она и была значительной.

нее 17—18 % в Дании и Норвегии. Лишь в США, где среднее число безработных составляло 4 %, экономика бурно развивалась. Эти факты говорят о слабости экономики того периода. Падение цен на сырьевые товары (которым не дали упасть ниже, создав огромные резервы) лишь продемонстрировало, что потребность в них отстает от возможностей производства. Также нельзя обойти стороной тот факт, что резкий подъем производства в значительной степени произошел благодаря огромным потокам международного капитала, хлынувшим в эти годы в мировую промышленность, и особенно в промышленность Германии. Займы только одной этой страны, получившей около половины всего мирового экспорта капитала 1928 года, составили от 20000 до 30000 миллиардов марок, половина которых являлась краткосрочными займами (Arndt, 1944, p. 47; Kindleberger, 1973). Это также сделало немецкую экономику крайне уязвимой, что подтвердилось после 1929 года, когда американские деньги были из нее изъяты. В связи с этим ни для кого не явился большим сюрпризом тот факт (за исключением патриотов одноэтажной Америки, чей образ стал известен западному миру благодаря вышедшему в 1922 году роману «Бэббит» американского романиста Синклера Льюиса), что мировая экономика через несколько лет снова зашла в тупик. Коммунистический Интернационал устами своих идеологов на самом пике подъема предрекал следующий экономический кризис, ожидая, что он приведет к новому витку революций. В действительности этот кризис вскоре привел к совершенно противоположному результату. Но чего не ожидал никто, и возможно, даже революционеры в своих самых оптимистических мечтах, так это мирового охвата и глубины кризиса, начало которому положил известный даже неспециалистам обвал на нью-йоркской бирже 29 октября 1929 года. Он был почти равносителен краху мировой капиталистической экономики, которая теперь оказалась заключенной в порочный круг, когда снижение каждого экономического показателя (но не безработицы, которая взлетела до астрономических цифр) усиливало спад всех других.

Как предрекали высокопрофессиональные эксперты Лиги Наций, хотя к ним мало кто прислушивался, резкий спад в экономике США вскоре распространился на другой центр мировой экономики — Германию (Ohlin, 1931). Промышленное производство в США упало примерно на треть с 1929 по 1931 год, производство в Германии снизилось примерно на такую же величину, однако это усредненные цифры. Так, в 1929—1933 годах объемы продаж крупнейшей электрической компании «Вестингауз» упали на две трети, а ее чистая прибыль за два года сократилась на 76 % (Shats, 1983, p. 60). Кризис поразил и производство первичной продукции — продуктов питания и сырья, поскольку цены на них, больше не поддерживаемые фондами кредитования, как раньше, стали стремительно падать. Цены на чай и пшеницу упали на две трети, на шелк-сырец — на три четверти. Это имело губительное влияние (на-

зовем лишь страны, перечисленные Лигой Наций в 1931 году) на Аргентину, Австралию, страны Балканского полуострова, Боливию, Бразилию, (Британскую) Малайю, Канаду, Чили, Колумбию, Кубу, Египет, Эквадор, Финляндию, Венгрию, Индию, Мексику, нидерландскую Индию (теперешнюю Индонезию), Новую Зеландию, Парагвай, Перу, Уругвай и Венесуэлу, чья внешняя торговля в значительной степени зависела от продажи нескольких основных видов сырья. Все это в буквальном смысле сделало депрессию глобальной.

Экономики Австрии, Чехословакии, Греции, Японии, Польши и Великобритании, крайне чувствительные к сейсмическим потрясениям, приходящим с Запада (или Востока), также были подорваны. За пятнадцать предшествующих лет Япония утроила производство шелка, снабжая обширный и все расширяющийся американский рынок шелковых чулок. Теперь он временно исчез — и сразу же на 90% сократилось количество японского шелка, поставлявшегося в Америку. Между тем цена на другой основной предмет экспорта японского сельскохозяйственного производства — рис — так же резко упала, как и во всех остальных основных производящих рис регионах Южной и Восточной Азии. Затем упали цены на пшеницу, причем настолько, что пшеница стала дешевле риса, поэтому многие жители Востока вынуждены были переключиться с одного на другое. К тому же резкое увеличение производства чапаттис и лапши еще более ухудшило положение фермеров в экспортирующих рис странах, таких как Бирма, французский Индокитай и Сиам (теперешний Таиланд) (*Latham, 1981, p. 178*). Сельскохозяйственные производители пытались возместить падение цен путем выращивания и продажи большего урожая, что заставило цены падать еще быстрее.

Для фермеров, зависевших от рынка, особенно экспортного, это означало разорение или возвращение к последнему традиционному оплоту — натуральному хозяйству. Это было пока еще возможно в большинстве стран зависимого мира, и поскольку жители Африки, Южной и Восточной Азии и Латинской Америки все еще в основном были крестьянами, такая возможность, без сомнения, облегчила их существование. Олицетворением краха капитализма и глубины депрессии стала Бразилия. Владельцы кофейных плантаций отчаянно пытались предотвратить обвал цен, сжигая кофе вместо угля в топках своих паровозов (Бразилия поставляла от двух третей до трех четвертей всего количества кофе, продаваемого на мировом рынке). Тем не менее Великая депрессия явилась гораздо менее тяжелым испытанием для в основном земледельческой Бразилии, чем экономические катаклизмы 1980-х годов, отчасти потому, что экономические запросы бедных слоев населения в то время были еще крайне скромными.

И все же даже в аграрных колониях население бедствовало, что было заметно по снижению на две трети импорта сахара, муки, рыбных консервов и

риса на Золотой Берег (теперешнюю Гану), где рухнул державшийся на крестьянском труде рынок какао, не говоря уже о 98 %-ном падении импорта джина (*Ohlin, 1931, p. 52*).

Для тех, кто по определению не имел доступа к средствам производства или контроля над ними (кроме возможности вернуться домой в деревню), а именно для мужчин и женщин, нанятых за плату, основным последствием депрессии стала безработица беспрецедентных масштабов и длительности. В худший период депрессии (1932—1933) 22—23 % британских и бельгийских рабочих, 24 % шведских, 27 % американских, 29 % австрийских, 31 % норвежских, 32 % датских и 44 % немецких рабочих оказались на улице. И что не менее существенно, даже во время периода оживления экономики после 1933 года среднее число безработных в 1930-е годы не стало ниже 16—17 % в Великобритании и Швеции и ниже 20 % в остальных Скандинавских странах, Австрии и США. Единственным государством Запада, преуспевшим в преодолении безработицы, была нацистская Германия в период между 1933 и 1938 годами. Иными словами, на памяти трудящихся еще не было экономической катастрофы такого масштаба, как эта.

Но еще более драматическим положение становилось оттого, что общественных резервов социального обеспечения, включая пособие по безработице, в то время или просто не существовало, как в США, или, если сравнивать со стандартами конца двадцатого века, было явно недостаточно, особенно при длительной безработице. Вот почему социальная защищенность всегда являлась жизненно важной заботой рабочих, поскольку была спасением при потере работы, гарантировала защиту от болезней, несчастных случаев и страшной перспективы нищей старости. Вот почему рабочие мечтали видеть своих детей на скромно оплачиваемой, но надежной работе с твердой перспективой пенсии. Даже в Великобритании — стране, в наибольшей степени защищенной программами страхования от безработицы, перед началом Великой депрессии они охватывали менее 60 % рабочих — и то только благодаря тому, что Великобритания уже с 1920 года была вынуждена адаптироваться к массовой безработице. В других странах Европы число рабочих, претендовавших на пособия по безработице, варьировалось от нуля до примерно одной четверти от всего количества (за исключением Германии, где оно составляло более 40 %) (*Flora, 1983, p. 461*). Люди, даже привыкшие к периодам временной безработицы, были доведены до отчаяния, когда они нигде не могли найти работу, а их скудные сбережения и кредит в местной бакалейной лавке были исчерпаны.

Итак, становятся понятны колоссальные разрушительные последствия массовой безработицы для политики промышленно развитых стран, поскольку именно она явилась главным следствием Великой депрессии для основной массы населения. Какое дело было безработным до приводимых историками-

экономистами доказательств того, что бóльшая часть рабочей силы нации, которая не была безработной даже в самые худшие времена, действительно стала зажиточной, поскольку в период между мировыми войнами происходило снижение цен, а цены на продукты питания снижались быстрее, чем остальные, даже в самые тяжелые годы депрессии. С тех времен в памяти остались видения общественных кухонь, где готовился суп для безработных, и «голодные марши» из поселков, в которых не строили пароходы и не варили сталь. Озлобленные люди отправлялись в столицы, чтобы обвинить тех, кого они считали ответственными за свои беды. Политики также не могли не видеть, что в германской коммунистической партии (увеличивающейся почти столь же быстро, как и нацистская партия в годы депрессии, а в последние месяцы до прихода Гитлера к власти еще быстрее) 85 % были безработными (Weber, I, p. 243).

Неудивительно, что на безработицу смотрели как на тяжелую и, возможно, смертельную болезнь государства. «Перед войной,— писал автор передовицы в лондонской „Times“ в разгар Второй мировой войны,— безработица стала самой распространенной, самой коварной и разрушительной болезнью нашего поколения: это характерная социальная болезнь западной цивилизации» (Arndt, 1944, p. 230). Никогда ранее за всю историю индустриализации не могла быть написана подобная фраза. Она больше говорит о послевоенной политике западных правительств, чем длительные архивные изыскания.

Как ни странно, чувство беды и растерянности, вызванное Великой депрессией, в большей степени ощущалось среди бизнесменов, экономистов и политиков, чем среди простого населения. Массовая безработица, обвал цен на сельскохозяйственную продукцию тяжело ударили по бедным гражданам, но они не сомневались, что имеются некие политические решения (слева или справа) для преодоления этих неожиданных напастей, насколько бедные люди могут вообще ожидать, что их скромные запросы будут удовлетворены. Именно отсутствие каких-либо перспектив в рамках старой либеральной экономики сделало положение политиков, принимающих решения, столь затруднительным. Чтобы преодолеть внезапные краткосрочные кризисы, они должны были, как они считали, разрушить фундамент процветающей мировой экономики. В период, когда мировая торговля за четыре года упала на 60 % (1929—1932), государствам пришлось создавать все более высокие барьеры для защиты своих национальных рынков и валют от мировых экономических бурь, очень хорошо понимая, что это означает разрушение мировой системы многосторонней торговли, на которой, как они полагали, должно строиться мировое экономическое процветание. Краеугольный камень такой системы, так называемый «статус страны наибольшего благоприятствования», исчез из почти 60% 510 торговых соглашений, подписанных между 1931 и 1939 годами, но даже там, где он остался, его рамки были ограничены

(Snyder, 1940) *. Но когда же этому суждено было закончиться и имелся ли выход из порочного круга?

Ниже мы рассмотрим прямые политические последствия этого наиболее драматичного эпизода в истории капитализма. Однако о его самом важном долгосрочном последствии нужно упомянуть прямо сейчас. Если говорить коротко, Великая депрессия на полвека покончила с либерализмом в экономике. В 1931—1932 годах Великобритания, Канада, вся Скандинавия и США отказались от золотого стандарта, всегда считавшегося основой стабильных экономических расчетов, а к 1936 году к ним присоединились даже такие убежденные сторонники золотого стандарта, как бельгийцы и голландцы, и в конце концов даже французы **. Великобритания в 1931 году отказалась от свободной торговли, что почти символично, поскольку с 1840-х годов она являлась такой же основой британской экономики, как американская конституция является основой политической самобытности Соединенных Штатов. Отступление Великобритании от принципов свободы экономических операций в общемировой экономике подчеркивает общее стремление к национальному самосохранению в то время. Более конкретно: Великая депрессия заставила западные правительства поставить социальные соображения над экономическими в своей государственной политике. Угроза в случае, если это не будет сделано,—подъем не только левых, но (как доказала Германия и некоторые другие страны) и правых радикалов — была слишком велика.

Итак, правительства в защите сельского хозяйства от иностранной конкуренции уже не ограничивались простым введением тарифов, хотя там, где они прежде делали это, теперь тарифные барьеры были подняты еще выше. Во времена депрессии они привыкли поддерживать сельское хозяйство с помощью гарантированных цен на сельхозпродукцию, скупая излишки или платя фермерам, чтобы они не производили продукцию, как это делали США после 1933 года. Истоки странных парадоксов «единой сельскохозяйственной политики» Европейского сообщества, из-за которой в 1970-х и 1980-х годах все более приходившие в упадок фермерские хозяйства угрожали разорить Сообщество через субсидии, на которые они имели право, берут свое начало в Великой депрессии.

Что касается рабочих, то после войны полная занятость, т. е. ликвидация массовой безработицы, стала краеугольным камнем экономической полити-

* Пункт, касающийся «страны наибольшего благоприятствования», на самом деле означает прямо противоположное тому, о чем, казалось бы, в нем говорится, а именно: торговый партнер имеет те же права, как и «страна наибольшего благоприятствования», т. е. ни одна страна не находится в привилегированном положении.

** В классическом варианте *золотой стандарт* означает денежную единицу, т. е. долларовую банкноту, цена которой равна цене золота определенного веса, на которое, если в этом возникнет необходимость, банк может ее обменять.

ки в странах реформированного демократического капитализма, чьим самым знаменитым, но не единственным пророком и первопроходцем являлся британский экономист Джон Мейнард Кейнс (1883—1946). Его аргументы в пользу ликвидации перманентной массовой безработицы были в равной мере политическими и экономическими. Сторонники Кейнса справедливо считали, что потребности, возникающие у получающих доход полностью занятых рабочих, могут оказывать стимулирующее воздействие на ослабленную экономику. Однако причина, по которой данный метод наращивания потребностей получил такой исключительный приоритет (британское правительство вступило на этот путь еще до окончания Второй мировой войны), состояла в том, что массовая безработица считалась политически и социально взрывоопасной, что и было доказано во время депрессии. Эта вера была столь сильна, что, когда через много лет массовая безработица возвратилась, особенно во время экономического спада начала 1980-х годов, специалисты (включая автора этих строк) с уверенностью ожидали наступления социальной нестабильности и были удивлены, когда ее не последовало (см. главу 14).

А произошло это, без сомнения, в огромной степени благодаря другой профилактической мере, предпринятой во время Великой депрессии, утвердившейся после нее и ставшей одним из ее результатов: введению современных систем социального страхования. Кого сейчас удивляет, что в США в 1935 году был принят Закон о социальном обеспечении? Мы так привыкли к преобладанию обширных систем социальной поддержки в странах промышленного капитализма (за некоторым исключением в Японии, Швейцарии и США), что забыли, как мало перед Второй мировой войной было государств, имевших программы социального обеспечения в современном их значении. Даже Скандинавские страны только начинали внедрять их. Да и сам термин «государство всеобщего благоденствия» вошел в употребление только в 1940-х годах.

Шок, произведенный Великой депрессией, усиливался еще благодаря тому, что единственная страна — СССР, — решительно отвергшая капитализм, оказалась защищенной от нее. В то время как остальной мир или, по крайней мере, либеральный капиталистический мир Запада продолжал гнить, в СССР происходила массовая стремительная индустриализация в соответствии с новыми пятилетними планами. С 1929 по 1940 год советское промышленное производство как минимум утроилось. Оно выросло с 5% мирового промышленного производства в 1929 году до 18% в 1938-м, в то время как общая доля США, Великобритании и Франции упала с 59 до 52%. К тому же в СССР не было безработицы. Эти достижения производили на иностранных наблюдателей различных мировоззрений, включая малочисленный, но влиятельный поток экономистов, в качестве туристов посещавших Москву в 1930—1935 годах, более сильное впечатление, чем очевидная примитивность и не-

эффективность советской экономики и варварская жестокость сталинской коллективизации и массовых репрессий. Ведь они пытались осознать не столько феномен СССР, сколько крушение их собственной экономической системы, глубину краха западного капитализма. В чем состоял секрет советской системы? Можно ли было благодаря ей чему-то научиться? Переключаясь с российскими пятилетками, слова «план» и «планирование» прочно утвердились в западной политике. Социал-демократические партии (как, например, в Бельгии и Норвегии) разрабатывали партийные «планы». Сэр Артур Солтер, британский государственный деятель, человек в высшей степени респектабельный, с безупречной репутацией, один из столпов общества, написал книгу «Исцеление», в которой доказывал необходимость планирования для того, чтобы вырваться из порочного круга Великой депрессии. Группа британских умеренных государственных чиновников и функционеров основали «мозговой центр» из представителей нескольких партий под названием «Бюро политического и экономического планирования». Молодые консерваторы, такие как будущий премьер-министр Гарольд Макмиллан (1894—1986), стали выразителями идей «планирования». Даже убежденные нацисты переняли эту идею — в 1933 году Гитлер представил свой четырехлетний план. По соображениям, которые будут рассмотрены в следующей главе, международный резонанс успехов нацистов в борьбе с депрессией после 1933 года был гораздо слабее.

II

Почему же капиталистическая экономика не смогла функционировать в период между мировыми войнами? Важнейшей составной частью любого ответа на этот вопрос является ситуация в США. Ведь если экономические трудности стран, принимавших участие в войне, можно объяснить потрясениями военного и послевоенного периодов, то США находились далеко от театра военных действий и принимали в них только краткосрочное участие, если это вообще так можно назвать. Отнюдь не подорвав их экономику, Первая мировая война, так же как и Вторая, оказала на нее весьма ощутимое положительное влияние. К 1913 году США уже являлись самой крупной экономической державой в мире, производя более трети всей мировой промышленной продукции — почти столько же, сколько Германия, Великобритания и Франция, вместе взятые. В 1929 году США выпускали более 42 % мировой продукции, в то время как три названные европейские промышленные державы производили менее 28 % (*Hilgerdt, 1945, Table I.14.*). Эти цифры говорят о многом. В частности, в то время как производство стали в США в 1913—1920 годах выросло примерно на четверть, в остальном мире оно упало примерно на треть

(Rostow, 1978, p. 194, Table III.33). Одним словом, после окончания Первой мировой войны США господствовали во многих отраслях мировой экономики (что имело место и после Второй мировой войны). И только Великая депрессия временно прервала это господство.

К тому же война не только укрепила положение Соединенных Штатов как наиболее влиятельного в мире промышленного производителя, но и превратила их в самого могущественного мирового кредитора. Великобритания во время войны потеряла около четверти своих зарубежных инвестиций, главным образом в США,—она вынуждена была отказаться от них для покупки военных ресурсов; Франция потеряла половину своих инвестиций, в основном в результате революции и развала в Европе. Между тем американцы, начавшие войну в качестве страны-должника, закончили ее в качестве основного международного кредитора. Поскольку США сконцентрировали свои операции в Европе и Западном полушарии (британцы все еще оставались самыми крупными инвесторами в Азии и Африке), их влияние на Европу стало решающим.

Таким образом, без учета роли США нельзя искать объяснения мирового экономического кризиса. К тому же в 1920-х годах это была главная в мире страна-экспортер и, после Великобритании, главная страна-импортер. Что касается сырья и продуктов питания, то на долю США приходилось почти 40% совокупного импорта пятнадцати наиболее развитых промышленных государств — факт, имеющий важное значение для объяснения разрушительного влияния депрессии на производителей таких продуктов потребления, как пшеница, хлопок, сахар, каучук, шелк, медь, олово и кофе (Lary, p. 28—29). Это являлось лишним доказательством того, что США должны были стать главной жертвой депрессии. Если их импорт упал на 70% с 1929 по 1932 год, то и экспорт снизился на такую же величину. Мировая торговля в 1929—1939 годах сократилась менее чем на треть, однако экспорт США упал почти наполовину.

Отсюда вовсе не следует, что нужно недооценивать чисто европейские причины этой проблемы, большей частью политические. Версальской мирной конференцией (1919) на Германию были наложены огромные, однако четко не обозначенные обязательства по репарациям за ущерб, причиненный странам-победительницам, и их военные издержки. Для оправдания этого в мирный договор была внесена статья, в которой Германия называлась *единственным* ответственным за развязывание войны государством (так называемая «статья о военных преступлениях»), которая была не только сомнительной с исторической точки зрения, но к тому же сыграла на руку немецкому национализму. Сумма, которую должна была выплатить Германия, не была четко определена, поскольку США предлагали установить ее, исходя из платежеспособности Германии, а другие союзники (главным образом фран-

цузы) настаивали на получении от Германии полной стоимости военных издержек. Их основной целью (по крайней мере Франции) было удержание Германии ослабленной для того, чтобы иметь возможность оказывать на нее давление. В 1921 году сумма репараций была определена в 132 миллиарда золотых марок, что составляло в то время 33 миллиарда долларов, хотя каждому было ясно, что выплатить их невозможно.

Вопрос о репарациях приводил к бесконечным дебатам, периодическим кризисам и их урегулированию под американским руководством, поскольку США, к неудовольствию своих бывших союзников, хотели увязать вопрос репараций с вопросом союзнических военных долгов Вашингтону. Это было почти так же недостижимо, как и сумма, требуемая от Германии, которая была в полтора раза больше, чем весь национальный доход этой страны в 1929 году. Британский долг США равнялся половине британского национального дохода, долг Франции — двум третям ее дохода (*Hill, 1988, p. 15—16*). «План Дэйвса» 1924 года четко определил сумму, которую ежегодно должна была выплачивать Германия; «план Янга» в 1929 году изменил схему выплат, в связи с чем был основан Банк международных расчетов в Базеле (Швейцария) — первое из международных финансовых учреждений, во множестве появившихся после Второй мировой войны (во время написания этих строк банк благополучно существует). Из практических соображений все выплаты, как немецкие, так и союзнические, прекратились в 1932 году. Свои долги США продолжала выплачивать только Финляндия.

Если не вдаваться в детали, на повестке дня стояли два вопроса. Первый был поставлен молодым Джоном Мейнардом Кейнсом, жестоко раскритиковавшим Версальскую конференцию (в которой он принимал участие как рядовой член британской делегации) в работе «Экономические последствия заключенного мира» (1920). Он утверждал, что без восстановления немецкой экономики возрождение стабильного либерального порядка в Европе невозможно. Политика Франции, ставившая своей целью удержание Германии ослабленной ради собственной безопасности, только ухудшала положение. К тому же французы были слишком слабы, чтобы навязать свою политику, даже тогда, когда они на короткое время в 1923 году оккупировали промышленный центр Западной Германии на основании того, что Германия отказывается платить долги. В конце концов они вынуждены были примириться с начатой в 1924 году политикой «оздоровления» Германии, укрепившей немецкую экономику. Второй вопрос касался условий выплаты репараций. Те, кто хотел ослабления Германии, требовали выплат наличными деньгами, а не продуктами производства (что было более удобно) или отчислениями от доходов немецкого экспорта, поскольку это укрепило бы немецкую экономику по сравнению с ее соперниками. В результате они ввергли Германию в тяжелые займы, так что репарации выплачивались из крупных американских кредитов

середины 1920-х годов. Для противников Германии это означало дополнительную возможность заставить ее запутаться в долгах вместо того, чтобы расширять свой экспорт для достижения внешнего баланса. В действительности же наблюдался стремительный рост немецкого экспорта. Однако само соглашение, как мы уже видели, сделало и Германию, и Европу в очень большой степени зависимыми от американских кредитов, уменьшение которых началось еще до наступления финансового краха 1929 года. Карточный домик репараций рухнул во время депрессии. Но к тому времени окончание этих платежей не могло оказать положительного воздействия ни на Германию, ни на мировую экономику, поскольку последняя была разрушена как единая система, и поэтому в 1931—1933 годах исчезли все основания для международных расчетов.

Однако тяжесть экономического краха в период между мировыми войнами можно лишь частично объяснить военными и послевоенными потрясениями и политическими осложнениями в Европе. С экономической точки зрения нам следует рассмотреть этот вопрос с двух сторон.

С одной стороны, имел место разительный и все увеличивающийся дисбаланс мировой экономики, обусловленный разными темпами развития США и остального мира. Мировая экономическая система фактически не работала, поскольку в отличие от Великобритании, до 1914 года являвшейся ее центром, США не особенно нуждались в остальном мире и поэтому, опять-таки в отличие от Великобритании, знавшей, что система мировых платежей опирается на английский фунт, и беспокоившейся о его стабильности, США не утруждали себя заботами о стабилизации мировой экономики. США не испытывали особой зависимости от остального мира, поскольку после Первой мировой войны нуждались в импорте меньшего количества капитала, рабочей силы и, в конечном итоге, меньшего количества товаров, чем когда-либо ранее, за исключением некоторых видов сырья. Американский экспорт, хотя и имевший важное международное значение — Голливуд фактически монополизировал международный кинорынок, — вносил гораздо меньший вклад в национальный доход, чем в любой другой промышленно развитой стране. Насколько велико было значение этого «изъятия» США из мировой экономики, можно спорить. Однако совершенно ясно, что подобное объяснение депрессии оказало влияние на экономистов и политиков США в 1940-е годы и помогло убедить Вашингтон взять на себя ответственность за стабильность мировой экономики после 1945 года (*Kindleberger, 1973*).

Второй причиной депрессии считают неспособность мировой экономики поддерживать спрос на уровне, необходимом для ее устойчивой экспансии. Основы благосостояния в 1920-е годы не были прочными даже в США, где сельское хозяйство фактически уже находилось в упадке, а заработная плата, вопреки мифу о «великой джазовой эпохе», не взлетела вверх, а фактически

застыла на одном уровне в последние сумасшедшие годы подъема (*Historical Statistics of the USA, I, p. 164, Table D722—727*). Происходило то, что всегда происходит во время рыночного бума,— зарплаты отставали, а прибыли росли непропорционально быстро, и у богатых в руках оказывался все больший кусок национального пирога. Но поскольку массовый спрос отставал от роста производительности индустриальной системы, зародившейся в лучшие годы Генри Форда, результатом стали перепроизводство и спекуляция. Это, в свою очередь, инициировало начало краха. И снова (какими бы ни были мнения историков и экономистов, все еще продолжающих дебаты по этому вопросу) современники, проявлявшие интерес к политике правительства, были глубоко обеспокоены слабостью спроса (не в последнюю очередь и Джон Мейнард Кейнс).

Когда наступила экономическая катастрофа, в США ее углубило то обстоятельство, что уменьшение спроса пытались преодолеть путем повсеместного распространения потребительского кредита (читатели, еще помнящие ситуацию в конце 1980-х годов, могут освежить свои воспоминания). Банки, уже пострадавшие от резкого роста цен на недвижимость (который, как водится, с помощью поддавшихся самообольщению оптимистов и все увеличивающегося финансового жульничества * достиг своего пика за несколько лет до «большого краха»), обремененные безнадежными долгами, отказались выделять кредиты на новое жилищное строительство и на рефинансирование существующего. Однако это не защитило от банкротства сотни из них **. В это же время (1933) почти половина всех заложных на жилье в Америке была просрочена и каждый день тысяча собственников лишалась права выкупа заложенного имущества (*Miles et al., 1991, p. 108*). Долги одних только покупателей автомобилей составляли 1400 миллионов долларов из общей персональной задолженности в 6500 миллионов долларов по краткосрочным и среднесрочным ссудам (*Ziebur, p. 49*). Причиной такой незащищенности экономики от кредитного бума являлось то, что покупатели не использовали свои кредиты на покупку традиционных товаров первой необходимости — пищи, одежды и тому подобного. Как бы ни был беден человек, он не может уменьшить свои потребности в бакалейных товарах ниже определенного уровня и эта потребность не удвоится в случае удвоения его дохода. Вместо этого люди покупали современные потребительские товары длительного пользования. Но покупку машин и домов можно вполне было отложить. В лю-

* Недаром в 1920-е годы был очень популярен психолог Эмиль Куйе (1857—1926), который предлагал самовнушение в качестве способа поднятия настроения. Нужно было постоянно повторять фразу: «С каждым днем мои дела идут все лучше».

** Банковская система США не позволяла создавать гигантские банки, как в Европе, с филиалами по всей стране и поэтому являлась системой довольно слабых местных банков или, в лучшем случае, банков с филиалами в пределах штата.

бом случае спрос на такие товары был и остается достаточно гибким и зависит от уровня дохода.

Итак, несмотря на непродолжительность депрессии, благодаря чему уверенность в будущем не была подорвана, ее последствия были печальны. В 1929—1931 годах автомобильное производство в США уменьшилось *наполовину*, выпуск граммофонных пластинок для бедных прекратился вообще. Одним словом, «в отличие от строительства железных дорог и кораблей, внедрения новых марок стали и станков, уменьшавших расходы, для распространения новых изделий и нового образа жизни требовались высокие и постоянно растущие доходы и твердая уверенность в завтрашнем дне» (Rostow, 1978, p. 219). Однако именно она и исчезла.

Самая жесточайшая циклическая депрессия рано или поздно заканчивается, и после 1932 года стали все заметнее признаки того, что худшее уже позади. И действительно, экономика некоторых стран стремительно развивалась. Япония и, на более скромном уровне, Швеция, к концу 1930-х годов почти удвоили уровень производства по сравнению с докризисным. К 1938 году производство в Германии (в отличие от Италии) выросло на 25% по сравнению с 1929 годом. Даже самые инертные экономики, такие как британская, выказывали многочисленные признаки оживления. Тем не менее ожидаемого быстрого подъема не произошло. Мир по-прежнему пребывал в депрессии. Это наиболее ярко проявлялось на примере США — самой мощной из экономических систем. Всевозможные попытки стимулировать экономику, предпринятые в период «нового курса» президента Ф. Д. Рузвельта (иногда весьма противоречивые), не оправдали надежд. В 1937—1938 годах наметившийся подъем вновь был прерван кризисом, хотя и гораздо менее драматичным, чем крах 1929 года. Ведущая отрасль американской промышленности — автомобильное производство — так и не смогла достичь своего пика 1929 года, хотя в 1938 году несколько превосходила уровень 1920 года (*Historical Statistics*, II, p. 716). Оглядываясь назад из 1990-х годов, мы не можем не поражаться пессимизму тогдашних ученых-экономистов. Талантливым и знающим экономистам будущее предоставленного самому себе капитализма виделось как постоянная стагнация. Этот взгляд, представленный Кейнсом в памфлете, направленном против Версальского мирного договора, как и следовало ожидать, стал популярен в США после депрессии. Но разве любая развитая экономика не обречена на стагнацию? Как сказал сторонник еще одного пессимистического прогноза развития капитализма австрийский экономист Шумпетер, «В любой продолжительный период экономического нездоровья экономисты, поддающиеся настроениям своего времени, предлагают теории, в которых доказывается, что депрессия — это надолго» (*Shumpeter*, 1954, p. 1172). Может быть, будущие историки, оглядываясь назад на последнюю четверть двадцатого века, будут так же поражены упорным нежеланием людей, живших

в 1970-е и 1980-е годы, задумываться о возможности нового спада мировой капиталистической экономики.

Итак, мрачные предчувствия преобладали, несмотря на тот факт, что 1930-е годы стали десятилетием значительного технического прогресса в промышленности, например в производстве пластмасс. Кроме того, межвоенные годы явились периодом огромных достижений (по крайней мере в англосаксонском мире) в области развлечений, а также в области, позднее названной «средствами массовой информации». Массовое распространение получили радио и кино, не говоря уже об изобретении современной глубокой печати для иллюстрированных изданий (см. главу 6). Вряд ли стоит удивляться, что в мрачных серых городах, где царила массовая безработица, словно сказочные дворцы начали вырастать огромные кинотеатры: билеты в кино стоили дешево, а самые молодые, как и самые старые, их обитатели, которых в наибольшей степени затронула безработица (так случилось и впоследствии), имели много свободного времени. Кстати, как заметили социологи, во время депрессии жены и мужа с большей охотой, чем раньше, совместно проводили свой досуг (*Stouffer, Lazarsfeld, p. 55, 92*).

III

Великая депрессия утвердила интеллигенцию, политиков и обычных граждан в мысли, что в мире, в котором они живут, что-то в корне неправильно. Однако тех, кто знал, как это исправить, было очень мало среди власть имущих, которые пытались прокладывать курс с помощью старых навигационных инструментов светского либерализма или традиционной религии, используя карты девятнадцатого века, которым нельзя было больше доверять. Разве могли заслуживать доверия экономисты, даже самые выдающиеся, доказывавшие с большой убедительностью, что депрессия (которую они пережили и сами) не могла случиться в правильно руководимом рыночном обществе? Поскольку, утверждали они, в этом обществе (в соответствии с экономическим законом, названным в честь одного француза, жившего в начале девятнадцатого века) невозможно перепроизводство вследствие того, что оно может само себя корректировать. В 1933 году, например, было не так просто поверить, что там, где потребительский спрос и, следовательно, потребление падают, процентная ставка снижается именно в той мере, которая необходима для стимулирования инвестиций, т. е. таким образом, чтобы возросшая потребность в них полностью закрыла брешь, образовавшуюся в результате уменьшившегося потребительского спроса. Однако в условиях стремительного роста безработицы люди (в отличие от британского министерства финансов) не особенно верили в то, что общественные работы уве-

личат занятость, поскольку потраченные на них деньги будут просто переадресованы из частного сектора, который мог обеспечить такую же занятость. Экономисты, советовавшие оставить экономику в покое, и правительства, чьим основным инстинктивным желанием, кроме защиты золотого стандарта путем дефляции, было не отклоняться от традиционной финансовой политики, сбалансированного бюджета и снижения затрат, явно не могли улучшить положение. Более того, поскольку депрессия продолжалась, стали выдвигаться очень убедительные доказательства (и не только Дж. М. Кейнсом, в результате ставшим самым влиятельным экономистом последующего сорокалетия), что такие меры лишь обостряют кризис. Те из нас, кто пережил годы Великой депрессии, все еще никак не могут понять, как ортодоксия чистого свободного рынка, в те времена столь очевидно дискредитированного, вновь смогла выйти на передовые позиции во время спада мировой экономики в конце 1980-х и 1990-х годов, который она точно так же не могла ни объяснить, ни преодолеть. До сих пор этому странному феномену суждено напоминать нам об основном свойстве истории, которое он иллюстрирует: о поразительно короткой памяти как теоретиков, так и практиков экономики. Он также служит ярким доказательством потребности общества в историках, которые по долгу службы напоминают о том, что их сограждане стремятся забыть.

Во всяком случае, в условиях свободного рынка, когда на экономику все больше оказывают влияние крупные корпорации, теряет значение принцип чистой конкуренции, и экономисты, критиковавшие Карла Маркса, смогли убедиться, что он оказался прав, предсказав все увеличивающийся рост концентрации капитала (*Leontiev, 1977, p. 78*). Не обязательно быть марксистом или проявлять интерес к Марксу, чтобы заметить, как не похожа экономика свободной конкуренции девятнадцатого века на капитализм периода между Первой и Второй мировыми войнами. Задолго до обвала на Уолл-стрит один умный швейцарский банкир заметил, что стремление к авторитарным экономикам — фашистской, коммунистической или основанной на господстве больших корпораций, независимых от своих акционеров, — объяснялось неспособностью экономического либерализма (и, добавлял он, социализма до 1917 года) реализоваться в качестве мировых программ (*Somary, 1929, p. 174, 193*). Поэтому к концу 1930-х годов либеральные традиции конкуренции свободного рынка остались далеко позади. Мировую экономику можно было рассматривать как тройственную систему, состоящую из рыночного сектора, межправительственного сектора (в рамках которого друг с другом взаимодействовали плановые или контролируемые экономики, такие как японская, турецкая, немецкая и советская) и сектора внешнеторговых государственных или полугосударственных операций, охватывавшего, в частности, международные соглашения по продаже товаров (*Staley, 1939, p. 231*).

В связи с этим неудивительно, что Великая депрессия оказала глубокое влияние как на политиков, так и на общественное мнение. Не повезло тому правительству, которому выпало быть у власти во время этого катаклизма, независимо от того, было ли оно правым, как администрация президента Герберта Гувера в США (1928—1932), или левым, как лейбористские правительства Великобритании и Австралии. Изменения были, безусловно, не всегда такими резкими, как в Латинской Америке, где в 1930—1931 годах произошли смены правительств в двенадцати странах, в десяти из которых — в результате военного переворота. Как бы то ни было, к середине 1930-х годов в мире осталось мало государств, чья политика не претерпела значительных изменений по сравнению с тем, что было до краха. В Японии произошел резкий сдвиг вправо, та же тенденция наблюдалась и в Европе. Исключением стали Швеция, в 1932 году вступившая в свой полувековой период социал-демократического правления, и Испания, где монархия Бурбонов в 1931 году вынуждена была уступить место неудачной и, как оказалось, недолговечной республике. Более подробно об этом будет сказано в следующей главе, а пока стоит заметить, что почти одновременная победа националистических, милитаристских и открыто агрессивных режимов в двух крупных военных державах — Японии (1931) и Германии (1933) — явилась самым зловещим и далеко идущим политическим следствием Великой депрессии. Путь ко Второй мировой войне был проложен в 1931 году.

Усилению правых радикалов, по крайней мере во время самого тяжелого периода депрессии, способствовали очевидные просчеты левых революционеров. Вместо того чтобы инициировать следующий этап социальной революции, как ожидал Коммунистический интернационал, депрессия до крайней степени ослабила международное коммунистическое движение за пределами СССР. В какой-то мере это явилось следствием самоубийственной политики Коминтерна, который не только недооценивал опасность национал-социализма в Германии, но и проводил политику сектантской изоляции (что при взгляде назад кажется совершенно невероятным), решив, что его главным врагом является организованное массовое рабочее движение социал-демократической и лейбористской направленности, названное им «социал-фашистским»*. К 1934 году, после того как Гитлер разогнал немецкую коммунистическую партию (некогда являвшуюся главной надеждой Москвы на осуществление мировой революции и самой большой и быстро растущей частью Интернационала), когда даже китайские коммунисты, вытесненные со своих партизанских баз, превратились в усталый караван, бредущий в поисках да-

* Дело зашло настолько далеко, что в 1933 году Москва настаивала на том, чтобы итальянский коммунистический лидер Пальмиро Тольятти отказался от утверждения о том, что социал-демократия не является главной опасностью, по крайней мере в Италии. К тому времени Гитлер уже реально захватил власть. Коминтерн не изменил свою линию до 1934 года.

лекого и безопасного убежища, казалось, что уже почти ничего не осталось от прежнего организованного международного революционного движения, легального или нелегального. В Европе в 1934 году только французская коммунистическая партия все еще имела реальный политический вес. В фашистской Италии через десять лет после «похода на Рим» и в самый разгар мирового экономического кризиса Муссолини чувствовал себя настолько уверенно, что в ознаменование этой годовщины даже освободил из тюрем некоторых коммунистов (*Spriano, 1969, p. 397*). Всему этому суждено было измениться через несколько лет (см. главу 5). Однако остается фактом, что прямым результатом депрессии, во всяком случае в Европе, явились последствия, совершенно противоположные тем, которых ожидали революционеры.

К тому же уменьшение влияния левых не ограничилось только коммунистическим сектором, поскольку с победой Гитлера германская социал-демократическая партия также исчезла с горизонта, а год спустя австрийская социал-демократия пала после краткого вооруженного сопротивления. Британская лейбористская партия к тому времени уже стала жертвой депрессии или, скорее, своей неуместной в 1931 году приверженности экономическим традициям девятнадцатого века. Ее профсоюзы, потерявшие с 1920 года половину своих членов, стали слабее, чем были в 1913 году. В большинстве европейских стран социалисты находились в безвыходном положении.

Однако за пределами Европы ситуация была иной. Северная часть Американского континента довольно ощутимо устремилась влево: США под руководством президента Франклина Д. Рузвельта (1933—1945) экспериментировали с радикальным «новым курсом», а Мексика под руководством президента Лазаро Карденаса (1934—1940) возродила прежний динамизм начала мексиканской революции, особенно в вопросах аграрной реформы. Мощные социально-политические движения появились на охваченных кризисом канадских территориях, такие как Партия социального кредита и Объединенная федерация содружества (теперешняя Новая демократическая партия), явно левые по меркам 1930 года.

Не так просто охарактеризовать политическое влияние депрессии на страны Латинской Америки. Хотя ее правительства или правящие партии и попадали, как кегли, когда крушение мировых цен на основные экспортные продукты производства подорвало их финансы, не все они легли в одном направлении. Большая часть из них упала скорее влево, чем вправо, пусть и на короткое время. Аргентина после длительного периода гражданских правительств вступила в эпоху военных и, хотя ее профашистски настроенные лидеры, такие как генерал Урибуру (1930—1932), были вскоре выведены из игры, явно сделала поворот вправо, пусть даже в традиционалистском смысле. С другой стороны, Республика Чили использовала депрессию, чтобы свергнуть одного из редких для этой страны военных диктаторов, Карлоса Ибань-

еса дель Кампо (1927—1931), предшественника генерала Пиночета, и резко устремилась влево. В 1932 году эта страна даже ненадолго стала «социалистической республикой» под руководством блестящего полковника Мармадьюка Грове Вальехо, а впоследствии создала мощный Народный фронт по европейскому образцу (см. главу 5). В Бразилии депрессия прекратила существование олигархической «старой Республики» 1889—1930 годов и привела к власти Жетулиу Варгаса, для которого лучше всего подходит ярлык социалиста-популиста. Под его руководством страна находилась последующие двадцать лет. В Перу сдвиг влево был более резким, хотя самая влиятельная из новых партий, Американский народно-революционный союз — одна из немногих успешных массовых рабочих партий европейского типа в Западном полушарии*, потерпела неудачу в своих революционных начинаниях (1930—1932). В Колумбии поворот курса влево был еще более резким. К власти после тридцатилетнего правления консерваторов пришли либералы под руководством президента-реформатора, находившегося под сильным влиянием «нового курса» Рузвельта. Наиболее ярко проявился левый радикализм на Кубе, где инаугурация Рузвельта позволила жителям этого протектората США свергнуть ненавистного и, даже по кубинским стандартам, крайне коррумпированного президента.

В обширном колониальном секторе земного шара депрессия вызвала заметное увеличение антиимпериалистической активности, частично благодаря обвалу цен на потребительские товары, от которых зависела экономика колоний (или по крайней мере их государственные финансы и средний класс), частично потому, что метрополии устремились на защиту своего сельского производителя, совершенно не думая о влиянии последствий такой политики на колонии. Одним словом, европейские государства, чья экономическая политика определялась внутренними факторами, не в состоянии были в долгосрочной перспективе сочетать сохранение империй и учет бесконечно сложных производственных интересов (*Holland, 1985, p.13*) (см. главу 7).

По этой причине в большинстве стран колониального мира депрессия положила начало политическому и социальному недовольству местного населения, которое не могло не обратиться против колониальной власти, даже там, где политические национальные движения оформились лишь после окончания Второй мировой войны. Социальные волнения начались в британских владениях: в Западной Африке и Карибском бассейне. Непосредственной их причиной явился кризис местного экспорта — какао и сахара. Даже в странах с уже сложившимися антиколониальными национальными движениями годы депрессии вызвали обострение конфликтов, в частности там, где политические волнения достигли широких масс. Помимо всего прочего, то были го-

* Двумя другими были чилийская и кубинская коммунистические партии.

ды экспансии «братьев-мусульман» в Египте (организации, основанной в 1928 году) и второй волны национально-освободительного движения индийского народа под руководством Ганди (1931) (см. главу 7). Кроме того, победу республиканских ультра под руководством Де Валера на выборах в Ирландии в 1932 году, скорее всего, также можно рассматривать как запоздалую антиколониальную реакцию на экономический кризис.

Вероятно, ничто так ярко не демонстрирует не только мировой характер Великой депрессии, но и глубину ее влияния, как этот беглый взгляд с птичьего полета на мировые политические сдвиги, ставшие ее результатом за период, измеряемый всего лишь месяцами или несколькими годами, на пространстве от Японии до Ирландии, от Швеции до Новой Зеландии, от Аргентины до Египта. Тем не менее о глубине ее влияния не следует судить только по краткосрочным политическим последствиям, пусть даже очень значительным. Это была катастрофа, разрушившая все надежды на восстановление экономического и общественного уклада девятнадцатого века, длившегося так долго. Период 1929—1933 годов стал пропастью, сделавшей невозможным возвращение в мир 1913 года. Старомодный либерализм умер или казался обреченным на вымирание. Три направления теперь состязались за право интеллектуально-политической гегемонии. Одним из них являлся марксизм. Казалось, что предсказания Маркса наконец-то воплощаются в жизнь, в чем была убеждена в 1938 году даже Американская экономическая ассоциация. Но еще более впечатляющим стало то, что именно СССР оказался застрахован от экономической катастрофы. Капитализм, лишенный своей веры в преимущества свободного рынка и реформированный путем некоего неофициального брака (или долговременной связи) с умеренной социал-демократией некоммунистических рабочих движений, являлся вторым направлением, ставшим наиболее эффективным после Второй мировой войны. Однако в краткосрочной перспективе это была не столько продуманная программа или политическая альтернатива, сколько ощущение того, что, раз депрессия уже позади, ей нельзя позволить вернуться, и в лучшем случае готовность к эксперименту, вызванная явным крахом классического рыночного либерализма. Так, политика шведской социал-демократии после 1932 года явилась сознательной реакцией на провалы экономического традиционализма, преобладавшего в губительной политике лейбористского правительства Великобритании 1929—1931 годов, во всяком случае по мнению одного из его главных архитекторов, Гуннара Мюрдала. Теория, альтернативная обанкротившемуся свободному рынку, тогда еще только разрабатывалась. Работы «Общая теория занятости», «Спрос и деньги» Дж. М. Кейнса, внесшие в нее наиболее значительный вклад, были опубликованы лишь после 1936 года. Альтернативная практика правительств — макроэкономическое управление экономикой, основанное на анализе национального дохода, — возникла только после

Второй мировой войны, и в последующие годы, хотя, вероятно, не без учета событий, происходивших в СССР, правительства и другие государственные институты в 1930-х годах все больше стали рассматривать национальную экономику как единое целое и оценивать ее параметры по совокупному продукту или доходу*.

Третьим направлением стал фашизм, который депрессия сделала мировым движением и, что более важно, главной мировой опасностью. Фашизм в своей немецкой версии (национал-социализм) извлек выгоды как из германской интеллектуальной традиции, которая (в отличие от австрийской) враждебно относилась к неоклассическим теориям экономического либерализма, широко распространившимся в мире начиная с 1880-х годов, так и из безжалостного курса правительства, решившего избавиться от безработицы любой ценой. Надо сказать, что с Великой депрессией немецкий фашизм разобрался более быстро и успешно, чем любое другое движение (достижения итальянского фашизма были гораздо менее впечатляющи). Однако не это обусловило его притягательность для потерявшей прежние ориентиры Европы. По мере того как депрессия углублялась, а волна фашизма росла, становилось все яснее, что в эпоху катастроф не только мир, социальная стабильность и экономика, но также политические институты и интеллектуальные ценности либерального буржуазного общества девятнадцатого века не просто сдают свои позиции, но и терпят крах. К этому процессу мы теперь и обратимся.

* Первыми государствами, избравшими такой образ действий, в 1925 году были СССР и Канада. К 1939 году правительства уже девяти стран имели официальную статистику о национальном доходе, а Лига Наций вела такую статистику по 29 странам. Сразу же после Второй мировой войны были получены данные по 39 странам, в середине 1950-х — по 93. С этого времени показатели национального дохода, часто имевшие самое отдаленное отношение к реалиям жизни народов этих стран, стали почти такой же нормой для независимых государств, как национальный флаг.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Отступление либерализма

В нацизме мы имеем феномен, с трудом поддающийся анализу. Под руководством лидера, в апокалиптической манере проповедующего мировую власть разрушения, и при наличии режима, основанного на самой отвратительной идеологии расовой ненависти, одна из наиболее культурно и экономически развитых стран Европы, сориентированная на войну, раздула мировой пожар, в котором погибло около 50 миллионов человек, и сотворила преступления, кульминацией которых стало механизированное массовое убийство миллионов евреев, по природе и масштабам не подвластное воображению. При взгляде на Освенцим история в бессилии опускает руки.

Йен Кершоу (Ian Kershaw, 1993, p. 3—4)

Умереть за Родину, за идею!.. Нет, это лишь полдела. Даже гибель на фронте—это... Смерть—ничто, ее не существует. Никому не дано увидеть собственную смерть. Но убийство—это дело. Это та граница, которую необходимо переступить. Да, это конкретный поступок вашей воли. Потому что тогда вы заставляете волю другого человека подчиниться вашей.

*Из письма молодого итальянского добровольца-фашиста 1943—1945 гг.
(Pavone, 1991, p. 431)*

I

Из всех последствий «эпохи катастроф» те, кто родился в девятнадцатом веке, возможно, больше всего были потрясены крушением ценностей и институтов либеральной цивилизации, становление которых в их век считалось само собой разумеющимся, во всяком случае в развитых и развивающихся странах. Этими ценностями являлись недоверие к диктатуре и абсолютизму, приверженность конституционным правительствам, избранным путем свободных выборов, и представительным собраниям, гарантирующим власть закона, а также признанному набору прав и свобод для граждан, включающему

свободу слова, публикаций и собраний. Государство и общество следовало развивать с помощью ценностей интеллекта, публичных дебатов, образования, науки и улучшения условий человеческого существования. Казалось, что в течение столетия эти ценности явно прогрессируют и должны развиваться и дальше. В конце концов, к 1914 году даже две последние автократии в Европе, Россия и Турция, сделали шаги в направлении конституционного правления, а Иран позаимствовал конституцию у Бельгии. До 1914 года этим ценностям бросали вызов только традиционалисты вроде Римско-католической церкви, строя защитные баррикады догм против превосходящих сил современности, а также немногочисленные интеллектуальные бунтари и провозвестники приближающегося конца, как правило, выходцы из образованных семей и признанных культурных центров (таким образом, являвшиеся частью той самой цивилизации, которой они бросали вызов). Против этих ценностей выступали также силы демократии, в то время бывшие новым и тревожным явлением (см. *Эпоху империи*). Невежество и отсталость масс, их тяга к свержению буржуазного общества путем социальной революции и таящаяся внутри человека стихийная склонность к разрушению (качества, с такой легкостью используемые демагогами), без сомнения, являлись поводом для тревоги. Однако самые опасные из этих новых демократических массовых движений — социалистические рабочие движения, — как ни странно, и в теории и на практике являлись такими же страстными приверженцами ценностей ума, науки, прогресса, образования и личной свободы, как и все остальные. На первомайской медали немецкой социал-демократической партии на одной стороне был выгравирован Карл Маркс, а на другой — статуя Свободы. Они апеллировали к экономике, а не к конституционному правительству и цивилизованности. Было бы сложно считать правительство, руководимое Виктором Адлером, Августом Бебелем или Жаном Жоресом, концом цивилизации. Но в любом случае такие правительства казались пока еще весьма отдаленными.

В области политики происходило наступление институтов либеральной демократии, и вспышки варварства 1914—1918 годов, казалось, только ускорили это продвижение. За исключением Советской России, все режимы, возникшие в результате Первой мировой войны, как старые, так и новые, являлись в основном выборными парламентскими демократиями, даже Турция. В 1920 году Европа к западу от советской границы полностью состояла из таких государств. Основной принцип либерального конституционного правительства — выборы представительного органа и/или президента — к тому времени стал почти всеобщим в мире независимых государств, хотя следует помнить, что наличие шестидесяти пяти или около этого независимых государств в период между Первой и Второй мировыми войнами являлось главным образом европейским и американским феноменом, поскольку в это же

время треть населения земного шара жила при колониальном господстве. Единственными государствами, где в период с 1919 по 1947 год не проводились вообще никакие выборы, были изолированные и политически отсталые Эфиопия, Монголия, Непал, Саудовская Аравия и Йемен. Еще в пяти государствах за этот период выборы проводились только один раз, что тоже не говорит об их большой приверженности либеральной демократии. Этими государствами являлись Афганистан, Китай времен Гоминьдана, Гватемала, Парагвай и Таиланд, тогда называвшийся Сиамом. Однако существование выборов само по себе уже было свидетельством проникновения в эти государства либеральных политических идей, хотя бы теоретически. Не стоит, однако, думать, что существование выборов или частые сроки их проведения доказывают наличие демократического государства. Ни Иран, в котором с 1930 года выборы проводились шесть раз, ни Ирак, где за этот период выборы проводились трижды, даже в те времена не могли считаться оплотами демократии.

Тем не менее демократические режимы в тот период встречались достаточно часто. Однако в течение двадцати лет, начиная с «похода на Рим» Муссолини и до наивысшей точки успеха «держав оси» во Второй мировой войне, продолжалось все более катастрофическое отступление от либеральных политических институтов.

В Европе в 1918—1920 годах законодательные органы были распущены или превратились в бесполезные приделки в двух государствах, в 1920-е — в шести, в 1930-е — в девяти, а немецкая оккупация во время Второй мировой войны разрушила конституционную власть еще в пяти государствах. Единственными европейскими странами с достаточно демократическими политическими институтами, которые функционировали без перерыва в течение всего периода между Первой и Второй мировыми войнами, были Великобритания, Финляндия, Ирландская Республика, Швеция и Швейцария.

На Американском континенте, еще одном регионе независимых государств, ситуация была более разнородной, однако едва ли предполагающей тотальное наступление демократических институтов. Список *последовательно* конституционных и неавторитарных государств в Западном полушарии был коротким: Канада, Колумбия, Коста-Рика, США и теперь забытая «южноамериканская Швейцария» — Уругвай с единственно подлинной в этом регионе демократией. Все прочие американские государства в период, длившийся с конца Первой мировой войны до конца Второй, колебались то влево, то вправо. Что касается остальной части земного шара, которая в большинстве своем состояла из колоний и не была поэтому либеральной по определению, то там происходило явное отступление от либеральных конституций, если они вообще имелись. В Японии в 1930—1931 годы умеренно либеральный режим уступил место национал-милитаристскому. Таиланд сделал не-

сколько неуверенных шагов в направлении конституционного правления, а в Турции власть в начале 1920-х годов взял в руки прогрессивный военный реформатор Кемаль Ататюрк. Это был не тот человек, который позволил бы выборам, какими бы они ни были, встать у себя на пути. На трех континентах — Азии, Африке, Австралии и Океании — лишь Австралия и Новая Зеландия являлись последовательно демократическими, поскольку большинство южноафриканцев оставались вне зоны действия конституции белых людей.

Одним словом, в период «эпохи катастроф» политический либерализм везде был отброшен назад, и это отступление резко ускорилось после того, как Адольф Гитлер в 1933 году стал рейхсканцлером Германии. В 1920 году в мире было примерно тридцать пять или даже более конституционных и выборных правительств (в зависимости от того, куда относить некоторые латиноамериканские республики). К 1938 году в мире осталось около семнадцати таких государств, к 1944 году — около двенадцати из общемирового количества, составлявшего шестьдесят четыре государства. Тенденция была очевидной.

В это время угроза либеральным институтам шла исключительно с политического правого фланга. Об этом не стоит забывать, поскольку в период между 1945 и 1989 годами считалось почти само собой разумеющимся, что она исходит от коммунистов. До того времени термин «тоталитаризм», первоначально изобретенный для обозначения или самообозначения итальянского фашизма, применялся практически только по отношению к правым режимам. Советская Россия (начиная с 1923 — СССР) находилась в изоляции и была не в состоянии, а после прихода к власти Сталина и не имела желания распространять коммунизм по всему миру. Социальная революция под руководством ленинской партии (или любым другим руководством) прекратила свое распространение после того, как ослабла волна революций, поднявшаяся после Первой мировой войны. Социал-демократические движения (марксистские) из подрывных превратились в прогосударственные, и их приверженность демократии не вызывала сомнений. В рабочих движениях подавляющего числа стран коммунисты составляли меньшинство, а там, где они были сильны, эти движения, как правило, или уже были запрещены, или близки к этому. Страх перед социальной революцией и ролью в ней коммунистов имел под собой почву, что доказала вторая волна революций, произошедших во время Второй мировой войны и после нее. Однако за двадцать лет отступления либерализма ни один по-настоящему либерально-демократический режим не был свергнут слева *. Опасность шла исключительно справа. Правые в тот период представляли собой не только угрозу конституционно-

* Наиболее близким к такому свержению случаем можно назвать аннексию Эстонии СССР в 1940 году, поскольку в то время это маленькое прибалтийское государство, пережив несколько лет авторитарного правления, вновь получило более демократическую конституцию.

му и представительному правлению, но идеологическую угрозу либеральной цивилизации как таковой, а также потенциально могущее распространиться по всему миру движение, для обозначения которого термин «фашизм» отчасти верен, однако не совсем точен.

Он неточен потому, что отнюдь не все силы, свергавшие либеральные режимы, были фашистскими. Он отчасти верен потому, что фашизм в своей первоначальной итальянской модификации, а позже в форме немецкого национал-социализма стал вдохновителем других антилиберальных сил, поддерживал их и придал всем правым, существовавшим тогда в мире, чувство исторической уверенности: в 1930-е годы он казался прорывом в будущее. Как сказал эксперт в этой области, «не случайно (...) восточноевропейские диктаторы, чиновники и военные, а также Франко в Испании старались подражать фашистам» (*Linz, 1975, p. 206*).

Существовало три рода сил, свергавших либерально-демократические режимы, не считая более традиционной для Латинской Америки формы военных переворотов, приводивших к власти диктаторов, или *каудильо*, априорно не имевших определенной политической окраски. По существу эти силы являлись реакцией на свержение старого социального строя в 1917—1920 годах и всегда были направлены против социальной революции. Все они были авторитарными и враждебно относились к либеральным политическим институтам, правда, иногда исходя из прагматических, а не из принципиальных соображений. Старомодные реакционеры могли запретить некоторые партии, особенно коммунистические, однако не все. После свержения недолговечной Венгерской советской республики в 1919 году адмирал Хорти, глава того, что он называл венгерским королевством, хотя оно больше не имело ни короля, ни военно-морского флота, управлял авторитарным государством, оставшимся парламентским (но не демократическим) в прежнем олигархическом духе восемнадцатого века. Эти режимы стремились поддерживать военных и поощрять полицию и другие институты, способные осуществлять физическое подавление, поскольку они являлись главным оплотом власти, защищавшим ее от свержения. Правые обычно и приходили к власти при поддержке этих сил. Кроме того, такие режимы тяготели к национализму, отчасти из-за недовольства политикой иностранных государств, проигранными войнами или прогнанными империями, отчасти оттого, что размахивание национальным флагом обещало власти легитимность и популярность. Однако были и другие примеры.

Старомодные сторонники авторитарной власти и консерваторы — адмирал Хорти, маршал Маннергейм (победитель в гражданской войне белых против красных во вновь обретшей независимости Финляндии), освободитель Польши, полковник, а впоследствии маршал Пилсудский, король Александр, вначале глава Сербии, а затем заново объединившейся Югославии, и генерал

Франсиско Франко, пришедший к власти в Испании,— не имели никакой определенной политической программы, кроме антикоммунизма и предрассудков, традиционных для их класса. Они могли оказаться союзниками гитлеровской Германии и фашистских движений в своих собственных странах, но только потому, что в сложившихся обстоятельствах этот альянс правых сил считался естественным. Конечно, национальные интересы могли противоречить этому союзу. Уинстон Черчилль, в этот период являвшийся убежденным крайним правым тори, хотя и в не совсем традиционном смысле, выражал некоторые симпатии к Италии Муссолини и не мог заставить себя помогать Испанской Республике против сил генерала Франко, но когда немецкая угроза нависла над Великобританией, он превратился в сторонника международного антифашистского союза. С другой стороны, подобные реакционеры-традиционалисты нередко противостояли фашистским движениям в своих собственных странах, зачастую имея при этом значительную поддержку народных масс.

Второе направление правых сил стремилось к созданию так называемого «органического этатизма» (*Linz, 1975, p. 277, 306—313*) — консервативных режимов, не столько защищавших традиционный порядок, сколько сознательно воссоздававших его принципы для противостояния как либеральному индивидуализму, так и притязаниям рабочего класса и социалистов. За ними стояла идеологическая ностальгия по воображаемому средневековому феодальному обществу, в котором признавалось существование классов и экономических групп, но не было угрозы классовой борьбы. Это достигалось благодаря сознательному принятию социальной иерархии и признанию того, что каждая социальная группа или сословие играют свою роль в состоящем из них органическом обществе, признанном коллективным организмом. В результате возникали всевозможные виды «корпоративистских» теорий, заменявших либеральную демократию на объединения по экономическим и профессиональным интересам. Иногда они называли себя «органической» демократией, которая якобы лучше настоящей, но на самом деле были неизменно связаны с авторитарным режимом и сильным государством, управлявшимся, как правило, бюрократами и технократами. Выборная демократия ограничивалась или даже упразднялась, и имела место «демократия с корпоративными поправками», по выражению венгерского премьера, графа Бетлена (*Ranki, 1971*). Наиболее яркие примеры таких корпоративных государств являли собой некоторые католические страны, например Португалия времен профессора Оливейры Салазара (1927—1974), Австрия после уничтожения демократии и до вторжения Гитлера (1934—1938) и, до некоторой степени, франкистская Испания.

И все-таки, даже если происхождение и идеи реакционных режимов такого типа были старше фашизма и иногда весьма отличались от него, их не раз-

деляла четкая грань, поскольку они имели одних и тех же врагов и в основном одни и те же цели. Так, Римско-католическая церковь, глубоко и непоколебимо реакционная в полном соответствии с духом Первого Ватиканского собора 1870 года, не являлась фашистской. В действительности, благодаря своей враждебности именно к светским государствам с тоталитарными притязаниями, она должна была быть оппозиционной фашизму. Однако именно доктрина «корпоративного государства», наиболее полно воплощенная в католических странах, была в значительной степени взята на вооружение и разработана итальянскими фашистами, хотя их, безусловно, помимо всего прочего, привлекала и католическая традиция. Действительно, эти режимы иногда называли «клерикальным фашизмом». В католических странах фашизм мог возникнуть прямо из консервативного направления католицизма, как в движении «рексистов» Леона Дегреля в Бельгии. Часто отмечалась двойственность отношения Церкви к гитлеровскому расизму, однако гораздо реже упоминалось о значительной помощи, которую после войны оказывали лица, принадлежавшие к Церкви и часто занимавшие в ней важные посты, беглым нацистам и фашистам различного толка, включая многих обвиняемых в тяжелых военных преступлениях. Не только со старомодными реакционерами, но и с фашистами Католическую церковь связывала общая ненависть к Просвещению восемнадцатого века, французской революции и ко всему тому, что, по ее мнению, являлось их следствием: демократии, либерализму и, конечно, больше всего к «безбожному коммунизму».

Эпоха фашизма фактически стала поворотным пунктом в истории Католической церкви. В немалой степени это произошло потому, что отождествление этой Церкви с правыми силами, главными международными вождями которых являлись Гитлер и Муссолини, создавало серьезные моральные проблемы для социально ориентированных католиков, не говоря уже о значительных политических проблемах, возникших у недостаточно антифашистски настроенных иерархов после того, как фашизм устремился к своему неизбежному поражению. И наоборот, антифашизм или просто патриотическое сопротивление иностранным захватчикам впервые позволили демократическому католицизму (христианской демократии) обрести легитимность внутри Церкви. По прагматическим причинам возникали политические партии, поддерживаемые сторонниками Римско-католической церкви в странах, где католики составляли значительную, хотя и меньшую часть населения, как правило, для того, чтобы защищать интересы Церкви против светского государства, как в Германии и Нидерландах. В католических странах Церковь противилась таким уступкам политике демократии и либерализма, хотя озабоченность наступлением «безбожного социализма» заставила ее сформулировать в 1891 году свою социальную политику (что являлось радикальным

новшеством), в которой подчеркивалась необходимость дать рабочим то, что им причитается, и в то же время поддерживались такие священные ценности, как семья и частная собственность, однако не капитализм как таковой*. Это создало первый плацдарм для демократически и социально ориентированных католиков, которые занимались организацией таких форм защиты рабочих, как католические профсоюзы. За исключением Италии, где Папа Бенедикт XV (1914—1922) на короткое время разрешил массовую католическую Народную партию, возникшую после Первой мировой войны (и впоследствии разогнанную фашистами), демократически и социально ориентированные католики по-прежнему играли очень незначительную роль в политике. Именно наступление фашизма в 1930-е годы способствовало их выходу из тени. Несмотря на немногочисленность, их голос был слышен, как, например, голоса известных интеллектуалов, поддержавших Испанскую Республику. Однако в подавляющем большинстве католичество поддержало Франко. Только Соппротивление, которое они могли оправдать с точки зрения не идеологии, но патриотизма, дало им шанс, а победа позволила его осуществить. Но торжество политической христианской демократии в Европе, а через несколько десятилетий — в некоторых странах Латинской Америки, относится к более позднему периоду. Во время крушения либерализма Церковь, за редким исключением, приветствовала этот процесс.

II

Существовал еще ряд движений, которые с полным основанием можно назвать фашистскими. Первым из них было итальянское движение, давшее название этому явлению, детище бывшего социалиста, бывшего журналиста Бенито Муссолини, имя которого (он был назван в честь мексиканского антиклерикала, президента Бенито Хуареса) символизировало страстный антикатолицизм его родины — области Эмилия-Романья. Сам Адольф Гитлер признавал свой долг перед Муссолини и проявлял к нему уважение, несмотря на то что дуче и фашистская Италия во время Второй мировой войны продемонстрировали свою слабость и нежизнеспособность. В свою очередь Муссолини перенял у Гитлера (правда, с большим опозданием) антисемитизм, который

* Это была энциклика «*Regum Novarum*», дополненная сорока годами позже (во времена Великой депрессии, что не случайно) посланием «*Quadragesimo Anno*». Она остается краеугольным камнем социальной политики Католической церкви до сегодняшнего дня, о чем свидетельствует энциклика 1991 года Папы Иоанна Павла II «*Centesimus Annus*», выпущенная в столетнюю годовщину после публикации «*Regum Novarum*». Однако масштабы осуждения варьировались в зависимости от политического контекста.

совершенно отсутствовал в его движении до 1938 года, как и в истории Италии со времени ее объединения*. Однако сам по себе итальянский фашизм не привлек серьезного международного внимания, хотя и пытался вдохновлять и финансировать сходные движения в других странах. Иногда его влияние проявлялось в весьма неожиданных регионах, например в Израиле, где он привлек Владимира Жаботинского, основателя сионистского «ревизионизма», ставшего в 1970-е годы, при Менахеме Бегине, господствующей идеологией в этой стране.

Если бы не приход к власти Гитлера в начале 1933 года, фашизм не стал бы столь важным мировым движением. Фактически все фашистские движения за пределами Италии, достигшие определенных результатов, были созданы после прихода Гитлера к власти, например венгерская «Партия скрещенных стрел», получившая 25% голосов во время первых в Венгрии выборов с тайным голосованием (1939), и румынская «Железная гвардия», получившая еще большую поддержку. В действительности даже движения, фактически полностью финансировавшиеся Муссолини, как, например, хорватское террористическое движение «Усташи» под руководством Анте Павелича, не достигли больших успехов и стали придерживаться фашистской идеологии лишь в 1930-е годы, когда часть из них обратилась к Германии за вдохновляющей идеей и финансированием. Более того, без победы Гитлера в Германии идея фашизма как *мирового* движения, ставшего правой альтернативой международному коммунизму, только со столицей в Берлине, а не в Москве, вообще бы не возникла. Однако фашизм не стал таким движением, хотя создал идеологическую почву для объединения коллаборационистов с немцами на территории оккупированной Европы во время Второй мировой войны. Именно по этим причинам многие ультраправые, особенно во Франции, несмотря на свою крайнюю реакционность, отказались сотрудничать с фашистами: они могли быть только националистами и никем больше. Некоторые из них даже примкнули к Сопrotивлению. Более того, если бы Германия не стала преуспевающей державой, имеющей все больший вес в мире, фашизм не приобрел бы серьезного влияния за пределами Европы, а нефашистские реакционные правители не стали бы притворно сочувствовать фашизму, как, например, Салазар в Португалии, который в 1940 году заявлял: «С Гитлером мы связаны одной идеологией» (*Delzell, 1970, p. 348*).

* Следует сказать, к чести соотечественников Муссолини, что во время войны итальянская армия категорически отказывалась передавать евреев для уничтожения немцам или кому-либо еще на оккупированных ею территориях (в основном в Юго-Восточной Франции и на некоторых участках Балкан). Хотя итальянские власти также выказывали заметное отсутствие рвения в этом вопросе, погибло около половины малочисленного еврейского населения Италии; правда, некоторые из них были уничтожены как антифашисты, а не как евреи (*Steinberg, 1990; Hughes, 1983*).

Что общего было у различных разновидностей фашизма, кроме общего сознания гегемонии Германии (после 1933 года), не так просто разглядеть. Теория никогда не была сильной стороной этих движений, опиравшихся на несовершенство интеллекта и рационализма и проповедовавших превосходство инстинкта и воли. Они привлекали всякого рода реакционных теоретиков в странах с активной консервативной интеллектуальной жизнью (Германия является типичным тому примером), но то были декоративные, а не структурные элементы фашизма. Муссолини мог спокойно обойтись без своего домашнего философа Джованни Джентиле, а Гитлер, возможно, даже не знал о поддержке философа Хайдеггера. Фашизм нельзя отождествлять ни с определенной формой организации государства, как, например, корпоративное государство,— нацистская Германия быстро утратила интерес к подобным идеям, тем более что они противоречили единому и неделимому «*Volks-gemeinschaft*» («содружеству народа»). Даже такой бесспорно основной элемент, как расизм, первоначально отсутствовал в итальянском фашизме. С другой стороны, как мы уже видели, фашизм одобрял национализм, антикоммунизм, антилиберализм и т. п., в чем совпадал со взглядами других нефашистских правых элементов. Некоторые из них, особенно французские нефашистские реакционные группировки, поддерживали фашистскую политику уличного насилия.

Главным различием между фашистами и правыми было то, что фашизм существовал за счет мобилизации низов. По существу он принадлежал к эпохе демократической и народной политики, которую оплакивали традиционные реакционеры и пытались обойти поборники «органического государства». Фашизм гордился тем, что может мобилизовать массы, и символически поддерживал это в форме публичных театрализованных действий даже после прихода к власти (нюрнбергские факельные шествия, массы народа на площади Венеции, наблюдающие за жестикуляцией Муссолини, произносящего речи с балкона), что являлось характерным и для коммунистических движений. Фашисты были революционерами контрреволюции: своей риторикой, своим обращением к тем, кто считал себя жертвой общества, своими призывами к полному изменению существующего порядка, даже своим намеренным заимствованием символов и названий у революционеров, что так наглядно было продемонстрировано гитлеровской национал-социалистической рабочей партией с ее модифицированным красным флагом и немедленным введением в 1933 году большевистского 1 Мая в качестве официального праздника.

Несмотря на то что фашизм брал на вооружение риторiku о возвращении к старым традициям и получил большую поддержку от классов, которые действительно предпочли бы стереть из памяти прогрессивный прошлый век, это не было в настоящем смысле традиционалистское движение, как, например, движение карлистов Наварры, ставших одной из главных сил поддерж-

ки Франко в гражданской войне, или движение Ганди за возвращение к ручным ткацким станкам и сельским идеалам. Фашизм подчеркивал важность многих традиционных ценностей, но в ином смысле. Он осуждал эмансипацию женщин («женщина должна сидеть дома и растить многочисленное потомство»), не одобрял разрушающего влияния современной культуры, особенно модернистского искусства, которое немецкие национал-социалисты называли «культурным большевизмом» и вырождением. Однако основные фашистские движения, итальянское и немецкое, не обращались к историческим оплотам консерватизма — Церкви и королю, наоборот, они полностью старались их вытеснить, насаждая лидеров — выбившихся из низов людей, легитимизированных поддержкой масс, светскими идеологиями, а иногда и культом.

Прошлого, на которое они ссылались, не существовало. Их традиции были придуманными. Даже гитлеровский расизм не мог гордиться чистой, без примесей, линией предков (наличие которой так стараются найти у себя американцы, давшие заказ специалистам по генеалогии доказать их происхождение от неких саффолкских йоменов шестнадцатого века), хотя и создал свою псевдотеорию. В ней взята на вооружение смесь постдарвиновских теорий конца девятнадцатого века, претендовавшая на (и в Германии, увы, получившая) поддержку новой науки — генетики или, точнее, той отрасли прикладной генетики — «евгеники», целью которой являлось создание расы сверхлюдей путем селективного улучшения породы и ликвидации непригодных человеческих существ. Раса, предназначенная, по Гитлеру, властвовать миром, до 1898 года (когда некий антрополог придумал термин «нордическая»), даже не имела названия. Враждебный к наследию Просвещения восемнадцатого века и французской революции, фашизм также не мог официально принять современность и прогресс, однако на практике ему нетрудно было соединить безумный набор верований с техническими новшествами, кроме тех случаев, когда они шли вразрез с его идеологическими установками (см. главу 18). Фашизм был торжествующе антилиберален. Он являлся наглядным примером того, как без труда можно соединить варварские представления о мире с самыми современными техническими достижениями. Конец двадцатого века с его фундаменталистскими сектами, для сбора средств использующими телевидение и компьютерные программы, еще лучше продемонстрировал нам этот феномен.

На этом сочетании консервативных ценностей с методами уличной демократии и новым типом идеологии бесчеловечной жестокости, по существу сконцентрированном в национализме, следует остановиться подробнее. Подобные нетрадиционные движения радикальных правых возникли в нескольких европейских странах в конце девятнадцатого века как реакция, с одной стороны, на либерализм (т. е. преобразование общества капиталистиче-

ским путем) и рост социалистических рабочих движений, а с другой стороны — на поток иностранцев, растекшийся по всему свету в результате самой масштабной миграции населения в истории человечества. Мужчины и женщины мигрировали не только через океаны и границы между государствами, но также из деревни в город и из одной области своей страны в другую, попадая из насиженных мест в незнакомые страны и, как бездомные, просясь в чужой дом. Почти пятнадцать из каждых ста поляков навсегда покинули свою страну, четверть миллиона человек в год покидали ее в качестве сезонных мигрантов (главным образом для того, чтобы влиться в ряды рабочего класса принявших их стран). Предвосхищая события конца двадцатого века, конец девятнадцатого проложил путь массовой ксенофобии, проявлением которой и стал расизм — защита чистоты нации против ее загрязнения или даже порабощения вторгшимися ордами людей «низшей» расы. Его можно заметить не только в боязни притока польских эмигрантов, толкнувшей великого немецкого либерального социолога Макса Вебера к временной поддержке Пангерманского союза, но во все более истерической кампании против массовой иммиграции, развернувшейся в США, из-за которой во время Первой мировой войны и даже после ее окончания страна статуи Свободы закрыла свои границы для тех, кого эта статуя так приветливо приглашала.

Объединяло эти движения чувство злобы и обиды, испытываемое простыми людьми в обществе, где они находились между молотом большого бизнеса и наковальной растущих рабочих движений. Теперь они были лишены того достойного положения, которое занимали в прежнем общественном строе, и социального статуса в быстро меняющемся обществе, на который, по их мнению, имели право претендовать. Одним из типичных проявлений этих чувств стал антисемитизм, стимулировавший возникновение в некоторых странах в последней четверти девятнадцатого века специфических политических движений, в основе которых лежала ненависть к евреям. Евреи жили почти во всех странах земного шара и могли вполне стать символом всего самого ненавистного в этом полном несправедливостей мире, где благодаря распространению идей Просвещения и французской революции они получили все права и возможности. Они стали олицетворением ненавистных капиталистов/финансистов и революционных агитаторов, символом разрушительного влияния «безродных интеллектуалов» и новых средств массовой информации, несправедливости конкуренции, благодаря которой евреи получали самые лучшие места в профессиях, требовавших образования; они также являлись олицетворением иностранцев и чужаков, не говоря уже об укоренившейся вере косных представителей христианства в то, что именно они распяли Иисуса Христа.

Безусловно, неприязнь к евреям была широко распространена в западном мире, и их положение в обществе девятнадцатого века было весьма шатким.

Однако из-за того, что бастующие рабочие зачастую, даже будучи членами нерасистских рабочих движений, нападали на еврейских лавочников и считали своих хозяев евреями (что часто соответствовало истине во многих регионах Центральной и Западной Европы), нельзя считать их первыми национал-социалистами. Точно так же традиционный антисемитизм эдвардианских британских либеральных интеллектуалов, таких как группа Блумсбери*, не делал их сторонниками *политического* антисемитизма правых радикалов. Антисемитизм крестьян Центральной и Восточной Европы, где евреи практически были связующим звеном между крестьянином с продуктами его труда и внешней экономикой, являлся, несомненно, более застарелым и взрывоопасным. Он усилился, когда венгерские и румынские сельские общества начали все больше сотрясать катаклизмы современного мира. В отсталой крестьянской среде России еще верили легендам о евреях, приносящих в жертву христианских младенцев, поэтому социальные потрясения могли приводить к еврейским погромам, поощрявшимся реакционными властями царской империи, особенно после убийства революционерами царя Александра II в 1881 году. Отсюда прямая дорога от первоначальных стихийных ростков антисемитизма к истреблению еврейской нации во время Второй мировой войны. Именно стихийный антисемитизм породил восточноевропейские фашистские движения, получившие народную поддержку, такие как румынская «Железная гвардия» и венгерская «Партия скрещенных стрел». Во всяком случае, на бывших территориях Габсбургов и Романовых эта связь прослеживалась гораздо отчетливее, чем в германском рейхе, где стихийный сельский и провинциальный антисемитизм, хотя и глубоко укоренившийся, тем не менее был не столь жестоким, можно даже сказать, более терпимым. Евреев, которые после оккупации Вены в 1938 году бежали в Берлин, поражало отсутствие уличного антисемитизма. Сюда насилие пришло после указа сверху, изданного в ноябре 1938 года** (*Kershaw, 1983*). Но даже несмотря на это, нельзя сравнивать случайную и временную жестокость погромов с тем, что пришло поколением позже. Горстка убитых в 1881 году, сорок или пятьдесят жертв кишиневского погрома 1903 года потрясли мир, и это понятно, поскольку до наступления фашизма даже такое количество жертв казалось немыслимым для мира, ожидавшего прихода цивилизации. Даже более крупномасштабные по-

* Группа английских писателей, философов и художников, в 1920-е годы собиравшаяся в Блумсбери, районе Лондона. Помимо многих известных имен в группу входила знаменитая писательница и критик Вирджиния Вулф и будущий известный экономист Джон Мейнард Кейнс (*примеч. пер.*).

** Речь идет о так называемой «хрустальной ночи» 9—10 ноября 1938 года, вылившейся в погромы, убийства и акты вандализма в отношении евреев. Акция была спровоцирована фашистскими властями в ответ на убийство польским евреем Гершелем Гришпаном в Париже немецкого дипломата Эрнста фон Рата (*примеч. научного редактора*).

громы, сопровождавшие массовые крестьянские восстания во время русской революции 1905 года, принесли по стандартам более позднего времени довольно скромные потери — всего около восьмисот погибших. Сравним это с 3800 евреев, убитых в Вильнюсе (Вильно) литовцами за три дня в 1941 году после вторжения немцев в СССР, еще до того, как началось систематическое истребление евреев.

Новые движения правых радикалов, использовавшие, правда коренным образом переработав их, эти старые традиции нетерпимости, апеллировали в основном к низшим и средним слоям европейского общества и были оснащены риторикой и теорией националистами-интеллектуалами, оформившись как направление в 90-е годы девятнадцатого века. Даже сам термин «национализм» был придуман в это десятилетие для описания новых глашатаев реакции. Праворадикальные настроения усилились в рядах средней и мелкой буржуазии преимущественно в странах, где идеология демократии и либерализма не была господствующей, т. е. главным образом в государствах, на которые не оказала влияния французская революция или ее аналоги. Фактически во всех ведущих странах западного либерализма — Великобритании, Франции и США — общее преобладание революционной традиции воспрепятствовало возникновению каких-либо значительных фашистских движений. Неверно путать расизм американских популистов или шовинизм французских республиканцев с протофашизмом: то были левые движения.

В условиях, когда торжество свободы, равенства и братства больше не стояло на пути, древние инстинкты могли украсить себя новыми политическими лозунгами. Почти не приходится сомневаться в том, что активные сторонники свастики в австрийских Альпах были завербованы в основном из провинциальной интеллигенции — ветеринаров, землемеров и прочих специалистов, некогда бывших местными либералами — образованным и эмансипированным меньшинством в среде, где преобладал крестьянский клерикализм. Точно так же в конце двадцатого века распад классических пролетарских рабочих и социалистических движений дал возможность вырваться наружу природному шовинизму и расизму многочисленной армии рабочих, занятых в сфере неквалифицированного труда. До этого они опасались выражать свои взгляды и чувства публично из-за принадлежности к партиям, страстно их отрицавшим. Начиная с 1960-х годов западная ксенофобия и политический расизм встречаются главным образом в общественном слое, занимающемся физическим трудом. Однако в десятилетия, когда фашизм еще только зарождался, его исповедовали те, кто не пачкал свои руки тяжелой работой.

Средняя и мелкая буржуазия являлась главной составной частью подобных движений в период становления фашизма. Этот факт не подвергают сомнению даже историки, стремящиеся пересмотреть традиционные представ-

ления о том, кто именно поддерживал нацистов в период между 1930 и 1980 годами (*Childers, 1983; Childers, 1991, p. 8, 14—15*). Возьмем всего лишь один случай из многих, чтобы показать состав таких движений и тех, кто оказывал им поддержку. В Австрии в период между мировыми войнами из национал-социалистов, избранных в качестве депутатов районных советов в Вене в 1932 году, 18 % имели собственные предприятия, 56 % были инженерно-техническими работниками, служащими и государственными чиновниками, а 14 % составляли промышленные рабочие. Из числа нацистов, избранных пятью австрийскими региональными ассамблеями за пределами Вены в том же году, 16 % являлись владельцами собственных предприятий и фермерами, 51 % — служащими и 10 % — промышленными рабочими (*Larsen et al., 1978, p. 766—767*).

Это не означает, что фашистские движения не могли получить массовую поддержку среди рабочей бедноты. Румынскую «Железную гвардию» бедное крестьянство поддерживало при любом составе ее руководящих кадров. Избирателями венгерской «Партии скрещенных стрел» были в основном рабочие (коммунистическая партия находилась на нелегальном положении, а социал-демократическая партия была малочисленной из-за своей терпимости к режиму Хорти). После поражения австрийской социал-демократии в 1934 году начался заметный отток рабочих в нацистскую партию, особенно в австрийских провинциях. Кроме того, едва фашистские правительства, признанные всенародно, утвердили свое положение в обществе, как произошло в Италии и Германии, гораздо большее число, чем любят считать левые, до этого просоциалистически и прокоммунистически настроенных рабочих стало сочувствовать новым режимам. Однако, поскольку фашистские движения не имели особого успеха в традиционно сельском обществе (если только не получали подкрепления, как в Хорватии, от организаций, подобных Римско-католической церкви) и являлись заклятыми врагами идеологий и партий, связанных с организованным рабочим классом, их основных избирателей следовало, как и ожидалось, искать в средних слоях общества.

Насколько глубоким было первоначальное распространение фашизма в средних слоях общества — более сложный вопрос. Несомненно, его влияние на молодежь этих слоев было сильно, особенно на студентов европейских университетов, которые в период между войнами, как известно, тяготели к ультраправым. Тринадцать процентов членов итальянского фашистского движения в 1921 году (т. е. до «похода на Рим») были студентами. В Германии от 5 до 10 % всех студентов были членами нацистской партии уже в 1930 году, когда подавляющее большинство будущих фашистов еще не начали проявлять интерес к Гитлеру (*Kater, 1985, p. 467; Noelle/Neumann, 1967, p. 196*). Как мы увидим, многочисленна была и прослойка бывших офицеров, выходцев из среднего класса, — тех, для кого Первая мировая война со всеми ее ужасами

стала вершиной личных достижений, при взгляде с которой им открывались лишь тоскливые низменности будущей штатской жизни. Эти представители среднего слоя общества были, безусловно, наиболее восприимчивы к призывам нацистов. В общих чертах влияние правых радикалов проявлялось тем сильнее, чем больше была действительная или предполагаемая угроза положению среднего класса, поскольку рухнули структуры, призванные сохранять существующий порядок в обществе. В Германии двойной удар сначала «великой инфляции», обесценившей значение денег до нуля, и последовавшей вслед за ней Великой депрессии радикализировал даже таких представителей средних слоев, как средние и высшие государственные чиновники, чье положение казалось таким прочным и которые при менее драматических обстоятельствах были бы рады оставаться старомодными патриотами-консерваторами, тоскующими по кайзеру Вильгельму, но готовыми исполнить свой долг перед республикой, возглавляемой фельдмаршалом Гинденбургом, если бы она не рухнула у них на глазах. Большинство равнодушных к политике немцев в период между мировыми войнами тосковали по империи Вильгельма. Даже в 1960-е годы, когда большая часть западных немцев полагала (чему не приходится удивляться), что Германия переживает свои лучшие времена, 42 % из тех, кому было за шестьдесят, все еще считали жизнь до Первой мировой войны лучше, чем их сегодняшняя, а 32 % оставались преданными «экономическому чуду» (*Noelle/Neumann, 1967, p. 196*). В период 1930—1932 годов избиратели, принадлежавшие к буржуазному центру и правому флангу, в массовом порядке вступали в нацистскую партию. Однако строителями фашизма являлись не они.

Эти консервативные средние классы стали потенциальными или даже активными сторонниками фашизма в результате политических сражений в период между мировыми войнами. Казалось, угроза либеральному обществу и всем его ценностям исходит исключительно справа, а угроза социальному порядку — слева. Средние классы выбирали свою политику в соответствии с собственными страхами. Традиционные консерваторы, как правило, симпатизировали демагогии фашизма и были готовы объединиться с ним против главного врага. Итальянский фашизм имел довольно сильную поддержку прессы в 1920-е и даже в 1930-е годы, за исключением либеральных левых газет. «Но для дерзкого эксперимента фашизма это десятилетие не было плодотворным в искусстве управления государством», — писал Джон Бьюкен, видный британский консерватор и автор триллеров (вкус к написанию триллеров, увы, редко сочетается с левыми убеждениями) (*Graves/Hodge, 1941, p. 248*). Гитлер был приведен к власти коалицией традиционных правых, с которыми он впоследствии расправился. Генерал Франко включил в свой национальный фронт не очень влиятельную в то время испанскую «Фалангу», потому что выступал в качестве представителя союза всех правых сил против комму-

нистической угрозы. К счастью, во Второй мировой войне он не присоединился к Гитлеру, послав тем не менее добровольческий отряд под названием «Голубая дивизия» воевать против коммунистов в России. Маршал Петен, безусловно, не был фашистом и не симпатизировал нацистам. Одна из причин, почему так трудно было после войны отличить убежденных французских фашистов и прогерманских коллаборационистов от сторонников вишистского режима маршала Петена, заключалась в том, что между ними фактически не имелось четкой разницы. Те, чьи отцы ненавидели Дрейфуса, евреев и проклятую Республику (некоторые деятели вишистского режима были в то время уже достаточно взрослыми, чтобы хорошо сохранить это в памяти), сами постепенно становились фанатичными приверженцами Гитлера. Одним словом, «естественный» альянс правых в период между мировыми войнами составлял широкий спектр от традиционных консерваторов и старомодных реакционеров до крайних экстремистов, сторонников фашистской патологии. Традиционные силы консерватизма и контрреволюции в обществе были многочисленны, но зачастую инертны. Фашизм сообщил им динамику и, что, возможно, более важно, явил пример победы над силами, нарушающими порядок (разве не вошел в поговорку аргумент в пользу фашистской Италии: «Муссолини заставил поезда ходить по расписанию»?). Как динамизм действенный коммунистов после 1933 года вдохновил лишённые направления и руководства левые силы, так и успех фашизма, особенно после захвата власти в Германии национал-социалистами, заставил смотреть на него как на движение будущего. Сам факт, что в это время фашизм, хотя и на короткое время, появился на политической сцене консервативной Великобритании, показывает действенность подобной «демонстрации силы». То, что он обратил в свою веру одного из самых видных политических деятелей и получил поддержку одного из главных газетных магнатов, более важно, чем то, что порядочные политики вскоре покинули движение сэра Освальда Мосли, а «Daily Mail» лорда Ротермира довольно быстро прекратила свою поддержку Британского союза фашистов. Ведь Великобритания все еще повсеместно и справедливо считалась примером политической и социальной стабильности.

III

Подъем правых радикалов после Первой мировой войны, несомненно, явился реакцией на ставшую реальной опасность социальной революции и прихода к власти рабочего класса, в частности на Октябрьскую революцию и ленинизм. Без этих факторов фашизм бы не возник. Хотя демагогически настроенные крайние правые в ряде европейских стран и создавали политическую шумиху и проявляли агрессивность еще с конца девятнадцатого века, до

1914 года они почти всегда находились под контролем. Апологеты фашизма, возможно, отчасти правы, считая, что Муссолини и Гитлера породил Ленин. Однако никоим образом нельзя оправдывать варварство фашистов, утверждая, что его якобы вдохновила жестокость русской революции, что любили делать некоторые немецкие историки в 1980-е годы (Nolte, 1987).

Однако следует сделать две важные оговорки при утверждении, что подъем правых сил стал естественным ответом на подъем революционных левых. Во-первых, в этом случае недооценивается то влияние, которое оказала Первая мировая война на значительную часть общества — слой средней и мелкой буржуазии, солдат-патриотов и молодых людей, которые после ноября 1918 года не могли простить того, что их шанс стать героями упущен. Фронтовикам суждено было сыграть наиболее важную роль в мифологии праворадикальных движений (Гитлер сам был одним из них). Они составили значительную часть первых отрядов нацистских ультра. К их числу принадлежали офицеры, уничтожившие немецких коммунистов Карла Либкнехта и Розу Люксембург в начале 1919 года, итальянские *squadristi* * и немецкие *freikorps*. Пятьдесят семь процентов первых итальянских фашистов являлись бывшими военнослужащими. Как мы уже говорили, Первая мировая война приучила мир к насилию, и эти люди упивались возможностью дать волю своей нереализованной жестокости.

Решительная приверженность левых из числа прогрессивных либералов антивоенным и антимилитаристским движениям и глубокое отвращение народа к кровавой бойне Первой мировой войны привели к тому, что многие недооценили опасность возникновения относительно малочисленного, но в абсолютном значении важного меньшинства, для которого опыт, приобретенный в сражениях Первой мировой войны, явился основополагающим и воодушевляющим, для кого военная форма и дисциплина, жертвование — собой или другими, оружие, кровь и власть были тем, ради чего стоило жить настоящим мужчинам. Они не написали много книг о войне, хотя в Германии вышли одна или две. Эти Рэмбо своего времени естественным образом влились в ряды правых радикалов.

Вторая оговорка состоит в том, что ответный удар правых был направлен не против большевизма как такового, а против всех движений, и в особенности против организованного рабочего класса, которые угрожали существующему порядку в обществе или могли быть обвинены в его развале. Символом этой угрозы был Ленин, а не социалистические рабочие партии, чьи лидеры были достаточно умеренными. Правых беспокоил рост могущества рабочих масс, их уверенность и радикализм, придавший прежним социалистическим

* Фашистские вооруженные отряды, терроризировавшие сельское население Италии (примеч. пер.).

партиям новую политическую мощь и фактически сделавший их обязательным атрибутом либеральных государств. Не случайно в ближайшие послевоенные годы главное требование, выдвигавшееся социалистическими лидерами еще с 1889 года, — восьмичасовой рабочий день — было удовлетворено почти во всей Европе.

Консерваторов пугало не столько превращение лидеров рабочих союзов и активистов оппозиции в министров правительств (хотя и это не вызывало у них восторга), сколько угроза, таившаяся в увеличении власти рабочего класса. По определению, все эти силы были левыми. В эпоху социальных сдвигов не было четкой границы, отделявшей их от большевиков. Безусловно, многие социалистические партии с радостью присоединились бы к коммунистам в ближайшие послевоенные годы, если бы те не отказали им в этом. Человек, которого Муссолини приказал убить после «похода на Рим», не был лидером коммунистов, это был социалист Маттеотти. Традиционные правые могли видеть в безбожной России воплощение всего зла в мире, но мятеж генералов-франкистов в 1936 году не был направлен против коммунистов как таковых, хотя бы только потому, что те составляли меньшинство в Народном фронте (см. главу 5). Он был направлен против подъема народного движения, которое до начала гражданской войны поддерживало социалистов и анархистов. Считать фашизм последствием того, что сделали Ленин и Сталин, стали уже задним числом.

И все же необходимо понять, почему «правый бумеранг», столь внезапно набравший силу после Первой мировой войны, одержал свои решающие победы именно в облике фашизма. Ведь экстремистские движения ультраправых существовали и до 1914 года — исповедовавшие истерический национализм и ксенофобию, идеализировавшие войну и насилие, фанатичные приверженцы насильственных методов подавления, страстные антилибералы, антидемократы, антипролетарии, антисоциалисты и антирационалисты, грезящие о возвращении к ценностям, отброшенным современностью. Они имели определенное политическое влияние в кругах правых политиков и в некоторых кругах интеллигенции, но никогда не обладали властью.

После Первой мировой войны им дало шанс крушение старых режимов, а вместе с ними — старых правящих классов с их механизмами управления, влияния и гегемонии. Если старые режимы могли и дальше оставаться в рабочем состоянии, не было необходимости в фашизме. Он не прижился в Великобритании, несмотря на определенные попытки, о чем говорилось выше. Традиционные правые консерваторы оставались под контролем. Он не сделал никаких существенных успехов во Франции до поражения 1940 года. Хотя традиционные французские праворадикальные организации (монархическое «Французское действие» и «Огненный крест» полковника Ла Рока) были вполне готовы сражаться с левыми, они не являлись чисто фашистскими. Кое-кто из их членов даже принимал участие в Сопротивлении.

С другой стороны, фашизм не был нужен в тех обретших независимость странах, где к власти пришел новый националистический правящий класс или группа людей. Эти люди могли быть реакционерами и вполне могли предпочесть авторитарное правительство по причинам, которые будут рассмотрены ниже, но в Европе каждое устремление в сторону антидемократического правого фланга в период между мировыми войнами отождествлялось с фашизмом лишь с пропагандистскими целями. Не было влиятельных фашистских движений ни в новой Польше, где у власти находились авторитарные военные, ни в чешской области Чехословакии, ставшей демократической, ни в правящем сербском ядре новой Югославии. Там, где существовали влиятельные фашистские или подобные им движения (в странах, чьи руководители были традиционными правыми или реакционерами,— в Венгрии, Румынии, Финляндии, даже во франкистской Испании, лидер которой не был фашистом), правительству не составляло большого труда держать эти движения под контролем, если только немцы не оказывали на него давления (как произошло в Венгрии в 1944 году). Это не означает, что немногочисленные националистические движения в старых или вновь образовавшихся государствах не поддерживали фашизм. Они делали это хотя бы потому, что ожидали финансовой и экономической поддержки из Италии, а после 1933 года и из Германии, как было во Фландрии (бельгийской), Словакии и Хорватии.

Оптимальными условиями для победы крайних правых фанатиков являлось старое государство, механизмы управления которого уже не были в состоянии функционировать, наличие массы разочарованных, растерянных и недовольных своей судьбой граждан, которые больше не знают, кому верить, наличие влиятельных социалистических движений, представляющих реальную или потенциальную угрозу социальной революции, но не могущих осуществить ее на практике, а также подъем национального возмущения, вызванный несправедливыми договорами о мире 1918—1920 годов. Это были те условия, при которых не имевшие поддержки старые правящие элиты были вынуждены обратиться за помощью к ультралибералам, как сделали итальянские либералы, в 1920—1922 году обратившиеся за помощью к фашистам Муссолини, а также немецкие консерваторы, прибегнувшие к поддержке гитлеровских национал-социалистов в 1932—1933 годах. При этих условиях радикальные правые движения превратились в могущественные организованные, иногда даже одетые в форму военизированные отряды или, как в Германии во время Великой депрессии, в массовые армии недовольных избирателей. Однако ни в Германии, ни в Италии фашизм не завоевал власть, хотя в обеих этих странах он уделял большое внимание пышной риторике («захват улиц», «поход на Рим»). В обоих случаях фашизм пришел к власти при попустительстве прежнего режима или по его инициативе (как в Италии), т. е. конституционным способом.

Новшество, привнесенное фашизмом, заключалось в том, что, придя к руководству, он отказался играть в старые политические игры и захватил власть везде, где только смог. Полный переход власти к фашистам и ликвидация всех врагов заняли больше времени в Италии (1922—1928 годы), чем в Германии (1933—1934 годы), но когда это осуществилось, все внутренние политические ограничения были уничтожены, тем самым открыв путь для неограниченной диктатуры верховного лидера-популиста (дуче, фюрера).

Тут мы должны сразу же развенчать два в равной мере неверных тезиса о фашизме: один — придуманный фашистами, но взятый на вооружение многими либеральными историками, а второй — дорогой сердцу ортодоксального советского марксизма. Никакой «фашистской революции» не было, также фашизм не являлся порождением «монополистического капитала» или большого бизнеса.

В фашистских движениях имелись революционные элементы, поскольку в них участвовали люди, стремившиеся к коренному преобразованию общества, часто в явно антикапиталистическом и антиолигархическом направлении. Однако скаковой лошадке революционного фашизма не удалось даже взять старт. Гитлер быстро устранил тех, кто принимал всерьез составную часть «социалистическая» в названии «национал-социалистическая рабочая партия» — чего он сам, конечно, не делал. Мечта маленького человека о возврате к некой благословенной средневековой эпохе с потомственными землевладельцами, искусными ремесленниками наподобие Ганса Сакса * и девушками с белокурыми косами не могла быть воплощена в жизнь в крупных государствах двадцатого века (разве что в кошмарных планах Гимmlера о государстве с людьми чистой расы), и менее всего при режимах, которые, как итальянский и немецкий фашизм, твердо шли по пути модернизации и технического прогресса.

Чего действительно достиг национал-социализм, так это радикальной чистки старой имперской верхушки власти и государственных учреждений. В конце концов единственной группой, поднявшей в июле 1944 года восстание против Гитлера и в результате уничтоженной, стали несколько офицеров старой прусской армии. Разрушение старой элиты и прежних структур, после войны подкрепленное политикой оккупационных армий западных стран, в конечном итоге позволило обеспечить Федеративную Республику Германию гораздо более прочной основой, чем была у Веймарской республики в 1918—1933 году. Последняя, в сущности, осталась ничем иным, как побежденной империей, но без кайзера. У нацизма действительно существовала социаль-

* Ганс Сакс (1494—1576) — немецкий бюргер, мейстерзингер и поэт, имевший огромную популярность и эстетическое и религиозное влияние в свою эпоху. Он выведен в опере Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» (примеч. пер.).

ная программа для широких масс, которая частично была осуществлена: отдых, спорт, в планах имелся «народный автомобиль» «фольксваген», который стал после Второй мировой войны известен во всем мире как «жук». Но главным его достижением стало прекращение Великой депрессии, что нацисты сделали более эффективно, чем любое другое правительство, так как в их антилиберализме имелась своя положительная сторона — он не заставлял априорно верить в свободный рынок. И все же нацизм являлся не кардинально новым, а перекроенным старым режимом, в который были влиты новые силы. Подобно империалистической милитаристской Японии 1930-х годов (которую никто не мог назвать революционным государством), его нелиберальная капиталистическая экономика достигла поразительных успехов в развитии динамичной промышленной системы. Экономические и другие достижения фашистской Италии были гораздо менее впечатляющими, что она и продемонстрировала во Второй мировой войне. Ее военная экономика была крайне слабой. Разговор о «фашистской революции» оставался не более чем риторикой, в которую, правда, искренне верили многие рядовые итальянские фашисты. В Италии этот режим более откровенно защищал интересы старых правящих классов, да и возник он как защита от революционных волнений, начавшихся после 1918 года, а не как реакция на травмы Великой депрессии и неспособность правительства преодолеть их, как произошло в Германии. Итальянский фашизм, продолжавший процесс объединения Италии, начавшийся в девятнадцатом веке, получив более сильное и централизованное правительство, имел несколько значительных достижений. Он был единственным итальянским режимом, которому удалось разгромить сицилийскую мафию и неаполитанскую каморру. Однако его историческое значение состояло не в его целях и достижениях, а в его роли первого в мире инициатора новой версии победившей контрреволюции. Муссолини вдохновил Гитлера, и Гитлер никогда не переставал признавать приоритет итальянского фашизма. С другой стороны, он долгое время оставался аномалией среди радикальных правых движений из-за своей терпимости и даже определенного пристрастия к авангарду и модернизму в искусстве и в некоторых других отношениях, в частности (до тех пор пока Муссолини не стал сотрудничать с Германией в 1938 году) из-за полного отсутствия интереса к антисемитизму.

Что касается тезиса о «монополистическом капитализме», то дело в том, что большой бизнес может договориться с любым режимом, не лишаящим его права на собственность, и в свою очередь, каждый режим должен с ним договариваться. Фашизм не в большей мере являлся «выражением интересов монополистического капитала», чем американский «новый курс», британские лейбористские правительства или Веймарская республика. Большой бизнес начала 1930-х годов не особенно хотел, чтобы к власти пришел Гитлер, и предпочел бы более традиционный консерватизм. До Великой депрессии он

оказывал ему очень небольшую поддержку, зачастую запоздалую и нерегулярную. Однако после прихода Гитлера к власти бизнес стал с радостью сотрудничать с ним, используя рабскую силу и труд заключенных концлагерей во время Второй мировой войны. Большой и малый бизнес, несомненно, получил выгоду от экспроприации евреев.

Тем не менее следует заметить, что фашизм по сравнению с другими режимами предоставил несколько важных преимуществ капиталу. Во-первых, он предотвратил левую социальную революцию и, несомненно, казался главным оплотом защиты от нее. Во-вторых, он уничтожил рабочие союзы и другие ограничители прав работодателей в управлении рабочей силой. Безусловно, фашистский «принцип лидерства» являлся именно тем, что большинство владельцев и управляющих предприятий и раньше применяли по отношению к своим подчиненным, фашизм же разрешил это официально. В-третьих, развал рабочих движений помог бизнесу обеспечить чрезвычайно благоприятный выход из депрессии. В то время как в США в 1929—1941 годах верхние 5 % потребителей сократили свою долю совокупного национального дохода на 20 % (похожая, но более умеренная уравнивательная тенденция имела место в Великобритании и Скандинавии), в Германии те же самые 5 % за тот же период стали на 15 % богаче (*Kuznets, 1956*). В конечном итоге, как уже отмечалось, фашизм способствовал активизации и модернизации промышленной экономики — хотя, как оказалось, не так удачно в области долгосрочного научно-технического планирования, как западные демократии.

IV

Стал бы фашизм таким значительным явлением в истории, если бы не было Великой депрессии? По всей вероятности, нет. Италия сама по себе не являлась удачным плацдармом для мировых потрясений. В 1920-е годы никакое иное праворадикальное контрреволюционное движение в Европе, казалось, не имело перспектив по тем же причинам, по которым провалились попытки коммунистов совершить социальную революцию: поднявшаяся после 1917 года волна коммунизма спала, и экономика начала возрождаться. В Германии после ноябрьской революции столпы империалистического общества — генералы, государственные служащие и им подобные оказывали некоторую поддержку независимым полувоенным формированиям и другим правым экстремистам. Но происходило это главным образом из-за их желания (вполне понятного) видеть новую республику консервативной, контрреволюционной, а также имеющей возможности обеспечивать определенное международное пространство для политического маневрирования. Однако, поставленные перед необходимостью выбора, как, например, во время путча правых

(путч Каппа 1920 года) и мюнхенского мятежа 1923 года, когда впервые со страниц газет прозвучало имя Адольфа Гитлера, они без колебаний поддерживали существующий порядок. После экономического подъема 1924 года число избирателей рабочей национал-социалистической партии уменьшилось до жалких 2,5—3 %. На выборах 1928 года их оказалось в два раза меньше, чем у немногочисленной, но высокоорганизованной германской демократической партии, в пять раз меньше, чем у коммунистов и в десять раз меньше, чем у социал-демократов. Однако уже через два года национал-социалисты получили более 18 % голосов избирателей, став второй по величине партией на германской политической сцене. Четыре года спустя, летом 1932 года, это была уже самая мощная партия, получившая более 37 % всех голосов, хотя она не смогла сохранить такую поддержку, пока существовали демократические выборы. Без сомнения, именно Великая депрессия превратила Гитлера из второстепенного политика в потенциального и в конечном итоге реального хозяина страны.

Однако даже Великая депрессия не смогла бы дать фашизму ту силу и влияние, которыми он в полной мере воспользовался в 1930-е годы, если бы страной, в которой он пришел к власти, не была бы Германия — государство, по своим размерам, экономическому и военному потенциалу, а также своему географическому положению предназначенное играть важную историческую роль в Европе при любой форме правления. Полное поражение в двух мировых войнах не помешало Германии закончить двадцатый век в качестве лидирующего государства в Европе. Так же как победа учения Маркса в самом большом государстве мира («одной шестой части суши», как любил говорить коммунисты) сделала коммунизм одной из главных международных сил даже в те времена, когда его политическое влияние за пределами СССР было незначительно, захват власти Гитлером в Германии подкрепил успех Муссолини в Италии и превратил фашизм в могущественное политическое течение. Линия агрессивного милитаристского экспансионизма, успешно проводимая обоими государствами (см. главу 5), подкрепленная подобным же курсом Японии, оказала преобладающее влияние на международную политику этого десятилетия. Поэтому вполне естественно, что фашизм привлекал государства или движения со сходным курсом, и они попадали под его влияние, ища поддержки Германии и Италии и зачастую получая ее (если подчинялись политике экспансионизма).

В Европе по очевидным причинам такие движения были в подавляющем большинстве правыми. Так, внутри сионизма (в то время в основном являвшегося движением европейских евреев ашкенази) направление, взявшее за образец итальянский фашизм — «ревизионизм» Владимира Жаботинского, явно было правого толка в противоположность большинству социалистических и либеральных сионистских движений. Однако фашизм в 1930-е годы не

мог не влиять на обстановку в мире хотя бы потому, что был связан с двумя динамичными и активными державами. Но за пределами Европы условий, благодаря которым возникли фашистские движения, почти не существовало. Поэтому там политическое положение и цели появившихся фашистских или находившихся под влиянием фашизма движений были гораздо более туманны.

Безусловно, некоторые характерные черты европейского фашизма нашли отклик и в других частях света. Было бы странно, если бы муфтию Иерусалима и другим арабам, противившимся еврейской колонизации Палестины, не пришелся по вкусу антисемитизм Гитлера, хотя в нем не было и следа от традиции сосуществования исламистов с неверными различного толка. Некоторые индусы высших каст в Индии (так же как и современные сингальские * экстремисты в Шри-Ланке), подобно арийцам, верили в свое превосходство над более темными расами Индостана. Бурские повстанцы, за свою прогерманскую настроенность интернированные во время Второй мировой войны (некоторые из них стали лидерами в эпоху апартеида, наступившую после 1948 года), тоже имели идеологическое родство с Гитлером и как убежденные расисты, и вследствие влияния на них ультраправого крыла нидерландских кальвинистов. Это, однако, не противоречит утверждению, что фашизма, в отличие от коммунизма, не существовало в Азии и Африке (разве что среди некоторых местных европейских колонистов), потому что он не оказывал влияния на местную политическую ситуацию.

Подобное положение дел в общих чертах имело место даже в Японии, хотя эта страна была союзницей Германии и Италии, воевала на их стороне во время Второй мировой войны, и на ее политику правые оказывали решающее влияние. Сходство господствующих идеологий западного и восточного флангов «держав оси» безусловно велико. Японцы не имели себе равных по убежденности в расовом превосходстве и необходимости расовой чистоты для военных подвигов и самопожертвования, абсолютного повиновения приказам, самоотречения и стоицизма. Любой самурай подписался бы под девизом гитлеровских СС «*Meine Ehre ist Treue*» («моя честь—это верность»). Японское общество было обществом строгой иерархии, абсолютной преданности индивидуума своей нации и ее божественному Императору (если термин «индивидуум» в его значении для западного мира здесь вообще имел какой-либо смысл) и полного отрицания Свободы, Равенства и Братства. Японцы без труда понимали вагнеровские мифы о варварских богах, честных и отважных средневековых рыцарях и чисто германской природе гор и лесов, полных романтическими видениями. Подобно палачам немецких концлагерей, с наслаждением игравшим на фортепьяно квартеты Шуберта, они обла-

* Сингальцы—самая большая этническая группа в Шри-Ланке (примеч. пер.).

дали способностью соединять варварское поведение с изощренным эстетическим вкусом. В той степени, в какой фашизм был переложим на язык дзэн-буддизма, японцы вполне могли его приветствовать, хотя и не нуждались в нем. И конечно, среди дипломатов, аккредитованных в европейских фашистских государствах, но особенно в ультранационалистических террористических группах, занимавшихся уничтожением недостаточно патриотичных политиков, а также в Квантунской армии, которая в это время завоевывала и обращала в рабство Маньчжурию и Китай, имелись японцы, признававшие это духовное родство и агитировавшие за большее сближение с европейскими фашистскими державами.

И все же европейский фашизм нельзя отождествлять с восточным феодализмом, наделенным имперской национальной миссией. Он принадлежал эпохе демократии, защищающей нужды простого человека, в то время как сама концепция движения, стремящегося мобилизовать массы для каких-то новых и якобы революционных целей, объединив их вокруг самоизбранных лидеров, не имела смысла в Японии в царствование Хирохито. Здесь видению мира соответствовал скорее не Гитлер, а прусская армия с ее традициями. Одним словом, несмотря на имевшиеся совпадения с немецким национал-социализмом (сходство с Италией было гораздо меньше), Япония не являлась фашистской.

Что касается государств и движений, искавших поддержки Германии и Италии, особенно во время Второй мировой войны, когда казалось, что «державы оси» близки к победе, то их главным мотивом была не идеология, хотя некоторые из малочисленных националистических режимов в Европе, чье положение полностью зависело от германской поддержки, с готовностью объявили себя еще большими нацистами, чем СС,— например, режим Усташи в Хорватии. Тем не менее было бы абсурдом считать Ирландскую республиканскую армию или обосновавшихся в Берлине индийских националистов фашистами по той причине, что во Второй мировой войне, как и в Первой, некоторые из них обсуждали условия поддержки Германии по принципу «враг моего врага — мой друг». Например, лидер Ирландской Республики Фрэнк Райан, который вел такие переговоры, был настолько убежденным антифашистом, что во время гражданской войны в Испании вступил в интернациональную бригаду, чтобы воевать против генерала Франко, был захвачен франкистами и отправлен в Германию. Но подобные случаи не должны нас отвлекать.

Однако остается континент, где идеологическое влияние европейского фашизма было неоспоримо,— это Америка.

В Северной Америке движения, вдохновляемые Европой, не выходили за пределы определенных эмигрантских сообществ, захвативших с родины идеологии своих стран, как, например, скандинавы и евреи, взявшие с собой

приверженность социализму, или те, кто сохранял лояльность к стране, в которой родился. Таким образом, американцы добавили к своему изоляционизму немецкие и (правда, в гораздо меньшей степени) итальянские настроения, хотя и нет свидетельств, что там появилось много фашистов. Атрибуты фашизма — коричневые рубашки, руки, вздымаемые в салюте, — не были изначально свойственны местным правым и расистским движениям, наиболее известным из которых был ку-клукс-клан. Процветал антисемитизм, хотя его современная американская версия (проявившаяся, например, в популярных проповедях по радио отца Кафлина из Детройта), возможно, больше была обязана правому корпоратизму, вдохновленному европейским католицизмом. Для США 1930-х годов характерно то, что наиболее успешное и, возможно, самое опасное демагогическое популистское движение этого десятилетия — покорение Луизианы Хью Лонгом* — возникло из чисто леворадикальной традиции. Оно уничтожало демократию во имя демократии и апеллировало не к чувству обиды мелкой буржуазии или к антиреволюционным инстинктам самосохранения богатых, а к эгалитаризму бедняков. Не было оно и расистским. Движение под девизом «каждый человек — король» не могло принадлежать к фашистской традиции.

Что касается Латинской Америки, то там влияние европейского фашизма было несомненно. Его проводниками выступали как отдельные политики (Хорхе Эльсесер Гайтан (1898—1948) в Колумбии и Хуан Доминго Перон (1895—1974) в Аргентине), так и целые режимы, например, *Estado Novo* («Новое государство») Жетулиу Варгаса (1937—1945 годы в Бразилии). Но на самом деле, вопреки беспочвенным страхам американцев по поводу наступления фашизма с юга, фашизм ограничил свое влияние самими латиноамериканскими странами. Кроме Аргентины, открыто помогавшей «держavam оси» как до прихода к власти Перона в 1943 году, так и после, правительства Западного полушария вступили в войну на стороне США, по крайней мере номинально. Тем не менее в некоторых южноамериканских странах войска были сформированы по немецкому образцу или обучались под руководством немецких или даже нацистских кадров.

Фашистское влияние к югу от Рио-Гранде несложно объяснить. Оттуда США после 1914 года больше не выглядели, как это было в девятнадцатом веке, союзником внутренних сил прогресса и дипломатическим противовесом политике империй или бывших империй Испании, Франции и Великобритании. Американские империалистические территориальные захваты, начиная с Испании в 1898 году, мексиканской революции, не говоря уже о разви-

* Хью Лонг (1893—1935) — губернатор Луизианы и сенатор, чьи планы социальных реформ и радикального улучшения благосостояния населения контрастировали с осуществляемой им в своем штате жесткой и беспринципной диктатурой (примеч. пер.).

тии нефтяной и банановой отраслей производства, породили антиамериканские антиимпериалистические настроения в латиноамериканской политике, которые приверженность Вашингтона в первой трети двадцатого века дипломатии канонерок и десантов морской пехоты только укрепила. Виктор Рауль Аяя де ла Торре, основатель антиимпериалистического Американского народного революционного альянса (АНРА), амбиции которого простирались на весь континент, планировал (после того как завоюет власть в родном Перу) обучать своих бойцов с помощью кадров Сандино, прославленного борца против янки в Никарагуа. (Именно долгая партизанская война под руководством Сандино против американской оккупации 1927 года вдохновила сандинистскую революцию в Никарагуа в 1980-х годах.) К тому же ослабленные Великой депрессией США 1930-х годов ничем не напоминали прежнее государство-лидер. Отказ Франклина Д. Рузвельта от дипломатии канонерок и высадок морского десанта, которую осуществляли его предшественники, мог рассматриваться не только как признак «добрососедской политики», но и как проявление слабости (что было неверно). Латинская Америка 1930-х годов не была склонна оглядываться на своего северного соседа.

С другой стороны, при взгляде через Атлантику фашизм, несомненно, казался самым победоносным движением этого десятилетия. Если существовал в мире пример, которому следовало подражать энергичным и амбициозным политикам континента, всегда бравшего пример с более развитых в культурном отношении государств, то этим потенциальным лидерам своих стран, постоянно искавшим рецепт, как стать современными, богатыми и великими, конечно, следовало обратиться к опыту Берлина и Рима, поскольку ни Лондон, ни Париж больше не предлагали новых политических идей, а Вашингтон пребывал в бездействии. (Москва рассматривалась в основном в качестве модели социальной революции, что ограничивало ее политическую притягательность.)

И все же насколько отличались от европейских прототипов политические действия и достижения людей, не скрывавших своего восхищения Муссолини и Гитлером! Я вспоминаю то потрясение, которое испытал, услышав, как президент революционной Боливии без всякого колебания признал это в частной беседе. В Боливии солдаты и политики, вдохновленные примером Германии, стали организаторами революции 1952 года, национализировавшей оловянные рудники и давшей крестьянам-индейцам радикальную земельную реформу. В Колумбии великий народный трибун Хорхе Эльесер Гайтан, весьма далекий от выбора правого политического пути, захватил власть в либеральной партии и, несомненно, повел бы ее в радикальном направлении, если бы не был убит в Боготе 9 апреля 1948 года. Это событие немедленно спровоцировало народное восстание в столице (на сторону повстанцев перешла полиция) и провозглашение революционных коммун во многих районах

страны. Что латиноамериканские лидеры действительно взяли от европейского фашизма, так это обожествление своих энергичных популистских лидеров. Массам, которые они собирались поднять на борьбу (к чему вскоре и приступили), было нечего терять. К тому же врагами, против которых были подняты эти массы, являлись не чужеземцы и евреи (хотя элемент антисемитизма в политике как Перона, так и других аргентинских лидеров несомненен), а олигархи — богачи и местная элита. Перон нашел главную свою поддержку у рабочего класса Аргентины и его основного политического органа, представлявшего собой разновидность партии, возглавлявшей массовое рабочее движение, развитие которого он всячески поощрял. Жетулиу Варгас в Бразилии сделал то же самое открытие. Но военные свергли его в 1945 году, а в 1954 вынудили покончить с собой. Городской рабочий класс, которому он дал социальную защиту в ответ на политическую поддержку, оплакивал его как народного героя. В то время как европейские фашистские режимы разрушали рабочее движение, вдохновленные этими режимами латиноамериканские лидеры такие движения создавали. Несмотря на несомненную связь с фашизмом, с исторической точки зрения мы не можем отождествлять с ним движения, возникшие в Латинской Америке.

V

Тем не менее эти движения тоже нужно рассматривать как признак отступления и упадка либерализма в «эпоху катастроф». Хотя возникновение и победа фашизма явились самым ярким подтверждением отступления либерализма, было бы ошибкой, даже в 1930-е годы, связывать это отступление исключительно с фашизмом. Поэтому в заключение главы мы должны попытаться найти этому объяснение. Но сначала придется рассеять ошибочное мнение, отождествляющее фашизм с национализмом.

То, что фашистские движения стремились использовать националистические предрассудки, очевидно, хотя полуфашистские корпоративные государства, такие как Португалия и Австрия 1934—1938 годов, находясь в значительной степени под влиянием Католической церкви, должны были сдерживать свою безотчетную ненависть к народам и государствам, исповедующим другую веру, а также к атеистам. Кроме того, откровенный национализм был затруднителен для местных фашистских движений в странах, завоеванных и оккупированных Германией и Италией, или в странах, чьи судьбы зависели от победы этих государств над их собственными национальными правительствами. В некоторых случаях (Фландрия, Нидерланды, Скандинавия) они могли отождествлять себя с немцами, как часть обширной тевтонской расовой группы, однако более удобная установка (твердо поддерживаемая пропагандой доктора Геббельса во вре-

мя войны), как ни парадоксально, являлась *интернационалистской*. Германия рассматривалась как основа и единственная гарантия будущего европейского порядка, с обычными обращениями к Карлу Великому и антикоммунизму. Об этой фазе развития европейской идеи историки послевоенного европейского сообщества не особенно любят вспоминать. Негерманские войска, воевавшие под немецким флагом во Второй мировой войне главным образом в составе СС, обычно подчеркивали этот транснациональный элемент.

С другой стороны, было очевидно, что не все националистические движения симпатизировали фашизму, и не только потому, что честолюбивые замыслы Гитлера и, в меньшей степени, Муссолини угрожали некоторым из них — например, полякам и чехам. Как мы увидим далее (глава 5), в ряде стран на борьбу против фашизма поднимались левые силы, особенно во время войны, когда сопротивлением «держavam оси» руководил «национальный фронт» или правительства широкого политического спектра, в котором не было лишь фашистов и коллаборационистов. Как правило, поддержка фашизма местными националистами зависела от того, приобрели они что-либо или потеряли с наступлением «держав оси» и была ли их ненависть к коммунизму или к какому-нибудь другому государству, национальности или этнической группе (евреям, сербам) сильнее, чем нелюбовь к немцам или итальянцам. Так, поляки, всегда отличавшиеся ярко выраженными антибольшевистскими и юдофобскими настроениями, не выражали особого желания сотрудничать с нацистской Германией, в отличие от жителей Литвы и некоторых территорий Украины (оккупированных СССР в 1939—1941 годах).

Что же являлось причиной упадка либерализма в период между мировыми войнами даже в государствах, не принимавших фашизм? Западные радикалы, социалисты и коммунисты того периода были склонны рассматривать эпоху глобального кризиса как агонию капиталистической системы. Капитализм, утверждали они, не мог больше позволить себе роскошь иметь парламентскую демократию и либеральные свободы, которые, кстати, создали почву для развития умеренных реформистских рабочих движений. Оказавшись перед лицом неразрешимых экономических проблем и/или все более революционного рабочего класса, буржуазия в то время должна была прибегнуть к силе и принуждению, т. е. ей стал необходим фашизм.

Поскольку и капитализму, и либеральной демократии суждено было совершить победное возвращение в 1945 году, легко забыть, что в этой точке зрения, несмотря на слишком большую пропагандистскую риторику, есть зерно истины. Демократические системы не работают, если не существует изначального согласия большинства граждан принимать свое государство и социальную систему или по крайней мере готовности добиваться компромиссных решений. Этому согласию в свою очередь во многом способствует процветающее общество. В большинстве стран Европы этих условий просто не

существовало в период с 1918 года до Второй мировой войны. Казалось, что социальный перелом приближается или уже произошел. Страх революции был столь велик, что в большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Европы, а также части стран Средиземноморья коммунистическим партиям едва-едва было разрешено выйти из подполья. Неразрешимые противоречия между идеологией правых и даже умеренных левых в 1930—1934 годах разрушили австрийскую демократию, хотя она вновь стала процветать с 1945 года при точно такой же двухпартийной системе, состоящей из католиков и социалистов (Seton Watson, 1962, p. 184). Испанская демократия в 1930-е годы потерпела крах из-за тех же противоречий, что представляет разительный контраст с мирным переходом от диктатуры Франко к демократии, произошедшим в 1970-е годы.

Стабильность этих режимов была разрушена Великой депрессией. Веймарская республика пала главным образом потому, что Великая депрессия сделала невозможным сохранять ту неписаную договоренность между государством, работодателями и организованными рабочими, благодаря которой и поддерживалась стабильность. Капитал и правительство чувствовали, что не имеют никакого другого выбора и должны проводить жесткий курс в экономической и социальной сфере, а массовая безработица довершила все остальное. Летом 1932 года национал-социалисты и коммунисты поделили абсолютное большинство голосов на выборах, а число мест партий, преданных Республике, уменьшилось и составило немногим более трети. И наоборот, несомненно то, что в основе стабильности демократических режимов после Второй мировой войны и, не в последнюю очередь, стабильности новой Федеративной Республики Германии, лежат экономические чудеса тех десятилетий (см. главу 9). Там, где у правительства есть что распределять, чтобы удовлетворить всех, а жизненный уровень большинства граждан постоянно растет, что бы ни произошло, температура демократической политики редко повышается до точки кипения. Компромисс и согласие преобладают, поскольку даже самые страстные сторонники свержения капитализма понимают, что существующее положение вещей менее невыносимо на практике, чем в теории, а самые непримиримые поборники капитализма всегда принимают как само собой разумеющееся систему социального обеспечения и постоянные переговоры с профсоюзами рабочих о поднятии заработной платы и дополнительных выплатах.

Тем не менее, как показала Великая депрессия, это только часть ответа. Очень сходная ситуация—отказ организованных рабочих смириться со снижением заработной платы, вызванным депрессией, в Германии привел к падению парламентской республики и в конце концов к провозглашению Гитлера главой правительства, в Великобритании же—только к резкой смене лейбористского правительства на консервативное «национальное правительство» в рамках

стабильной и непоколебимой парламентской системы*. Депрессия не вела автоматически к приостановке или уничтожению представительной демократии, что также явствует из ее политических последствий в США («нового курса» Рузвельта) и Скандинавии (победы социал-демократии). Только в Латинской Америке, где финансы правительства зависели в основном от экспорта одного или двух видов сырьевых товаров, цены на которые внезапно и резко упали (см. главу 3), именно благодаря депрессии произошло почти немедленное автоматическое свержение находившихся у власти правительств, главным образом путем военных переворотов. Следует добавить, что смена политического курса на противоположный имела место также в Чили и Колумбии.

Либеральная политика была уязвима в своей основе, поскольку характерная для нее форма правления — представительная демократия — не всегда являлась убедительным способом управления государством, а во времена «эпохи катастроф» редко гарантировала условия, которые делали ее жизнеспособной, не говоря уже об эффективности.

Первым из этих условий было то, что государство должно основываться на легитимности и всеобщем согласии. Сама по себе демократия держится на этом согласии, но не создает его, за исключением развитых и стабильных демократий, где сам процесс регулярных выборов дает гражданам — даже тем, кто находится в меньшинстве, — чувство, что избирательный процесс узаконивает избираемое правительство. Однако очень мало демократий периода между мировыми войнами имели прочную основу. До начала двадцатого века, кроме США и Франции, демократии были редки (*Эпоха империи*, глава 4). Безусловно, по крайней мере десять европейских государств после Первой мировой войны или полностью обновились, или так изменились по сравнению со своими предшественниками, что не обладали особой легитимностью в глазах своих граждан. Еще меньше демократий могло считаться стабильными. Политика государств в «эпоху катастроф» являлась в большинстве случаев кризисной политикой.

Вторым условием являлась совместимость между различными слоями народа, чьи независимые голоса должны были выбирать общее правительство. Официальная теория либерально-буржуазного общества не признавала понятие «народ» как совокупность групп, сообществ и других коллективов со своими интересами, хотя антропологи, социологи и политики делали это. Официально народ (теоретическое понятие, а не реальное сообщество человеческих существ) состоял из отдельных личностей, чьи голоса добавлялись к арифметическому большинству или меньшинству и преобразовывались в

* Этот вопрос в 1931 году расколол лейбористское правительство. Некоторые лейбористские лидеры и их либеральные сторонники перешли к консерваторам, которые выиграли следующие выборы с подавляющим большинством голосов и счастливо оставались у власти до мая 1940 года.

избранные органы, где большинство становилось правительством, а меньшинство — оппозицией. Там, где демократическое волеизъявление пересекало линии раздела между национальными группами населения государства, или там, где было возможно примирить их и разрядить напряженность между ними, демократия была жизнеспособной. Однако в эпоху революций и радикальных социальных конфликтов нормой стала классовая борьба, перешедшая в политику, а не классовый мир. Идеологическая и классовая непримиримость могла разрушить демократическое правительство. Кроме того, халтурно состряпанные мирные соглашения после 1918 года умножили то, что мы в конце двадцатого века считаем фатальной болезнью демократии, а именно разделение жителей исключительно по национально-этническим или религиозным признакам (Glenny, 1992, p. 146—148), как в бывшей Югославии и Северной Ирландии. Три религиозно-этнические группы, имеющие собственные политические блоки, как в Боснии, две непримиримые общины, как в Ольстере, шестьдесят две политические партии, каждая представляющая племя или клан, как в Сомали, не могут, как мы знаем, обеспечить основу для демократической политической системы, а могут служить основой лишь для нестабильности и гражданской войны, если только одна из противоборствующих сил или некая внешняя сила не является достаточно влиятельной, чтобы установить господство (недемократическое). Распад трех многонациональных империй — Австро-Венгрии, России и Турции — превратил три наднациональных государства (чи правительства были нейтральны по отношению к многочисленным национальностям, которыми они правили) в большое количество национальных государств, каждое из которых включало одну, много две или три этнические группы.

Третьим условием являлось то, что демократическим правительствам не нужно было иметь особенно много власти. Парламенты появились не столько для того, чтобы управлять, сколько для того, чтобы контролировать правящую власть, что до сих пор ярко выражено в отношениях между американским конгрессом и правительством. Это были механизмы, созданные в качестве тормозов, которым пришлось работать вместо двигателя. Хотя пользующиеся большими полномочиями законодательные органы, избранные на основе ограниченных, но все расширяющихся избирательных прав, становились обычным явлением со времен «эпохи революции», буржуазное общество девятнадцатого века предполагало, что основная масса его граждан будет занята не в сфере управления, а в сфере саморегулирующейся экономики и частных неофициальных объединений («гражданское общество»)*. Оно обходи-

* В 1980-е годы на Востоке и Западе предавались основанной на этих посылках ностальгической риторике возврата в идеализированный девятнадцатый век, построенный на этих принципах.

ло трудности представительного правления путем выборных органов двумя способами: не ожидая слишком большой руководящей роли и даже законодательной деятельности от своих парламентов и считая, что правительство или, скорее, администрация могут функционировать независимо от парламента. Как мы видели (см. главу 1), органы из независимых и несменяемых государственных чиновников стали необходимы в правительствах современных государств. Парламентское большинство требовалось лишь там, где нужно было выработать или одобрять важные и спорные решения исполнительной власти, и главной задачей правительства было формирование или поддержание нужного числа сторонников, поскольку (за исключением Америки) исполнительная власть в парламентских государствах обычно не избиралась путем прямых выборов. В государствах с ограниченным избирательным правом (т. е. там, где электорат в основном состоит из обеспеченного, обладающего властью или влиянием меньшинства) это можно было сделать с помощью общественных договоренностей по вопросам «национальных интересов», а также используя патронажные ресурсы.

Двадцатый век увеличил количество случаев, когда от правительств требовалось управлять. Тот род государства, который ограничивает себя выработкой основных правил бизнеса и гражданского общества, а полиции, тюрьмам и вооруженным силам ставит задачей защиту от внутренней и внешней угрозы — «государство — ночной сторож», — так же устарел, как и тот ночной сторож, который породил эту метафору.

Четвертым условием являлось богатство и процветание. Демократии 1920-х годов рухнули под напором революции и контрреволюции (Венгрия, Италия, Португалия) или национальных конфликтов (Польша, Югославия), демократии 1930-х годов — в результате депрессии. Чтобы убедиться в этом, стоит лишь сравнить политическую атмосферу Веймарской республики и Австрии 1920-х годов с обстановкой в Федеративной Республике Германии и Австрии после 1945 года. Даже национальными конфликтами стало легче управлять (до тех пор пока политики каждой партии меньшинства могли питаться из общей государственной кормушки). В этом, в частности, заключался секрет могущества Аграрной партии в Чехословакии — единственной подлинной демократии в Восточной и Центральной Европе: она обещала распределение благ независимо от этнических границ. Но в 1930-е годы даже Чехословакия не смогла больше удержать вместе чехов, словаков, немцев, венгров и украинцев.

В подобных условиях демократия превратилась в механизм оформления разногласий между непримиримыми группами. Очень часто даже в самых благоприятных обстоятельствах она вообще не создавала стабильной основы для демократического правления, особенно когда теория демократического представительства выражалась в наиболее жестких версиях пропорциональ-

ного представительства *. Когда во времена кризиса оказалось невозможно достижение парламентского большинства, как это произошло в Германии (в отличие от Великобритании **), желание изменить положение вещей стало преобладающим. Даже в стабильных демократиях допускаемые этой системой политические разногласия многие граждане считают издержками, а не преимуществами демократии. Сама стилистика политики предполагает, что кандидаты и партии являются представителями общенациональных, а не узкопартийных интересов. Во времена кризиса издержки этой системы казались непреодолимыми, а преимущества сомнительными.

При таких обстоятельствах нетрудно понять, что парламентская демократия в государствах-преемниках прежних империй, так же как и в большинстве стран Средиземноморья и Латинской Америки, была чахлым цветком, растущим на голых камнях. Самый сильный аргумент в ее пользу, заключающийся в том, что, как бы она ни была плоха, демократия все же лучше любой альтернативной системы, неубедителен. В период между Первой и Второй мировыми войнами он только изредка звучал реалистично. Но даже в речах защитников демократии не было уверенности. Ее отступление казалось неизбежным, и даже в Соединенных Штатах авторитетные, однако излишне мрачные наблюдатели предполагали, что «такое может случиться и здесь» (*Sinclair Lewis, 1935*). Никто серьезно не предсказывал и не ожидал ее послевоенного расцвета, а еще менее ее возвращения, даже на короткое время, в качестве преобладающей формы правления повсеместно на земном шаре в начале 1990-х годов. Для тех, кто оглядывался назад из этого времени на период между мировыми войнами, отступление либеральных политических систем казалось кратким перерывом в их неуклонном покорении земного шара. К сожалению, с приходом нового тысячелетия противоречия политической демократии больше не кажутся безвозвратно ушедшими в прошлое и может случиться так, что мир вновь вступит в период, когда ее преимущества больше не будут выглядеть такими же очевидными, как в период 1950—1990 годов.

* Бесконечные преобразования демократических выборных систем — пропорциональные или иные выборы — это все попытки создать и поддерживать устойчивое большинство, обеспечивающее стабильность правительства в политических системах, которые по своей природе препятствуют этому.

** В Великобритании отказ от принятия любой формы пропорционального представительства («победитель получает все») поддержал двухпартийную систему и оттеснил на периферию другие партии — например, влиятельную со времен Первой мировой войны либеральную партию, хотя она продолжала стабильно получать 10% всех голосов (как произошло и в 1992 году). В Германии пропорциональная система, хотя и предоставляла некоторые преимущества крупным партиям, тем не менее из пяти значительных и около дюжины мелких группировок не создала ни одной, которая бы получила хотя бы треть мест (за исключением нацистов в 1932 году). Если не было набрано большинства, конституция обеспечивала временное осуществление руководства исполнительной властью, т. е. приостановление демократии.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Против общего врага

Для юных, взрывных, как петарды, поэтов
Завтра — высоких идей вдохновенье,
Прогулки у озера в сумерках летних,
Сегодня — сраженье.

У. Х. Оден, «Испания», 1937

Дорогая мама, из всех людей, которых я знаю, ты единственная, кто сможет меня понять, и самые последние мои мысли о тебе. Не вини никого в моей смерти, я сам выбрал свою судьбу.

Не знаю, о чем писать. Голова ясная, но не могу найти нужных слов. Я занял свое место в Армии освобождения и умираю, когда уже начал сиять свет победы <...> Очень скоро вместе с двадцатью тремя другими товарищами меня расстреляют.

После войны ты должна обратиться за пенсией. Тебе позволят взять мои вещи из тюрьмы, я оставил себе только отцовскую нижнюю рубашку, потому что не хочу дрожать от холода <...>

Еще раз до свиданья. Крепись!

Твой сын Спартако

*Спартако Фонтано, резчик по металлу, 22 года,
член французского Сопротивления, группа Мисака Манукяна, 1944
(Lettere, p. 306)*

I

Опросы общественного мнения родились в Америке в 1930-е годы, поскольку методика распространения выборочных исследований рынка на политику, по существу, началась с опросов Джорджа Гэллага в 1936 году. Среди ранних результатов этой новой методики есть один, который удивил бы всех американских президентов, предшественников Франклина Д. Рузвельта, и, без со-

мнения, могущий удивить читателей, выросших после Второй мировой войны. Из опроса американцев в январе 1939 года на тему, кого в случае войны между Советским Союзом и Германией они хотят видеть победителем, 83 % пожелали победы СССР, а 17% — Германии (Miller, 1989, p. 283—284). В век конфронтации между антикапиталистическим коммунизмом, олицетворением которого являлся СССР, и антикоммунистическим капитализмом, главным представителем которого были США, ничто не выглядит более невероятным, чем это выражение симпатии к стране, являвшейся колыбелью мировой революции или, по крайней мере, предпочтение ее явно антикоммунистическому государству, чья экономика носила все признаки капитализма. Это тем более странно, что сталинская тирания в СССР в то время находилась, по всеобщему мнению, в своей самой жестокой стадии.

Конечно, такая историческая ситуация была исключительной и сравнительно кратковременной. Она длилась с 1933 года (когда США официально признали СССР) по 1947 год (тогда, в начале «холодной войны», два идеологических лагеря встретились лицом к лицу как враги), но реально продолжалась с 1935 по 1945 год. Другими словами, ее определяющим фактором стал расцвет и падение гитлеровской Германии (1933—1945) (см. главу 4), против которой объединились США и СССР, поскольку считали ее еще более опасной, чем каждая из этих держав считала другую.

Причины подобного альянса выходят за рамки традиционных международных отношений. Именно благодаря им стал возможен столь важный союз совершенно несовместимых в иных случаях государств и движений, который в итоге победил во Второй мировой войне. В конечном счете союз против Германии смог сложиться потому, что последняя была не просто государством, неудовлетворенным своим положением в мире, но государством, чья политика и честолюбивые замыслы определялись ее идеологией, т. е. тем, что она являлась фашистской державой. До тех пор пока этого старались не замечать или не придавали этому должного значения, привычные расчеты в духе *realpolitik* оправдывались. Можно было выступать против Германии или дружить с ней, стараться нейтрализовать ее или, если возникнет необходимость, воевать с ней, в зависимости от интересов государственной политики и общей ситуации. Фактически в те или иные периоды с 1933 по 1941 год все главные участники международной игры вели себя по отношению к Германии именно таким образом. Лондон и Париж проводили политику умиротворения Берлина (т. е. обещали уступки за чужой счет), Москва сменила противостояние на дружественный нейтралитет в ответ на территориальные приобретения, и даже Италия и Япония, чьи интересы объединяли их с Германией, обнаружили в 1939 году, что эти же интересы заставляют их оставаться в стороне на первых этапах Второй мировой войны. Однако гитлеровская логика ведения войны в конечном итоге втянула в нее всех, включая США.

По мере того как проходили 1930-е годы, становилось все более очевидно, что на карту ставится нечто большее, чем относительный баланс сил между нациями-государствами, образывавшими международную (т. е. главным образом европейскую) систему. Безусловно, политику Запада — от СССР и Европы до Американского континента — можно лучше всего понять, представив ее себе не как состязание государств, а как международную идеологическую гражданскую войну. Хотя, как мы увидим дальше, это вряд ли поможет понять политику Африки и Азии, на которую преобладающее влияние оказывал колониализм (см. главу 7). Как оказалось, решающий водораздел в этой гражданской войне проходил не между капитализмом как таковым и коммунистической социальной революцией, а между противоположными идеологическими семействами: с одной стороны, потомками Просвещения восемнадцатого века и великих революций, включая, безусловно, русскую революцию, с другой — их оппонентами. Короче говоря, граница пролегла не между капитализмом и коммунизмом, а между понятиями, которые девятнадцатый век определил как «прогресс» и «реакция» (хотя эти термины были уже не совсем применимы).

Это была международная война, поскольку по существу она затрагивала одни и те же вопросы в большинстве западных стран. Это была гражданская война, потому что границы между про- и антифашистскими силами делят на части каждое общество. Никогда еще не существовало периода времени, когда патриотизм в смысле автоматической лояльности к гражданскому национальному правительству не стоил так дешево. Когда Вторая мировая война закончилась, правительства по крайней мере десяти старых европейских стран возглавляли люди, которые в ее начале (или, как в случае Испании, в начале гражданской войны) являлись повстанцами, политическими эмигрантами или теми, кто считал собственное правительство аморальным и незаконным. Мужчины и женщины, зачастую принадлежавшие к элите, предпочли преданность коммунизму, т. е. СССР, преданности своей стране. «Кембриджские шпионы» и, возможно, принесшие больше практических результатов японские члены шпионской сети Зорге были только двумя группами из многих *. С другой стороны, специальный термин «квислинг» (по фамилии норвежского нациста) был создан для описания политических сил внутри государств, на которые напал Гитлер, сделавших свой выбор и присоединившихся к врагу своей страны по убеждению, а не из практических соображений.

* Утверждают, что информация Зорге о том, что Япония не собиралась нападать на СССР в конце 1941 года, основанная на самых достоверных источниках, позволила Сталину перебросить жизненно важные подкрепления на Западный фронт в то время, когда немцы уже находились в пригородах Москвы (*Deakin and Storry, 1964, chapter 13; Andrew and Gordievsky, 1991, p. 281—282*).

Это было верно даже по отношению к людям, движимым патриотизмом, а не глобальной идеологией, поскольку теперь даже патриотизм подразделялся на категории. И убежденные империалисты и антикоммунисты-консерваторы, такие как Уинстон Черчилль, и выходцы из реакционной католической среды, как де Голль, выбрали путь борьбы с Германией не потому, что имели какое-то особое предубеждение против фашизма, но из-за «*une certaine idée de la France*» * или некоей «британской идеи». Для таких людей их убеждения могли быть частью международной *гражданской* войны, хотя их концепция патриотизма не обязательно совпадала с концепцией их правительств. Приехав в Лондон и заявив там 18 июня 1940 года, что под его руководством «Свободная Франция» будет продолжать воевать с Германией, Шарль де Голль совершил акт протеста против законного правительства Франции, принявшего конституционное решение прекратить войну, которое поддерживало подавляющее большинство французского народа. Без сомнения, Черчилль в подобной ситуации действовал бы так же. Если бы Германия выиграла войну, его правительство поступило бы с ним как с изменником, как СССР после 1945 года поступил с русскими, воевавшими на стороне Германии против своей родины. Именно так словаки и хорваты, чьи страны получили первый глоток государственной свободы (частичной) в качестве сателлитов гитлеровской Германии, впоследствии стали делить лидеров своих воюющих государств на патриотических героев прошлого и на коллаборационистов, сотрудничавших с фашистским режимом на идеологической почве: представители каждого направления воевали и на той, и на другой стороне **.

Но фактором, объединившим все эти национальные конфликты в единой глобальной войне, являвшейся одновременно и международной, и гражданской, стал расцвет гитлеровской Германии или, вернее, захватнические войны союза Германии, Италии и Японии, стержнем которого была гитлеровская Германия, в период между 1931 и 1941 годами. Именно гитлеровская Германия отличалась наиболее явной и безжалостной приверженностью к разрушению институтов и ценностей западной цивилизации «эпохи революции» и обладала возможностями осуществить свои варварские замыслы. Шаг за шагом потенциальные жертвы Японии, Германии и Италии наблюдали за захватническими, приближающими войну действиями государств, впоследствии названных «осью». Уже с 1931 года война казалась неизбежной. Появилось выражение: «„фашизм“ означает „война“». В 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию, сформировав там марионеточное правительство. В 1932 году та

* «Некая французская идея» (фр.).

** Однако сказанное никак не оправдывает злодеяний, совершенных каждой стороной, которые, как, например, в случае Хорватии в 1942—1945 годах и с большой степенью вероятности в случае Словакии были более жестокими, чем злодеяния их противников, и не имели оправдания.

же Япония вторглась в Китай к северу от Великой стены и высадила свои войска в Шанхае. В 1933 году Гитлер пришел к власти в Германии с фашистской программой, которую он и не пытался скрывать. В 1934 году в Австрии в результате кратковременной гражданской войны была ликвидирована демократия и установлен полуфашистский режим, известный главным образом своим противодействием слиянию с Германией и (при поддержке Италии) подавлением нацистского переворота, в результате которого был убит премьер-министр Австрии. В 1935 году Германия расторгла мирные договоры и опять стала главной военно-морской державой, снова завладев (путем плебисцита) Саарской областью у своих западных границ и с оскорбительным пренебрежением выйдя из Лиги Наций. В том же году Муссолини, точно так же пренебрегая общественным мнением, вторгся в Эфиопию, которую Италия продолжала оккупировать в 1936—1937 годах, также порвав отношения с Лигой Наций. В 1936 году Германия вернула себе обратно Рейнскую область. В это же время в результате военного переворота, который открыто поддерживали Германия и Италия, начался главный конфликт — гражданская война в Испании, о которой подробнее будет сказано ниже. Две фашистские державы вступили в формальный блок «ось Берлин—Рим». Одновременно Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт. Не удивительно, что в 1937 году Япония вторглась в Китай, вступив на путь открытых военных действий, которые не прекращались до 1945 года. В 1938 году Германия также ясно поняла, что наступило время завоеваний. В марте оккупации и аннексии подверглась Австрия, не оказавшая никакого военного сопротивления, а в октябре, после многочисленных угроз, в результате мюнхенского соглашения была расчленена Чехословакия, обширные территории которой Гитлер опять получил без всякого вооруженного сопротивления. Оставшаяся часть была оккупирована в марте 1939 года, что вдохновило Италию, уже несколько месяцев не демонстрировавшую свои имперские амбиции, на оккупацию Албании. Почти сразу же Европу парализовал польский кризис, опять-таки возникший из-за немецких территориальных притязаний. Он дал начало европейской войне 1939—1941 годов, переросшей во Вторую мировую войну.

Однако существовал еще один фактор, способствовавший сплетению нитей национальной политики в единую международную сеть: все более очевидная слабость либерально-демократических государств (тех, которые вышли победителями в Первой мировой войне), их неспособность или нежелание действовать, в одиночку или в союзе друг с другом, чтобы противостоять наступлению своих врагов. Как мы уже видели, именно этот кризис либерализма укрепил и аргументы, и мощь фашизма и авторитарных правительств (см. главу 4). Мюнхенское соглашение 1938 года ясно продемонстрировало сочетание, с одной стороны, уверенной агрессивности, а с другой — страха и уступок. Вот почему для целых поколений само слово «Мюнхен» стало в речах

западных политиков синонимом малодушного отступления. Позор Мюнхена, который почувствовали почти сразу же даже те, кто подписал это соглашение, заключался не просто в предоставлении Гитлеру легкой победы, но в ощутимом страхе войны, который предшествовал этому, и в еще более явном чувстве облегчения, что ее удалось избежать, какова бы ни была цена. Даладье, подписавший смертный приговор союзнику Франции, опасался, что по возвращении в Париж будет освистан, однако был встречен исступленными аплодисментами. «*Bande de cons*»*, говорят, презрительно пробормотал французский премьер. Популярность СССР и нежелание критиковать то, что там происходило, являлись главным образом следствием его твердого противостояния нацистской Германии, столь отличного от нерешительности Запада. Тем сильнее был шок, вызванный подписанием пакта о ненападении между СССР и Германией в августе 1939 года.

II

Мобилизация всех потенциальных противников фашизма, т. е. противников немецкого лагеря, стала призывом к союзу всех политических сил, имевших общие мотивы для борьбы с наступлением «держав оси», а также к объединению правительств, готовых осуществлять такую политику. Фактически для подобной мобилизации потребовалось более восьми лет (точнее — десять лет, если датировать начало стремительного движения к мировой войне 1931 годом), поскольку ответ на все призывы был всегда нерешительным и неопределенным.

В некоторых случаях призыв к объединению на антифашистской основе мог получить самый немедленный отклик, поскольку фашизм официально относился к либералам различного толка, неважно, являлись они социалистами или коммунистами, а также к различным демократическим и советским режимам как к врагам, которых нужно истреблять. Как говорится в старой английской поговорке, следовало держаться вместе, чтобы не быть повешенными поодиночке. Коммунисты, которые до этого являлись самой деструктивной силой на левом фланге Просвещения, сосредотачивая свои удары не против явного врага, а против ближайшего потенциального соперника (что, увы, свойственно политическим радикалам), после прихода Гитлера к власти раньше всех социал-демократов (см. главу 2) в течение восемнадцати месяцев поменяли свой курс и превратились в самых последовательных и самых рьяных поборников антифашистского союза. Это устранило главное препятствие к объединению левых, хотя полностью и не уничтожило взаимных подозрений.

* Придурки (фр.).

По существу, стратегия, предложенная (совместно со Сталиным) Коммунистическим интернационалом (избравшим своим новым генеральным секретарем Георгия Димитрова, болгарина, смелое поведение которого перед нацистскими властями во время суда за поджог рейхстага в 1933 году повсеместно воодушевило антифашистов) *, строилась по принципу концентрических кругов. Объединенные силы рабочих (Единый фронт) стали основой более широкого союза избирателей и политиков с демократами и либералами (Народный фронт). Кроме того, поскольку наступление Германии продолжалось, коммунисты намечали еще более широкую коалицию — «Национальный фронт» для объединения всех, кто вне зависимости от собственной идеологии и политических взглядов считал своим главным врагом фашизм (или «державы оси»). Это расширение антифашистского союза вправо от политического центра (французские коммунисты протянули руку католикам, а британские коммунисты проявили готовность заключить в свои объятия известного своей ненавистью к красным Уинстона Черчилля) встречало противодействие крайних левых до тех пор, пока логика войны в конце концов не вынудила их к этому альянсу. Союз центристов с левыми имел политический смысл, и «народные фронты» были созданы во Франции (ставшей инициатором этого плана) и в Испании, отразив атаки местных правых и одержав убедительную победу на выборах в Испании (февраль 1936 года) и во Франции (май 1936 года).

Эти победы выявили цену прошлой разобщенности — объединенные списки представителей левых и центра получили значительное парламентское большинство. Однако разительный сдвиг общественного мнения среди левых, особенно во Франции, в сторону коммунистической партии отнюдь не свидетельствовал о расширении политической поддержки антифашизма. Например, победа французского Народного фронта, сформировавшего французское правительство, которое впервые в истории страны возглавил социалист, интеллектурал Леон Блюм (1872—1950), была достигнута благодаря увеличению только на 1% количества голосов, поданных за радикалов, социалистов и коммунистов на выборах 1932 года. Испанский Народный фронт одержал победу на выборах с немного большим перевесом (при этом почти половина

* Через месяц после прихода к власти Гитлера здание немецкого парламента в Берлине таинственным образом было сожжено. Нацистское правительство немедленно обвинило в этом коммунистическую партию и использовало этот случай для ее запрещения. Коммунисты, в свою очередь, обвинили нацистов в организации поджога с целью провокации. Психически неуравновешенный революционер-одиночка родом из Голландии Ван дер Люббе, а также лидер коммунистической фракции в рейхстаге и три болгарина, сотрудники Коммунистического интернационала, работавшие в Берлине, были арестованы и осуждены. Ван дер Люббе, несомненно, участвовал в поджоге, четыре арестованных коммуниста, без сомнения, не участвовали, так же как и Димитров. Современные историки не поддерживают предположения о провокации нацистов.

избирателей проголосовала против нового правительства, а правые даже отчасти укрепили свои позиции). И все же эти победы вселили надежду, даже эйфорию в местные рабочие и социалистические движения. Иное положение дел было в британской лейбористской партии, расшатанной депрессией и политическим кризисом 1931 года, количество мест которой в парламенте уменьшилось до пятидесяти. Она не вернула себе прежнего количества избирателей и через четыре года, получив лишь немногим более половины от числа мест докризисного 1929 года. Между 1931 и 1935 годами количество голосов, отданных за консерваторов, уменьшилось с 61 до 54 %. Так называемое «национальное» правительство Великобритании, возглавляемое с 1937 года Чемберленом, имя которого стало синонимом политики умиротворения Гитлера, опиралось на поддержку значительного большинства. Скорее всего, если бы в 1939 году не началась война и если бы выборы, как намечалось, были проведены в 1940 году, консерваторы вновь легко смогли бы их выиграть. За исключением большинства Скандинавских стран, где социал-демократы имели сильный перевес, фактически нигде в Западной Европе в 1930-х годах не было заметно признаков сколько-нибудь значительного сдвига избирателей влево. Напротив, наблюдался определенный сдвиг вправо в тех частях Восточной и Юго-Восточной Европы, где выборы все еще проводились. Здесь мы видим резкий контраст между Старым и Новым Светом. Ничего похожего на тот резкий перенос центра тяжести от республиканцев к демократам, который произошел в США в 1932 году, нигде в Европе не наблюдалось (количество голосов, поданных за демократов на президентских выборах в США, за четыре года выросло с 15—16 миллионов почти до 28 миллионов), однако следует сказать, что наибольшее число голосов на выборах Франклин Д. Рузвельт получил в 1932 году, к удивлению экспертов (но не избирателей) потерпев явную неудачу в 1936 году.

Итак, антифашисты смогли объединить традиционных противников правых, хотя и не увеличили их ряды; им удавалось мобилизовать меньшинство лучше, чем большинство. Среди этого меньшинства интеллектуалы и люди искусства особенно прислушивались к их призывам (за исключением международного движения в литературе, вдохновленного националистическими и антидемократическими идеями,— см. главу 6), поскольку бесцеремонная и агрессивная враждебность национал-социалистов к традиционным ценностям цивилизации немедленно проявилась в близких им областях. Расизм нацистов привел к массовому бегству ученых-евреев и тех, кто придерживался левых взглядов, и они рассеялись по всему миру. В результате нетерпимости нацистов по отношению к интеллектуальной свободе немецкие университеты почти сразу же лишились примерно трети преподавателей. Атаки на модернистскую культуру, публичное сожжение еврейских и других нежелательных книг начались практически сразу же после того, как Гитлер вошел в пра-

вительство. Тем не менее, в то время как даже простые граждане осуждали наиболее жестокие зверства этой системы — концентрационные лагеря и превращение немецких евреев (включая всех, у кого лишь дед или бабка были евреями) в изолированный бесправный низший класс,— поразительно большое число людей видело во всем этом в худшем случае лишь заблуждение. В конце концов, думали они, концлагеря в первую очередь являются средством сдерживания потенциальной коммунистической оппозиции и тюрьмой для подрывных элементов, т. е. тем, к чему многие консерваторы испытывали некоторую симпатию, тем более что в начале войны в них всех, вместе взятых, содержалось не более 8000 человек (их распространение и превращение в *univers concentrationnaire* страха, пыток и смерти для сотен тысяч, даже миллионов людей произошло позже). Кроме того, до войны политика нацистов, какой бы варварской она ни была по отношению к евреям, все же, казалось, видела окончательное решение «еврейского вопроса» в массовом изгнании, а не в массовом истреблении евреев. Простому, не принадлежавшему ни к какой партии наблюдателю Германия казалась, несмотря на некоторые отрицательные стороны своей политики, стабильной, даже экономически процветающей страной с народно избранным правительством. Но те, кто прочел книги, включая «Майн Кампф» фюрера, имели возможность разглядеть в кровожадной риторике расистских агитаторов, в насилии и убийствах в Дахау и Бухенвальде угрозу всему миру, основанную на обдуманном уничтожении завоеваний цивилизации. Западные интеллектуалы (хотя в то время это была лишь небольшая часть студентов, преимущественно детей крупной буржуазии и будущих ее представителей) стали, следовательно, первым социальным слоем, в 1930-е годы единодушно выступившим против фашизма. Это была довольно небольшая прослойка, хотя и крайне влиятельная, не в последнюю очередь благодаря тому, что в нее входили журналисты, которые в нефашистских западных странах играли решающую роль в изменении взглядов на природу национал-социализма даже самых консервативных читателей и политиков.

На бумаге политика противодействия разрастанию фашистского лагеря выглядела логично и просто. Всем странам следовало объединиться против агрессоров (Лига Наций разработала такой план), не делать им никаких уступок и путем угроз и, если понадобится, реальных действий остановить их или разгромить. Нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов (1876—1951) стал выразителем этой идеи «коллективной безопасности». Но проще сказать, чем сделать. Главным препятствием служило то, что даже государства, которые объединял страх перед агрессорами, имели разные интересы, которые можно было использовать для их раскола.

В какой степени учитывалось самое явное расхождение во взглядах — расхождение между Советским Союзом, преданным идее повсеместного сверже-

ния буржуазных режимов и империй, и другими государствами, видевшими в СССР основного зачинщика подрывной деятельности, не совсем ясно. В то время как правительства (все главные государства после 1933 года признали СССР) были всегда готовы прийти к соглашению с ним, когда это отвечало их целям, некоторые из их членов и учреждений продолжали считать большевизм, как у себя в стране, так и за рубежом, главным врагом в духе послевоенной «холодной войны». Британская разведка, по общему признанию, не имела себе равных по концентрации сил против «красной угрозы», до середины 1930-х годов считавшейся врагом номер один (Andrew, 1985, p. 530). Тем не менее даже многие убежденные консерваторы, особенно британские, понимали, что лучшим выходом из создавшегося положения стала бы война между Германией и СССР, которая ослабила бы и, возможно, уничтожила обоих врагов. Полнейшее нежелание западных правительств вступать в результативные переговоры с СССР даже в 1938—1939 годах, когда все уже понимали крайнюю необходимость антигитлеровской коалиции, слишком очевидно. Именно страх остаться в одиночестве против Гитлера в конечном итоге побудил Сталина, являвшегося с 1934 года убежденным сторонником союза с Западом против Германии, вступить в пакт Сталина—Риббентропа в августе 1939 года, благодаря которому он надеялся оставить Россию вне войны, в то время как Германия и западные державы будут ослаблять друг друга к выгоде СССР, которому в соответствии с секретными статьями этого пакта отходила большая часть западных территорий, потерянных Россией после революции. Этот расчет оказался неверным. Так же как и неудачные попытки создать единый фронт против Гитлера, он продемонстрировал разногласия между государствами, благодаря которым стал возможен беспрецедентный, фактически не встречавший никакого противодействия рост мощи нацистской Германии между 1933 и 1939 годами.

Кроме того, государства имеют неравные перспективы в мире благодаря своей истории, географии и экономике. Европейский континент сам по себе не представлял большого, а, возможно, и вообще никакого интереса ни для Японии, ни для США, чьи политические амбиции простирались на акваторию Тихого океана и Американский континент, ни для Великобритании, которая все еще претендовала на звание мировой империи и осуществление мировой морской стратегии, хотя и была слишком слаба для воплощения своих планов в жизнь. Страны Восточной Европы были стиснуты между Германией и Россией, что, безусловно, влияло на их политику, особенно когда стало ясно, что западные державы не в состоянии защитить их. Некоторые из них после 1917 года завладели бывшими российскими территориями и, даже будучи враждебно настроенными по отношению к Германии, тем не менее сопротивлялись любому антигерманскому союзу, который мог вернуть России отнятые у нее территории. Но, как продемонстрировала Вторая мировая

война, единственным действенным антифашистским союзом являлся только союз с участием СССР. Что касается экономики, то такие страны, как Великобритания, помнившие, что Первая мировая война оказалась выше их финансовых возможностей, пребывали в ужасе от перспективы перевооружения. Одним словом, существовала пропасть между признанием «держав оси» главной опасностью и тем, чтобы сделать что-либо для предотвращения этой опасности.

Либеральная демократия (которой по определению не могло существовать в фашистских и авторитарных государствах) только расширяла эту пропасть. Она замедляла политические решения и препятствовала их принятию, особенно в США, и явно тормозила проведение в жизнь непопулярной политики. Без сомнения, некоторые правительства использовали это, чтобы оправдать свое собственное бездействие, но пример США показывает, что даже такой сильный и популярный президент, как Ф. Д. Рузвельт, был не в состоянии осуществлять антифашистскую внешнюю политику вопреки общественному мнению у себя на родине. Если бы не Пёрл-Харбор и не объявление Гитлером войны Соединенным Штатам, они почти наверняка продолжали бы оставаться в стороне от Второй мировой войны. Неизвестно, каков был бы тогда ее ход.

Однако ослабляли решимость ключевых европейских демократий — Франции и Великобритании — не столько политические механизмы демократии, сколько воспоминания о Первой мировой войне. Это была рана, боль от которой чувствовалась и гражданами, и правительствами, поскольку последствия этой войны были беспрецедентны и глобальны. И для Франции, и для Великобритании в человеческом (не материальном) отношении они оказались гораздо более глубокими, чем последствия Второй мировой войны (см. главу 1). Еще одну такую войну необходимо было предотвратить любой ценой. Она, безусловно, являлась самым крайним политическим средством.

Нежелание вступить в войну не нужно путать с отказом воевать, хотя потенциальный боевой дух французов, пострадавших больше, чем какая-либо другая воевавшая страна, был, несомненно, подорван потерями 1914—1918 годов. Ни одно государство не вступило во Вторую мировую войну с радостью, даже Германия. С другой стороны, нерелигиозный пацифизм, хотя и очень популярный в Великобритании в 1930-е годы, никогда не был массовым движением и постепенно угас к 1940 году. Несмотря на большую терпимость к отказникам-пацифистам во Второй мировой войне, число тех, кто отстаивал свое право отказаться воевать, было невелико (*Calvocoressi, 1987, p. 63*).

На некоммунистическом левом фланге, где после 1918 года еще более страстно возненавидели войну и милитаризм, чем до начала Первой мировой войны, тем не менее лозунг «мир любой ценой» выражал позицию меньшинства, даже во Франции, где антивоенные настроения были наиболее сильны. В Великобритании Джордж Лэнсбери, пацифист, который благодаря кра-

ху лейбористов после выборов 1931 года оказался во главе этой партии, был умело и жестоко отстранен от власти в 1935 году. В отличие от французского правительства Народного фронта, возглавляемого социалистами в 1936—1938 годах, британских лейбористов можно было критиковать не за недостаток твердости по отношению к фашистским агрессорам, но за отказ проводить необходимые военные мероприятия для осуществления эффективного противодействия, такие как перевооружение и призыв в армию. За это же по тем же причинам можно было критиковать и совершенно не склонных к пацифизму коммунистов.

Левые, безусловно, находились в затруднительном положении. С одной стороны, сила антифашизма была в том, что под его флагом объединялись все те, кто боялся войны, как прошедшей, так и будущей с ее неведомыми ужасами. Явление фашизма оправдывало войну как средство борьбы с ним. Но противостояние фашизму без использования оружия не имело шансов на победу. К тому же надежда на то, чтобы победить фашистские Германию и Италию только с помощью коллективного мирного противостояния, опиралась на иллюзии в отношении Гитлера и предполагаемых сил оппозиции внутри Германии. Во всяком случае все, кто жил в те времена, твердо знали, что война неотвратима, даже создавая неубедительные сценарии того, как ее избежать. Мы (историк имеет право прибегнуть и к своим собственным воспоминаниям) *ожидали*, что будем участвовать во Второй мировой войне и, возможно, умрем. И когда она разразилась, у нас, как и у антифашистов, не было другого выхода, кроме войны.

Однако политическая дилемма левых не может быть использована для объяснения несостоятельности действий правительств хотя бы потому, что успешная подготовка к войне не зависела ни от решений, принимаемых (или не принимаемых) на партийных съездах, ни даже от имевшего место в то время страха перед выборами. Первая мировая война оставила неизгладимые шрамы в памяти правительств, в частности французского и британского. Франция вышла из нее обескровленной и ослабленной и все еще имела меньший международный вес, чем побежденная Германия. Без союзников она никак не могла противостоять возрожденной Германии, однако единственные европейские страны, интересы которых совпадали с ее интересами, Польша и государства — преемники империи Габсбургов, были слишком слабы для противостояния Германии. Французы сделали ставку на линии фортификационных укреплений («линию Мажино», названную в честь вскоре позабытого министра), которые, как они надеялись, будут сдерживать атаки немцев, как это было под Верденом (см. главу 1). Помимо этого они могли надеяться только на союз с Великобританией и, после 1933 года, с СССР.

Британские правительства в равной мере сознавали свою слабость. В финансовом отношении они не могли себе позволить еще одну войну. Со стра-

тегической точки зрения у них больше не было военно-морского флота, способного одновременно действовать в трех основных океанах и на Средиземном море. В то же время их главной заботой были не события, происходившие в Европе, а то, как с помощью явно недостаточных сил объединить мировую британскую империю, географически ставшую больше, чем когда-либо раньше, но при этом находившуюся на грани распада.

Таким образом, оба эти государства сознавали, что слишком слабы для того, чтобы поддерживать статус, обретенный ими в 1919 году. Они понимали, что ситуация нестабильна и ее невозможно сохранить. Они также осознавали, что ни одно из них, ничего не приобретя в следующей войне, многое может потерять. Вывод был ясен — нужно вести переговоры с вновь обретшей мощь Германией с целью создания более прочной европейской структуры, что, несомненно, означало необходимость идти на уступки. К несчастью, во главе Германии стоял Адольф Гитлер.

О политике «умиротворения» так много и негативно писали начиная с 1939 года, что стоит вспомнить, насколько разумной она казалась столь большому количеству западных политиков, не исповедовавших антигерманские или антифашистские взгляды, особенно в Великобритании, где изменения на карте Европы, тем более в «отдаленных странах, о которых мы очень мало знаем» (как говорил Чемберлен о Чехословакии в 1938 году), не слишком их волновали. (Французов по понятным причинам гораздо сильнее беспокоили любые инициативы на пользу Германии, которые рано или поздно обратились бы против них самих, но Франция была слишком слаба.) Можно было определенно предсказать, что Вторая мировая война разрушит британскую экономику и будет способствовать распаду на части огромной Британской империи, что в результате и произошло. Хотя такую цену социалисты, коммунисты, освободительные движения в колониях и президент Ф. Д. Рузвельт охотно готовы были заплатить за поражение фашизма, не стоит забывать, что она была чрезмерна с точки зрения благоразумных британских империалистов.

И все же компромисс и переговоры с гитлеровской Германией были невозможны потому, что политические цели национал-социализма не имели границ в своем безрассудстве. Экспансия и агрессия являлись составляющей частью этой системы, так что даже в случае признания господства Германии, т. е. при отсутствии сопротивления наступлению нацизма, война все равно рано или поздно была бы неминуема, и скорее рано, чем поздно. Отсюда — главенствующая роль идеологии в политике 1930-х годов: определяя цели нацистской Германии, она исключала *realpolitik* для другой стороны. Те, кто создавал, что компромисс с Гитлером невозможен, т. е. реалистически оценивал ситуацию, полностью отрицали прагматические соображения. Они считали фашизм неприемлемым в принципе или (как в случае Уинстона Черчилля)

руководствовались равно априорной мыслью о ценностях, которые защищала их страна и жертвовать которыми они не имели права. Парадокс Уинстона Черчилля заключался в том, что политические взгляды этого великого романтика были последовательно неверны почти по всем вопросам, начиная с 1914 года (включая оценку военной стратегии, которой он гордился), кроме его отношения к Германии.

Наоборот, политические реалисты — сторонники политики «умиротворения» были очень далеки от реальности в своей оценке ситуации, даже когда невозможность урегулирования путем переговоров с Гитлером в 1938—1939 годах стала очевидна каждому здравомыслящему наблюдателю. В этом была причина черной трагикомедии марта—сентября 1939 года, закончившейся войной, которой в то время и в том месте никто не хотел (даже Германия). В ходе этой войны ни Великобритания, ни Франция не имели никакого представления о том, что они должны делать как воюющие стороны, пока не были сметены блицкригом 1940 года. Несмотря на реальность, которую они сами осознавали, сторонники политики «умиротворения» в Великобритании и Франции все еще не могли сменить свой курс и начать вести серьезные переговоры о союзе с СССР, без которого война не могла быть ни отсрочена, ни выиграна и без которого гарантии того, что Германия не предпримет нападения, щедро и необдуманно распространяемые в Западной Европе Чемберленом без всяких переговоров и (как бы невероятно это не казалось) даже без уведомления СССР, были не более чем сотрясением воздуха. Лондон и Париж не хотели воевать, самое большее, на что они надеялись, — это испугать Германию демонстрацией силы. Такой сценарий не устраивал ни Гитлера, ни Сталина, представители которого безуспешно выдвигали предложения о совместных стратегических операциях на Балтике. Даже когда немецкие армии вторглись в Польшу, правительство Чемберлена все еще было готово вести переговоры с нацистской Германией, как и предполагал Гитлер (*Watt, 1989, p. 215*).

Однако Гитлер просчитался, и западные государства объявили войну, но не потому, что так хотели их правительства, а потому, что Гитлер своей политикой после Мюнхена выбил почву из-под ног миротворцев. Он сам своими действиями мобилизовал до этого инертные массы против фашизма. Фактически немецкая оккупация Чехословакии в марте 1939 года повернула общественное мнение Великобритании в сторону сопротивления нацизму и заставила правительство сделать то же самое вопреки его желанию. Это, в свою очередь, побудило к сопротивлению фашизму французское правительство, которое не могло не поддержать своего единственного верного союзника. Впервые борьба против гитлеровской Германии объединила, а не разобщила британцев, правда, пока еще не принесла результатов. После того как Гитлер быстро и безжалостно расправился с Польшей и поделил то, что осталось, с

сохранявшим обещанный нейтралитет Сталиным, «странная война» принесла странный мир в Западную Европу.

Никакая *realpolitik* не может объяснить проведение политики умиротворения после Мюнхена. Если война казалась почти неизбежной (а кто в 1939 году в этом сомневался?), единственное, что нужно было делать,— это готовиться к ней как можно лучше, но именно этого и не было сделано. Великобритания даже во времена Чемберлена была, безусловно, не готова принять господство Гитлера в Европе, несмотря на то что и после крушения Франции в стране все еще существовала партия сторонников мира путем переговоров — т. е. ценой признания своего поражения. Даже во Франции, где пораженчество было гораздо более распространенным явлением среди политиков и военных, правительство не собиралось испускать дух, пока французская армия не была разбита в июне 1940 года. Поведение европейских правительств было нерешительным, поскольку они не могли ни следовать логике политики силы, ни осудить противников этой политики (для которых невмешательство, может быть, было более важным, чем война с фашизмом как таковым), ни принять логику тех антикоммунистов, для которых «поражение Гитлера означало крушение авторитарных систем, составляющих оплот борьбы против коммунистической революции» (*Thierry Maulnier, 1938 цит. по: Огу, 1976, р. 24*). Трудно сказать, чем руководствовались в своих действиях эти политики, поскольку ими двигал не столько здравый смысл, сколько предрассудки, страхи и надежды, тайно влиявшие на их решения. Здесь была и память о Первой мировой войне, и неуверенность руководителей, представлявших, какими могут стать их либерально-демократические политические системы и экономики после окончательного поражения. Но подобные настроения были более типичны для континента, чем для Великобритании. Здесь царил полная неуверенность в том, смогут ли в обстоятельствах полной непредсказуемости результаты политики противодействия оправдать ту чрезмерную цену, которую придется заплатить. Ведь в конце концов для большинства британских и французских политиков лучшим результатом все-таки было сохранение во многом не удовлетворявшего их шаткого существующего порядка. И за всем этим стоял вопрос: если теперешняя ситуация все равно обречена, то не лучше ли фашизм, чем его альтернатива — социальная революция и большевизм? Если бы единственной имеющейся моделью фашизма была итальянская, то из числа консервативных и умеренных политиков колебались бы немногие. Даже Уинстон Черчилль был настроен проитальянски. Проблема была в том, что они столкнулись не с Муссолини, а с Гитлером. Также немаловажен тот факт, что очень многие правительства и дипломаты в 1930-х годах надеялись стабилизировать положение в Европе, придя к соглашению с Италией или, по крайней мере, посеяв рознь между Муссолини и его последователем. Этого не получилось, хотя Муссолини достаточно реал-

листично смотрел на вещи и оставил за собой определенную свободу действий. Но в июне 1940 года он сделал заключение, ошибочное, хотя и имевшее под собой основания, что Германия одержала победу, и тоже вступил в войну.

III

Проблемы, возникшие в 1930-е годы как внутри государств, так и между ними, являлись, таким образом, транснациональными. Нигде это не было столь очевидно, как в гражданской войне в Испании 1936—1939 годов, ставшей наиболее ярким проявлением этого глобального противостояния.

Сквозь призму прошедших лет может показаться странным, что этот конфликт сразу же мобилизовал и левых, и правых как в Европе, так и в Америке, особенно пробудив симпатии западной интеллигенции. Испания являлась периферийной частью Европы, и ее история все время не совпадала с историей остальных европейских стран, отделенных от нее стеной Пиренеев. Она не вступала ни в одну из европейских войн со времен Наполеона, не должна была участвовать и во Второй мировой войне. Еще с начала девятнадцатого века ее дела мало заботили европейские правительства, хотя США спровоцировали короткую войну против Испании в 1898 году, чтобы отнять у нее последние остатки старой мировой империи шестнадцатого века — Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины*. На самом деле, вопреки убежденности поколения, к которому принадлежит автор этой книги, гражданская война в Испании не являлась первой фазой Второй мировой войны, и победа генерала Франко, которого, как мы видели, нельзя даже назвать фашистом, не имела важных мировых последствий. Она просто продлила изоляцию Испании (и Португалии) от остального мира еще на тридцать лет.

Однако внутренняя политика этой выпадающей из общей системы изолированной страны не случайно явилась символом мировой борьбы 1930-х годов. Она высветила фундаментальные политические проблемы того времени: с одной стороны, демократия и социальная революция, при том, что Испания была единственной страной в Европе, готовой к социальному взрыву, с другой — уникальный лагерь ортодоксальной контрреволюции и реакции, вдохновляемой Католической церковью, отвергавшей все, что произошло в мире начиная с Мартина Лютера. Как ни странно, ни русская коммунистическая партия, ни профашистские партии не имели здесь серьезного влияния

* Испания сохраняла прочное положение в Марокко, против чего выступали воинственные местные берберские племена (одновременно поставлявшие в испанскую армию внушительные боевые подразделения), а также на некоторых всеми забытых территориях на юге Африки.

до гражданской войны, поскольку Испания шла своим собственным путем противостояния ультралевых анархистов и ультраправых карлистов*.

Благонамеренные либералы, антиклерикалы и масоны, вышедшие из латинской традиции девятнадцатого века и отобравшие власть у Бурбонов в результате мирной революции 1931 года, не имели поддержки испанской бедноты ни в городах, ни в сельской местности и не могли разрядить обстановку при помощи действенных социальных (т. е. в первую очередь аграрных) реформ. В 1933 году они были отстранены от руководства консервативным правительством, проводимая которым политика подавления волнений и локальных бунтов, как, например, восстания астурийских шахтеров в 1934 году, лишь способствовала нагнетанию революционной напряженности. На этом этапе левые в Испании объединились с Народным фронтом, действовавшим в соседней Франции. Идея, что все партии должны создать единый блок избирателей против правых сил, была нужна левым, которые, правда, не особенно четко представляли себе, как действовать дальше. Даже анархисты в этой своей последней в мире массовой цитадели были склонны просить своих сторонников пользоваться порочной буржуазной процедурой выборов, которые они до того времени отвергали как недостойные настоящих революционеров (никто из анархистов действительно не запятнал себя выдвижением на этих выборах). В феврале 1936 года Народный фронт получил небольшой, но несомненно решающий перевес голосов и, благодаря согласованности своих действий, значительное большинство мест в кортесах (испанский парламент). Эта победа породила не столько сильное левое правительство, сколько отдушину для накопившегося общественного недовольства, что стало все более очевидным в последующие месяцы.

На этой стадии, когда политика традиционных правых потерпела фиаско, Испания вернулась к тому, первооткрывателем чего она являлась и что стало характерной чертой иберийского мира: *pronunciamento*, или военному перевороту. В то время как левые в Испании искали поддержку за пределами своих границ у Народного фронта, правые устремили свои взоры в сторону фашистских держав. Это произошло не столько благодаря умеренному местному фашистскому движению, «Фаланге», сколько благодаря Церкви и монархистам, которые не видели особой разницы между безбожниками-либералами и коммунистами и не желали идти на компромисс ни с кем из них. Италия и Германия надеялись извлечь некоторую моральную и, возможно, политическую пользу из победы правых в Испании. Испанские генералы, начавшие серьезно замышлять переворот после выборов, нуждались в фи-

* Карлизм был монархистским и ультратрадиционалистским движением, имевшим сильную поддержку крестьянства, главным образом в Наварре. В гражданских войнах 1830-х и 1870-х годов карлисты оказывали поддержку одной из ветвей испанского королевского дома.

нансовой поддержке и практической помощи, о которой они договорились с Италией.

Однако времена победившей демократии и политической активности масс не являются идеальными для путчей, поскольку путчистам для успеха необходимо, чтобы население, не говоря уже о неприсоединившихся частях вооруженных сил, подчинялось их приказам. Поэтому военные путчисты, чьим командам не подчиняются, тихо признают свое поражение. Классическое *pronunciamento*—это игра, в которую лучше всего играть тогда, когда массы временно находятся в затишье или при утративших легитимность правительствах. В Испании этих условий не было. Путч генералов 17 июля 1936 года одержал победу в нескольких городах, однако в других местах встретил ожесточенное сопротивление народа и местных властей. Путчистам не удалось захватить два главных города Испании, включая столицу Испании Мадрид. По этой причине в некоторых частях страны путч даже способствовал ускорению социальной революции, которую имел целью остановить. По всей Испании началась затяжная война между законно избранным правительством Республики, которое теперь увеличилось за счет социалистов, коммунистов и даже некоторых анархистов, но с трудом сосуществовало с силами массового сопротивления (которые дали отпор путчистам), и мятежными генералами, представлявшими борцами за национальное освобождение против коммунизма. Самый молодой и в политическом отношении наиболее мудрый из генералов, Франсиско Франко (1892—1975) оказался во главе нового режима, в ходе войны превратившегося в авторитарное государство с единственной правой партией, представлявшей собой конгломерат с диапазоном от фашистов до старых монархистов и карлистских ультра, носившей нелепое название «Испанская традиционалистская фаланга». Однако в гражданской войне обе стороны нуждались в поддержке, и обе обращались с призывами к своим потенциальным сторонникам за рубежом.

Реакция мирового антифашистского лагеря на путч генералов была быстрой и стихийной, в отличие от реакции нефашистских правительств, гораздо более осторожной, даже когда, подобно СССР и возглавляемому социалистами правительству Народного фронта, только что пришедшему к власти во Франции, они являлись решительными сторонниками Республики. (Италия и Германия немедленно послали мятежникам оружие и солдат.) Франция стремилась помочь Республике и оказывала ей некоторую помощь (что официально отрицалось) до тех пор, пока внутренние разногласия, а также британское правительство, глубоко враждебно относившееся к тому, что оно считало наступлением социальной революции и большевизма на Иберийском полуострове, не вынудили французов придерживаться официальной политики невмешательства. Средний класс и консерваторы на Западе в основном разделяли эту политику, хотя отнюдь не солидаризировались с генералами (за исключением Католической церкви и профашистов). Россия, хотя и пол-

ностью поддерживая республиканцев, вступила в инициированное Великобританией Соглашение о невмешательстве, конечной цели которого — недопущения помощи генералам-пугчистам со стороны Италии и Германии — никто не старался достичь и где в конечном итоге «уклончивость сменилась лицемерием» (Thomas, 1977, p. 395). Начиная с сентября 1936 года Россия охотно, хотя и неофициально, посылала людей и технику для поддержки Республики. Политика невмешательства, т. е. отказ Великобритании и Франции что-либо предпринимать в ответ на массированную интервенцию в Испанию «держав оси», что означало сдачу врагу Республики, утвердила как фашистов, так и антифашистов в презрении к подобному курсу. Это также чрезвычайно подняло авторитет СССР — единственного государства, оказывавшего помощь законному правительству Испании, и повысило престиж коммунистов как внутри страны, так и за ее пределами, и не только оттого, что они организовали эту помощь в международном масштабе, но также потому, что именно их действия стали основой вооруженной борьбы республиканцев.

Но еще до того, как Советы мобилизовали свои ресурсы, все, от либералов до крайних левых, близко к сердцу приняли борьбу в Испании. Как писал самый тонкий и значительный британский поэт того десятилетия, У. Х. Оден,

На плоскогорье знойной Африки обломок,
 Так грубо сросшийся с выдумщицей Европой,
 На плоскогорье, реками рифленном,
 Где наши мысли обретают плоть
 И возбужденья грозные приливы
 Отчетливы и глубоки.

И что более важно, именно здесь бесконечное, деморализующее отступление левых было остановлено республиканцами, сражавшимися против правых с оружием в руках. Еще до того, как Коминтерн начал создавать интернациональные бригады (первые из них прибыли на свои будущие базы в середине октября), и, безусловно, до того, как первые организованные колонны добровольцев, состоявшие из членов итальянского либерально-социалистического движения «*Giustizia e Libertá*», прибыли на фронт, некоторое количество иностранных добровольцев уже воевало в рядах республиканцев. В конечном итоге более сорока тысяч молодых иностранцев более чем пятидесяти национальностей* приехали сражаться и умереть в страну, которую до

* Они включали в себя около 10000 французов, 5000 немцев и австрийцев, 5000 поляков и украинцев, 3500 итальянцев, 2800 американцев, 2000 британцев, 1500 югославов, 1500 чехов, 1000 венгров, 1000 скандинавов и ряд других. Две-три тысячи русских вряд ли можно было назвать добровольцами. Говорили, что в рядах добровольцев около 7000 евреев (Thomas, 1977, p. 982—984; Paucker, 1991, p. 15).

этого многие из них видели только на школьном атласе. Важно отметить, что на стороне Франко воевало не более тысячи иностранных добровольцев (Thomas, 1977, p. 980). Для сведения читателей, выросших в высоконравственной обстановке конца двадцатого века, следует добавить, что они не были ни наемниками, ни, за исключением небольшого числа, авантюристами. Они приехали сражаться за правое дело.

Сейчас с трудом можно вспомнить, что означала Испания для либералов и левых в 1930-е годы, хотя для многих из нас, доживших до сегодняшних дней и ставших старше библейских старцев, она является единственным политическим прецедентом, даже через много десятилетий остающимся тем же примером искренних побуждений, что и в 1936 году. Теперь даже испанцам кажется, что все это принадлежит к доисторическому прошлому. Но тогда борцы против фашизма считали Испанию главным полем сражения. Она стала единственным местом, где непрерывно более двух с половиной лет длилась борьба, в которой они могли сражаться за правое дело не только с оружием в руках, но и путем сбора денег, помощи беженцам и бесконечных кампаний по оказанию давления на собственные малодушные и трусливые правительства. Постепенное, но необратимое наступление националистов, неотвратимость поражения и гибели Республики лишь подчеркнули, насколько необходимо безотлагательное создание союза против мирового фашизма.

Дело в том, что Испанская Республика, несмотря на все наши симпатии и помощь (которая не помогла), с самого начала вела арьергардные бои. Через призму времени становится ясно, что это происходило благодаря ее собственной слабости. По стандартам народных войн двадцатого века, выигранных или проигранных, республиканская война 1936—1939 годов при всем своем героизме расценивается низко, отчасти потому, что она не смогла эффективно воспользоваться столь могущественным оружием против превосходящих сил противника, как партизанская война,— непонятное упущение страны, которая дала свое название этой форме нерегулярных военных действий. В отличие от националистов, имевших единое военное и политическое командование, Республика оставалась политически раздробленной и, несмотря на усилия коммунистов, не обладала единой военной волей и стратегическим командованием, во всяком случае до тех пор, пока не стало уже слишком поздно. Самое большее, что она могла делать,— это время от времени отражать наиболее жестокие атаки противника, тем самым продлевая войну, которая вполне могла закончиться в ноябре 1936 года после взятия Мадрида.

В то время гражданская война в Испании вряд ли могла дать надежду на скорое поражение фашизма. В международном масштабе она явилась миниатюрной версией европейской войны между фашистскими и коммунистическими государствами, причем последние явно были более осторожными и нерешительными, чем первые. Единственное, в чем были уверены западные де-

мократии,— это собственное желание остаться в стороне. На внутригосударственном уровне то была война, в которой мобилизация правых сил оказалась гораздо более эффективной, чем левых. Ее результатом стало полное поражение левых, несколько сотен тысяч убитых, несколько сотен тысяч беженцев, включая большую часть оставшейся в живых интеллектуальной и художественной элиты Испании, которая, за редчайшим исключением, сплотилась вокруг Республики. Коммунистический интернационал мобилизовал все свои внушительные возможности для защиты испанской Республики. Будущий маршал Тито, освободитель и лидер коммунистической Югославии, организовал поток новобранцев в интернациональные бригады в Париже. Пальмиро Тольятти, лидер итальянских коммунистов, фактически руководил неопытной испанской коммунистической партией и был среди тех, кто последним покинул страну в 1939 году. Эта партия также потерпела поражение и предвидела его, как и СССР, пославший своих наиболее опытных военных специалистов в Испанию (например, будущих маршалов Конева, Малиновского, Воронова и Рокоссовского и будущего командующего советским военно-морским флотом, адмирала Кузнецова).

IV

И все же гражданская война в Испании предвосхитила и сформировала модель тех сил, которым суждено было через несколько лет после победы Франко разрушить фашизм. Она предугадала политику Второй мировой войны, уникальный союз национальных фронтов, объединивший для победы над врагом и социального обновления людей, от патриотов-консерваторов до революционеров, поскольку для тех, кто одержал победу, Вторая мировая война стала не только сражением на поле брани, но и битвой за лучшее общество (особенно в Великобритании и США). Никто не мечтал о послевоенном возвращении к 1939 году или даже к 1928 или 1918 годам, как мечтали политики после Первой мировой войны о возвращении к миру 1913 года. Британское правительство под руководством Уинстона Черчилля посвятило себя заботе о создании «государства всеобщего благоденствия» и об отсутствии безработицы в самые страшные годы войны. Не случайно доклад Бевериджа, в котором содержались все эти рекомендации, появился в самый черный для Великобритании год войны — 1942-й. В послевоенных планах США вопрос о том, как не допустить появления второго Гитлера, занимал лишь второстепенное значение. Главные интеллектуальные усилия послевоенных планирующих органов были направлены на извлечение уроков из Великой депрессии и 1930-х годов с тем, чтобы не дать им повториться. Что касается движений сопротивления в странах, побежденных и оккупированных «державами оси»,

то факт неотделимости освобождения от социальной революции или, по крайней мере, от значительных преобразований не требовал доказательств. Кроме того, повсюду в освобожденной от оккупации Европе, на востоке и западе, после победы к руководству государствами пришли антифашистские силы, объединившиеся, несмотря на идеологические различия. Первый и единственный раз в истории большинства европейских государств министры-коммунисты сидели рядом с консерваторами, либералами и социал-демократами, хотя подобному положению вещей не суждено было продлиться долго.

Даже сплоченный общей угрозой, этот странный союз противоположностей — Рузвельта и Сталина, Черчилля и британских социалистов, де Голля и французских коммунистов — был бы невозможен без некоторого ослабления враждебности и взаимных подозрений между сторонниками и противниками Октябрьской революции. Гражданская война в Испании в большой степени способствовала этому сближению. Даже антиреволюционные государства не могли не принять во внимание конституционности и моральной легитимности испанского правительства под руководством либерального президента и премьер-министра, когда оно обратилось к ним за помощью в борьбе против своих мятежных генералов. Даже те демократические государственные деятели, которые предали его из страха за собственную шкуру, испытывали стыд. Испанское правительство и, что более существенно, коммунисты, приобретавшие в нем все больший вес, настаивали на том, что социальная революция не является их целью, и делали все, что могли, чтобы контролировать и тормозить ее, к ужасу революционных энтузиастов. Революция, как настаивали и те и другие, не была их конечной целью, этой целью являлась защита демократии.

Интересно то, что здесь имел место не оппортунизм или, как думали ультраевые пуристы, измена революции, а намеренный поворот от бунтарства и конфронтации к переговорному, даже парламентскому пути к власти. Видя явно революционную реакцию испанского народа на военный путч *, коммунисты теперь могли сделать вывод, что по существу оборонительная тактика, навязанная безвыходным положением их движению после прихода Гитлера к власти, открыла перспективы к наступлению, т. е. «к демократии нового типа», возникшей из требований политики и экономики военного времени. Помещики и капиталисты, поддерживавшие мятежников, потеряли свою собственность, но не как помещики и капиталисты, а как предатели. Правительст-

* По мнению Коминтерна, испанская революция была «неотъемлемой частью антифашистской борьбы и опиралась на широкие социальные слои. Это народная революция. Это национальная революция. Это антифашистская революция» (*Ercoli, October 1936, цит. по Hobsbawm, 1986, p. 175*).

во должно было принять на себя руководство экономикой и ее планированием, но не из соображений идеологии, а руководствуясь логикой военного времени. Следовательно, победив, «такая демократия нового типа не может не быть враждебной духу консерватизма (...) Она гарантирует будущие экономические и политические победы испанского рабочего класса» (*Ercoli, October 1936, цит. по Hobsbawm, 1986, p. 176*).

В брошюре Коминтерна, изданной в октябре 1936 года, с достаточной ясностью было обрисовано направление политики в антифашистской войне 1939—1945 годов. Эта война должна была вестись в Европе объединенными правительствами народного и национального фронтов или коалициями сопротивления с помощью государственных экономик и закончиться на оккупированных территориях массовым наступлением на государственный сектор и экспроприацией капиталистов, но не всех, а только немецких и тех, кто сотрудничал с Германией. В некоторых странах Центральной и Западной Европы эта дорога вела напрямик от антифашизма к «новой демократии», руководимой и затем подавленной коммунистами, но до начала «холодной войны» эти послевоенные режимы не ставили своей целью немедленный переход к социализму или отмену политического плюрализма и частной собственности*. В западных странах общие социальные и экономические последствия войны и освобождения не особенно отличались друг от друга при различной политической конъюнктуре. Социальные и экономические реформы проводились не в ответ на давление масс и страх революции (как после Первой мировой войны), а потому, что правительства исповедовали эти принципы (частично это были правительства традиционного реформистского типа, как демократы в США и лейбористская партия, пришедшая к власти в Великобритании, частично правительства национального возрождения и реформистов, возникшие непосредственно из различных антифашистских движений Сопротивления). Одним словом, логика антифашистской войны имела левое направление.

V

Однако уже в 1936 году, не говоря о 1939-м, смысл гражданской войны в Испании казался стертým, почти нереальным. После десяти лет очевидных провалов попыток Коминтерна создать антифашистский союз Сталин вычеркнул его из своей программы, по крайней мере на тот период времени, и не толь-

* Даже во время учредительной конференции нового органа «холодной войны» — Коммунистического информационного бюро (Коминформ) болгарский делегат Влко Червенков все еще описывал перспективы своей страны именно в таких терминах (*Reale, 1954, p. 66—67, 73—74*).

ко пошел на сделку с Гитлером (хотя обе стороны знали, что их союз не может продлиться долго), но даже заставил международное коммунистическое движение отказаться от антифашистской стратегии (бессмысленное решение, возможно, лучше всего объяснимое пресловутым отвращением Сталина даже к самому малому риску) *. Однако в 1941 году политика, проводимая Коминтерном, получила признание. Поскольку Германия вторглась в СССР и США тоже оказались втянуты в военные действия — одним словом, поскольку борьба против фашизма в конце концов приобрела мировой масштаб, политика стала играть в войне такую же роль, как и военные действия. В международном масштабе она явилась причиной союза капитализма США и коммунизма СССР. Внутри каждой из стран Европы (кроме тех, которые тогда были зависимы от западного империализма) она подталкивала к объединению всех, кто был готов противостоять Германии и Италии, т. е. способствовала созданию коалиции сопротивления широкого политического спектра. Поскольку все принимавшие участие в войне европейские страны, за исключением Великобритании, были оккупированы «державами оси», по существу войну вели мирные граждане и войска, состоявшие из бывших мирных граждан, которые не признавали немецкая и итальянская армии. Это была жестокая партизанская война, заставившая каждого сделать свой политический выбор.

История европейских движений Сопротивления сильно мифологизирована, поскольку (за исключением отчасти самой Германии) легитимность послевоенных режимов и правительств по существу напрямую была связана с их участием в сопротивлении фашизму. Франция представляет собой яркий пример, поскольку там послевоенные правительства не являлись преемниками французского правительства 1940 года, заключившего мир с Гитлером и сотрудничавшего с Германией. Организованное сопротивление здесь было слабым и плохо вооруженным, по крайней мере до 1944 года, и не всегда пользовалось народной поддержкой. Послевоенная Франция была воссоздана генералом де Голлем на основе мифа о том, что Франция никогда не признавала своего поражения, хотя сам он как-то сказал: «Сопротивление было блефом, который удался» (*Gillois, 1973, p. 164*). Из участвовавших во Второй мировой войне французские мемориалы увековечили только бойцов Сопротивления и тех, кто присоединился к силам де Голя. Это был явный политический жест, и Франция является далеко не единственным государством, построенным на мифологии Сопротивления.

О европейских движениях Сопротивления следует сказать две вещи. Во-первых, их вклад в военные действия (возможно, за исключением России)

* Возможно, Сталин боялся, что активное участие коммунистов в антифашистской борьбе в Великобритании или во Франции будет расценено Гитлером как знак тайной измены и даст последнему основания для нападения на СССР.

был незначителен до того момента, когда в 1943 году Италия вышла из войны, и нигде не имел решающего значения, за исключением, возможно, некоторых участков Балкан. Но следует повторить, что главное значение этих движений было политического и морального толка. Так, например, итальянская общественная жизнь изменилась после более чем двадцати лет фашизма, имевшего значительную поддержку даже среди интеллигенции, благодаря массовому повсеместному вступлению в ряды Сопротивления в 1943—1945 годах, включая вооруженное партизанское движение в Центральной и Северной Италии, в котором сражалось до 100 тысяч человек и было убито 45 тысяч (Восса, 1966, р. 297—302, 375—389, 569—570; Ravone, 1991, р. 413). В то время как итальянцы без колебаний отреклись от Муссолини, немцы, единодушно поддерживавшие свое правительство до конца, не могли так легко отказаться от эпохи нацизма 1933—1945 годов. Участники немецкого Сопротивления — коммунисты, консервативные военные, отдельные религиозные и либеральные диссиденты — были казнены или посажены в концентрационные лагеря. В то же время те, кто поддерживал фашизм или сотрудничал с оккупационными властями, оказались фактически вырваны из общественной жизни на целое поколение после 1945 года, хотя «холодная война» против коммунизма нашла тайное применение таким людям в западных военных и разведывательных операциях*.

Второе соображение по поводу Сопротивления заключается в том, что по очевидным причинам его политика носила левый уклон (за исключением Польши). В каждой стране фашисты, правые радикалы, консерваторы, местные богачи и те, кто боялся социальной революции, были склонны к сочувствию или нейтралитету по отношению к немцам. Так поступали мелкие сепаратистские и националистические движения. Будучи традиционно идеологически правыми, некоторые из них надеялись получить выгоду от своего коллаборационизма, особенно фламандские, словацкие и хорватские националисты. Так же, и об этом не нужно забывать, поступали и убежденные антикоммунистические элементы Католической церкви и легионы их консер-

* Тайные антикоммунистические отряды, о существовании которых стало известно после их обнаружения одним итальянским политиком в 1990 году (в Италии они назывались «Gladio», или «Меч»), были созданы в 1949 году для продолжения вооруженного сопротивления советским оккупационным войскам в различных европейских странах. Оружие и деньги они получали от США, их обучением занималось ЦРУ и британские спецслужбы. Их существование скрывалось от правительств государств, на территории которых они располагались, за исключением отдельных случаев. В Италии, а возможно, и где-то еще эти войска первоначально состояли из закоренелых фашистов, оставленных в качестве ядра сопротивления побежденными «державами оси» и впоследствии ставших фанатичными антикоммунистами. В 1970-е годы, когда вторжение Красной армии больше не казалось реальным даже американским спецслужбам, члены «Gladio» нашли новое поле деятельности в качестве правых террористов, иногда маскируясь при этом под левых террористов.

вативных прихожан, хотя интересы церковных политиков, несомненно, были гораздо сложнее, чем у обычных коллаборационистов. Из этого следует, что правые, вступившие в Сопротивление, всегда были нехарактерным явлением на фоне своего политического окружения. Уинстон Черчилль и генерал де Голль не были типичными представителями своего слоя общества, хотя почти ни для одного нормального правого приверженца традиций с военными наклонностями понятие патриотизма без защиты родины было невозможно.

Этим объясняется (если, конечно, для этого требуется специальное объяснение) удивительная популярность коммунистов в движениях Сопротивления и, следовательно, огромный рост их политического влияния во время войны. По этой причине европейские коммунистические движения достигли пика своего влияния в 1945—1947 годах, за исключением Германии, где они не смогли оправиться от жестокого разгрома в 1933 году и героических, но самоубийственных попыток сопротивления в последующие три года. Даже в странах, далеких от социальной революции, таких как Бельгия, Дания и Нидерланды, коммунистические партии получили 10—12 % голосов — в несколько раз больше, чем когда-либо раньше, сформировав в три или четыре раза более крупные, чем раньше, блоки в парламентах своих стран. Во Франции они оказались самой многочисленной партией на выборах 1945 года, в первый раз обогнав своих старых соперников — социалистов. В Италии достижения коммунистической партии были еще более впечатляющими. Малочисленная, измученная и печально известная своими неудачами группа нелегалов, которой она была до войны (Коминтерн фактически угрожал ей роспуском в 1938 году), после двух лет Сопротивления стала массовой коммунистической партией с восьмьюстами тысячами членов, а вскоре (в 1946 году) достигла почти двух миллионов. Что касается стран, где война против «держав оси» велась по существу вооруженным внутренними силами Сопротивления — Югославии, Албании и Греции, то в партизанских войсках преобладали коммунисты. Британское правительство под руководством Черчилля, не имевшего ни малейшей симпатии к коммунизму, перенесло свою поддержку и помощь с роялиста Михайловича на коммуниста Тито, когда стало ясно, что последний несравнимо опаснее для немцев, чем первый.

Коммунисты приняли участие в Сопротивлении не только потому, что ленинская «авангардная партия» являлась кузницей дисциплинированных и самоотверженных кадров, чьей главной целью были активные действия, но также оттого, что экстремальные ситуации, такие как нелегальность, репрессии и война, являлись именно тем, для чего были предназначены эти отряды «профессиональных революционеров». Разумеется, «они единственные предвидели возможность вооруженного сопротивления» (*M. R. D. Foot, 1976, p. 84*). Этим они отличались от массовых социалистических партий, которые считали почти невозможной свою деятельность в отсутствие легальности (выбо-

ров, публичных собраний и всего остального, определявших их поступки). Перед лицом захвата власти фашистами и немецкой оккупации социал-демократические партии впали в летаргию, из которой вышли, как, например, австрийские и немецкие социалисты, в лучшем случае к концу войны, сохранив большинство прежних сторонников и желание продолжать прежнюю политику. Не уклоняясь от сопротивления, они были, по структурным причинам, недостаточно представлены в правительстве. В таком экстремальном случае, как Дания, социал-демократическое правительство находилось у власти, когда Германия оккупировала страну, и оставалось у власти всю войну, хотя и не поддерживало фашистов. (После этого ему понадобилось несколько лет для восстановления своей репутации.)

Еще две особенности помогли коммунистам занять видное положение в рядах Сопротивления — их интернационализм и фанатичная убежденность, с которой они посвящали избранному делу свою жизнь (см. главу 2). Первый позволил им призвать в свои ряды мужчин и женщин, которым антифашистские лозунги были более близки, чем патриотические призывы. Например, во Франции это были беженцы гражданской войны в Испании, составившие большую часть отрядов вооруженного партизанского сопротивления на юго-западе страны — примерно двенадцать тысяч перед днем «Д»* (*Pons Prades, 1975, p. 66*), и другие беженцы и эмигранты, в основном представители рабочего класса из семнадцати стран, которые в рамках подразделения *MOI* (*Main-d'Oeuvre Immigrée* — «рабочие-эмигранты») выполняли самые опасные поручения партии. Например, группа Манукяна (состоявшая из армян и польских евреев) совершала нападения на немецких офицеров в Париже**. Вторая особенность породила то сочетание храбрости, самопожертвования и жестокости, поражавшее даже врагов, которое столь ярко описано в книге редкой правдивости «Война» югослава Милована Джиласа (*Djilas, 1977*). Коммунисты в глазах политически умеренного историка являлись «храбрейшими из храбрых» (*Foot, 1976, p. 86*), и хотя дисциплина и организованность давали им лучшие шансы на выживание в тюрьмах и концлагерях, их потери были очень велики. Несмотря на нарекания на французскую компартию, чье руководство вызывало недовольство даже в рядах коммунистов, она могла с полным основанием претендовать на то, чтобы называться *le parti des fusillés* — «партия расстрелянных», поскольку потеряла не менее пятнадцати тысяч своих борцов, казненных фашистами (*Jean Touchard, 1977, p. 258*). Неудивительно, что все это имело большую притягательность для смелых мужчин и жен-

* День высадки союзных войск в Нормандии (6 июня 1944 года) (примеч. пер.).

** Один из друзей автора, ставший в итоге заместителем командира *MOI* под руководством чеха Артура Лондона, был австрийским евреем польского происхождения, его задачей являлась организация антинацистской пропаганды в немецких войсках во Франции.

щин, особенно для молодежи в странах, где массовая поддержка активного Сопротивления была не столь велика, как во Франции и Чехословакии. Коммунисты имели большую притягательность и для интеллектуалов, наиболее охотно встававших под знамена антифашизма. Из них было сформировано ядро внепартийных (но левых по своей природе) организаций Сопротивления. Роман французских интеллигентов с марксизмом и преобладание в итальянской культуре людей, связанных с коммунистической партией, длившееся целое поколение, были следствием Сопротивления. Становились ли интеллигенты участниками Сопротивления, подобно одному ведущему послевоенному издателю, который с гордостью говорил о том, что все члены его фирмы взяли в руки оружие, став партизанами, являлись ли просто сочувствующими коммунистам, когда ни они сами, ни члены их семей не были активными участниками Сопротивления (они даже могли быть его противниками),— все они чувствовали притягательную силу компартии.

За исключением своих повстанческих цитаделей на Балканах, коммунисты не делали больше попыток установить коммунистические режимы. Правда, у них не было возможности сделать это нигде к западу от Триеста, даже если они и хотели прийти к власти. Кроме того, Советский Союз, которому их партии были в высшей степени преданы, решительно препятствовал этим односторонним попыткам прихода к власти. Коммунистические революции, произошедшие в Югославии, Албании и позже в Китае, случились вопреки воле Сталина. Точка зрения Советов заключалась в том, что и в мировом масштабе, и в масштабе одной страны послевоенная политика должна продолжаться в рамках международного антифашистского альянса, т. е. они надеялись на длительное сосуществование или даже симбиоз капиталистической и социалистической систем и на дальнейшие социальные и политические изменения, осуществляемые в рамках «демократий нового типа», которые возникнут из военных коалиций. Этот оптимистический сценарий вскоре исчез во мраке «холодной войны» столь бесследно, что мало кто помнит, что Сталин принуждал югославских коммунистов сохранить монархию, а в 1945 году британские коммунисты выступали против роспуска военной коалиции Черчилля, т. е. против избирательной кампании, которая привела к власти лейбористское правительство. Однако нет сомнений, что Сталин серьезно имел такие планы и пытался доказать это, распустив Коминтерн в 1943 году и Коммунистическую партию США в 1944 году.

Решение Сталина, которое озвучил американский коммунистический лидер,— «Мы не станем поднимать вопрос о социализме в такой форме, чтобы не поставить под угрозу и не ослабить (...) единение» (*Browder, 1944, цит. по: J. Starobin, 1972, p. 57*),— прояснял намерения Советского Союза. По мнению несогласных с такой линией революционеров, это было окончательное прощание с мировой революцией для осуществления практических целей. Со-

циализм ограничивался лишь масштабами СССР и региона, определенного путем переговоров в качестве зоны его влияния, т. е. по существу территории, оккупированной Красной армией в конце войны. Однако даже в пределах этой зоны влияния он оставался неясной перспективой на будущее, а не ближайшей программой новых «народных демократий». История, которая обращает мало внимания на политические цели, пошла по другому пути — за исключением одного аспекта. Раздел земного шара (или большой его части) на две зоны влияния, о котором договорились в 1944—1945 годах, оставался стабильным. Ни одна из сторон в течение тридцати лет не переступила разделяющей их черты более чем на короткое мгновение. Оба лагеря отказались от открытой конфронтации, этим гарантируя, что «холодная война» никогда не станет «горячей».

VI

Недолгой мечте Сталина о послевоенном партнерстве СССР и США не суждено было укрепить мировой союз либерального капитализма и коммунизма против фашизма. Этот союз, безусловно, был создан лишь против военной угрозы и никогда бы не возник, если бы не последовательный ряд агрессий нацистской Германии, завершившихся ее нападением на СССР и объявлением войны США. Тем не менее сама природа Второй мировой войны подтвердила закономерность, прослеживавшуюся во время гражданской войны в Испании 1936 года, — связь между мобилизацией военного и гражданского населения и социальными переменами. Со стороны союзников (в большей степени, чем со стороны фашистов) это была война реформаторов, частично потому, что самая уверенная в себе капиталистическая держава не могла надеяться выиграть длительную войну без отказа от политики «*business as usual*», а отчасти потому, что сам факт Второй мировой войны подчеркнул ошибки межвоенных лет, из которых неспособность объединиться против агрессоров была не самой большой.

Тесное соседство победы и надежды на социальные изменения также явствует из того, что мы знаем об эволюции общественного мнения в принимавших участие в войне или освобожденных от оккупации странах, в которых существовала свобода его выражения, за исключением, как ни странно, США, где начиная с 1936 года имело место снижение поддержки демократов и заметное усиление республиканцев. В этой стране господствовали внутренние интересы, к тому же она гораздо меньше пострадала от войны, чем какая-либо другая. Там, где проводились честные выборы, они показали резкий сдвиг влево. Самым ярким в этом отношении был феномен Великобритании, где на выборах 1945 года потерпел поражение любимый и почитаемый всеми воен-

ный лидер Уинстон Черчилль и к власти пришла лейбористская партия, количество голосов у которой выросло на 50%. В следующие пять лет она находилась у руководства в период беспрецедентных социальных реформ. Обе главные партии в равной мере были вовлечены в управление страной в военное время, но теперь избиратели выбрали ту, которая обещала не только победу, но и социальные преобразования. Этот феномен в Западной Европе во время войны был повсеместным, хотя ни его масштабы, ни радикальность не стоит преувеличивать, что старались сделать пришедшие к власти партии, временно отмежевываясь от бывших фашистов и правых коллаборационистов.

Ситуацию в тех частях Европы, которые были освобождены партизанами или Красной армией, более сложно оценивать, хотя бы потому, что массовый геноцид, массовые перемещения и массовое изгнание или вынужденная эмиграция сделали невозможным сравнивать одни и те же страны до войны и после нее. На всей этой территории основная масса жителей государств, оккупированных «державами оси», считала себя их жертвами, за исключением политически разделенных словаков и хорватов, получивших номинально независимые государства под патронажем Германии, титульных наций в союзных с Германией Венгрии и Румынии и, конечно, обширной германской диаспоры. Это не означало, что они сочувствовали вдохновенным коммунистами движениям Сопротивления (за исключением, возможно, евреев, преследуемых всеми остальными), а также России (кроме балканских славян, традиционно являвшихся русофилами). Среди поляков в подавляющей массе царили и антигерманские и антирусские настроения, не говоря уже об антисемитизме. Малые балтийские народы, оккупированные СССР в 1940 году, во время войны, когда у них имелся выбор, были одновременно настроены антирусски, антисемитски и прогермански. В Венгрии и Румынии не было ни коммунистов, ни Сопротивления. В Болгарии симпатии к коммунистам и к России были сильны, хотя там и не имелось регулярного Сопротивления. Компартия Чехословакии, и до этого всегда являвшаяся массовой партией, стала самой многочисленной партией в результате подлинно свободных выборов. Советская оккупация вскоре сделала подобные политические различия чисто теоретическими. Победы партизан—это не плебисциты, однако, без сомнения, большинство югославского народа приветствовали победу партизан Тито, за исключением проживавшего там небольшого числа немцев, сторонников хорватского режима Усташа (которым сербы жестоко отомстили за прошлые зверства Гитлера), и исторической Сербии, где движение Тито и соответственно антигерманские военные действия никогда не имели поддержки*.

* Однако сербы в Хорватии и Боснии, так же как и черногорцы (17% офицеров партизанской армии были черногорцами), являлись решительными сторонниками Тито, так же как и значительная часть словенцев и хорватов, земляков Тито. Основные сражения партизан проходили в Боснии.

В Греции продолжалась гражданская война, несмотря на отказ Сталина помогать греческим коммунистам и прокоммунистическим силам в борьбе против британцев, оказывавшим помощь их противникам. О политических настроениях албанцев после победы коммунистов могли отважиться судить только эксперты по изучению родственных связей. Однако все эти страны уже стояли на пороге эпохи масштабных социальных преобразований.

Как ни странно, СССР оказался единственной участвовавшей в войне страной (не считая США), не претерпевшей в результате нее значительных социальных и институциональных изменений. Он начал и закончил эту войну под руководством Иосифа Сталина (см. главу 13). Однако совершенно очевидно, что в результате войны стабильность системы получила огромные перегрузки, особенно в сельской местности. Если бы не извечная убежденность национал-социалистов в том, что славяне — всего лишь рабы и низшая раса, немецкие захватчики могли бы получить массовую поддержку многих народов Советского Союза. И наоборот, главной основой победы СССР — патриотизм самой многочисленной национальности СССР — великороссов, составлявших ядро Красной армии, к которым обратился советский режим в момент катастрофы. Вторая мировая война официально стала известна в СССР как Великая Отечественная война, которой на самом деле она и являлась.

VII

В этом месте историк должен сделать усилие, чтобы не поддаваться искушению заняться анализом одного только западного мира, поскольку лишь очень немногое из написанного выше в этой главе касается остальной большей части земного шара. Отчасти это имеет отношение к конфликту между Японией и континентальной Восточной Азией, поскольку Япония, где у руководства находились ультраправые националисты, являлась союзником нацистской Германии, а главными силами сопротивления в Китае были коммунисты. До некоторой степени все это имеет отношение и к Латинской Америке, мощному импортеру модных в Европе идеологий, таких как фашизм и коммунизм, в особенности к Мексике, возродившей свою великую революцию в 1930-х годах под руководством президента Лазаро Карденаса (1934—1940) и решительно ставшей на сторону Испанской Республики в гражданской войне. После поражения республиканцев Мексика фактически оставалась единственной страной, продолжавшей признавать их законным правительством Испании. Однако для большей части Азии, Африки и исламского мира фашизм, ни в виде идеологии, ни в виде политики государства-агрессора, никогда не являлся главным врагом. Им был империализм (или колониализм) и империалисти-

ческие государства, в подавляющем большинстве являвшиеся либеральными демократиями: Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия и США. Кроме того, все империи, за исключением Японии, были государствами с преимущественно белым населением.

Противники империи по логике являлись и потенциальными союзниками в борьбе за колониальное освобождение. Даже Япония, которая, как могут засвидетельствовать жители Кореи, Китая, Тайваня и некоторых других стран, породила свою собственную жестокую разновидность капитализма, могла обратиться за помощью к антиколониальным силам Юго-Западной и Южной Азии как защитница цветного населения против белого. Поэтому борьба против империй и борьба против фашизма имели противоположную направленность. Так, заключенный в 1939 году пакт Сталина с Германией, способствовавший расколу левых на Западе, позволил индийским и вьетнамским коммунистам спокойно сосредоточиться на борьбе против англичан и французов; в то же время нападение Германии на СССР в 1941 году вынудило их, как примерных коммунистов, сделать своей первоочередной задачей поражение «держав оси», т. е. отодвинуть вопрос освобождения собственных стран гораздо ниже в повестке дня. Подобная смена курса являлась не только непопулярной, но и бессмысленной со стратегической точки зрения в то время, когда колониальные империи Запада были как никогда уязвимы, находясь почти на грани краха. И конечно, местные левые, не испытывавшие на себе железной хватки Коминтерна, старались использовать эту возможность. Индийский национальный конгресс в 1942 году создал движение «Прочь из Индии!», а бенгальский радикал Субха Бос пополнил Армию освобождения пленными солдатами-индусами, захваченными во время первых молниеносных наступлений. Борцы за освобождение от колониализма в Бирме и Индонезии придерживались той же точки зрения. *Reducto ad absurdum* * этой антиколониальной логики явилась попытка экстремистской еврейской группировки в Палестине договориться с *Германией* (при посредничестве Дамаска, а затем вишистского правительства) о помощи в освобождении Палестины от Великобритании, что они считали первейшим приоритетом сионизма (один из членов группы, принимавший участие в этой миссии, Ицхак Шамир, впоследствии стал премьер-министром Израиля). Подобные действия, без сомнения, не предполагали никакой политической симпатии к фашизму, хотя антисемитизм нацистов мог привлекать палестинских арабов, враждовавших с еврейскими поселенцами, а некоторые этнические группы в Южной Азии могли отождествлять себя с высшей арийской расой, которая была придумана нацистской мифологией. Но это были частные случаи (см. главы 12 и 15).

* Доведение до нелепости (лат.).

Объяснения требует вопрос, почему в конечном итоге антиколониальные и освободительные движения в подавляющем большинстве имели левую тенденцию и поэтому оказались, по крайней мере в конце войны, в рядах мирового антифашистского лагеря. Фундаментальная причина этого явления состоит в том, что именно среди левых течений на Западе зародилась теория антиимпериализма и антиимпериалистическая политика и что поддержку освободительным движениям от колониального ига оказывали в подавляющем числе международные левые движения, главным образом (начиная с большевистского Съезда народов Востока в Баку в 1920 году) Коминтерн и СССР. Кроме того, активисты и будущие лидеры освободительных движений, в основном принадлежавшие к западной элите своих стран, возвратившись после обучения из метрополий, чувствовали себя более свободно в нерасистском и антиколониальном окружении местных либералов, демократов, социалистов и коммунистов, чем в любом другом. Во всяком случае, все они были людьми передовых взглядов, которым ностальгические средневековые мифы, нацистская идеология и расистская направленность этих теорий напоминали о коммуналистских * и трайбалистских ** тенденциях, свидетельствовавших, по их мнению, об отсталости их стран, являвшейся следствием империалистической эксплуатации.

Одним словом, союз с «державами оси» по принципу «враги моих врагов—мои друзья» мог быть только тактическим. Даже в Юго-Восточной Азии, где японское правление было менее репрессивным, чем правление старых колониальных держав, и осуществлялось небелыми против белых, он не мог быть долговечным, поскольку Япония, не говоря уже о ее глубоко укоренившемся расизме, не была заинтересована в освобождении колоний как таковых. Этот союз действительно оказался недолгим, поскольку Япония вскоре была побеждена. Ни фашизм, ни национализм «держав оси» не имели здесь особой привлекательности. С другой стороны, такой человек, как Джавахарлал Неру, который (в отличие от коммунистов) без колебаний принял участие в акции под лозунгом «Прочь из Индии!» в 1942 году, кризисом для Британской империи, никогда не переставал верить, что свободная Индия построит социалистическое общество и что СССР будет союзником в ее усилиях и, возможно, даже прототипом этого общества.

То, что лидеры и сторонники идей колониального освобождения зачастую составляли меньшинство того населения, которое они собирались освободить, делало сближение с антифашизмом легче, поскольку в массе население колоний разделяло чувства и идеи, к которым вполне мог бы прибегнуть фа-

* Коммунализм — религиозно-общинная рознь (примеч. пер.).

** Трайбализм — межплеменная вражда, а также фанатическая приверженность к своей группировке, фракции и т. п. (примеч. пер.).

шизм (если бы не его приверженность расовому превосходству): традиционализм, религиозную и этническую нетерпимость, подозрительность к любому новаторству. Фактически все эти чувства и идеи еще не были реализованы полностью, а если в какой-то мере и были, то не стали господствующими. В мусульманском мире между 1918 и 1945 годами очень быстро шла массовая исламская мобилизация. Так, основанное Хасаном аль-Банной в 1928 году фундаменталистское движение «Братья-мусульмане», устойчиво враждебное к либерализму и коммунизму, стало главным выразителем недовольства египетских масс в 1940-х годах. Его политическая близость к идеологии «держав оси» была не только тактической, особенно если принять во внимание его враждебность к сионизму. Однако движения и политики, пришедшие к власти в исламских государствах, иногда на плечах фундаменталистски настроенных масс, являлись светскими и современно мыслящими. Египетские полковники, впоследствии совершившие революцию 1952 года, были просвещенными интеллектуалами, действовавшими в контакте с малочисленными группами египетских коммунистов, руководимых, кстати, в основном евреями (*Perrault, 1987*). На Индийском субконтиненте Пакистан (порождение 1930—1940-х годов) правильно называли «замыслом секуляризованных элит, принужденных, в силу территориальной разобщенности мусульманского населения и противодействия индуистского большинства, назвать свое политическое общество исламским, а не просто национально-сепаратистским» (*Lapidus, 1988, p. 738*). В Сирии руководство осуществляла Партия арабского социалистического возрождения (БААС), основанная в 1940-х годах двумя получившими образование в Париже школьными учителями, которые, несмотря на присущий арабам мистицизм, по своей идеологии являлись антиимпериалистами и социалистами. Сирийская конституция не содержит ни единого упоминания об исламе. Политика Ирака (до войны в Персидском заливе 1991 года) определялась всевозможными комбинациями офицеров-националистов, коммунистов и баасистов, преданных арабскому единству и социализму (по крайней мере теоретически), но явно не заповедям Корана. Как в силу местных особенностей, так и благодаря тому, что алжирское революционное движение имело широкую поддержку масс (и, не в последнюю очередь, большого количества рабочих-эмигрантов во Франции), ислам оказал сильное влияние на алжирскую революцию. Однако революционеры тогда (в 1956 году) пришли к выводу, что «их дело — это борьба, цель которой — победа над колониализмом, а не религиозная война» (*Lapidus, 1988, p. 693*), и предложили создать светскую демократическую республику, ставшую по конституции однопартийным социалистическим государством. Несомненно, антифашистский этап — единственный период, когда действующие коммунистические партии получили значительную поддержку и обрели влияние в некоторых частях исламского мира, особенно в Сирии, Ираке

и Иране. Только гораздо позже голоса прогрессивных светских лидеров были заглушены массовой политикой возрождения фундаментализма (см. главы 12 и 13).

Несмотря на столкновения интересов, обострившиеся после войны, взгляды антифашистов развитых западных стран и антиимпериалистов в их колониях совпадали в том, что и те и другие видели свое послевоенное будущее в свете социальных преобразований. СССР и местные коммунисты помогали преодолеть возникавшие противоречия. Однако, в отличие от европейского театра военных действий, неевропейские поля сражений не принесли коммунистам важных политических побед, за исключением тех мест, где, как и в Европе, задачи антифашистского и национального/социального освобождения совпали: в Китае и Корее, где колониалистами являлись японцы, и в Индокитае (Вьетнам, Камбоджа, Лаос), где главными врагами свободы оставались французы, местная администрация которых перешла на службу к японцам после того, как они оккупировали территорию Юго-Восточной Азии. В этих странах коммунизму было суждено победить в послевоенную эпоху под руководством Мао, Ким Ир Сена и Хо Ши Мина. В других местах лидеры государств, стремившихся к деколонизации, пришли из движений в основном левых, однако для них собственные проблемы значили больше, чем вопрос поражения или победы в войне с «державами оси». Однако даже они после разгрома фашизма считали ситуацию в мире достаточно оптимистичной. Две сверхдержавы не являлись сторонниками прежнего колониализма, по крайней мере на бумаге. Противники колониализма пришли к власти в центре самой огромной империи — Британской. Силы и легитимность старого колониализма были существенно подорваны. Шансы на освобождение казались велики, как никогда раньше. Так на самом деле и произошло, правда не без жестоких арьергардных боев со стороны старых империй.

VIII

Таким образом, поражение «держав оси», точнее, Германии и Японии не вызвало скорби в мире, за исключением самих этих стран, население которых до последнего дня сражалось с преданностью, упорством и огромной боеспособностью. В конце войны фашизму не удалось поднять на борьбу никого, кроме небольшой горстки правых радикалов (большая часть которых оставалась на политической обочине в своих собственных странах), нескольких националистических групп, надеявшихся осуществить свои цели при помощи союза с Германией, и наемников, завербованных в нацистскую армию на оккупированных территориях. Японцам удалось привлечь на свою сторону симпатию лишь на короткое время, сыграв на принадлежности к желтой, а не

белой расе. Притягательность европейского фашизма объяснялась тем, что он обеспечивал защиту от рабочих движений, социализма, коммунизма и безбожной Москвы, являвшейся их вдохновительницей. Благодаря этому он получил значительную поддержку среди консервативно настроенных обеспеченных слоев, хотя большой бизнес всегда руководствовался скорее прагматическими, а не принципиальными соображениями. Однако эта притягательность разбилась о неудачи и поражения. В любом случае суммарным итогом господства двенадцати лет национал-социализма явилось то обстоятельство, что огромные пространства в Европе теперь оказались под властью большевиков.

Итак, фашизм пошел ко дну, как ком земли, брошенный в реку, фактически навсегда исчезнув с политической сцены, за исключением Италии, где умеренное неофашистское движение (*Movimento Sociale Italiano*), почитающее Муссолини, неизменно присутствует в итальянской политике. Это произошло не только благодаря исключению из политики фигур, ранее занимавших высокое положение в фашистских режимах (но не из государственных учреждений и общественной жизни). Это произошло даже не благодаря эмоциональному потрясению, которое пережили добропорядочные немцы (и, хотя и иначе, законопослушные японцы), чей мир рухнул в физическом и моральном хаосе 1945 года и для кого верность своим прежним взглядам только ухудшала положение. Фашизм мешал приспособиться к новой, поначалу с трудом приемлемой жизни под властью оккупационных правительств, навязывавших им свои институты власти и нормы поведения и прокладывавших рельсы, по которым теперь обязаны были катиться их поезда. Национал-социализм ничего не мог предложить послевоенной Германии, кроме воспоминаний. Типично, что в наиболее приверженной национал-социализму части гитлеровской Германии, особенно в Австрии (которая благодаря повороту международной дипломатии была причислена к невиновным), послевоенная политика вскоре стала такой же, какой она была до начала уничтожения демократии в 1933 году, разве что в ней начал просматриваться легкий левый уклон (*Flora, 1983, p. 99*). Фашизм исчез вместе с прекращением мирового кризиса, который позволил ему возникнуть. Да он никогда и не был, даже теоретически, мировой программой или политическим проектом.

С другой стороны, антифашистский союз, каким бы искусственным и недолговечным он ни был, смог объединить исключительное по своему диапазону число сил. Более того, это был созидательный, а не разрушительный и, в некоторых отношениях, долгосрочный союз. Его идеологическую основу составляли общие ценности и устремления эпохи Просвещения и революций: прогресс на основе науки и здравого смысла, образование, всенародно избранное правительство, отсутствие всякого неравенства по рождению или происхождению, создание общества, обращенного в будущее, а не в прошлое. Некоторые из этих сходных черт существовали только на бумаге, хотя небе-

зынтересен тот факт, что политические образования, столь далекие от западных и фактически любых демократий, как Эфиопия при Менгисту, Сомали до свержения Сиада Барре, Северная Корея во времена Ким Ир Сена, Алжир и коммунистическая Восточная Германия, стали официально называть себя демократическими или народно-демократическими республиками. Подобные ярлыки фашистские, авторитарные и даже традиционно консервативные режимы в период между Первой и Второй мировыми войнами отвергли бы с презрением.

В других отношениях общность устремлений не была столь далека от реальности. Западный конституционный капитализм, коммунистические системы и третий мир были одинаково преданы идее равенства рас и полов, т. е. они все потерпели неудачу в своих устремлениях, но не в путях, отличавших участь одного от другого. Все они являлись светскими государствами. Существенно также то, что после 1945 года фактически все эти государства сознательно отвергли главенствующую роль рынка и верили в активную роль государства в руководстве экономикой и ее планировании. С трудом можно вспомнить, что в эпоху неолиберальной экономической догмы, между началом 1940-х и 1970-х годов, самые престижные и влиятельные до этого сторонники полной рыночной свободы, как, например, Фридрих фон Хайек, считали себя и себе подобных пророками в пустыне, тщетно предупреждавшими беззаботный западный капитализм о том, что он стремительно движется «по дороге к рабству» (*Hayek, 1944*). На самом же деле он вступал в эпоху экономических чудес (см. главу 9). Капиталистические правительства были убеждены, что только экономический интервенционизм * может воспрепятствовать возвращению к экономическим катастрофам периода между Первой и Второй мировыми войнами и избежать политической опасности радикализации населения и выбора им коммунизма, как оно некогда выбрало Гитлера. Страны третьего мира верили, что только действия государства смогут вывести их экономику из отсталости и зависимости. Деколонизированный мир, следуя примеру Советского Союза, должен был считать, что его будущим является социализм. Советский Союз и его только что расширившееся «семейство» не верили ни во что, кроме централизованного планирования. И все эти три мировые зоны вступили в послевоенный мир с убеждением, что победа над «державами оси», достигнутая благодаря не только политическому объединению и революционной политике, но благодаря крови и оружию, открыла новую эру социальных преобразований.

До некоторой степени они оказались правы. Никогда так резко не менялся земной шар и жизнь людей на нем, как в эпоху, начало которой ознамено-

* Политика вмешательства правительства в экономическую деятельность в стране или в политическую деятельность других стран (*примеч. пер.*).

вало облако в форме гриба над Хиросимой и Нагасаки. Но, как всегда, история обращала мало внимания на устремления людей, даже тех, от которых зависели судьбы государств. В действительности социальные преобразования не только не планировались, но и не предполагались. Во всяком случае, первым непредвиденным последствием их спонтанности явился почти немедленный распад великой антифашистской коалиции. Как только не стало фашизма, против которого необходимо было объединяться, капитализм и коммунизм опять были готовы считать друг друга смертельными врагами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Искусство 1914—1945 годов

Париж сюрреалистов — это маленькая вселенная (...) Она ничем не отличается от большой вселенной — космоса. Здесь тоже есть перекрестки, на которых вспыхивают призрачные сигнальные огни, а невероятные аналогии и связи между событиями — обычное явление. Это край, где рождается лирическая поэзия сюрреализма.

Вальтер Беньямин. «Сюрреализм»
(*Walter Benjamin, «One Way Street», 1979, p. 231*)

Похоже, новая архитектура с трудом приживается в США (...) Приверженцы нового стиля полны энтузиазма, а некоторые из них действуют в назойливой и наставительной манере поборников единого налога (...) Однако, за исключением области промышленного дизайна, не заметно, чтобы они обрели много сторонников.

Г. Л. Менкен, 1931

I

Почему талантливые дизайнеры, явно не отличающиеся склонностью к анализу, иногда могут предугадать форму вещей завтрашнего дня лучше, чем профессиональные аналитики, — один из самых неясных вопросов истории, а для историков культуры один из самых важных. Он, безусловно, является ключевым для специалистов, желающих выяснить влияние «эпохи катастроф» на мир высокой культуры, на элитарное искусство, и прежде всего на авангард, поскольку общеизвестно, что эти виды искусства фактически предугадали крушение либерально-буржуазного общества еще за несколько лет до его начала (*Эпоха империи*, глава 9). В 1914 году уже существовали все течения, которые включало в себя широкое и довольно неопределенное понятие «модернизм»: кубизм, экспрессионизм, футуризм, абстракционизм, функционализм, означавший в том числе и отказ от украшательства в архитектуре, отказ от тональностей в музыке, разрыв с традициями в литературе.

К этому времени большинство самых известных «модернистов» уже были зрелыми, создавшими много работ мастерами, иногда даже знаменитыми *. Даже Т. С. Элиот, чья поэзия не публиковалась до 1917 года, к этому времени уже являлся частью авангардного пейзажа Лондона (вместе с Паундом он был сотрудником журнала «Blast» Уиндема Льюиса). Дети 1880-х годов, сорок лет спустя они по-прежнему оставались символами модернизма. И тот факт, что множество мужчин и женщин, родившихся уже после войны, смогло также пополнить списки выдающихся модернистов, менее удивителен, чем доминирование старшего поколения **. (Так, даже преемники Шёнберга—Альбан Берг и Антон Веберн принадлежат к поколению 1880-х.)

Фактически единственными формальными новшествами после 1914 года в мире авангарда были два течения — *дадаизм*, ставший предшественником *сюрреализма* в Западной Европе, и порождение Советов — *конструктивизм* на Востоке. Конструктивизм — переход к скелетообразным пространственным, преимущественно движущимся конструкциям, в реальной жизни имеющим ближайшие аналогии в каких-нибудь ярмарочных сооружениях (гигантских колесах, экскаваторных ковшах и т. д.), был скоро усвоен господствующими тенденциями в архитектуре и индустриальном дизайне, большей частью через деятельность немецкого художественно-ремесленного объединения «Баухауз» (о котором ниже). Наиболее претенциозные конструктивистские проекты, такие как знаменитая вращающаяся башня Татлина в честь Коммунистического интернационала, никогда не были построены или прожили недолгую жизнь в качестве оформления ранних советских публичных ритуалов. В действительности конструктивизм лишь ненамного расширил арсенал архитектурного модернизма.

Дадаизм зародился среди разнородной группы эмигрантов в Цюрихе (где другая группа эмигрантов во главе с Лениным дожидалась революции) в 1916 году как безнадежный, но ироничный нигилистический протест против мировой войны и общества, ее породившего, включая и его искусство. Поскольку это течение отрицало искусство вообще, оно не имело формальных черт, хотя позаимствовало несколько приемов из довоенного кубистского и футуристического авангарда, в особенности *коллаж*, или склеивание всяких остатков и обрезков, включая куски картин. В ход шло практически все, что могло вызвать шок у традиционных буржуазных любителей искусства. Принципом дадаизма был скандал. Так, демонстрация писсуара в качестве произведения искусства, устроенная Марселем Дюшаном (1887—1968) в Нью-Йор-

* Матисс и Пикассо, Шенберг и Стравинский, Гропиус и Мис ван дер Роэ, Пруст, Джеймс Джойс, Томас Манн и Франц Кафка, Йейтс, Эзра Паунд, Александр Блок и Анна Ахматова.

** Среди прочих здесь Исаак Бабель (1894), Ле Корбюзье (1897), Эрнест Хемингуэй (1899), Бертольд Брехт, Гарсиа Лорка и Ганс Айслер (оба родились в 1898), Курт Вайль (1900), Жан Поль Сартр (1905) и У. Х. Оден (1907).

ке в 1917 году, была полностью в духе дадаизма, к которому он примкнул по возвращении из США; но его последующий тихий уход от занятий всеми видами искусства (он предпочел игру в шахматы) был совсем не в духе этого течения. Поскольку в дадаизме не могло быть ничего тихого.

Сюрреализм, также проповедовавший отказ от традиционного искусства, так же склонный к публичным скандалам и даже в большей мере тяготевавший к социальной революции, стал чем-то более серьезным, чем просто протест, чего и можно было ожидать от движения, зародившегося во Франции, стране, где каждая мода нуждается в теории. В действительности можно сказать, что, поскольку дадаизм выдохся в начале 1920-х годов вместе с эпохой войны и революции, которые его породили, сюрреализм возник из него как «призыв к возрождению творческой фантазии, основанной на открытом психоанализом Бессознательном, а также на возродившемся интересе к магическому, случайному, иррациональному, к символам и снам» (*Willett, 1978*).

В некотором отношении это было возрождение романтизма в одеждах двадцатого века (*Эпоха революции*, глава 14), но с более острым ощущением абсурдности и комизма происходящего. В отличие от главных модернистских авангардных течений, но подобно дадаизму, сюрреализм не интересовали формальные новации как таковые: было неважно, выражалось ли Бессознательное в беспорядочном потоке слов «автоматического письма» или в педантичной академической манере девятнадцатого века, в которой Сальвадор Дали (1904—1989) писал свои тающие, плавящиеся, текущие часы в пустынных пейзажах. Единственное, что было важно,— это осознание возможностей спонтанного воображения, не сдерживаемого рациональными системами контроля, создание гармонии из хаоса, жизненно необходимой логики из того, где логика отсутствует полностью или просто невозможна. «Замок в Пиренеях» Рене Магритта (1896—1967), написанный в манере почтовой открытки, вздымается на вершине огромной скалы, как будто он здесь вырос. И лишь скала, похожая на гигантское яйцо, плывущее по небу над морем, выписана с реалистической тщательностью.

Сюрреализм стал подлинным дополнением к набору авангардных искусств, его новаторство подтверждалось способностью вызвать шок, непонимание, а иногда и смущенный смех даже среди ветеранов-авангардистов. Такой была моя собственная, вероятно еще юношеская, реакция на международную выставку сюрреалистов в Лондоне в 1936 году, а позднее и на работы приятеля-сюрреалиста, чье стремление создать точную копию маслом фотографии человеческих внутренностей оказалось выше моего понимания. Тем не менее при взгляде назад сюрреализм видится на редкость плодовитым течением, прежде всего во Франции, Испании и латиноамериканских странах, где было сильно французское влияние. Он оказал воздействие на известных поэтов во Франции (Элюар и Арагон), в Испании (Гарсиа Лорка), в Восточной

Европе и Латинской Америке (Сезар Валехо в Перу, Пабло Неруда в Чили). Безусловно, его отголоски можно было услышать значительно позднее в «магической прозе реализма» этого континента. Его образы, воплощенные в работах Макса Эрнста (1891—1976), Магритта, Хуана Миро (1893—1983) и Сальвадора Дали являлись отображением наших видений. Кроме того, в отличие от большинства более ранних западных авангардистских течений, он внес свой вклад и в основной вид искусства двадцатого века — кинематограф. Не случайно кино обязано сюрреализму приобретением не только в лице Луиса Бунюэля (1900—1983), но также и главного французского кинодраматурга этого времени, Жака Превера (1900—1977). Фотожурналистика обязана символизму появлением Анри Картье-Брессона (1908).

Однако, если брать в общем, все это являлось продолжением авангардистской революции в области изящных искусств, которая началась еще до того, как мир, чье крушение она отображала, реально рухнул в пропасть. Говоря о революции «эпохи катастроф», следует отметить три особенности: авангард стал частью признанной культуры, он влился в ткань каждодневной жизни и, самое главное, резко политизировался, гораздо более, чем какие-либо другие виды искусства «эпохи революции». Кроме того, мы не должны забывать, что в течение всего этого периода он оставался изолированным от вкусов и интересов широкой публики даже на Западе, хотя и имел к ней большее отношение, чем она сама сознавала. Он не пользовался массовым интересом и любовью и был признаваем лишь меньшинством, хотя и несколько более многочисленным, чем до 1914 года.

Утверждение, что новый авангард стал основой современного искусства, означает не то, что он вытеснил классическое искусство и модные течения, а то, что он стал дополнением к ним и подтверждением серьезного интереса к вопросам культуры. Мировой оперный репертуар оставался таким же, как и в «эпоху империи», поскольку ведущие оперные композиторы родились еще в начале 1860-х годов (Рихард Штраус, Масканьи) или даже раньше (Пуччини, Леонкавалло, Яначек), и находился на периферии модернизма. Таким он в общих чертах остается до сих пор*.

Тем не менее традиционный партнер оперы, балет, был перенесен на авангардную почву великим русским импресарио Сергеем Дягилевым (1872—1929) в основном во время Первой мировой войны. После его постановки балета «Парад» в 1917 году в Париже (декорации Пикассо, музыка Сати, либретто Жана Кокто, текст программки Гийома Аполлинера) декорации основоположников кубизма Жоржа Брака (1882—1963) и Хуана Гриси (1887—1927), музы-

* Немаловажно, что, за сравнительно редкими исключениями (Альбан Берг, Бенджамин Бриттен), основные произведения для оперной сцены после 1918 года, например «Трехгрошовая опера» и «Порги и Бесс», были написаны не для официальных оперных театров.

ка, написанная или переработанная Стравинским, де Фальей, Пуленком, стали частью современного балета, а классическая хореография подверглась модернизации. До 1914 года, по крайней мере в Великобритании, выставки постимпрессионистов подвергались насмешкам обывателей, а Стравинский вызывал скандалы везде, где появлялся, так же как и ярмарка *Armory Show* в Нью-Йорке и повсюду, где она проводилась. После Первой мировой войны обыватели смирились с провокационными выставками модернистов, вызывающими проявления независимости от дискредитировавшего себя предвоенного мира и манифестами культурной революции. С помощью модернистского балета, используя уникальное сочетание привлекательности для снобов, магнетизма моды (с помощью нового журнала «Vogue») и элитарного художественного статуса, авангард вырвался из тюрьмы. Благодаря Дягилеву, как писал один британский журналист-искусствовед в 1920-х годах, «толпа наслаждалась декорациями лучшего и самого осмеянного из живущих ныне художников. Он дал нам современную музыку без рыданий и современную живопись без смеха» (*Mortimer, 1925*).

Балет Дягилева стал лишь одним из проводников авангардного искусства, которое в каждой стране имело свои особенности. Не было единым и авангардное искусство, распространявшееся в западном мире вопреки продолжавшейся гегемонии Парижа во многих областях элитарной культуры, еще усилившейся после 1918 года благодаря притоку в Париж американцев (поколения Хемингуэя и Скотта Фицджеральда). Единого высокого искусства старого мира в Европе больше не существовало. Париж соперничал с осью Москва—Берлин, пока победы Сталина и Гитлера не заставили замолчать русских и немецких авангардистов. На развалинах Австро-Венгерской и Османской империй писатели и поэты прокладывали свой обособленный путь в литературе, поскольку до возникновения антифашистской диаспоры в 1930-е годы никто серьезно не занимался переводами. Необычайный расцвет испаноязычной поэзии по обе стороны Атлантики был почти не известен в мире, пока на него не упал отсвет гражданской войны в Испании 1936—1939 годов. Но даже виды искусства, в минимальной степени стесненные языковым барьером,— музыка и живопись — были менее интернациональны, чем это можно было предполагать, что показывает сравнение известности, например, Хиндемита в Германии и за ее пределами или Пуленка во Франции и вне ее. Просвещенные английские знатоки искусства, хорошо знакомые даже с малоизвестными представителями парижской школы, могли вообще не слышать имен таких немецких художников-экспрессионистов, как Эмиль Нольде и Франц Марк.

На самом деле существовало только два вида авангардного искусства, приводивших в восхищение апологетов авангарда всех передовых стран, и оба они являлись детищем Нового Света: кино и джаз. Кино было взято на вооружение авангардом во время Первой мировой войны, хотя до этого не

пользовалось его вниманием (см. *Эпоху империи*). Стало обязательным не просто восхищение кино и его ярчайшим представителем Чарли Чаплином (которому посвятили свои произведения почти все поэты-современники), но многие авангардные художники сами стали заниматься производством фильмов, главным образом в Веймарской Германии и Советской России, где влияние авангарда было наиболее сильно. Интеллектуальное кино, которым в «эпоху катастроф» эстеты восхищались в маленьких специализированных кинозалах во всех уголках земного шара, состояло из таких авангардных творений, как, например, «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна (1898—1948), снятый в 1925 году и считавшийся шедевром всех времен. Эпизод со ступенями одесской лестницы из этого фильма, который никто, когда-либо смотревший этот фильм (как и я, видевший его в авангардном кинотеатре на Чаринг-Кросс в 1930 году), не сможет забыть, признан «классическим эпизодом немого кино и, возможно, самыми значительными шестью минутами в истории мирового кино» (*Manvell, 1944, p. 47—48*).

С середины 1930-х годов интеллектуалы оказывали предпочтение популярному французскому кино Рене Клера, Жана Ренуара (что характерно, сыну художника), Марселя Карне, экс-сюрреалиста Превера и Орика, бывшего члена авангардного музыкального объединения «Шестерка» (*«Les Six»*). Они, как любили подчеркивать критики-неинтеллектуалы, доставляли меньше удовольствия, хотя, без сомнения, в художественном отношении имели гораздо более высокий уровень, чем огромное число фильмов, которые сотни миллионов (включая и интеллектуалов) смотрели каждую неделю во все более роскошных и огромных дворцах-кинотеатрах. Главным образом это была продукция Голливуда. С другой стороны, расчетливые голливудские продюсеры почти так же быстро, как и Дягилев, поняли, какую прибыль может принести авангардное искусство. «Дядюшка» Карл Леммле, владелец *«Universal Studios»*, возможно, имевший наименьшие интеллектуальные амбиции из всех голливудских боссов, позаботился обзавестись самыми новыми идеями и самыми модными режиссерами-авангардистами во время своих ежегодных поездок к себе на родину в Германию, в результате чего основная продукция его студии, фильмы ужасов (о Франкенштейне, Дракуле и т. п.) иногда оказывались довольно похожими копиями образцов немецкого экспрессионизма. Поток режиссеров из Центральной Европы, таких как Ланг, Любич и Уайлдер, устремившихся через Атлантику в Новый Свет (практически все они являлись интеллектуальной элитой своих стран), имел значительное влияние на Голливуд, не говоря о таких мастерах своего дела, как Карл Фройнд (1890—1969) или Эжен Шаффтан (1893—1977). Однако о развитии кино и массовых видов искусства мы поговорим ниже.

Джаз того времени, т. е. «эпохи джаза», являвшийся своеобразной комбинацией музыки американских негров и синкопированной ритмичной танце-

вальной музыки в необычной обработке, резко отличался от традиционных стандартов и получил почти безоговорочное международное признание в авангардной среде не столько за свои собственные заслуги, сколько благодаря тому, что стал еще одним символом модернизма, века машин, разрыва с прошлым — словом, еще одним манифестом культурной революции. (На фотографии сотрудников «Баухауза» они изображены рядом с саксофоном.) До наступления второй половины двадцатого столетия подлинная страсть к тому джазу, который теперь считается главным вкладом США в музыку двадцатого века, была редкой в среде просвещенных интеллектуалов, вне зависимости от того, придерживались они авангардистских взглядов или нет. Его пропагандистов, одним из которых стал я сам после приезда в Лондон Дюка Эллингтона в 1933 году, было очень немного.

Будучи локальной разновидностью модернизма, в период между Первой и Второй мировой войнами джаз стал знаменем тех, кто стремился показать одновременно свою образованность и современность. Неважно, читал ли человек признанных авторов или нет (к примеру, в среде образованных английских школьников первой половины 1930-х годов такими авторами считались Томас Элиот, Эзра Паунд, Джеймс Джойс и Д. Г. Лоуренс), было неприлично не уметь умно рассуждать о них. Однако, возможно, более интересно то, что культурный авангард каждой страны переписал или переосмыслил прошлое с тем, чтобы приспособить его к современным требованиям. Англичанам велели забыть о Мильтоне и Теннисоне и восхищаться Джоном Донном. Самый влиятельный английский критик того периода, Ф. Р. Ливис из Кембриджа, даже придумал канон, или «великую традицию» английских романов, которая была прямо противоположна действительной традиции, поскольку не включала в исторический ряд все, что не нравилось критику: например, всего Диккенса, за исключением одного романа, который до тех пор считался самым неудачным произведением писателя, — «Тяжелые времена»*.

Для поклонников испанской живописи Мурильо теперь был выброшен за борт, однако восхищение Эль Греко стало обязательно для всех. Почти всё, имевшее отношение к «эпохе капитала» и «эпохе империи» (кроме авангардного искусства), не просто отвергалось — на него фактически не обращали внимания. Это демонстрировалось не только стремительным падением цен на произведения академического искусства девятнадцатого века (и одновременно, но все еще скромным повышением цен на живопись импрессионистов и более поздних модернистов): они практически не продавались до 1960-х годов. Даже робкие попытки признать достоинства викторианской ар-

* Справедливости ради стоит сказать, что со временем профессор Ливис нашел, хотя и не без усилия над собой, более подходящие слова для характеристики творчества этого великого писателя.

хитектуры расценивались как намеренная провокация по отношению к истинно хорошему вкусу, ассоциировавшаяся с реакционностью. Автор, выросший среди великих памятников архитектуры либерально-буржуазного общества, окружавших центральную часть Вены, усвоил путем некоего культурного осмоса, что их следовало рассматривать как эклектичные или помпезные или и то и другое вместе. Подобные сооружения в массовом масштабе стали сносить в 1950-е и 1960-е годы — самое губительное для современной архитектуры десятилетие. Именно в связи с этим «Викторианское общество защиты зданий 1840—1914 годов» было создано в Великобритании только в 1958 году (более чем через двадцать лет после создания «Георгианской группы», целью которой являлась защита не столь сильно разрушаемого наследия восемнадцатого века).

Воздействие авангарда на коммерческое кино само по себе говорит о влиянии модернизма на повседневную жизнь. Он делал это косвенно, через изделия, которые широкая публика не считала произведениями искусства и соответственно не думала судить по критериям эстетической ценности: главным образом через рекламу, промышленный дизайн, коммерческие печатные издания, графику и различные предметы обихода. Так, один из пиков модернизма — знаменитый стул из трубок Марселя Брюйера (1902—1982) нес огромный идеологический и эстетический заряд (*Giedion, 1948, p. 488—495*). Однако ему суждено было оставить свой след в современном мире не в качестве манифеста, а в качестве скромного, но получившего широкое распространение переносного складного стула. Тем не менее нет никакого сомнения, что за те двадцать лет, что прошли с начала Первой мировой войны, модернизм наложил заметный отпечаток на жизнь крупных городов всего западного мира — даже в таких странах, как США и Великобритания, которые, казалось, были совершенно к нему невосприимчивы еще в 1920-е годы. В обтекаемых формах, наводнивших американский дизайн подходящих и не подходящих для этого предметов с начала 1930-х годов, был слышен отзвук итальянского футуризма. Стиль «ар деко» (получивший название от парижской выставки декоративных искусств в 1925 году) перенял модернистскую угловатость абстракционизма. Книжная революция 1930-х годов, произведенная изданием дешевых книг в мягкой бумажной обложке (издательство «Penguin Books»), несла знамя авангардистской типографии Йена Чичольда (1902—1974). Но прямой штурм модернизм пока еще откладывал. Лишь после окончания Второй мировой войны так называемый «интернациональный стиль» модернистской архитектуры изменил облик городов, хотя его главные пропагандисты и исполнители — Гропиус, Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Фрэнк Ллойд Райт и т. д. — уже давно создавали свои работы. Авангард почти не оказал влияния (за исключением явной нелюбви к украшениям) на практику строительства общественных зданий, включая проекты, выполняемые по за-

казам левых муниципалитетов, которые по идее должны были поддерживать социально сознательную новую архитектуру. Большая часть массовой реконструкции рабочих кварталов «Красной Вены» в 1920-е годы была осуществлена архитекторами, сыгравшими очень незначительную роль в истории архитектуры. Но не столь монументальные атрибуты повседневной жизни быстро приобрели черты модернизма.

В какой степени на этот процесс повлияло прикладное искусство и «*ар ну во*», с помощью которых авангард вошел в повседневную жизнь, какое влияние оказали на него русские конструктивисты, революционизировавшие дизайн предметов массового потребления, а в какой степени это произошло благодаря удобству применения лаконичных авангардных форм в современном домашнем дизайне (например, дизайне кухни), оставим решать историкам искусства. Но остается фактом то, что недолговечное объединение, начинавшееся как политический и художественный авангардистский центр, задавало тон в архитектуре и прикладном искусстве в течение двух поколений. Это был «Баухауз» (1919—1933) — школа искусств и дизайна в Веймаре, а позднее в Дессау в Центральной Германии, чье существование совпало с Веймарской республикой («Баухауз» был ликвидирован национал-социалистами вскоре после прихода Гитлера к власти). Список имен, ассоциировавшихся с «Баухаузом», похож на перечень персонажей сборника «Кто есть кто», посвященного передовому искусству, — от Рейна до Урала. Гропиус и Мис ван дер Роэ, Лионель Фейнингер, Пауль Клее и Василий Кандинский, Малевич, Эль Лисицкий, Мохой-Надь и т. д. Влияние «Баухауза» основывалось не только на этих талантах, но (с 1921 года) на намеренном отходе от старых традиций в искусстве и использовании дизайна для практической пользы и промышленного производства: салоны автомобилей (Гропиус), сиденья в самолетах, рекламная графика (страсть русского конструктивиста Эль Лисицкого), не говоря уже о дизайне банкнот достоинством в один и два миллиона марок во время великой гиперинфляции в Германии в 1923 году.

Деятельности «Баухауза» (как показывают его нелады с некоторыми политиками) часто приписывали подрывной характер. Несомненно, политические убеждения оказывали решающее влияние на серьезные виды искусства «эпохи катастроф». В 1930-е годы это коснулось даже Великобритании, все еще являвшейся гаванью социальной и политической стабильности среди моря европейской революции, и США, далеких от войны, но не от Великой депрессии. Эти политические убеждения были, как правило, левыми. Радикальным любителям искусства было трудно, особенно в молодости, признавать, что творчество и прогрессивные взгляды могут не совпадать. Тем не менее глубоко реакционные взгляды, особенно в литературе, иногда выливавшиеся в сотрудничество с фашистами, были достаточно распространены в Западной Европе. Поэты Т. С. Элиот и Эзра Паунд в Великобритании, Уильям Батлер

Йейтс (1865—1939) в Ирландии, романисты Кнут Гамсун (1859—1952) в Норвегии, страстный коллаборационист Д. Г. Лоуренс (1859—1930) в Великобритании и Луи Фердинанд Селин (1884—1961) во Франции являются наглядными тому примерами. Выдающиеся таланты русской эмиграции нельзя, конечно, автоматически записать в «реакционеры», хотя некоторые из них были таковыми или стали впоследствии, поскольку отказ признать большевиков объединил эмигрантов разных политических взглядов.

Тем не менее вряд ли можно ошибиться, сказав, что после Первой мировой войны и Октябрьской революции и еще больше в эпоху антифашизма 1930-х и 1940-х годов авангардистами преимущественно являлись левые. Безусловно, война и революция политизировали ряд неполитических предвоенных авангардистских движений во Франции и России (большинство русских авангардистов, однако, не были сторонниками Октября). Поскольку влияние Ленина вернуло марксизм обратно в западный мир в качестве единственной серьезной теории и идеологии социальной революции, оно обеспечило превращение авангарда в то, что национал-социалисты, весьма справедливо, называли «культурным большевизмом». Дадаизм поддерживал революцию. Его наследник — сюрреализм колебался в выборе модели революции, отдавая предпочтение Троцкому перед Сталиным. Ось Москва—Берлин, оказавшая столь сильное влияние на культуру Веймарской республики, основывалась на общих политических симпатиях. Мис ван дер Роэ создал памятник убитым лидерам спартаковцев Карлу Либкнехту и Розе Люксембург по предложению Германской коммунистической партии. Гропиус, Бруно Тот (1880—1938), Ле Корбюзье, Ганс Майер и вся «бригада Баухауза» принимали советские заказы (правда, это происходило в то время, когда Великая депрессия сделала СССР не только идеологически, но и профессионально привлекательным для западных архитекторов). Даже не особенно политизированный германский кинематограф стал радикализироваться, о чем свидетельствует творчество замечательного режиссера Г. В. Пабста (1885—1967), которому гораздо больше нравилось снимать женщин, чем общественные события, и который позже с готовностью работал при фашистском режиме. Однако в последние годы Веймарской республики он снял несколько крайне радикальных фильмов, включая «Трехгрошовую оперу» Брехта—Вайля.

Трагедией художников-модернистов, левых и правых, стало то, что сходные с ними по убеждениям массовые движения и политики (не говоря уже о противниках) отвергали их. За частичным исключением итальянского фашизма, на который оказал влияние футуризм, новые авторитарные режимы, как левые, так и правые, в архитектуре предпочитали старомодные монументальные здания и анфилады, в живописи и скульптуре — оптимистические сюжеты, на сцене — классику и идеологически выдержанную литературу. Гитлер, в котором, без сомнения, жил несостоявшийся художник, в конце концов

нашел талантливое молодого архитектора Альберта Шпеера, способного воплотить в жизнь его гигантские замыслы. Однако ни Муссолини, ни Сталин, ни генерал Франко, способствовавшие созданию архитектурных динозавров, не начинали свою деятельность с удовлетворения личных амбиций. Ни немецкий, ни русский авангард не пережил эпохи Гитлера и Сталина, и две эти страны, ставшие зачинателями всего самого передового и выдающегося в искусстве 1920-х годов, затем почти исчезают с культурной сцены.

Оглядываясь назад, мы более ясно, чем современники, можем видеть, какой катастрофой в области культуры оказалась победа Гитлера и Сталина, т. е. насколько сильно авангардное искусство укоренилось на революционной почве Центральной и Восточной Европы. Похоже, что лучшие виноградные лозы искусства произрастали на выжженных лавой склонах вулканов. Это происходило не только потому, что революционеры от искусства получали большее официальное признание, а значит, и материальную поддержку, чем консерваторы, которым они пришли на смену, даже если политические власти не выражали энтузиазма по этому поводу. Анатолий Луначарский, «просвещенный комиссар», поощрял авангард, несмотря на то что Ленин обладал совершенно традиционным вкусом в искусстве. Социал-демократическое правительство Пруссии перед своим изгнанием (без всякого сопротивления) в 1932 году властями ультраправого германского рейха вдохновило радикального дирижера Отто Клемперера устроить в одной из берлинских опер показ всех прогрессивных музыкальных шоу 1928—1931 годов. Видимо, неким необычным образом «эпоха катастроф» повысила восприимчивость и обострила чувства людей, живших в тот период в Центральной и Западной Европе. Они обладали жестким и безрадостным восприятием действительности, и эта жесткость и трагичность придавала талантам, которые сами по себе не были выдающимися, горький обличительный пафос. Один из примеров — Б. Травен, незначительный представитель эмигрантской анархистской богемы, некогда связанный с кратковременной мюнхенской советской республикой 1919 года, который впоследствии занялся литературой и стал писать трогательные рассказы о морях и Мексике (фильм Хастона с Хамфри Богартом «Сокровище Сьерра-Мадре» был поставлен по мотивам одного из его произведений). Не будь этого трагического восприятия, он так и остался бы в заслуженной безвестности. Там, где такой художник терял чувство безысходности жизни, как, например, случилось с неистовым немецким сатириком Георгом Гроссом, когда он в 1933 году эмигрировал в США, не оставалось ничего, кроме профессионально сработанной сентиментальности.

Авангардное искусство Центральной Европы «эпохи катастроф» редко несло надежду, хотя его революционно настроенные представители по своим убеждениям являлись приверженцами оптимистического взгляда на будущее. Его наиболее яркие произведения, большинство которых было создано

до начала эпохи Гитлера и Сталина *, несли в себе дух апокалипсиса и трагедии: опера Альбана Берга «Воцек», «Трехгрошовая опера» (1928) и «Махаго-ни» (1931) Брехта и Вайля, «Мероприятие» (1930) Брехта и Эйслера, «Конармия» (1926) Исаака Бабеля, фильм Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» (1925) и «Берлин, Александерплац» Альфреда Дёблина. Что касается крушения империи Габсбургов, то оно вызвало необычайно мощный поток литературы, от страстного обличительного пафоса «Последних дней человечества» Карла Крауса (1922) и двусмысленной буффонады «Бравый солдат Швейк» (1921) Ярослава Гашека до печального надгробного плача «Марша Радецкого» (1932) Йозефа Рота и бесконечного самокопания «Человека без качеств» (1930) Роберта Музиля. Ни одна серия политических событий двадцатого века не имела сравнимого по глубине влияния на воображение художников, хотя революция и гражданская война в Ирландии (1916—1922), повлиявшая на творчество О'Кейси, и мексиканская революция (1910—1920), нашедшая преломление в работах мастеров настенной росписи (но не русская революция), вдохновили искусство своих стран. Обреченная на крушение империя стала метафорой западной элитарной культуры, которая сама была подорвана и находилась на грани краха. В странах Центральной Европы эти образы долго еще появлялись в темных углах подсознания художников. Конец привычного порядка нашел отражение в «Дуинезских элегиях» (1913—1923) великого поэта Райнера Мариа Рильке (1875—1926). Другой немецкоязычный писатель, живший в Праге, Франц Кафка (1883—1924), почти все произведения которого были опубликованы посмертно, передал еще более безысходное ощущение тупика, в который зашло человечество,— и личного и коллективного.

То было искусство, которое создавалось «в часы, когда рушился мир и почва ушла из-под ног», как писал ученый и поэт А. Е. Хаусман, весьма далекий от авангарда (*Housman, 1988, p. 138*). То было искусство, смотревшее на мир глазами «ангела истории», которого немецко-еврейский марксист Вальтер Беньямин (1892—1940) увидел в картине Пауля Клее «*Angelus Novus*»:

Его лик обращен к прошлому. Там, где мы видим цепь событий, он видит лишь катастрофу, обломки которой все множатся, уже достигая его ног. Если бы он только мог остаться, чтобы разбудить мертвых и склеить осколки разрушенного! Но от рая дует штормовой ветер, прижимая крылья ангела с такой силой, что он больше не может их сложить. Эта буря немолимо несет его в будущее, к которому он повернулся спиной, а гру-

* «Никак не могу придумать, что сказать о Гитлере» («*Mir fällt zu Hitler nichts ein*»),— язвительно заметил великий австрийский сатирик Карл Краус. Это не помешало ему после долгого молчания посвятить около сотни страниц этому предмету. Его прозрения, однако, оказались не слишком глубокими.

да развалин у его ног вырастает до небес. Эта буря — то, что мы называем прогрессом.

(Benjamin, 1971, p. 84—85)

К западу от зоны революций и крушения старых режимов трагическое чувство неизбежности краха было менее острым, но будущее казалось так же покрыто тайной. Несмотря на шок после Первой мировой войны, связь с прошлым не была разорвана столь очевидно вплоть до 1930-х годов — десятилетия Великой депрессии, фашизма и неизбежного приближения войны *. Но даже в то время, как можно заметить в ретроспективе, настроения западных интеллектуалов казались менее безнадежными и более оптимистическими, чем у их собратьев в Центральной Европе, разбросанных и изолированных друг от друга, или поработанных жителей Восточной Европы, принужденных замолчать под угрозой террора. Интеллигенция Запада до сих пор чувствовала себя защитницей подвергающихся угрозе, но пока не разрушенных моральных ценностей, призванной возродить все то, что еще живо в обществе, если потребуется, путем его преобразования. Как мы увидим (глава 18), в большой степени слепота Запада к происходящему в сталинском Советском Союзе являлась следствием убежденности, что СССР противопоставляет распаду разума ценности Просвещения, «прогресса» в старом добром смысле этого слова, гораздо более ясном, чем «ветер, дующий из рая» Вальтера Беньямина. Только у крайних реакционеров мир — непостижимая трагедия или, скорее, как в произведениях великого английского писателя того времени, Ивлина Во (1903—1966), черная комедия для стойков; или, наконец, как у французского романиста Фердинанда Селина, кошмар даже для циников. Однако, хотя у самого тонкого и интеллектуального из молодых английских авангардных поэтов того времени — У. Х. Одена (1907—1973) мы видим трагическое восприятие истории, группа, центром которой он являлся, находила это затруднительное положение человечества вполне приемлемым. Похоже, что самые талантливые авангардные английские художники — скульптор Генри Мур (1898—1986) и композитор Бенджамин Бриттен (1913—1976) — были готовы не обращать внимания на мировой кризис, если он не будет вторгаться в их жизнь. Однако избежать этого не удалось.

Авангардные виды искусства все еще представляли идеи, ограниченные культурным пространством Европы, подвластных ей территорий и доминионов, и здесь пионеры революции в искусстве часто следовали моде Парижа и

* Действительно, главные литературные отзвуки Первой мировой войны только начали проявляться к концу 1920-х годов, когда роман «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка (1929, голливудская экранизация 1930) был продан в количестве двух с половиной миллионов экземпляров за восемнадцать месяцев на двадцати пяти языках.

даже Лондона (что удивительно) *, но не Нью-Йорка. Это означает, что неевропейский авангард с трудом существовал за пределами Западного полушария, где он твердо держался одной рукой за художественный эксперимент, другой — за социальную революцию. Его самые известные представители того времени — мастера фресковой живописи эпохи мексиканской революции, критиковавшие Сталина и Троцкого, но поддерживавшие Сапату и Ленина, изображение которого по настоянию Диего Риверы (1886—1957) было включено во фрески нового Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке, к неудовольствию Рокфеллеров. То был триумф «ар деко», уступающий только росписи здания компании «Крайслер».

Однако для большинства художников, творивших вне западного мира, главным вопросом была современность, а не модернизм. Каким образом следовало их писателям превратить разговорный язык в богатый, выразительный и доступный литературный творческий язык современного мира, подобно тому как сумели это сделать бенгальские литераторы в Индии начиная с середины девятнадцатого века? Как следовало мужчинам (а возможно, теперь даже и женщинам) писать стихи на урду вместо классического персидского языка, до этого времени обязательного для таких целей, или по-турецки вместо классического арабского, который революция Ататюрка выбросила в мусорный ящик истории вместе с феской и паранджой? Как странам с древней культурой следовало относиться к своим традициям и искусству, которые, как бы прекрасны они ни были, не принадлежали двадцатому веку? Отказ от прошлого был достаточно революционен, чтобы сделать западный бунт одного периода современности против другого ненужным и даже бессмысленным. Тем более, когда художник-модернист являлся одновременно политическим революционером, что бывало почти всегда. Чехов и Толстой могли казаться более подходящими образцами, чем Джеймс Джойс, для тех, кто чувствовал, что их задача и вдохновляющая идея состоит в том, чтобы быть ближе к народу, создавать реалистическую картину его страданий и помогать ему подняться. Даже среди японских писателей, с 1920-х годов проявлявших интерес к модернизму (вероятно, благодаря знакомству с итальянским футуризмом), имелся обширный и даже временами преобладающий социалистический, а иногда и коммунистический «пролетарский» контингент (*Keene, 1984, chapter 15*). А первый великий современный китайский писатель Лу Синь (1881—1936) сознательно отвергал западные образцы и обращался к русской литературе, где «мы можем видеть добрую душу угнетенных, их страдания и борьбу» (*Lu Hsün, 1975, p. 23*).

* Аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес (1899—1986) был, как известно, англофилом, ориентированным на английское искусство; первым языком выдающегося грека из Александрии поэта Константиноса Кавафиса (1863—1933) фактически был английский, так же как и (по крайней мере для писательских целей) у Фернанду Песоа (1888—1935), величайшего португальского поэта двадцатого столетия. Общеизвестно влияние Киплинга на Бертольда Брехта.

Для большинства талантливых художников неевропейского мира, не заключенных в плен традиций и не подражавших Западу, главной задачей стало приоткрыть завесу неизвестности и показать современникам реальную жизнь своих народов. Их направлением стал реализм.

II

В определенной степени это желание объединяло искусство Востока и Запада, поскольку двадцатый век, что становилось все более ясно, был веком простых людей, и в нем доминировало искусство, создаваемое ими и для них. И два взаимосвязанных инструмента, репортаж и камера, как никогда раньше, приблизили мир простого человека и смогли его запечатлеть. Ни одно из них не являлось новым (*Эпоха капитала*, глава 15, и *Эпоха империи*, глава 9), но оба после 1914 года вступили в период расцвета. Писатели, особенно в США, не только считали себя архивариусами и летописцами, но также писали для газет и являлись журналистами: Эрнест Хемингуэй (1899—1961), Теодор Драйзер (1871—1945), Синклер Льюис (1885—1951). Репортаж (этот термин впервые появился во французских словарях в 1929 году, а в английских — в 1931-м) в 1920-е годы стал признанным жанром социально-критической литературы и визуального описания. В значительной степени на него оказал влияние русский революционный авангард, противопоставлявший правду факта массовым развлечениям, которые европейские левые всегда считали опиумом для народа. Чешский коммунист, журналист Эгон Эрвин Киш, именовавший себя «бегущим репортером» (*«Der rasende Reporter»* называлась первая серия его репортажей 1925 года), ввел в обращение этот термин в Центральной Европе, а в западном авангарде репортаж получил распространение главным образом через кинематограф. Его истоки ясно видны в отрывках под названием «Кинохроника» и «Киноглаз», перекликавшихся с творчеством авангардного кинодокументалиста Дзиги Вертова, а также с сюжетной тематикой трилогии Джона Дос Пассоса (1896—1970) «США», написанной в период, когда этот романист придерживался левых взглядов. В руках левых авангардистов кинодокументалистика стала самостоятельным направлением. В 1930-е годы даже трезвые профессионалы газетного и журнального бизнеса стали претендовать на более высокий интеллектуальный и творческий статус, модернизировав кинохронику, обычно представлявшую собой незамысловатые сюжеты, заполнявшие свободные промежутки времени, и превратив ее в более монументальные документальные фильмы о «ходе времени». Кроме того, используя технические новшества авангардных фотографов, они положили начало золотому веку иллюстрированных журналов: «Life» в США, «Picture Post» в Великобритании, «Vu» во Франции. Однако за

пределами англосаксонского мира расцвет репортажа начался только после Второй мировой войны.

Новая фотожурналистика обязана своими победами не только талантливым мужчинам (и даже нескольким женщинам), которые открыли фотографию как средство выражения, не только довольно иллюзорной вере в то, что «камера не может лгать», т. е. что она отображает реальную правду, и не только техническим усовершенствованиям, упрощавшим съемку (первая «лейка» была выпущена в 1924 году). Вероятно, больше всего своими победами новая фотожурналистика обязана всемирному господству кинематографа. Мужчины и женщины привыкали видеть реальность через объектив. Несмотря на распространение печатного слова (теперь все более перемежающегося фотографиями), кинематограф занял главенствующее место. «Эпоха катастроф» стала эпохой большого киноэкрана. В конце 1930-х годов на каждого англичанина, покупавшего ежедневную газету, приходилось двое, покупавших билет в кино (*Stevenson, p. 396, 403*). По мере того как углублялась депрессия и мир приближался к войне, посещаемость кинотеатров на Западе достигла небывалого уровня.

С помощью новых визуальных средств авангард и массовое искусство обогащали друг друга. Безусловно, в старых западных странах преобладание образованного слоя населения и определенная элитарность искусства повлияли даже на массовое производство фильмов, создав почву для расцвета немецкого немого кино в эпоху Веймарской республики, французского звукового кино 1930-х годов и итальянского кино в период, когда рассеялась дымовая завеса фашизма, скрывавшая его достижения. Из этих направлений французский либеральный кинематограф больше всех преуспел в синтезе интеллектуального и массового кино. Это было единственное интеллектуальное кино, никогда не забывавшее о важности сюжета (в особенности — о любви и преступлении), к тому же способное вызвать смех у зрителя. Там, где авангард (политический или художественный) шел только по своему особому пути, как в документальном кино или искусстве агитпропа, его работы редко воспринимались кем-либо, кроме небольшого числа избранных.

Однако значимым массовое искусство этого периода стало не благодаря авангарду. Это произошло благодаря его все более очевидной культурной гегемонии, хотя за пределами США, как мы видели, оно пока еще не могло избежать надзора интеллектуалов. Доминирующими видами искусства (или, скорее, развлечений) стали те, которые учитывали вкусы широких масс, а не только традиционные вкусы среднего класса, хотя последние все еще преобладали на европейской сцене, по крайней мере до тех пор, пока Гитлер не заставил замолчать тех, кто удовлетворял подобные эстетические потребности. Однако они не внесли значительного вклада в культуру. Наиболее интересным культурным явлением в обывательской среде стал бурно развивавшийся

ся жанр, возникший еще до войны 1914 года, хотя тогда никто не предполагал его последующего триумфа,— жанр детективного рассказа, теперь разросшегося до величины романа. Здесь первенство принадлежало Великобритании (возможно, благодаря Шерлоку Холмсу А. Конан Дойла, получившему всемирную известность в 1890-х годах). Очень часто авторами детективов являлись женщины (что несколько странно) и писатели классического направления. Детективы родоначальницы этого жанра Агаты Кристи (1891—1976) остаются непревзойденными до наших дней. В других странах подобные произведения в огромном большинстве следовали британской модели, т. е. сюжетом почти всех являлось убийство, раскрытие которого рассматривалось как салонная игра, требующая некоторой изобретательности, или как сложный кроссворд, содержащий зашифрованный ключ к разгадке, что было также британским фирменным продуктом. Этот жанр лучше всего рассматривать как своеобразный вызов общественному строю, находящемуся под угрозой, но еще не поверженному. Убийство, главное и почти всегда единственное преступление, которое должен раскрыть детектив, происходит в типичном месте (сельском домике или некоей знакомой читателю обстановке) и расследуется до тех пор, пока в семействе или компании не находят одного злодея — гнилое яблоко в бочонке, подтверждающее здоровье всех остальных фруктов. Порядок восстанавливается благодаря интеллекту детектива — представителя этой же общественной среды. Отсюда, возможно, потребность в частном детективе, если, конечно, полисмен, в отличие от большинства своих коллег, не является представителем высшего или среднего класса общества. Это был глубоко консервативный, хотя и уверенный в своих силах жанр, в отличие от одновременно появившегося триллера с более истеричным секретным агентом (также, как правило, британским) — жанра, получившего широкую известность во второй половине двадцатого века. Его авторы, люди скромных литературных достоинств, часто занимались сходной деятельностью в разведке своих стран*.

К 1914 году средства массовой информации уже приблизились к современным масштабам в ряде западных стран, однако расцвета они достигли в «эпоху катастроф». Тиражи газет в США росли гораздо быстрее, чем население, удвоившись в период между 1920 и 1950 годами. К этому времени в развитых странах на каждую тысячу человек продавалось примерно от 300 до 350 газет, а в странах Скандинавии и в Австрии — еще больше. Урбанизированные британцы, вероятно оттого, что их пресса была не местной, а общенациональ-

* Литературные предшественники современного «крутого» триллера или историй с частным детективом являлись гораздо более демократичными. Дэшел Хемметт (1894—1961) начинал как рядовой сыщик и печатался в дешевых массовых изданиях. Фактически единственный писатель, превративший детектив в подлинную литературу, бельгиец Жорж Сименон (1903—1989), был самоучкой и литературным поденщиком.

ной, покупали 600 газет на тысячу человек (*UN Statistical Yearbook, 1948*). Пресса обращалась к образованным гражданам, хотя в странах массового начального образования она делала все возможное, чтобы удовлетворить вкусы не всегда грамотного населения, печатая много картинок и комиксов, что не приводило в восторг интеллектуалов, и изобретая яркий, хлесткий, псевдонародный язык. Безусловно, пресса того периода оказала влияние на литературу. Для того чтобы понимать фильмы, в отличие от чтения прессы, не требовалось большого образования, а после того как в конце 1920-х годов кино стало звуковым, для англоязычного населения задача и вовсе упростилась.

По сравнению с прессой, которая, как правило, интересовала только небольшую элитарную часть населения, кино почти сразу стало международным средством массовой информации. Отказ от универсального языка немого фильма с его собственными проверенными законами общения, возможно, послужил стимулом для того, чтобы разговорный английский стал международным языком мирового общения двадцатого века. Поскольку в это время начался расцвет Голливуда, то фильмы главным образом были американскими (за исключением Японии, где производилось примерно столько же полнометражных фильмов, как в США). Что до остального мира, то накануне Второй мировой войны Голливуд выпускал примерно столько же фильмов, сколько все киностудии в других странах, вместе взятые, включая даже Индию, к тому времени уже производившую около 170 фильмов в год. Число кинозрителей здесь сравнивалось с Японией и почти достигало уровня США. В 1937 году Голливуд снял 567 фильмов, т. е. более 10 фильмов в неделю. Эти цифры наглядно показывают разницу возможностей капитализма и бюрократизированного социализма (СССР в 1938 году выпустил 41 фильм). Тем не менее по вполне очевидным языковым причинам столь явное мировое господство этой индустрии не могло продолжаться долго. И действительно, оно не пережило распада системы студий, в это время достигших своего расцвета и превратившихся в конвейер для массового производства грез, но потерпевших крах вскоре после Второй мировой войны.

Третьим, совершенно новым средством массовой информации было радио. В отличие от первых двух, его сложная структура находилась в частных руках, а радиус распространения по существу ограничивался развитыми странами. В Италии до 1931 года число радиоприемников не превышало числа автомобилей (*Isola, 1990*). Накануне Второй мировой войны большое количество жителей США, Скандинавии, Новой Зеландии и Великобритании пользовалось радиоприемниками. В этих странах распространение радиовещания происходило очень быстрыми темпами. Иметь радиоприемник могли позволить себе даже малообеспеченные жители. В Великобритании в 1939 году из девяти миллионов радиоприемников половина была куплена людьми, зарабатывавшими от 2,5 до 4 фунтов в неделю (довольно скромный достаток),

а остальные — людьми, заработок которых был еще меньше (*Briggs, II, p. 254*). Не вызывает удивления, что в годы Великой депрессии число слушателей радио удвоилось, а скорость его распространения стала выше, чем была до или после этого периода. Причиной явилось то, что радио, как ничто другое, изменило жизнь бедняков, в частности жизнь бедных домохозяек. Оно принесло в их дом информацию о мировых событиях. Теперь даже самые одинокие уже не были так одиноки. Отныне им стало доступно все, что можно было сказать, спеть, сыграть или как-то иначе выразить в звуке. Новым средством массовой информации, о котором после Первой мировой войны никто даже не слышал, в год обвала фондовой биржи пользовались 10 миллионов домохозяек в США, к 1939 году — более 27 миллионов, а к 1950 году — более 50 миллионов.

В отличие от кино и даже обновленной прессы, радио не внесло коренных изменений в постижение действительности. Оно не изобрело новых способов видения или установления взаимоотношений между чувственным восприятием и идеями (см. *Эпоху империи*). Оно было лишь посредником. Но его возможность вещать одновременно для миллионов, при этом обращаясь к каждому из людей индивидуально, сделала его невероятно могущественным средством массовой информации и (что немедленно поняли и правители, и коммерсанты) средством пропаганды и рекламы. К началу 1930-х годов президент США открыл для себя потенциальные возможности задушевных бесед по радио с населением, а король Великобритании — влияние королевских рождественских радиообращений к народу. Во Второй мировой войне с ее непрерывной потребностью в новостях радио добилось признания не только как средство массовой информации, но и как инструмент политического влияния. Количество радиоприемников значительно увеличилось во всех странах континентальной Европы, за исключением государств, наиболее пострадавших в войне (*Briggs, III, Appendix C*). В некоторых случаях число радиоточек удвоилось или даже утроилось. В большинстве неевропейских стран этот рост был еще более стремителен. С самого начала радиовещанием США руководили именно рыночные отношения, однако другие страны они завоевывали с трудом, поскольку правительства традиционно опасались отдавать кому-либо контроль над столь могущественным средством массовой информации. Британская радиовещательная компания Би-би-си поддерживала свою монополию на общественное вещание. Даже там, где правительство всё же терпело коммерческое радио, от него требовалось следование официальному курсу.

Сложно распознать новшества, внесенные радио, потому что они стали неотъемлемой частью повседневной жизни — спортивные комментарии, выпуски новостей, шоу знаменитостей, мыльные оперы и т. п. Наиболее кардинальное изменение, принесенное им, — подчинение жизни определенному

графику не только в сфере труда, но и в области досуга. Это средство массовой информации, как впоследствии и телевидение (до эпохи видео), хотя и было направлено главным образом на личность и семью, создало свою собственную общественную среду. Впервые в истории люди, до этого не знакомые друг с другом, встретившись, обладали одинаковой информацией, которую каждый из них получил по радио (или, позже, по телевизору) прошлым вечером: матч известных команд, любимое комедийное шоу, речь Уинстона Черчилля, содержание выпуска новостей.

Видом искусства, на который радио повлияло в наибольшей степени, была музыка. Радио уничтожило акустические и механические ограничения радиуса действия звука. Музыка, последнее из искусств, которому суждено было вырваться из физического плена, ограничивающего возможности коммуникаций, еще до 1914 года (с появлением граммофона) вступила в эпоху механического воспроизводства, которое пока еще, однако, не было доступно широким массам. В период между Первой и Второй мировыми войнами граммофон и пластинки стали более доступны, хотя фактический обвал рынка пластинок во время американской депрессии продемонстрировал нестабильность этого роста. Однако звукозапись, несмотря на то что ее техническое качество и улучшилось к началу 1930-х годов, имела свои пределы, хотя бы по продолжительности использования своей продукции. Кроме того, распространение здесь зависело от объема продаж. Радио впервые дало возможность непрерывно слушать музыку на расстоянии теоретически неограниченному числу слушателей. Таким образом, радио стало к тому же уникальным популяризатором музыки меньшинства (включая классическую) и самым мощным средством для продажи записей, каким, безусловно, остается до сих пор. Радио не видоизменило музыку — несомненно, оно повлияло на нее меньше, чем театр или кино, которые тоже скоро научились воспроизводить звук, — однако музыку в современной жизни, в качестве акустического фона в повседневном окружении, нельзя вообразить без радио.

Таким образом, на массовое искусство оказывали влияние пресса, фотография, кино, звукозапись и радио. Однако начиная с конца девятнадцатого века в популярных местах развлечений больших городов зародились и достигли вершины популярности многие виды танцевального и музыкального искусства (см. *Эпоху империи*), а революция в средствах массовой информации сделала их доступными для гораздо более массовой аудитории. Так, аргентинское танго, превратившись из танца в песню, достигло вершины своего успеха и распространения в 1920-е — 1930-е годы. Когда его величайшая звезда Карлос Гардель (1890—1935) погиб в авиакатастрофе, его оплакивала вся Латинская Америка. Благодаря записям остались его песни. Самба, ставшая символом Бразилии, как танго — символом Аргентины, появилась вследствие демократизации карнавала в Рио в 1920-е годы. Однако наиболее впе-

чатляющим и в конечном итоге имевшим огромный резонанс явлением такого рода стал расцвет джаза в США — независимого вида музыкального искусства профессиональных (главным образом негритянских) артистов, развитие которого произошло в основном в результате миграции негров из южных штатов в большие города Среднего Запада и северо-востока США.

Влияние некоторых из этих популярных новшеств и достижений было ограниченным за пределами их естественной среды. Это влияние было еще не столь революционным, как во второй половине двадцатого века (наглядный пример — рок-н-ролл, стиль, напрямую произошедший от американского негритянского блюза и ставший международным языком молодежной культуры). Тем не менее, хотя влияние средств массовой информации и других новшеств в этот период являлось менее революционным, чем во второй половине двадцатого века (за исключением кино), оно все же было очень значительным, как качественно, так и количественно, особенно в США, постепенно приобретавших неоспоримое первенство в этих областях благодаря своему экономическому превосходству, твердой приверженности свободной торговле и демократии и, после Великой депрессии, популистской политике Рузвельта. В области массовой культуры мир делился на «американский» и «провинциальный». За единственным исключением, ни одно другое национальное или региональное культурное веяние не утвердилось в мире, хотя некоторые имели большое местное влияние (например, египетская музыка в пределах исламского мира). Время от времени случайное экзотическое дуновение вплеталось в мировую коммерческую массовую культуру, как, например, карибские и латиноамериканские мотивы в танцевальную музыку. Уникальным исключением был спорт. В этой области массовой культуры (кто, видевший бразильскую команду в дни ее славы, будет отрицать, что это искусство?) влияние США оставалось ограниченной зоной политического влияния Вашингтона. Так же как крикет, являющийся массовым видом спорта только там, где некогда развевался британский флаг, бейсбол не получил в мире большого распространения, за исключением тех мест, где высаживались американские морские пехотинцы. Спортом, распространившимся по всему миру, на пространстве от полярных льдов до Эквадора, стал футбол. Это произошло благодаря мировому британскому экономическому присутствию, породившему команды, названные в честь британских фирм или состоящие из британских эмигрантов (например, «Сан-Паулу Атлетик Клуб»). Эта простая и зрелищная игра, не обремененная сложными правилами и экипировкой, которую можно проводить на любом более или менее ровном открытом пространстве требуемых размеров, обеспечила себе мировое распространение исключительно благодаря своим заслугам и, с учреждением Кубка мира в 1930 году (который выиграл Уругвай), стала подлинно интернациональной.

И все же, по нашим стандартам, массовые виды спорта, хотя и ставшие международными, оставались крайне неразвитыми. Их участники еще не включились в капиталистическую экономику. Даже звезды по-прежнему были любителями, как в теннисе (т. е. обладали традиционным буржуазным общественным положением), или профессионалами, заработки которых ненамного превышали заработки квалифицированных промышленных рабочих — как в британском футболе. Требовалось специально идти куда-то, чтобы посмотреть их игру, поскольку даже радио могло лишь одно — превращать реальное зрелище в децибелы голоса комментатора. До наступления эпохи телевидения и тех времен, когда гонорары спортсменов сравнивались с гонорарами кинозвезд, оставалось еще несколько лет. Но, как мы увидим (см. главы 9—11), не так уж долго.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Конец империй

Он стал революционером-террористом в 1918 году. Его гуру присутствовал на его свадьбе, и он никогда не жил со своей женой в течение всех десяти лет их брака, закончившегося с ее смертью в 1928 году. Держаться подальше от женщин являлось непреложным правилом революционеров (...) Он часто говорил мне о том, что индусы обретут свободу, сражаясь за нее подобно ирландцам. Когда мы были рядом, я прочитал книгу «Моя борьба за свободу Ирландии» Дэна Брина, являвшегося идеалом Мастерды. Он назвал свою организацию «Индийская республиканская армия» в честь Ирландской республиканской армии.

Калпана Дамм (Dutt, 1945, p. 16—17)

Священное племя колониальных чиновников смотрело сквозь пальцы и даже поощряло систему взяточничества и коррупции, которая позволяла без больших затрат осуществлять контроль над недовольным, а часто и враждебным населением. На деле это означает, что желание выиграть тяжбу, получить правительственный заказ, награду к юбилею или государственный пост может быть достигнуто, если сделать подарок чиновнику, от которого это зависит. «Подарок» мог не обязательно являться денежной суммой, что было слишком грубо, и европейцы в Индии предпочитали так не поступать. Он мог быть даром дружбы и уважения, щедрого гостеприимства или денежным пожертвованием на «доброе дело» и, кроме того, демонстрацией лояльности властям.

М. Каррив (Carritt, 1985, p. 63—64)

I

В девятнадцатом веке несколько стран, в основном расположенных в Северной Атлантике, покорили оставшуюся неевропейскую часть земного шара с оскорбительной легкостью. Там, где они не утруждали себя оккупацией и

управлением ею, западные страны утвердили свое господство при помощи собственной экономической и социальной системы. Капитализм и буржуазное общество преобразовывали мир и управляли им, предложив свою модель (до 1917 года являвшуюся единственной) странам, не желавшим быть уничтоженными или отброшенными на обочину мощной рукой истории. После 1917 года советский коммунизм породил альтернативную модель общества, которая отличалась тем, что обходилась без частного предпринимательства и либеральных институтов. Поэтому историю двадцатого века стран незападного, точнее, несевверо-западного мира в большой степени определяли их взаимоотношения со странами, упрочившими свое положение в девятнадцатом веке и ставшими властителями человечества.

В этом отношении история «короткого двадцатого века» остается географически несимметричной и только в таком виде может рассматриваться историком, интересующимся динамикой глобальных изменений в мире. Это не означает, что он должен разделять снисходительное, а зачастую и этноцентрическое или даже расистское чувство превосходства и необоснованного самодовольства, до сих пор распространенное в развитых странах. Безусловно, этот историк должен являться страстным противником того, что Е. П. Томсон назвал «чудовищной снисходительностью» к отсталому и нищему миру. И все же не вызывает сомнений то, что движущие силы мировой истории в течение большей части «короткого двадцатого века» являлись унаследованными, а не новыми. В большой степени они состояли из попыток элит небуржуазных обществ создать модель государства по образцу западных стран (которые большинство из них считало моделью общества, способствующего прогрессу, формой процветания власти и культуры) с помощью экономического и научно-технического развития по капиталистической или социалистической модели*. Не существовало никакой иной действующей схемы, кроме «вестернизации», иначе называемой «модернизацией». Наоборот, всевозможные синонимы слова «отсталый» (которым Ленин, не задумываясь, описывал положение своего собственного государства и «колониальных и зависимых стран»), существующие в словаре международной дипломатии для обозначения обретших независимость колоний («слаборазвитые», «развивающиеся» и т. д.), отличаются только степенью политкорректности.

* Стоит заметить, что простое разделение мира на «капиталистический» и «социалистический» является скорее политическим, чем аналитическим. Оно отображает возникновение массовых политических рабочих движений, социалистическая идеология которых на практике являлась не более чем концепцией имеющегося общества («капитализма»), вывернутой наизнанку. После октября 1917 года это было подкреплено длительной «холодной войной» между «красными» и их противниками. Вместо того чтобы относить экономические системы — скажем, США, Южной Кореи, Австрии, Гонконга, Западной Германии и Мексики — в один раздел «капиталистических», было бы вполне возможно занести их в разные рубрики.

Рабочую модель развития можно было сочетать с различными наборами верований и идеологий в той степени, в какой они ей не противоречили, т. е. в какой мере данная страна не запрещала, например, строительства аэропортов на основании того, что они не разрешены Кораном или Библией, противоречат традициям средневекового рыцарства или несовместимы с глубиной славянской души. С другой стороны, там, где эта система верований вступала в противоречие с процессом развития, причем на практике, а не только в теории, были гарантированы неудачи и поражения. Какой бы глубокой и искренней ни являлась вера в то, что сила заклинаний заставит пули пролететь мимо, такое случалось крайне редко. Телефон и телеграф были более надежными средствами общения, чем телепатические пассы святых.

Это не означает полного отказа от традиций, верований или идеологий, ортодоксальных или претерпевших изменения, с помощью которых общество оценивало возникавшие процессы обновления мира, вступая с ними в контакт. Как традиционализм, так и социализм одинаково хотели утвердиться на пока не занятом духовном пространстве в центре торжествующего экономического (и политического) либерализма, разрушившего все связи между людьми, за исключением тех, которые были основаны (согласно Адаму Смитту) на «склонности к обмену» и на удовлетворении собственных интересов. В качестве системы моральных ориентиров, пути определения места человека в мире, способа осознать, что именно и в какой степени разрушили «развитие» и «прогресс», докапиталистические или некапиталистические идеологии и системы ценностей часто значили гораздо больше, чем канонерки, торговцы, миссионеры и колониальные чиновники. В качестве способа объединения масс в обществе со старыми традициями против модернизации, как капиталистической, так и социалистической, или, точнее, против чужаков, которые ее импортировали, они, при определенных обстоятельствах, могли быть весьма эффективны, хотя на самом деле ни одно из успешных освободительных движений в отсталых странах до 1970-х годов не было вдохновлено и не достигло успехов с помощью традиционных или неотрадиционных идеологий. Однако этому противоречит один пример: непродолжительное увлечение идеей мусульманского халифата в британской Индии (1920—1921), где выдвигались требования о назначении турецкого султана халифом над всеми правоверными, восстановлении Османской империи в границах 1914 года и установлении мусульманского контроля над святынями ислама (включая Палестину). Возможно, это подтолкнуло нерешительный Индийский национальный конгресс к акции массового гражданского неповиновения (*Minault, 1982*). Наиболее характерными массовыми выступлениями под знаменами Церкви (влияние Церкви на простой народ было сильнее влияния монархии) являлись арьергардные бои, иногда очень упорные и героические, как, например, выступления крестьян против антиклерикальной мексиканской ре-

волюции под лозунгом «Христос — наш король» (1926—1932), в эпической манере описанные их главным историком в «Христиаде» (Meyer, 1973—1979). Огромные возможности фундаменталистской религии в объединении масс ярко проявились в последние десятилетия двадцатого века. Именно в это время среди интеллектуалов стал моден возврат к тому, что их просвещенные деды называли варварством и суеверием.

И наоборот, идеологии, программы, даже методы и формы политической организации, побуждавшие зависимые страны к освобождению от зависимости, а отсталые — к преодолению отсталости, шли с Запада: либеральные, социалистические, коммунистические, националистические, а также частично или полностью антиклерикальные. Они использовали средства, изобретенные буржуазным обществом — прессу, публичные собрания, партии и массовые кампании. Историю третьего мира в двадцатом веке создавали элиты, иногда весьма немногочисленные, поскольку (помимо почти повсеместного отсутствия политических демократических институтов) лишь очень ограниченная прослойка общества обладала необходимыми знаниями, образованием или просто элементарной грамотностью. К примеру, до обретения независимости более 90 % населения индийского субконтинента были неграмотными. Число образованных людей, знавших иностранный язык (английский), до 1914 года было еще более незначительным (примерно полмиллиона на триста миллионов населения, или один человек из шестисот) *. Даже в регионе с наиболее высокой тягой к образованию на тот период (Западной Бенгалии) после обретения независимости (1949—1950) приходилось только 272 студента колледжа на каждые 100 тысяч жителей, что было в пять раз больше, чем в центре Северной Индии. Роль, которую играла эта немногочисленная группа образованных людей, была огромна. Тридцать восемь тысяч парсов округа Бомбей, одного из главных административных округов британской Индии (более четверти из них знала английский), в конце девятнадцатого века составили элиту торговцев, промышленников и финансистов всего субконтинента. Среди 100 адвокатов верховного суда Бомбея, принятых на службу с 1890 по 1900 годы, были два главных национальных лидера независимой Индии — Мохандас Карамчанд Ганди и Валлабхаи Патель и будущий основатель Пакистана Мухаммед Али Джинна (Seal, 1968, p. 884; Misra, 1961, p. 328). Диапазон сфер деятельности представителей этой получившей западное образование элиты можно проиллюстрировать на примере одного индийского семейства, с которым автор был знаком. Отец, землевладелец, преуспевающий адвокат и общественный деятель времен британского господства, стал дипломатом, а после 1947 года — губернатором штата. Мать в 1937 году была

* Основано на данных о количестве жителей, получивших образование в средних школах западного типа (Anil Seal, 1971, p. 21—22).

единственной женщиной-министром, представлявшей Индийский национальный конгресс в региональном правительстве. Трое из четверых детей (все они получили образование в Великобритании) вступили в коммунистическую партию, один из них стал главнокомандующим индийской армией, другой — членом ассамблеи своей партии, третий (после довольно пестрой политической карьеры) — министром в правительстве миссис Ганди, а четвертый сделал карьеру в бизнесе.

Это совершенно не означает, что вестернизированные элиты обязательно признавали все ценности государств и культур, взятых ими в качестве моделей. Их взгляды могли колебаться от полного уподобления Западу до глубокого недоверия к нему и одновременной убежденности в том, что только пережив нововведения Запада, можно сохранить или возродить свои собственные национальные ценности. Целью самого искреннего и успешного проекта обновления общества в Японии со времен реставрации Мэйдзи была не вестернизация, а наоборот, возрождение японских традиций. Точно так же активные политики стран третьего мира взяли из идеологий и программ, которые они приспособивали к своим условиям, не столько официальный текст, сколько контекст, применимый к их странам. Так, социалисты (в версии советского коммунизма) обращались со своими призывами к правительствам обретших независимость колониальных стран не только потому, что вопросом освобождения от империализма всегда занимались левые силы метрополий, но в гораздо большей степени потому, что СССР являлся для них прообразом преодоления отсталости путем плановой индустриализации, проблемы, которая была для них гораздо более важной, чем освобождение тех, кого можно было в их странах назвать «пролетариатом». Аналогично, в случае бразильской коммунистической партии, несмотря на то что она всегда сохраняла твердую приверженность марксизму, с начала 1930-х годов основой ее политики стала разновидность эволюционного национализма, даже когда она противоречила интересам рабочих (*Martins Rodrigues, p. 437*). Тем не менее являлись ли цели тех, кто писал историю отсталых стран, осознанными или нет, модернизация, т. е. подражание западным моделям, стала необходимым и обязательным путем их достижения.

Это было тем понятнее, что перспективы элит стран третьего мира существенно отличались от перспектив населения их стран, за исключением общего для всех слоев чувства возмущения и обиды, вызванного расизмом белых, который испытывали на себе и магараджи, и подметальщики улиц. Впрочем, это чувство в гораздо меньшей степени разделяли мужчины, но главным образом женщины, привыкшие к угнетению в любом обществе, независимо от цвета кожи. За пределами исламского мира случаи, когда общая религия становилась основой социального единения (например, на базе непреложного превосходства над неверующими), были нетипичны.

II

Мировая капиталистическая экономика в «эпоху империи» проникла практически во все части земного шара, преобразовав их, несмотря даже на то, что после Октябрьской революции ей временно пришлось задержаться у границ СССР. Именно по этой причине Великой депрессии 1929—1933 годов суждено было стать поворотным пунктом в истории антиимпериализма и освободительных движений в странах третьего мира. Независимо от экономики, благосостояния, культуры и политических систем этих стран до того, как они вошли в пределы досягаемости североатлантического спрута, они все оказались втянутыми в мировой рынок (если не были отвергнуты западными бизнесменами и правительствами как экономически бесперспективные, хотя и колоритные, как, например, бедуины великих пустынь, до тех пор пока на их негостеприимной родине не были найдены нефть и природный газ). Страны третьего мира имели значение для мирового рынка в основном как поставщики первичной продукции (сырья для промышленности и энергетики и сельскохозяйственных продуктов), а также в качестве места инвестиций северного капитала, главным образом в государственные займы, а также в инфраструктуру транспорта и коммуникаций, необходимые для эффективного использования ресурсов зависимых стран. В 1913 году более трех четвертей всех британских внешних капиталовложений (причем Великобритания экспортировала больше капитала, чем все остальные страны, вместе взятые) шло в государственные займы, железные дороги, порты и морской флот (Brown, 1963, p. 153).

Индустриализация отсталого мира еще не являлась определенной частью стратегии, даже в странах, находящихся на юге Латинской Америки, где казалось естественным перерабатывать такие производимые на месте продукты питания, как мясо, в более легко транспортируемую консервированную солонину. Однако консервирование сардин и разлив по бутылкам портвейна не совершили индустриализации в промышленности Португалии, на что, собственно, никто и не рассчитывал. В действительности основная схема, сложившаяся в уме большинства северных правительств и предпринимателей, предполагала, что страны зависимого мира должны импортировать их изделия и экспортировать свои первичные продукты. Это являлось основой экономики в эпоху до начала Первой мировой войны в странах, зависимых от Великобритании (*Эпоха империи*, глава 2), хотя, за исключением государств, куда капитализм был завезен белыми поселенцами, зависимый мир тогда не был особенно привлекательным рынком для производителей. Триста миллионов жителей Индостана и четыреста миллионов китайцев были слишком бедны, чтобы покупать какие-либо экспортные товары, и обеспечивали свои повседневные потребности с помощью местных товаров. К сча-

стью для Великобритании, в эпоху ее экономической гегемонии их грошовых заработков было достаточно, чтобы поддерживать работу хлопчатобумажного производства в Ланкашире. Интересы этой державы, как и интересы всех северных производителей, очевидно, состояли в том, чтобы сделать рынок остальных стран полностью зависимым от их продукции, т. е. увековечить его аграрную специализацию.

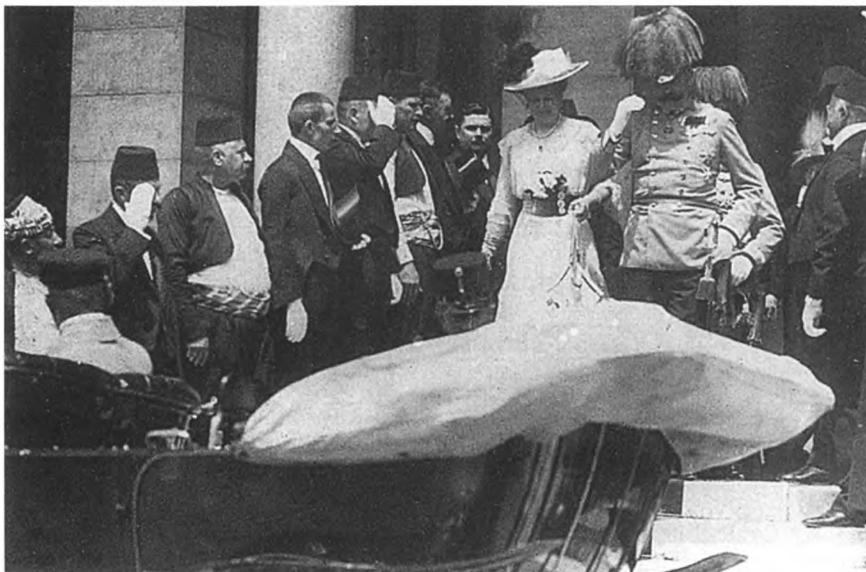
Ставили северные государства перед собой эту цель или нет, они ее не достигли, отчасти потому, что локальные рынки, созданные благодаря включению местных экономик в мировое рыночное сообщество, занимавшееся куплей и продажей, стимулировали развитие местного производства потребительских товаров, которые стало дешевле производить на месте, а отчасти потому, что многие экономики зависимых регионов, особенно азиатские, являлись сложными структурами с длительной историей процессов производства, высокой степенью разветвленности и мощными техническими и человеческими ресурсами и потенциалом. Поэтому в портовых городах — гигантских складах транзитных грузов, которые стали главными связующими звеньями между Севером и странами третьего мира (от Буэнос-Айреса и Сиднея до Бомбея, Шанхая и Сайгона), начала развиваться местная промышленность, временно защищая экономику от импорта, даже если это не входило в планы их властей. Не требовалось больших усилий, чтобы убедить производителей текстиля в Ахмадабаде или Шанхае, неважно, местных или представителей какой-нибудь иностранной фирмы, снабжать ближайший индийский или китайский рынок хлопчатобумажными изделиями, которые до этого по высокой цене импортировались из далекого Ланкашира. Фактически этот переворот, явившийся последствием Первой мировой войны, подорвал британское текстильное производство.

И все же, когда мы думаем, каким логичным казалось предсказание Маркса, что в конце концов промышленная революция распространится на остальной мир, остается лишь удивляться, сколь мал был отток промышленности из мира развитого капитализма перед окончанием «эпохи империи» и даже в начале 1970-х годов. В конце 1930-х годов единственными главными изменениями на мировой карте индустриализации стали лишь те, которые являлись следствием советских пятилетних планов (см. главу 2). Даже в 1960-е годы старые индустриальные центры Западной Европы и Северной Америки производили более 70% мирового объема валовой продукции и почти 80% мировой «условно чистой промышленной продукции», т. е. объема промышленного производства (*Harris, 1987, p. 102—103*). По-настоящему резкий отрыв от старого Запада (включая мощный подъем промышленности Японии, которая в 1960 году обеспечивала лишь около 4% мирового промышленного производства) произошел в последней трети двадцатого века. Лишь в начале 1970-х годов экономисты начинают писать книги о «новом междуна-

родном разделении труда», т. е. о начале деиндустриализации старых промышленных центров.

Несомненно, империализму времен прежнего «международного разделения труда» была присуща тенденция к укреплению промышленной монополии стран, являвшихся старыми индустриальными центрами. В этом отношении марксисты в период между мировыми войнами, к которым после Второй мировой войны присоединились сторонники различных версий «теории зависимости», имели основания для своих атак на империализм, обвиняя его в стремлении к увеличению отсталости бедных стран. Но, как ни парадоксально, именно относительное несовершенство развития капиталистической мировой экономики, а точнее, транспорта и средств связи обеспечивало локализацию промышленности в развитых странах. Не существовало ничего в логике прибыльного предприятия и в накоплении капитала, что навечно могло бы удержать производство стали в Пенсильвании или Руре, хотя неудивительно, что правительства промышленно развитых стран, особенно склонных к протекционизму или являвшихся большими колониальными империями, делали все возможное, чтобы не дать потенциальным конкурентам нанести урон собственным производителям. Но даже правительства империй могли иметь причины для индустриализации своих колоний, хотя единственной страной, делавшей это систематически, была Япония, развивавшая тяжелую промышленность в Корее (аннексированной в 1911 году) и, после 1931 года, в Маньчжурии и на Тайване, поскольку эти богатые ресурсами колонии находились достаточно близко от бедной природными ресурсами Японии, чтобы напрямую обеспечивать развитие национальной промышленности. Когда во время Первой мировой войны выяснилось, что производственные мощности самой большой из колоний, Индии, недостаточны для обеспечения обороноспособности и промышленной независимости, это привело к политике правительственного протекционизма и к прямому его участию в промышленном развитии страны (*Misra, 1961, p. 239, 256*). Если война заставила даже имперских чиновников почувствовать недостатки слабой колониальной промышленности, то депрессия 1929—1933 годов оказала на них финансовое давление. С уменьшением поступлений от сельского хозяйства доходы колониального правительства стало необходимо обеспечивать путем более высоких пошлин на промышленные товары, включая товары, произведенные в метрополиях — Великобритании, Франции или Голландии. Впервые западные фирмы, которые до этого импортировали товары беспошлинно, получили стимул для организации местных производственных мощностей на этих отдаленных рынках (*Holland, 1985, p. 13*). Однако даже с учетом войны и кризиса страны зависимого мира в первой половине «короткого двадцатого века» оставались в основном аграрными. Именно поэтому «большой скачок» мировой экономики в третьей четверти двадцатого века обусловил столь резкий поворот в их судьбе.

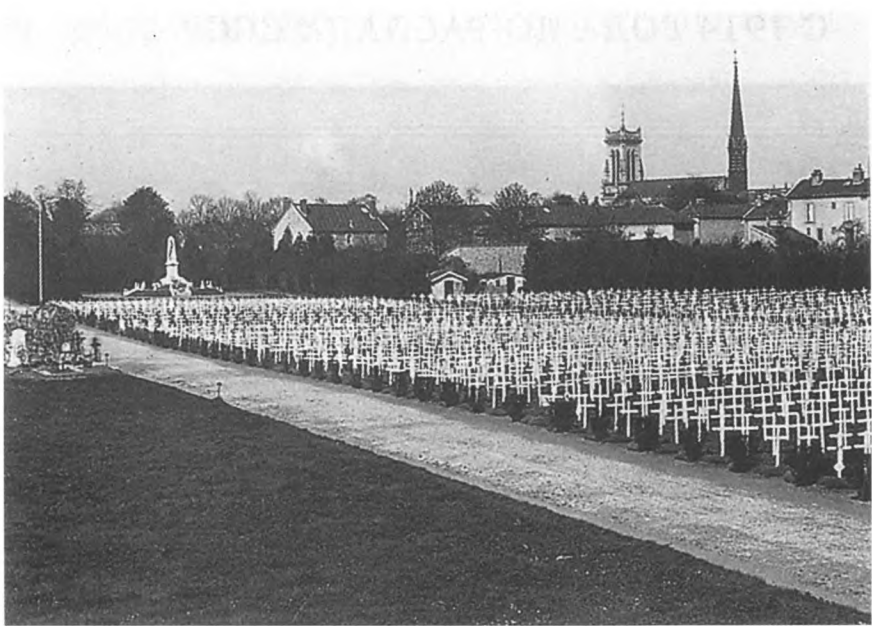
С 1914 ГОДА ДО РАСПАДА СССР



Сараево: эрцгерцог Франц Фердинанд Австрийский с супругой выходят из ратуши примерно за час до своей гибели, послужившей поводом для начала Первой мировой войны (28 июня 1914 года).



Поле боя глазами умирающих: канадские солдаты среди воронок от снарядов (Франция, 1918).



Поле боя глазами оставшихся в живых: военное кладбище (Шалон-сюр-Марн, Франция).



Россия: солдаты под знаменами революции («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!») (1917).



Октябрьская революция: изображение Ленина (великого вождя пролетариата). Рабочие под знаменем «Вся власть Советам!».



Мировая революция на советском первомайском плакате (ок. 1920). На красном знамени надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»



Еще не забытый кошмар немецкой инфляции после Первой мировой войны: немецкая банкнота достоинством в двадцать миллионов марок (июль 1923 года)



Начало Великой депрессии: биржевой обвал на Уолл-стрит (1929).



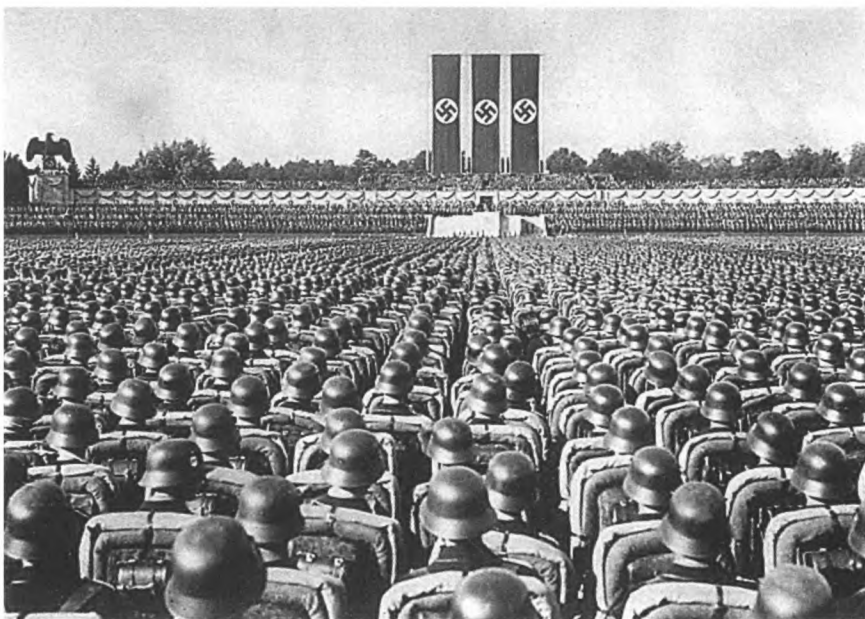
Британские безработные (1930-е годы).



Вожди фашизма: у Адольфа Гитлера (1889–1945) и Бенито Муссолини (1883–1945) в 1938 году было много поводов для радости.



Дуче: юные итальянские фашисты маршируют перед Муссолини.



Фюрер: нацистский митинг в Нюрнберге.



Гражданская война в Испании (1936–1939): участники народного ополчения в Барселоне на самодельном броневике (1936).



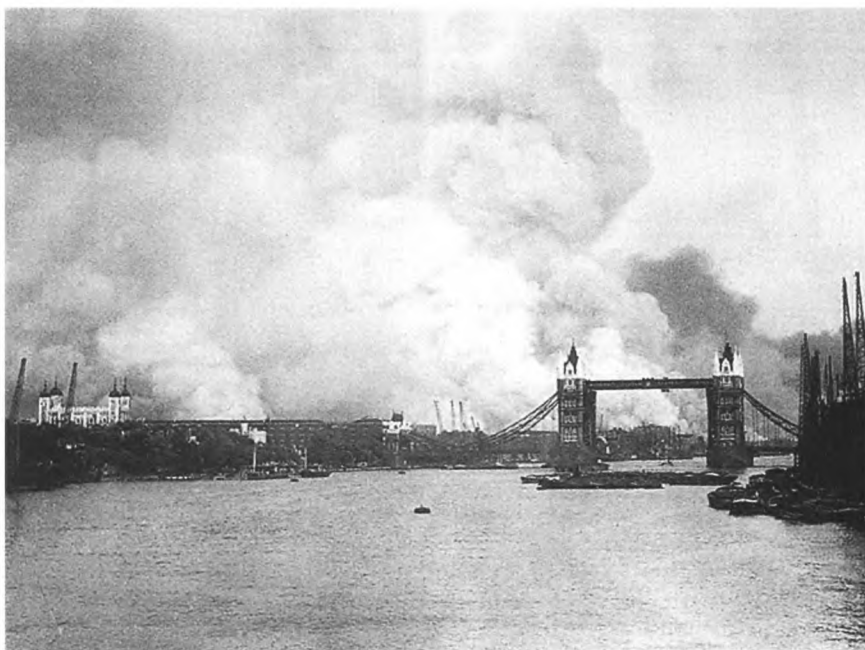
Триумф фашизма? Адольф Гитлер, покоритель Европы (1940–1941), в оккупированном Париже.



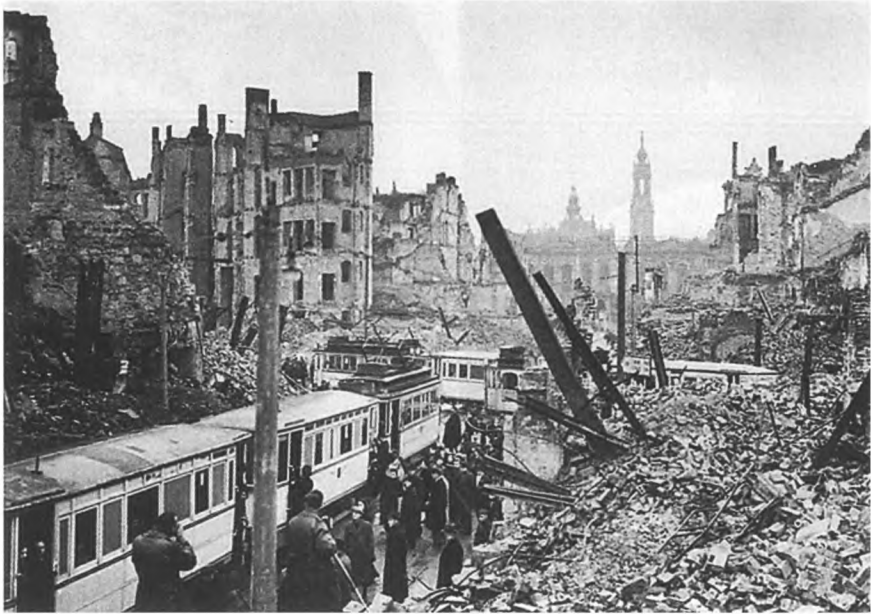
Вторая мировая война: бомбы. Американский «боинг» «летающая крепость» бомбит Берлин.



Вторая мировая война: бронемшины. Советские танки атакуют в величайшем в истории танковом сражении (битва на Курской дуге, 1943).



Война в тылу: горящий Лондон (1940).



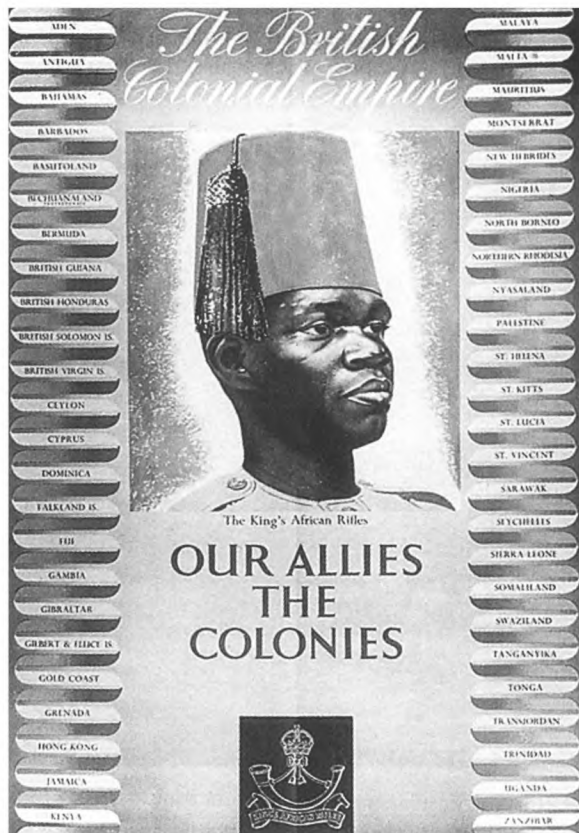
Война в тылу: Дрезден в руинах (1945).



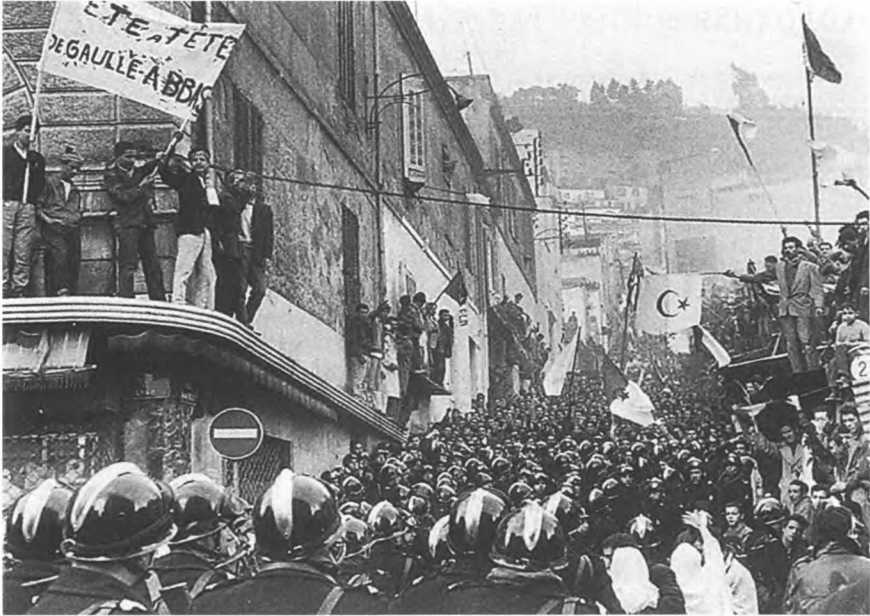
Война в тылу: Хиросима после атомной бомбардировки (1945).



Движение Сопротивления:
Иосип Броз, маршал Тито (1892–1980),
во время партизанской войны
за освобождение Югославии.



Британская империя
перед падением:
плакат времен Второй
мировой войны.



Империя рушится: Алжир незадолго до обретения независимости (1961).



После распада империи: Индира Ганди (1917–1984), премьер-министр Индии, возглавляет ежегодный парад в День независимости (Нью-Дели).

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»: РАКЕТЫ ГОТОВЫ К АПОКАЛИПСИСУ



(слева) Американская межконтинентальная ракета.

(внизу) Пусковая шахта для советских ракет класса «земля–земля».

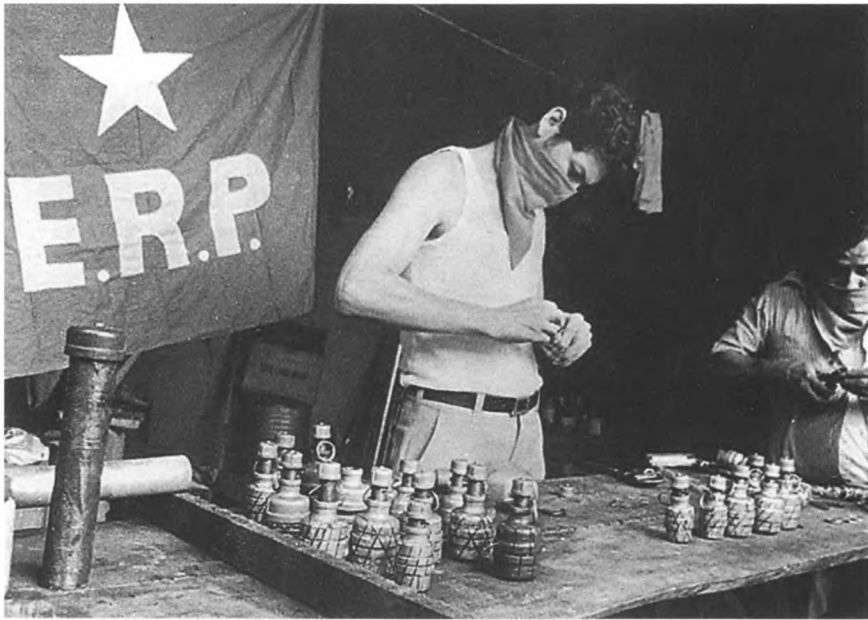




Полярный мир: Берлинская стена (1961–1989), отделившая капитализм от «развитого социализма» возле Бранденбургских ворот.



Волнения в странах третьего мира: повстанческая армия Фиделя Кастро перед приходом к власти на Кубе (1 января 1959 года) входит в освобожденный город Санта-Клара.



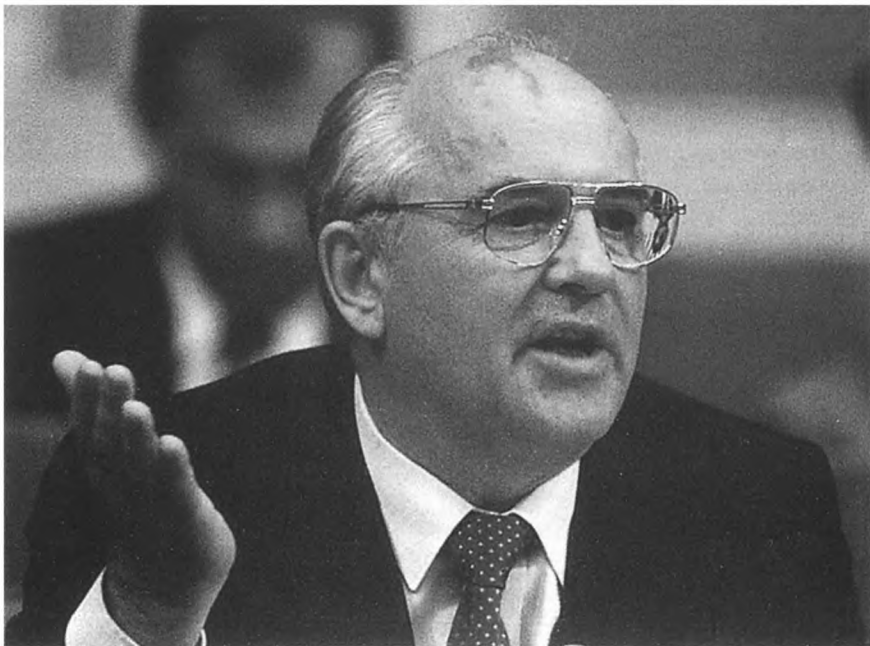
Guerrilleros: сальвадорские повстанцы за изготовлением ручных гранат (1980-е годы).



От повстанцев третьего мира до студентов развитых стран: демонстрация против войны во Вьетнаме (Лондон, Гросвенор-сквер, 1968).



Социальная революция во имя Аллаха: первый крупный социальный переворот двадцатого века вне традиций 1789 и 1917 года (Иран, 1979).



Человек, положивший конец «холодной войне»: Михаил Сергеевич Горбачев, в 1985–1991 годах Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза.



Конец «холодной войны»: падение Берлинской стены (1989).



Падение коммунизма в Восточной Европе:
в Праге снимают с пьедестала бюст Сталина.

III

Практически все страны Азии, Африки и Латинской Америки, включая Карибский бассейн, чувствовали свою зависимость от событий, происходивших в нескольких государствах Северного полушария. Кроме того, большинство из этих стран находилось в той или иной форме зависимости от колониальных держав за пределами Американского континента. Это относилось даже к тем странам, где у власти оставались местные правительства (как, например, в протекторатах), поскольку было совершенно ясно, что мнение британского или французского представителя при дворе местного эмира, бея, раджи, короля или султана имело решающее значение. Подобное положение вещей наблюдалось даже в таких формально независимых государствах, как Китай, где иностранцы обладали правами экстерриториальности и контролем за некоторыми главными функциями суверенных государств, например сбором налогов. В этих районах земного шара проблема избавления от иностранного правления должна была обязательно возникнуть. Иначе обстояли дела в Центральной и Южной Америке, почти полностью состоявших из независимых государств, хотя США (но никто более) имели тенденцию обращаться с более мелкими центральноамериканскими государствами фактически как со своими протекторатами, особенно в первой и последней третях двадцатого века.

С 1945 года колониальный мир в столь значительной степени превратился в совокупность номинально суверенных государств, что при взгляде назад может показаться, что это положение вещей было не только неизбежно, но и являлось предметом желаний колониальных народов. Так почти наверняка происходило в странах, имевших долгую историю государственности, как, например, в великих азиатских империях — Китае, Персии, Османской империи и, возможно, еще в одной-двух странах, в частности в Египте, особенно когда там имелись государствообразующие народы («*staatvolk*»), такие как китайские хань или иранские мусульмане-шииты. В таких странах враждебное отношение народа к иностранцам можно было легко перевести в политическую плоскость. Не случайно все три государства — Китай, Турция и Иран — стали сценой важных революций, совершенных коренным населением этих стран. Однако подобные случаи были исключением. Чаще сама концепция постоянного территориально-политического образования с четко определенными границами, отделяющими его от других таких же образований, и подчиненного только одному постоянному правительству, т. е. идея независимого суверенного государства, которую мы считаем само собой разумеющейся, являлась бессмысленной для местных жителей (даже проживающих в районах постоянного земледелия), по крайней мере для той их части, которая получила хоть какое-то образование. Конечно, даже там, где существова-

ли людские сообщества с четко определенными признаками, которые европейцы называли «племенами», идею о том, что они могут быть территориально обособлены от других людей, с которыми они сосуществуют, перемешиваются и делят круг обязанностей, было трудно понять, поскольку она имела мало смысла. В таких регионах единственной основой для подобных независимых государств в двадцатом веке являлись территории, на которые их разделили имперские завоевания и конкуренция, зачастую без всякого учета местных факторов. Таким образом, постколониальный мир оказался почти полностью разделен по границам, проложенным империализмом.

Кроме того, те обитатели стран третьего мира, которые больше всего ненавидели жителей Запада (как носителей всяческих безбожных и подрывных новшеств или просто потому, что сопротивлялись любым переменам в своем образе жизни, от которых, как они предполагали, возможно не без оснований, им станет только хуже), в равной мере являлись и противниками модернизации, в отличие от элиты, убежденной в ее необходимости. Это затрудняло создание общего фронта против империалистов даже в колониальных странах, где все поработанное население в равной мере испытывало унижение от презрения колонизаторов к низшей расе.

Главный вопрос, стоявший перед национально-освободительными движениями среднего класса в таких странах, заключался в том, каким образом завоевать поддержку приверженных старым традициям и не одобряющих нововведений масс, не отказываясь при этом от своей программы модернизации общества. Активист Балгангадхар Тилак (1856—1920) на заре индийского национализма справедливо полагал, что лучшим способом завоевания поддержки масс, даже мелких собственников (и не только в его родной Западной Индии), являлась защита священных коров, поощрение браков десятилетних девочек и отстаивание духовного превосходства древнеиндийской («арийской») цивилизации и ее религии над современной западной цивилизацией и ее местными приверженцами. Первая важная фаза национально-освободительного подъема в Индии (с 1905 по 1910 годы) в основном проходила именно под такими «местническими» лозунгами. В конце концов Мохандас Карамчанд Ганди (1869—1948) смог поднять многомиллионное деревенское население Индии с помощью тех же призывов к национальной индуистской духовности, однако стараясь не рвать связей с модернизаторами, одним из которых по сути являлся он сам (см. *Эпоху империи*, главу 13), и избегать антагонизма с индийскими мусульманами, всегда присутствовавшего в воинственном индуистском национализме. Он создал образ политика-святого и образ революции как коллективного акта пассивного неповиновения и даже социальной модернизации (например, упразднения разделения на касты), используя реформистский потенциал, содержащийся в бесконечной изменчивости и всеобъемлющей многозначности индуизма. Его успех превзошел

самые безудержные надежды (или опасения). Тем не менее он сам признавал в конце жизни, перед тем как был убит фанатичным последователем Тилака, что потерпел поражение в своем главном начинании. Оказалось невозможным согласовать побудительные мотивы, двигавшие массами, с поставленной задачей. В конечном итоге к власти в освобожденной Индией пришли те, кто «не пытался возродить старую Индию», кто «не одобрял и не понимал ее (...) кто смотрел на Запад и был увлечен западным прогрессом» (*Nehru, 1936, p. 23—24*). В период написания этой книги традиции тилакского антимодернизма, которые теперь представляет воинственная партия «Бхаратия Джаната», все еще остаются главным центром народной оппозиционности и, как прежде, сеют рознь не только среди простого народа, но и в среде интеллектуалов. Кратковременная попытка Махатмы Ганди сделать индуизм одновременно популистским и обновленческим канула в историю.

Сходная модель возникла и в мусульманском мире, хотя здесь (по крайней мере до победы революций) модернизаторы всегда должны были уважать всеобщую религиозность народа независимо от собственных убеждений. Однако, в отличие от Индии, попытки вычитать в исламе идеи реформирования или модернизации общества не были направлены на мобилизацию масс. Ученики Джемаля-ад-Дина аль-Афгани (1839—1897) в Иране, Египте и Турции, его последователя Мухаммеда Абдуха (1849—1905) в Египте, Абд аль-Хамида Бен Бадиса (1889—1940) в Алжире распространяли свои идеи не в деревне, а в школах и колледжах, где призыв к сопротивлению европейскому влиянию находил благодарную аудиторию*. Тем не менее подлинными революционеры исламского мира, как мы уже видели (см. главу 5), являлись не строгими приверженцами ислама, а светскими передовыми деятелями. Такие люди, как Кемаль Ататюрк, сменивший турецкую феску (которая сама являлась нововведением семнадцатого века) на котелок, а арабский алфавит на латиницу, фактически прервали связи между исламом, государством и правом. И все же, как снова подтверждает недавняя история, мобилизация народа проще всего достигается на основе антимодернистской массовой религиозности (например, исламского фундаментализма). Одним словом, глубокий конфликт разделит модернистов, также являвшихся и националистами (совершенно нетрадиционная установка для ислама), и остальной простой народ третьего мира.

Таким образом, антиимпериалистические и антиколониальные движения до 1914 года имели меньшее значение, чем можно было предполагать, исходя из того факта, что за полвека, прошедшие с начала Первой мировой войны,

* Во французской Северной Африке на верования сельского населения огромное влияние оказывали суфитские отшельники (марабуты), являвшиеся особыми объектами обличений реформаторов.

произошла почти полная ликвидация западных и японской колониальных империй. Даже в Латинской Америке в тот период негативное отношение к экономической зависимости в целом и к зависимости от США в частности (США были единственным империалистическим государством, настаивавшим на своем военном присутствии в этом регионе) не являлось важной составляющей местной политики. Единственной империей, в некоторых регионах столкнувшейся с серьезными проблемами, т. е. с теми, которые нельзя было разрешить с помощью полиции, являлась Великобритания. К 1914 году она вынуждена была признать автономию колоний, в которых белое население составляло большинство, с 1907 года известных как «доминионы» (Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка), и, кроме того, вынуждена была предоставить автономию (гомруль) всегда причинявшей беспокойство Ирландии. Что до Индии и Египта, то там уже было ясно, что конфликт имперских интересов и местных требований автономии или даже независимости нуждается в политическом разрешении. После 1905 года можно было говорить даже об определенной поддержке массами национально-освободительного движения в этих странах.

Первая мировая война породила череду событий, серьезно поколебавших структуру мирового колониализма, разрушивших две империи (Австро-Венгерскую и Османскую, владения которых поделили главным образом Великобритания и Франция) и на некоторое время выбивших почву из-под ног третьей империи, России (которая, правда, через несколько лет вернула себе свои азиатские владения). Перегрузки, испытанные во время войны зависимыми странами, ресурсы которых требовались Великобритании, инициировали волнения в этих странах. Влияние Октябрьской революции и всеобщего крушения старых режимов, сопровождавшегося обретением фактической независимости двадцатью шестью южными графствами Ирландии (1921), впервые заставили империи почувствовать свою уязвимость. В конце войны египетская партия «Вафд» под руководством Саада Заглула, вдохновленная идеями президента Вильсона, впервые потребовала полной независимости для Египта. Три года борьбы (1919—1922) вынудили Великобританию превратить этот протекторат в полунезависимое государство под британским контролем — модель, которую Великобритания также использовала для управления всеми, кроме одной, азиатскими территориями, перешедшими к ней от Османской империи, а именно Ираком и Трансиорданией (исключением стала Палестина, где англичане осуществляли прямое правление, тщетно пытаясь согласовать обязательства, выданные ими во время войны евреям-сионистам за их антигерманскую позицию, с обещаниями, данными арабам за их поддержку в войне с турками).

Более трудной задачей для Великобритании оказалось найти простую схему сохранения контроля над своей самой большой колонией, где лозунг само-

управления (*сварадж*), впервые выдвинутый Индийским национальным конгрессом в 1906 году, теперь перешел в требование полной независимости. Годы революций (1918—1922) изменили политику национально-освободительного движения на этом субконтиненте, отчасти из-за того, что против британцев поднялось мусульманское население Индии, отчасти вследствие кровавой истерии, в которую впал один британский генерал в бурном 1919 году, приказав расстрелять безоружную толпу, когда было убито несколько сотен людей («армитсарская резня»), но главным образом благодаря волне рабочих забастовок в сочетании с кампанией гражданского неповиновения, начатой Ганди и все более радикальным Индийским национальным конгрессом. На какое-то время освободительное движение охватило почти мессианские настроения: Ганди провозгласил, что *сварадж* будет обеспечен к концу 1921 года. Правительство не пыталось умалить тот факт, что «сложившаяся ситуация вызывает большое беспокойство», поскольку города были парализованы из-за гражданского неповиновения, в сельской местности на обширных пространствах Северной Индии, Бенгалии, Ориссы и Ассамы происходили волнения, а «большое количество мусульманского населения по всей стране было озлоблено и ожесточено» (*Cmd 1586, 1922, p. 13*). С этого времени по наши дни Индия периодически бывает неуправляема. Возможно, именно нежелание многих лидеров Конгресса, включая Ганди, ввергнуть свою страну в пучину жестоких стихийных восстаний и убежденность большинства лидеров национально-освободительного движения в том, что Великобритания действительно выступает за проведение реформ в Индии, спасли британского наместника раджу. После того как Ганди в начале 1922 года прекратил кампанию гражданского неповиновения, мотивируя это тем, что она привела к массовому убийству полицейских в одной из деревень, можно было с уверенностью утверждать, что британское правление в Индии зависело только от его политики сдержанности — гораздо больше, чем от полиции и армии.

Эта убежденность имела под собой почву. Хотя в Великобритании существовал мощный блок консерваторов-империалистов (несгибаемых, твердых и крайне консервативных), представителем которого стал Уинстон Черчилль, у британского правящего класса после 1919 года фактически создалось мнение, что некая форма самоуправления в Индии, сходная со «статусом доминиона», в конечном итоге неизбежна и будущее Великобритании в Индии зависит от того, сможет ли она найти общий язык с индийской элитой, включая борцов за независимость. Конец абсолютного британского господства в Индии был теперь только вопросом времени. Поскольку Индия являлась ядром всей Британской империи, будущее этой империи как единого целого теперь казалось неопределенным, за исключением колониальной Африки и разбросанных в Тихом океане и Карибском море островов, где британский патернализм все еще правил безоговорочно. Никогда такое количество тер-

риторий земного шара не находилось под формальным или неформальным контролем Великобритании, как в период между Первой и Второй мировыми войнами, но никогда еще британские лидеры не чувствовали меньшей уверенности в своей способности удержать имперскую власть. Главным образом именно поэтому, когда положение стало совсем неустойчивым, Британия в основном не сопротивлялась деколонизации. По этой же причине другие империи, особенно французская и голландская, после окончания Второй мировой войны защищали свои колониальные позиции с оружием в руках. Но их империи не были расшатаны Первой мировой войной. Главной головной болью французов было то, что они еще не совсем завершили завоевание Марокко, однако воинственные берберы с Атласских гор являлись в большей степени военной, а не политической проблемой, по сути гораздо менее острой, чем в испанском Марокко, где горский интеллигент Абд аль-Керим в 1923 году провозгласил «республику Риф». Получив горячую поддержку французских коммунистов и других левых сил, Абд аль-Керим все же потерпел поражение в 1926 году от французов, после чего горцы-берберы вернулись к своим привычным занятиям — участию в заграничных военных походах в составе французской и испанской колониальных армий и сопротивлению любому виду центральной власти у себя на родине. Прогрессивное антиколониальное движение во французских исламских колониях и во французском Индокитае возникло лишь через много лет после Первой мировой войны, если не считать его весьма умеренного предвестника в Тунисе.

IV

Годы революций расшатали главным образом Британскую империю, но Великая депрессия 1929—1933 годов ослабила все зависимые государства, поскольку для этих стран эпоха империализма практически являлась периодом почти непрерывного развития, не остановленного даже Первой мировой войной, от которой большинство из них осталось в стороне. Конечно, большинство жителей этих стран еще не было достаточно вовлечено в расширяющуюся мировую экономику и не чувствовало последствий ее влияния, да и какое значение имело для бедных мужчин и женщин, испокон века пахавших и таскавших тяжести, в каком именно мировом контексте они это делают? И все же империалистическая экономика внесла значительные изменения в жизнь простых людей, особенно в регионах, ориентированных на экспорт первичной продукции. Иногда эти изменения находили свое отражение в политике, осуществлявшейся местными или иностранными правителями. Так, с превращением в период с 1900-х по 1930-е годы перуанских гасиенд в прибрежные сахарные фабрики или высокогорные коммерческие овечьи ранчо, когда

ручеек рабочих-индейцев, мигрировавших на побережье и в большие города, превратился в поток, новые идеи проникли в самые глухие районы страны. В начале 1930-х годов в Хуасиканче, одной из самых отдаленных общин, расположенной на высоте 3700 метров над уровнем моря на неприступных склонах Анд, уже обсуждался вопрос, какая из двух действующих в Перу национал-радикальных партий сможет лучше представлять ее интересы (*Smith, 1989, p. 175*). Хотя гораздо чаще никто, кроме местных жителей, пока еще не знал об этих изменениях и не заботился о них.

Что, например, означало для экономических систем, в которых почти не использовались деньги или использовались для ограниченных целей, включение в экономику, где деньги являлись универсальным средством обмена, как случилось в системах южных морей? Значение товаров, услуг и сделок между людьми трансформировалось, соответственно изменились и нравственные ценности общества и, конечно, формы социального распределения. Среди крестьян, занимавшихся выращиванием риса в Негри-Сембилане (Малайзия), наследование велось по женской линии и принадлежавшая им земля обрабатывалась главным образом женщинами. Однако новые участки земли, расчищенные в джунглях мужчинами, на которых выращивались не основные культуры, а фрукты и овощи, могли переходить в наследственное владение мужчин. С распространением каучука, гораздо более доходного, чем рис, баланс власти между полами изменился, поскольку все более широкое распространение получало наследование по мужской линии. Это, в свою очередь, усилило позиции патриархально настроенных ортодоксальных исламистов, любыми средствами старавшихся привнести традиции ислама в свод местных правовых норм, не говоря уже о местном правителе и его родне, еще одном ручейке наследования по мужской линии в местном озере женского наследования (*Firth, 1954*). В зависимых странах происходило множество таких изменений и преобразований в сообществах людей, прямой контакт которых с внешним миром был минимален. Его могли осуществлять, например, китайские торговцы, зачастую являвшиеся бывшими крестьянами или ремесленниками-эмигрантами из южных провинций, где местные обычаи привили им стойкость и упорство, а также искушенность в денежных вопросах, но которые были совершенно далеки от мира, в котором царили Генри Форд и «Дженерал Моторс» (*Freedman, 1959*).

Пока еще мировая экономика как таковая, казалось, имела к этим странам весьма отдаленное отношение, поскольку ее непосредственное влияние не вызывало там резких изменений. Исключение составляли быстро растущие промышленные анклавы с дешевой рабочей силой, такие как Индия и Китай (где с 1917 года началась организация труда по западным моделям и борьба рабочего класса за свои права), а также гигантские города-порты и промышленные центры, посредством которых зависимые страны осуществ-

ляли связь с мировой экономикой: Бомбей, Шанхай (население которого выросло с 200 тысяч в середине восемнадцатого века до трех с половиной миллионов в 1930-е годы), Буэнос-Айрес и, в меньшей степени, Касабланка, чье население достигло 250 тысяч менее чем за тридцать лет с того времени, как там был построен современный порт (*Bairoch, 1985, p. 517, 525*).

Все изменила Великая депрессия. Впервые произошло столь явное столкновение экономических интересов зависимого мира и метрополий. Одной из причин являлось то, что цены на первичные продукты, от которых зависели страны третьего мира, обрушились гораздо более резко, чем цены на промышленные товары, которые они покупали на Западе (глава 3). Впервые колониальное иго и зависимость стали неприемлемы даже для тех, кто до этого извлекал из них выгоду. «Студенческие волнения происходили в Каире, Рангуне и Джакарте (Батавия) не потому, что студенты чувствовали приближение новой политической эпохи, а потому, что в результате депрессии прекратилась поддержка, делавшая колониализм столь привлекательным для поколения их отцов» (*Holland, 1985, p. 12*). Более того, впервые (не считая войн) жизнь простых людей сотрясали катаклизмы, не имевшие естественного происхождения, вызывавшие желание протестовать, а не молиться. В обществе создалась база для политического подъема, особенно там, где крестьяне оказались вовлечены в мировую рыночную экономику, продавая свой первичный продукт, как произошло на западном побережье Африки и в Юго-Восточной Азии. Депрессия одновременно дестабилизировала как внутреннюю, так и внешнюю политику зависимых стран.

Таким образом, 1930-е годы явились критическим десятилетием для стран третьего мира не столько потому, что депрессия привела к политической радикализации, сколько оттого, что она способствовала налаживанию контакта политизированных меньшинств с народом. Это имело место даже в таких странах, как Индия, где национально-освободительное движение уже получило поддержку масс. Вторая волна гражданского неповиновения, поднявшаяся в начале 1930-х годов, новая компромиссная конституция, на которую согласилась Великобритания, и первые общенациональные выборы региональных органов власти 1937 года продемонстрировали растущую поддержку Индийского национального конгресса, число членов которого выросло с 6 тысяч в 1935 году до полутора миллионов в конце 1930-х годов (*Tomlinson, 1976, p. 86*). Еще ярче это проявилось в ранее не столь политизированных странах. В большей или меньшей степени стали вырисовываться основные очертания внутренней политики этих стран: латиноамериканский популизм, державшийся на авторитарных лидерах, искавших поддержки городского рабочего класса; политическая активизация профсоюзных лидеров, в будущем возглавивших партии, как произошло в британских колониях Карибского моря; революционное движение на базе мощной поддержки рабочих-эмигран-

тов, вернувшихся из метрополии, как в Алжире; национальное сопротивление, возглавляемое коммунистами, имеющее крепкие связи с деревней, как во Вьетнаме. И наконец, годы депрессии ослабили связи между колониальными властями и крестьянскими массами, как произошло в Малайе, освободив пространство для зарождения будущей политики.

К концу 1930-х годов кризис колониализма распространился и на другие империи, хотя две из них, итальянская (только что завоевавшая Эфиопию) и японская (предпринимавшая попытки покорить Китай), все еще продолжали расширяться, хотя и недолгое время. В Индии новая конституция 1935 года — неудачный компромисс колониальных властей с набирающими мощь силами индийского национально-освободительного движения — оказалась самой большой уступкой Индийскому национальному конгрессу после его повсеместной победы на выборах. Во французской Северной Африке серьезные политические движения возникли первоначально в Тунисе, Алжире (имели место волнения также в Марокко), а массовые выступления под руководством коммунистов (как ортодоксов, так и новаторов) впервые приобрели значительный размах во французском Индокитае. Голландии удалось сохранить контроль в Индонезии, регионе, который «реагирует на волнения на Востоке, как никакая другая страна» (*Van Asbeck, 1939*), не оттого, что там не было волнений, а главным образом потому, что силы оппозиции — исламисты, коммунисты и светские борцы за национальное освобождение — были разобщены и настроены враждебно друг к другу. Даже на «дремлющих Карибах», как их называли в министерствах по делам колоний, стачки в нефтяной отрасли Тринидада и на плантациях и в городах Ямайки в период с 1935 по 1937 год вылились в восстания и конфликты, охватившие весь остров, выявив скрытое до этого массовое недовольство.

Только территории Африки к югу от Сахары все еще оставались в состоянии покоя, хотя даже сюда годы депрессии принесли первые массовые забастовки рабочих, имевшие место после 1935 года и начавшиеся в центральноафриканском «медном поясе». В результате Лондон начал требовать от колониальных властей создания департаментов труда, принятия мер по улучшению условий труда рабочих и стабилизации рабочих движений с учетом потоков мигрантов из деревень в шахты, усиливших политическую и социальную дестабилизацию. Волна забастовок с 1935 по 1940 год прокатилась по всей Африке. Но они все еще не были политическими и не имели антиколониального оттенка, если не считать политическим распространения ориентированных на черное население религиозных движений, пророков и ниспровергателей всех земных властей, вроде проникшего в «медный пояс» из Америки движения «Сторожевой башни». Впервые колониальные правительства начали задумываться о разрушительном влиянии экономических изменений на сельскую Африку (переживавшую в то время эпоху подъема) и по-

ощрять исследования по этому вопросу специалистов по социальной антропологии.

Однако с политической точки зрения опасность казалась еще далеко. В сельской местности процветало белое чиновничество, иногда имевшее рядом угодливого местного властителя, специально избранного для этой цели там, где не было прямого колониального правления. В городах к середине 1930-х годов прослойка недовольных существующим положением образованных африканцев была уже достаточно значительной, чтобы поддерживать процветающую политическую прессу: «*African Morning Post*» на Золотом Берегу (Гана), «*Vest African Pilot*» в Нигерии и «*Eclaircur de la Cote d'Ivoire*» на Берегу Слоновой Кости («эта газета вела кампанию против высшего чиновничества и полиции, она требовала социальных преобразований, поднимала вопрос о безработице и об африканском фермерстве, пострадавшем от экономического кризиса») (*Hodgkin, 1961, p. 32*). Уже начали появляться лидеры местных политических националистических организаций, на которых оказали влияние идеи негритянского движения в США, французского Народного фронта, а также концепции, распространявшиеся в Западноафриканском студенческом союзе в Лондоне, и даже коммунистическое движение*. Некоторые будущие президенты будущих африканских республик уже вышли на политическую сцену: Джомо Кениата в Кении (1893—1978), доктор Ннамди Азикиве, впоследствии ставший президентом Нигерии. Но пока все это не особенно тревожило европейские министерства по делам колоний.

Казался ли в 1939 году всемирный распад колониальных империй не только возможным, но и неизбежным? Нет, если руководствоваться воспоминаниями тех лет автора этих строк о «школе», организованной для британских и колониальных студентов-коммунистов. Никто не ожидал этого, кроме пылких, полных надежд молодых коммунистов. Всё изменила Вторая мировая война. Помимо прочего, это была также война между империалистическими державами, причем до 1943 года великие колониальные империи терпели поражение. Франция пережила позорный крах, и многие ее владения уцелели только с разрешения «держав оси». Японией были захвачены все британские, голландские и другие западные колонии в Юго-Восточной Азии и на западе Тихого океана. Даже в Северной Африке Германия оккупировала небольшую территорию к западу от Александрии. В какой-то момент британцы серьезно рассматривали необходимость ухода из Египта. Только страны Африки к югу от Сахары оставались под жестким контролем западных государств, и Великобритании фактически без особого труда удалось ликвидировать итальянскую империю на Африканском Роге.

Но что оказывало самое разрушительное воздействие на старые колониальные державы, так это крепнущая убежденность местного населения в том,

* Однако ни один африканский лидер не был коммунистом.

что белые люди и их государства могут потерпеть поражение, да и сами колониальные державы, несмотря на то что одержали победу в войне, были слишком слабы для восстановления своих былых позиций. Проверкой на прочность британского раджы в Индии стало не массовое восстание, организованное Индийским национальным конгрессом в 1942 году под лозунгом «Прочь из Индии!», которое было подавлено без особого труда. Ею стал тот факт, что впервые до 55 тысяч индийских солдат стали перебежчиками, создав «индийскую национальную армию» под руководством лидера левого крыла Конгресса, Субхаса Чандры Боза, решившего искать поддержки у Японии в борьбе за независимость Индии (*Bhargava/Singh Gill, 1988, p. 10, Sareen, 1988, p. 20—21*). Японское правительство (вероятно, под влиянием руководства военно-морского флота, более проницательного, чем сухопутное командование), эксплуатируя цвет кожи своего населения, пыталось играть роль освободителя колоний, в чем достигло значительных успехов (за исключением зон проживания заморских китайцев и Вьетнама, где Япония поддерживала французскую администрацию). В Токио в 1943 году даже была проведена «ассамблея великих восточноазиатских народов»*, на которой присутствовали марионеточные президенты и премьер-министры поддерживаемых Японией Китая, Индии, Таиланда, Бирмы и Маньчжурии (однако не Индонезии, которой Япония пообещала независимость только после поражения в войне). Борцы за освобождение колоний являлись слишком большими реалистами, чтобы быть настроенными прояпонски, хотя и приветствовали поддержку со стороны Японии, особенно когда она была достаточно существенной, как в Индонезии. Когда во время войны Япония уже находилась на грани поражения, они выступили против нее, зная, какими слабыми на деле оказались старые западные империи. Также не прошел мимо их внимания тот факт, что два главных государства, одержавшие победу над «державами оси», СССР Сталина и США Рузвельта, оба по различным причинам были враждебно настроены по отношению к старому колониализму, хотя американский антикоммунизм вскоре сделал Вашингтон защитником консерватизма в странах третьего мира.

V

Неудивительно, что крушение старых колониальных систем в первую очередь произошло в Азии. Сирия и Ливан (ранее принадлежавшие Франции) обрели независимость в 1945 году, Индия и Пакистан — в 1947-м, Бирма, Цейлон (Шри-Ланка), Палестина (Израиль) и голландская Ост-Индия (Индоне-

* Термин «азиатский» по неясным причинам вошел в обращение только после Второй мировой войны.

зия) — в 1948-м. В 1946 году США формально присвоили Филиппинам, оккупированным ими с 1898 года, статус независимого государства. Японская империя рухнула в 1945 году. Исламская Северная Африка тоже трещала по швам, однако все еще держалась. В большей части тропической Африки и на островах Карибского моря и Тихого океана все оставалось относительно спокойно. Только в некоторых частях Юго-Восточной Азии оказывалось серьезное сопротивление политической деколонизации, особенно во французском Индокитае (теперешние Вьетнам, Камбоджа и Лаос), где после освобождения от оккупации коммунистические силы сопротивления под руководством Хо Ши Мина провозгласили независимость. Франция при поддержке Великобритании и, позднее, США вела отчаянные арьергардные сражения, чтобы удержать свое влияние в стране и противостоять побеждающей революции. Но она потерпела поражение и вынуждена была вывести свои силы в 1954 году, однако США препятствовали объединению страны и поддерживали марionеточный режим в южной части разделенного надвое Вьетнама. После того как и этот режим оказался на грани свержения, США в течение десяти лет вели войну во Вьетнаме, пока наконец не были побеждены и вынуждены уйти оттуда в 1975 году, сбросив на несчастную страну больше бомб, чем было сброшено за всю мировую войну.

Сопротивление в остальных частях Юго-Восточной Азии было более разрозненным. Голландцы (которые оказались гораздо способнее британцев в деколонизации своей Индийской империи без разделения ее на части) были слишком слабы, чтобы обеспечить необходимое военное присутствие на огромном Индонезийском архипелаге, большинство из островов которого было бы не прочь сохранить их в качестве противовеса засилью яванцев, численность которых составляла уже 55 миллионов. Они отказались от своих планов, когда поняли, что США не считают Индонезию важным фронтом борьбы против мирового коммунизма, в отличие от Вьетнама. Далекие от коммунистических идей новые индонезийские националисты в 1948 году довольно легко подавили восстание, возглавляемое местной коммунистической партией. В результате США решили, что голландские военные силы лучше пригодятся в Европе против предполагаемой советской угрозы, чем для сохранения их колониальных владений. Таким образом, голландцы ушли, сохранив только один форпост колониализма — западную часть огромного меланезийского острова Новая Гвинея, которая в 1960-е годы также перешла к Индонезии. В Малайе Великобритания оказалась между двух огней: с одной стороны, имелись традиционные султаны, прекрасно обходившиеся без империи, а с другой — две различные, но с одинаковым подозрением относившиеся друг к другу группы населения — малайцы и китайцы, каждая из которых была по-своему радикальна. Китайцы находились под влиянием коммунистической партии, которая имела здесь большой вес как единственная

сила, оказывавшая сопротивление Японии. После начала «холодной войны» участие коммунистов, за исключением китайцев, в составе правительства бывшей колонии было исключено, однако после 1948 года Великобритании понадобилось 12 лет, 50 тысяч солдат, 60 тысяч полицейских и 200 тысяч местных дружинников, чтобы сдерживать вооруженное сопротивление, в котором преимущественно участвовали китайцы. Безусловно, можно задаться вопросом: стала бы Великобритания платить такую цену, если бы малайское олово и каучук не были столь надежными источниками получения долларов, обеспечивая стабильность фунта? Как бы то ни было, деколонизация Малайи явилась довольно сложным делом и была завершена, к удовлетворению малайских консерваторов и китайских миллионеров, только в 1957 году. В 1965 году Сингапур, в основном населенный китайцами, отделился, провозгласив свою независимость, и вскоре превратился в очень богатый город-государство.

В отличие от Франции и Голландии, Великобритания (благодаря опыту, приобретенному в Индии) понимала, что при наличии серьезного национально-освободительного движения единственным способом удержать преимущества империи является передача ему формальной власти. Великобритания ушла с Индийского субконтинента в 1947 году, до того, как ее неспособность удержать власть стала очевидной, и без всякого сопротивления. Цейлон (переименованный в Шри-Ланку в 1972 году) и Бирма также получили независимость, что для первого стало приятным сюрпризом, у второй же вызвало большие сомнения, поскольку бирманские борцы за национальное освобождение, хотя и возглавляемые антифашистской Лигой народного освобождения, в годы войны сотрудничали с Японией. Они были так враждебно настроены по отношению к Великобритании, что единственная из всех получивших независимость британских колоний Бирма немедленно отказалась вступить в Британское Содружество — ни к чему не обязывающее объединение, с помощью которого Лондон пытался сохранить хотя бы память о Британской империи. В этом она опередила даже Ирландию, провозгласившую себя республикой вне рамок Содружества в том же году. И все же, хотя быстрый и мирный уход Великобритании из самого большого сообщества, когда-либо находившегося в подчинении и управлении иностранного завоевателя, и стал заслугой британского лейбористского правительства, пришедшего к власти в конце Второй мировой войны, вряд ли это можно было назвать полным успехом. Он был достигнут ценой кровавого раздела Индии на мусульманский Пакистан и объединяющую много религий, но преимущественно индуистскую Индию, в ходе которого примерно 700 тысяч населения стало жертвами религиозной вражды, а несколько миллионов было изгнано из домов, где жили еще их предки, на земли, которые теперь считались иностранным государством. Такое развитие событий не входило в планы ни индийских и мусульманских националистов, ни имперских властей.

Вопрос о том, каким образом к 1947 году превратилась в реальность идея о самостоятельном государстве Пакистан, сама концепция которого и название были придуманы студентами лишь в 1932—1933 годах, продолжает интересовать не только ученых, но и любителей всевозможных прогнозов в мировой истории. Поскольку, как можно оценить в ретроспективе, раздел Индии по религиозным границам создал пагубный прецедент на будущее, здесь требуются некоторые разъяснения. В известной степени это не являлось чьей-либо виной. На выборах, проводившихся в соответствии с конституцией 1935 года, Индийский национальный конгресс одержал победу даже в большинстве мусульманских районов, а Мусульманская лига — национальная партия, претендующая на защиту интересов мусульманского меньшинства,—получила малое число голосов. Победа не выражавшего интересы какой-либо определенной религиозной группы светского Индийского национального конгресса, естественно, вызвала недовольство многих мусульман (большинство которых, как и большинство индусов, не принимали участия в голосовании). Они были недовольны тем, что к власти пришли индуисты (поскольку большинство лидеров Конгресса в преимущественно индуистской стране не могли не быть индуистами). Вместо того чтобы учесть эти опасения и дать мусульманам возможность представительства во власти, Конгресс в результате этих выборов усилил свои притязания на то, чтобы стать *единственной* общенациональной партией, представляющей как индуистов, так и мусульман. Именно это побудило Мусульманскую лигу под руководством ее грозного лидера Мухаммеда Али Джинны порвать с Конгрессом и вступить на путь потенциального сепаратизма. Однако лишь после 1940 года Джинна выдвинул лозунг самостоятельного мусульманского государства.

Именно мировая война расколола Индию на две части. С одной стороны, эта была последняя большая победа обессиленного британского раджи. В последний раз он мобилизовал людей и экономику Индии для войны за Великобританию, причем в масштабе даже большем, чем в 1914—1918 годах, на этот раз против оппозиционных масс под руководством партии национального освобождения и, в отличие от Первой мировой войны, перед лицом надвигающейся угрозы военного вторжения Японии. Успехи были ошеломляющими, но цена их оказалась крайне высока. Оппозиционность Конгресса к войне заставляла его руководителей находиться вне политики и после 1942 года отправиться в изгнание. Тяготы военной экономики побудили влиятельные группы политических сторонников раджи среди мусульман, особенно в Пенджабе, отвернуться от него и привлекли их в Мусульманскую лигу (ставшую теперь массовой организацией) в тот самый момент, когда правительство в Дели, опасаясь срыва Конгрессом мобилизационных усилий, намеренно и систематически использовало вражду между мусульманами и индуистами для того, чтобы парализовать национально-освободительное движение. Те-

перь можно с уверенностью сказать, что Великобритания «разделяла, чтобы властвовать». В своей последней отчаянной попытке выиграть войну раджа погубил не только себя самого, но и легитимность своего правления. Главное достижение Индийского субконтинента заключалось в том, что все его многочисленные национальные группы могли сосуществовать относительно мирно при наличии единого беспристрастного правления и закона. После того как война закончилась, механизм коллективной политики больше не мог работать.

К 1950 году деколонизация в Азии завершилась, за исключением Индокита. Между тем регион западного ислама от Персии (Ирана) до Марокко претерпел ряд изменений вследствие национальных движений, революционных переворотов и восстаний, начавшихся с национализации западных нефтяных компаний в Иране (1951) и поворота к популизму в этой стране под руководством доктора Мухаммеда Моссадыка (1880—1967), которого поддерживала в то время могущественная партия коммунистов «Тудэ». (Неудивительно, что коммунистические партии на Ближнем Востоке в результате полной победы СССР во Второй мировой войне приобрели заметное влияние.) Моссадык был свергнут в 1953 году в результате переворота, устроенного секретными службами Англии и Америки. Революцию в Египте, осуществленную организацией «Свободные офицеры» под руководством Гамаль Абдель Насера (1918—1970), а также последующее свержение прозападных режимов в Ираке (1958) и Сирии нельзя было остановить, как в Иране, хотя Великобритания и Франция, объединившись с новым антиарабским государством Израиль, делали все возможное, чтобы свергнуть Насера во время суэцкого конфликта 1956 года (см. ниже). Франция оказывала отчаянное противодействие подъему национально-освободительного движения в Алжире (1954—1962), являвшемся одной из территорий (подобно Южной Африке и Израилю), где совместное существование местного населения с большими группами европейцев делало проблему деколонизации особенно трудноразрешимой. Алжирская война стала необычайно жестоким конфликтом, вследствие которого были узаконены пытки в армии, полиции и силах безопасности стран, претендовавших на звание цивилизованных. Эта война, во время которой в обращение было введено впоследствии широко распространенное позорное использование пыток электрошоком, привела к падению Четвертой республики (1958) и почти к свержению Пятой (1961), прежде чем Алжир смог завоевать независимость, которую генерал де Голль уже давно считал неизбежной. Между тем французское правительство тихо заключило договор об автономии, а в 1956 году и о независимости двух других своих североафриканских протекторатов — Туниса (ставшего республикой) и Марокко (оставшегося монархией). В тот же год Великобритания так же тихо согласилась на независимость Судана, ставшего ненужным после того, как она потеряла контроль над Египтом.

Не совсем ясно, когда сами империи поняли, что «эпоха империи» подошла к концу. При ретроспективном взгляде попытка Великобритании и Франции восстановить свои позиции мировой империи в суэцкой авантюре 1956 года кажется еще более обреченной на поражение, чем она, вероятно, казалась правительствам Лондона и Парижа, при содействии Израиля планировавшим эту военную операцию для свержения революционного египетского правительства полковника Насера. Эта война закончилась для них катастрофой (за исключением Израиля), тем более жалкой из-за смеси нерешительности, сомнений и никого не обманувшей изворотливости, проявленной британским премьер-министром Энтони Иденом. Едва начавшись, эта операция была прекращена под давлением США, подтолкнув Египет к сближению с СССР и навсегда положив конец тому, что было названо «звездным часом Великобритании на Ближнем Востоке» — эпохе абсолютной британской гегемонии в этом регионе с 1918 года.

Во всяком случае, к концу 1950-х годов уцелевшим старым империям стало ясно, что пришло время ликвидации формального капитализма. Только Португалия продолжала сопротивляться своему распаду, поскольку ее отсталая, политически изолированная и маргинальная экономика не соответствовала требованиям неокOLONиализма. Она нуждалась в использовании своих африканских ресурсов, но вследствие неконкурентоспособности собственной экономики могла осуществлять это только с помощью прямого контроля. ЮАР, Южная Родезия, африканские государства, значительную часть населения которых составляли белые, также отказались поддерживать политику, которая неизбежно вела к режимам, где власть принадлежала бы африканцам. Белое население Южной Родезии даже провозгласило независимость от Великобритании (1965), чтобы избежать подобной участи. Однако Париж, Лондон и Брюссель (владевший бельгийским Конго) решили, что добровольное предоставление формальной независимости при наличии экономической и культурной зависимости более предпочтительно, чем длительная война, которая могла закончиться приходом к власти левых режимов. Только в Кении имели место значительные народные волнения и повстанческая война, в которой, правда, участвовала только одна народность — кикуйю (так называемое движение «мау-мау», 1952—1956 годы). Во всех других местах политика профилактической деколонизации проводилась успешно, кроме бельгийского Конго, где она почти сразу перешла в анархию и гражданскую войну. В британской части Африки Золотой Берег (теперь Гана), уже имевший массовую партию под руководством талантливого африканского политика и panaфриканского интеллектуала Кваме Нкрумы, получил независимость в 1957 году. Французской Гвинее судьба неожиданно предоставила раннюю и приведшую к ее обнищанию независимость в 1958 году, когда ее лидер Секу Туре отказался принять предложение де Голля присоединиться к Фран-

цузскому сообществу, в котором лидер Франции сочетал автономию с жесткой зависимостью от французской экономики. Секу Туре стал первым из черных африканских лидеров, вынужденных обратиться за помощью к Москве. Почти все оставшиеся британские, французские и бельгийские колонии в Африке обрели независимость в 1960—1962 годах, остальные немного позже. Только Португалия и государства со значительным белым населением противились этой тенденции.

Большие британские колонии в Карибском бассейне были тихо деколонизированы в 1960-е годы, затем получили независимость более мелкие острова (до 1981 года), а острова Индийского и Тихого океанов — в конце 1960-х и 1970-х годов. Фактически к 1970 году не осталось сколько-нибудь значительных территорий, находившихся под непосредственным управлением бывших колониальных держав или их переселенцев, за исключением стран Центральной и Южной Африки и, конечно, охваченного войной Вьетнама. «Эпоха империи» подходила к концу. Менее чем три четверти века назад империи казались нерушимыми. Даже тридцатью годами раньше они охватывали большую часть народов земного шара. Безвозвратно ушедшая в прошлое «эпоха империи» стала частью сентиментальных литературных и кинематографических мемуаров, выпускавшихся в бывших имперских государствах, в то время как новое поколение писателей из бывших колоний прокладывало путь литературе «эпохи независимости».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«Золотая эпоха»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Холодная война»

Хотя Советская Россия намеревается распространять свое влияние всеми возможными средствами, мировая революция больше не является частью ее программы, а в Советском Союзе нет никаких внутренних условий, которые могли бы способствовать возвращению к былым революционным традициям. При сравнении германской предвоенной угрозы и теперешней советской опасности должны учитываться (...) фундаментальные различия между ними (...). Поэтому угроза внезапного нападения со стороны России несравнимо меньше, чем была со стороны Германии.

*Фрэнк Робертс, Британское посольство в Москве
Министерству иностранных дел в Лондоне, 1946 (Jensen, 1991, p. 56)*

Военная экономика обеспечивает удобное существование для десятков тысяч бюрократов в военной форме и без нее, которые каждый день ходят на службу, чтобы создавать ядерное оружие или планировать ядерную войну; для миллионов трудящихся, чья работа зависит от системы ядерного террора, для ученых и инженеров, нанятых для поиска этого окончательного «технологического прорыва», могущего обеспечить полную безопасность, для подрядчиков, не желающих упускать легкие прибыли, для экспертов по войне, торгующих угрозами и благословляющих войны.

Ричард Барнет (Barnet, 1981, p. 97)

I

Сорок пять лет, с момента первого применения атомной бомбы до развала Советского Союза, не являются однородным периодом в мировой истории. Как мы увидим в следующих главах, этот период распадается на две части — до и после водораздела, произошедшего в начале 1970-х годов (см. главы 9 и 14). Тем не менее история всего этого отрезка времени была объединена в единое целое специфической международной ситуацией, преобладавшей до

развала СССР. Это была так называемая «холодная война» — конфронтация двух сверхдержав, возникшая после войны.

Едва закончилась Вторая мировая война, человечество погрузилось в то, что вполне можно считать третьей мировой войной, хотя и довольно специфической. По наблюдению великого философа Томаса Гоббса, «война состоит не только из одних сражений и непосредственного процесса борьбы, но также из отрезков времени, когда желание самоутвердиться посредством войны становится общепризнанным» (*Hobbes, chapter 13*). «Холодная война» между двумя лагерями, американским и советским, доминировавшими на международной сцене во второй половине «короткого двадцатого века», безусловно, была таким периодом. Целые поколения вырастали под угрозой мировой ядерной войны, которая (во что верили очень многие) может разразиться в любой момент и уничтожить человечество. Однако даже те, кто не верил, что обе сверхдержавы хотят подобной войны, с трудом удерживались от пессимизма, поскольку закон Мёрфи, являющийся одним из самых верных обобщений человеческого опыта, гласит: «Если может стать хуже, рано или поздно это случится». Шло время, появлялось все больше слабых мест, где дела могли пойти хуже, как в политическом, так и в техническом аспектах. Продолжавшееся ядерное противостояние было основано на послышке, что только страх взаимного гарантированного уничтожения может воспрепятствовать каждой из сторон подать сигнал к запланированному уничтожению человечества. Непоправимое не произошло, но в течение примерно сорока лет каждый день над миром висела эта угроза.

Характерная особенность «холодной войны» заключалась в том, что, говоря объективно, никакой нависшей над миром глобальной опасности войны не существовало. Более того, вопреки апокалиптическим выступлениям обеих сторон, но главным образом американской, правительства обеих сверхдержав признали мировое распределение сил, сложившееся в конце войны, в результате чего был достигнут в достаточной степени неравный, но весьма устойчивый баланс. СССР держал под контролем зону, оккупированную в конце войны Красной армией и/или другими коммунистическими армиями, и не предпринимал попыток распространить свою сферу влияния дальше с помощью военной силы. США осуществляли контроль и господствовали над остальной частью капиталистического мира, а также над Западным полушарием и океанами, взяв в свои руки то, что осталось от имперской гегемонии бывших колониальных держав. В свою очередь, они не вторгались в зону признанных советских интересов.

В Европе демаркационные линии были определены в 1943—1945 годах во время встреч на высшем уровне между Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным на основании того факта, что только Красная армия была в состоянии одержать победу над гитлеровской Германией. Существовали некоторые неопределенности, особенно в отношении границ Германии и Австрии, но и они бы-

ли разрешены после раздела Германии по линиям размежевания Западной и Восточной оккупационных зон и вывода всех армий воевавших стран из Австрии, ставшей чем-то вроде второй Швейцарии — маленькой нейтральной страной, вызывавшей зависть своим устойчивым процветанием и поэтому справедливо считавшейся «скучной». СССР неохотно, но признал Западный Берлин в качестве западного анклава на территории Восточной Германии, ставшей зоной его влияния, поскольку не был готов отстаивать этот вопрос.

Ситуация за пределами Европы была менее определенной, кроме Японии, подвергшейся односторонней оккупации США, что исключало здесь присутствие не только СССР, но и любого другого государства, участвовавшего в войне. Проблема заключалась в том, что конец старых колониальных империй в Азии был предсказуем, а после 1945 года и явно неминуем, однако будущий курс новых постколониальных государств далеко не ясен. Как мы увидим ниже (см. главы 12 и 15), это оказался именно тот регион, где две мировые сверхдержавы продолжали в течение всей «холодной войны» соперничать за зоны влияния, и, следовательно, главный объект разногласий между ними, т. е. зона, где вооруженный конфликт был наиболее вероятен и в конце концов действительно произошел. В отличие от Европы, здесь не представлялось возможным предвидеть границы сферы будущего коммунистического влияния, не говоря уже о том, чтобы согласовать их заранее, даже приблизительно. Так, СССР не особенно хотел коммунистического переворота в Китае, который тем не менее произошел.

Однако даже в той части земного шара, которая вскоре стала называться третьим миром, через несколько лет начали возникать условия для международной стабильности, когда стало ясно, что большинство новых постколониальных государств, как бы враждебно они ни были настроены по отношению к США и их лагерю, являлись некоммунистическими, даже в большинстве своем антикоммунистическими в своей внутренней политике, а в международной политике принадлежали к «неприсоединившимся» (т. е. не входящим в советский военный блок). Одним словом, коммунистический лагерь не проявлял никаких тенденций к серьезной экспансии со времени китайской революции до 1970-х годов, когда коммунистический Китай уже не принадлежал к нему (см. главу 16).

По существу вскоре после войны обстановка в мире стала достаточно стабильной и оставалась такой вплоть до середины 1970-х годов, когда международная система и ее составляющие вступили в очередную полосу затяжного политического и экономического кризиса. До этого времени обе сверхдержавы признавали сложившееся неравное разделение мира и прилагали все усилия для разрешения разногласий по поводу сфер влияния, не вступая в открытые столкновения, которые могли привести к войне между ними. Вопреки идеологии и лозунгам «холодной войны» они вырабатывали концепцию о возможности долгосрочного мирного сосуществования. На самом деле, когда

возникали кризисные моменты, обе стороны были уверены в сдержанности друг друга даже в те времена, когда они официально находились на грани войны или участвовали в ней. Так, во время корейской войны 1950—1953 годов, в которой США участвовали официально, а СССР не участвовал, Вашингтон достоверно знал, что по меньшей мере 150 китайских самолетов на самом деле были советскими и управляли ими советские пилоты (*Walker, 1993, p. 75—77*). Эту информацию американцы держали в секрете, поскольку резонно предполагали, что Москва совсем не желала быть втянутой в войну. Во время кубинского ракетного кризиса 1962 года, как теперь известно (*Ball, 1992; Ball, 1993*), главной заботой обеих сторон было предотвратить те действия, которые могли быть расценены как шаги к развязыванию войны.

До 1970-х годов подобное негласное приравнивание «холодной войны» к «холодному миру» соблюдалось. СССР понял еще в 1953 году, что призывы США к борьбе с коммунизмом были не более чем спектаклем, и советским танкам спокойно разрешили подавить антикоммунистическое восстание рабочих в Восточной Германии. С тех пор (что подтвердила венгерская революция 1956 года) Запад держался в стороне от зоны советского влияния. В «холодной войне» основные решения принимались не на уровне правительств, а тайно, на уровне их всевозможных официальных и неофициальных секретных служб, побочным результатом деятельности которых стало усиление международной напряженности, а также расцвет литературы о шпионаже и тайных убийствах. В этом жанре Великобритания с ее Джеймсом Бондом Йэна Флеминга и кисло-сладкими героями Джона Ле Карре (оба писателя в свое время служили в британской секретной службе) удерживала прочное первенство, этим компенсируя утрату реальной власти в мире. Однако, за исключением деятельности в самых слабых странах третьего мира, операции КГБ, ЦРУ и подобных организаций выглядели довольно незначительными на фоне реальной политики держав, хотя зачастую яркими и захватывающими.

Были ли моменты во время этого долгого периода напряженности, когда угроза мировой войны являлась реальной, за исключением инцидентов, которые неминуемо угрожают тем, кто так долго скользит по тонкому льду? Трудно сказать. Вероятно, наиболее взрывоопасным являлся период между официальным провозглашением «доктрины Трумэна» в марте 1947 года («Я считаю,—заявлял Трумэн,— что политикой Соединенных Штатов должна стать поддержка свободных народов, сопротивляющихся попыткам порабощения, предпринимаемым вооруженным меньшинством или внешними силами») и апрелем 1951 года, когда Трумэн снял с должности генерала Дугласа Макартура [командующего американскими войсками в корейской войне (1950—1953)], слишком далеко зашедшего в своих военных амбициях. Это был период, когда страх Америки перед социальной дезинтеграцией и революцией на неподконтрольной коммунистам территории Евразии не был совершенно беспочвенным (в 1949 году в

Китае власть захватили коммунисты). С другой стороны, теперь СССР противостояли США, обладавшие монополией на ядерное оружие и все чаще использовавшие угрожающую милитаристскую и антикоммунистическую риторику. В это же время в монолитном советском блоке появилась первая трещина, когда из него вышла Югославия во главе с Тито (1948). Кроме того, с 1949 года в Китае к руководству пришел режим, не только с радостью ввязавшийся в масштабный корейский конфликт, но (в отличие от прочих национальных правительств) реально желавший сражаться и выжить в атомном холокосте *. В подобной ситуации в этом регионе могло произойти все, что угодно.

Как только СССР получил ядерное оружие [атомную бомбу через четыре года после Хиросимы (1949), а водородную — через девять месяцев после того, как она появилась в США (1953)], обе сверхдержавы сразу же отказались от войны как политического инструмента противостояния друг другу, поскольку она стала путем к самоубийству. Имели ли они серьезные планы применения ядерного оружия против третьей стороны (США во время войны в Корее в 1951 году и для спасения французов во Вьетнаме в 1954 году, а СССР против Китая в 1969 году), не совсем ясно, во всяком случае это оружие так и не было применено. Но иногда обе сверхдержавы использовали ядерную угрозу, почти наверняка не собираясь ее осуществить: США — для того чтобы ускорить мирное урегулирование в Корее и Вьетнаме (1953, 1954), СССР — для того чтобы вынудить Великобританию и Францию уйти из Суэца в 1956 году. К несчастью, сама уверенность в том, что ни одна из сверхдержав в действительности не захочет нажать на ядерную кнопку, искушала каждую из сторон разыгрывать ядерную карту в переговорных процессах и (как в случае США) для осуществления внутривосточных целей. Эта уверенность оправдалась, однако ценой колоссального напряжения нервов нескольких поколений. Кубинский ракетный кризис 1962 года (совершенно бессмысленное испытание, которому было подвергнуто человечество, когда в течение нескольких дней оно находилось на краю никому не нужной войны) до такой степени перепугал лиц, принимавших решения на самом высшем уровне, что некоторое время они даже вели себя разумно **.

* Рассказывают, что Мао заявил лидеру итальянских коммунистов Тольятти: «Почему вы считаете, что Италия должна выжить? Останутся триста миллионов китайцев, и этого будет достаточно для продолжения существования человеческой расы». В 1957 году «энергичная готовность Мао принять неотвратимость ядерной войны и ее возможную полезность как способ окончательного поражения капитализма ошеломляла его товарищей из других стран» (Walker, 1993, p. 126).

** Советский лидер Н. С. Хрущев решил разместить советские ракеты на Кубе для установления баланса с американскими ракетами, уже размещенными в Турции (Burlatsky, 1992). США вынудили его вывести их под угрозой войны, но сами также убрали свои ракеты из Турции. Советские ракеты, как в то время информировали президента Кеннеди, не влияли на стратегический баланс сил, хотя имели большое значение для репутации президента (Ball, 1992, p. 18; Walker, 1988). Выведенные американские ракеты были названы «устаревшими».

II

Какими же причинами в таком случае можно объяснить сорок лет вооруженной конфронтации, основанной на всегда маловероятном, а в то время и просто лишенном оснований предположении, что обстановка на земном шаре крайне нестабильна, что мировая война готова начаться в любой момент и может сдерживаться только с помощью постоянного взаимного устрашения? Прежде всего, «холодная война» опиралась на убежденность Запада (сейчас, по прошествии времени, кажущуюся абсурдной, однако после окончания Второй мировой войны бывшую вполне естественной), что «эпоха катастроф» отнюдь не закончилась и что будущее мирового капитализма и либерального общества далеко не гарантировано. Большинство экспертов предсказывало серьезный послевоенный экономический кризис (даже в США), аналогичный кризису, произошедшему после Первой мировой войны. Знаменитый экономист, будущий лауреат Нобелевской премии, в 1943 году предрекал США возможность «периода самой жестокой безработицы и самых страшных перебоев в производстве, с которыми вообще когда-либо сталкивалась экономика» (*Samuelson, 1943, p. 51*). И действительно, послевоенные планы американского правительства были гораздо больше связаны с предотвращением еще одной Великой депрессии, чем с предупреждением новой войны. Второму из этих вопросов Вашингтон тогда уделял лишь отрывочное внимание (*Kolko, 1969, p. 244—246*).

Ожидание Вашингтоном «огромных послевоенных трудностей, подрывавших социальную, политическую и экономическую стабильность в мире» (*Dean Acheson, цит. по: Kolko, 1969, p. 485*), объяснялось тем, что в конце войны страны, которые в ней участвовали, за исключением США, являли собой поля руин, на которых обитали, по представлениям американцев, голодные, отчаявшиеся и, скорее всего, радикализованные народы, готовые откликнуться на призывы к социальной революции и проведению экономической политики, несовместимой с международной системой свободного предпринимательства, свободной торговли и капиталовложений, призванных спасти Соединенные Штаты и остальной мир. Кроме того, рухнула вся довоенная мировая политическая система, оставив США перед лицом многократно увеличившего свою мощь коммунистического СССР, утвердившего свое влияние на обширных пространствах Европы и еще более обширных неевропейских пространствах, политическое будущее которых казалось крайне неопределенным, за исключением того, что в этом нестабильном и взрывоопасном мире, похоже, все, что ни случалось, способствовало ослаблению капитализма и укреплению власти, возникшей в результате революции и для ее осуществления.

Ситуация, сложившаяся после войны во многих освобожденных и оккупированных странах, казалось, должна была подорвать положение умеренных

политиков, почти не имевших помощи, кроме поддержки западных союзников, и осаждаемых коммунистами как внутри, так и за пределами своих правительств. После войны коммунисты повсеместно стали сильнее, чем когда-либо раньше, и иногда являлись самыми многочисленными партиями и электоральными силами в своих странах. Социалистический премьер-министр Франции отправился в Вашингтон, чтобы предупредить о том, что без экономической помощи он вынужден будет уступить коммунистам. Катастрофически низкий урожай 1946 года, сопровождавшийся суровой зимой 1946/47 года, еще больше осложнил положение европейских политиков и обеспокоил советников американского президента.

При таких обстоятельствах не приходится удивляться, что созданному в военное время союзу между главной капиталистической и социалистической державами теперь, когда стала расширяться зона влияния последней, суждено было распасться (что после окончания войн так часто происходило с гораздо менее антагонистическими коалициями). Однако этого объяснения явно недостаточно для того чтобы понять, почему политика США (союзников и государств — клиентов Вашингтона, возможно, за исключением Великобритании, сказанное касается в меньшей степени) должна была основываться, по крайней мере в своих публичных проявлениях, на кошмарном сценарии, в котором Москве приписывалось руководство глобальным коммунистическим заговором и намерение немедленно покорить весь земной шар. Еще менее понятна общая тональность предвыборной риторики Дж. Ф. Кеннеди в ходе кампании 1960 года, в то самое время, когда «современному свободному обществу — новой форме капитализма» (формулировка британского премьер-министра Гарольда Макмиллана (*Horne, 1989, vol. II, p. 283*) — едва ли что-то угрожало в ближайшем будущем*.

Откуда взялась столь апокалиптическая послевоенная точка зрения «профессионалов из госдепартамента»? (*Hughes, 1969, p. 28*) Почему даже уравновешенный британский дипломат, отвергавший какое-либо сходство между СССР и нацистской Германией, в то время сообщал из Москвы, что мир «стоит перед угрозой современного аналога религиозных войн шестнадцатого века, где советский коммунизм будет сражаться с западной демократией и американской версией капитализма за господство над миром?» (*Jensen, 1991, p. 41, 53—54; Roberts, 1991*). Даже в 1945—1947 годы уже можно было понять, что СССР не строил планов экспансии и не рассчитывал на какое-либо дальнейшее расширение коммунистического влияния за теми пределами, которые были оговорены на конференциях 1943—1945 годов. И действительно, даже

* «Врагом является сама коммунистическая система — непримиримая, ненасытная, неустанная в своем стремлении к мировому господству (...) Это не борьба только за превосходство вооружения. Это также борьба за превосходство между двумя враждебными идеологиями — идеей свободы, благословленной богом, и безжалостной, безбожной тиранией» (*Walker, 1993, p. 132*).

там, где Москва контролировала зависимые от нее режимы и коммунистические движения, они не были особенно склонны строить свои государства по образцу СССР, а создавали смешанные экономики под руководством многопартийных парламентских демократий, весьма отличавшихся от «диктатуры пролетариата» и еще более от диктатуры одной партии, которая в их внутрипартийных документах называлась «бесполезной и ненужной» (*Spriano, 1983, p. 265*). (Единственными коммунистическими режимами, отказавшимися поддерживать эту линию, были те, которые, разочаровавшись в Сталине, ушли из-под контроля Москвы, например Югославия.) Кроме того, хотя это и не привлекало большого внимания, Советский Союз демобилизовал вооруженные силы почти так же быстро, как и США, сократив Красную армию, максимальная численность которой в 1945 году достигала почти 12 миллионов, до 3 миллионов к концу 1948 года (*New York Times, 24/10/1946; 24/10/1948*).

По всем разумным оценкам, СССР не представлял прямой угрозы ни для кого за пределами досягаемости оккупационных сил Красной армии. Из войны он вышел разрушенным, истощенным и обессиленным, с разваленной экономикой, с правительством, которое не пользовалось доверием населения, большая часть которого за пределами Великороссии выказывала явное и вполне объяснимое отсутствие преданности режиму. На западных границах СССР в течение нескольких лет продолжалась борьба с украинскими и иными националистами. Страной правил диктатор, продемонстрировавший, что он столь же не склонен к риску за границами территории, которую непосредственно контролирует, сколь безжалостен в ее пределах (см. главу 13). СССР отчаянно нуждался в любой экономической помощи, которую мог получить, и поэтому не был заинтересован в противостоянии единственной державе, США, способной предоставить эту помощь. Без сомнения, Сталин как коммунист верил, что коммунизм неминуемо придет на смену капитализму и сосуществование двух систем не будет долговременным. Однако советские планирующие органы в конце Второй мировой войны отнюдь не считали, что капитализм как таковой переживает кризис. Они не сомневались, что он будет существовать еще долгое время при гегемонии США, чье многократно возросшее благосостояние и могущество были слишком очевидны (*Loth, 1988, p. 36—37*). Именно этого ожидал и боялся СССР*. Его основная позиция после войны была не наступательной, а оборонительной.

Однако политика конфронтации с обеих сторон диктовалась ситуацией, сложившейся в мире. СССР, озабоченный ненадежностью и незащищенностью своего положения, противостоял США, мировой державе, озабоченной

* СССР был бы еще более встревожен, если бы знал, что администрация США разработала план атомных бомбардировок двадцати главных советских городов через десять недель после окончания войны (*Walker, 1993, p. 26—27*).

неустойчивостью и незащищенностью Центральной и Западной Европы и неопределенностью будущего большей части Азии. Это противостояние могло возникнуть и не на идеологической почве. Джордж Кеннан, американский дипломат, который в начале 1946 года сформулировал политику «сдерживания», которую Вашингтон принял с энтузиазмом, не верил, что Россия участвует в крестовом походе за коммунизм и, как показала его последующая карьера, сам не являлся борцом за идею (кроме, возможно, борьбы против демократической политики, о которой он был самого низкого мнения). Он был просто хорошим специалистом по России, принадлежавшим к старой школе дипломатии, проповедовавшей политику силы. Как и многие эксперты в министерствах иностранных дел Европы, он считал Россию, царскую или большевистскую, отсталым варварским обществом, управляемым людьми, движимыми «традиционным русским инстинктом саморазрушения», всегда обособляющими себя от внешнего мира, автократами, старающимися обрести мир лишь путем изнурительной смертельной борьбы до полного уничтожения противника, никогда не идущими с ним на компромиссы, вследствие чего всегда следующими логике силы и никогда логике разума. Коммунизм, по его мнению, несомненно сделал прежнюю Россию более опасной, дав самой варварской из великих держав самую жестокую утопию и идеологию, нацеленные на покорение мира. Смысл его тезиса заключался в том, что единственная держава, способная противостоять СССР, а именно США, обязана сдерживать это наступление с помощью столь же бескомпромиссного противодействия.

С другой стороны, Москва считала, что единственная разумная стратегия защиты и использования своего нового выигрышного, но непрочного положения мировой сверхдержавы является точно такой же: никаких компромиссов. Никто лучше Сталина не знал, какими плохими картами он вынужден играть. Не могло быть и речи ни о каких уступках, предлагаемых Рузвельтом и Черчиллем, поскольку силы СССР стали решающими в победе над Гитлером и могли оказаться таковыми в победе над Японией. СССР в случае необходимости должен быть готов отступить от любой незащищенной позиции, за исключением тех, которые были закреплены на конференциях 1943—1945 годов, в особенности в Ялте. Так, в 1945—1946 годах он был готов вести переговоры по поводу границ Ирана и Турции. Однако любая попытка пересмотра ялтинских соглашений могла встретить лишь категорический отказ. Печально известным стало «нет» сталинского министра иностранных дел Молотова на всех международных встречах после Ялты. Американцы обладали властью, однако не беспредельной. До декабря 1947 года у них даже не было самолетов для транспортировки двенадцати имевшихся атомных бомб (*Moisi, 1981, p. 78—79*). СССР тогда еще такими бомбами не обладал. Однако Москва не могла себе позволить пойти на уступки, даже в обмен на обещание край-

не необходимой экономической помощи, которую, кстати, американцы не спешили ей предоставлять, ссылаясь на то, что «затеряли» советскую просьбу о послевоенном займе, поданную перед ялтинской встречей.

Одним словом, в то время как США беспокоились по поводу опасности возможного советского доминирования в неопределенном будущем, Москву тревожило действительное превосходство США в данный момент во всех частях земного шара, не оккупированных Красной армией. Не надо было прилагать много усилий для того, чтобы превратить ослабленный и истощенный СССР в еще один регион, зависимый от американской экономики, которая в то время была сильнее, чем все остальные, вместе взятые. Бескомпромиссность диктовалась логикой событий.

Однако политика взаимной неприязни и соперничества двух держав не обязательно влечет за собой постоянную угрозу войны. Министры иностранных дел Великобритании девятнадцатого века, считавшие само собой разумеющимся, что захватнические устремления царской России должны постоянно «сдерживаться» (вполне в духе Кеннана), прекрасно знали, что вспышки открытой конфронтации случаются крайне редко, а военные кризисы — еще реже. Еще менее взаимное противостояние подразумевает политику борьбы не на жизнь, а на смерть, подобную религиозной войне. Однако два обстоятельства в этой ситуации способствовали переходу конфронтации из области здравого смысла в область эмоций. Подобно СССР, США являлись державой, представлявшей идеологию, которую большинство американцев считали идеальной моделью для остального мира. Но в отличие от СССР, США являлись не диктатурой, а демократией. К сожалению, следует заметить, что второе было, возможно, гораздо опаснее, чем первое.

Дело в том, что советскому правительству, хотя оно также демонизировало своего мирового антагониста, в отличие от американского правительства не нужно было беспокоиться о том, чтобы завоевать голоса в Конгрессе или на президентских выборах. Для подобных целей был очень полезен апокалиптический антикоммунизм. Поэтому им соблазнялись не только те политики, которые, как военно-морской министр в кабинете Трумэна Джеймс Форрестол (1882—1949), были достаточно невменяемы, чтобы выпрыгнуть из бокового окна, якобы завидев приближающиеся русские танки, но и те, кто сам не верил в собственную риторику. Наличие внешнего врага, угрожающего США, было выгодно американским властям, справедливо полагавшим, что США теперь стали мировой державой (фактически самой могущественной в мире), которые считали традиционный «изоляционизм» и протекционизм главной внутренней помехой. Пока не была обеспечена безопасность Америки, нельзя было мечтать об уходе от ответственности и о преимуществах мирового лидерства, как после Первой мировой войны. Говоря более конкретно, тактика публичной истерии давала возможность президентам собирать с

населения, печально известного своим нежеланием платить налоги, большие суммы, требуемые для американской политики. Антикommунизм не мог не быть популярен в стране, построенной на индивидуализме и частном предпринимательстве, где само понятие нации определялось исключительно в идеологических терминах («американизм»), полярно противоположных коммунизму. (Не следует также забывать и о голосах иммигрантов из советизированной Восточной Европы.) Однако не американское правительство начало грязную и безрассудную антикоммунистическую охоту на ведьм, а пустые демагоги (некоторые из них, как печально известный сенатор Джозеф Маккарти, даже не являлись ярыми антикоммунистами), обнаружившие политический потенциал, имевшийся в огульном обличении внутреннего врага *. Этот бюрократический потенциал был давно открыт Эдгаром Гувером (1895—1972), несменяемым шефом Федерального бюро расследований. То, что один из главных архитекторов «холодной войны» назвал «атакой пещерных людей» (*Acheson, 1970, p. 462*), с одной стороны, облегчало, а с другой — ограничивало политику Вашингтона, вынуждая ее к крайностям, особенно в годы, последовавшие за победой коммунистов в Китае, в которой, естественно, обвиняли Москву.

В то же время шизофренические требования заботящихся о голосах избирателей политиков проводить линию сдерживания «коммунистической агрессии», экономить деньги и как можно меньше тревожить покой американцев вынудили Вашингтон не только к утверждению преимущества бомб перед людьми, но и к зловещей стратегии «массированного ответного удара», провозглашенной в 1954 году. Потенциального агрессора следовало пугать ядерным оружием даже в случае неядерной атаки с ограниченной задачей. Одним словом, США стали приверженцами агрессивной позиции при минимуме тактической гибкости.

Таким образом, обе стороны оказались втянуты в безумную, взаиморазрушительную гонку вооружений, вдохновляемую определенного рода ядерными генералами и ядерными теоретиками, профессия которых, собственно говоря, и требовала такого безумия. Обе стороны столкнулись также с явлением, которое президент Эйзенхауэр, уравновешенный военный старой выучки, президентство которого как раз совпало с периодом погружения в психоз (сам он этого избежал), назвал «военно-промышленным комплексом», т. е. все большей концентрацией людей и ресурсов, существовавших за счет подготовки к войне. Как можно было ожидать, военно-промышленные комплексы обеих держав стимулировались их правительствами, чтобы ис-

* Единственным заметным политиком, возникшим из преисподней охоты на ведьм, стал Ричард Никсон, наиболее отталкивающая личность среди послевоенных американских президентов (1968—1974).

пользовать избыточные мощности для привлечения и вооружения союзников и зависимых государств и, не в последнюю очередь, для того, чтобы завоевывать выгодные экспортные рынки, при этом оставляя для собственных нужд самое современное вооружение и, конечно же, ядерное оружие, поскольку на практике сверхдержавы тщательно оберегали свою ядерную монополию. Великобритания получила собственную ядерную бомбу в 1952 году, вероятно, чтобы уменьшить зависимость от США; Франция (ядерный арсенал которой был фактически независим от США) и Китай стали ядерными державами в 1960-е годы. Но пока продолжалась «холодная война», их арсеналы не играли заметной роли. В 1970-е и 1980-е годы некоторые другие страны получили возможность создать ядерное оружие (например, Израиль, Южная Африка и, возможно, Индия), однако его распространение стало международной проблемой только после исчезновения биполярного мира в 1989 году.

Так на ком же лежит ответственность за «холодную войну»? Поскольку споры по этому вопросу долгое время служили поводом для идеологических препирательств между теми, кто возлагал вину исключительно на СССР, и диссидентами (прежде всего американскими), винившими в ней главным образом США, весьма заманчиво присоединиться к тем историческим миротворцам, которые выводят ее из обоюдного страха, эволюционировавшего от простой конфронтации до «сосредоточения двух вооруженных лагерей под двумя противостоящими знаменами» (*Walker, 1993, p. 55*). Это, безусловно, так, однако это не вся правда. Подобная трактовка объясняет так называемое «замораживание» фронтов в 1947—1949 годах, поэтапный раздел Германии начиная с 1947 года до строительства Берлинской стены в 1961 году, неудачу антикоммунистов на Западе, пытавшихся избежать окончательного втягивания в военный союз под руководством США (устоял лишь генерал де Голль во Франции), тщетность попыток народных демократий на восточной стороне водораздела избежать полного подчинения Москве (исключением стал маршал Тито в Югославии). И все же это не объясняет апокалиптической атмосферы «холодной войны», шедшей из Америки. Все западноевропейские правительства, независимо от того, имелись у них большие коммунистические партии или нет, были искренне антикоммунистическими и решительно настроены защитить себя от возможного советского военного нападения. Никто из них не стал бы колебаться в выборе между США и СССР, даже те, от кого исторические или политические обстоятельства требовали нейтралитета. Однако противодействие «мировому коммунистическому заговору» не являлось существенной частью внутренней политики ни одной из стран, претендовавших на то, чтобы называться политическими демократиями, по крайней мере в первые послевоенные годы. Среди демократических стран только в США президенты избирались (как Джон Ф. Кеннеди в 1960 году) по принци-

пу ненависти к коммунизму, который в этой стране имел не больше влияния, чем буддизм в Ирландии. Если кто-то и вносил дух крестовых походов в *realpolitik* международной конфронтации держав, так это Вашингтон. Фактически главным вопросом была не теоретическая угроза мирового господства коммунизма, а поддержание реального превосходства США*. Это ясно продемонстрировала риторика предвыборной кампании Дж. Ф. Кеннеди. Однако следует добавить, что правительства стран НАТО, хотя и не выражали восторга по поводу политики США, были готовы признать американское лидерство в обмен на защиту от военной державы с ненавистной им политической системой, пока эта система продолжала существовать. Они так же, как и Вашингтон, не были готовы доверять СССР. Одним словом, всеобщей являлась политика «сдерживания», а не разрушения коммунизма.

III

Хотя наиболее очевидными проявлениями «холодной войны» на Западе стали военное противостояние и иступленная ядерная гонка вооружений, не это являлось ее главным последствием. Атомную бомбу так ни разу и не применили. Ядерные державы принимали участие в трех крупных войнах (однако не друг против друга). Потрясенные победой коммунизма в Китае, США и их союзники под эгидой ООН вмешались в войну в Корее в 1950 году, чтобы предотвратить распространение на юг коммунистического режима, установленного на севере. Эта война закончилась вничью. По той же причине они вторглись во Вьетнам и потерпели поражение. СССР вывел свои войска из Афганистана в 1988 году после восьми лет оказания военной помощи дружественному правительству Афганистана в борьбе против поддерживаемых Америкой и Пакистаном повстанцев. Иными словами, оказалось, что дорогостоящее высокотехнологичное вооружение не решало вопроса в этом соревновании сверхдержав. Постоянная угроза войны породила международное движение за мир, по существу нацеленное против ядерной бомбы, которое время от времени в некоторых регионах Европы приобретало массовый характер и рассматривалось сторонниками «холодной войны» как секретное оружие коммунистов. Это движение за ядерное разоружение не имело решающего значения, хотя одна из разновидностей антивоенного протеста — выступления молодых американцев против призыва на войну во Вьетнаме (1965—1975) — оказалась весьма эффективной. К концу «холодной войны» это движение оставило по се-

* «Мы укрепим нашу мощь и снова станем первыми. Не первыми „если“, не первыми „но“, а первыми исторически. Я хочу, чтобы мир думал не о том, что делает мистер Хрущев. Я хочу, чтобы его интересовало то, что делают Соединенные Штаты» (*Beshloss, 1991, p. 28*).

бе добрую память как борьба за справедливое дело, и некоторые курьезные воспоминания, как, например, антиядерные девизы молодежной контркультуры после 1968 года и укоренившееся среди защитников окружающей среды предубеждение против любого вида ядерной энергии.

Гораздо более очевидными являлись политические последствия «холодной войны». Почти сразу же она поляризовала мир, расколов его на два противоположных лагеря, контролируемых сверхдержавами. В 1947—1948 годах правительства антифашистского национального единства, выводившие Европу из войны (за исключением трех воевавших государств — СССР, США и Великобритании), преобразовались в однородные прокоммунистические или антикоммунистические режимы. На Западе коммунисты исчезли из правительств, превратившись в вечных политических изгоев. США даже планировали военную интервенцию в Италии, если там на выборах 1948 года победят коммунисты. СССР проводил такую же политику, устраняя антикоммунистов из многопартийных «народных демократий», которые с того времени перекалифицировались в разновидности «диктатуры пролетариата», т. е. диктатуры коммунистических партий. Первоначально ориентированный на Европу Коммунистический интернационал, подвергшийся большим сокращениям и ставший Коминформом, или Коммунистическим информационным бюро, был переориентирован для противостояния США, а затем тихо распущен в 1956 году, когда международная напряженность начала спадать. Жесткий советский контроль был установлен во всей Восточной Европе, за исключением, как ни странно, Финляндии, которая, хотя и полагалась на милость СССР, тем не менее в 1948 году изгнала свою сильную коммунистическую партию из правительства. Почему Сталин воздержался от создания там марионеточного правительства, до сих пор остается неясным. Возможно, высокая вероятность того, что финны опять возьмутся за оружие (как они сделали в 1939—1940 и 1941—1944 годах), останавливала его, поскольку он, безусловно, не хотел начала войны, могущей иметь непредсказуемые последствия. Он пытался навязать советский контроль Югославии Тито, но потерпел поражение, в результате чего Югославия в 1948 году порвала отношения с Москвой, однако не перешла в противоположный лагерь.

С тех пор политика коммунистического блока стала предсказуемо монолитной, хотя неустойчивость этого монолита после 1956 года являлась все более очевидной (см. главу 16). Политика европейских государств, входивших в блок США, была не столь одноцветной, поскольку фактически все местные партии, за исключением коммунистов, объединяла лишь их неприязнь к Советам. Поэтому для их внешней политики не имело значения, кто находится у власти. Однако США упростили задачу в странах двух бывших своих врагов, Японии и Италии, создав основу для стабильной однопартийной системы. В результате в Токио с благословения американцев была создана Либе-

рально-демократическая партия (1955), а в Италии, настояв на полном отстранении от рычагов управления оппозиционной коммунистической партии, США передали власть христианским демократам, разбавив их, как того требовали обстоятельства, карликовыми партиями—либералами, республиканцами и т. д. С начала 1960-х годов лишь одна имевшая вес партия, социалистическая, вступила в правительственную коалицию, порвав с коммунистами после длительного союза с ними, продолжавшегося с 1956 года. Последствием в обеих этих странах стало появление постоянной коммунистической оппозиции (в Японии социалистической) и установление режима, при котором коррупция в правительственных институтах достигла столь ошеломляющих масштабов, что, когда в результате скандалов 1992—1993 годов были выявлены ее размеры, то они повергли в шок даже привычных к подобным вещам итальянцев и японцев. Правительство и оппозиция, деятельность которых в этот период была почти заморожена, рухнули в то самое время, когда нарушился баланс сверхдержав, удерживавший их на плаву.

Несмотря на то что США вскоре отказались от своей реформаторской анtimoнопольной политики, которую советники рузвельтовской школы поначалу навязали оккупированной Германии и Японии, после войны, к счастью для душевного покоя американских союзников, с публичной сцены исчезли национал-социализм, фашизм, открытый японский национализм и большая часть правоэкстремистских и националистических политических течений. Следовательно, в то время невозможна была мобилизация этих крайне эффективных антикоммунистических элементов в борьбе «свободного мира» против «тоталитаризма», в чем были заинтересованы возрождаемые крупные немецкие корпорации и японские дзайбацу*. Поэтому политический диапазон западных правительств времен «холодной войны» простирался от довоенных социал-демократов слева до умеренного правого ненационалистического фланга. При этом особо важную роль играли партии, связанные с Католической церковью, поскольку ее антикоммунистические и консервативные симпатии были общеизвестны. Поддерживающие ее христианско-демократические партии (см. главу 4) имели не только прочную антифашистскую репутацию, но и социальную программу (несоциалистическую). Таким образом, в западной политике после 1945 года эти партии играли центральную роль, кратковременную во Франции, но более долгосрочную в Германии, Италии, Бельгии и Австрии (см. ниже).

Влияние «холодной войны» на внешнюю политику европейских государств оказалось более сильным, чем на их внутреннюю политику. Результатом явилось создание Европейского сообщества со всеми его проблемами —

* При этом бывшие фашисты с самого начала систематически использовались государственными разведывательными службами и в других тайных целях.

совершенно беспрецедентной политической организации, а именно постоянного (или по крайней мере долгосрочного) образования, способствовавшего интеграции экономических и, до некоторой степени, правовых систем отдельных независимых национальных государств. Первоначально (в 1957 году) в него входили шесть государств (Франция, Федеративная Республика Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург), а к завершению «короткого двадцатого века», когда эта организация, как и прочие, созданные в годы «холодной войны» институты, начала расшатываться, к ней присоединились еще шесть государств (Великобритания, Ирландия, Испания, Португалия, Дания, Греция). Теоретически она проводила политику все более тесной политической и экономической интеграции. В Европе это привело к становлению долгосрочного политического федеративного или конфедеративного союза государств.

Европейское сообщество, как и многие другие организации послевоенной Европы, создавалось Соединенными Штатами и одновременно — для противодействия им. Оно иллюстрирует не только силу, но и неоднозначность этой страны и ее возможностей; оно также показывает, насколько велики были страхи, скреплявшие антисоветский альянс. Однако эти страхи были связаны не только с СССР. Для Франции главным врагом оставалась Германия, и эту боязнь возрождения могущественной державы в Центральной Европе разделяли, правда в меньшей степени, остальные участники войны и оккупированные государства Европы, оказавшиеся теперь втянутыми в союз НАТО вместе с США и экономически обновленной и перевооруженной Германией, границы которой, к счастью, уменьшились. Безусловно, существовали опасения и по поводу США — необходимого союзника в противостоянии СССР, вызывавшего, однако, подозрения своей ненадежностью, не говоря уже о том, что США ставили идею американского мирового лидерства выше всего остального, включая интересы своих союзников. Не следует забывать и о том, что во всех проектах послевоенного мира и всех послевоенных решениях «предпосылкой для тех, кто определял политический курс, являлось американское экономическое превосходство» (*Maier, 1987, p. 125*).

К счастью для союзников Америки, обстановка в Восточной Европе в 1946—1947 годах казалась столь напряженной, что Вашингтон чувствовал: развитие сильной европейской, а немного позже и сильной японской экономики является в этот момент главным приоритетом, вследствие чего в июне 1947 года началось осуществление плана Маршалла — масштабного проекта возрождения Европы. В отличие от предшествующей помощи, которая, безусловно, являлась частью агрессивной экономической дипломатии, этот план осуществлялся в основном с помощью грантов, а не займов. К тому же, к счастью для Европы, первоначальные планы американцев, предполагав-

шие свободную мировую торговлю, свободную конвертируемость валют и свободные рынки при доминировании США, оказались совершенно нереальными хотя бы только потому, что отчаянные трудности с платежами в Европе и Японии, постоянно нуждавшимися в дефицитных долларах, означали, что на ближайшее время не существовало перспективы либерализации торговли и платежей. США также были не в состоянии навязать европейским государствам свой идеал единой общеевропейской программы, ведущей к объединенной Европе с политической и экономической структурой, созданной по образу и подобию США. Ни англичанам, все еще считавшим Великобританию мировой державой, ни французам, мечтавшим о сильной Франции и слабой, раздробленной Германии, это не нравилось. Однако для американцев восстановленная Европа, ставшая частью антисоветского военного альянса, в свою очередь являвшегося логическим дополнением к плану Маршалла (НАТО была создана в 1949 году), должна была практически опираться на экономическую мощь Германии, подкрепленную ее перевооружением. Лучшее, что могли сделать французы,— это так запутать отношения между Западной Германией и Францией, что конфликт между двумя старыми врагами стал невозможен. Поэтому Франция предложила собственную версию европейского союза — «Европейское объединение угля и стали» (1951), из которого выросло Европейское экономическое сообщество, или Общий рынок (1957 год), позже — просто Европейское сообщество и, начиная с 1993 года, Европейский союз. Его штаб-квартира находилась в Брюсселе, однако основой выступало франко-германское единство. Европейское сообщество было создано в качестве *альтернативы* американскому плану европейской интеграции. Окончание «холодной войны» подорвало фундамент, на котором строилось и Европейское сообщество, и франко-германское партнерство. Не в последнюю очередь это произошло в результате нарушения равновесия обоих союзов вследствие воссоединения Германии в 1990 году и непредсказуемых экономических трудностей, которые оно принесло с собой.

Однако, хотя США и не могли навязать свои политико-экономические планы странам Европы в их внутренней политике, они были достаточно сильны, чтобы определять их внешнюю политику. Настроенность альянса против СССР, как и его военные планы, определялась политикой США. Германия была перевооружена, стремление Европы к нейтралитету подавлялось твердой рукой, и единственная попытка западных стран включиться в мировую политику независимо от США, а именно суэцкая англо-французская война против Египта в 1956 году, была прекращена под давлением США. Самое большее, что могло позволить себе союзническое или зависимое государство,— это отказаться от полной интеграции в военный союз, не выходя из него (как сделал генерал де Голль).

По мере того как эпоха «холодной войны» приближалась к концу, становилось все более очевидным несоответствие между преимущественно военным и поэтому политическим доминированием Вашингтона в Европе и постепенно сокращающимся экономическим превосходством США. Центр тяжести мировой экономики теперь перемещался от США к европейской и японской экономике, которая, как считали США, была ими спасена и восстановлена (см. главу 9). Поток долларов, вытекавший из США, столь скудный в 1947 году, постепенно нарастал, особенно увеличившись в 1960-е годы благодаря склонности Америки к дефицитному вложению огромных денег в глобальную военную деятельность (особенно после начала в 1965 году вьетнамской войны) наряду с осуществлением самой амбициозной программы социального обеспечения в истории США. Доллар, краеугольный камень послевоенной мировой экономики, творцом и гарантом которого выступали Соединенные Штаты, стал сдавать свои позиции. Теоретически подкрепляемый золотыми слитками Форт-Нокса, в котором хранились почти три четверти мировых золотых резервов, на практике он держался на потоках бумаг и бухгалтерских отчетов. Поскольку стабильность доллара была обеспечена тем, что он был привязан к определенному количеству золота, осторожные европейцы во главе со сверхосторожными французами предпочитали обменивать потенциально обесценившуюся бумагу на благородный металл. Поэтому золото лилось потоком из Форт-Нокса, и цена его поднималась по мере роста спроса. С 1960-х годов стабильность доллара, а вместе с ней и мировой платежной системы больше не базировалась на собственных резервах США, а зависела от готовности центральных европейских банков (под давлением США) не обменивать свои доллары на золото, но вместо этого объединиться в «золотой пул», действовавший в 1961—1968 годах для стабилизации рыночных цен на золото. Однако такое положение продлилось недолго. В 1968 году «золотой пул», к тому времени уже опустошенный, прекратил свое существование. Фактически с конвертируемостью доллара было покончено. Формально от нее отказались в августе 1971 года, после чего стабильность международной системы платежей была нарушена, а контроль над ней со стороны американской или любой другой экономики стал невозможен.

После окончания «холодной войны» от американской экономической гегемонии осталось так мало, что даже военная гегемония не могла больше финансироваться только из внутренних ресурсов страны. «Война в заливе» 1991 года против Ирака, которую вели главным образом США, была оплачена, добровольно или под нажимом, другими странами, поддерживавшими Вашингтон. Эта был редкий случай войны, когда главная держава действительно извлекла из нее пользу. К счастью для всех, кто в ней участвовал, за исключением несчастных жителей Ирака, она закончилась в течение считанных дней.

IV

Какое-то время в начале 1960-х годов казалось, что архитекторы «холодной войны» делают неуверенные шаги в направлении здравого смысла. Опасный период с 1947 года до драматических событий корейской войны (1950—1953) закончился, не взорвав мировую обстановку, так же как и сейсмические сдвиги, поколебавшие советский блок после смерти Сталина (1953), особенно в середине 1950-х годов. Страны Западной Европы стали замечать, что им не только не приходится преодолевать социальный кризис, но что неожиданно наступила эпоха всеобщего благосостояния (более подробно это будет обсуждаться в следующей главе). На старом профессиональном дипломатическом жаргоне уменьшение напряженности называлось разрядкой. Теперь это слово стало общеупотребительным.

Впервые оно появилось в конце 1950-х годов, когда в результате серии кадровых перестановок в советском руководстве, произошедших после смерти Сталина, к власти в СССР пришел Н. С. Хрущев (1958—1964). Этот выдающийся самородок, веривший в реформы и мирное сосуществование, который, кстати, вернул людей из сталинских концлагерей, несколько лет господствовал на международной арене. Возможно, он был единственным бывшим крестьянским мальчиком, пришедшим к руководству великой державой. Однако разрядка должна была сначала преодолеть сложившуюся ситуацию, когда казалось, что существует некий магический заговор противостояния между Хрущевым с его склонностью к позерству и импульсивным решениям и Джоном Кеннеди (1960—1963) (самым переоцененным американским президентом двадцатого столетия) с его «политикой жестов». Таким образом, двумя сверхдержавами руководили два склонных к риску политика в тот период (о котором тяжело вспоминать), когда капиталистический Запад увидел, что его экономика проигрывает в сравнении с экономикой коммунистических стран, в 1950-е годы развивавшейся быстрее западной экономики. Разве яркий триумф советских спутников и космонавтов не продемонстрировал техническое превосходство СССР над США? (Которое, правда, оказалось недолговечным.) Разве, ко всеобщему удивлению, коммунизму не удалось одержать победу на Кубе, находящейся всего в нескольких десятках миль от Флориды? (см. главу 15).

С другой стороны, СССР в то время был обеспокоен не только двусмысленными, а зачастую и откровенно агрессивными заявлениями Вашингтона, но и глубоким разладом с Китаем, который теперь обвинял Москву в попустительстве капитализму, вынуждая миролюбивого Хрущева к более жесткой позиции по отношению к Западу. В то же время набирающая темп деколонизация стран третьего мира и произошедшие там революции (см. главы 7, 12 и 15), казалось, были на руку Советам. Таким образом, раздраженные и само-

уверенные США противостояли самоуверенному и раздраженному Советскому Союзу.

Результатами этого этапа взаимных угроз и балансирования на грани войны оказались относительная стабилизация международной обстановки, негласная договоренность двух сверхдержав не запугивать друг друга и остальной мир и даже символическое налаживание телефонной «горячей линии» (1963), соединившей Белый дом с Кремлем. После строительства Берлинской стены (1961) была ликвидирована последняя неопределенность в пограничном размежевании между Восточной и Западной Европой. США признали коммунистическую Кубу у самых своих берегов. Слабые очаги освободительной и повстанческой войны, зажженные кубинской революцией в Латинской Америке и деколонизацией в Африке, не превратились в лесные пожары, а постепенно угасли (см. главу 15). Кеннеди был убит в 1963 году, Хрущев смещен в 1964 году советской политической элитой, предпочитавшей менее оригинальный подход к политике. В 1960-е и начале 1970-х годов было сделано несколько серьезных шагов к ограничению ядерного оружия и контролю над ним: договоры о запрещении испытаний ядерного оружия, попытки остановить его распространение (предпринятые теми, кто уже имел ядерное оружие или никогда не предполагал его получить, но отнюдь не теми, кто создавал свои новые ядерные арсеналы, как, например, Китай, Франция и Израиль). Между СССР и США был заключен договор об ограничении стратегических вооружений. Торговля между США и СССР, долго сдерживавшаяся политическими факторами, в конце 1960 — начале 1970-х годов вышла на новый уровень. Перспективы казались вполне благоприятными.

Но на деле все вышло иначе. В середине 1970-х годов мир вступил в период, названный «второй холодной войной» (см. главу 15). Его начало совпало с временем кардинальных изменений в мировой экономике и длительным кризисом, тянувшимся в течение двух десятилетий, начиная с 1973 года, и достигшим наивысшей точки в начале 1980-х годов (глава 14). Поначалу участники соревнования сверхдержав не придавали большого значения этим изменениям экономического климата, кроме разве что внезапного резкого скачка цен на энергоносители, вызванного удачными манипуляциями картеля нефтедобывающих стран (ОПЕК) (что, казалось, подтверждало ослабление международного влияния США). Обе сверхдержавы испытывали законную радость по поводу стабильности экономик своих стран. США были гораздо менее подвержены новому экономическому спаду, чем Европа. СССР (кого боги хотят погубить, того они делают самоуверенным) считал, что все идет так, как было задумано. Леонид Брежнев, преемник Хрущева, в течение двадцати лет руководивший страной в эпоху, позже названную советскими реформаторами «эпохой застоя», имел, казалось, определенные основания для оптимизма, не в последнюю очередь потому, что нефтяной кризис 1973 года в

четыре раза увеличил рыночную стоимость гигантских запасов нефти и природного газа, открытых в Советском Союзе с середины 1960-х годов.

Однако, если оставить в стороне экономику, двум взаимосвязанным событиям суждено было нарушить равновесие между сверхдержавами. Первым стало очевидное поражение и дестабилизация США, вступавших в серьезную войну. Вьетнамская война деморализовала и расколола нацию, наблюдавшую по телевизору сцены массовых беспорядков и антивоенные демонстрации, подорвала репутацию американского президента, привела к очевидному для всего мира поражению и отступлению после десяти лет войны (1965—1975). Что еще более существенно, эта война продемонстрировала изоляцию Соединенных Штатов, поскольку ни один из их европейских союзников не послал даже номинального контингента войск для поддержки американских сил. Почему США решили ввязаться в войну, в которой они были обречены на поражение, о чем их предупреждали не только союзники, но и нейтральные государства, и даже СССР*, постичь почти невозможно, разве что вспомнив о том густом тумане непонимания, неразберихи и паранойи, через который главные действующие лица «холодной войны» прокладывали свой путь.

И если Вьетнама было недостаточно, чтобы продемонстрировать изоляцию США, то «война судного дня» (1973) между Израилем, которому США позволили стать своим ближайшим союзником на Ближнем Востоке, и вооруженными силами Египта и Сирии, поддерживаемыми Советским Союзом, показала это с еще большей очевидностью. Когда попавший в затруднительное положение Израиль, которому не хватало самолетов и боеприпасов, обратился к США с просьбой о срочной помощи, европейские союзники, за единственным исключением — Португалии (последнего оплота довоенного фашизма), — отказались даже разрешить американским военным самолетам использовать американские базы на их территории. (Снаряды отправляли в Израиль через Азорские острова.) Американцы считали, — непонятно, правда, почему, — что на карту в этой войне поставлены их жизненно важные интересы. Государственный секретарь Генри Киссинджер даже объявил состояние ядерной готовности, впервые со времени кубинского ракетного кризиса, — поступок, по своему откровенному лицемерию характерный для этого талантливого и циничного политика (президент Ричард Никсон занимался в эти дни тем, что тщетно старался предотвратить импичмент). Однако все это не поколебало союзников США, которые были гораздо более заинтересованы в поставках нефти с Ближнего Востока, чем в помощи какой-то региональной

* «Если хотите, то идите и воюйте во вьетнамских джунглях. Французы воевали там семь лет и все же вынуждены были уйти. Может быть, американцы смогут продержаться немного дольше, но в конце концов им тоже придется уйти», — Хрущев Дину Раску в 1961 году (*Beschloss, 1991, p. 649*).

авантюре американцев, которую Вашингтон совершенно неубедительно называл очень важной акцией в борьбе против мирового коммунизма. С помощью ОПЕК ближневосточные арабские государства сделали все возможное, чтобы затруднить поставки в Израиль, сократив продажу нефти и угрожая нефтяным эмбарго. Занимаясь этим, они обнаружили, что могут многократно взвинчивать мировые цены на нефть. Да и министерства иностранных дел по всему миру не могли не заметить, что всесильным Соединенным Штатам не удалось этому воспрепятствовать.

Вьетнам и Ближний Восток ослабили США, хотя и не изменили мирового баланса сил между сверхдержавами и природы их конфронтации в различных очагах «холодной войны». Тем не менее между 1974 и 1979 годами по земному шару прокатилась новая волна революций (см. главу 15). Этот третий цикл политических сдвигов в истории «короткого двадцатого века» действительно выглядел так, будто общий баланс сил начал меняться не в пользу Соединенных Штатов. Несколько режимов в Африке, Азии и Латинской Америке встали на сторону Советов и предоставили Советскому Союзу военные и, что очень важно, военно-морские базы за пределами его территории. Именно совпадение по времени этой третьей волны революций с публичным поражением и отступлением США и породило «вторую холодную войну». Кроме того, сыграли свою роль оптимизм и самодовольство брежневского СССР в 1970-е годы. Эта фаза «холодной войны» сочетала в себе локальные войны в странах третьего мира, в которых косвенно участвовали США, теперь избежавшие ошибок Вьетнама (когда они вводили в бой собственные войска), и небывалое ускорение гонки ядерных вооружений, причем второе становилось гораздо более безрассудным, чем первое.

Поскольку ситуация в Европе столь очевидно стабилизировалась (ее не поколебали ни революция в Португалии, ни конец режима Франко в Испании) и все границы были четко определены, обе сверхдержавы фактически перенесли свое противоборство в страны третьего мира. Разрядка в Европе позволила Соединенным Штатам под руководством Никсона (1968—1974) и Киссинджера одержать две важные победы: изгнать Советы из Египта и, что было гораздо важнее, неофициально втянуть Китай в антисоветский блок. Однако новая волна революций, направленных на свержение консервативных режимов, мировым защитником которых провозгласили себя США, вновь предоставила СССР шанс перехватить инициативу. Когда рухнувшая португальская империя в Африке (Ангола, Мозамбик, Гвинея-Биссау и Острова Зеленого Мыса) перешла под власть коммунистов, а революция, свергнувшая императора Эфиопии, сориентировалась на восток, когда быстро растущий советский военно-морской флот получил новые базы по обе стороны Индийского океана, когда был свергнут шах Ирана, настроение, близкое к истерии, охватило американский народ и правительство. Чем еще, кроме

поразительного невежества в топографии Азии, можно объяснить позицию Америки, всерьез озвучивавшуюся в то время, согласно которой ввод советских войск в Афганистан являлся первым этапом броска Советов к берегам Индийского океана и Персидского залива? *

Необоснованная самоуверенность Советов подогрела эти настроения. Задолго до того, как американские пропагандисты объяснили (задним числом), как Соединенные Штаты сумели выиграть «холодную войну», подорвав силы своего врага, брежневский режим начал сам разрушать себя, ринувшись в программу перевооружения, увеличивавшую оборонные расходы на 4—5% в год (в реальном выражении) в течение двадцати лет с 1964 года. Эта гонка была бессмысленной, хотя и приносила удовлетворение Советскому Союзу, поскольку он получил возможность утверждать, что к 1971 году достиг паритета с США в размещении ракет, а к 1976 году даже превзошел их на 25% (при этом СССР намного отставал от Америки по числу боеголовок). Даже небольшого советского ядерного арсенала оказалось достаточно, чтобы сдерживать США во время кубинского кризиса, теперь же обе стороны имели возможность превратить территорию противника в руины. Систематические попытки Советов обеспечить присутствие своего военно-морского флота во всех океанах (или, точнее, под их поверхностью, поскольку его главную мощь составляли ядерные подводные лодки) были не слишком разумны в стратегическом отношении, но по крайней мере обоснованны как политический жест сверхдержавы, желавшей демонстрировать миру свою мощь. Однако сам факт, что СССР больше не соглашался на прежнее разграничение сфер мирового влияния, американские сторонники «холодной войны» расценивали как явное доказательство того, что превосходству Запада скоро придет конец, если только оно не будет подтверждено демонстрацией силы. Об этом говорила и все увеличивающаяся самоуверенность, приведшая Москву к отходу от постхрущевской политики осторожности в международных делах.

Истерия в Вашингтоне, безусловно, не имела под собой никаких оснований. В реальном выражении мощь США, в отличие от их престижа, по-прежнему значительно превосходила мощь СССР. Что касается экономики и технического уровня этих двух лагерей, то превосходство Запада (и Японии) было бесспорно. Советы, грубые и неповоротливые, с помощью титанических усилий могли попытаться выстроить экономику мирового образца 1890-х годов (см. *Jowitt, 1991, p. 78*). Но как мог помочь СССР тот факт, что к середине 1980-х годов он производил на 80% больше стали, в два раза больше чугуна и в пять раз больше тракторов, чем США, раз он не был в состоянии создать со-

* Предположение, что никарагуанские сандинисты представляют военную угрозу для США, поскольку способны за несколько дней совершить на грузовиках марш-бросок к техасской границе,—еще один весьма характерный пример геополитики на уровне средней школы.

временную экономику, зависящую от наличия микрочипов и программного обеспечения? (См. главу 16.) Не имелось совершенно никаких свидетельств и вероятности того, что СССР хочет войны (за исключением, возможно, войны с Китаем), не говоря уже о планировании им военного нападения на Запад. Невероятные сценарии ядерной атаки, разрабатывавшиеся в 1980-е годы яростными сторонниками «холодной войны» и официальной пропагандой, не имели под собой почвы. Их следствием стала убежденность Советов, что угрожающий ядерный удар Запада по СССР возможен или даже (как казалось им в 1983 году) уже близок (*Walker, 1993, chapter 11*), а также широкое развитие массового европейского антиядерного движения за мир в период «холодной войны» и кампания против размещения в Европе ракет среднего радиуса действия.

Историки двадцать первого века, далекие от непосредственных впечатлений 1970-х и 1980-х годов, будут озадачены очевидным безумием этого обострения военной лихорадки, апокалиптической риторикой и зачастую весьма странной международной политикой Соединенных Штатов, особенно в первые годы правления президента Рейгана (1980—1988). Им придется понять всю глубину переживаний, вызванных поражением, бессилием и публичным позором, терзавших американский политический истеблишмент в 1970-е годы. Они еще усугубились из-за деградации института президентской власти в годы правления Ричарда Никсона (1968—1974), вынужденного уйти в отставку из-за грязного скандала, после чего к руководству страной пришли два его довольно серых преемника. Обострению этого комплекса неполноценности способствовал унижительный эпизод с американскими дипломатами, взятыми в заложники в революционном Иране, а также коммунистическая революция в небольших государствах Центральной Америки и второй нефтяной кризис, спровоцированный ОПЕК.

Политику Рональда Рейгана, избранного президентом в 1980 году, можно рассматривать только как попытку стереть пятно пережитого позора, демонстрируя неоспоримое превосходство и неуязвимость США, если нужно, с помощью применения военной мощи против легко уязвимых целей. Примерами такой политики могут служить вторжение на Гренаду (1983) — маленький остров в Карибском море, массированное морское и воздушное нападение на Ливию (1986) и еще более масштабное и бессмысленное вторжение в Панаму (1989). Возможно, именно благодаря своему голливудскому прошлому Рейган понимал настроение своего народа и глубину ран, нанесенных его самолюбию. В конечном счете эти раны удалось залечить только благодаря неожиданному, беспрецедентному и окончательному крушению главного противника, которое сделало США единственной сверхдержавой в мире. И все же даже в войне 1991 года против Ирака можно увидеть запоздалую месть за переживания 1973 и 1979 годов, когда величайшая держава мира не смогла про-

тивостоять консорциуму слабых государств третьего мира, угрожавшему прекратить ей поставки нефти.

Таким образом, крестовый поход против «империи зла», которому (по крайней мере публично) администрация Рейгана посвящала свои усилия, для США являлся попыткой терапии, а не стремлением пересмотреть мировой баланс сил. Последнее фактически уже было тихо сделано в конце 1970-х годов, когда блок НАТО (под руководством американского президента-демократа, социал-демократического канцлера Германии и лейбористского премьер-министра Великобритании) приступил к собственному перевооружению. Левые правительства молодых африканских государств с самого начала контролировались США, особенно успешно в Центральной и Южной Африке, где США могли действовать совместно с грозным режимом апартеида (в ЮАР). Менее успешными были действия США на Африканском Роге. (В обоих этих регионах русские получали неоценимую помощь кубинского экспедиционного корпуса, что служило подтверждением поддержки Фиделем Кастро революций в странах третьего мира, а также его дружбы с СССР.) Сторонники Рейгана внесли в «холодную войну» вклад иного рода.

Этот вклад был не столько практическим, сколько идеологическим, как реакция Запада на трудности, принесенные эпохой тревог и неуверенности, в которую мир вступил после окончания «золотой эпохи» (см. главу 14). Долгий период правления центристских и умеренно социал-демократических правительств закончился после того, как экономическая и социальная политика «золотой эпохи», казалось, потерпела неудачу. Около 1980 года к власти в целом ряде стран пришли правые правительства, являвшиеся сторонниками крайних форм эгоизма в бизнесе и принципов неограниченной свободы предпринимательства. Среди них самыми заметными стали Рейган, а также самоуверенная и грозная миссис Тэтчер в Великобритании (1979—1990). Для этих новых правых опиравшийся на государственную поддержку социальный капитализм 1950-х и 1960-х годов, после 1973 года больше не подкрепленный экономическими успехами, всегда казался разновидностью того самого социализма (названного экономистом и идеологом фон Хайеком «дорогой к рабству»), конечным продуктом которого они считали СССР. «Холодная война» Рейгана была направлена не только против заморской «империи зла», но и против наследия Франклина Д. Рузвельта в самих Соединенных Штатах, т. е. против «государства всеобщего благоденствия», как и любого другого навязчивого государства. Ее врагом в той же мере, что и коммунизм, являлся либерализм («это слово на букву л», как для большего эффекта его именовали в президентских предвыборных кампаниях).

Поскольку крах Советского Союза пришелся как раз на окончание эпохи Рейгана, американские публицисты, естественно, начали утверждать, что он рухнул в результате активной кампании США, которые выиграли «холодную

войну», полностью разгромив своего врага. Не следует принимать всерьез версию этих крестоносцев 1980-х годов. Нет никаких признаков, что правительство США ожидало или предвидело приближающийся распад Советского Союза или было каким-нибудь образом подготовлено к тому, что он произойдет. Когда американская администрация действительно надеялась оказать давление на советскую экономику, собственная разведка информировала ее (ошибочно), что экономическое положение Советского Союза вполне благополучно и позволяет выдержать гонку вооружений. В начале 1980-х годов считалось (также ошибочно), что СССР по-прежнему развивает наступление по всему миру. Сам же президент Рейган, какие бы речи ни писали ему его спичрайтеры и что бы ни подсказывал ему не всегда ясный рассудок, действительно верил в возможность сосуществования США и СССР, но сосуществования, основой которого являлся вовсе не ядерный баланс сил в бессмысленной гонке вооружений. Он мечтал о мире без ядерного оружия. Точно такого же мнения придерживался и новый Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев, что выяснилось во время их довольно необычной взволнованной встречи, проходившей в 1986 году в арктическом сумраке осенней Исландии.

«Холодная война» закончилась, когда одна из сверхдержав (а может быть, и обе) осознала зловещую абсурдность гонки ядерных вооружений и когда каждая признала искренность желания противника положить ей конец. Возможно, советскому лидеру было проще взять на себя эту инициативу, чем американскому, поскольку «холодная война» никогда не рассматривалась Москвой как крестовый поход, какой ее видели в Вашингтоне, где должны были считаться с активным общественным мнением. С другой стороны, именно эта причина мешала советскому лидеру убедить Запад в том, что он действительно собирается сделать то, что говорит. Поэтому мир столь многим обязан Михаилу Горбачеву, который не только взял эту инициативу на себя, но смог в одиночку убедить американское правительство и остальной Запад в твердости своих намерений. Однако не стоит недооценивать и вклад президента Рейгана, простодушный идеализм которого преодолел мощное противодействие идеологов, фанатиков, карьеристов и профессиональных военных. Практическое прекращение «холодной войны» было оформлено на двух встречах на высшем уровне — в Рейкьявике (1986) и Вашингтоне (1987).

Стало ли окончание «холодной войны» причиной распада советской системы? Два этих события исторически отделены друг от друга, хотя, безусловно, связаны между собой. Советский тип социализма претендовал на то, чтобы стать мировой альтернативой капиталистической системе. Поскольку капитализм так и не рухнул и не выказывал никаких признаков разрушения (хотя кто знает, что могло бы случиться, если бы все социалистические страны и должники из числа стран третьего мира в 1981 году одновременно пере-

стали платить свои долги Западу), перспективы социализма в качестве мировой альтернативы зависели исключительно от его способности конкурировать с мировой капиталистической экономикой, реформированной после Великой депрессии и Второй мировой войны и сделавшей большой шаг вперед в 1970-е годы в результате постиндустриальной революции в сфере коммуникаций и информационных технологий. То, что социализм все больше проигрывает эту гонку, стало очевидно уже после 1960 года. Он перестал быть конкурентоспособным. Поскольку соревнование двух политических, военных и идеологических сверхдержав приняло форму конфронтации, это отставание стало разрушительным для СССР.

СССР и США подвергали свои экономические системы слишком большим перегрузкам и деформациям в результате масштабной и крайне дорогостоящей гонки вооружений, однако мировая капиталистическая система смогла справиться с тремя триллионами долларов долгов — главным образом на военные расходы, которые в 1980-е годы наделали США, до этого являвшиеся самым большим государством-кредитором. В то же время ни в СССР, ни за рубежом не нашлось никого, кто взял бы на себя расходы по столь же огромной перегрузке советской экономики, составлявшие гораздо большую долю в производстве (почти 25%) по сравнению с 7% от огромного валового национального продукта США, шедшими на военные расходы в середине 1980-х годов. Благодаря историческому везению и проводимой Соединенными Штатами политике экономика зависимых от них стран постепенно стала столь процветающей, что начала превосходить их собственную. К концу 1970-х годов производство в странах Европейского сообщества и Японии, вместе взятых, на 60% превышало производство в США. И наоборот, союзники Советского Союза и зависимые от него государства никогда не стояли на собственных ногах. Они оставались источником постоянной ежегодной утечки десятков миллиардов из советского бюджета. Москва надеялась, что отсталые страны мира, в географическом и демографическом отношении составлявшие 80% земного шара, после того как в них произойдут революции, перевесят мировое господство капитализма. Однако они не имели развитой экономики. В технической области, где превосходство Запада стремительно увеличивалось, они вообще не выдерживали никакого сравнения. Одним словом, «холодная война» с самого начала была войной противников с неравными возможностями.

Но социализм погубило не противостояние капитализму и олицетворявшей его сверхдержаве. Скорее всего, причиной этого стало сочетание все более очевидных и разрушительных дефектов социалистической экономики и все расширяющегося вторжения в нее гораздо более передовой, влиятельной и динамичной мировой капиталистической экономики. Идеологи «холодной войны» считали капитализм и социализм, т. е. «свободный мир» и «тоталита-

ризм», двумя краями непреодолимой пропасти и отвергали любую попытку преодолеть эту пропасть, но если не брать в расчет взаимного самоубийства ядерной войны, именно эта пропасть и гарантировала выживание слабейшего соперника. Скрытая за железным занавесом, даже малоэффективная и ослабленная, планируемая сверху, командная экономика все же была жизнеспособной (может быть, она постепенно ослабевала, однако не выказывала никаких признаков скорого коллапса) *. Именно взаимодействие экономических систем социалистического типа с мировой капиталистической экономикой, начавшееся в 1960-е годы, расшатало социализм. Когда в 1970-е годы социалистические лидеры решили воспользоваться открывшимися перед ними возможностями мирового рынка (высокими ценами на нефть, доступными внешними займами и т. д.) вместо того, чтобы решать трудную проблему реформирования своей экономической системы, они сами вырыли себе яму (см. главу 16). Парадокс «холодной войны» заключался в том, что Советский Союз был побежден и в конце концов уничтожен не конфронтацией, а разрядкой.

Тем не менее в одном вашингтонские апологеты «холодной войны» не ошибались. Реальная «холодная война», что мы легко можем видеть в ретроспективе, закончилась вашингтонской встречей на высшем уровне в 1987 году. Однако в мировом масштабе ее нельзя было признать законченной, пока СССР не перестал быть сверхдержавой или державой вообще. Не так просто отменить сорокалетний период страхов, подозрений и выращивания военно-промышленных монстров. Колеса военной машины продолжали крутиться с обеих сторон. Подверженные профессиональной паранойе, секретные службы продолжали считать каждое действие противоположной стороны коварным ходом, направленным на усыпление бдительности противника. И лишь после крушения советской империи в 1989 году, распада и исчезновения самого СССР в 1989—1991 годах стало невозможно притворяться и верить в то, что ничего не изменилось.

V

Но что же произошло на самом деле? «Холодная война» изменила международную сцену в трех отношениях. Во-первых, она отодвинула на второй план или вообще ликвидировала все прочие виды конфликтов и противостояний, формировавших мировую политику до Второй мировой войны. Некоторые из

* Возьмем крайний случай — маленькую горную коммунистическую республику Албанию, бедную и отсталую, но жизнеспособную в течение примерно тридцати лет, когда она фактически изолировала себя от остального мира. Лишь после того, как стены, ограждавшие ее от мировой экономики, были снесены, она рухнула, превратившись в груды экономического мусора.

них ушли в прошлое с «эпохи империи», а вместе с ней и соперничества между колониальными державами за контроль над зависимыми территориями. Другие конфликты прекратились потому, что все «великие державы», кроме двух, переместились во второй или третий эшелон международной политики, и их взаимоотношения имели теперь сугубо локальное значение. Франция и Западная Германия после 1947 года зарыли топор войны не потому, что отпала вероятность нового франко-германского столкновения (французское правительство думало о нем постоянно), а потому, что их совместная принадлежность к лагерю США и гегемония Вашингтона в Западной Европе не давали возможности Германии выйти из-под контроля. Но даже при таких условиях удивительно, как скоро исчезла из виду главная забота государств после больших войн — забота победителей о восстановлении побежденных и забота побежденных о том, как преодолеть последствия своего поражения. Мало кто на Западе был всерьез озабочен скорым возвращением статуса великих держав Западной Германии и Японии, перевооруженных, хотя и не обладавших еще ядерным оружием, поскольку обе они фактически являлись послушными членами альянса, в котором главенствовали Соединенные Штаты. Даже Советский Союз и его сателлиты, хотя и предупреждали о германской опасности, горький опыт столкновения с которой у них имелся, делали это скорее из пропагандистских целей, чем вследствие реального страха. Москва опасалась не вооруженных сил Германии, а ракет НАТО, размещенных на ее территории. Однако после «холодной войны» могли возникнуть и другие конфликты между государствами.

Во-вторых, «холодная война» заморозила соотношение сил в мире, стабилизировав обстановку, которая по сути являлась временной и неустойчивой. Наиболее ярким примером этого стала Германия. В течение сорока шести лет она оставалась разделенной *de facto*, если не *de jure*, на несколько секторов: западный, который в 1949 году стал Федеративной Республикой Германии, средний, ставший Германской Демократической Республикой в 1954 году, и восточный, лежащий за Одером и Нейссе. Этот сектор, выслав из него большую часть немецкого населения, поделили между собой Польша и Советский Союз. Благодаря окончанию «холодной войны» и распаду СССР два западных сектора вновь объединились, а аннексированная СССР территория Восточной Пруссии оказалась отрезанной от остальной России Литвой, которая теперь стала независимым государством. Польше же пришлось довольствоваться обещаниями Германии признать границы 1945 года, которым она не верила. Но стабилизация еще не означала мира. За исключением Европы, во времена «холодной войны» в остальных частях света продолжали воевать. В период с 1948 по 1989 годы едва ли можно найти хотя бы год, прошедший без серьезного вооруженного конфликта в мире. Эти конфликты контролировались и подавлялись из страха, что они могут спровоцировать ядерную войну

между сверхдержавами. Ирак издавна регулярно покушался на Кувейт — маленький богатый нефтью британский протекторат на северном побережье Персидского залива, получивший независимость в 1961 году. Эти притязания не приводили к войне, пока Персидский залив являлся горячей точкой в конфронтации двух сверхдержав. До 1989 года было ясно, что СССР — главный поставщик оружия Ираку — мог предотвратить любые региональные авантюры Багдада.

Разумеется, развитие внутренней политики государств нельзя было заморозить подобным же образом (за исключением тех случаев, когда это развитие могло привести к прекращению лояльности государства по отношению к сверхдержаве, союзником которой оно являлось). США не были склонны терпеть коммунистов и их сторонников у власти в Италии, Чили или Гватемале, так же как и СССР не был готов отказаться от своего права посылать войска в «братские» государства, которые пытались выйти из-под контроля (Венгрия и Чехословакия). Советский Союз более болезненно, чем Соединенные Штаты, относился к разнообразию зависимых от него режимов, хотя имел гораздо меньше возможностей оказывать на них влияние. Еще до 1970 года СССР утратил контроль, который раньше имел над Югославией, Албанией и Китаем. Он вынужден был терпеть индивидуализм лидеров Кубы и Румынии; что же касается стран третьего мира, которые он снабжал оружием и которые разделяли его враждебность к американскому империализму, преследуя подчас совсем иные цели, то СССР совсем не имел реальной власти над ними. Почти ни одно из этих государств не допускало легального существования местных коммунистических партий. Тем не менее сочетание власти, политического влияния, подкупов и логики биполярности и антиимпериализма поддерживало более или менее стабильное разделение мира. За исключением Китая, ни одно значительное государство не переходило из одного лагеря в другой, разве только в случае внутренней революции, которую сверхдержавы не могли ни инициировать, ни предотвратить, в чем Соединенные Штаты убедились в 1970-е годы. Даже те союзники США, которые обнаружили, что их собственная политика все более подавляется альянсом (как поняла это Германия после 1969 года в вопросе *Ostpolitik*), не вышли из создающего им все большие трудности блока. Политически бессильные, нестабильные и незащищенные государства, неспособные выжить в международных джунглях (особенно много их было в регионе между Красным морем и Персидским заливом), кое-как продолжали существовать. Тень ядерного облака гарантировала выживание не столько либеральным демократиям Западной Европы, сколько режимам наподобие Саудовской Аравии и Кувейта. «Холодная война» была лучшим временем для карликовых государств — лишь после ее окончания стала очевидна разница между решенными проблемами и теми, которые были отложены в долгий ящик.

В-третьих, «холодная война» наводнила мир оружием в количествах, превосходящих всякое воображение. Это явилось естественным результатом сорока лет постоянного наращивания вооружений в индустриальных государствах для защиты от войны, которая могла разразиться каждую минуту, сорока лет состязания сверхдержав за приобретение друзей и влияния путем распространения оружия по всему земному шару, не говоря уже о сорока годах постоянных военных действий «малой интенсивности» с происходящими время от времени вспышками крупных конфликтов. Милитаризованная в значительной степени экономика и огромный влиятельный военно-промышленный комплекс были заинтересованы в продаже своей продукции за рубеж, хотя бы для того, чтобы доказать своим правительствам, что они не только поглощают астрономические и экономически не обоснованные бюджетные средства для поддержания своей бесперебойной работы, но и на что-то пригодны. Беспрецедентная мода в мире на военные режимы (см. главу 12) породила перспективный рынок, питавшийся не только от щедрот сверхдержав, но и (после резкого взлета цен на нефть) из местных источников — доходов султанов и шейхов стран третьего мира, увеличивавшихся с невероятной быстротой. Экспортом оружия занимались все. Социалистические страны и некоторые переживавшие упадок капиталистические государства, как, например, Великобритания, кроме оружия, мало что могли предложить мировому рынку из конкурентоспособных товаров. В торговый оборот вовлекались не только тяжелые виды оружия, которые могли использовать лишь правительства. Эпоха повстанческих войн и терроризма породила массовый спрос на легкие, портативные, но не менее разрушительные и смертоносные виды оружия. Преступный мир больших городов в конце двадцатого века обеспечивал этой продукцией появившийся гражданский рынок. В этой обстановке названия израильского пистолета-пулемета «узи», русского автомата Калашникова и чешской взрывчатки «семтекс» стали словами повседневного обихода.

Так увековечивала себя «холодная война». Малые войны между государствами-клиентами обеих сверхдержав продолжались и после прекращения прежних локальных конфликтов, вопреки желаниям тех, кто некогда их начал и теперь хотел закончить. Повстанцы движения УНИТА в Анголе продолжали воевать против своего правительства и после того, как ЮАР и Куба вывели свои войска из несчастной страны, а США и ООН отказали им в поддержке, признав легитимность противоположной стороны. У них не было перебоев с оружием. Республика Сомали, сначала получавшая оружие от русских, когда император Эфиопии поддерживал Соединенные Штаты, а затем от американцев, когда революционная Эфиопия перешла на сторону Москвы, после окончания «холодной войны» представляла собой охваченную голодом территорию. На ней ожесточенно воевали друг с другом враждующие кланы, у которых не было ничего, кроме неограниченного запаса винтовок, амуни-

ции, мин и военной техники. Когда США и ООН начали поставлять туда продовольствие и предприняли попытки прекратить войну, это оказалось гораздо труднее, чем наводнить страну огнестрельным оружием. В Афганистане США в массовом масштабе поставляли антикоммунистически настроенным повстанцам переносные зенитные комплексы «стрингер» и гранатометы, рассчитывая поколебать советское господство в воздухе. Когда русские вывели войска из Афганистана, война продолжалась, как будто ничего не произошло, за исключением того, что в отсутствие самолетов племена могли теперь использовать в своих интересах «стрингеры», которые они продавали с выгодой на международном рынке оружия. В отчаянии США предлагали выкупить их обратно по 100 тысяч долларов за штуку, однако не преуспели в этом (*«International Gerald Tribune»*, p. 24, 5/7/93; *«Repubblica»* 6/4/94). Как воскликнул ученик гетевского чародея, *«Die ich rief die Geister, werd' ich nun nicht los»**.

Окончание «холодной войны» внезапно уничтожило опоры, поддерживавшие весь международный порядок, а также в определенной степени (которая до сих пор неясна) и внутренние политические системы государств земного шара. После ее окончания в мире воцарился беспорядок и частичный развал, поскольку нечем было заменить эти опоры. Недолгое время тешившая умы американских политиков идея о том, что прежняя биполярная мировая система может быть заменена новым мировым порядком, опирающимся на единственную оставшуюся сверхдержаву, которая теперь выглядела сильнее, чем когда-либо раньше, очень скоро обнаружила свою несостоятельность. К миру, существовавшему до эпохи «холодной войны», не могло быть возврата — слишком многое изменилось и слишком многое исчезло. Все межевые столбы рухнули, все карты должны были быть составлены заново. Политикам и экономистам, привыкшим к мировому порядку определенного типа, было трудно или даже невозможно понять природу проблем другого, изменившегося мира. В 1947 году США признали необходимость незамедлительной всеобъемлющей программы по восстановлению экономики стран Западной Европы, поскольку предполагаемые враги европейцев — коммунизм и СССР — были легко определимы. Экономические и политические последствия распада Советского Союза и социалистического блока в Восточной Европе оказались гораздо более драматичны, чем трудности, переживаемые Западной Европой, и могли быть чреватые еще более серьезными последствиями. Они были достаточно предсказуемы и даже очевидны в конце 1980-х годов, но ни одна из процветающих экономик капитализма не осознала, что приближающийся кризис коммунистического блока несет мировую опасность и требует срочного и масштабного реагирования, поскольку его *политические* последствия были неясны. За исключением, возможно, Западной Германии, осталь-

* «Я не могу избавиться от вызванных мною духов» (нем.).

ные страны реагировали на ситуацию очень вяло, однако и Германия недооценивала и вряд ли понимала природу новых проблем, что продемонстрировали трудности, возникшие во время присоединения бывшей ГДР.

Последствия окончания «холодной войны» в любом случае были бы огромны, даже если бы они не совпали с серьезным кризисом мировой капиталистической экономики и распадом Советского Союза и его блока. Поскольку история изучает то, что произошло, а не то, что могло произойти, если бы обстоятельства сложились иначе, нам нет необходимости рассматривать возможность другого сценария. Оказалось, что окончание «холодной войны» завершило не конкретный международный конфликт, а целую эпоху, и не только для Восточной Европы, но и для всего мира. Есть исторические моменты, которые даже их современники могут признать вехами, обозначающими конец эпохи. 1990-е годы, безусловно, стали такой поворотной точкой. Однако, хотя всем было очевидно, что прежняя эра закончилась, перспективы на будущее были совершенно непредсказуемы.

Лишь одно обстоятельство казалось бесспорным в череде этих неопределенностей: исключительные, беспрецедентные, фундаментальные изменения, которым мировая экономика и, следовательно, человечество подверглись в период с начала «холодной войны». Они, возможно, займут гораздо более важное место в исторических книгах, написанных в третьем тысячелетии, чем корейская война, берлинский и кубинский кризисы, а также размещение «крылатых» ракет в Европе. К этим изменениям мы теперь обратимся.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Золотые годы

Именно за последние сорок лет в Модене произошел резкий скачок вперед. Эпоха после объединения Италии стала долгими годами ожидания или медленных и временных изменений, прежде чем преобразования начали происходить с молниеносной скоростью. Теперь люди обрели жизненный уровень, ранее доступный только немногочисленной элите.

Дж. Муцциоли (G. Muzzioli, 1993, p. 323)

Голодного, но здравомыслящего человека нельзя убедить потратить свой последний доллар ни на что, кроме еды. Но сытого, хорошо одетого, имеющего хорошее жилище и благополучного в других отношениях человека можно склонить к покупке электробритвы или электрической зубной щетки. Наряду с ценами и затратами предметом менеджмента становится и потребительский спрос.

Дж. Гэлбрейт (J. K. Galbraith, The New Industrial State, 1967, p. 24)

I

Большинство людей поступает так же, как поступают историки: лишь по прошествии некоторого времени они начинают осознавать характер собственного опыта. В течение 1950-х годов многие люди, преимущественно жители все более процветающих развитых стран, убедились в том, что условия их жизни действительно резко улучшились, особенно по сравнению с периодом до начала Второй мировой войны. Британские консерваторы победили на выборах 1959 года под лозунгом «Никогда еще мы не жили так хорошо», что, кстати, вполне соответствовало действительности. Но только в тревожные 1970-е годы, когда быстрый рост благосостояния закончился, в преддверии еще более тревожных 1980-х специалисты (сначала в основном экономисты) стали понимать, что мир, в частности мир развитого капитализма, пережил исключительный период в своей истории, возможно единственный в своем

роде. Они стали искать термины для его описания: французы назвали этот период «тридцать славных лет» (*les trente glorieuses années*), англичане и американцы — «четвертьвековая золотая эпоха» (*quarter-century Golden Age*) (*Marglin and Shor, 1990*). Блеск ее золота казался еще более ярким на фоне последовавших затем унылых и мрачных кризисных десятилетий.

Существовало несколько причин, почему на осознание исключительной природы «золотой эпохи» понадобилось так много времени. В США, после Второй мировой войны доминировавших в мировой экономике, революционность «золотой эпохи» не была особенно заметна. Здесь просто продолжился экономический подъем военных лет, ставших, о чем мы уже говорили, на редкость благоприятными для этой страны. Ей не было нанесено никакого ущерба, ее валовой национальный продукт увеличился на две трети (*Van der Wee, 1987, p. 30*), так что к концу войны объем производства в США составлял почти две трети мирового промышленного производства. Именно благодаря росту и развитию американской экономики ее подъем в «золотые годы» был не так заметен, как в других странах, начинавших с гораздо более скромных показателей. В период между 1950 и 1973 годами экономика США развивалась гораздо медленнее, чем экономика любой другой промышленно развитой страны, и что более важно, ее рост не превышал значения самых динамичных лет предыдущего периода ее развития. Во всех других промышленно развитых странах, включая даже медлительную Великобританию, «золотая эпоха» побила все предыдущие рекорды (*Maddison, 1987, p. 650*). Фактически в экономическом и технологическом отношении для США это был период скорее отступления, чем движения вперед. Разрыв в производительности труда между ними и другими странами сокращался, и если в 1950 году США имели валовой внутренний продукт на душу населения вдвое больший, чем Франция Германия, в пять раз больший, чем Япония, и более чем в два раза превышавший показатели Великобритании, впоследствии другие государства начали быстро их догонять, что продолжалось в 1970-е и 1980-е годы.

Восстановление после войны стало главной задачей для европейских стран и Японии, и в первые годы после окончания войны они измеряли свой успех лишь тем, насколько смогли приблизиться к своей цели, сравнивая результаты с прошлым, а не устремляясь в будущее. В некоммунистических государствах восстановление, кроме того, означало избавление от страха социальной революции и прихода коммунистов, имевших за плечами опыт Соппротивления. И хотя большинство стран (за исключением Германии и Японии) к 1950 году возвратились к своему довоенному уровню, эйфории мешало начало «холодной войны» и наличие влиятельных коммунистических партий во Франции и Италии. Во всяком случае, потребовалось определенное время, чтобы повышение материального благосостояния стало ощутимо. В Великобритании это произошло только в середине 1950-х годов. До этого ни

один политик не мог выиграть выборы под теми лозунгами, которые принесли победу Гарольду Макмиллану. Даже в столь процветающем регионе, как итальянская Эмилия-Романья, преимущества «общества изобилия» приобрели всеобщий характер только в начале 1960-х годов (*Francia, Muzzioli, 1984, p. 327—329*). Кроме того, основное благо «общества изобилия», а именно отсутствие безработицы, стало всеобщим только в 1960-е годы, когда средний уровень безработицы в Западной Европе снизился до 1,5%. В 1950-е годы в Италии безработица все еще составляла почти 8%. Одним словом, только в 1960-е годы Европа стала воспринимать достигнутое процветание как нечто само собой разумеющееся. К тому времени авторитетные специалисты начали предполагать, что экономика теперь постоянно будет наращивать темпы. «Нет никаких причин сомневаться в том, что основные тенденции роста, обнаружившиеся в 1960-е годы, сохранятся также в начале и середине 1970-х годов,—говорилось в отчете ООН за 1972 год,—не предвидится никаких факторов и влияний, которые смогли бы кардинально изменить внешние условия развития европейской экономики». Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)—клуб передовых капиталистических стран—в начале 1960-х годов сделала прогноз будущего экономического роста. К началу 1970-х годов ожидалось, что в среднесрочной перспективе он превысит 5% (*Glyn, Hughes, Lipietz, Singh, 1990, p. 39*). Однако этим предсказаниям не суждено было сбыться.

Теперь уже очевидно, что «золотая эпоха» имела место в основном в развитых капиталистических странах, доля которых в мировом производстве в эти десятилетия составляла около трех четвертей, а доля промышленного экспорта—более 80% (*OECD, Impact, 1979, p. 18—19*). Еще одной причиной такого длительного непонимания специфики этих десятилетий являлось то, что в 1950-е годы быстрый экономический подъем, казалось, происходил во всем мире и не зависел от экономических условий. Поначалу даже создалось впечатление, что недавно увеличившийся социалистический лагерь имеет преимущества. СССР в 1950-е годы развивался более быстрыми темпами, чем любое западное государство, а развитие экономики стран Восточной Европы происходило почти с такой же скоростью (быстрее в ранее отсталых странах, медленнее в более промышленно развитых странах). Однако коммунистическая Восточная Германия по темпам развития отставала от некоммунистической Западной Германии. Несмотря на то что развитие стран восточного блока в 1960-е годы замедлилось, ВВП на душу населения в течение всей «золотой эпохи» здесь рос несколько быстрее (в СССР не так быстро), чем в развитых капиталистических странах (*IMF, 1990, p. 65*). И все же в 1960-е годы уже было ясно, что капитализм постепенно опережает социализм.

Тем не менее «золотая эпоха» стала всемирным явлением, хотя большая часть населения земного шара никогда не знала, что такое изобилие. Это бы-

ли жители стран, о бедности и отсталости которых эксперты ООН дипломатично говорили с помощью различных эвфемизмов. Несмотря на это, темпы роста населения стран третьего мира были впечатляющи: число жителей Африки, Восточной и Южной Азии с 1950 по 1980 год выросло более чем в два раза, а в Латинской Америке этот показатель был еще выше (*World Resources, 1986, p. 11*). В 1970-е и 1980-е годы мир опять столкнулся с массовым голодом, классический образ которого — детей, умирающих от истощения в экзотических странах,— можно было после ужина наблюдать по любому каналу западного телевидения. В «золотую эпоху» массового голода не было, кроме тех случаев, когда он становился следствием войн или политической глупости, как, например, произошло в Китае (см. ниже). По мере роста населения ожидаемая продолжительность жизни увеличилась в среднем на семь лет (а если сравнивать конец 1960-х годов с концом 1930-х, то даже на семнадцать) (*Morawetz, 1977, p. 48*). Это означает, что производство продуктов питания росло быстрее, чем численность населения. Это имело место не только в развитых странах, но и во всех основных регионах неиндустриального мира. В 1950-е годы его ежегодный прирост составлял более 1% на душу населения во всех регионах развивающегося мира, за исключением Латинской Америки, где этот рост тоже имел место, хотя и был более медленным. В 1960-е годы все еще наблюдался рост производства во всех частях неиндустриального мира (опять за исключением стран Латинской Америки), хотя темпы его снизились. Тем не менее увеличение совокупного производства продуктов питания в отсталых странах как в 1950-е, так и в 1960-е годы происходило быстрее, чем в развитых странах.

Неравенство между различными регионами отсталого мира в 1970-е годы сделало бесполезными подобные глобальные подсчеты. К тому времени некоторые регионы, такие как Дальний Восток и Латинская Америка, с успехом обеспечивали пищей свое растущее население, тогда как Африка каждый год отставала более чем на 1%. В 1980-е годы производство продуктов питания на душу населения в отсталых странах вообще не увеличивалось. Исключение составляли Южная и Восточная Азия, хотя даже здесь имелись страны, в которых по сравнению с 1970-ми годами производство продуктов питания на душу населения сократилось (Бангладеш, Шри Ланка, Филиппины). В некоторых районах мира их производство упало гораздо ниже уровня 1970-х годов и продолжало падать, особенно в Африке, Центральной Америке и на Ближнем Востоке (*Van der Wee, 1987, p. 106; FAO, The State of food, 1989, Annex, Table 2, p. 113—115*).

Между тем проблема развитых стран мира заключалась в том, что они производили слишком много продовольствия и не знали, что делать с излишками. В 1980-е годы они решили значительно сократить производство или продавать (как это сделало Европейское сообщество) свои горы масла и мо-

лочные реки по демпинговым ценам, подрывая тем самым производство в отсталых странах. На островах Карибского моря голландский сыр стал дешевле, чем в Нидерландах. Как ни странно, контраст между колоссальным избытком пищи, с одной стороны, и множеством голодающих — с другой, который так возмущал мир во время Великой депрессии 1930-х годов, не вызывал никакого протеста в конце двадцатого века. Таково было одно из последствий углубляющегося размежевания между миром богатых и миром бедных, которое становилось все более явным начиная с 1960-х годов.

Индустриализация утверждалась повсюду — и в капиталистическом обществе, и в социалистическом, и в странах третьего мира. На Западе имелись яркие примеры промышленной революции — Испания и Финляндия. В лагере «реального социализма» (см. главу 13) в таких прежде аграрных странах, как Болгария и Румыния, появилась крупная промышленность. Среди государств третьего мира наиболее значительных достижений уже после окончания «золотой эпохи» добились так называемые «новые индустриальные страны». Число стран, занимающихся преимущественно сельским хозяйством, резко сократилось. К концу 1980-х годов не более пятнадцати государств оплачивали половину или более собственного импорта из средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции. За одним исключением (Новая Зеландия), все они находились в тропической Африке и Латинской Америке (FAO, *The State of Food, 1989, Annex, Table II, p. 149—151*).

Итак, мировая экономика бурно развивалась. Уже в конце 1950-х годов стало ясно, что ничего подобного раньше не происходило. С начала 1950-х по начало 1970-х годов мировой выпуск товарной продукции увеличился в четыре раза и, что гораздо более впечатляюще, в десять раз выросли объемы мировой торговли. Как мы видели, рост мирового сельскохозяйственного производства также происходил довольно быстро, хотя и не так впечатляюще. Он осуществлялся не столько за счет освоения новых земель (как в основном было раньше), сколько благодаря подъему производительности. Между 1950—1952 и 1980—1982 годами урожайность зерновых с гектара увеличилась почти в два раза, а в Северной Америке, Западной Европе и Восточной Азии более чем удвоилась. За это же время мировой рыбный промысел утроился, однако затем снова сократился (*World Resources, 1986, p. 47, 142*).

Один побочный результат этого небывало бурного роста производства пока еще был мало заметен, хотя в ретроспективе выглядел угрожающе — загрязнение окружающей среды и ухудшение экологии. Во время «золотой эпохи» ему уделяли мало внимания, оно интересовало только защитников дикой природы и других людских и природных ресурсов, поскольку преобладающая прогрессистская идеология считала само собой разумеющимся, что следствием прогресса являлась растущая власть человека над природой. Индустриализация в социалистических странах по этой причине была особенно слепа к

экологическим последствиям создания довольно архаичной промышленной системы, основанной на железе и дыме. Даже на Западе афоризм коммерсантов девятнадцатого века «где грязь, там и деньги» (т. е. загрязнение окружающей среды означает прибыль) по-прежнему звучал убедительно, особенно для строителей дорог и торговцев недвижимостью, которые вновь обнаружили, какие небывалые прибыли можно в период бума получать от беспроигрышной спекуляции. Все, что нужно было делать,— это ждать, когда стоимость правильно выбранной площадки для строительства взлетит до заоблачных высот. Одно удобно расположенное здание теперь делало человека мультимиллионером фактически без всяких затрат, поскольку он мог взять ссуду под залог своего будущего строительства и еще одну, если его стоимость (достроенного или нет, занятого или пустующего) продолжала расти. В конечном итоге, как обычно, все закончилось крахом — «золотая эпоха» завершилась так же, как и любой предыдущий бум,— крахом в сфере банковских операций с недвижимостью, но до этого столичные центры, большие и малые, разрастались по всему миру, нарушая архитектуру средневековых городов (как произошло, например, в Ворчестере в Великобритании и в испанских колониальных столицах — в Лиме в Перу). Поскольку правительства Востока и Запада, поняв, что поточными методами можно осуществлять строительство быстро и дешево, наводнили городские окраины монстрами многоэтажных зданий, 1960-е годы запомнятся как самые разрушительные десятилетия в истории урбанизации человечества.

Однако, если не принимать во внимание вред, наносимый окружающей среде, казалось, имелись основания для самоуспокоенности, поскольку загрязнения девятнадцатого века отступили перед технологиями двадцатого века и экологической сознательностью. Разве простой запрет угольных каминов в Лондоне в 1953 году мгновенно не рассеял густой туман, столь знакомый по романам Чарльза Диккенса, постоянно создававший непроницаемую завесу над городом? Разве несколько лет спустя не начал снова обитать лосось в некогда непригодной для рыбы Темзе? На смену громадным дымящим заводам, прежде олицетворявшим развитие промышленности, пришли гораздо более экологически чистые, миниатюрные по размерам и менее шумные фабрики, располагавшиеся за городом. Аэропорты заменили железнодорожные станции в качестве символов основных транспортных средств. По мере того как пустела сельская местность, представители среднего класса, переселяясь в покинутые деревни и усадьбы, чувствовали себя ближе к природе, чем когда-либо раньше.

Однако нельзя отрицать, что воздействие человеческой деятельности на природу не только в промышленных городах, но и в сельской местности резко усилилось начиная с середины двадцатого века. В большой степени это произошло из-за многократного увеличения использования ископаемого то-

плива (каменного угля, нефти, природного газа и т. д.), перспективы истощения которого заботили специалистов уже с середины девятнадцатого века. Новые месторождения находили быстрее, чем использовали. То, что общее потребление энергии стремительно росло, не вызывает удивления (в США оно фактически утроилось с 1950 по 1973 год) (*Rostow, 1978, p. 256; Table III, p. 58*). Одна из причин, почему «золотая эпоха» стала по-настоящему золотой, состояла в том, что в 1950—1973 годах цена барреля саудовской нефти в среднем была меньше 2 долларов, что делало энергоносители до смешного дешевыми, причем стоимость их постоянно снижалась. По иронии судьбы, лишь после 1973 года, когда картель стран — экспортеров нефти резко ограничил использование автомобильного транспорта, экологи обратили серьезное внимание на последствия бурного роста числа транспортных средств, работающих на бензине, от которых небо больших городов в тех частях света, где использовалось большое количество транспорта, в частности в Америке, заволакивали темные тучи. Основным источником тревоги по понятным причинам являлся смог. Вызывало тревогу также и то, что количество выбросов двуокиси углерода, повышающих температуру атмосферы, в период с 1950 по 1973 год выросло почти втрое, т. е. концентрация этого газа в атмосфере увеличивалась почти на 1% в год (*World Resources, Table II.1, p. 318; II.4, p. 319; Smil, 1990, p. 4, Fig. 2*). Кривая производства хлорфторуглеродов — соединений, влияющих на озоновый слой, — росла почти вертикально. В конце войны они использовались в очень небольших количествах, однако к 1974 году в атмосферу выбрасывалось более 300 тысяч тонн двуокиси углерода и более 400 тысяч тонн хлорфторуглеродов (*World Resources, Table II.3, p. 319*). Естественно, львиная доля этих загрязнений приходилась на богатые западные страны, однако в ходе необычайно грязной индустриализации в СССР выбросы двуокиси углерода были почти такими же, как и в США, причем их количество в 1985 году почти в пять раз превышало уровень 1950 года. (США по этим показателям на душу населения далеко опережали остальные страны.) Только Великобритания в этот период реально снизила количество вредных выбросов, приходящееся на одного жителя (*Smil, 1990, Table I, p. 15*).

II

Поначалу этот поразительно бурный рост экономики казался просто повторением в гигантских масштабах того, что имело место и раньше. Это напоминало распространение на весь мир благополучного состояния Соединенных Штатов образца до 1945 года. До некоторой степени так оно и было. Автомобильная эпоха в Северной Америке наступила уже давно, после Второй мировой войны она пришла и в Европу, а еще позже в более скромных масштабах

проникла в социалистический лагерь и в средние классы стран Латинской Америки. Дешевое топливо сделало грузовик и автобус самыми распространенными средствами передвижения большей части населения земного шара. Если считать критерием расцвета западного «общества изобилия» прирост парка частных машин (в Италии, например, он вырос с 469 тысяч в 1938 до 15 миллионов в 1975 году (*Rostow, 1978, p. 212*); *UN Statistical Yearbook, 1982, Table 175, p. 960*)—экономическое развитие многих стран третьего мира можно определить по тому, насколько увеличилось там число автотранспорта.

Так что мощный мировой бум во многом следовал прежним направлениям. Модель массового автомобильного производства Генри Форда распространилась через океаны в новую автомобильную промышленность, в то время как в самих Соединенных Штатах фордистские принципы поточного производства внедрялись в новые отрасли, от строительства жилья до производства готовой кулинарной продукции (вспомним послевоенный триумф закусокных «Макдоналдс»). Товары и услуги, которые раньше могли себе позволить лишь немногие, теперь производились для массового рынка; то же самое происходило и в области туризма—ранее малодоступные путешествия на солнечные южные побережья стали массовыми. До войны на отдых в Центральную Америку и на острова Карибского моря ездило не более 150 тысяч жителей США, однако с 1950 по 1970 годы их число увеличилось с 300 тысяч до 7 миллионов (*US Historical Statistics I, p. 403*). В Европе эти цифры были еще более впечатляющими, что неудивительно. Испания, массовый туризм в которой фактически не развивался до конца 1950-х годов, к концу 1980-х принимала более 54 миллионов иностранцев в год, лишь немного уступая Италии, принимавшей 55 миллионов туристов (*Stat. Jahrbuch, 1990, p. 262*). То, что некогда считалось роскошью, теперь стало привычным стандартом в странах с высоким уровнем жизни: холодильник, посудомоечная машина, телефон. К 1971 году в мире было более 270 миллионов телефонов, главным образом в Северной Америке и Западной Европе, и диапазон их распространения все расширялся. За последующее десятилетие их число увеличилось почти вдвое. В странах с развитой экономикой на каждых двух жителей приходилось более одного телефона (*UN World Situation, 1985, Table 19, p. 63*). Одним словом, теперь средне-статистический житель этих стран мог позволить себе такой уровень жизни, какой во времена их отцов был доступен лишь очень состоятельным людям (кроме, конечно, слуг, которых теперь заменили всевозможные агрегаты).

Но что более всего поражает в этот период, так это резко усилившееся влияние технической революции на экономические процессы. Благодаря ей произошло не только совершенствование прежней продукции, но началось производство ранее неизвестных товаров, включая те, которые до войны нельзя было и вообразить. Некоторые революционные изобретения, например синтетические материалы (нейлон, пенопласт и полиэтилен), были созда-

ны в период между Первой и Второй мировыми войнами, и тогда же началось их коммерческое производство. Другие изобретения, такие как телевидение и магнитофон, в то время находились еще в стадии эксперимента. Война с ее потребностями в высоких технологиях инициировала ряд революционных новшеств, в дальнейшем нашедших мирное применение. В большей степени в этой области преуспели англичане (почин которых подхватили американцы), а не известные своей склонностью к изобретательству немцы. Именно они начали разрабатывать радар, воздушно-реактивный двигатель и различные идеи и технологии, подготовившие почву для развития послевоенной электроники и информационной техники. Без них транзистор (изобретенный в 1947 году) и первые цифровые вычислительные машины (1946) появились бы значительно позже. К счастью, ядерная энергия, впервые нашедшая применение во время войны для разрушительных целей, почти не употреблялась в гражданской экономике, за исключением незначительного использования в качестве источника электроэнергии (около 5% в 1975 году). Ее применение невелико до сих пор. Вопрос о том, базировались все эти новшества (среди которых разработанные в 1950-е годы микросхемы, лазеры, появившиеся в 1960-е годы, или побочные продукты космического ракетостроения) на научных достижениях довоенного времени или стали результатом мощного послевоенного подъема, вряд ли имеет отношение к предмету наших исследований, кроме одного аспекта. Производство в «золотую эпоху» в значительно большей степени, чем в любой предыдущий период, базировалось на самых передовых и зачастую секретных научных исследованиях, которые теперь в течение нескольких лет нашли практическое применение. Промышленность и даже сельское хозяйство впервые вышли далеко за рамки технологий девятнадцатого века (см. главу 18).

Три аспекта этого прорыва в области технологий наиболее впечатляют специалистов. Во-первых, он полностью изменил повседневную жизнь в странах с высоким уровнем жизни и, правда в меньшей степени, в бедных странах, где даже в самых отдаленных деревнях благодаря транзисторам и миниатюрным батарейкам длительного действия появилось радио, где «зеленая революция» модернизировала возделывание риса и пшеницы, а босые ноги жителей украсились пластиковыми сандалиями. Любой европейский читатель этой книги, взглянув на предметы своего повседневного обихода, может это подтвердить. Многие продукты, лежащие в холодильнике или морозильнике (до 1945 года отсутствовавших в большинстве семей), раньше вообще не были известны: пища, полученная в результате сублимационной сушки, изделия из домашней птицы, выращенной на больших птицефабриках, начиненное ферментами и различными химикатами мясо, изменившее свой вкус, не говоря уже о продуктах, доставляемых свежими по воздуху почти в любую точку земного шара, что раньше было невозможно.

По сравнению с 1950 годом доля природных и традиционных материалов — дерева, металла, обработанного старыми способами, натуральных волокон, даже керамики — в домашней обстановке и одежде резко пошла на убыль. Правда, беззастенчивая реклама, окружающая все, что производит индустрия средств личной гигиены и косметики, мешала (из-за систематических преувеличений) разобраться в степени новизны ее невероятно расширившегося ассортимента. Техническая революция настолько внедрилась в сознание потребителя, что новизна товаров стала главной притягательной силой, начиная от синтетических моющих средств, получивших признание в 1950-е годы, до портативных компьютеров. Считалось, что «новое» являлось не только лучшим, но к тому же и революционным.

Что касается изделий, реально ставших техническими новшествами, то их список бесконечен и не требует комментариев: телевидение, виниловые пластинки (долгоиграющие пластинки появились в 1948 году), впоследствии замененные магнитофонными пленками (кассеты для записи появились в 1960-х годах) и компакт-дисками; портативные транзисторные радиоприемники (автор получил свой первый приемник в подарок от японского друга в конце 1950-х годов), электронные часы, карманные калькуляторы на обычных, а затем на солнечных батарейках, прочая домашняя электроника, фото- и видеоаппаратура. Шел процесс постоянного уменьшения размеров этих приборов, т. е. их портативности, что значительно увеличивало диапазон их применения и рынок сбыта. Однако техническая революция не менее ярко проявилась в, казалось бы, внешне не изменившихся товарах, которые со времен Второй мировой войны были полностью преобразованы, как, например, прогулочные яхты. Их мачты, корпус, паруса, такелаж и навигационное оборудование имели мало или вообще ничего общего с судами межвоенного периода, за исключением формы и назначения.

Во-вторых, чем более сложная технология использовалась, тем сложнее и дороже был путь от изобретения изделия до его производства. «Исследование и разработка» (R & D) приобрели главное значение для экономического роста, и по этой причине уже имевшееся огромное преимущество развитых рыночных экономик над остальными укрепилось еще больше. (Как мы увидим в главе 16, введение технических новшеств нашло слабое распространение в социалистических экономиках.) Типичная развитая страна в 1970-е годы имела свыше тысячи ученых и инженеров на каждый миллион населения. В Бразилии их число равнялось примерно 250, в Индии — 130, в Пакистане — 60, в Кении и Нигерии — 30 (*UNESCO, 1985, Table 5.18*). Кроме того, инновационный процесс стал настолько непрерывным, что стоимость разработки новых изделий становилась все более заметной составляющей стоимости товара. В военной промышленности, где, по общему признанию, деньги не являлись основной целью производства, новые устройства и технологии, едва

появившись на рынке, сразу же уступали место еще более новым и совершенным (и конечно, гораздо более дорогостоящим), принося значительные финансовые прибыли занятым в производстве корпорациям. В отраслях, более ориентированных на массовый рынок, таких как производство лекарств, на новых и действительно необходимых медикаментах, особенно защищенных от конкуренции патентными правами, можно было сделать состояния, которые, по словам производителей, были совершенно необходимы им для дальнейших исследований. Менее защищенные производители должны были наживаться быстрее, поскольку как только продукция их конкурентов достигала рынка, цены резко падали.

В-третьих, новые технологии требовали чрезвычайно больших капиталовложений и (за исключением высококвалифицированных ученых и специалистов) меньших затрат людского труда или же вообще заменяли его автоматикой. Главной особенностью «золотой эпохи» являлось то, что она требовала постоянных значительных капиталовложений и все меньше нуждалась в людском труде, рассматривая людей исключительно как потребителей. Однако темпы экономического подъема были столь высоки, что современникам это не было заметно. Напротив, экономика развивалась столь интенсивно, что даже в индустриальных странах доля промышленных рабочих среди занятого населения оставалась прежней и даже увеличивалась. Во всех развитых странах, кроме США, резервы рабочей силы, увеличившиеся во время довоенной депрессии и послевоенной демобилизации, истощились, и жители сельских регионов, эмигранты и замужние женщины, до этого находившиеся вне рынка рабочей силы, стали поступать на него во все больших количествах. Тем не менее идеалом, к которому стремилась «золотая эпоха» (достигнутым только частично), являлось производство и даже обслуживание без применения человеческого труда: роботы-автоматы, собирающие автомобили, тихие помещения, наполненные рядами компьютеров, контролирующих выделение энергии, поезда без машинистов. Люди были необходимы подобной экономике только в качестве потребителей товаров и услуг. В этом и состояла главная проблема. Но в «золотую эпоху» она все еще казалась далекой и нереальной, как будущая смерть вселенной от повышения энтропии, о которой человечество предупреждали еще ученые Викторианской эпохи.

Напротив, создавалось впечатление, что все проблемы, существовавшие при капитализме в «эпоху катастроф», исчезли навсегда. Пугающая и неотвратимая последовательность циклов взлетов и депрессий, столь утрашавших человечество в период между Первой и Второй мировыми войнами, превратилась в череду умеренных колебаний благодаря разумному управлению макроэкономикой (по крайней мере в этом были убеждены экономисты — последователи Кейнса, консультировавшие теперь правительства). Безработица? Но где ее можно было найти в развитых странах в 1960-е годы, когда в

Европе в среднем она составляла лишь 1,5%, а в Японии — 1,3%? (*Van der Wee, 1987, p. 77*) Она не была ликвидирована только в Северной Америке. Нищета? Конечно, бóльшая часть человечества по-прежнему жила в бедности, но какое отношение могли иметь строки из «Интернационала» «Вставай, проклятьем заклейменный» к рабочим старых центральных промышленных регионов, если теперь их целью являлись покупка собственного автомобиля и проведение ежегодного оплачиваемого отпуска на пляжах Испании? А если вдруг наступили бы трудные времена, разве государство «всеобщего благоденствия» не предоставило бы им такую поддержку, о которой они раньше не могли даже мечтать, и не защитило бы от болезней, несчастных случаев и ужасной нищей старости? Их доходы росли год от года почти автоматически, и казалось, так будет продолжаться вечно. Доступный им спектр товаров и услуг, предлагаемых системой производства, сделал прежние предметы роскоши предметами ежедневного потребления, и число их увеличивалось год от года. Чего еще в материальном отношении могло желать человечество, кроме распространения прибылей, уже обретенных счастливыми в некоторых странах, на несчастных обитателей регионов, еще не вступивших в эпоху развития и модернизации, которые составляли бóльшую часть земного шара?

Так какие же проблемы оставалось решить? Один очень известный британский социалист писал в 1956 году: «Традиционно экономические проблемы, порожденные капитализмом,— бедность, массовая безработица, нищета, нестабильность и даже возможность крушения всей системы заботили главным образом социалистов (...) Капитализм был реформирован до неузнаваемости. Несмотря на случающиеся время от времени незначительные спады и платежные кризисы, полная занятость и достаточный уровень социальной стабильности, похоже, могут сохраниться. Можно ожидать, что автоматизация постепенно решит все оставшиеся проблемы недопроизводства. По прогнозам, в результате теперешних темпов роста в течение следующих пятидесяти лет национальный доход утроится» (*Crosland, 1957, p. 517*).

III

Как же объяснить этот необычайный и совершенно неожиданный триумф системы, которая половину срока своего существования, казалось, находилась на грани разрушения? Объяснений, конечно, требует не сам факт длительного периода развития и благосостояния, наступивший вслед за периодом экономических и иных трудностей и катаклизмов. Такая последовательность «длинных волн» протяженностью в полвека формировала основной ритм истории капиталистической экономики еще с конца девятнадцатого ве-

ка. Как мы видели (глава 2), еще «эпоха катастроф» привлекла внимание к этому типу флуктуаций, природа которых пока остается неясной. В мире они известны под именем русского экономиста Кондратьева. В долгосрочной перспективе «золотая эпоха» стала очередным взлетом «по Кондратьеву», подобно великому буму Викторианской эпохи (1850—1873) (странным образом их даты почти совпадают — с интервалом в столетие), а также *belle époque* эдвардианского периода. Как и в случае предыдущих аналогичных резких подъемов, ей предшествовал и за ней следовал резкий спад. Однако объяснения требует сам небывалый размах и интенсивность этого подъема, вполне соответствовавшего небывалому размаху и глубине предшествующей эпохи кризисов и депрессий.

По-настоящему удовлетворительных объяснений этого «большого скачка» мировой капиталистической экономики с его беспрецедентными социальными последствиями пока не существует. Безусловно, многие страны энергично стремились к тому, чтобы соответствовать образцовой экономике индустриального общества начала двадцатого века, а именно экономике Соединенных Штатов — страны, не разоренной ни одной выигранной или проигранной войной, хотя и пережившей потрясения Великой депрессии. Они систематически пытались подражать США, что ускорило процесс их экономического развития, поскольку всегда проще усовершенствовать существующие технологии, чем изобретать новые. Последнее может начаться позже, как показал пример Японии. Однако «большой скачок» имел гораздо более важные последствия. Благодаря ему произошла коренная реорганизация и реформирование капитализма и был совершен прорыв в сфере интернационализации и глобализации экономики.

Первое создало «смешанную экономику», что упростило государству процессы планирования и управления ее модернизацией, а также намного увеличило спрос. Все послевоенные истории небывалого экономического успеха капиталистических стран, за редчайшими исключениями (Гонконг), являлись историями индустриализации, поддерживаемой, управляемой, руководимой, а иногда планируемой правительствами — от Франции и Испании в Европе до Японии, Сингапура и Южной Кореи в Азии. В то же время политическая приверженность правительств полной занятости и (в меньшей степени) уменьшению экономического неравенства, т. е. ориентация на благосостояние и социальную защищенность, впервые создала массовый потребительский рынок предметов роскоши, которые теперь перешли в разряд необходимых. Чем беднее люди, тем большую часть своего дохода они должны тратить на предметы первой необходимости, такие как пища (весьма разумное наблюдение, известное как «закон Энгеля»). В 1930-е годы даже в такой богатой стране, как США, примерно треть расходов на домашнее хозяйство все еще уходила на еду, однако к началу 1980-х годов эта статья составляла

лишь 13%. Остальное можно было тратить на другие покупки. «Золотая эпоха» демократизировала рынок.

Второе, т. е. интернационализация экономики, увеличило производительную способность мировой экономики, сделав возможным гораздо более совершенное и сложное международное разделение труда. Первоначально оно было ограничено главным образом кругом так называемых «развитых рыночных экономик», т. е. странами, принадлежавшими к американскому лагерю. Социалистическая часть мира была в значительной степени изолирована (см. главу 13), а наиболее динамично развивающиеся страны третьего мира в 1950-е годы предпочитали самостоятельно осуществляемую плановую индустриализацию, заменив импортируемые изделия своей собственной продукцией. Конечно, основные западные капиталистические страны торговали с остальным миром, и весьма удачно, поскольку условия торговли им благоприятствовали — т. е. они дешево могли покупать сырье и продовольствие. Что действительно резко увеличилось, так это торговля промышленными товарами, в основном между главными развитыми странами. За двадцать лет с 1953 года мировая торговля готовой продукцией выросла в десять раз. Производители промышленной продукции, с девятнадцатого века стабильно контролировавшие немногим менее половины общемирового торгового оборота, теперь покрывали более 60% рынка (*W. A. Lewis, 1981*). «Золотая эпоха» утвердилась в экономиках ведущих капиталистических стран даже в чисто количественном отношении. В 1975 году на долю стран «большой семерки» (Канада, США, Япония, Франция, Федеративная Республика Германия, Италия и Великобритания) приходилось три четверти всех частных автомобилей земного шара, почти таким же было и соотношение числа телефонов (*UN Statistical Yearbook, 1982, p. 955 ff, 1018 ff*). Однако новая промышленная революция не была ограничена каким-либо одним регионом.

Основными направлениями являлись реструктуризация капитализма и продвижение в области интернационализации экономики. Успехи «золотой эпохи» нельзя объяснить только технической революцией, хотя и она, безусловно, сыграла свою роль. Как уже говорилось, во многом новая индустриализация в эти десятилетия заключалась в распространении уже имевшихся технологий в новые страны. Так, индустриализация образца девятнадцатого века в угольной и металлургической промышленности пришла в аграрные социалистические страны, а в европейских государствах индустриализация нефтеперерабатывающей отрасли происходила на основе американских достижений. Влияние высоких технологий на гражданскую промышленность стало массовым только с началом «кризисных десятилетий» (после 1973 года), когда произошел прорыв в области информационных технологий и генной инженерии, а также и другие прорывы в неизведанное. Возможно, главными достижениями, преобразовавшими мир сразу же после окончания войны,

стали достижения в области химии и фармакологии, которые сразу же оказали влияние на демографическую обстановку в странах третьего мира (см. главу 12). Их культурные последствия проявились несколько позднее, поскольку сексуальная революция 1960—1970-х годов на Западе произошла во многом благодаря антибиотикам (неизвестным перед Второй мировой войной), с помощью которых удалось устранить главную опасность половой распущенности — венерические заболевания, сделав их легкоизлечимыми, а также благодаря противозачаточным таблеткам, ставшим широко доступными в 1960-е годы (в 1980-е годы после возникновения СПИДа секс вновь стал фактором риска).

Иначе говоря, высокие технологии вскоре стали столь неотъемлемой частью экономического бума, что о них не следует забывать даже в тех случаях, когда мы не считаем их решающим фактором.

Послевоенный капитализм, безусловно, являлся, по формулировке Кросланда, системой, «реформированной до неузнаваемости», или, по словам британского премьер-министра Гарольда Макмиллана, новой версией старой системы. Преодолев ошибки периода между Первой и Второй мировыми войнами, он не просто вернулся к своим обычным функциям «...поддержания высокого уровня занятости и (...) определенной степени экономического роста» (*H. G. Johnson, 1972, p. 6*). По существу было заключено нечто вроде брачного союза между экономическим либерализмом и социальной демократией (или, с точки зрения американцев, рузвельтовской политикой «нового курса») со значительными заимствованиями у Советского Союза, являвшегося пионером экономического планирования. Именно поэтому нападки на реформированный капитализм со стороны ортодоксальных сторонников свободного рынка так усилилось в 1970-е и 1980-е годы, когда политика, основанная на подобном браке, перестала подкрепляться экономическими успехами. Специалисты, подобные австрийскому экономисту Фридриху фон Хайеку (1899—1992), никогда не являлись прагматиками и были готовы (неохотно) допустить, что экономическая деятельность, противоречащая принципу невмешательства государства в экономику, может быть успешной, хотя и приводили убедительные доказательства, отрицающие эту возможность. Они верили в формулу «свободный рынок = свобода личности» и, соответственно, осуждали любые отступления от нее, усматривая в них «дорогу к рабству» (так называлась книга фон Хайека, изданная в 1944 году). Эти специалисты отстаивали чистоту рынка во время Великой депрессии. Они продолжали осуждать политику, сделавшую «золотую эпоху» действительно золотой, несмотря на то что мир в это время становился все богаче, а капитализм (плюс политический либерализм) вновь стал процветать на основе взаимодействия рынка и правительства. Но в период между 1940-ми и 1970-ми годами никто не слушал этих приверженцев старых убеждений.

У нас нет причин сомневаться в том, что капитализм был сознательно реформирован в течение последних военных лет, главным образом теми американскими и британскими политиками, которые имели для этого возможности. Ошибочно считать, что люди никогда не извлекают уроков из истории. Опыт межвоенных лет, и в особенности Великой депрессии, был столь катастрофическим, что теперь никто не мог и мечтать (как это делали многие общественные деятели после окончания Первой мировой войны) о скором возвращении к довоенному уровню. Мужчины (женщины пока еще почти не допускались в первые эшелоны общественной жизни), определявшие принципы послевоенной экономики и перспективы мирового экономического порядка, все пережили эпоху Великой депрессии. Некоторые, подобно Дж. М. Кейнсу, вышли на общественную арену еще до 1914 года. И даже если воспоминаний об экономическом крахе 1930-х годов было недостаточно, чтобы заставить их желать реформировать капитализм, то тем, кто только что воевал с гитлеровской Германией, ставшей порождением Великой депрессии, а также тем, кто оказался лицом к лицу с перспективой коммунизма и советской власти, распространявшейся по руинам бездействовавшей капиталистической экономики, был очевиден тот огромный политический риск, которому подвергнется Запад, если этого не будет сделано.

Этим государственным деятелям были очевидны четыре обстоятельства. Катастрофа межвоенных лет, повторения которой ни в коем случае нельзя было допустить, произошла главным образом из-за краха мировой торговой и финансовой системы и, как следствие, раздробления ее на разновидности автаркических национальных экономик. Раньше мировую экономическую систему стабилизировала гегемония британской экономики и ее валюты — фунта стерлингов. Между Первой и Второй мировыми войнами Великобритания и фунт стерлингов больше не являлись достаточно прочными, чтобы выдержать такое бремя, которое могли теперь взять на себя лишь Соединенные Штаты и доллар. (Этот вывод, естественно, вызвал гораздо больший энтузиазм в Вашингтоне, чем в остальном мире.) Великая депрессия явилась следствием недостатков ничем не ограниченного свободного рынка. Следовательно, отныне этот рынок надлежало подкреплять государственным планированием и управлением экономикой. Наконец, по социальным и политическим соображениям нельзя было допустить возвращения массовой безработицы.

Государственные деятели за пределами англоязычных стран имели мало влияния на перестройку мировой торговой и финансовой системы, но в основном одобряли отказ от прежнего либерализма свободного рынка. Осуществление государственного планирования и руководства экономикой не было новшеством для некоторых стран, в частности для Франции и Японии. Даже государственная собственность и регулирование промышленного развития

были довольно широко распространены в западных странах после 1945 года. Данный вопрос не являлся всего лишь предметом идейных разногласий между социалистами и антисоциалистами, а общий сдвиг влево, присущий политике Сопротивления, сделал его более значимым, чем в довоенное время, что хорошо видно на примере французской и итальянской конституций 1946—1947 годов. Так, даже после пятнадцати лет социалистического правления (в 1960 году) государственный сектор в Норвегии занимал меньшее место в экономике, чем в Западной Германии, отнюдь не склонной к национализации.

Что касается социалистических партий и рабочих движений, столь распространенных в Европе после войны, то они быстро приспособились к новому реформированному капитализму, поскольку из практических соображений не проводили своей собственной экономической политики, за исключением коммунистов, чья политика состояла в захвате власти, а затем следовании модели СССР. Прагматичные скандинавы оставили свой частный сектор нетронутым. Британское лейбористское правительство 1945 года также не предприняло никаких мер для его реформирования и проявило полное отсутствие интереса к планированию, что было весьма странно, особенно по сравнению с решительной плановой модернизацией, предпринятой несоциалистическим французским правительством. Левые фактически сосредоточили усилия на улучшении условий своих избирателей-рабочих и на социальных реформах, проводимых с этой же целью. Но поскольку у них не было ничего, кроме призывов к свержению капитализма (хотя ни одно социалистическое правительство не знало, как это сделать, и не пыталось осуществить), то для финансирования своих целей им оставалось лишь уповать на процветание капиталистической экономики. В сущности, их вполне устраивал реформированный капитализм, признающий важность лейбористских и социал-демократических устремлений.

Одним словом, по разным причинам политики, чиновники и даже многие бизнесмены послевоенного Запада были убеждены, что о возврате к принципу невмешательства государства в экономику и к прежнему свободному рынку не могло быть и речи. Четко определенные политические задачи — полная занятость, сдерживание коммунизма, модернизация отсталой и разрушенной экономики — имели абсолютный приоритет и оправдывали вмешательство правительства в экономику. Даже режимы, преданные принципам политического и экономического либерализма, теперь могли и должны были осуществлять экономическую политику способами, некогда отвергавшимися ими как «социалистические». Именно так Великобритания и даже США управляли своей военной экономикой. Будущее было за экономикой смешанного типа. Однако бывали моменты, когда старые традиции фискальной умеренности, стабильной валюты и устойчивых цен все еще принимались во внимание, хотя уже и не являлись решающими. Начиная с 1933 года пугала инфля-

ции и финансового дефицита больше не отгоняли птиц с полей экономики, однако злаки на них все же росли.

Это были серьезные изменения. Именно они подвигли американского государственного деятеля, приверженца классического капитализма А. Гарримана в 1946 году сказать своим соотечественникам: «Люди нашей страны больше не боятся таких слов, как „планирование“ (...) они признали тот факт, что правительство должно строить планы так же, как и отдельные граждане» (Maier, 1987, p. 129). Благодаря этим новым веяниям поборник экономического либерализма и американской экономики Жан Монне (1888—1979) перешел в лагерь страстных сторонников французского экономического планирования. Эти веяния превратили экономиста лорда Лайонела Роббинса, поборника свободного рынка, некогда защищавшего традиционный капитализм от Кейнса и читавшего лекции совместно с Хайеком в лондонской Школе экономики, в руководителя полусоциалистической британской военной экономики. В течение примерно тридцати лет существовало согласие, особенно в США, среди западных теоретиков и политиков, определявших, что должны делать остальные некоммунистические страны, а главное, чего они не должны делать. Все хотели роста производства, расширения международной торговли, полной занятости, индустриализации и модернизации, и все были готовы к обеспечению этих благ, если будет необходимо, с помощью систематического правительственного контроля и управления смешанной экономикой, а также с помощью сотрудничества с рабочим движением при условии, что оно не является коммунистическим. «Золотая эпоха» не стала бы золотой без согласия в том, что для выживания капитализма («свободного предпринимательства», как его больше любили именовать) * его нужно было спасать от себя самого.

Однако, хотя капитализм, безусловно, реформировал себя, следует провести четкое различие между общей готовностью сделать то, что до этого времени было просто немыслимо, и реальной эффективностью специфических рецептов, которые изобретали повара новой экономической кухни. Об этом сложно судить. Экономисты, как и политики, всегда склонны относить успех за счет собственной дальновидности, а в «золотую эпоху», когда даже такие слабые экономики, как британская, развивались и процветали, казалось, имелось достаточно оснований для самолюбования. И все же взвешенная политика во многом добилась поразительных успехов. Например, в 1945—1946 годах Франция осознанно вступила на путь экономического планирования для модернизации своей промышленности. Такая адаптация советских

* Слово «капитализм», как и «империализм», не употреблялось в публичном дискурсе, поскольку вызывало негативные ассоциации в общественном сознании. Только в начале 1970-х годов появились политики и публицисты, гордо называвшие себя капиталистами, а с 1965 года журнал «Forbes», писавший о бизнесе, переиначив избитую фразу американских коммунистов, начал называть себя «орудием капитализма».

идей к смешанной экономике капитализма оказалась весьма эффективной, поскольку с 1950 по 1979 год Франция, до этого бывшая символом экономического отставания, быстрее других экономически развитых государств (даже быстрее Германии) стала нагонять США по эффективности производства (Maddison, 1982, p. 46). Но предоставим экономистам, известным спорщикам, рассуждать о достоинствах, недостатках и эффективности экономической политики, проводимой различными правительствами (более всего ассоциировавшейся с именем Дж. Мейнарда Кейнса, умершего в 1946 году).

IV

Разница между общими замыслами и их конкретным воплощением особенно ясно обнаружилась в перестройке международной экономики, поскольку здесь уроки Великой депрессии (это выражение стало распространенным в 1940-е годы) хотя бы частично воплотились в конкретные институциональные преобразования. Лидерство США не вызывало сомнения. Вашингтон оказывал политическое давление, даже когда идеи и инициативы исходили от Великобритании, и там, где мнения расходились, как между Кейнсом и американским представителем Гарри Уайтом * в вопросе о новом Международном валютном фонде (МВФ), позиция США одерживала верх. По первоначальному плану либерального экономического порядка МВФ рассматривался в качестве составляющей новой системы международных отношений, основой которой должна была стать задуманная еще в годы войны Организация Объединенных Наций. Только после того, как исходная модель ООН не выдержала перегрузок «холодной войны», два международных института, созданные на основе соглашений в Бреттон-Вудс в 1944 году,— Всемирный банк и Международный валютный фонд (существующие до сих пор) — фактически стали инструментом американской политики. Они должны были способствовать развитию долгосрочных международных инвестиций и поддерживать стабильность валют, а также заниматься проблемами платежного баланса. Другие аспекты международной программы (в частности, контроль цен на сырьевые товары и поддержание полной занятости) не породили специальных учреждений и были внедрены лишь частично. Планировавшееся создание Всемирной торговой организации (ВТО) привело к выработке гораздо более скромного «Генерального соглашения о тарифах и торговле», призванного устранять торговые барьеры путем периодически повторяемых переговорных раундов.

* По иронии судьбы, Уайт впоследствии стал жертвой «охоты на ведьм» в США как предполагаемый секретный сторонник коммунистов.

Одним словом, архитекторы «прекрасного нового мира», попытавшиеся учредить ряд новых институтов для воплощения своих планов, потерпели неудачу. В мире после окончания войны не было действенной международной системы многосторонней свободной торговли и платежей, а шаги, предпринятые Соединенными Штатами по ее созданию, потерпели неудачу через два года после окончания войны. Однако, в отличие от ООН, международная система торговли и платежей заработала, хотя и не так, как первоначально предполагалось. На практике «золотая эпоха» стала эпохой свободной торговли, свободного движения капитала и стабильной валюты, что соответствовало планам, составленным в военное время. Без сомнения, это произошло в основном благодаря подавляющему экономическому господству США и доллара, который тем лучше осуществлял функцию стабилизатора, что был привязан к определенному количеству золота. Однако эта система вышла из строя на рубеже 1960—1970-х годов. Не следует забывать, что в 1950 году США принадлежало около 60% основных производственных фондов развитых капиталистических стран и они производили около 60% всей мировой продукции. Даже в расцвет «золотой эпохи» (1970) их основные производственные фонды составляли более 50% производственных фондов остальных развитых капиталистических стран, а производимая США продукция составляла почти половину их продукции (*Armstrong, Glyn, Harrison, 1991, p. 151*).

Кроме того, существовал страх перед коммунистами. Вопреки убежденности США, главным препятствием для международной свободной рыночной экономики являлись не протекционистские инстинкты иностранных государств, а сочетание традиционных высоких внутренних тарифов в самих США со стремлением к широкой экспансии американского экспорта, которую еще в военное время вашингтонские стратеги считали «необходимой для достижения полной и эффективной занятости» (*Kolko, 1969, p. 13*). Агрессивная экспансия явно имела в планах американских высших должностных лиц сразу же после окончания войны. И только «холодная война» заставила их подумать о долгосрочной перспективе, убедив, что помогать своим будущим конкурентам развиваться как можно быстрее политически необходимо. Некоторые пытались даже доказать, что «холодная война» явилась главным двигателем мирового прогресса (*Walker, 1993*). Возможно, это преувеличение, однако небывало щедрая помощь в соответствии с «планом Маршалла», безусловно, помогла преобразованиям в государствах, использовавших ее по назначению (что систематически делали Австрия и Франция). Кроме того, американская помощь стала решающей в ускорении преобразований в Западной Германии и Японии. Впрочем, без сомнения, обе эти страны стали бы великими экономическими державами в любом случае. Сам факт, что, как побежденные страны, они не были самостоятельны в своей внешней политике, давал им преимущество, поскольку они должны были вкладывать лишь ми-

нимальные средства в черную дыру военных расходов. Тем не менее стоит задаться вопросом: что случилось бы с немецкой экономикой, если бы ее восстановление зависело от европейских государств, боявшихся ее возрождения? Насколько быстро произошло бы восстановление японской экономики, если бы США не решили превратить Японию в свою промышленную базу сначала во время корейской, а затем (после 1965 года) вьетнамской войны? Благодаря американскому финансированию промышленное производство в Японии с 1949 по 1953 год увеличилось вдвое, и не случайно, что 1966—1970 годы стали пиком экономического роста Японии, составлявшего не менее 14,6% в год. Роль «холодной войны», таким образом, не следует недооценивать, даже если долгосрочные экономические последствия вложения государствами значительных средств в развитие конкурентоспособных видов оружия наносили вред их экономике. В экстремальном случае СССР они, правда, стали роковыми. Однако даже США предпочитали наращивать свою военную мощь, несмотря на ослабление экономики.

Итак, экономическое развитие капиталистических стран зависело от экономического развития США. В мировой экономике почти не осталось факторов, препятствующих международному производству, и в этом смысле ситуация напоминала ту, которая отличала середину правления королевы Виктории, правда, за одним исключением: уровень международной миграции с трудом восстанавливался после застоя, воцарившегося между Первой и Второй мировыми войнами. Впрочем, отчасти это являлось оптическим обманом. Бум «золотой эпохи» питала не только рабочая сила из числа бывших безработных, но и широкие потоки внутренних мигрантов — из деревни в город (особенно из горных районов с неплодородной почвой), из бедных регионов в более богатые. Так, жители Южной Италии перекочевывали на фабрики Ломбардии и Пьемонта, а 400 тысяч тосканских издольщиков в течение двадцати лет покинули арендованные ими участки земли. Индустриализация Восточной Европы по существу стала таким процессом массовой миграции. Кроме того, некоторые из этих внутренних мигрантов на самом деле являлись международными мигрантами, хотя первоначально они прибыли в принимающую страну не в поисках работы, а как часть массового потока беженцев, изгнанных со своих территорий после 1945 года.

Однако примечательно, что в эпоху стремительного экономического роста и увеличивающейся нехватки рабочих рук правительства западного мира, на словах преданные экономической свободе, препятствовали свободной эмиграции. Даже в тех случаях, когда она была формально разрешена (как в случае жителей Карибских островов и других обитателей Британского Содружества, имевших право на жительство в Великобритании, поскольку по закону они являлись британскими подданными), с ней все равно боролись. Во многих случаях таким иммигрантам, в большинстве своем из менее развитых

средиземноморских стран, было разрешено только временное проживание, так что они могли быть легко репатрированы, хотя вступление в ЕЭС нескольких стран с высоким уровнем эмиграции (Италии, Испании, Португалии, Греции) сделало это более трудным. Тем не менее к началу 1970-х годов около 7,5 миллиона людей мигрировали в развитые европейские страны (Potts, 1990, p. 146—147). Даже в «золотую эпоху» иммиграция являлась для политиков большим вопросом. В трудные десятилетия после 1973 года она стала главной причиной резкого роста ксенофобии в европейском обществе.

И все же мировая экономика «золотой эпохи» оставалась международной, а не транснациональной. Торговля между странами достигла небывалого уровня. Даже США, которые до Второй мировой войны в значительной степени находились на самообеспечении, с 1950 по 1970 год в четыре раза увеличили свой экспорт, а также, начиная с конца 1950-х годов, стали массовым импортером потребительских товаров. В конце 1960-х годов они даже начали импортировать автомобили (Block, 1977, p. 145). Но, хотя индустриальные страны все более активно покупали и продавали продукцию друг друга, бóльшая часть их экономической деятельности по-прежнему была сконцентрирована на родине. В расцвет «золотой эпохи» США экспортировали только около 8% своего внутреннего валового продукта и, что еще более удивительно, ориентированная на экспорт Япония лишь немногим больше (Marglin and Schor, p. 43, Table 2.2).

Тем не менее экономика становилась все более транснациональной, особенно с 1960-х годов, т. е. развивалась система экономической деятельности, для которой государственная территория и государственные границы являются не основными преградами, а лишь осложняющими факторами. Формировалась такая мировая экономика, которая фактически не имеет четких пределов и точно определенной территориальной основы и которая сама задает рамки и пределы экономическим системам даже очень больших и могущественных государств. В начале 1970-х годов такая транснациональная экономика превратилась в мощную мировую силу. Она продолжала развиваться, во всяком случае быстрее, чем раньше, во время кризисных десятилетий, начавшихся после 1973 года. Именно ее появление в значительной степени создало проблемы этих десятилетий. Безусловно, она шла рука об руку с расширяющейся интернационализацией. Между 1965 и 1990 годами мировые объемы продукции, шедшей на экспорт, удвоились (World Development, 1992, p. 235).

Очевидны были три аспекта этой транснационализации: транснациональные фирмы (более известные как транснациональные корпорации), новое международное разделение труда и рост офшорных финансовых потоков. Последнее являлось не только одной из ранних форм транснационализма, но также наглядно демонстрировало, как капиталистическая экономика может уходить от национального и любого другого контроля.

Термин «офшор» возник в 1960-е годы для описания практики регистрации юридического адреса коммерческого предприятия на некоей, обычно малой и в финансовом отношении богатой территории, позволявшей предпринимателям уклоняться от уплаты налогов и других ограничений, налагаемых на них собственным государством. Это произошло потому, что в каждом серьезном государстве или территории, как бы ни были они привержены свободе получения прибыли, к середине двадцатого столетия сложилась определенная система контроля над легальным бизнесом в интересах населения. Однако путем сложного и хитроумного сочетания юридических лазеек в корпоративном и трудовом законодательстве некоторых малых территорий (Кюрасао, Виргинских островов, Лихтенштейна и т. д.) можно было творить чудеса при составлении балансового отчета фирмы, поскольку «суть офшора заключается в превращении огромного числа юридических лазеек в жизнеспособную и неконтролируемую корпоративную структуру» (*Raw, Page and Hodgson, 1972, p. 83*). По очевидным причинам к офшорной системе прибегали, в частности, при совершении финансовых сделок, хотя Панама и Либерия долгое время субсидировали своих политиков за счет доходов от регистрации торговых судов других стран, чьи владельцы находили свои законодательства слишком обременительными.

В какой-то период в 1960-е годы маленькая хитрость позволила превратить в глобальный офшор и лондонское Сити — традиционный международный финансовый центр. Произошло это благодаря изобретению евровалюты, т. е. так называемых евродолларов. Доллары, хранящиеся на депозитах в неамериканских банках и не возвращаемые на родину, главным образом для того, чтобы обойти ограничения банковского законодательства США, стали доступным финансовым инструментом. Свободно обращающиеся доллары, скапливающиеся в колоссальных количествах вследствие роста американских вложений за рубежом и огромных политических и военных расходов американского правительства, создали основу для совершенно неконтролируемого глобального рынка краткосрочных займов, рост которого происходил очень быстро. Рынок евровалюты вырос примерно с 14 миллионов долларов в 1964 году до 160 миллиардов долларов в 1973 году и почти до 500 миллиардов долларов пять лет спустя, когда этот рынок стал главным механизмом переработки гигантских прибылей от продажи нефти, поскольку перед странами ОПЕК внезапно встала проблема их использования и инвестирования (см. ниже). США были первой страной, оказавшейся во власти мощных потоков свободного капитала, омывавших земной шар и перетекавших из валюты в валюту в поисках быстрой прибыли. Со временем всем правительствам суждено было стать жертвами этих потоков, поскольку они теряли контроль над валютным курсом и мировой денежной массой. К началу 1990-х годов даже совместные действия, предпринятые банками крупных государств, не принесли результатов.

То, что фирмы, расположенные в одной стране, но работавшие в нескольких государствах, должны расширять свою деятельность, было естественно. Такие «многонациональные» корпорации не были новостью. Американские структуры подобного типа увеличили свои иностранные филиалы с 7,5 тысяч в 1950 году до более 23 тысяч в 1966 году, главным образом в Западной Европе и Западном полушарии (*Spero, 1977, p. 92*). Их примеру все больше стали следовать фирмы из других стран. Немецкая химическая корпорация «Хехст», например, создала 117 предприятий в 45 странах (почти все после 1950 года) (*Fröbel, Heinrichs, Kreye, 1986, Tabelle IIIA, p. 281 ff*). Новизна заключалась только в масштабах деятельности этих транснациональных объединений. К началу 1980-х годов американские транснациональные корпорации обеспечивали более чем три четверти экспорта своей страны и почти половину ее импорта; кроме того, подобные корпорации (как британские, так и иностранные) покрывали более чем 80 % британского экспорта (*UN Transnational, 1988, p. 90*).

С одной стороны, это как будто бы не относящиеся к делу цифры, поскольку главной функцией подобных корпораций являлось «расширение рынков за пределы государственных границ», т. е. стремление к независимости от государства и его территории. Многие из того, что статистика (которая все еще в основном собирается в разных странах отдельно) считает экспортом или импортом, на самом деле внутренний товарооборот в рамках транснационального объединения. В качестве примера можно привести «Дженерал Моторс», осуществлявшую свою деятельность в 40 странах. Все это, естественно, способствовало концентрации капитала — тенденции, известной еще со времен Карла Маркса. К 1960 году было уже подсчитано, что торговые сделки 200 крупнейших фирм несоциалистического лагеря составляли 17 % валового национального продукта этих стран, а к 1984 году они, как предполагалось, должны были достичь 26 % *. Большинство таких транснациональных корпораций размещались в развитых государствах. Например, 85 % из 200 лидеров базировались в США, Японии, Великобритании и Германии, а фирмы из 11 других стран осваивали оставшиеся рынки. Однако, несмотря на то что связи этих гигантов с их собственными правительствами были довольно тесными, к концу «золотой эпохи» такие компании едва ли можно было отождествлять с конкретным правительством или государством (по-видимому, исключение составляли японские и некоторые военные корпорации). Больше не являлось аксиомой утверждение магната из Детройта, впоследствии ставшего американским министром: «Что хорошо для „Дженерал Моторс“, хорошо для США». Да и как это могло соответствовать действительности, когда опе-

* Такие оценки следует использовать с осторожностью, а лучше всего определять по ним лишь порядок величин.

рации таких компаний в родной стране были лишь операциями на одном из сотни рынков, как, например, в случае «Мобил Ойл», или на одном из 170 рынков, как в случае «Даймлер-Бенц»? Логика бизнеса заставляла международные нефтяные фирмы рассчитывать свою стратегию и политику в отношении собственной страны совершенно таким же способом, как в отношении Саудовской Аравии или Венесуэлы, а именно с точки зрения прибылей и убытков, с одной стороны, и соотношения власти компании и правительства — с другой.

Тенденция коммерческих организаций (в основном пары десятков гигантов) осуществлять свои сделки, освободившись от контроля государства, стала еще более явной, когда промышленное производство сначала медленно, а затем все быстрее стало перемещаться из европейских и североамериканских стран, являвшихся зачинателями индустриализации и капиталистического развития. Эти страны оставались генераторами достижений «золотой эпохи». В середине 1950-х годов развитые страны продавали друг другу около трех пятых своего промышленного экспорта, в начале 1970-х — три четверти. Но затем положение дел стало меняться. Развитые государства по-прежнему наращивали экспорт своих товаров, но, что более важно, страны третьего мира в значительных масштабах начали экспортировать свою промышленную продукцию в развитые государства. По мере того как традиционные виды экспорта отсталых регионов приходили в упадок (за исключением природного топлива — после революции, произведенной ОПЕК), им пришлось приступить к индустриализации. С 1970 по 1983 год доля стран третьего мира в мировом промышленном экспорте, до этого постоянно находившаяся на уровне 5%, увеличилась более чем в два раза (*Fröbel et al., 1986, p. 200*).

Таким образом, новое международное разделение труда начало разрушать старое. Во второй половине 1960-х годов немецкая фирма «Фольксваген» создала заводы по выпуску автомобилей в Аргентине, Бразилии (три завода), Канаде, Эквадоре, Египте, Мексике, Нигерии, Перу, Южной Африке и Югославии. Новые отрасли промышленности, созданные в странах третьего мира, снабжали не только разросшиеся местные рынки, но и мировой рынок. Они могли делать это как с помощью экспорта продукции, производимой местной промышленностью (например, текстиля, большая часть производств которого к 1970 году уже переместилась из развитых стран в развивающиеся), так и благодаря включению молодых государств в *транснациональный процесс промышленного производства*.

Это явилось решающим новшеством «золотой эпохи», правда, своего расцвета оно достигло несколько позже. Ничего подобного не могло бы произойти, если бы не революция на транспорте и в средствах связи, в результате которой стало возможным и экономически привлекательным разделение производства одного товара между, скажем, Хьюстоном, Сингапуром и Таиландом

с аэродоставкой полуфабрикатов из одного из этих центров к другому и осуществление централизованного контроля над всем процессом производства с помощью современных информационных технологий. Главные производители электроники включились в процесс глобализации с середины 1960-х годов. Производственные процессы теперь осуществлялись не в гигантских ангарах единого предприятия, а по всему земному шару. Некоторые из фирм предпочитали экстерриториальные «зоны свободного производства» или офшорные заводы, которые в это время начали распространяться главным образом в бедных странах с дешевой, в основном молодой женской рабочей силой, что стало еще одним из способов избежать контроля государства. Один из первых таких центров, город Манаус, расположенный глубоко в джунглях Амазонки, производил текстиль, игрушки, бумажные изделия и электронные часы для американских, голландских и японских фирм.

Все это привело к весьма парадоксальным изменениям в политической структуре мировой экономики. Когда ее операционной единицей стал земной шар, экономические системы национальных государств начали отступать под давлением возникших офшорных центров, в большинстве своем расположенных в небольших или совсем крошечных карликовых государствах, число которых заметно увеличилось после краха старых колониальных империй. К концу «короткого двадцатого века», по сведениям Всемирного банка, насчитывалась 71 экономическая система с населением менее 2,5 миллиона (18 из них имело население менее 100 тысяч), т. е. две пятых от числа всех политических образований, официально имеющих собственную экономику (*World Development, 1992*). До начала Второй мировой войны столь незначительные единицы считались экономическими курьезами, не способными претендовать на статус государств*. Разумеется, тогда, как и теперь, они не были в состоянии защищать свою независимость в международных джунглях, однако в «золотую эпоху» стало ясно, что такие государства могут процветать не хуже, а иногда и лучше, чем большие национальные экономические системы, оказывая услуги непосредственно мировой экономике. Отсюда преуспевание новых городов-государств (Гонконг, Сингапур) — расцвет такой формы государственного устройства последний раз наблюдался в средние века; превращение небольших монархий Персидского залива в главных участников мирового инвестиционного рынка (Кувейт) и множество офшорных прибежищ от законов государства.

Подобная ситуация способствовала увеличению этнических националистических движений в конце двадцатого века, снабдив их неубедительными аргументами в пользу жизнеспособности, например, независимой Корсики

* Только в начале 1990-х годов древние карликовые государства Европы — Андорру, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино — стали рассматривать как потенциальных членов ООН.

или Канарских островов. Неубедительными, потому что единственным видом независимости, достигнутым в результате такого отделения территории, было сугубо политическое отделение от национального государства, с которым эти территории первоначально были связаны. Экономически отделение должно было почти наверняка сделать их более зависимыми от транснациональных корпораций, поскольку самым подходящим миром для таких гигантов является мир, населенный карликовыми государствами или вообще лишенный государственности.

V

Было понятно, что промышленность переориентируется от высокооплачиваемого труда на низкооплачиваемый, как только это станет технически возможным и рентабельным, и открытие, что некоторые рабочие с темным цветом кожи бывают не менее профессиональными и образованными, чем белые рабочие, добавило преимуществ высокотехнологичным отраслям, размещающимся в странах третьего мира. Однако имелась еще более убедительная причина того, почему экономическому буму в «золотую эпоху» суждено было привести к перемещению производства на дальние расстояния от старых промышленных центров. Это было своеобразное «кейнезианское» сочетание экономического роста капиталистической экономики, основанной на массовом потреблении, с полной занятостью, высокой оплатой и прочной защищенностью рабочей силы.

Это сочетание являлось, как мы видели, политической конструкцией. Оно опиралось на эффективный политический консенсус левых и правых партий в большинстве западных стран, где экстремистские фашистские и ультранационалистические элементы были устранены с политической сцены Второй мировой войной, а левые радикалы — «холодной войной». Оно также основывалось на открытом или негласном соглашении между работодателями и рабочими организациями ограничивать требования рабочих пределами, не препятствующими прибылям, а также на перспективах получения высоких прибылей, достаточных, чтобы оправдать огромные капиталовложения, без которых стремительный рост производительности труда в «золотую эпоху» не мог бы быть достигнут. В шестнадцати самых промышленно развитых рыночных экономиках капиталовложения увеличивались на 4,5 % в год, что примерно в три раза превышало рост капиталовложений с 1870 по 1913 год, даже принимая во внимание гораздо меньший рост инвестиций в Северной Америке, снижавший общие показатели (*Maddison, 1982, Table 5.1, p. 96*). Однако на деле это соглашение являлось трехсторонним, поскольку в нем были задействованы, формально или нет, правительства, координировавшие пе-

реговоры между трудом и капиталом, теперь обычно называвшимися (по крайней мере в Германии) «социальными партнерами». После окончания «золотой эпохи» эти соглашения начали подвергаться яростной критике со стороны догматиков свободного рынка, называвших их «корпоратизмом», — словом, вызывавшим полузабытые и неуместные в данном случае ассоциации с межвоенным фашизмом.

Эти сделки были выгодны для всех договаривающихся сторон. Работодатели, которые не возражали против высокой заработной платы во время длительного бума, приносившего большие прибыли, приветствовали предсказуемость, упрощавшую перспективное планирование. Рабочие имели регулярные прибавки к заработной плате, дополнительные льготы и растущую щедрость «государства всеобщего благоденствия». Правительство получало политическую стабильность, ослабление коммунистических партий (за исключением Италии) и предсказуемые условия для управления макроэкономикой, к которому перешли теперь все государства. Экономике промышленно развитых капиталистических стран процветали хотя бы потому, что впервые (за пределами Северной Америки и, возможно, Австралии) экономика массового потребления возникла на базе полной занятости и постоянно увеличивающихся реальных доходов, подкрепляемых социальным обеспечением, которое выплачивалось вовремя благодаря растущим государственным доходам. В счастливые 1960-е годы некоторые неосмотрительные правительства заходили настолько далеко, что гарантировали безработным (которых тогда было немного) пособие, составляющее 80 % их бывшей зарплаты.

До конца 1960-х годов политика «золотой эпохи» отражала такое положение дел. После войны повсюду появились убежденные реформистские правительства: в США состоявшие из последователей Рузвельта, а в странах, принимавших участие во Второй мировой войне (за исключением оккупированной Западной Германии, в которой до 1949 года не существовало ни независимых институтов власти, ни выборов), социал-демократические или социалистические. До 1947 года в них входили даже коммунисты. Радикализм времен Сопротивления повлиял и на возникавшие консервативные партии (западногерманские христианские демократы вплоть до 1949 года считали, что капитализм неприемлем для Германии (*Leaman, 1988*) или, по крайней мере, идет вразрез с ее курсом). А британские консерваторы поддерживали реформы лейбористского правительства, образованного в 1945 году.

Однако, как ни странно, реформизм вскоре сдал свои позиции, чего нельзя сказать о стремлении к согласию. Великим бумом 1950-х годов почти повсеместно руководили правительства умеренных консерваторов. В США (с 1952 года), в Великобритании (с 1951 года), во Франции (за исключением коротких эпизодов коалиционного правительства), в Западной Германии, Италии и Японии левые были полностью отстранены от власти, хотя Скандина-

вия осталась социал-демократической. Социалистические партии также сохранились в коалиционных правительствах других малых государств. Отступление левых произошло не потому, что они утратили поддержку масс. Социалисты пользовались большой популярностью, а коммунисты во Франции и Италии являлись главной партией рабочего класса *. Также это отступление не было связано с последствиями «холодной войны», за исключением, возможно, Германии, где социал-демократическая партия не проявляла должной озабоченности проблемой немецкого единства, и Италии, где социалисты оставались союзниками коммунистов. Все западные партии, кроме коммунистов, были убежденными противниками Советов. Сам дух экономического подъема не способствовал левым. Это было неудачное время для перемен.

В 1960-е годы центр тяжести этого консенсуса сместился влево; частично, возможно, благодаря все большему отступлению экономического либерализма под натиском кейнезианских методов даже у таких противников коллективизма, как Бельгия и Западная Германия. Кроме того, престарелые джентльмены, руководившие стабилизацией и возрождением капиталистической системы, ушли с политической сцены: Дуайт Эйзенхауэр (р. 1890) — в 1960 году, Конрад Аденауэр (р. 1876) — в 1965, Гарольд Макмиллан (р. 1894) — в 1964. В конце концов ушел (1969) даже великий генерал де Голль (р. 1890). Происходило омоложение политики. Годы наибольшего подъема «золотой эпохи» фактически оказались столь же благоприятными для умеренных левых, опять вошедших в правительства многих западноевропейских стран, насколько 1950-е годы были неблагоприятны для них. Отчасти это смещение влево произошло благодаря изменениям во взглядах избирателей, как было в Западной Германии, Австрии и Швеции. Оно явилось предвестником еще более резких изменений, произошедших в 1970-е и начале 1980-х годов (наивысшей точки популярности в это время достигли французские социалисты и итальянские коммунисты), но в основном избирательные системы почти не менялись.

Тем не менее прослеживается явная параллель между поворотом влево и самыми значительными национальными достижениями десятилетия, а именно возникновением «государств всеобщего благоденствия» в буквальном значении слова, т. е. государств, в которых расходы на социальное обеспечение (поддержание дохода, здравоохранение, образование и т. д.) стали самой большой долей государственных расходов, а люди, занятые в сфере социаль-

* Однако в электоральном плане все левые партии находились в меньшинстве, хотя и внушительно. Максимальный процент голосов (48,8%), завоеванный такой партией, получили на выборах 1951 года британские лейбористы, причем благодаря причудам британской избирательной системы и по иронии судьбы эти выборы выиграли консерваторы, набравшие немного меньше голосов.

ного обеспечения, составили самую большую группу всех государственных служащих (в середине 1970-х годов в Великобритании они составляли 40%, в Швеции — 47%) (Therborn, 1983). Первые такие «государства всеобщего благоденствия» появились около 1970 года. Конечно, уменьшение военных расходов в период разрядки автоматически увеличило долю расходов на социальное обеспечение, однако пример США показывает, что имели место и реальные изменения. В 1970 году, в разгар вьетнамской войны, число школьных служащих в США впервые намного превысило число «персонала военной и гражданской защиты» (Statistical History 1976, II, p. 1102, 1104, 1141). К концу 1970-х годов все развитые капиталистические государства превратились в «государства всеобщего благоденствия», причем шесть из них тратили более 60% всех государственных расходов на социальное обеспечение (Австралия, Бельгия, Франция, Западная Германия, Италия, Нидерланды). После окончания «золотой эпохи» это стало причиной серьезных проблем.

Между тем политика «развитых рыночных экономик» была спокойной, если не сказать «сонной». О чем можно было волноваться, кроме коммунизма, страха перед ядерной войной и кризисами, вызванными имперской деятельностью за рубежом, как, например, суэцкая авантюра 1956 года, затеянная Великобританией, алжирская война, развязанная Францией (1954—1961) и, после 1965 года, вьетнамская война, которую вели США? Именно поэтому резкая, охватившая многие страны мира вспышка студенческого радикализма в 1968 году застала политиков врасплох.

Это был знак, что равновесие «золотой эпохи» больше не может сохраняться. В экономическом отношении этот баланс зависел от корреляции между ростом эффективности производства и зарплаток, поддерживавшей стабильность прибылей. Снижение роста производительности и/или непропорциональный подъем зарплаты могли закончиться дестабилизацией. Это зависело от показателя, отсутствие которого столь драматично проявилось в период между Первой и Второй мировыми войнами,— баланса между ростом выпуска продукции и способностью потребителей покупать ее. Для того чтобы рынок оставался жизнеспособным, заработная плата должна была расти достаточно быстро, однако не слишком, чтобы это не сказывалось на прибылях. Но как контролировать заработную плату в эпоху сокращения применения труда или, ставя вопрос иначе, как контролировать цены во время стремительно растущего спроса? Как, другими словами, уменьшить инфляцию или, по крайней мере, держать ее в определенных границах? Наконец, нельзя забывать о том, что «золотая эпоха» зависела от подавляющего политического и экономического господства США, которые являлись (иногда об этом даже не думая) стабилизатором и гарантом мировой экономики.

В ходе 1960-х годов во всем этом стали чувствоваться признаки износа и утомления. Гегемония США пошла на спад. С каждым их промахом разруша-

лась основанная на золотом долларе мировая монетарная система. В некоторых странах имели место признаки спада производительности труда, а также наблюдались признаки того, что огромный запас внутренних мигрантов, питавших промышленный бум, близок к истощению. За прошедшие двадцать лет выросло новое поколение, для которого трудности межвоенных лет — массовая безработица, социальная незащищенность, скачущие цены — были историей, а не частью их жизненного опыта. Они согласовывали свои ожидания только с опытом своей возрастной группы, т. е. с опытом полной занятости и продолжающейся инфляции (*Friedman, 1968, p. 11*). Какими бы ни были конкретные ситуации в конце 1960-х годов, стимулировавшие бурный рост заработной платы по всему миру (сокращение рабочей силы, усилия, повсюду предпринимаемые работодателями для сдерживания роста реальной заработной платы, и, как во Франции и Италии, массовые студенческие волнения), все они основывались на заключении, сделанном поколением трудящихся, привыкшим иметь постоянную работу, которое состояло в том, что долгожданные регулярные повышения заработной платы, с таким трудом отвоеванные профсоюзами, на самом деле оказывались гораздо меньше, чем можно было выжать из рынка. Наблюдался или нет возврат к классовой борьбе в этом осознании рабочими рыночных реалий (как полагали многие из «новых левых» после 1968 года), неизвестно, однако нет сомнения в том, что произошла резкая смена настроений от умеренных и спокойных переговоров по зарплате, имевших место до 1968 года, до непримиримости последних лет «золотой эпохи».

Поскольку это имело прямое касательство к работе экономики, изменение настроения рабочих было гораздо более важно, чем массовые вспышки студенческого недовольства в конце 1960-х годов, хотя студенты предоставляли средствам массовой информации гораздо более драматичный материал, а комментаторам гораздо больше пищи для рассуждений. Студенческие восстания были явлением вне экономики и политики, мобилизовавшим определенную небольшую группу населения, пока еще не игравшую значительной роли в общественной жизни и, поскольку большинство членов этой группы еще училось, далекую от экономики и принимавшую в ней участие разве что в качестве покупателей дисков с записями рока, а именно — молодежь среднего класса. Культурное влияние этой группы было гораздо значительнее политического, оказавшегося скоротечным, в отличие от аналогичных движений в государствах третьего мира и странах с диктаторскими режимами. Тем не менее студенческие волнения явились предупреждением поколению, которое почти верило, что окончательно и навсегда решило проблемы западного общества. Главные произведения реформизма «золотой эпохи» — «Будущее социализма» Кросланда, «Общество изобилия» Дж. К. Гэлбрайта, «За пределами общества изобилия» Гуннара Мирдала и «Конец идеологии» Дэниела Бел-

ла, которые все были написаны между 1956 и 1960 годами, исходили из допущения, что имеет место все увеличивающаяся внутренняя гармония общества, теперь в основе своей являющегося удовлетворительным, и усовершенствовать его (если это требуется) следует, опираясь на экономику организованного социального согласия. Однако этому согласию не суждено было пережить 1960-е годы.

Поэтому 1968 год не был ни началом, ни концом, а стал лишь сигналом. В отличие от резкого повышения заработной платы, разрушения в 1971 году международной финансовой системы, основанной на Бреттновудском соглашении 1944 года о послевоенной валютной системе, товарного бума 1972—1973 годов и нефтяного кризиса ОПЕК в 1973 году, этот год почти не упоминается при объяснениях историками экономики причин окончания «золотой эпохи». Ее конец не явился полной неожиданностью. Экономический подъем в начале 1970-х годов, сопровождавшийся быстрым ростом инфляции, массовым увеличением мировых денежных запасов на фоне обширного американского дефицита, приобрел лихорадочный характер. Выражаясь на жаргоне экономистов, произошел «перегрев» системы. За двенадцать месяцев с июля 1972 года реальный валовой внутренний продукт в странах Организации экономического сотрудничества и развития вырос на 7,5%, а реальное промышленное производство — на 10%. Историки, помнившие, как закончился великий бум середины Викторианской эпохи, должно быть, удивлялись, почему эта система не пошла вразнос. Они имели на то основания, хотя я не думаю, что кто-либо предсказывал резкий спад, произошедший в 1974 году, поскольку, хотя валовой национальный продукт развитых индустриальных стран действительно резко упал (впервые после войны), люди все еще оперировали понятиями 1929 года в отношении экономических кризисов и не видели в этом признаков катастрофы. Как обычно, первой реакцией потрясенных современников стали поиски неких особых причин резкого прекращения подъема, «нагромождения непредвиденных неудач, последствия которых наложились на определенные ошибки, коих можно было избежать», цитируя ОЭСР (*McCracken, 1977, p. 14*). Более простодушные считали главной причиной зла нефтяных шейхов ОПЕК. Историкам, относящим основные изменения в конфигурации мировой экономики на счет невезения и непредвиденных случайностей, которых можно было избежать, следует пересмотреть свои взгляды. Дело в том, что мировая экономика не восстановила своего роста после этого краха. Эпоха закончилась. Десятилетиям после 1973 года суждено было снова стать кризисными.

«Золотая эпоха» утратила свою позолоту. Тем не менее она, безусловно, начала и в большой степени осуществила самую яркую, быструю и всеобъемлющую революцию в развитии мировых событий, чему имеются исторические свидетельства. К этому мы теперь и обратимся.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Социальная революция 1945—1990 годов

ЛИЛИ: Бабушка рассказывала нам о депрессии. Ты тоже можешь прочитать об этом.

РОЙ: Нам все время говорят, что мы должны радоваться, имея еду и все такое, потому что в тридцатые годы люди голодали и не имели работы.

* * *

БЕККИ: У меня никогда не было депрессии, так что она меня совсем не волнует.

РОЙ: После того что мы услышали, не хотел бы я жить в то время.

БЕККИ: Но ведь ты и не живешь в то время.

Studs Terkel, «Hard Times» (1970, p. 22—23)

Когда [генерал де Голль] пришел к власти, во Франции был миллион телевизоров (...) Когда он ушел в отставку, их было десять миллионов (...) Государство — это всегда шоу-бизнес. Но вчерашнее театральное государство было совсем другим, чем телевизионное государство сегодняшнего дня.

Regis Debray (1994, p. 34)

I

Если люди сталкиваются с тем, к чему не были подготовлены опытом прошлой жизни, то ищут слова для обозначения этого неизвестного явления, даже когда не могут ни классифицировать, ни понять его. Какое-то время в третьей четверти двадцатого века это происходило с некоторыми западными интеллектуалами. Ключевым словом стала маленькая приставка «после-», в основном используемая в своей латинизированной форме «пост-» перед любым из многочисленных терминов, в течение нескольких поколений применявшихся для обозначения ментальной территории двадцатого века. Мир и его актуальные составляющие стали постиндустриальными, постимперски-

ми, постмодернистскими, постструктуралистскими, постмарксистскими, постгугенберговскими и т. п. Так же как и похороны, эти приставки официально признавали смерть, не означая никакой согласованности и уверенности в вопросе о природе жизни после смерти. Именно в таком виде самое бурное, драматичное и всеобъемлющее социальное преобразование в истории человечества достигло сознания современников. Это преобразование и является предметом настоящей главы.

Новизна этого преобразования заключается в его быстроте и всемирном характере. Правда, развитые страны мира, т. е. центральная и западная часть Европы и Северной Америки, уже долгое время жили в мире постоянных изменений, технических преобразований и культурных новшеств. Для них революционные преобразования означали ускорение и интенсификацию движения, к которому они в принципе успели привыкнуть. В конце концов, жители Нью-Йорка середины 1930-х годов уже могли видеть небоскреб, «Эмпайр стейт билдинг» (1934), остававшийся самым высоким зданием в мире вплоть до 1970-х годов, да и тогда его рекорд был превзойден лишь на скромные тридцать метров. Даже в развитых странах потребовалось некоторое время для того, чтобы заметить, и еще более длительный период, чтобы оценить, масштаб изменений, вызванных переходом количественного материального роста в качественные сдвиги в жизни людей. Однако для большей части земного шара эти изменения стали не только стремительными, но и сейсмическими. Для 80% человечества средневековые закончились внезапно в 1950-е годы, хотя осознание этого пришло не раньше 1960-х годов.

Во многом те, кто жил в эпоху этих преобразований, сразу не могли осознать всего их значения, поскольку ощущали их постепенно, так как изменения в жизни отдельных людей, какими бы резкими они ни были, не воспринимаются как революционные. Разве решение сельских жителей искать работу в городе означало для них более кардинальное преобразование, чем для граждан Великобритании или Германии во время двух мировых войн решение поступить в армию или на работу в какой-нибудь отрасли военной экономики? Изначально они не собирались менять свой образ жизни навсегда, даже если в результате это и произошло. Глубину изменений можно оценить, лишь глядя на прошедшую эпоху через призму лет. Подобные изменения смог оценить автор этих строк, сравнив Валенсию начала 1980-х годов с Валенсией 1950-х, когда он побывал там впервые. Как был растерян сицилийский крестьянин, местный Рип Ван Винкль (бандит, находившийся в тюрьме с середины 1950-х годов), когда он вернулся в окрестности Палермо, ставшего неузнаваемым в результате разрастания городской недвижимости. «Там, где раньше росли виноградники, теперь одни палаццо», — сказал он мне, недоверчиво покачав головой. В действительности быстрота изменений была такова, что исторические периоды можно было измерять даже меньшими отрезками вре-

мени. Менее десяти лет (1962—1971) отделяло тот Куско, в котором за пределами города большинство индейских мужчин все еще носили традиционную одежду, от Куско, в котором значительная их часть одевалась в *чоло*, т. е. по-европейски. В конце 1970-х годов владельцы ларьков на продуктовом рынке в мексиканской деревне уже производили расчеты с помощью японских карманных калькуляторов, о которых в начале десятилетия здесь еще не знали.

Нет такого способа, которым бы читатели (еще не старые и достаточно мобильные, чтобы наблюдать подобное движение истории начиная с 1950-х годов) могли повторить свой опыт, хотя уже с 1960-х годов, когда молодые жители Запада обнаружили, что путешествовать по странам третьего мира не только возможно, но и модно, для того чтобы наблюдать за мировыми преобразованиями, не нужно было ничего, кроме пары любопытных глаз. Но историки не могут довольствоваться плодами воображения и рассказами, какими бы красочными и подробными они ни были. Им требуются точные определения и расчеты.

Наиболее ярким и имевшим далеко идущие последствия социальным изменением второй половины двадцатого века, навсегда отделившим нас от прошлого мира, явилось исчезновение крестьянства, поскольку начиная с эпохи неолита большинство человеческих существ жили за счет обрабатывания земли, скотоводства и рыболовства. На протяжении большей части двадцатого века крестьяне и фермеры оставались значительной частью работающего населения даже в промышленно развитых странах, за исключением Великобритании. В 1930-е годы, когда автор этих строк был студентом, отсутствие признаков постепенного исчезновения крестьянства еще служило аргументом против предсказания Карла Маркса о его исчезновении. Накануне Второй мировой войны существовала лишь одна промышленно развитая страна, помимо Великобритании, где в сельском хозяйстве и рыболовстве было занято менее 20 % населения. Этой страной была Бельгия. Даже в Германии и США, величайших индустриальных державах, где число сельских жителей действительно постоянно сокращалось, оно все еще составляло около четверти всего населения; во Франции, Швеции и Австрии — от 35 до 40 %. Что касается отсталых аграрных стран Европы — например, Болгарии и Румынии, — то там около четырех из каждых пяти жителей обрабатывали землю.

Рассмотрим то, что произошло в третьей четверти двадцатого века. Возможно, не так уж и странно, что к началу 1980-х годов из каждых ста британцев или бельгийцев сельским хозяйством занимались менее трех человек, так что среднему британцу в повседневной жизни было гораздо легче столкнуться с человеком, который некогда обрабатывал землю в Индии или Бангладеш, чем с фермером из Соединенного Королевства. Численность сельского населения США снизилась до такого же соотношения, но, учитывая устойчивость этой тенденции, данное обстоятельство было не столь удивительно, как тот

факт, что эта тонкая прослойка была в состоянии обеспечить США и остальной мир огромными запасами продовольствия. Мало кто в 40-е годы двадцатого века ожидал, что к началу 1980-х годов не останется *ни одной* страны к западу от «железного занавеса», в которой в сельском хозяйстве было занято более 10% населения, за исключением Ирландской Республики (где эта цифра была лишь немного выше), Испании и Португалии. Однако тот факт, что в Испании и Португалии число людей, занятых в сельском хозяйстве, в 1950 году составлявшее почти половину населения, через тридцать лет уменьшилось до 14,5 и 17,6% соответственно, говорит сам за себя. После 1950 года за двадцать лет крестьянство в Испании сократилось вдвое, то же самое произошло в Португалии за двадцать лет после 1960 года (*ILO, 1990, Table 2A; FAO, 1989*).

Эти цифры впечатляют. В Японии, например, число фермеров уменьшилось с 52,4% в 1947 году до 9% в 1985. В Финляндии (возьмем реальную историю, известную автору) девушка, родившаяся в семье фермера, которая в первом браке тоже была женой фермера и трудилась вместе с ним на земле, смогла задолго до достижения среднего возраста стать интеллектуалкой, свободной от национальных предрассудков, и сделать политическую карьеру. Зимой 1940 года, когда ее отец погиб во время войны с Россией, оставив жену и ребенка жить за счет принадлежащего им фермерского хозяйства, 57% финнов являлись фермерами и лесорубами. Когда ей исполнилось сорок пять, их осталось менее 10%. В подобных обстоятельствах вполне естественно, что многие финны, начав с крестьянского труда, заканчивали свой путь совершенно иначе.

Предсказание Маркса, что индустриализация уничтожит крестьянство, наконец явно воплощалось в жизнь в странах с бурно развивающейся промышленностью, однако резкое уменьшение населения, занятого в сельском хозяйстве в отсталых странах, было совершенно неожиданным. В то время когда полные надежд молодые члены левых партий цитировали Мао Цзэдуна, говорившего о победе революции в результате борьбы миллионов сельских тружеников против окружавших их городских цитаделей, эти миллионы покидали свои деревни и переселялись в город. В Латинской Америке за двадцать лет число крестьян сократилось вдвое в Колумбии (1951—1973), Мексике (1960—1980) и немного меньше в Бразилии (1960—1980). Примерно на две трети оно снизилось в Доминиканской Республике (1960—1981), Венесуэле (1961—1981) и на Ямайке (1953—1981). Во всех этих странах, за исключением Венесуэлы, в конце Второй мировой войны крестьяне составляли половину или даже абсолютное большинство всего занятого населения. Однако уже в 1970-е годы в Латинской Америке (за вычетом карликовых государств вокруг Панамского перешейка и Гаити) не осталось *ни одной* страны, где крестьяне не составляли бы меньшинства. Сходной была ситуация и в государствах исламского мира. Только за тридцать с небольшим лет в Алжире доля крестьян-

ского населения сократилась с 75 до 20%, в Тунисе — с 68 до 23%. В Марокко за десять лет (1971—1982) крестьяне перестали составлять большинство населения, хотя их число уменьшилось не столь резко. В Сирии и Ираке в середине 1950-х годов крестьяне все еще составляли половину населения. В течение последующих двадцати лет в Сирии это количество сократилось вдвое, в Ираке — более чем на треть. В Иране число сельского населения с 55% в середине 1950-х годов упало до 29% к середине 1980-х.

Между тем крестьяне аграрных стран Европы тоже прекращали обрабатывать землю. К 1980 году даже старейшие оплоты крестьянского земледелия на востоке и юго-востоке этого континента имели не более трети рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве (Румыния, Польша, Югославия, Греция), а некоторые и значительно меньше — в частности, Болгария (16,5% в 1985 году). Лишь одна цитадель крестьянства оставалась в окрестностях Европы и Ближнего Востока — Турция, где количество крестьян сократилось, однако в середине 1980-х годов все еще составляло абсолютное большинство.

Только в трех регионах земного шара по-прежнему преобладали поля и деревни: в Африке к югу от Сахары, в Южной и Юго-Восточной Азии и Китае. Лишь в этих регионах все еще можно было найти страны, которые сокращение крестьянства явно обошло стороной и где оно на протяжении бурных десятилетий оставалось стабильной частью населения — более 90% в Непале, около 70% в Либерии, около 60% в Гане и даже (что удивительно) примерно 70% в Индии после двадцати пяти лет независимости. Правда, к 1981 году число крестьян здесь немного уменьшилось (66,4%). Хотя эти регионы с преобладающим сельским населением все еще составляли половину человечества, даже в них под напором экономических инноваций начали происходить разрушительные изменения. Крепкий аграрный массив Индии был окружен странами, крестьянское население которых быстро уменьшалось: Пакистаном, Бангладеш и Шри-Ланкой, где крестьяне давно уже перестали составлять большую часть населения, так же как в 1980-е годы в Малайзии, на Филиппинах и в Индонезии и, конечно, в новых индустриальных государствах Восточной Азии — на Тайване и в Южной Корее, где еще в 1961 году в сельском хозяйстве было занято более 60% населения. Кроме того, в Африке преобладание крестьянства в нескольких южных странах в определенном отношении являлось иллюзией. Сельское хозяйство, в котором большей частью были заняты женщины, составляло лишь видимую сторону экономики, которая на самом деле держалась на денежных переводах от мужчин, мигрировавших в города с белым населением и в шахты, расположенные на юге.

Странность этого массового тихого исхода с земли на самой большой в мире материковой территории и еще больше на ее островах* заключается в том,

* Около трех пятых всей суши земного шара, не считая ненаселенного материка Антарктики.

что он только отчасти явился следствием технического прогресса, во всяком случае в бывших аграрных регионах. Как мы уже видели (см. главу 9), промышленно развитые страны, за одним или двумя исключениями, превратились в главных поставщиков сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, причем это происходило на фоне постоянного сокращения их сельского населения, порой составлявшего крайне малую долю всех работающих. Такой эффект достигался за счет небывалых капиталовложений в производство. Наиболее наглядно это проявлялось в том количестве оборудования, которое фермер в богатых и развитых странах имел в своем распоряжении. Подобное положение дел воплотило в жизнь самые смелые мечты о сплошной механизации сельского хозяйства, вдохновлявшие символических трактористов в распахнутых на мускулистой груди рубашках, улыбающихся с пропагандистских плакатов молодой республики Советов. Советское сельское хозяйство, увы, не смогло дожить до реализации этих замыслов. Не столь заметными, но в равной мере значимыми стали все более впечатляющие достижения сельскохозяйственной химии, биотехнологии и селективного улучшения пород животных. Обладая подобными достижениями, сельское хозяйство больше не нуждалось ни в рабочих руках, без которых раньше нельзя было собрать урожай, ни в большом числе постоянных фермерских семей и их работников. А там, где они требовались, в результате развития транспорта отпала необходимость их постоянного проживания в деревне. Так, в 1970-е годы скотоводы Пертшира (Шотландия) нашли более выгодным приглашать стригалей из Новой Зеландии на короткий сезон стрижки, который, естественно, не совпадал с сезоном стрижки в Южном полушарии.

Бедные регионы мира сельскохозяйственная революция тоже не обошла стороной, хотя проявилась она здесь и в меньшей степени. Конечно, если бы не ирригация и не «зеленая революция»* (хотя отдаленные последствия и того и другого непредсказуемы), огромные территории Южной и Юго-Восточной Азии не смогли бы прокормить свое быстро увеличивающееся население. Однако в целом страны третьего мира и часть стран «второго мира» (включая социалистические) больше не могли прокормить сами себя, не говоря уже о производстве излишков, ожидаемом от аграрных стран. В лучшем случае они могли сосредоточиться на выращивании специализированных экспортных культур для рынков развитых стран. При этом их крестьяне, когда они не покупали дешевых излишков экспортных продуктов с Севера, продолжали обрабатывать землю старым ручным способом. Не существовало веских причин, по которым они должны были оставить сельское хозяй-

* Систематическое внедрение в странах третьего мира новых сортов высокоурожайных культур, выращенных по специально разработанным методикам, в основном ведет начало с 1960-х годов.

ство, где требовался их труд, за исключением, возможно, демографического взрыва, последствием которого, как правило, становится истощение земли. Однако те регионы, в которых наблюдался отток крестьянства, как правило, были малонаселенными (как в Латинской Америке) и зачастую имели открытые границы, к которым небольшая часть сельского населения мигрировала в качестве скваттеров и свободных поселенцев, зачастую создавая политическую основу для повстанческих движений (как произошло в Колумбии и Перу). Напротив, азиатские регионы, в которых крестьянство обеспечивало себя лучше всего, возможно, являлись самой густонаселенной зоной в мире с плотностью населения от 250 до 2000 человек на квадратную милю (средняя цифра для Южной Америки — 42,5 человека на квадратную милю).

Отток населения из сельской местности означает его приток в город. Мир во второй половине двадцатого века стал урбанизированным, как никогда ранее. К середине 1980-х годов 42% его населения жило в городах и, если бы не огромное количество крестьян в Китае и Индии, составлявших три четверти всего сельского населения Азии, городское население земного шара превысило бы размеры сельского (*Population, 1984, p. 214*). Но даже в традиционных аграрных центрах люди перебирались из деревень в города, особенно в большие. С 1960 по 1980 год городское население Кении удвоилось и к 1980 году достигло 14,2%; при этом почти шесть из каждых десяти городских жителей теперь жили в Найроби, в то время как двадцать лет назад их было только четверо из десяти. В Азии многомиллионные города разрастались как на дрожжах, особенно столицы. Сеул, Тегеран, Карачи, Джакарта, Манила, Нью-Дели, Бангкок — население этих столиц в 1980 году насчитывало от 5 до 8,5 миллиона жителей, а к 2000 году ожидалось увеличение до 10—13 миллионов (в 1950 году население ни одной из них, кроме Джакарты, не превышало 1,5 миллиона) (*World Resources, 1986*). Фактически самые большие городские агломерации в конце 1980-х годов находились в странах третьего мира: Каир, Мехико-Сити, Сан-Паулу и Шанхай, население которых исчислялось восьмизначными цифрами. Как ни парадоксально, но в то время как развитые страны оставались гораздо более урбанизированными, чем отсталые (за исключением некоторых частей Латинской Америки и исламской зоны), их собственные гигантские города постепенно размывались. Они достигли своего расцвета в начале двадцатого века, до того как переселение на окраины и в пригороды не стало набирать скорость и старые центры больших городов по вечерам не начали напоминать опустевшие муравейники, когда рабочие, владельцы магазинов и искатели развлечений расходились по домам. В то время как с 1950 года за тридцать лет население Мехико увеличилось почти в пять раз, Нью-Йорк, Лондон и Париж медленно сползали к нижнему краю списка самых больших столиц мира.

Однако странным образом старый и новый мир постепенно шли навстречу друг другу. Типичный «большой город» развитого мира состоит из связанных между собой городских поселений, сходящихся главным образом в центре или в административном и деловом районах, которые легко узнать с воздуха по высотным зданиям и небоскрегам, за исключением мест, где, как в Париже, строительство таких зданий не разрешено*. Их взаимосвязь, а также сокращение общественных средств передвижения под натиском частных автомобилей продемонстрировала начавшаяся в 1960-х годах новая революция в общественном транспорте. Никогда, начиная со строительства первого трамвая и первых линий метро в конце девятнадцатого века, не было построено так много новых тоннелей и скоростных систем сообщения с пригородами — это происходило повсеместно, от Вены до Сан-Франциско, от Сеула до Мехико. В то же самое время продолжался отток из старых центров городов, поскольку в большинстве пригородных районов создавались свои собственные торговые и развлекательные центры по образцу американских торговых пассажей.

С другой стороны, большие города в странах третьего мира, отдельные части которых тоже связывали воедино системы общественного транспорта (обычно устаревшего и плохо выполнявшего свою функцию), а также множество разбитых частных автобусов и маршрутных такси, являлись разобщенными и лишенными четкой структуры. Это происходило потому, что упорядочить жизнь 10 или 20 миллионов человек крайне сложно, особенно если добрая половина составляющих эти города кварталов прежде была барачными поселками, основанными на пустырях группами скваттеров. Население таких городов может тратить несколько часов в день на поездку до места работы и обратно (поскольку постоянная работа для них очень важна), а также совершать столь же долгие путешествия к местам публичных зрелищ, например на стадион «Маракана» (двести тысяч мест), где жители Рио-де-Жанейро поклоняются божеству под названием «футбол». В целом же крупные города Старого и Нового Света все больше становились скоплениями номинально или, как в случае Запада, зачастую официально автономных районов (правда, на процветающем Западе на окраинах городов было гораздо больше зелени, чем на перенаселенных и нищих Востоке и Юге). В то время как в трущобах и барачных поселках люди жили в соседстве с крысами и тараканами, нейтральная полоса между городом и деревней в странах развитого мира была заселена дикой фауной: ласками, лисами и енотами.

* Подобные высокие здания (естественное следствие высоких цен на землю в центральных районах) до 1950-х годов были крайне редки. Нью-Йорк фактически являлся единственным исключением. Их распространение началось с 1960-х годов, и даже в таком малозатяжном и децентрализованном городе, как Лос-Анджелес, был воздвигнут высотный деловой центр.

II

Почти столь же стремительным, как и упадок крестьянства, но затронувшим гораздо большее количество населения земного шара, стал рост числа профессий, требовавших среднего и высшего образования. Всеобщее начальное образование было целью фактически всех правительств, так что к концу 1980-х годов только самые честные или самые отсталые государства осмеливались признать, что у них половина населения является неграмотной, и лишь десять стран (все они, за исключением Афганистана, находятся в Африке) были готовы признать, что писать и читать могут менее 20 % их населения. В результате грамотность резко увеличилась, особенно в странах, где у руководства находились коммунисты, чьи достижения в этом отношении были, безусловно, наиболее впечатляющи, даже несмотря на то, что заявления о «ликвидации» неграмотности в небывало короткие сроки иногда звучали чересчур оптимистично. Однако независимо от того, была или нет полностью ликвидирована неграмотность населения, желание учиться в средних и особенно в высших учебных заведениях многократно увеличилось, как и число их студентов.

Этот взрывообразный рост был особенно разителен в университетском образовании, поскольку до сих пор ничего подобного не наблюдалось ни в одной стране, за исключением США. До Второй мировой войны даже в Германии, Франции и Великобритании — трех наиболее развитых и образованных странах с населением, в сумме составлявшим 150 миллионов, число студентов университетов не превышало 150 тысяч, что составляло 0,1 % их населения. Однако к концу 1980-х годов во Франции, Федеративной Республике Германии, Италии, Испании и СССР число студентов исчислялось миллионами (если брать только европейские страны), не говоря уже о Бразилии, Индии, Мексике и Филиппинах и, конечно, США, которые первыми ввели у себя массовое обучение в колледжах. К этому времени в странах, заботившихся о повышении образованности своего населения, студенты составляли более 2,5 % всего населения, а иногда даже более 3 %. Стало обычным явлением, что до 20 % молодых людей и девушек в возрасте от двадцати до двадцати четырех лет получали систематическое образование. Даже в наиболее консервативных в академическом отношении странах, Великобритании и Швейцарии, это количество увеличилось до 1,5 %. Более того, самые большие студенческие сообщества появились в экономически далеко не процветающих странах: Эквадоре (3,2 %), на Филиппинах (2,7 %) и в Перу (2 %).

Это явление было не только новым, но и неожиданным. «Наиболее поразительный факт, который стал нам известен в результате исследований, проведенных среди студентов университетов Южной Америки,— это то, что их так мало» (*Liebman, Walker, Glazer, 1972, p. 35*), писали тогда американские уче-

ные, убежденные, что здесь повторяется базовая европейская модель элитного высшего образования, и не замечая того, что число студентов увеличивалось примерно на 8% в год. Лишь в 1960-е годы стало очевидно, что студенты в социальном и политическом отношении представляют собой гораздо более серьезную силу, чем когда-либо раньше. В 1968 году подъем студенческих радикальных выступлений по всему миру говорил громче, чем любая статистика, и их уже нельзя было недооценивать. С 1960 по 1980 год в развитых странах Европы число студентов в основном увеличилось в 3—4 раза, за исключением тех государств, где оно увеличилось в 4—5 раз, как в Федеративной Республике Германии, Ирландии и Греции, в 5—7 раз, как в Финляндии, Исландии, Швеции и Италии, и в 7—9 раз, как в Испании и Норвегии (*Burloiu, Unesco, 1983, p. 62—63*). На первый взгляд казалось странным, что в социалистических странах, несмотря на их заявления о массовом образовании, приток студентов в университеты был не столь заметен. В Китае наблюдалось совсем иное. Великий кормчий фактически упразднил высшее образование во время «культурной революции» (1966—1976). Поскольку в 1970—1980-е годы трудности социалистической системы росли, она все больше отставала от Запада и в этой области. В Венгрии и Чехословакии людей, получивших высшее образование, было меньше, чем в любом европейском государстве.

Но так ли уж это странно, если вдуматься? Небывалый подъем высшего образования, который к началу 1980-х годов обеспечил по крайней мере семь стран более чем ста тысячами преподавателей университетского уровня, произошел благодаря возросшим потребностям общества, которые социалистическая система не была готова удовлетворить. Правительствам и планирующим органам стало очевидно, что современная экономика нуждается в гораздо большем количестве администраторов, учителей и технических специалистов, чем раньше, которых нужно где-то обучать, но университеты и институты по сложившейся веками традиции продолжали готовить государственных служащих и специалистов привычных профессий. Однако хотя общая демократизация жизни способствовала значительной экспансии высшего образования, резкий рост числа желающих поступить в высшие учебные заведения намного превышал то, что могло предусмотреть рациональное планирование.

На самом деле там, где семьи имели выбор и возможности, они старались дать своим детям высшее образование, поскольку оно, пожалуй, являлось самым надежным способом обеспечить их стабильным доходом, а также, помимо всего прочего, и более высоким социальным статусом. Среди студентов, опрошенных американскими исследователями в середине 1960-х годов в различных странах Латинской Америки, от 79 до 95% были убеждены, что высшее образование даст им возможность в течение десяти лет перейти на более высокий социальный уровень, и от 21 до 38% студентов считали, что это даст

им более высокий экономический статус, чем у их семей (*Liebman, Walker, Glazer, 1972*). Безусловно, высшее образование обеспечило бы им более высокий доход по сравнению с теми, кто не имел высшего образования. В странах с низким уровнем образования, где диплом гарантировал место в государственном аппарате, а вместе с этим власть, влияние и возможности финансовых махинаций и вымогательства, он мог стать ключом к реальному богатству. Разумеется, большинство студентов были выходцами из семей, более обеспеченных, чем основная часть населения (какие еще родители могли позволить себе платить за обучение молодых людей трудоспособного возраста?), но не обязательно богатых. Часто жертвы, которые приносили родители, были весьма ощутимы. Корейское образовательное чудо, как говорили, было построено на спинах коров, проданных мелкими фермерами для того, чтобы обеспечить своим детям возможность попасть в уважаемые и привилегированные ряды учащихся (за восемь лет — с 1975 по 1983 год количество корейских студентов выросло с 0,8% почти до 3% всего населения). Каждый, кто первым в истории семьи поступил в университет на дневное отделение, легко поймет их мотивации. Подъем благосостояния в «золотую эпоху» дал возможность бесчисленным семьям среднего достатка (конторским служащим, государственным чиновникам, лавочникам, мелким бизнесменам, фермерам, даже процветающим квалифицированным рабочим) оплачивать дневное обучение своих детей. Западные «государства всеобщего благоденствия», начав с субсидий, которые США предоставляли с 1945 года студентам из числа бывших военнослужащих, в той или иной форме обеспечивали значительную помощь студентам, хотя большинство их все же ожидала довольно скромная жизнь. В демократических государствах и странах с эгалитарными традициями отчасти признавалось право выпускников средних школ поступать в высшие учебные заведения, причем во Франции запрещение дискриминации при поступлении в государственный университет было закреплено конституцией в 1991 году (чего не существовало в социалистических странах). Когда юноши и девушки хлынули в высшие учебные заведения (за исключением США, Японии и нескольких других стран, университеты являлись преимущественно государственными, а не частными учреждениями), государства стали увеличивать число новых высших учебных заведений. Наиболее интенсивно это происходило в 1970-е годы, когда число университетов в мире увеличилось более чем в два раза *. Новые независимые государства, бывшие колонии, число которых многократно увеличилось в 1960-е годы, настаивали на своих собственных высших учебных заведениях как символах независимости, как они настаивали на собственной армии, авиалиниях и государственном флаге.

* В социалистическом мире этот процесс по-прежнему был менее интенсивным.

Множество молодых мужчин и женщин, а также их педагогов, исчисляемое миллионами или, по крайней мере, сотнями тысяч, во всех государствах, кроме самых малых или крайне отсталых, все больше концентрируясь в крупных и часто изолированных университетских городках, стали новым важным фактором как культурной, так и политической жизни. Они обменивались идеями и опытом, преодолевая границы государств, и обладали большими возможностями, чем государства со всеми их средствами коммуникации. Как показали 1960-е годы, студенческие сообщества являлись не только политически радикальными и взрывоопасными, но особенно эффективными в осуществлении выражения политического и социального недовольства не только на национальном, но и на международном уровне. В диктаторских странах они обычно были *единственными* группами граждан, способными к коллективным политическим действиям. Немаловажен факт, что в то время когда количество студентов в других латиноамериканских странах увеличивалось, их число в Чили после прихода к власти в 1973 году военного диктатора Пиночета резко уменьшилось с 1,5 до 1,1% населения. И если во время «золотой эпохи» (начавшейся после 1945 года) был хоть один период, благоприятный для мирового восстания, о котором с 1917 года мечтали революционеры, им, без сомнения, стал 1968 год. В это время студенческие волнения происходили по всему миру: от США и Мексики до социалистических Польши, Чехословакии и Югославии. Значительным стимулом для них послужили беспрецедентные массовые студенческие волнения в мае 1968 года в Париже — эпицентре европейской студенческой смуты. Им было далеко до революции, хотя они и представляли собой гораздо более значительное явление, чем «психодрама» или «уличный театр», как их называли отрицательно относившиеся к ним наблюдатели старшего поколения. Кроме того, 1968 год был знаменателен как год окончания эпохи генерала де Голля во Франции, эпохи президентов-демократов в США, год краха надежд на возможность либерального коммунизма в коммунистических государствах Центральной Европы и как начало новой эпохи в мексиканской политике (когда не последовало никакой реакции правительства на массовое убийство студентов в Тлателолко).

Причина, по которой студенческие выступления 1968 года (продолжившиеся в 1969 и 1970 годах) не только не вызвали революций, но даже не создали повода думать, что они могут произойти, заключалась в том, что студенты, какими бы они ни были организованными и сплоченными, не могли совершить революцию в одиночку. Их политическая сила заключалась в их способности действовать в качестве сигнала и детонатора для более многочисленных, но не столь легко воспламеняемых социальных групп. Начиная с 1960-х годов им иногда это удавалось. Они инициировали мощные волны забастовок во Франции и Италии в 1968 и 1969 годах, однако после двадцати лет беспрецедентного улучшения условий жизни рабочих в странах, где отсутст-

вовала безработица, революция являлась последним, о чем думали пролетарии. Только в начале 1980-х годов (однако и тогда это происходило в недемократических странах — Китае, Южной Корее и Чехословакии) студенческие волнения, казалось, реализовали свой потенциал для революционного взрыва или, по крайней мере, заставили правительства считать их настолько серьезной угрозой для государства, что потребовалась демонстрация их массового уничтожения, как на площади Тяньаньмэнь в Пекине. После крушения великих надежд 1968 года некоторые радикалы студенческих движений предпринимали попытки совершить революцию с помощью небольших террористических групп, однако, хотя такие инициативы и получили довольно большой общественный резонанс (этим достигнув по крайней мере одной из своих главных целей), они редко имели какие-либо серьезные последствия. Там, где возникала такая угроза, они довольно быстро подавлялись властями. В 1970-е годы с невиданной жестокостью, с систематическим применением пыток это было продемонстрировано во время «грязных войн» в Южной Америке. В Италии их подавление происходило путем подкупа и закулисных интриг. Единственными значительными движениями, зародившимися в студенческой среде и продолжившими свое существование, были баскская террористическая организация ЭТА и коммунистическая крестьянская повстанческая группировка «*Sendero Luminoso*» («Сияющий путь») в Перу — непрошенный подарок землякам от преподавателей и студентов университета Айакучо.

Однако без ответа остается важный вопрос: почему движение этой новой социальной группы, единственное среди остальных новых и старых политических движений «золотой эпохи», выбрало левый радикализм? Ведь даже националистические студенческие группировки вплоть до 1980-х годов стремились вышить на своих красных знаменах изображения Маркса, Ленина или Мао.

Отчасти этот вопрос уводит нас за пределы социальной стратификации, поскольку студенчество по определению является молодежной группой с определенными возрастными границами, так сказать, временным привалом на жизненном пути человека. Кроме того, часть студенчества составляло быстро растущее и непропорционально большое число женщин. Ниже мы поговорим о развитии специфической молодежной культуры, связывавшей студентов с остальной молодежью, а также о новом женском самосознании, вышедшем за рамки университетов. Группы молодежи, не нашедшие себе пока места во взрослой жизни, являются традиционным средоточием высоких идей, волнений и беспорядков, о чем знали еще ректоры средневековых университетов. Революционные настроения более свойственны восемнадцатилетнему возрасту, чем тридцатипятилетнему, о чем поколения буржуазных отцов предупреждали своих скептически настроенных сыновей, а позднее и дочерей. Кстати, это мнение настолько укоренилось в западных культурах, что правящие круги некоторых стран (большой частью католических) по обе

стороны Атлантики старались полностью свести на нет студенческие выступления, вплоть до вооруженного подавления, хотя те зачастую были лишь проявлением юношеской горячности. Студенты университета Сан-Маркос в Лиме (Перу) «несли революционную вахту в ультрамаоистских сектах, прежде чем выбрать солидную неполитическую профессию среднего класса. При этом нормальная жизнь шла своим чередом в этой бедной стране» (*Lynch, 1990*). Мексиканские студенты вскоре поняли, что: а) государственный и партийный аппарат в основном подбирает свои кадры из выпускников университетов и б) чем большую революционность они проявляют в студенческие годы, тем лучшую работу им могут предложить после окончания университета. Даже в респектабельной Франции имелись случаи, когда бывшие маоисты начала 1970-х годов впоследствии сделали блестящую карьеру на государственной службе.

И все же это не объясняет, почему массы молодых людей, находившихся на пути к гораздо более перспективному будущему, чем было у их родителей и чем то, которое ожидало большинство молодежи, не имевшей высшего образования, привлекал политический радикализм (хотя имелись редкие исключения) *. Возможно, большое число студентов и не было радикальным, предпочитая сосредоточиться на получении степеней, гарантировавших их будущее, однако они были менее заметны, чем меньшая, но все же значительная часть политически активных студентов, особенно когда она влияла на университетскую жизнь с помощью публичных акций, от граффити и постеров на стенах до собраний, маршей и пикетов. Однако даже такая степень левой радикализации была новостью для развитых стран, хотя и не являлась таковой для отсталых и зависимых государств. До Второй мировой войны огромное большинство студентов Центральной и Западной Европы и Северной Америки были политически нейтральными или придерживались правых взглядов.

Возможный ответ на этот вопрос кроется в резком увеличении численности студентов. Во Франции в конце Второй мировой войны было менее 100 тысяч студентов. К 1960 году их количество превысило 200 тысяч, а в течение следующих десяти лет увеличилось до 651 тысячи (*Flora, p. 582; Deux Ans, 1990, p. 4*). (В течение этих десяти лет число студентов-гуманитариев увеличилось почти в три с половиной раза, а число студентов, изучающих общественные науки,— в четыре раза.) Самым скорым и прямым последствием стало возникновение неизбежной напряженности между первым поколением студентов, стремительно влившимся в университеты, и самими учебными заведениями, которые ни психологически, ни организационно, ни интеллектуаль-

* Среди этих редких исключений—Россия, где, в отличие от других коммунистических стран Восточной Европы и Китая, студенты не были влиятельной и даже заметной силой в годы разрушения коммунизма. Демократическое движение в России описывалось как «революция сорокалетних», за которой наблюдала деполитизированная и деморализованная молодежь.

но не были готовы к такому наплыву. По мере того как все больше молодежи получало возможность учиться (во Франции в 1950 году студенты составляли 4% населения, а в 1970 году — 15,5%), поступление в университет перестало быть исключительной привилегией, которая сама по себе уже являлась наградой, и студенты чувствовали себя все более вольно. Снятие прежних ограничений, которые высшая школа налагала на молодых (и в основном небогатых) студентов, вызывало все большее недовольство начальства. Недовольство университетских властей легко переходило в недовольство власти вообще, что склоняло западных студентов к левым взглядам. Поэтому не вызывает удивления, что 1960-е годы стали десятилетием студенческих волнений. В различных странах они усиливались благодаря особым обстоятельствам, например враждебному отношению к войне во Вьетнаме в США (т. е. к военной службе), расовой дискриминации в Перу (*Lynch*, p. 32—37), однако явление это было слишком широко распространенным, чтобы объяснять каждый частный случай.

Тем не менее, в более общем смысле, эта новая студенческая прослойка находилась, так сказать, под опасным углом по отношению к остальному обществу. В отличие от других ранее появившихся классов и социальных групп, она не имела устойчивой ниши в обществе и сложившейся модели отношения к нему. Разве можно было сравнивать новые армии студентов с относительно малочисленными их довоенными количествами (в имевшей высокий уровень образования Германии 1939 года было всего 40 тысяч студентов), когда студенческий период являлся лишь начальной стадией в жизни среднего класса? Во многом само существование этой новой прослойки вызывало вопросы об обществе, которое их породило, а от вопросов до критики только один шаг. Как они вписывались в это общество? Что оно собой представляло? Сама молодость студенческих сообществ, сама глубина возрастной пропасти между этими детьми послевоенного мира и их родителями, которые помнили прошлое и могли сравнивать его с настоящим, делали эти вопросы более острыми, а отношение молодежи более критическим. Ведь недовольство молодых не могло нивелироваться сознанием того, что они живут во времена поразительных улучшений, о которых их родители и не мечтали. Наоборот, они считали, что все можно сделать по-другому и гораздо лучше, даже когда не знали, каким образом. Старшее поколение, привычное к годам трудностей и безработицы, не ожидало такой массовой радикализации в то время, когда экономических причин для нее в развитых странах было меньше, чем когда-либо раньше. Взрыв студенческого недовольства возник на самом пике мирового промышленного бума потому, что был направлен, пусть слепо и неосознанно, против того, что они считали основной чертой *этого* общества, а не против того, что старое общество недостаточно хорошо. Парадоксально, что толчок к новому радикализму, исходивший из прослойки, не имевшей эконо-

мических причин для недовольства, стимулировал даже группы, привыкшие к объединению на экономической основе, которые поняли, что могут спросить гораздо больше с нового общества, чем раньше. Самым прямым следствием европейских студенческих выступлений стала волна стачек рабочих, требовавших повышения заработной платы и улучшения условий труда.

III

В отличие от сельского населения и учеников колледжей, промышленный рабочий класс не испытывал демографических потрясений вплоть до 1980-х годов, когда его численность стала заметно сокращаться. Это вызывает удивление, принимая во внимание, как много разговоров о «постиндустриальном обществе» ходило еще в 1950-е годы и сколь революционными были преобразования в технологиях производства, большинство которых сокращало или вообще исключало человеческий труд, а также учитывая, что политические партии и движения, опиравшиеся на рабочий класс, начиная с 1970-х годов переживали период кризиса. Однако широко распространенное мнение о том, что старый промышленный рабочий класс исчезает, не подтверждалось статистикой, по крайней мере в мировом масштабе.

За исключением США, где число рабочих, занятых в промышленном производстве, начало уменьшаться с 1965 года, а в 1970-е годы этот процесс значительно ускорился, количественно промышленный рабочий класс в «золотую эпоху» оставался стабильным даже в старых промышленно развитых странах*, составляя примерно треть всего работающего населения. Фактически в восьми странах из двадцати одной, входившей в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — клуб самых развитых стран, в период между 1960 и 1980-ми годами его численность даже продолжала увеличиваться. Количество рабочих выросло и в новых промышленных центрах некоммунистической Европы и затем оставалось стабильным до 1980 года. В Японии оно резко увеличилось, а затем оставалось на одном уровне в 1970-е и 1980-е годы. В коммунистических странах, где шла интенсивная индустриализация, особенно в Восточной Европе, количество рабочих увеличивалось быстрее, чем когда-либо раньше, что наблюдалось и в странах третьего мира, где также осуществлялась индустриализация, — в Бразилии, Мексике, Индии, Корее и др. Одним словом, в конце «золотой эпохи» в мире имелось гораздо большее число рабочих вообще и промышленных рабочих в частности, чем когда-либо раньше. За очень малым исключением, таким как Великобритания, Бельгия и США, в 1970 году рабочие составляли большую часть всего ра-

* Бельгии, Западной Германии, Великобритании, Франции, Швеции, Швейцарии.

ботающего населения, чем в 1890-е годы в странах, где тогда началось резкое возникновение многочисленных социалистических партий. Лишь в 80-х и 90-х годах двадцатого века мы можем заметить признаки значительного сокращения числа рабочих.

Иллюзия исчезновения рабочего класса возникла вследствие изменений, произошедших внутри него, а также в процессах производства, а не из-за демографического спада. Спад наблюдался в старых промышленных отраслях производства, сложившихся в девятнадцатом и начале двадцатого века; значение, которое эти отрасли имели в прошлом, зачастую символизируя индустрию в целом, придавало этому процессу особый драматизм. Так, углекопов, количество которых исчислялось сотнями тысяч, а в Великобритании даже миллионами, стало меньше, чем выпускников университетов. Во всей сталелитейной промышленности США теперь было занято меньше людей, чем в семи ресторанах «Макдоналдс». Даже если традиционные отрасли промышленности и не исчезали, происходило их перемещение из старых в новые индустриальные страны. Во все более широком масштабе мигрировали текстильная, швейная и обувная промышленность. Число рабочих, занятых в текстильной и швейной промышленности в Федеративной Республике Германии, упало более чем наполовину в период с 1964 по 1980 год. В начале 1980-х годов на каждые 100 немецких рабочих в швейной промышленности Германии приходилось 34 иностранных рабочих, хотя еще в 1966 году их было менее трех. Черная металлургия и кораблестроение в центрах ранней индустриализации фактически исчезли, однако развивались в Бразилии, Корее, Испании, Польше и Румынии. Старые индустриальные регионы превратились в «пояс ржавчины» — термин, изобретенный в США в 1970-е годы. Целые страны, на ранних стадиях развития промышленности считавшиеся индустриальными центрами, как, например, Великобритания, подверглись широкомасштабной деиндустриализации, превратившись в музеи исчезнувшего прошлого, которое показывали туристам. Когда последние углекопы исчезли из Южного Уэльса, где более 130 тысяч жителей в начале Второй мировой войны зарабатывали себе этим на жизнь, оставшиеся старики спускались в пустые шахты, чтобы продемонстрировать туристам, как они когда-то трудились здесь в вечной темноте.

И даже в тех случаях, когда новые отрасли промышленности заменили старые, это были не совсем те отрасли, зачастую не в тех местах и имеющие иную структуру. Именно это подразумевал появившийся в 1980-е годы термин «постфордизм»*. Возникали огромные заводы с производством конвейерного типа, появлялись города и регионы, где преобладала одна отрасль

* Это выражение, возникшее из попыток переосмысления анализа индустриального общества, сделанных левыми экономистами, было введено в обиход Аланом Липпицом, который позаимствовал термин «фордизм» у итальянского мыслителя-марксиста Грамши.

промышленности, например автомобили, как в Детройте и Турине. Местный рабочий класс объединялся и сплывался по месту проживания и работы. Это явление казалось типичным для классической индустриальной эпохи. Несмотря на то что видимость здесь расходилась с действительностью, в этом феномене содержалась более чем символическая правда. Там, где в конце двадцатого века развивались старые промышленные структуры (что происходило в процессе индустриализации в странах третьего мира и в социалистических экономиках, глубоко увязших в фордизме), сходство с западным индустриальным миром, каким он был до Второй и даже до Первой мировой войны, было очевидно, вплоть до появления влиятельных профсоюзов в крупных промышленных центрах — таких как автомобильный Сан-Паулу или судостроительный Гданьск. Точно так же объединенные союзы рабочих автомобильной и сталелитейной промышленности возникали в результате массовых забастовок 1937 года, проходивших в тех местах, где сейчас находится «пояс ржавчины» американского Среднего Запада. В отличие от крупных фирм, производивших массовую продукцию, и больших заводов, доживших до 1990-х годов, хотя и подвергшихся модернизации, новые отрасли производства имели совершенно иную структуру. Классические регионы «постфордизма» (например, Венето, Эмилия-Романья и Тоскана в Северной и Центральной Италии) не имели больших промышленных городов, крупных фирм, огромных заводов. Они представляли собой сеть предприятий от мелких мастерских до средних (но высокотехнологичных) производств, разбросанных по маленьким городам и сельской местности. Представители одной из крупнейших фирм в Европе предложили мэру Болоньи разместить там одну из своих главных фабрик. Мэр* вежливо отклонил это предложение. Власти его города и региона (процветающих, современных и, между прочим, коммунистических) знали, как управлять социальной ситуацией в новой агропромышленной экономике. Пусть Турин и Милан, считали они, занимаются проблемами промышленных мегаполисов.

Тем не менее в конечном итоге (что стало очевидным в 1980-е годы) рабочий класс все-таки пал жертвой новых технологий, особенно неквалифицированные и полуквалифицированные мужчины и женщины, работавшие на поточных линиях, которых легче всего можно было заменить автоматами. После того как десятилетия глобального бума в производстве — 1950-е и 1960-е годы — уступили место эпохе мировых экономических трудностей 1970-х и 1980-х годов, промышленное производство никогда уже не выросло до прежнего уровня, при котором число рабочих увеличивалось даже при внедрении новых технологий (см. главу 14). Экономический кризис начала 1980-х годов впервые за сорок лет возродил в Европе массовую безработицу.

* Он сам мне об этом рассказывал.

В некоторых недальновидных странах этот кризис вызвал настоящий промышленный холокост. Великобритания в 1980—1984 годах потеряла 25% своей обрабатывающей промышленности. В период с 1973 по конец 1980-х годов общее число рабочих, занятых на производстве в шести индустриальных странах Европы, уменьшилось на 7 миллионов или примерно на четверть, половина из которых в период с 1979 по 1983 год лишилась работы. К концу 1980-х годов, когда полным ходом шел процесс увеличения числа трудящихся в новых индустриальных центрах, доля рабочих, занятых на производстве в старых промышленных центрах Запада, составляла примерно четверть от всех гражданских профессий (в США к тому времени их количество было гораздо ниже 20%) (Bairoch, 1988). Это очень сильно отличалось от старой марксистской мечты о постепенном превращении населения земного шара в пролетариат по мере развития промышленности, до тех пор пока рабочие не станут большинством. За исключением редчайших случаев, из которых Великобритания была наиболее известным, промышленный рабочий класс всегда составлял меньшинство работающего населения. Однако кризис рабочего класса и его движений, особенно в старом индустриальном мире, стал очевиден задолго до того, как вопрос о его серьезном упадке встал в мировом масштабе.

Это был кризис не рабочего класса, а его сознания. В конце девятнадцатого века (*Эпоха империй*, глава 5) далеко не однородные группы населения, зарабатывавшие себе на жизнь в развитых странах тем, что продавали свой ручной труд за заработную плату, научились смотреть на себя как на единый рабочий класс и считать этот факт самой важной характеристикой своего положения в обществе. По крайней мере к этому заключению пришло достаточное количество трудящихся, так что партии и движения, апеллировавшие к ним в основном как к рабочим (о чем говорили сами их названия: «*Labour Party*», «*Parti Ouvrier*» и т. д.), за несколько лет превратились в мощную политическую силу. Однако их объединяло не только получение заработной платы и мозолистые руки. Все они в подавляющем большинстве принадлежали к бедной и экономически незащищенной части населения. Несмотря на то что они были далеки от нищеты и лишений, жизнь обеспечивала их весьма скромным достатком, гораздо ниже того, который приходился на долю средних классов. До 1914 года рабочие во всех странах не могли позволить себе покупку потребительских товаров длительного пользования, а в период между мировыми войнами исключение составляли лишь рабочие Северной Америки и Австралии. Один британский коммунистический лидер, посланный на процветавшие в годы войны оборонные заводы Ковентри, приехал назад в состоянии крайнего удивления. «Подумать только,— говорил он своим лондонским друзьям, в числе которых был и я,— там у всех товарищей есть автомобили!»

Кроме того, их объединяла массовая социальная сегрегация, отличный от других стиль жизни и даже манера одеваться, а также жизненные перспективы, отличавшиеся от возможностей социально более мобильной, хотя тоже экономически довольно стесненной прослойки «белых воротничков». Дети рабочих не надеялись, что станут студентами университетов, и действительно, редко шли туда. Большинство из них вообще не собирались посещать школу после достижения минимального выпускного возраста (обычно он составлял 14 лет). В довоенных Нидерландах только 4% подростков из возрастной группы от 10 до 19 лет посещали среднюю школу после 14 лет, а в демократических Швеции и Дании их было еще меньше. Рабочие жили обособленно от остальных, имея другие виды на будущее. Как писал в 1950-е годы сын рабочего, один из первых, кто получил университетское образование во времена открытой сегрегации, «дома этих людей имеют свой собственный узнаваемый стиль (...) обычно они являются их съемщиками, а не владельцами» (Hoggarth, 1958, p. 8)*.

И наконец, рабочих объединял главный элемент их жизни — коллективность, преобладание слова «мы» над словом «я». Подлинную силу рабочим движениям и партиям давала оправданная убежденность, что такие люди, как они, смогут улучшить свою судьбу не индивидуальными действиями, а только коллективными, лучше посредством организаций, забастовок и голосования. Они также осознавали, что многочисленность и специфическое положение облегчают возможность коллективных действий. Там, где рабочие видели возможности перемещения из своего класса в другой, как это было в США, их классовая сознательность ослабевала. Слово «мы» преобладало над словом «я» также потому, что (за весьма трагическим исключением жен рабочих — домохозяйек, заключенных в четырех стенах своего дома) жизнь рабочего класса являлась в основном общественной, частное пространство было для нее малопригодно. Даже домашние хозяйки принимали участие в общественной жизни, когда шли на рынок или в ближайший парк. Дети общались, играя на улице. Юноши и девушки встречались на танцах и вечеринках вне дома. Мужчины проводили время в пивных. До начала эпохи радио, наступление которой в период между мировыми войнами изменило жизнь сидевших дома жен рабочих (правда, в то время лишь в нескольких развитых странах), все виды развлечений, кроме частных вечеринок, проходили в общественных местах, а в самых бедных странах даже телевизор смотрели при большом скоплении народа. Начиная с футбольного матча или политического митинга до праздничного пикника все развлечения, как правило, были массовыми.

* Ср. также: «Преобладание промышленности с ее резким делением на рабочих и руководство заставляет различные классы жить раздельно, так что определенный район города становится резервацией или гетто» (Allen, 1968, p. 32—33).

Во многих аспектах эта сознательная сплоченность рабочего класса в развитых странах достигла своего пика в конце Второй мировой войны. Однако во время «золотой эхои» почти все ее составляющие были разрушены. Развитие производства, отсутствие безработицы и появление общества массового потребления полностью изменили жизнь рабочего класса в развитых странах. По стандартам своих родителей, они больше не были бедными. Их жизнь, уровень которой резко повысился, становилась все более обособленной под воздействием логики рынка: телевидение сделало ненужным посещение футбольного матча и кинотеатра, телефон исключил привычку болтать с друзьями на площади или на базаре. Члены партии или профсоюзные активисты, некогда затевавшие митинги и другие публичные акции, поскольку они также являлись и определенным видом развлечения и отдыха, теперь могли подумать об иных способах времяпрепровождения. (В добавление к этому личные встречи с избирателями перестали быть действенной формой предвыборной кампании, хотя и продолжались по традиции для того, чтобы вдохновлять партийных активистов, которых становилось все меньше.) Благополучие и частная жизнь уничтожили все то, что некогда объединяли бедность и коллективизм.

Это не означало, что у рабочих не осталось отличительных черт. Как ни удивительно, новая независимая молодежная культура, о чем мы будем говорить ниже, начиная с 1950-х годов заимствовала музыкальные вкусы и стиль одежды у рабочей молодежи. Теперь большинство стало жить в достатке, и разница между владельцем «жука» «фольксваген» и владельцем автомобиля «мерседес» была гораздо меньше, чем между обладателем автомобиля и тем, у кого его не было вообще, поскольку в рассрочку теоретически стало возможно купить даже самые дорогие машины. Теперь рабочие, особенно в последние годы молодости, до того как брак и расходы на домашнее хозяйство не становились преобладающими в бюджете, могли позволить себе дорогие покупки. На это сразу же, начиная с 1960-х годов, откликнулась индустрия моделирования и пошива одежды высокого класса, а также салоны красоты. Между самой дорогой и самой дешевой продукцией, выпускаемой высокотехнологичными производствами, которые стали развиваться в это время (например, между самым дорогим фотоаппаратом марки *Hasselblad* и дешевыми марками типа *Olimpus* или *Nikon*), разница была в основном лишь в степени престижности фирмы. Во всяком случае, с началом эпохи телевидения развлечения, до этого доступные только миллионерам, пришли в дома самого скромного достатка. Одним словом, отсутствие безработицы и наличие общества потребления, нацеленного на массовый рынок, обеспечило большей части рабочего класса в старых развитых странах (по крайней мере в определенный период их жизни) гораздо более высокий уровень существования, чем был у их отцов и даже у них самих, когда весь доход тратился преимущественно на предметы первой необходимости.

Кроме того, некоторые важные достижения увеличили разрыв между различными слоями рабочего класса, хотя очевидным это стало только после окончания периода полной занятости, во время экономического кризиса 1970-х и 1980-х годов, еще до того, как неоллибералы расшатали систему социального обеспечения и «корпоративизма», которая обеспечивала защиту наиболее бедных слоев рабочих. Верхушка рабочего класса — квалифицированные рабочие и мастера — более легко приспособилась к современному высокотехнологичному производству*, а свободный рынок мог дать им определенные преимущества, даже когда их менее привилегированные братья теряли почву под ногами. Так, в Великобритании во время правления Маргарет Тэтчер (по общему признанию, являвшегося экстремальным случаем), когда правительственная и профсоюзная защита была ликвидирована, положение беднейшей части рабочих, составлявшей 20 %, действительно стало хуже, чем сто лет назад. И хотя 10 %, составлявших наиболее высокооплачиваемую верхушку рабочего класса, имевших общий доход в три раза выше, чем нижний слой, радовались улучшению своего положения, они понимали, что, как плательщики государственных и местных налогов, субсидируют тех, кого называют низшими слоями общества и кто живет на пособие по безработице, без которого они сами, по их мнению, могли обойтись, за исключением чрезвычайных обстоятельств. Старое викторианское деление на «респектабельных» богачей и «нереспектабельных» бедных возобновилось, возможно, даже в более острой форме, поскольку в «золотую эпоху», когда всеобщая занятость, казалось, могла решить все материальные проблемы рабочих, пособия по безработице увеличились до значительных размеров. В новые времена, когда возникла массовая потребность в этих пособиях, они позволяли армии «нереспектабельных» на пособие по безработице жить гораздо лучше, чем жили прежние викторианские бедняки. (А по мнению трудолюбивых налогоплательщиков — намного лучше, чем они имели право жить вообще.)

Таким образом, квалифицированные и «респектабельные» рабочие, возможно, впервые оказались потенциальными сторонниками правых**, тем более что традиционные лейбористские и социалистические организации, естественно, оставались преданными идее перераспределения и социального обеспечения, особенно по мере того как росло число людей, нуждавшихся в защите государства. Правительство Тэтчер в Великобритании было обязано

* Так, в США в период с 1959 по 1990 год число мастеров и старших рабочих уменьшилось с 16 до 13 % всего работающего населения, в то время как число неквалифицированных рабочих за тот же период уменьшилось с 31 до 18 %.

** «Социализму перераспределения, государству всеобщего благоденствия (...) был нанесен тяжелый удар экономическим кризисом, произошедшим в семидесятые годы. Значительный слой среднего класса, так же как и прослойка высокооплачиваемых рабочих, порвал связи с альтернативным демократическим социализмом и отдал свой голос за формирование нового большинства для избрания консервативного правительства» (*Programma 2000, 1990*).

своими успехами исключительно отходу квалифицированных рабочих от лейбористов. Десегрегация или, скорее, сдвиги в политике сегрегации способствовали размыванию рабочего единства. Квалифицированные и мобильные рабочие переселялись в пригороды (особенно когда промышленность переехала на окраины и в сельскую местность), покидая старые рабочие центры или «красный пояс», которые затем либо были преобразованы в богатые районы, либо превратились в трущобы. Вместе с тем новые города-спутники или сельские промышленные поселки не создали концентрации рабочего класса такого же уровня. В старых центрах городов муниципальные здания, некогда построенные для рабочего населения, теперь превратились в поселения социально незащищенных маргиналов, живущих на пособия по безработице.

В то же время массовая миграция принесла с собой феномен, который со времен Первой мировой войны наблюдался только в США и, в меньшей степени, во Франции: этническое и расовое расслоение рабочего класса и, как следствие, конфликты внутри него. Проблема была не столько в этническом разделении, хотя иммиграция людей с другим цветом кожи активизировала расовую нетерпимость, всегда скрыто присутствовавшую даже в странах, считавшихся не подверженными расизму, таких как Италия и Швеция. Ослабление традиционных социалистических рабочих движений усилило это явление, поскольку они всегда были страстными противниками такой дискриминации и этим подавляли расистские настроения в своей среде. Однако, не говоря о расизме в чистом виде, традиционно (что имело место и в девятнадцатом веке) миграция рабочих редко приводила к прямым столкновениям между различными этническими группами, поскольку каждая группа мигрантов стремилась найти свою собственную нишу в экономике, которую затем старалась монополизировать. Еврейские иммигранты в большинстве западных стран в массовом порядке устремлялись в портновский бизнес, а не, к примеру, в автомобильную промышленность. Возьмем более специфический случай: персонал индийских ресторанов в Лондоне и Нью-Йорке, и, без сомнения, везде, куда достигла эта форма распространения азиатской культуры за пределами Индийского субконтинента, даже в 1990-е годы составляли эмигранты из определенного округа Бангладеш — Силхета. Кроме того, группы эмигрантов концентрировались в определенных районах, на заводах или в мастерских одной отрасли промышленности. В таком сегментированном рынке рабочей силы было проще развивать и поддерживать солидарность между различными этническими группами рабочих, поскольку эти группы не конкурировали между собой и разница в их условиях не могла (или могла очень редко) приписываться корыстным интересам других групп рабочих*.

* Северная Ирландия, где католиков систематически изгоняли из высокотехнологичных отраслей, все в большей степени становившихся монополией протестантов, является исключением.

По целому ряду причин, одной из которых являлось то, что иммиграция в послевоенной Западной Европе во многом была вызвана мерами государств против роста безработицы, новые иммигранты попадали на тот же самый рынок рабочей силы, что и местные жители, и обладали теми же правами, за исключением регионов, где иммигранты официально выделялись в изолированную группу временных и поэтому имеющих более низкий статус «приглашенных» рабочих. Все это вызывало напряженность. Мужчины и женщины, формально имевшие меньше прав, вряд ли считали свои интересы равными интересам людей, обладавших более высоким статусом. Наоборот, британские и французские рабочие, даже если они и соглашались работать на одинаковых условиях с марокканцами, уроженцами Вест-Индии, Португалии или Турции, отнюдь не были готовы мириться с тем, что им предпочитают иностранцев, особенно тех, которые всегда считались низшими по отношению к коренному населению. По сходным причинам имела место напряженность и между различными группами иммигрантов, причем даже тогда, когда их всех объединяло возмущение обращением со стороны местного населения.

Одним словом, закончился период, когда все слои рабочих (за исключением тех, кого разделяли непреодолимые национальные или религиозные барьеры) могли с основанием считать, что одна и та же политика, стратегия и, как следствие, государственные перемены принесут бы пользу каждому из них. В это же время изменения в производстве, возникновение «общества двух третей» (см. ниже) и все более расплывчатая граница между физическим и умственным трудом уничтожили ранее четко обозначенные контуры класса под названием «пролетариат».

IV

Одной из важных перемен, оказавших влияние на рабочий класс, а также и на большинство других слоев развитого общества, стало возрастание роли женщин, главным образом замужних. В 1940 году работавшие замужние женщины составляли менее 14 % всего женского населения США, а в 1980 году — уже более половины всего женского населения, т. е. их число за этот период увеличилось более чем в два раза. То, что женщины во все большем количестве появлялись на рынке рабочей силы, безусловно, не было новостью. Еще с конца девятнадцатого века конторская служба, работа в магазине и некоторые другие виды деятельности, такие как служба на телефонной станции и уход за больными, были в большой степени феминизированы. Эти второстепенные профессии распространялись и разрастались сначала относительно, а в конце концов и абсолютно за счет основных форм занятости — в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие сферы обслуживания стало одной

из самых мощных тенденций двадцатого века. Не так просто обобщить данные о месте женщин в промышленном производстве. В старых индустриальных странах отрасли промышленности, требующие большого количества рабочих рук, в которых использовался главным образом женский труд, такие как текстильная и швейная промышленность, находились в упадке; однако такие же трудности переживали и расположенные в «поясе ржавчины» предприятия тяжелой промышленности и машиностроения с их преимущественно мужским трудом — шахты, заводы черной металлургии, судостроение, автомобильная промышленность. С другой стороны, в развивающихся странах и анклавах промышленного производства, возникших в странах третьего мира, трудоемкие отрасли промышленности, нуждавшиеся в женском труде (который традиционно был более низкооплачиваемым и более дисциплинированным, чем мужской), развивались и процветали. В связи с этим доля женского труда на местных рынках рабочей силы росла, хотя случай Маврикия, где она подскочила с 20 % в начале 1970-х годов до более чем 60 % в середине 1980-х годов, нетипичен. Увеличение доли женского труда в промышленности развитых индустриальных стран зависело от национальных условий. На практике различие между женщинами на производстве и в сфере обслуживания не было значительным, поскольку основная их масса в обеих этих областях занимала подчиненное положение. Некоторые из феминизированных отраслей, такие как государственная и социальная службы, находились под защитой профсоюзов.

Так же росло число женщин, поступавших в высшие учебные заведения, что являлось самым прямым путем к более высокооплачиваемым профессиям. Сразу же после Второй мировой войны их количество составляло от 15 до 30 % всех студентов в большинстве развитых стран, за исключением Финляндии, флагмана женской эмансипации, где оно достигло 43 %. Даже в 1960 году ни в одной стране Европы и Северной Америки число студенток не составляло 50 %, хотя Болгария (еще одна, хотя и менее разрекламированная феминистская страна) уже почти достигла этой цифры. В социалистических государствах в целом больше поощрялось женское образование (ГДР в этом обошла ФРГ), но в других отношениях их феминистские показатели были неоднородны. Однако уже в 1980 году половину или даже большую часть всех студентов в США, Канаде и шести социалистических странах, во главе которых стояли ГДР и Болгария, составляли женщины, и лишь в четырех европейских странах к тому времени их доля не достигала 40 % (Греция, Швейцария, Турция и Великобритания). Одним словом, высшее образование теперь стало таким же обычным явлением среди девушек, как и среди юношей.

Массовое появление на рынке рабочей силы замужних женщин, у большинства из которых были дети, и быстрое распространение среди них высшего образования начиная с 1960-х годов создали предпосылки, по крайней ме-

ре в развитых западных странах, для мощного возрождения феминистских движений. Безусловно, женские движения нельзя объяснить без этих достижений. Поскольку женщины во многих частях Европы и Северной Америки достигли своей главной цели — добились права голоса и равных гражданских прав в результате Первой мировой войны и русской революции (*Эпоха империй*, глава 8), феминистские движения оказались на заднем плане даже там, где их не разрушила победа фашистских и реакционных режимов. Они оставались в тени, несмотря на победу антифашистских сил и революции (в Восточной Европе и некоторых частях Восточной Азии), распространивших права, завоеванные в 1917 году женщинами, на большую часть стран, в которых они до этого не признавались, например предоставив женщинам право голоса во Франции и Италии, в странах победившего коммунизма, а также почти во всех бывших колониях и (в первые десять послевоенных лет) в Латинской Америке. Там, где вообще проводились выборы, женщины к 1960-м годам получили избирательные права, кроме нескольких исламских государств и, как ни странно, Швейцарии.

Однако эти изменения произошли не под действием феминистских движений и не оказали никакого особого влияния на положение женщин даже в тех странах, где голосование имело политические последствия. Но в 1960-е годы произошло резкое возрождение феминизма (сначала не затронувшее главные страны социалистического лагеря), начавшееся в США и быстро распространившееся через развитые западные государства в круги образованных женщин стран зависимого мира. Первая волна феминизма коснулась в основном представительниц образованного среднего класса. В 1970-е и особенно в 1980-е годы ей на смену пришла политически и идеологически менее специфическая форма женского самосознания. Она распространилась среди лиц женского пола (современные идеологи настаивают на употреблении термина «гендер»), не охваченных первым натиском феминизма. И действительно, женщины теперь стали политической силой, чего никогда до этого не наблюдалось. Первым и, возможно, наиболее ярким примером этого нового вида гендерного самосознания явился протест традиционно пассивных католичек против непопулярных доктрин Церкви, что особенно ярко показали итальянские референдумы в пользу разводов (1974) и принятие более либеральных законов об абортах (1981), а затем избрание президентом религиозной Ирландии Мэри Робинсон, женщины-адвоката, имя которой ассоциировалось с либерализацией католической моральной доктрины (1990). К началу 1990-х годов в некоторых странах при опросах общественного мнения было зарегистрировано резкое расхождение политических взглядов между полами. Неудивительно, что политики начали добиваться расположения нового женского электората, особенно левые, поскольку упадок «сознательности» рабочего класса лишил партии прежних избирателей.

Однако сама широта нового самосознания женщин и их интересов делает недостаточным объяснение этого факта лишь изменением роли женщины в экономике. Во всяком случае, социальная революция изменила не только роль женщины в обществе, но и традиционные ожидания того, какой должна быть эта роль. Ожидалось, что коренные трансформации, такие как массовое появление замужних женщин на рынке рабочей силы, повлекут за собой последующие изменения в их жизни, однако этого не произошло, о чем свидетельствует пример СССР, где после того как были отброшены первоначальные утопические революционные устремления 1920-х годов, замужние женщины в основном оказались нагруженными двойной ношей прежних домашних забот и новых обязанностей по зарабатыванию денег, причем не произошло никаких изменений в отношениях между полами, а также в общественной и частной сферах жизни. Так что причины, по которым женщины, в особенности замужние, устремились на оплачиваемую работу, не обязательно были связаны с их взглядами на социальное положение женщин и их права. Это могло являться следствием бедности или происходить потому, что работодатели предпочитали женщин мужчинам, поскольку они были более дисциплинированными, а их труд оплачивался ниже, чем мужской, или просто благодаря растущему числу семей, особенно в зависимых странах, где главой была женщина. Массовая миграция рабочих-мужчин из сельской местности в город, происходившая в Южной Африке, а также из некоторых регионов Азии и Африки в страны Персидского залива, неизбежно заставляла оставшихся женщин занимать место главы семьи. Не следует также забывать о массовой гибели мужчин на мировых войнах. Если взять Россию после 1945 года, то там на каждых трех мужчин приходилось пять женщин.

Тем не менее признаки значительных и даже революционных изменений в представлении женщины о своем положении в обществе и самого общества о роли в нем женщины несомненны. Среди них появились крупные политики, хотя этот факт никак не мог стать признаком изменения положения женщин в целом. Процент женщин в парламентах Латинской Америки (11 %) в 1980-е годы был значительно выше, чем тот же показатель в гораздо более «эмансипированной» Северной Америке. С другой стороны, значительное число женщин, которые впервые оказались во главе правительств и государств в странах зависимого мира, получило свою должность по наследству: Индира Ганди в Индии (1966—1984), Беназир Бхутто в Пакистане (1988—1990 и 1994) и Он Сан Су Ки, не ставшая главой Бирмы только из-за протеста военных. Все они были дочерьми прежних руководителей государств. Сиримава Бандаранаике (Шри-Ланка, 1960—1965; 1970—1977), Корасон Акино (Филиппины, 1986—1992) и Изабель Перон (Аргентина, 1974—1976) пришли к руководству после смерти своих мужей. Само по себе это было не более револю-

ционно, чем задолго до этого наследование Марией Терезией и Викторией тронов Габсбургской и Британской империй. Контраст между положением женщин-лидеров в таких странах, как Индия, Пакистан и Филиппины, и крайне угнетенным и притесненным положением остальных представительниц прекрасного пола в этих же странах лишь подчеркивает его нетипичность.

Тем не менее до Второй мировой войны переход власти к *любой* женщине в *любой* республике при *любых* обстоятельствах был бы политически невыносимым. После 1945 года это сделалось возможным — в 1960 году Сиримаво Бандаранаике в Шри-Ланке стала первой в мире женщиной премьер-министром, а к 1990 году женщины стали во главе правительств в шестнадцати государствах (*World's Women*, p. 32). В 1990-х годах женщина, достигшая вершины политической карьеры, являлась признанной, хотя и довольно редкой частью политического пейзажа: женщины были премьер-министрами Израиля (1969), Исландии (1980), Норвегии (1981), Великобритании (1979), Литвы (1990) и Франции (1991). Главную оппозиционную партию (социалистическую) далеко не феминистской Японии также возглавляла женщина (1986). Политический мир менялся быстро, хотя даже во многих развитых странах представительство женщин в государственных органах все еще оставалось символическим.

Однако вряд ли имеет смысл обобщать на мировом уровне роль женщины в общественной сфере и соответствующие общественные стремления женских политических движений. Страны зависимого мира, развитые страны и социалистические или бывшие социалистические государства можно сравнивать лишь в некоторых аспектах. В государствах третьего мира, как и в царской России, огромная масса необразованных женщин — представительниц низшего класса — оставалась за пределами общественной жизни в современном западном смысле, хотя сами эти страны развивались, а некоторые уже имели небольшую прослойку крайне эмансипированных и передовых женщин, в основном жен, дочерей и родственниц представителей местного высшего класса и буржуазии. (Они походили на женскую часть интеллигенции и активисток в царской России.) Такая прослойка в Индии существовала даже в колониальные времена и, вероятно, имела и в некоторых из менее ригористских исламских государств — особенно в Египте, Иране, Ливане и странах Магриба — до тех пор, пока возрождение мусульманского фундаментализма вновь не ввергло женщин в бесправие. Для этого меньшинства существовало поле общественной деятельности на высших социальных уровнях их собственных стран, где они могли во многом чувствовать себя так же свободно, как их соратницы в Европе и Северной Америке, хотя, возможно, им было труднее преодолеть обычаи и традиционные семейные обязанности, присущие их культурам, чем западным женщинам или жительницам некотоли-

ческих стран *. В этом отношении эмансипированные женщины в прозапад-ных зависимых государствах занимали гораздо более благоприятное положение, чем их сестры на, скажем, несоциалистическом Дальнем Востоке, где силу традиций и обычаев, которым подчинялись даже женщины, принадлежавшие к элите, было очень трудно преодолеть. Образованные японские и корейские женщины, оказавшись на свободном Западе, зачастую с ужасом думали о возвращении домой.

В странах социалистического лагеря ситуация была довольно парадоксальной. Практически все женщины Восточной Европы являлись оплачиваемой рабочей силой, во всяком случае доля работающих среди них составляла примерно столько же, что и среди мужчин (90%),— гораздо больше, чем в других странах. Коммунистическая идеология страстно проповедовала равенство женщин и их освобождение во всех смыслах, включая и эротический, несмотря на отвращение самого Ленина к случайным сексуальным контактам **. (Однако как Ленин, так и Крупская были среди тех редких революционеров, которые приветствовали совместное выполнение работы по дому обоими полами.) Кроме того, революционное движение, от народников до марксистов, тепло приветствовало появление в своих рядах женщин, особенно интеллектуалок, и обеспечивало для них широкие возможности, что все еще проявлялось даже в 1970-е годы, когда их количество оставалось непропорционально большим в некоторых левых террористических движениях. Однако, за редкими исключениями (Роза Люксембург, Руфь Фишер, Анна Паукер, Пасионария, Федерика Монцени), женщины не получили значительного представительства в высших политических кругах своих партий ***, а в новых государствах с коммунистическим правительством их стало еще меньше. Женщины почти исчезли с главных политических постов. Как мы видели, одна или две страны, особенно Болгария и Германская Демократическая Республика, предоставляли своим женщинам реальные шансы добиться общественной карьеры и высшего образования, однако в целом общественное положение женщин в коммунистических странах не имело особых отличий от

* Вряд ли случайно число разводов и повторных браков в Италии, Ирландии, Испании и Португалии было значительно ниже, чем в остальных странах Западной Европы и США: в среднем 0,58 на 1000 человек по сравнению с 2,5 на 1000 в девяти других странах (Бельгии, Франции, Федеративной Республике Германии, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Канаде, США). Повторные браки в сравнении с общим числом браков: 2,4 против 18, 6.

** Так, право на аборт, запрещенный гражданским кодексом Германии, являлось важной темой агитации немецкой коммунистической партии, и именно поэтому Германская Демократическая Республика приняла гораздо более либеральный закон об абортах, чем испытывавшая влияние христианских социал-демократов Федеративная Республика Германия, усложнив тем самым правовые проблемы объединения Германии в 1990 году.

*** В КПГ в 1929 году из 63 членов и кандидатов в члены Центрального комитета было всего 6 женщин. Из 504 наиболее известных коммунистов в 1924—1929 годах женщины составляли 7%.

положения их сестер в развитых капиталистических странах или отличалось в худшую сторону. Когда поток женщин устремился в открывшиеся для них профессии, как в СССР, где профессия медика стала впоследствии сильно феминизированной, эти специальности утратили свой статус и доходность. В отличие от западных феминисток, большинство замужних советских женщин, привыкших всю жизнь заниматься наемным трудом, мечтало оставаться дома.

Несомненно, первоначальные революционные мечты об изменении взаимоотношений между полами, а также об отказе от обычаев и привычек, закреплявших мужское господство, в основном так и остались мечтами, даже там, где этого серьезно добивались (как в России в первые годы после образования СССР). В отсталых странах (в основном коммунисты победили именно в таких странах) этому препятствовало пассивное сопротивление местного населения, которое настаивало, чтобы на практике (независимо от того, что предусматривалось в законодательстве) женщины не считались равными мужчинам. Однако героические усилия в сфере женской эмансипации, безусловно, не прошли даром. Предоставление женщинам равных политических и юридических прав, допущение их к образованию, к мужской работе и мужской ответственности, даже разрешение снять паранджу и свободно появляться на публике,— это огромные изменения, которые может подтвердить каждый, осведомленный о тяжелой участи женщин в странах, где правит религиозный фундаментализм. Кроме того, даже в коммунистических государствах, где реальное положение женщин сильно отставало от теории, а власти временами фактически навязывали моральную контрреволюцию, стараясь вернуть женщину в семью для того, чтобы она рожала и растила детей (как в СССР в 1930-е годы), простая свобода выбора, ставшая возможной для них при новой системе, включая сексуальную свободу, уже была огромным шагом вперед. Реальные ограничения свободы выбора для женщин были не столько правовыми, сколько материальными, как, например, нехватка средств контроля за рождаемостью, которые в недостаточном количестве выпускала плановая экономика, впрочем как и многие другие предметы, необходимые в гинекологии.

И все же, несмотря на достижения и недостатки социалистической системы, она не породила подъема феминистских движений, да и вряд ли могла это сделать вследствие полной невозможности до середины 1980-х годов развития каких-либо политических инициатив без поддержки партии и государства. К тому же вопросы, интересовавшие феминистские движения на Западе, едва ли могли найти отклик в коммунистических государствах.

Первоначально эти вопросы на Западе, особенно в Соединенных Штатах, первыми возродивших феминизм, были связаны с проблемами, заботившими женщин среднего класса. Это становится очевидным, если посмотреть на

профессии в США, в которых феминистское движение достигло главных успехов. К 1981 году женщины не только фактически вытеснили мужчин с конторских должностей (большинство из которых было подчиненными, хотя и престижными), но и составляли почти 50% агентов по недвижимости и брокеров и почти 40% банковских служащих и финансовых менеджеров. Кроме того, число женщин значительно увеличилось (хотя по-прежнему составляло несравнимо меньший процент, чем число мужчин) в интеллектуальных профессиях. Правда, в традиционно мужских профессиях адвокатов и врачей женщины все еще ограничивались скромными плацдармами на территории противника. Но если 35% учителей колледжей и университетов, более четверти программистов и 22% специалистов в области естественных наук теперь являлись женщинами, мужская монополия на ручной труд, квалифицированный и неквалифицированный, оставалась фактически неоспоримой: только 2,7% водителей грузовиков, 1,6% электриков и 0,6% автомехаников были женщинами. Здесь противодействие притоку женщин было, безусловно, не слабее, чем в профессиях докторов и адвокатов, которые все же уступили дорогу 14% женщин, однако можно предположить, что стремление завоевать эти бастионы мужественности было не столь настойчивым.

Даже беглое знакомство с трудами американских идеологов нового феминизма 1960-х годов дает четкую классовую перспективу женских проблем (Friedan, 1963; Degler, 1987). Они были в большой степени связаны с вопросом совмещения женщиной карьеры или работы с браком и семьей. Однако этот вопрос являлся главным только для тех, у кого имелся такой выбор. У большинства женщин мира, особенно в бедных странах, его тогда не существовало. Они с полным основанием были озабочены равенством между мужчинами и женщинами — идеей, ставшей главным инструментом законодательного наступления женщин на Западе, с тех пор как слово «пол» было внесено в американский Акт о гражданских правах 1964 года, первоначально направленный только против расовой дискриминации. Однако «равенство» или, скорее, «равное обращение» и «равные возможности» предполагают, что нет значительных различий между мужчиной и женщиной, социальных или каких-либо других, а для большинства женщин мира, особенно бедных, казалось очевидным, что более низкое социальное положение женщины являлось следствием ее отличия от мужчины по половому признаку и поэтому требовало средств защиты, связанных с ее полом, например специальных статей в законодательстве по поводу беременности и родов или защиты от посягательств со стороны более физически сильного и агрессивного пола. Кстати, американский феминизм не спешил браться за такую животрепещущую проблему работающих женщин, как отпуск по беременности и родам. Феминизм в своей поздней фазе научился настаивать на разнице полов, так же как и на их неравенстве, хотя использование либеральной идеологии абстрактного

индивидуализма и законодательства о «равных правах» было нелегко совместить с утверждением, что женщины не такие и не обязательно должны быть такими же, как мужчины, и наоборот*.

Кроме того, в 1950-е и 1960-е годы сама потребность вырваться из круга домашних обязанностей на оплачиваемый рынок рабочей силы имела идеологическую подоплеку, прежде всего в среде процветающих, образованных замужних женщин среднего класса, чего не было у других групп женщин, поскольку мотивации в этой среде редко являлись экономическими. Малообеспеченные замужние женщины после 1945 года поступали на работу в основном оттого, что их дети больше не работали. Детский труд на Западе почти исчез, а необходимость давать детям образование, открывавшее перспективы лучшей жизни, легла на плечи их родителей тяжелой ношей, которой не было раньше. Одним словом, «раньше дети работали, так что их матери могли оставаться дома и выполнять свои домашние дела и обязанности по продолжению рода. Теперь, когда семьи нуждались в дополнительном доходе, матери работали вместо детей» (*Tilly/Scott, 1987, p. 219*). Это вряд ли было возможно при наличии большого количества детей, хотя значительная механизация домашнего труда (особенно использование стиральных машин) и развитие производства пищевых полуфабрикатов и готовой пищи облегчали домашнее хозяйство. Но для замужних женщин среднего класса, чьи мужья зарабатывали неплохие деньги, выход на работу редко давал существенную прибавку к доходу семьи, хотя бы только потому, что женский труд оплачивался намного ниже мужского на тех должностях, которые тогда были им доступны. Он не мог стать значительным добавлением к семейному бюджету, поскольку тогда пришлось бы нанимать за приличную плату помощницу по хозяйству и присмотру за детьми для того, чтобы дать возможность женщине зарабатывать деньги.

Если у замужних женщин этого круга и существовал стимул для выхода из дома, то это была потребность в свободе и самостоятельности, желание чувствовать себя личностью, обладающей собственными правами, а не придат-

* Таким образом, «позитивное действие», т. е. предоставление какой-либо группе льгот в доступе к некоторым социальным возможностям или деятельности, совместимо с идеей равноправия только при допущении, что это временная мера, которая постепенно прекратится, когда равные возможности будут достигнуты, т. е. допуская, что эти льготы являются всего лишь устранением несправедливого препятствия для участников одного и того же состязания. Несомненно, иногда причина кроется именно в этом. Но там, где мы имеем дело с постоянными различиями, все иначе. Абсурдно, даже на первый взгляд, предоставлять мужчинам преимущества в поступлении на курсы колоратурного пения или настаивать на том (поскольку это теоретически возможно с демографической точки зрения), чтобы 50 % армейских генералов были женщинами. С другой стороны, совершенно законно дать возможность каждому мужчине, имеющему желание и квалификацию, вступить в «Норме», а каждой женщине, имеющей желание и потенциал командовать армией, шанс это сделать.

ком своего мужа и домашнего хозяйства. Свои доходы они хотели тратить не только на насущные потребности семьи, но и на собственные надобности, не спрашивая мужа. Конечно, после того как все более широко стало распространяться ведение домашнего хозяйства исходя из двух источников — доходов мужа и жены, семейный бюджет начали планировать, принимая во внимание и заработок жены. Когда высшее образование представителей среднего класса стало всеобщим и родителям пришлось финансировать обучение своего потомства, которому было уже за двадцать, оплачиваемая работа замужних женщин среднего класса перестала быть для них в первую очередь декларацией независимости и стала тем, чем она долгое время была для бедных, — способом сводить концы с концами. Тем не менее элемент эмансипации в ней не исчез, как показывает рост числа браков, когда супруги работали в разных городах. Ведь цена (и не только финансовая) браков, в которых каждый супруг работал зачастую в отдаленном районе, была высока, хотя революция на транспорте и в средствах сообщения начиная с 1970-х годов делала это все более обычным в таких профессиях, как преподавательские. Некогда замужние женщины среднего класса следовали за своими мужьями к месту их новой работы; теперь же стало не принято, по крайней мере в интеллектуальных кругах среднего класса, разрушать карьеру женщины и лишать ее права решать, хочет ли она оставить работу. Наконец-то мужчины и женщины стали равны в этом отношении*.

Так или иначе, в развитых странах феминизм среднего класса, или движение интеллектуальных и образованных женщин, превратился в некое общее чувство, что время освобождения женщин или, по крайней мере, отстаивания их прав наконец пришло. Это случилось потому, что более ранний феминизм среднего класса, хотя иногда и не имевший прямого отношения к остальной части западных феминистских движений, поднимал вопросы, заботившие всех. Эти вопросы стали насущными, когда социальные сдвиги, о которых мы говорили, породили глубокую моральную и культурную революцию, резкое изменение социального и личного поведения. Женщины являлись решающим звеном этой культурной революции, поскольку она во многом была направлена на изменения в традиционном семейном укладе и домашнем хозяйстве, центральными элементами которого они всегда являлись.

К этому вопросу мы теперь и обратимся.

* Имели место случаи (правда, гораздо реже), когда муж сталкивался с проблемой, следовать ли за своей женой к месту ее новой работы или нет. Любой преподаватель или научный сотрудник высшего учебного заведения в 1990-е годы мог вспомнить несколько подобных примеров из личной практики.

Глава одиннадцатая

Культурная революция

В этом фильме актриса Кармен Маура играет человека, которому сделали операцию по изменению пола. Из-за несчастливого романа со своим отцом он/она отказался от мужчин и вступил в лесбийскую (как я полагаю) связь с женщиной, роль которой играет знаменитый мадридский трансвестит.

Обзор фильмов в «Village Voice» (Paul Berman, 1987, p. 572)

Удачные выступления — это не обязательно те, которые собирают огромное число людей, а те, что возбуждают самый большой интерес среди журналистов. Лишь немного преувеличив, можно сказать, что полсотни умных людей, которым удалось организовать удачное шоу, получив пять минут на телевидении, могут произвести такой же политический эффект, что и полмиллиона демонстрантов.

Пьер Бурдьё (Pierre Bourdieu, 1994)

I

Лучше всего взглянуть на происходившую культурную революцию сквозь призму семьи и дома, т. е. через структуру отношений между полами и поколениями, которые в большей части обществ упорно сопротивлялись внезапным изменениям, хотя это не означает, что такие взаимоотношения не менялись вообще. Вопреки распространенному убеждению в обратном, общие модели семьи были распространены по всему миру или, по крайней мере, имели существенное сходство на очень больших территориях, хотя предполагалось, что благодаря специфическим социоэкономическим и иным особенностям существует коренная разница в построении семьи между Евразией (включая оба побережья Средиземного моря) и Африкой (*Goody, 1990, XVII*). Так, многоженство, которого, как считается, уже почти совсем не существовало в Евразии и арабском мире, за исключением особых привилегирован-

ных групп, процветало в Африке, где более четверти всех браков были полигамными (Goody, 1990, p. 379).

Тем не менее, несмотря на наблюдавшееся разнообразие, огромное большинство человечества имело ряд одинаковых характерных черт, таких как существование официального брака с защищенными законом сексуальными отношениями между супругами (адультер повсеместно считался правонарушением), доминированием мужа над женой (патриархат), родителей над детьми, а также старших поколений над младшими, состава семьи из нескольких человек и т. п. Какой бы ни была протяженность и сложность родственных связей и взаимных прав и обязанностей внутри семьи, всегда имелось ядро — муж, жена и дети, — даже если группа совместно проживающих людей была гораздо больше. Теория, согласно которой нуклеарная семья, ставшая стандартной моделью в девятнадцатом и двадцатом веках в западном обществе, каким-то образом эволюционировала из прежней семьи с гораздо более многочисленными родственными связями в результате развития буржуазного или какого-либо другого индивидуализма, опирается на историческое непонимание природы социальных взаимодействий и их мотиваций в доиндустриальных обществах. Даже в столь коммунистическом по духу институте, как «задруга», или объединенная семья, у балканских славян, «каждая женщина работает на семью в узком смысле этого слова, а именно на своего мужа и детей, а также, когда настает ее очередь, на неженатых членов общины и сирот» (Guidetti/Stahl, 1977, p. 58). Существование такой семьи и семейного ядра не означает, конечно, что родственные группы или сообщества, внутри которых она находится, сходны в других отношениях.

Но во второй половине двадцатого века эти базовые и устоявшиеся образования стали очень быстро изменяться, во всяком случае в развитых западных странах, хотя даже здесь процесс был неоднороден. Так, в Англии и Уэльсе в 1938 году на каждые 58 браков приходился один развод (Mitchell, 1975, p. 30—32), а в середине 1980-х годов один развод приходился уже на каждые 2,2 новых брака (UN Yearbook, 1987). Ускорение этого процесса началось в 1960-е годы с их вольными нравами. В конце 1970-х годов в Англии и Уэльсе на каждую тысячу женатых пар приходилось более десяти разводов — в пять раз больше, чем в 1961 году (Social Trends, 1980, p. 84).

Эта тенденция, безусловно, была присуща не только Великобритании. Наиболее резкие изменения происходили в странах с традиционно господствовавшей строгой моралью — прежде всего католических. В Бельгии, Франции и Нидерландах доля разводов (ежегодное число разводов на тысячу человек населения) в период с 1970 по 1985 год увеличилась примерно в три раза. Однако даже в странах, где в этих вопросах женщинам традиционно была предоставлена свобода, как, например, в Дании и Норвегии, число разводов удвоилось или почти удвоилось за тот же период. В западных странах с бра-

ком явно что-то происходило. Среди женщин, посещавших гинекологическую клинику в Калифорнии, в 1970-е годы наблюдалось «значительное уменьшение количества формальных браков, снижение желаний иметь детей (...) и нескрываемая тенденция к бисексуальности» (*Esman, 1990, p. 67*). Вряд ли до этого такое поведение представительниц различных слоев населения могло где-либо иметь место, даже в Калифорнии.

Число людей, живущих в одиночку (т. е. не являющихся членами любой пары или семьи), также начало расти. В Великобритании в первой трети двадцатого века оно оставалось приблизительно постоянным и составляло примерно 6% всех семей, впоследствии довольно незначительно увеличиваясь. Но с 1960 по 1980-е годы эта цифра почти удвоилась (с 12 до 22% всех семей) и к 1991 году составила более четверти всех семей (*Abrams, Carr Saunders, Social Trends, 1993, p. 26*). Во многих крупных городах Запада число одиноких людей составляло около половины всех семей. И наоборот, классическое ядро западной семьи — замужняя пара с детьми — явно переживало кризис. В США число таких семей за двадцать лет (1960—1980) упало с 44% всех семей до 29%; в Швеции, где почти половина всех детей рождалась от незамужних женщин (*Worlds Women, p. 16*), оно уменьшилось с 37 до 25%. Даже в развитых странах, где оно все еще составляло половину или более половины всех семей в 1960 году (Канада, Федеративная Республика Германия, Нидерланды, Великобритания), нуклеарных семей, т. е. семей, состоящих из родителей и детей, теперь было явное меньшинство.

В некоторых случаях семья перестала быть прежней даже номинально. Так, в 1991 году 58% негритянских семей в США возглавляли незамужние женщины, а 70% всех детей были рождены от одиноких матерей. В 1940 году лишь 11,3% цветных семейств возглавляли незамужние женщины, а в больших городах их было не более 12,4% (*Franklin Frazier, 1957, p. 317*). Даже в 1970 году эта цифра составляла только 33% (*New York Times, 5.10.92*).

Этот кризис семьи был связан с резкими изменениями общественных норм (как официальных, так и неофициальных), руководящих сексуальным поведением, партнерством и воспроизводством. Эти изменения происходили главным образом в 1960-е и 1970-е годы. Официально это время стало эпохой небывалой свободы как для гетеросексуалов (т. е. главным образом для женщин, которые до этого имели гораздо меньше свободы, чем мужчины), гомосексуалистов, так и для других форм культурно-сексуального инакомыслия. В Великобритании бóльшая часть гомосексуальной среды перестала официально считаться криминальной во второй половине 1960-х годов, на несколько лет позже, чем в США, где первый штат (Иллинойс), легализировавший гомосексуальные отношения, сделал это в 1961 году (*Johansson/Percy, p. 304, 1349*). Даже в Италии, где находилась резиденция Папы Римского, в 1970 году был разрешен развод, утвержденный референдумом 1974 года. Про-

даже противозачаточных средств и распространение информации по контролю за рождаемостью были легализованы в 1971 году, а в 1975 году новый семейный кодекс заменил старый, существовавший еще со времен фашизма. Наконец, в 1978 году были узаконены аборт, что утвердил референдум 1981 года.

Хотя разрешающие законы, безусловно, сделали до этого запрещенные деяния более доступными и привлекли внимание к этим проблемам, законы признавали, а не создавали новую атмосферу сексуального освобождения. То, что в 1950-е годы только 1% британских женщин сожительствовали со своими будущими мужьями какое-то время до брака, происходило вовсе не благодаря законодательству, как и то, что в начале 1980-х годов так поступали 21% британских женщин (Gillis, 1985, p. 307). Теперь стало разрешено то, что раньше было запрещено не только законом и религией, но также привычной моралью, обычаями и общественным мнением.

Конечно, эти тенденции неодинаково проявлялись в различных частях света. В то время как число разводов увеличилось во всех странах, где они были разрешены (если предположить, что официальное расторжение брака во всех из них имело одинаковое значение), в некоторых странах брак стал явно менее стабильным. В 1980-е годы он оставался гораздо более крепким в некоммунистических католических странах. Развод был гораздо менее распространен на Иберийском полуострове и в Италии и еще более редок в Латинской Америке; то же самое происходило даже в странах, гордившихся своей прогрессивностью: один развод на 22 брака в Мексике, на 33 брака в Бразилии (однако один развод на 2,5 брака на Кубе). Южная Корея оставалась на редкость традиционной в этом отношении для столь быстро развивающейся страны (один развод на 11 браков). Впрочем, в начале 1980-х годов даже в Японии число разводов было ниже, чем во Франции (где они составляли четверть всех браков), и гораздо ниже, чем у охотно разводящихся британцев и американцев. Даже внутри социалистического (в то время) лагеря имелись различия, хотя и менее резкие, чем в капиталистическом мире, за исключением СССР, который уступал только США по готовности его граждан разорвать узы брака (UN World Social Situation, 1989, p. 36). Такие колебания не вызывали удивления. Гораздо интереснее то, что в большей или меньшей степени изменялся и обновлялся весь мир. И нигде это так не бросалось в глаза, как в популярной, а более конкретно, в молодежной культуре.

II

В то время как рост числа разводов, незаконнорожденных детей и семей, состоящих из одного родителя (как правило, одной матери), указывал на кри-

зис взаимоотношений между полами, развитие специфического и крайне мощного пласта молодежной культуры указывало на глубокие изменения в отношениях между поколениями. Молодежь, как сознательная группа населения, в возрастном интервале от достижения половой зрелости (которая в развитых странах теперь наступала на несколько лет раньше, чем у предыдущих поколений) (Tapner, 1962, p. 153) и до двадцати пяти лет, теперь превратилась в независимую общественную силу. Наиболее ярким политическим явлением, особенно в 1960-е и 1970-е годы, стал подъем активности той возрастной группы, которая в менее политизированных странах приносила прибыль фирмам звукозаписи (75—80% продукции которых, а именно рок-музыка, почти полностью раскупалось молодежью от 14 до 25 лет) (Hobsbaum, 1993, p. xxviii—xxix). Рост политического радикализма в 1960-е годы (начало которому положили немногочисленные группы диссидентов от культуры и деклассированных элементов различного толка) произошел благодаря этим молодым людям, отвергавшим свой подростковый статус (т. е. считавшим себя взрослыми) и в то же время отрицавшим все человечество старше тридцати лет, кроме нескольких духовных вождей.

За исключением Китая, где престарелый Мао руководил подъемом общественной активности молодежи, имевшим страшные последствия (см. главу 16), молодых радикалов возглавляли (в той степени, в какой они принимали подобное лидерство) члены их возрастной группы. Это наблюдалось как в студенческих движениях, получивших мировое распространение, так и в странах, где происходили массовые рабочие волнения, как во Франции и Италии в 1968—1969 годах, где инициатива также исходила от молодых рабочих. Никто, обладавший хотя бы минимальным опытом реальной жизни, т. е. ни один взрослый человек, не смог бы сочинить те самоуверенные, но совершенно абсурдные лозунги, которые появились в Париже в майские дни 1968 года и в Италии в «жаркую осень» 1969 года: например, «*tutto e subito*» («нам нужно все и сейчас») (Albers/Goldschmidt/Oehlke, p. 59, 184).

Новая «автономия» молодежи как отдельной социальной прослойки символизировалась феноменом, который, возможно, не имел аналогий со времен романтической эпохи начала девятнадцатого века: появлением героя, чья молодость и жизнь заканчиваются одновременно. Эта фигура, предвосхищенная в 1950-е годы кинозвездой Джеймсом Дином, была обычной, возможно, идеально типической в области характерного культурного самовыражения молодежи—рок-музыке. Бадди Холли, Джанис Джоплин, Брайан Джонс из «Rolling Stones», Боб Марли, Джимми Хендрикс и ряд других поп-идолов стали жертвами стиля жизни, обрекавшего их на раннюю смерть. Их смерть символизировала то, что молодость, которую они олицетворяли, коротка по определению. Актером можно быть всю жизнь, однако первым любовником—лишь мгновенье.

Тем не менее, хотя состав молодежи постоянно меняется (студенческий возраст, как правило, длится не более трех-четырёх лет), ее ряды все время пополняются. Появление самостоятельной социальной подростковой прослойки с энтузиазмом встретили производители потребительских товаров и менее радостно старшие поколения, замечавшие все большую разницу между теми, кто соглашался оставаться ребенком, и теми, кто настаивал на звании взрослого. В середине 1960-х годов даже движение английских бойскаутов Бадена Пауэлла, отдавая дань времени, упразднило первую часть своего названия (бой—по-английски мальчик) и заменило старое скаутское сомбреро на менее претенциозный берет (Gillis, 1974, p. 197).

Возрастные группы не являются чем-то новым в обществе, и даже буржуазная цивилизация признавала наличие прослойки молодежи, взрослой в сексуальном отношении, но еще не переставшей расти физически и интеллектуально и не имеющей опыта взрослой жизни. То обстоятельство, что эта группа со временем становилась моложе по возрасту, поскольку половая зрелость наступала раньше (Floud et al., 1990), само по себе не меняло ситуацию. Это просто вызывало напряженность в отношениях между молодыми людьми и их родителями и учителями, настаивавшими на обращении с ними не как со взрослыми, каковыми они себя чувствовали, а как с детьми. В буржуазном обществе бытовало мнение, что молодым людям (в отличие от девушек) нужно время, чтобы перебеситься, а затем остепениться.

Новизна новой молодежной культуры была обусловлена тремя факторами. Во-первых, юность здесь рассматривалась не как подготовительная стадия к взрослой жизни, а в некотором смысле как финальная стадия развития человека. Подобное происходило и в спорте (где юность всегда побеждает), который теперь воплощал честолюбивые замыслы большего числа людей, чем какой-либо другой вид деятельности, и где после тридцати жизнь действительно шла на спад (хорошо, если после достижения этого возраста она представляла хоть какой-то интерес). То, что это не соответствовало реальному положению дел в обществе, где (за исключением спорта, некоторых форм развлечений и, возможно, чистой математики) власть, влияние и успехи, так же как и богатство, умножались с возрастом человека, являлось еще одним доказательством несовершенной организации мира. Ведь до 1970-х годов послевоенным миром фактически правила геронтократия в гораздо большей степени, чем когда-либо раньше, а именно мужчины (женщины пока являлись редким исключением), ставшие взрослыми еще во времена Первой мировой войны. Это имело место как в капиталистическом мире (Аденауэр, де Голль, Франко, Черчилль), так и в социалистическом (Сталин и Хрущев, Мао, Хо Ши Мин, Тито), а также в крупных постколониальных государствах (Ганди, Неру, Сукарно). Лидер моложе сорока лет был редкостью даже в революционных режимах, возникших в результате военных переворотов, совер-

шаемых, как правило, относительно молодыми офицерами, которым меньше терять, чем более старшим по возрасту. Отсюда во многом и международное влияние Фиделя Кастро, захватившего власть в возрасте тридцати двух лет.

К тому же молчаливый и, возможно, не всегда осознанный расчет на омоложение общества был сделан старыми и весьма процветающими отраслями — производством косметических средств, предметов личной гигиены и ухода за волосами, — чьи прибыли в основном были получены за счет нескольких развитых стран *. С конца 1960-х годов наметилась тенденция к снижению возрастного порога, дающего право на участие в голосовании, до восемнадцати лет (в США, Великобритании, Германии и Франции), а также тенденция к снижению возраста разрешенных сексуальных (гетеросексуальных) отношений. Парадоксально, но с увеличением продолжительности жизни и ростом количества пожилых людей в обществе, когда старческое одряхление замедлилось, по крайней мере среди привилегированных высших и средних классов, выход на пенсию ускорился. В трудные периоды времени ранний уход на пенсию стал излюбленным методом снижения стоимости рабочего труда. Руководящие работники компаний старше сорока, потерявшие работу, на личном опыте поняли, что им так же трудно найти новое место, как неквалифицированным рабочим и «белым воротничкам».

Вторая новая черта молодежной культуры вытекает из первой: молодежь стала преобладающим фактором «развитой рыночной экономики», частично потому, что теперь она представляла значительную покупательскую силу, частично оттого, что каждое новое поколение взрослых в свое время входило в общественную жизнь как часть самостоятельной молодежной культуры и несло следы этого опыта. Не в последнюю очередь это происходило также и потому, что небывалая скорость технических изменений давала молодежи некоторое преимущество перед более консервативными и менее адаптируемыми возрастными группами. Каков бы ни был возраст менеджмента «IBM» или «Hitachi», новые компьютеры и новое программное обеспечение создавались двадцати-тридцатилетними специалистами. Даже когда подобные приборы и программы делались «для чайников», поколение, которое не выросло в компьютерную эпоху, было убеждено в своей неполноценности по сравнению с молодежью. То, чему дети могли научиться у родителей, стало менее очевидным, чем то, что дети знали, а родители — нет. Роли поколений поменялись местами. Джинсы, намеренно простой стиль в одежде — мода, пришедшая из американских университетских кампусов, от студентов, которые

* 34% мирового рынка «товаров личного потребления» в 1990 году находилось в некоммунистической Европе, 30% в Северной Америке и 19% в Японии. Оставшиеся 85% мирового населения поделили 16—17% рынка этих товаров среди своих элит (*Financial Times*, 11/4/1991).

не хотели выглядеть так, как их родители, стали носить не только в будни, но и в выходные люди творческих и других модных профессий даже немолодого возраста.

Третья характерная особенность новой молодежной культуры в урбанистическом обществе заключалась в ее необычайном интернационализме. Начиная с 1960-х годов джинсы и рок-музыка стали отличительными чертами современной молодежи—меньшинства, предназначенного стать большинством, причем это произошло в каждой стране, где к ним терпимо относилась власть, и даже в некоторых странах, где ситуация была иной, как, например, в СССР (*Starr, 1990, chapters 12, 13*). Лирический рок часто даже не переводился со своего родного английского, что отражало повсеместную культурную гегемонию США в поп-культуре и в стиле жизни, хотя следует заметить, что главные центры западной молодежной культуры были противниками культурного шовинизма, особенно в музыке. Здесь приветствовались стили, пришедшие с островов Карибского моря, из Латинской Америки и, начиная с 1980-х годов, из Африки.

Гегемония США в области массовой культуры не была новостью, однако изменился ее *modus operandi**. В период между Первой и Второй мировыми войнами ее главным направлением являлась киноиндустрия, единственная, которая имела массовое распространение по всему миру. Эту продукцию видели сотни миллионов людей, и своего максимального масштаба она достигла сразу же после Второй мировой войны. С развитием телевидения, международного производства фильмов и окончанием эпохи голливудской системы студий эта американская индустрия потеряла толику своего господства и своей публики. В 1960 году она производила не более шестой части всего количества фильмов, выпускавшихся в мире, даже если не считать Японию и Индию (*UN Statistical Yearbook, 1961*), хотя в конце концов ей удалось вернуть большую часть своего господства. США никогда не пытались создать подобную сферу влияния на обширном и в языковом отношении более разнообразном рынке телевидения. Их молодежные стили распространялись непосредственно или путем культурного неформального осмоса через перевалочный пункт — Великобританию с помощью пластинок, а впоследствии магнитофонных записей, главным средством популяризации которых, как и раньше, являлось старомодное радио. Большую роль здесь играл международный молодежный туризм, когда немногочисленные, однако все увеличивавшиеся потоки молодых людей и девушек в джинсах растекались по всему земному шару, а также мировая сеть университетов, чьи возможности быстрого международного общения стали очевидны в 1960-е годы. Не в последнюю очередь в обществе потребления они распространялись и через моду, теперь достиг-

* Образ действий (лат.).

шую масс, влияние которой особенно ощущалось среди молодежи. Так возникла международная молодежная культура.

Могло ли это произойти в более ранний период? Почти наверняка нет. Круг приверженцев этой культуры был бы гораздо меньше в относительном и абсолютном отношении, если бы удлинение дневного обучения, и особенно появление многочисленных групп юношей и девушек одной возрастной группы, живущих вместе в университетах, резко не увеличило их число. Кроме того, подростки, вступившие на рынок рабочей силы после окончания школы (между 14 и 16 годами в развитых странах), имели гораздо больше возможностей самостоятельно расходовать деньги, чем их предшественники, благодаря подъему производства и отсутствию безработицы в «золотую эпоху» и вследствие улучшения благосостояния их родителей, которые в меньшей степени нуждались во вкладе своих детей в семейный бюджет. Именно появление этого молодежного рынка в середине 1950-х годов привело к прорыву в индустрии поп-музыки, а в Европе — к появлению и массовой индустрии моды. Начавшийся в это время британский «бум тинейджеров» был основан на том, что в городе с увеличением числа офисов и магазинов в их штате появилось много относительно хорошо оплачиваемых девушек, имевших более высокую покупательную способность, чем юноши, поскольку они меньше были предрасположены к традиционно мужским тратам на пиво и сигареты. Этот бум «сначала проявился в отраслях, где покупки производили исключительно девушки, таких как производство блузок, юбок, косметики и пластинок поп-музыки» (Allen, 1968, p. 62—63), не говоря уже о концертах поп-музыки, самыми главными и шумными посетителями которых они являлись. Покупательную способность молодежи можно измерить продажами грампластинок в США, которые выросли с 277 миллионов долларов в 1955 году, когда рок только появился, до 600 миллионов в 1959 году и двух миллиардов в 1973 году (Hobsbawm, 1993, p. xxix). Каждый член возрастной группы от пяти до восемнадцати лет в США тратил по крайней мере в пять раз больше денег на грампластинки в 1970 году, чем в 1955. Чем богаче была страна, тем обширнее был бизнес грампластинок: юноши в США, Швеции, Западной Германии, Нидерландах и Великобритании тратили в семь-десять раз больше средств, чем их сверстники в более бедных, но быстро развивающихся странах, таких как Италия и Испания.

Возможности свободного рынка упрощали для молодежи нахождение материальных и культурных символов своей самобытности. Однако еще более резкими границы этой самобытности делала огромная историческая пропасть, разделявшая поколения тех, кто родился, скажем, до 1925 года, от тех, кто был рожден после 1950 года, — пропасть гораздо более глубокая, чем та, которая всегда разделяла поколения родителей и детей. Большинство родителей тинейджеров остро ощутили эту пропасть начиная с 1960-х годов. Моло-

дежь жила в обществе, отрезанном от своего прошлого, как это произошло в результате революции в Китае, Югославии и Египте, в результате завоевания и оккупации, как в Германии и Японии, или благодаря освобождению от колониальной зависимости. Она не была отягощена воспоминаниями о прежней эпохе. Кроме опыта великой общенациональной войны, которая на какое-то время сплотила старых и молодых как в России, так и в Великобритании, у них не было возможности понять то, что пережили их родители, даже если те хотели рассказывать о прошлом, что неохотно делало большинство родителей в Германии, Франции и Японии. Как мог молодой индус, для которого Индийский национальный конгресс являлся лишь правительством, политическим механизмом, понять тех, для кого он был олицетворением борьбы за национальную независимость? Как замечательные молодые индийские экономисты, гордо прохаживавшиеся по коридорам университетов всего мира, могли понять своих собственных учителей, для которых пиком честолюбивых замыслов в колониальный период было обретение тех прав, которыми обладали их коллеги в метрополии?

Во время «золотой эпохи» эта пропасть все расширялась, по крайней мере так происходило до начала 1970-х годов. Как могли мальчики и девочки, выросшие в эпоху полной занятости, понять опыт 1930-х годов или, наоборот, как могло старшее поколение понять молодых, для которых работа была не тихой гаванью после штормового моря (особенно та, которая была подкреплена правом на пенсию), а чем-то, что можно получить в любое время и бросить, когда заблагорассудится, если вдруг захотелось поехать на несколько месяцев в Непал? Этот конфликт поколений не ограничивался промышленно развитыми странами, поскольку резкое сокращение крестьянства создало сходный разрыв между «сельским» и «бывшим сельским» поколениями, поколением ручного труда и поколением, где труд автоматизирован. Профессора французской истории, воспитанные в той Франции, где почти каждый ребенок приехал с фермы или проводил там каникулы, в 1970-е годы обнаружили, что должны объяснять студентам, чем занимаются доярки и как выглядит двор фермы с навозной кучей посередине. К тому же эта пропасть между поколениями прослеживалась даже среди тех жителей земного шара (составлявших большинство), кого великие политические события этого века обошли стороной, или же тех, кто задумывался о них лишь в той мере, в какой они повлияли на его собственную жизнь.

Однако вне зависимости от того, миновали или нет их эти события, в большинстве своем жители земного шара теперь стали моложе, чем когда-либо раньше. В большей части стран третьего мира, где демографический сдвиг от высокой рождаемости к низкой еще не произошел, примерно от двух пятых до половины всего населения во второй половине двадцатого века были моложе четырнадцати лет. Как бы ни были сильны связи в семье, как ни крепка

паутина традиций, не могло не существовать широкой пропасти между пониманием жизни, опытом и надеждами молодежи и старших поколений. Политические изгнанники из Южной Африки, вернувшиеся в свою страну в начале 1990-х, понимали совсем по-другому, что означает воевать за идеалы Африканского национального конгресса, чем их юные товарищи, выступавшие под теми же знаменами в пригородах с чернокожим населением. Наоборот, могло ли большинство жителей Соуэто, родившихся уже после того, как Нельсон Мандела был посажен в тюрьму, смотреть на него иначе, чем как на символ и икону? В этих странах пропасть между поколениями во многом была даже больше, чем на Западе, где старых и молодых связывали воедино незыблемость государственных институтов и политическая преемственность.

III

Молодежная культура стала ферментом культурной революции в более широком смысле этого слова — а именно революции в привычках и обычаях, в способах проведения досуга и в области коммерческого искусства, которое все больше формировало атмосферу городской жизни. В связи с этим важны две ее характерные черты. Она тяготела одновременно к народности и к отрицанию социально обусловленной морали, особенно в вопросах личного поведения. Каждый мог «заниматься своим делом» с минимальными ограничениями извне, хотя на практике давление со стороны членов своего круга и мода навязывали такое же единообразие, как и раньше, по крайней мере в одинаковых возрастных группах и субкультурах.

То обстоятельство, что высший социальный слой вдохновлялся тем, что он находил у «народа», само по себе было не ново. Даже если не брать пример королевы Марии Антуанетты, игравшей в джарку, романтики обожали сельскую народную культуру, народную музыку и танец, интеллектуалы (например, Бодлер) испытывали урбанистическое *nostalgie de la boue* (стремление к сточной канаве), а многие викторианцы обнаружили, что секс с кем-либо из низших слоев общества (пол зависел от пристрастия) вызывал новые острые ощущения. (Эти чувства вовсе не исчезли в конце двадцатого века.) В «эпоху империй» культурное влияние вначале систематически росло (*Эпоха империй*, глава 9) благодаря мощной волне нового народного искусства, а также воздействия кино, являвшегося преимущественно продуктом массового рынка. Однако большинство популярных и коммерческих развлечений в период между мировыми войнами по-прежнему во многом находилось под господствующим влиянием среднего класса или вошло в моду благодаря ему. Классическая индустрия Голливуда была, помимо всего прочего, *респектабельной*, ее социальным идеалом являлась американская версия «твердых семей-

ных устоев», ее идеологией — патриотическая риторика. Однако в погоне за кассовым успехом она создала вестерн — жанр, несовместимый с моралью серии фильмов «Энди Харди» (1937—1947), завоевавших награду Американской академии кино за «пропаганду американского образа жизни» (Halliwell, 1988, p. 321). И хотя ранние гангстерские фильмы были способны идеализировать преступников, нравственный порядок вскоре был восстановлен, поскольку находился в надежных руках Голливудского кодекса кинопроизводства (1934—1966), который ограничил время экранных поцелуев (с сомкнутыми губами) максимумом в тридцать секунд. Величайшие триумфы Голливуда — например, «Унесенные ветром» — были основаны на романах, предназначенных для американских обывателей среднего класса, и принадлежали этой культурной среде так же несомненно, как «Ярмарка тщеславия» Теккерея или «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. Лишь фривольный и демократичный жанр водевиля и рожденный в цирке жанр кинокомедии отчасти противостоял этой гегемонии буржуазного вкуса, хотя в 1930-е годы даже они отступили под напором блестящего бульварного жанра — голливудской «*crazy comedy*».

Блистательный бродвейский мюзикл, получивший свое развитие в межвоенные годы, с украшавшими его танцевальными мелодиями и балладами, также являлся буржуазным жанром, хотя и немислимым без влияния джаза. Мюзиклы создавались для нью-йоркского среднего класса, а их либретто и вокальная лирика явно были адресованы аудитории, считавшей себя искусными городскими снобами. Об этом говорит даже беглое сравнение лирики Кола Портера с песнями «*Rolling Stones*». Подобно золотому веку Голливуда золотой век Бродвея опирался на симбиоз вульгарного и респектабельного, не имея при этом народных корней.

Новизна 1950-х годов заключалась в том, что молодежь высшего и среднего классов, по крайней мере в англосаксонских странах, все больше задававшая тон в мире, начала перенимать моду в музыке, одежде и даже в языке у городских низших классов. Рок-музыка являлась самым ярким тому примером. В середине 1950-х годов она внезапно вырвалась из гетто каталогов «*Race*» и «*Rhythm and Blues*» американских звукозаписывающих компаний, ориентированных на бедное негритянское население США, и стала международным языком общения молодежи, особенно белой. В прошлом юные модники из рабочей среды каким-то образом черпали образцы своего стиля в высокой моде высших социальных слоев и в такой субкультуре среднего класса, как артистическая богема, причем в большей степени это наблюдалось среди девушек. Теперь, казалось, все происходило наоборот. Рынок моды для рабочей молодежи утвердил свою независимость и начал задавать тон на рынке моды высших классов. По мере наступления джинсов парижская *haute couture* отступила или, скорее, признала свое поражение и стала использовать престижные марки для продажи массовой продукции, непосредственно или по

лицензии. Кстати, в 1965 году французская легкая промышленность впервые выпустила женских брюк больше, чем юбок (*Veillon, p. 6*). Молодые аристократы начали в разговоре проглатывать окончания слов, подражая речи лондонских рабочих, хотя в Великобритании отличительной чертой представителей высшего класса всегда была их безупречная речь *. Респектабельные молодые люди и девушки начали копировать то, что некогда было модно в среде отнюдь не респектабельной — у рабочих, солдат и им подобных, а именно использование непристойных выражений в разговорной речи. Литература тоже старалась не отставать: один блестящий театральный критик обогатил радиоэфир словом *fuck*. Впервые в истории сказки Золушка стала королевой бала, так и не надев роскошного наряда.

Это изменение вкусов в сторону простонародности у молодежи среднего и высшего классов западного общества, аналогии с которыми можно было найти в странах третьего мира, например с чемпионатом по самбе, устроенным бразильскими интеллектуалами **, могло иметь некоторую связь с вспыхнувшим несколько лет спустя массовым увлечением студентов, принадлежащих к среднему классу, революционной политикой и идеологией. мода часто бывает пророческой. Также почти наверняка у молодежи мужского пола эту тенденцию подкрепило появление в возникшей атмосфере либерализма гомосексуальной субкультуры, имевшей весьма важное значение, поскольку она породила новые течения в моде и искусстве. Хотя, возможно, простонародный стиль был просто удобным способом демонстрации отказа от ценностей прежних поколений или, точнее, языком, с помощью которого молодежь искала способы общения с миром, в котором правила и ценности их отцов стали лишними.

Принципиальное отрицание социально обусловленной морали новой молодежной культурой наиболее явно проступало в моменты его интеллектуального проявления, как в мгновенно ставшем знаменитым плакате, появившемся в Париже в майские дни 1968 года: «Запрещено запрещать», и высказывании американского поп-радикала Джерри Рубина о том, что нельзя доверять тем, «кто не мотал срок в тюрьме» (*Wiener, 1984, p. 204*). Вопреки первому впечатлению, это были не политические декларации в традиционном или даже узком смысле, направленные на отмену репрессивных законов. Не это являлось их целью. Это были публичные заявления о личных чувствах и желаниях. Как гласил майский плакат 1968 года, «Я принимаю мои желания за реальность, потому что верю в реальность моих желаний» (*Katsiaficas, 1987,*

* Молодые люди в Итоне начали это делать в конце 1950-х, по словам заместителя ректора этого элитарного заведения.

** Шикю Буарке де Оланда, культовая фигура бразильской поп-музыки, был сыном видного прогрессивного историка, являвшегося лидером в период культурного и интеллектуального расцвета своей страны в 1930-е годы.

р. 101). Даже тогда, когда такие желания объединялись в публичных манифестациях, группах и движениях, даже если грозили массовыми восстаниями, а иногда и выливались в них, в основе все же лежал субъективный фактор. Лозунг «личное — это политика» стал кредо нового феминизма и, возможно, самым устойчивым результатом периода торжества радикализма. Его смысл заключался не только в том, что политические убеждения имеют личные мотивации и пристрастия и что критерием политического успеха является степень его воздействия на людей. По мнению некоторых, это просто означало: «Я называю политикой все, что меня беспокоит». Как гласил заголовок одной книги 1970-х годов, «Тучность — это проблема феминизма» (Orbach, 1978).

Лозунг мая 1968 года «Когда я думаю о революции, мне хочется заниматься любовью» привел бы в замешательство не только Ленина, но даже Руфь Фишер, воинствующую молодую венскую коммунистку, чью борьбу за сексуальную свободу Ленин резко критиковал (Zetkin, 1968, p. 28 ff). И наоборот, даже для самого политически сознательного неомарксиста-ленинца 1960—1970-х годов описанный Брехтом агент Коминтерна, который подобно путешествующему коммивояжеру «занимается любовью, думая совсем о другом» (*«Der Liebe pflegte ich achtlos»* — Brecht, 1976, II, p. 722), был бы совершенно непонятен. Для них, безусловно, главное заключалось не в том, чего собирались достичь революционеры своими действиями, а в том, чем они занимались и что при этом чувствовали. Занятие любовью и занятие революцией нельзя было четко разделить.

Таким образом, личное и социальное освобождение шли рука об руку, причем самыми очевидными способами расшатать основы государства, родительскую власть, законы и обычаи являлись секс и наркотики. Что касается первого, т. е. секса, то он, во всех своих многообразных формах, отнюдь не был новостью. Меланхоличный консервативный поэт, написавший, что «половые отношения начались в 1963 году» (Larkin, 1988, p. 167), имел в виду не то, что секс не был известен до 1960-х годов, а то, что секс изменил свою общественную природу после выхода романа «Любовник леди Чаттерлей» и выпуска первой долгоиграющей пластинки «Beatles». Там, где все это раньше запрещалось, продемонстрировать свой протест против старых обычаев было несложно. Но там, где раньше к этому относились терпимо, официально или неофициально, как, например, к лесбийским отношениям, такая демонстрация должна была быть из ряда вон выходящей. Поэтому стала важна публичная приверженность к вещам, до сих пор запрещенным или нетрадиционным («coming out»^{*}). Однако наркотики, употребление которых до этого ограничивалось немногочисленными субкультурами высшего и низшего общества и отдельными маргиналами, почти не испытали на себе либерального влия-

* Открытое противодействие общественной морали (англ.).

ния законодательства. Они распространялись не только как знак протеста, поскольку ощущения, которые они давали, тоже могли иметь большую приятельность. Употребление наркотиков официально считалось незаконным деянием, так что сам факт курения марихуаны (наркотика, наиболее популярного среди западной молодежи и менее вредного, чем алкоголь или табак) являлся демонстрацией не только неповиновения тем, кто его запрещал, но и превосходства над ними. На диких побережьях, где встречались в 1960-е годы американские фанаты рока и студенты-радикалы, зачастую стиралась граница между стремлением накуриться травки и желанием строить баррикады.

Расширение сферы публично разрешенного поведения, включая сексуальное, породило поступки, до этого считавшиеся неприемлемыми или даже асоциальными, и несомненно, сделало их более заметными. Так, в США публичное появление гомосексуальной субкультуры в двух городах-законодателях моды — Сан-Франциско и Нью-Йорке — произошло в середине 1960-х годов, но политический оттенок оно приобрело здесь лишь в 1970-е годы (*Duberman et al., 1989, p. 460*). Однако главным в этих изменениях было то, что, прямо или косвенно, они отвергали исторически установившийся порядок человеческих взаимоотношений в обществе, который выражали, санкционировали и символизировали социальные нормы и запреты.

Еще более важным являлось то, что подобный отказ от прежних ценностей происходил не во имя какой-либо другой модели общества (хотя новому способу борьбы за свободу личности были даны идеологические обоснования теми, кто чувствовал, что он нуждается в подобных ярлыках) *, а во имя неограниченной свободы индивидуальных желаний. Он допускал царство эгоистического индивидуализма до крайних пределов. Парадоксально, но эти бунтари против устоев и запретов разделяли исходные посылки, на которых было построено общество массового потребления, или, по крайней мере, психологические мотивации, которые те, кто продавал потребительские товары и услуги, находили самыми эффективными для их продажи.

Подразумевалось, что теперь мир состоит из нескольких миллиардов человеческих существ, характеризующихся их индивидуальными желаниями, включая те, которые до этого запрещались или не одобрялись, но теперь были разрешены — не потому, что стали приемлемы с точки зрения морали, а потому что их разделяли слишком многие. Так, до начала 1990-х годов, несмотря на официальную либерализацию, наркотики не были разрешены.

* Однако почти не наблюдалось попыток возрождения единой идеологии, утверждавшей, что спонтанная, неорганизованная, антиавторитарная борьба за свободу личности породит новое справедливое и не нуждающееся в государстве общество, т. е. анархизма Бакунина и Кропоткина, хотя он был гораздо ближе к идеям большинства революционных студентов 1960 и 1970-х годов, чем модный тогда марксизм.

Они продолжали запрещаться с различной степенью строгости и малой степенью эффективности, поскольку с конца 1960-х годов рынок кокаина стремительно увеличивался, главным образом среди процветающего среднего класса Северной Америки и, немного позже, Западной Европы. Это обстоятельство, как и, несколько ранее, рост потребления героина (среди представителей менее обеспеченных классов в основном также в Северной Америке), впервые сделало нарушение закона по-настоящему крупномасштабным бизнесом (Arlacchi, 1983, p. 215, 208).

IV

Таким образом, культурную революцию конца двадцатого века лучше всего представить как победу индивидуума над обществом или, скорее, как разрыв связей, которые до этого объединяли людей в социальные структуры. Ибо такие структуры состояли не только из отношений между человеческими существами и форм их организации, но также из идеальных образцов и ожидаемых моделей поведения людей; их роли были установлены, хотя и не всегда записаны. Отсюда частые моральные травмы и незащищенность, когда прежние нормы поведения были либо уничтожены, либо утратили свои мотивации, а также непонимание между теми, кто переживал эту потерю, и теми, кто был слишком молод, чтобы знать что-либо, кроме общества с распавшимися связями.

Исходя из этого, один бразильский антрополог в 1980-е годы проанализировал переживания мужчин среднего класса, воспитанных в средиземноморской культуре с ее традициями чести и стыдливости. В это время участились случаи грабежей, и мужчины стали подвергаться нападениям многочисленных групп грабителей, требовавших от них денег и угрожавших насилием их подругам. В таких обстоятельствах джентльмену следует защитить женщину, даже ценой жизни, а леди — предпочесть смерть бесчестию. Однако в реальной обстановке больших городов в конце двадцатого века было непохоже, что сопротивление, оказанное джентльменом, может спасти кошелек или женскую честь. Разумным поведением при таких обстоятельствах было отступление, чтобы помешать агрессорам нанести реальные увечья или даже совершить убийство. Что касается чести женщины, которая по традиции должна была быть девственницей до брака, а после него сохранять верность мужу, то что именно следовало здесь защищать в 1980-е годы, когда так изменились взгляды на сексуальное поведение как мужчин, так и женщин? Тем не менее, как показали исследования этого антрополога, все эти соображения не облегчали нравственных страданий участников. Даже менее экстремальные ситуации могли породить неуверенность и угрызания совести — например,

обычное любовное свидание. В результате альтернативами прежним нормам поведения, какими бы они ни были неразумными, могли оказаться не новые разумные нормы и обычаи, а полное отсутствие правил и полная несогласованность в том, что следует делать.

В большинстве стран мира старые социальные структуры и обычаи, хотя и подрываемые в течение четверти века беспрецедентными социальными и экономическими изменениями, были расшатаны, но еще не разрушены. Это являлось удачей для большей части человечества, особенно для бедных, поскольку наличие сети родственных, общественных и соседских связей было важно для экономического выживания и особенно для успеха в изменяющемся мире. В большинстве стран третьего мира эта сеть действовала как сочетание информационной службы, обмена рабочей силой, фонда труда и капитала, механизма накопления сбережений и системы социальной безопасности. Безусловно, именно наличие сплоченных семей объясняло экономические успехи в некоторых частях света, например на Дальнем Востоке.

В более традиционных обществах эти связи были расшатаны главным образом потому, что успехи коммерческой экономики подорвали веру в справедливость прежнего общественного строя, основанного на неравенстве; желания граждан стали более эгалитарными, а рациональные оправдания неравенства были подорваны. Так, богатство и расточительность индийских раджей (как и известное освобождение от налогов имущества британской королевской семьи, не вызывавшее возражений вплоть до 1990-х годов) не рождали зависти и возмущения у их подданных, как происходило в соседних государствах. Они были знаковыми фигурами и играли особую роль в общественном строе (а может быть, даже в космическом порядке) и, как верили их подданные, поддерживали и стабилизировали государство, а также являлись его символами. В Японии простые граждане с еще большей терпимостью относились к привилегиям и роскоши своих деловых магнатов, поскольку рассматривали их богатство не как атрибуты личного процветания, а главным образом как следствие их привилегированного положения в экономике. Англичане подобным же образом смотрели на атрибуты роскоши членов британского кабинета министров (лимузины, официальные резиденции и т. д.), отбирающиеся сразу же после того, как они перестают занимать пост, к которому эти атрибуты служат приложением. Реальное распределение доходов в Японии, как мы знаем, было гораздо более справедливым, чем в западных обществах. Однако в 1980-е годы даже сторонние наблюдатели вряд ли могли не заметить, что во время десятилетнего экономического бума концентрация личного благосостояния в руках небольшой группы магнатов и его публичная демонстрация сделали контраст между условиями жизни простых японцев (гораздо более скромными, чем у жителей Запада, занимающих сходное положение) и условиями жизни богачей еще более разительным.

Возможно, впервые богатых больше не могли в достаточной мере защитить так называемые законные привилегии, полученные на службе государству и обществу.

На Западе десятилетия социальной революции вызвали в обществе гораздо большие разрушения. Крайности такого распада наиболее ясно видны в идеологическом дискурсе западного *fin de siècle* *, особенно в публичных утверждениях, которые, не претендуя на аналитическую глубину, были понятны широким массам населения. Например, тезис (одно время бытовавший в некоторых феминистских кругах) о том, что домашняя работа женщин должна оплачиваться по рыночным расценкам, или утверждение о правомерности реформы закона об абортах с точки зрения неограниченного и абстрактного «права на выбор» личности (женщины) **. Распространяющееся влияние неоклассической экономики, которая в подвергшемся секуляризации западном обществе все активнее вытесняла теологию, а также влияние индивидуалистической по духу американской юриспруденции (как следствие культурной гегемонии США) поддерживали подобную риторику. Она нашла свое политическое воплощение в словах британского премьер-министра Маргарет Тэтчер: «Нет общества, есть только отдельные индивидуумы».

Какие бы издержки ни содержала теория, практика зачастую изобиловала не меньшими крайностями. В 1970-е годы в англосаксонских государствах социальные реформаторы, справедливо потрясенные (что периодически случается с исследователями) последствиями содержания в больницах людей с умственными отклонениями, время от времени довольно успешно проводили кампании в защиту их прав и требовали, чтобы как можно большее их число было освобождено из лечебниц и передано на «попечение общины». Но в крупных городах Запада больше не имелось сообществ, которые могли бы о них заботиться. Не было больше семей с многочисленными родственниками. Эти люди никому не были нужны. В результате по улицам больших городов стали бродить бездомные нищие с пластиковыми пакетами. Они жестикулировали и разговаривали сами с собой. Были они счастливы или нет, зависело от точки зрения, но в конечном итоге они перекочевали из больниц, откуда их выгнали, в тюрьмы, которые в США стали главным вместилищем социальных проблем американского общества, особенно его чернокожей части. В 1991 году 15 % всего контингента заключенных США — самого большого в

* Конец века (*фр.*).

** Законность этого требования необходимо четко отделять от аргументов, приводимых в его защиту. Отношения мужа, жены и детей в семье даже символически не имеют ни малейшего сходства с отношениями продавцов и покупателей на рынке, так же как и решение иметь или не иметь ребенка зависит исключительно от того, кто принимает это решение. Это очевидное утверждение прекрасно согласуется с желанием изменить роль женщины в семье или с ее правом на аборт.

мире (426 заключенных на 100 тысяч населения) — составляли умственно неполноценные (Walker, 1991; Human Development, 1991, p. 32. Fig. 2.10).

Особенно сильно новый моральный индивидуализм подорвал такие традиционные западные институты, как семья и Церковь, резкий упадок которых произошел в последней трети двадцатого века. Основы католического общества рушились с поразительной скоростью. В 1960-е годы посещаемость месс в Квебеке (Канада) снизилась с 80 до 20 %, а традиционно высокая рождаемость во французской Канаде упала ниже средней рождаемости по стране (Bernier/Boily, 1986). Освобождение женщин или, скорее, их стремление взять в свои руки контроль над рождаемостью, включая аборт и право на развод, глубоко вогнали клин между Церковью и семьей (см. *Эпоху капитала*), что становилось все более очевидным даже в самых ортодоксальных католических странах, таких как Ирландия, папская Италия и (после падения коммунизма) даже Польша. Стремление получить профессию священника и тяга к другим формам религиозной жизни резко снизились, так же как и желание давать обет безбрачия, реального или официального. Одним словом, хорошо это или плохо, но моральный и материальный авторитет Церкви рухнул в пропасть, разверзшуюся между проповедуемыми ею правилами жизни и морали и жизненными реалиями конца двадцатого века. Те западные церкви, которые имели меньшее влияние на своих прихожан, включая даже некоторые старейшие протестантские секты, приходили в упадок еще быстрее.

Материальные последствия ослабления традиционных семейных связей были, возможно, еще более серьезными, поскольку, как мы видели, семья являлась не только средством воспроизводства, но также и инструментом социального сотрудничества. В качестве такого инструмента на ранней стадии она была важна для поддержания как аграрного, так и промышленного сектора экономики, не только локальной, но и мировой. Отчасти это происходило оттого, что в бизнесе не было придумано никакой адекватной безличной структуры до того, как в конце девятнадцатого века концентрация капитала и развитие большого бизнеса не породили современную корпоративную организацию, ту самую «видимую руку» («*visible hand*») (Chandler, 1977), которой суждено было стать дополнением к «невидимой руке» Адама Смита*. Но еще более важной причиной являлось то, что рынок сам по себе не может гарантировать наличия главного элемента в любой системе частного предпринимательства — доверия и его правового эквивалента — выполнения контрак-

* Операционная модель крупного предприятия до эпохи корпоративного («монополистического») капитализма была сформирована не частными предпринимателями, а государством или военной бюрократией — сошлемся, к примеру, на униформу путейных служащих. И действительно, зачастую руководство такими предприятиями осуществлялось непосредственно государством или специальными некоммерческими учреждениями, как, например, руководство почтой и большей частью телеграфных и телефонных служб.

тов. Для этого требовалась или власть государства (о чем политические теоретики индивидуализма семнадцатого века прекрасно знали), или родственные и общественные связи. Так, международной торговлей, банковским делом и финансами—отраслями, приносящими большие прибыли и связанными с большими рисками,—наиболее успешно руководили имеющие родственные связи группы предпринимателей предпочтительно одинаковых религиозных убеждений, например евреи, квакеры или гугеноты. Фактически даже в конце двадцатого века такие связи были все еще необходимы в криминальном бизнесе, который был не только противозаконным, но находился вне сферы деятельности закона. В ситуации, где ничто больше не гарантировало исполнение контрактов, это могли сделать только родственные связи или угроза смерти. Именно поэтому наиболее удачливые семьи калабрийской мафии состояли из большого числа братьев (*Ciconte, 1992, p. 361—362*).

Однако теперь подрывались даже эти неэкономические групповые связи и солидарность, как и моральные устои, существовавшие вместе с ними. Они были старше современного буржуазного индустриального общества, но смогли к нему адаптироваться и составляли его существенную часть. Старый моральный словарь прав и обязанностей, взаимных обязательств, грехов и добродетелей, самопожертвования, принципов, наград и наказаний не мог быть переведен на новый язык. Поскольку старые устои и институты перестали быть составной частью управления обществом, которое связывало людей друг с другом и обеспечивало социальное взаимодействие и воспроизводство, большая часть возможностей для упорядочения социальной жизни людей исчезла. Они были просто сведены к выражению личных предпочтений и к требованию того, чтобы закон прислушался к этим предпочтениям*. Воцарились неуверенность и непредсказуемость. Стрелка компаса больше не указывала на север, карты оказались бесполезны. В большинстве развитых стран это становилось все более очевидным начиная с 1960-х годов, находя свое идеологическое выражение в ряде теорий, от крайнего либерализма свободного рынка до постмодернизма и подобных ему направлений, которые пытались обойти проблему оценок и ценностей или, скорее, свести их к единому знаменателю неограниченной свободы личности.

Первоначально преимущества массовой социальной либерализации представлялись неоспоримыми всем, кроме самых закоренелых реакционеров, а ее цена минимальной; к тому же казалось, что она не предполагает экономической либерализации. Волна процветания, нахлынувшая на обитателей цивили-

* В этом состоит разница между языком права (юридического или конституционного), который стал главным для общества неподконтрольного индивидуализма (во всяком случае, в США), и старой моральной идиомой, по которой права и обязанности являются двумя сторонами одной медали.

лизованных частей света, усиленная все более всеобъемлющими и щедрыми системами социальной защиты, заслонила социальные проблемы. Быть единственным родителем (т. е. главным образом матерью-одиночкой) все еще означало жить в бедности, но в современных государствах «всеобщего благоденствия» это также гарантировало прожиточный минимум и крышу над головой. Пенсионная система, службы социального обеспечения и опеки над престарелыми заботились об одиноких стариках, чьи дети не могли или не хотели думать о своих родителях. Аналогичным образом осуществлялись и другие функции, некогда бывшие частью семейных обязанностей, например перенесение заботы о детях с матерей на общественные детские ясли и детские сады, чего давно уже требовали социалисты, озабоченные нуждами работающих матерей.

И трезвые расчеты, и историческое развитие, казалось, указывали то же направление, что и различные виды прогрессивной идеологии, включая все те, которые критиковали традиционную семью за то, что она увековечила подчиненное положение женщин, детей и подростков. Кроме того, их объединяла борьба за свободу личности. В материальном отношении государственное обеспечение было несомненно лучше, чем позволяли возможности большинства семей по причине их бедности или по другим причинам. То, что дети в демократических государствах, переживших мировые войны, были более здоровыми и питались лучше, чем раньше, доказывало эту точку зрения. То, что государства «всеобщего благоденствия» выжили в богатых странах в конце двадцатого века, несмотря на систематические атаки правительств «рыночников» и их идеологов, подтверждало это. Кроме того, избитым выражением среди социологов и социальных антропологов стало то, что роль семьи «уменьшается по мере укрепления государственных институтов». Так или иначе, она уменьшалась на фоне «роста экономического и социального индивидуализма в индустриальных обществах» (Goody, 1968, p. 402—403). Одним словом, как давно уже предсказывали, *Gemeinschaft* уступал дорогу *Gesellschaft*: общины отходили на второй план под натиском индивидуалов, объединенных в анонимные общества.

Материальные преимущества жизни в мире, в котором община и семья утратили свое значение, были и остаются неоспоримыми. Но мало кто понимал, как много в современном индустриальном обществе до середины двадцатого века зависело от симбиоза старых общинных и семейных устоев с новым обществом и сколь драматичны должны были быть последствия его резкого разрушения. Это стало очевидно в эпоху неолиберальной идеологии, когда мрачный термин «низший класс» около 1980 года вновь возник в социально-политическом словаре*. Он обозначал людей, которые в развитом об-

* В конце девятнадцатого века эквивалентом этого выражения в Великобритании был термин «residuum» (осадок).

ществе после того, как закончилась эпоха полной занятости, не смогли или не захотели найти себе и своим семьям места в рыночной экономике (дополненной системой социальной защиты), что достаточно успешно делали две трети жителей этих стран, во всяком случае до 1990-х годов (отсюда фраза «общество двух третей», придуманная в это десятилетие немецким социал-демократом и политиком Питером Глотцем). Само выражение «низший класс» («*underclass*»), как и старое «дно общества» («*underworld*»), подразумевало людей, являвшихся исключением из «нормального» общества. Представители «нижнего класса» рассчитывали в основном на муниципальное жилье и государственные пособия, даже когда дополняли свои доходы связями с теневой экономикой или криминалом, т. е. теми областями экономики, которых не достигали правительственные налоговые системы. Однако, поскольку они являлись прослойкой, где семейные связи в большой степени были порваны, даже их проникновение в неформальную экономику (легальную или нелегальную) было незначительным и нестабильным. Ибо, как доказали страны третьего мира с массовой иммиграцией их обитателей в северные государства, даже теневая экономика, процветавшая в трущобах и барачных поселках нелегальных иммигрантов, способна работать только при наличии родственных связей.

Бедная часть городского негритянского населения, которая составляла большую часть всего негритянского населения США*, являла собой стандартный пример такого «низшего класса», т. е. прослойки, фактически выброшенной из официального общества и с рынка рабочей силы. Многие представители молодежи «низшего класса», особенно юноши, зачастую относили себя к антиобществу, в котором законы не действуют. Этот феномен наблюдался не только среди людей одного цвета кожи. С упадком отраслей промышленности, развитых в девятнадцатом и начале двадцатого века, требовавших применения рабочей силы, во многих странах начал появляться «низший класс». Однако в муниципальных жилых домах, построенных властями для тех, кто не мог позволить себе покупку дома или наем квартиры по рыночной цене, теперь населенных «низшим классом», также не было общин и достаточно крепких родственных связей. Даже добрососедские отношения (последний пережиток общинного образа жизни) вряд ли могли сохраниться в атмосфере всеобщего страха перед «трудными» подростками, теперь все чаще вооруженными, которые промышляли в этих «джунглях Гоббса».

* Во время работы над этой книгой официальным стал термин «афроамериканцы». Однако названия все время меняются — при жизни автора произошло несколько таких изменений («цветные», «негры», «чернокожие»), — и они будут продолжаться. Я использую термин, который, вероятно, дольше, чем все остальные, имел хождение среди тех, кто хотел проявить уважение к потомкам африканских рабов на Американском континенте.

В некоторых районах мира, однако, люди продолжали жить бок о бок, оставаясь при этом общественными существами; здесь сохранились общины, а вместе с ними и социальные устои, хотя в большинстве случаев крайне слабые. Как можно было говорить о малочисленности «низшего класса» в такой стране, как Бразилия, где в середине 1980-х годов богатая часть населения, составлявшая 20 %, получала более 60 % всего национального дохода, в то время как на долю беднейших 40 % приходилось всего 10 % или даже меньше? (*UN World Social Situation, 1984, p. 84*) В основном это была жизнь с неравным общественным положением и доходами. Однако, как правило, в ней все еще не было той ненадежности, которая имелаась в городской жизни развитых государств, где прежние нормы поведения были разрушены, а на их месте возник вакуум. Печальный парадокс, характерный для конца двадцатого века, заключался в том, что по всем критериям социального благополучия и стабильности жизнь в реакционной, но имеющей традиционные социальные структуры Северной Ирландии, с ее безработицей и проблемами, возникшими в результате двадцати лет непрекращающейся гражданской войны, была лучше и фактически безопаснее, чем жизнь в большинстве крупных городов Соединенного Королевства.

Драма рухнувших традиций и утраченных ценностей заключалась не столько в материальных неудобствах, создаваемых отсутствием социальных и личных услуг, некогда предоставлявшихся семьей и общиной. Их способны заменить процветающие государства «всеобщего благоденствия», чего не могло произойти в бедных частях света, где большей части человечества все еще почти не на что было рассчитывать, кроме родственников, частной финансовой поддержки и взаимной помощи. Драма заключалась в распаде старых систем ценностей, обычаев и привычек, контролировавших поведение людей. Это была серьезная потеря. Она нашла свое отражение в развитии явления, которое стало называться (опять-таки в США, где этот феномен проявился в конце 1960-х годов) «политикой самоидентификации». Это были, как правило, этнические/национальные и религиозные воинствующие ностальгические движения, стремящиеся восстановить твердые устои и гарантии защищенности, существовавшие в прошлом. Скорее это были крики о помощи, чем предложение определенных программ — призывы к объединению в некое «сообщество», которое помогло бы выжить в атомный век, к созданию некоей «семьи», которая защитила бы в мире социальной изоляции, стремление к убежищу в джунглях. Каждый реалистично мыслящий политик и большинство правительств знали, что преступность нельзя уменьшить или даже просто контролировать, казня преступников или надолго сажая их в тюрьму, но каждый политик знал огромную эмоциональную силу, которой обладают массовые требования (разумные или нет) простых граждан наказать преступников.

Имелись и политические последствия изнашивания и разрушения старых социальных структур и систем ценностей. К тому же с наступлением 1980-х годов, в основном проходивших под знаком «чистого рынка», становилось все более очевидно, что подобное развитие событий представляет опасность и для победоносной капиталистической экономики.

Ибо капиталистическая система, даже построенная на рыночных отношениях, опиралась на ряд элементов, которые не имели внутренней связи с той погоней за индивидуальной выгодой, которая, по Адаму Смиуту, давала топливо двигателю. Она опиралась на «привычку к труду», которую Адам Смит считал одним из основных мотивов человеческого поведения, на готовность человеческих существ откладывать немедленное удовлетворение на длительное время, т. е. сберегать и инвестировать с расчетом на будущие прибыли, ради возможности гордиться своими достижениями, на привычку к взаимному доверию и на другие соображения, которые не учитывались при выборе рационального способа получения максимальной выгоды. Семья стала неотъемлемой частью раннего капитализма, потому что она обеспечивала его подобными мотивациями. То же делали и привычка к труду, привычка к повиновению и преданности, включая преданность сотрудников своей фирме, и другие формы поведения, которые нельзя было подогнать под теорию рационального выбора, основанную на максимизации прибыли. Капитализм мог работать в отсутствие всех этих мотиваций, но при этом смысл работы становился неясным и сомнительным даже для самих бизнесменов. Так случилось, когда наступила мода на пиратские захваты корпораций и другие финансовые спекуляции, в 1980-е годы охватившая финансовые регионы таких сверхсвободных рыночных государств, как США и Великобритания, и фактически разрушившая связь между стремлением к получению прибыли и экономикой как системой производства. Именно поэтому капиталистические страны, которые еще не забыли, что экономический рост достигается не одной только максимизацией прибыли (Германия, Япония, Франция), сделали так, что подобные захваты стали невозможны или очень затруднительны.

Карл Полани, обзревая во время Второй мировой войны руины цивилизации девятнадцатого века, обратил внимание на необычность и беспрецедентность предпосылок, на которых она была построена,— предпосылок саморегулирующейся мировой рыночной системы. Он утверждал, что отмеченное Адамом Смитом «пристрастие обменивать одну вещь на другую» создало стимулы для возникновения «промышленной системы (<...> которая практически и теоретически предполагала, что человеческая раса руководствуется во всей своей экономической деятельности, а также, возможно, и в политической, и в своих интеллектуальных и духовных стремлениях лишь одним этим пристрастием» (*Polanyi, 1945, p. 50—51*). Однако Полани преувеличивал здравый смысл тогдашнего капитализма, так же как Адам Смит преувеличивал ту

степень, до которой стремление людей к экономической прибыли автоматически могло увеличить благосостояние наций.

Точно так же как мы считаем само собой разумеющимся наличие воздуха, которым мы дышим и благодаря которому возможна вся наша деятельность, капитализм считал само собой разумеющейся ту унаследованную от прошлого атмосферу, в которой он существовал. Он только тогда обнаружил, как важна была эта атмосфера, когда она стала исчезать. Другими словами, капитализм процветал, поскольку являлся не только капиталистическим. Максимизация прибыли и ее накопление были необходимыми, однако недостаточными условиями для его успеха. Именно культурная революция последней трети двадцатого века, положившая начало разрушению исторического наследия капитализма, в полной мере обнажила этот факт. Историческая ирония неолиберализма, ставшего модным в 1970-е и 1980-е годы и смотревшего свысока на рухнувшие коммунистические режимы, заключалась в том, что он победил в тот самый момент, когда перестал внушать прежнее доверие. Рынок заявил о своей победе, когда его уязвимость и несовершенство нельзя было больше скрывать.

Наиболее ощутимо культурная революция проявилась в урбанизированных «индустриальных рыночных экономиках» старых центров капиталистического производства. Однако, как мы увидим ниже, небывалые экономические и социальные силы, вырвавшиеся на свободу в конце двадцатого века, изменили также и страны, получившие название «третий мир».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Третий мир

[Я предположил, что] без чтения по вечерам жизнь в [египетских] сельских имениях должна тянуться мучительно и что удобное кресло и хорошая книга на прохладной веранде делают ее гораздо приятней. Мой друг немедленно ответил: «Вы думаете, что землевладелец в этом районе может сидеть после обеда на ярко освещенной веранде и его не застрелят?» Я бы и сам мог это сообразить.

Рассел Пауа (Russell Pasha, 1949)

Всякий раз, когда разговор заходил о взаимной поддержке и о предложении денег займы как составной части такой поддержки, местные жители начинали сокрушаться по поводу духа отчуждения и недоверия, возобладавшего среди крестьян ⟨...⟩ Эти высказывания всегда сопровождалась ссылками на то, что люди в деревне в денежных вопросах становятся все более расчетливыми. Потом крестьяне неизменно пускались в воспоминания о «прежних временах», когда каждый был готов предложить свою помощь нуждающемуся.

Абдул Рахим (Abdul Rahim, 1973)

I

Деколонизация и революции резко изменили политическую карту мира. В Азии число признанных международным сообществом независимых государств увеличилось пятикратно. В Африке, где в 1939 году было только одно такое государство, теперь их стало уже около пятидесяти. Даже на Американском континенте, где в результате освобождения от колониальной зависимости в начале девятнадцатого века появилось около двадцати латиноамериканских республик, нынешняя деколонизация добавила к ним еще дюжину. Однако важным здесь было не их число, а нарастающий демографический вес и политическое влияние.

Все это стало последствием бурного роста населения в странах зависимого мира после Второй мировой войны, в результате которого изменился баланс мирового населения, что продолжается и сейчас. Со времен первой промышленной революции, во всяком случае начиная с шестнадцатого века, прирост населения шел быстрее в развитых, т. е. европейских, странах мира. В 1750 году в этих странах насчитывалось менее 20% жителей земного шара, а к 1900 году их население многократно увеличилось, составив почти треть всего человечества. В «эпоху катастроф» этот процесс остановился, однако с середины двадцатого века начался беспрецедентный рост населения всего земного шара, особенно в регионах, которые некогда находились во власти горстки империй. Общее население стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), участие в которой означает принадлежность страны к «развитому миру», в конце 1980-х годов составляло не более 15% всего населения земного шара, и эта доля имела тенденцию к уменьшению (если не учитывать фактор иммиграции), поскольку в некоторых развитых странах больше не рождалось достаточного количества детей для воспроизводства населения.

Демографический взрыв в отсталых государствах в конце «золотой эпохи», поначалу вызвавший серьезное международное беспокойство, стал, возможно, наиболее важным изменением из всех, которые произошли в течение «короткого двадцатого века», даже если предположить, что население земного шара в конце концов стабилизируется и его количество в двадцать первом веке не составит более 10 миллиардов (или какой-либо другой гипотетической цифры)*. Увеличение населения земного шара в два раза за сорок лет после 1950 года, так же как и удвоение населения такого континента, как Африканский, менее чем за тридцать лет, не имеет исторических прецедентов, как и те практические проблемы, которые могут в результате возникнуть (например, социальные и экономические проблемы в стране, 60% населения которой моложе 15 лет).

Демографический взрыв в отсталых странах стал столь неожиданным потому, что хотя рождаемость в этих странах обычно была гораздо выше, чем в развитых странах за тот же исторический период, очень высокий уровень смертности, обычно не допускавший увеличения населения, с 1940-х годов стал резко снижаться — в четыре-пять раз быстрее, чем в Европе в девятнадцатом веке (*Kelley, 1988, p. 168*). В то время как в Европе уровень жизни улучшался постепенно, современные технологии во время «золотой эпохи» стремительно проникли в отсталые страны, дав им новые лекарства и совершив

* Если резкий прирост населения, который мы наблюдали в течение двадцатого века, будет продолжаться, катастрофа окажется неизбежной. Человечество достигло своего первого миллиарда около двухсот лет назад. Чтобы достичь второго миллиарда, потребовалось 120 лет, третьего — 35 лет, четвертого — 15 лет. В конце 1980-х годов человечество насчитывало 5,2 миллиарда, и к 2000 году ожидалось, что его численность достигнет 6 миллиардов.

революцию на транспорте. Начиная с 1940-х годов открытия в медицине и фармакологии впервые помогли сберечь человеческие жизни в массовом масштабе, что раньше было практически невозможно (исключением являлось лечение оспы). Таким образом, поскольку уровень рождаемости оставался высоким и даже увеличивался в благополучные годы, а уровень смертности стремительно уменьшался (в Мексике он упал более чем наполовину за двадцать пять лет после 1944 года), численность населения быстро росла, хотя ни в экономике, ни в общественной жизни не происходило существенных изменений. Одним из побочных последствий этого демографического взрыва явилось увеличение пропасти между бедными и богатыми, между развитыми и отсталыми странами, даже когда экономика и тех и других регионов развивалась одинаково. Распределять валовой внутренний продукт, ставший вдвое больше, чем тридцать лет назад, в стране, население которой остается стабильным,— это одно, распределять же его среди населения, которое (как в Мексике) за тридцать лет увеличилось в два раза,— совсем другое.

Важно начинать любую оценку третьего мира с учета его демографии, поскольку демографический взрыв — основной факт его существования. История развитых стран позволяет предполагать, что раньше или позже страны третьего мира также испытают то, что специалисты называют «демографическим переходом», когда благодаря низкой смертности и низкой рождаемости произойдет стабилизация населения и в семье будет рождаться не более одного или двух детей. Хотя, безусловно, есть свидетельства того, что в конце «короткого двадцатого века» «демографический переход» имел место в некоторых странах, особенно в Восточной Азии, большая часть отсталых стран не особенно продвинулась по этому пути. (Исключение составляют государства бывшего советского блока.) Это и стало одной из причин их продолжающейся бедности. Некоторые страны, и так имевшие огромное население, настолько тревожило появление десятков миллионов дополнительных ртов, которые приходилось кормить каждый год, что время от времени их правительства начинали заниматься безжалостным введением контроля рождаемости или иных видов ограничения семей своих граждан (особенно жестокой была кампания по стерилизации в Индии в 1970-е годы и политика под лозунгом «один ребенок в семье» в Китае). Но вряд ли проблему роста населения в какой-либо стране можно решить подобным способом.

II

Однако после войны, когда отсталые страны стали частью постколониального мира, у них возникла еще более неотложная проблема — какое устройство им следует предпочесть? Неудивительно, что они добровольно переняли (или

вынуждены были это сделать) политические системы, унаследованные от своих прежних имперских хозяев. Меньшая часть таких государств, появившихся в результате социальной революции или долгих войн за независимость (второе было равносильно первому), склонялась к советской модели. Поэтому теоретически в мире появлялось все больше государств, претендовавших на звание парламентских республик, где выборы проводились на многопартийной основе из нескольких кандидатов, а также некоторое количество «народно-демократических республик» с однопартийным руководством. (Теоретически все они с этого времени являлись демократическими, хотя только коммунистические и социал-революционные режимы настаивали на словах «народная» и/или «демократическая» в своем официальном названии*.)

На практике эти названия были не более чем указаниями на то, к какому международному лагерю эти новые государства хотели бы принадлежать. Как правило, они столь же не соответствовали реальности, что и официальные конституции латиноамериканских республик, причем по тем же причинам: в большинстве случаев в этих странах не доставало материальных и политических условий, чтобы жить в соответствии с провозглашенными моделями. Подобное положение имело место даже в новых государствах коммунистического типа, хотя авторитарная структура и наличие единственной «правлящей партии» делали эти названия несколько более подходящими для стран, шедших по незападному пути развития, чем ярлык либеральной республики. Так, одним из твердых и непоколебимых правил коммунистических государств являлся приоритет (гражданской) партии над вооруженными силами. Однако в 1980-е годы в нескольких революционно настроенных странах — Алжире, Бенине, Бирме, Конго, Эфиопии, Мадагаскаре и Сомали, а также в эксцентричной в некоторых отношениях Ливии — государством управляли военные, захватившие власть в результате путча. То же происходило в Сирии и Ираке, где правили соперничающие между собой фракции Партии арабского социалистического возрождения (БААС).

Безусловно, распространенность военных диктатур и тенденция перехода к ним объединяла государства третьего мира независимо от конституционной и политической принадлежности. Если не брать во внимание основные коммунистические режимы стран третьего мира (Северную Корею, Китай, республики Индокитая и Кубу) и давно установившийся режим в Мексике,

* До краха коммунизма следующие республики включали в свои официальные названия слова «народная», «демократическая» или «социалистическая»: Албания, Ангола, Алжир, Бангладеш, Бенин, Бирма, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германская Демократическая Республика, Йемен, Камбоджа, Китай, Конго, Лаос, Ливия, Мадагаскар, Монголия, Мозамбик, Польша, Румыния, Северная Корея, Сомали, СССР, Чехословакия, Эфиопия и Югославия. Гвiana провозгласила себя «кооперативной республикой».

утвердившийся в результате мексиканской революции, здесь трудно было найти республику, в которой с 1945 года хотя бы эпизодически не правили военные. (Немногочисленные монархии, за некоторыми исключениями (Таиланд), казались в этом смысле более благополучными.) К моменту написания этих строк Индия остается, возможно, самым впечатляющим примером государства третьего мира, которое сохранило не только верховенство гражданской власти, но и непрерывную преемственность правительств, избираемых в ходе регулярных и относительно честных выборов, хотя подтверждает ли это название «величайшей демократии в мире», зависит от того, каким образом трактовать предложенную Авраамом Линкольном формулу «правительства народа, для народа и из народа».

Мы так привыкли к военным переворотам и военным режимам в мире (и даже в Европе), что стоит напомнить себе, что на современной ступени развития они, несомненно, представляют собой новое явление. В 1914 году ни одно независимое в международном отношении государство не находилось под властью военных, за исключением стран Латинской Америки, где военные перевороты стали частью традиции, но даже там в то время единственной значительной республикой, которой руководило не гражданское правительство, являлась Мексика, где в разгаре была революция и гражданская война. Да, тогда было много милитаризованных государств, где военные активно влияли на политику, а также несколько стран, где большая часть офицерского корпуса не проявляла симпатии к своему правительству — Франция являлась ярким тому примером. И все же обычаи и привычки военных в стабильных государствах скорее заставляли их повиноваться власти и не участвовать в политике или участвовать в ней только неофициально, а именно путем закулисных интриг.

Политика военных переворотов стала детищем новой эпохи, породившей слабые или незаконные правительства. Первой серьезной работой на эту тему явилась книга занимавшегося наследием Макиавелли итальянского журналиста Курцио Малапарте «*Coup d'Etat*», которая вышла в 1931 году — на полпути от одной катастрофы к другой. Во второй половине двадцатого века, когда благодаря балансу сверхдержав стабилизировались границы государств и (правда, в меньшей степени) политические режимы, военные стали еще чаще вмешиваться в политику, хотя бы только потому, что в мире теперь насчитывалось до двухсот государств, большинство из которых образовалось совсем недавно и поэтому не обладало преемственностью законной власти. Кроме того, политические системы многих государств способны были привести скорее к политическому распаду, чем к созданию эффективно действующего правительства. В таких ситуациях вооруженные силы зачастую являлись единственным государственным институтом, способным к политическим или каким-либо другим действиям на общенациональном уровне.

Кроме того, поскольку «холодная война» между сверхдержавами зачастую велась с помощью вооруженных сил государств-клиентов или союзников, они субсидировались и вооружались соответствующей сверхдержавой или, в некоторых случаях, сначала одной, а затем другой сверхдержавой, как было с Сомали. Люди на танках получили более широкие политические возможности, чем когда-либо раньше.

В ведущих коммунистических странах их держали под контролем за счет презумпции верховенства гражданского руководства в лице партии, хотя в свои последние безумные годы Мао Цзэдун временами готов был отказаться от этого принципа. В основных странах западного альянса возможности военных тоже оставались ограниченными благодаря политической стабильности и наличию эффективных механизмов контроля над армией. Так, после смерти генерала Франко в Испании переход к либеральной демократии успешно произошел под эгидой нового короля, а вспыхнувший в 1981 году путч не смирившихся с новой политической реальностью франкистских офицеров был быстро подавлен благодаря отказу монарха поддержать его. В Италии, где США готовы были поддержать военный переворот, если в правительстве появятся представители многочисленной коммунистической партии, гражданское правительство оставалось у власти даже тогда, когда (в 1970-е годы) происходили внезапные и до сих пор необъяснимые всплески активности военных ведомств, секретных служб и террористического подполья. Только там, где раны, нанесенные деколонизацией (т. е. поражением от местных повстанцев), оказались слишком глубоки, офицеры участвовали в военных переворотах, как это произошло в 1950-е годы во Франции, потерпевшей поражение в войне за сохранение власти над Индокитаем и Алжиром, а также в Португалии, когда в 1970-е годы рухнула ее африканская империя (здесь инициаторами путча стали военные левых убеждений). В обоих случаях вооруженные силы были вскоре снова взяты под контроль гражданским правительством. Единственным военным режимом в Европе, который реально поддерживали США, являлся режим, установленный в 1967 году (вероятно, по местной инициативе) крайне недаленовидной группой ультраправых греческих полковников в стране, где гражданская война между коммунистами и их противниками (1944—1949) оставила по себе горькую память с обеих сторон. Этот режим, знаменитый своим пристрастием к систематическим пыткам оппонентов, рухнул через семь лет под давлением собственной политической несостоятельности.

Условия для военного вмешательства в странах третьего мира были гораздо более благоприятными, особенно в новых государствах, зачастую малых и слабых, где несколько сотен вооруженных человек, получивших подкрепление иностранных войск, а временами и замененных ими, могли иметь решающее значение и где у власти находились неопытные или некомпетентные

правительства, а в стране царили хаос, коррупция и смута. Типичным военным правителем в большинстве африканских стран являлся не кандидат в диктаторы, а военный, действительно старавшийся навести элементарный порядок и надеявшийся (часто напрасно), что гражданское правительство вскоре опять придет к власти. Обычно он терпел неудачу в своих начинаниях, вот почему так мало военных вождей правили долго. Во всяком случае, даже самый слабый намек на то, что власть в стране может перейти в руки коммунистов, фактически стопроцентно гарантировал любому диктатору поддержку Соединенных Штатов. Одним словом, военная политика и военные навыки стремились заполнить вакуум, возникший из-за отсутствия гражданской политики и навыков гражданской жизни. Речь не шла о какой-то особой политике; это было лишь следствием окружающей нестабильности и напряженности. Однако именно такой стиль руководства становился все более распространенным в странах третьего мира, потому что фактически все они теперь тем или иным способом стремились к созданию стабильных и эффективных государств, примеры которых были столь редки. Стабильное государство было нужно им для экономической независимости. После того как завершился второй этап мировой войны — мировая революция и как следствие — мировая деколонизация, казалось, что у старых программ процветания за счет производства сырья для мировых империалистических рынков нет будущего. Такими были программы аргентинских и уругвайских *estancieros* *, скопированные Порфирио Диасом в Мексике и Аугусто Легийей в Перу. После начала Великой депрессии эти программы перестали выглядеть убедительно. Кроме того, стремление к национальной независимости требовало политики, менее зависимой от старых империй, и пример СССР предоставил альтернативную модель такого развития. Никогда еще этот пример не выглядел так впечатляюще, как в годы после окончания Второй мировой войны.

Поэтому более энергичные государства старались положить конец своей аграрной отсталости путем последовательной индустриализации, следуя советской модели централизованного планирования или сокращая импорт. Все эти способы так или иначе опирались на вмешательство государства и государственный контроль. Даже менее амбициозные страны, которые не мечтали о будущих великих сталелитейных заводах в тропиках, снабжаемых энергией огромных гидроэлектростанций с мощными дамбами, хотели самостоятельно контролировать и развивать свои национальные ресурсы. Нефть традиционно добывалась частными западными корпорациями, обычно тесно связанными с империалистическими державами. Молодые правительства, следуя примеру Мексики 1938 года, стали национализировать их и превращать в государственные предприятия. Те, которые удержались от национали-

* Владельцы животноводческих ферм (исп.).

зации, обнаружили — особенно после 1950 года, когда Арабско-американская нефтяная компания (ARAMCO) предложила Саудовской Аравии 50 % дохода (немыслимо высокая доля по тем временам), что физическое обладание нефтью и газом обеспечивает главенствующие позиции в переговорах с иностранными корпорациями. На практике создание Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), которая в 1970-е годы уже держала в заложниках весь мир, стало возможным, потому что владение мировыми запасами нефти перешло от компаний к относительно небольшому количеству государств-производителей. Одним словом, даже те правительства зависимых или освободившихся от колониальной зависимости государств, которые были вполне довольны взаимоотношениями со старыми или новыми иностранными капиталистами (в современном языке левых появился термин «неоколониализм»), осуществляли их в системе контролируемой государством экономики. Возможно, наиболее преуспевающим из таких государств до 1980-х годов был Берег Слоновой Кости — ранее французская колония.

Вероятно, наименьших успехов в этом добились те новые государства, которые недооценили последствия своей отсталости — недостаток профессиональных и опытных специалистов, руководящих кадров и экономистов, неграмотность, неосведомленность и недоверие к программам экономической модернизации, особенно когда их правительства ставили перед собой цели, которые считали трудными даже развитые страны, например проведение координируемой государством индустриализации. Гана и Судан (первое государство тропической Африки, получившее независимость) растратили валютные резервы в двести миллионов, накопленные благодаря высоким ценам на какао и доходам военного времени (эти накопления превышали валютные накопления независимой Индии), в напрасной попытке создать индустриализованную плановую экономику, не говоря уже о мечтах Кваме Нкрумы о панафриканском союзе. Результаты были губительными и еще усугубились из-за обвала цен на какао в 1960-х годах. К 1972 году, когда великие проекты рухнули, местная промышленность в маленьких странах могла существовать только при наличии высоких таможенных тарифов, контроля над ценами и лицензий на импорт, что привело к развитию теневой экономики и распространению коррупции, оказавшихся неискоренимыми. Три четверти всех рабочих были заняты в государственном секторе, а поддержке сельского хозяйства уделялось мало внимания (как и в большинстве других африканских государств). После того как Нкрума был свергнут в результате очередного военного переворота (1966), лишенная иллюзий страна продолжила свой путь под руководством целой череды, как правило, не пользующихся доверием военных, а временами и гражданских правительств.

Несмотря на печальный пример новых государств тропической Африки, не стоит недооценивать те значительные достижения, которых добились бо-

лее выгодно расположенные бывшие колонии или зависимые государства, выбравшие путь планируемого государством или дотируемого им экономического развития. Все государства, которые на языке международных чиновников в 1970-е годы назывались «новыми индустриальными странами», осуществляли именно такую политику (исключением стал город-государство Гонконг). Как подтвердит каждый, имеющий хоть малейшее представление о Бразилии и Мексике, здесь стала процветать бюрократия, коррупция и казнокрадство, но помимо этого в течение нескольких десятилетий имел место 7%-ный ежегодный рост дохода, т. е. обе они достигли желаемого перехода к современной индустриальной экономике. Бразилия даже стала на некоторое время восьмым по объему промышленного производства государством некоммунистического мира. Обе страны имели довольно значительное население и в связи с этим большой внутренний рынок, так что индустриализация и сокращение импорта имели смысл по крайней мере в течение довольно долгого времени. Расходы на социальные нужды и активность государства поддерживали высокий потребительский спрос. Одно время государственный сектор в Бразилии осуществлял контроль примерно над половиной валового внутреннего продукта и охватывал девятнадцать из двадцати крупнейших компаний, в то время как в Мексике в нем была занята пятая часть всей рабочей силы, получавшая две пятых национального фонда заработной платы (Harris, 1987, p. 84—85). Государственное планирование на Дальнем Востоке старалось меньше полагаться на государственные предприятия и больше — на привилегированные корпорации, опиравшиеся на санкционируемые правительством кредиты и инвестиции, но зависимость экономического развития от государства была такой же. Планирование и государственная инициатива имели первостепенное значение повсюду в мире в 1950-е и 1960-е годы, а в «новых индустриальных странах» такое положение сохранялось до 1990-х годов. Давала ли эта форма экономического развития положительные или отрицательные результаты, зависело от местных условий и человеческого фактора.

III

Однако развитие, вне зависимости от того, контролировалось оно государством или нет, не представляло особого интереса для подавляющего большинства населения третьего мира, которое само выращивало себе пищу для пропитания, поскольку даже в странах и колониях, чьи государственные доходы зависели от прибылей, полученных от одной или двух основных экспортных культур — кофе, бананов или какао, — они были обычно сосредоточены в нескольких крупных центрах. В части государств тропической Африки и в боль-

шинстве стран Южной и Юго-Западной Азии, а также в Китае население продолжало зарабатывать на жизнь сельским хозяйством. Только в Западном полушарии и на засушливых землях западных исламских стран еще происходил отток сельских жителей в крупные города, превративший за пару десятилетий сельские социумы в городские (см. главу 10). В плодородных и не слишком густонаселенных регионах большей части Африки население в основном прекрасно могло прокормиться трудом своих рук. Оно не нуждалось в государстве, которое было обычно слишком слабым, чтобы принести много вреда, однако, если оно становилось чересчур назойливым, его можно было обойти, вернувшись к сельскому натуральному хозяйству. Немногие континенты начинали эпоху своей независимости с подобными преимуществами, которым вскоре, правда, суждено было быть растраченными впустую. Большинство азиатских и исламских крестьян были гораздо беднее, по крайней мере питались они гораздо хуже (в Индии эта бедность сложилась исторически), и угнетение мужчин и женщин в некоторых местах было гораздо более жестоким. Тем не менее довольно большей части населения казалось, что все-таки лучше не обольщаться речами тех, кто сулил несказанное благосостояние от экономического развития, а держаться от них подальше. Как подсказывал им длительный опыт предков и свой собственный, извне ничего хорошего не приходит. Молчаливые раздумья поколений научили их, что минимизация риска — лучшая политика, чем погоня за большой прибылью. Но все это не уберегло их от мировой экономической революции, достигшей даже самых отдаленных и изолированных регионов в виде пластиковых сандалий, бензиновых канистр, дребезжащих грузовиков и, конечно, правительственных офисов с папками документов. В таких местах революция стремилась разделить человечество на людей, работающих в офисах и при их посредстве, и остальное население. В большинстве аграрных стран третьего мира основной водораздел пролегал между прибрежными и внутренними районами, а также между крупными городами и сельской глубиной*.

Трудность заключалась в том, что, с тех пор как прогресс и правительство шли рука об руку, внутренние районы развивающихся стран управлялись прибрежными, глушь — большими городами, неграмотные — образованными. В Законодательном собрании государства, ставшего вскоре независимой Ганой, из 104 депутатов только 68 имели образование выше начального. Из 106 членов Законодательного собрания Теленганы (Южная Индия) 97 имели среднее или высшее образование, включая 50 аспирантов. В обоих этих регионах подавляющее большинство местных жителей в то время были негра-

* Сходное разделение можно было найти в некоторых отсталых регионах социалистических государств, например в советском Казахстане, где местные жители не проявляли никакого желания отказываться от сельского хозяйства и домашнего скота, оставляя индустриализацию и большие города многочисленным русским иммигрантам.

мотными (Hodgkin, 1961, p. 29; Gray, 1970, p. 135). Кроме того, каждому, кто хотел работать в национальном правительстве страны третьего мира, необходимо было не только уметь грамотно писать и читать на языке нужного региона (что было совсем не обязательно в их родной деревне), но также достаточно хорошо владеть одним из нескольких иностранных языков (английским, французским, испанским, арабским, мандаринским наречием китайского) или, по крайней мере, региональным *lingua franca*, которым новые правительства стремились сделать письменные «национальные» языки (суахили, бахаса, пиджин). Единственным исключением являлись те регионы Латинской Америки, где официальные языки (испанский и португальский) совпадали с разговорным языком большинства населения. Из всех кандидатов на государственную службу в Хайдарабаде (Индия) на всеобщих выборах 1967 года только трое (из тридцати четырех) не говорили по-английски (Bernstorff, 1970, p. 146).

Со временем самые отсталые жители наиболее отдаленных районов все больше стали понимать преимущества высшего образования, даже когда сами не могли ими воспользоваться. Знание в буквальном смысле означало силу, и наиболее очевидно это проявлялось в странах, где государство по отношению к своим гражданам оказалось механизмом, выжимавшим их ресурсы и затем распределявшим эти ресурсы среди государственных служащих. Образование означало пост, зачастую гарантированный *, на государственной службе, с перспективами карьерного роста, который давал возможность брать взятки и комиссионные и устраивать на работу родственников и друзей. Какая-нибудь деревня, скажем, в Центральной Африке, собрав средства для образования одного из своих молодых жителей, надеялась на то, что эти средства возвратятся в виде доходов и привилегий для всей деревни, полученных от его пребывания на правительственной должности, которую гарантировало высшее образование. Во всяком случае, преуспевающий гражданский чиновник среди местного населения являлся самым высокооплачиваемым. В такой стране, как Уганда, в 1960-е годы чиновник мог легально получать жалованье в 112 раз больше среднего дохода на душу населения (в Великобритании такое соотношение равнялось 10:1) (UN World Social Situation, 1970, p. 66).

В тех местах, где бедные деревенские жители могли сами пользоваться преимуществами образования или обеспечить им своих детей (как в Латинской Америке, регионе третьего мира, наиболее близком к современности и наиболее далеко ушедшем от колониализма), желание учиться было фактически всеобщим. «Они все хотят чему-нибудь учиться,— сказал автору в 1962 году активист чилийской коммунистической партии, работавший среди

* Так было до середины 1980-х годов в Бенине, Конго, Гвинее, Сомали, Судане, Руанде, Мали и Центрально-Африканской Республике.

индейцев племени мапуче,— но я не интеллектуал и не могу дать им школьных знаний, так что я учу их играть в футбол». Эта жажда знаний во многом объясняет массовое бегство из деревни в город, начиная с 1950-х годов постепенно опустошавшее сельские регионы Южноамериканского континента. Все исследователи сходятся в том, что притягательность большого города заключалась не только в новых возможностях получить образование и воспитать детей. Там люди могли «стать кем-то еще». Образование, естественно, открывало более широкие перспективы, но в отсталых аграрных регионах даже такой незначительный навык, как умение управлять грузовиком, мог стать пропуском в лучшую жизнь. Главная истина, которой мигрант из племени кечуа в Андах учил своих двоюродных братьев и племянников, когда те, уехав из родной деревни, присоединились к нему в городе в надежде пробить себе дорогу в современном мире, заключалась в том, что фундаментом семейного успеха стало место шофера «скорой помощи» (*Julca, 1992*).

По-видимому, лишь в начале 1960-х годов или даже позже сельские жители за пределами Латинской Америки начали считать современные достижения полезными, а не опасными. Однако имелся один аспект политики экономического развития, который мог, как ожидалось, привлечь их, поскольку непосредственно касался более чем трех пятых населения, занимавшегося сельским хозяйством. Это была земельная реформа. Кстати, в аграрных странах эти два слова, ставшие общим лозунгом политиков, могли означать все, что угодно, от разделения больших земель владений и перераспределения их между крестьянами и безземельными рабочими до ликвидации феодальной зависимости, от снижения ренты и различных видов арендных реформ до революционной национализации земли и коллективизации.

Вероятно, никогда эти процессы не происходили более интенсивно, чем в первое десятилетие после окончания Второй мировой войны, поскольку в них был заинтересован широкий спектр политиков. С 1945 по 1950 год почти половина человечества оказалась живущей в странах, где в том или ином виде проходила земельная реформа. Она могла быть коммунистической, как в Восточной Европе и, после 1949 года, в Китае, стать следствием деколонизации, как в прежде входившей в Британскую империю Индии, или оказаться результатом поражения в войне и иностранной оккупации, как в Японии, на Тайване и в Корее. Революция 1952 года в Египте распространилась на западный исламский мир: Ирак, Сирия и Алжир последовали примеру Каира. Революция 1952 года в Боливии принесла аграрную реформу в Южную Америку, хотя Мексика со времен революции 1910 года или, точнее, со времени своего возрождения в 1930-х годах долгое время оставалась лидером земельных преобразований. И все же, несмотря на все увеличивавшийся поток политических деклараций и статистических опросов по этому предмету, в Латинской Америке произошло слишком мало революций, деколонизаций и проиг-

ранных войн, чтобы провести аграрную реформу. Однако революция на Кубе под руководством Фиделя Кастро (принесшая на остров аграрную реформу) внесла этот вопрос в политическую повестку дня.

Для реформаторов земельная реформа была вопросом политическим (поддержка крестьянами революционных режимов), идеологическим («вернуть землю труженикам» и т. п.) и иногда экономическим, хотя большинство революционеров и реформаторов не ожидали слишком многого от простого распределения земли между традиционным крестьянством и малоземельным или вовсе безземельным населением. Естественно, производительность фермерских хозяйств резко упала в Боливии и Ираке сразу же после проведения в этих странах земельных реформ соответственно в 1952 и 1958 годах. Справедливости ради следует добавить, что там, где опыт крестьян и производительность труда были достаточно высокими, земельная реформа могла быстро высвободить большой производственный потенциал, до тех пор державшийся в резерве скептически настроенными земледельцами, как произошло в Египте, Японии и наиболее успешно на Тайване (*Land Reform, 1968, p. 570—575*). Проблема сохранения крестьянства не являлась и не является экономической, поскольку в истории современного мира мощный рост сельскохозяйственного производства соседствовал с не менее впечатляющим уменьшением крестьянской прослойки; наиболее резко это проявилось после Второй мировой войны. Земельная реформа продемонстрировала, что крестьянское сельское хозяйство (особенно крупные современные фермерские хозяйства) может быть не менее эффективным, чем традиционное помещичье хозяйство, плантации или неразумные современные попытки вести сельское хозяйство на полупромышленной основе, как, например, создание гигантских государственных ферм в СССР или британская схема производства земляных орехов в Танганьике (теперешней Танзании) после 1945 года. Раньше считалось, что такие культуры, как кофе или даже сахар и каучук, можно выращивать только на плантациях, но теперь ситуация изменилась, даже если плантация в некоторых случаях все еще сохраняет явное преимущество над мелкими и неквалифицированными производителями. И все же главным послевоенным успехом в сельском хозяйстве стран третьего мира стала «зеленая революция», которую совершили новые селекционные культуры, применявшиеся прогрессивными фермерами, как произошло, например, в Пенджабе.

Однако самый главный экономический аргумент в пользу земельной реформы опирается не на производительность, а на равенство. В целом экономическое развитие имело тенденцию сначала увеличивать, а затем сокращать неравенство в распределении национального дохода в течение длительного периода, хотя экономический спад и упорная вера в свободный рынок в последнее время начали повсеместно опровергать это представление. Равенство в конце «золотой эпохи» в большей степени имело место в развитых за-

падных странах, чем в странах третьего мира. Однако в то время как неравенство доходов сильнее всего проявлялось в Латинской Америке, за которой следовала Африка, оно оказалось крайне незначительным в ряде азиатских стран (где американскими оккупационными силами была навязана радикальная земельная реформа, осуществлявшаяся при их содействии) — в Японии, Южной Корее и на Тайване (ни в одной из этих стран, однако, не проводилось такой уравнивающей политики, как в социалистических странах Восточной Европы или в Австралии) (*Kakwani, 1980*). Наблюдатели в этих странах размышляли, насколько победам индустриализации помогли социальные и экономические преимущества возникшей ситуации, так же как очевидцы гораздо более неровного развития бразильской экономики, всегда находившейся почти у цели, но никогда не достигавшей ее, гадали, до какой степени ее развитие сдерживает резкое неравенство в распределении доходов, неизбежно ограничивающее внутренний промышленный рынок. Вне сомнений, разительное социальное неравенство в Латинской Америке было связано с не менее разительным отсутствием систематической аграрной реформы во многих ее странах.

Безусловно, крестьянство в странах третьего мира приветствовало земельную реформу, по крайней мере до тех пор, пока она не приводила к коллективному хозяйству или кооперативному производству, как это обычно происходило в коммунистических странах. Однако сторонники модернизации смотрели на нее совсем не так, как крестьяне, которых не интересовали макроэкономические проблемы и которые видели национальную политику иначе, чем городские реформаторы. Их отношение к земле было основано не на общих принципах, а на вполне определенных требованиях. Так, радикальная земельная реформа, проведенная правительством генералов-реформистов в Перу в 1969 году, которая одним ударом разрушила систему больших земельных поместий (гасиенд), потерпела поражение именно по этой причине. Для высокогорных индейских племен, находившихся в неустойчивом сосуществовании с обширными скотоводческими ранчо в Андах, поставляя для них рабочую силу, эта реформа просто означала возвращение к отнятым у них землевладельцами общинным землям и пастбищам, границы которых они безошибочно помнили веками и с потерей которых никогда не смирялись (*Hobsbawm, 1974*). Они не были заинтересованы в сохранении прежних предприятий как производственных единиц (теперь перешедших в коллективную собственность), в кооперативных экспериментах и других аграрных нововведениях, выходящих за рамки традиционной взаимопомощи внутри своих сообществ. После этой реформы общины вернулись к захвату земель кооперативных владений (совладельцами которых они теперь являлись), как будто ничего не изменилось в конфликте между землевладельцами и общиной (и в межобщинных земельных спорах) (*Gómez Rodríguez, p. 242—255*).

В том, что их интересовало по-настоящему, ничего нового не произошло. Наиболее близкой к идеалу крестьянина, вероятно, была мексиканская земельная реформа 1930-х годов, которая отдала общинную землю в неотчуждаемое владение деревенским общинам, позволив им обеспечивать пропитание по своему усмотрению. Это был огромный политический успех, но экономически он не имел отношения к последующему аграрному развитию Мексики.

IV

Неудивительно, что десятки постколониальных государств, возникших после Второй мировой войны, вместе со многими государствами Латинской Америки, также относившимися к регионам, зависимым от старого имперского и индустриального мира, вскоре оказались объединенными под названием «третий мир» — предполагают, что этот термин появился в 1952 году (*Harris, 1987, p. 18*) по аналогии с «первым миром» развитых капиталистических стран и «вторым миром» коммунистических государств. Несмотря на очевидную абсурдность, объединение Египта и Габона, Индии и Папуа — Новой Гвинеи как государств одного типа имело определенный смысл, поскольку все они были бедными (по сравнению с развитыми странами) *, зависимыми, все имели правительства, стремившиеся к развитию своих стран. Однако ни одно из этих правительств после Великой депрессии и Второй мировой войны не верило, что мировой капиталистический рынок (т. е. предложенная экономистами доктрина «сравнительного преимущества») и стихийное частное предпринимательство на их родине добьются успеха. Кроме того, когда железная паутина «холодной войны» опутала земной шар, все те, кто обладал хоть какой-то свободой действий, хотели избежать присоединения к любой из противоборствующих политических систем, т. е. удержаться от третьей мировой войны, которая у всех вызывала страх.

Это не означает, что неприсоединившиеся страны были в равной мере оппозиционны по отношению к обеим противоборствующим сторонам во время «холодной войны». Вдохновителями и сторонниками движения (обычно называемого «бандунгским», поскольку его первая международная конференция проходила в 1955 году в Бандунге в Индонезии) были радикальные революционеры из бывших колоний — Джавахарлал Неру в Индии, Сукарно в Индонезии, полковник Гамаль Абдель Насер в Египте и отколовшийся от советского лагеря коммунист Тито в Югославии. Все эти государства, как и мно-

* За редчайшими исключениями, в частности Аргентины, которая, несмотря на процветание, никогда уже не обрела прежнего положения после упадка и краха Британской империи, до 1929 года снабжавшейся аргентинскими продуктами питания.

гие бывшие колониальные режимы, были социалистическими или заявляли об этом, но шли своим собственным (т. е. не советским) путем, включая королевский буддистский социализм в Камбодже. Все они испытывали определенные симпатии к Советскому Союзу, по крайней мере были готовы принять от него экономическую и военную помощь, что не удивительно, поскольку Соединенные Штаты после того, как мир разделился, сразу же отказались от своих прежних антиколониальных традиций и явно искали сторонников среди наиболее консервативных режимов третьего мира: Ирака (до революции 1958 года), Турции, Пакистана и шахского Ирана, которые вошли в блок СЕНТО (*Central Treaty Organization*); Пакистана, Филиппин и Таиланда, входивших в СЕАТО (*South-East Asia Treaty Organization*). Обе эти организации (ни одна из которых не имела большого веса) были предназначены для дополнения антисоветской военной системы, чьей главной опорой являлся блок НАТО. Когда афроазиатская группа неприсоединившихся государств стала трехконтинентальной после революции на Кубе в 1959 году, не удивительно, что в ее состав вошли те латиноамериканские республики, которые меньше всего симпатизировали северному «большому брату». Тем не менее, в отличие от сторонников США в третьем мире, которые на деле могли присоединиться к системе западного альянса, некоммунистические бандунгские государства не стремились быть втянутыми в противостояние мировых сверхдержав, поскольку, как доказали корейская и вьетнамская войны и ракетный кризис на Кубе, они являлись потенциальной линией фронта в подобных конфликтах. Чем стабильнее становились европейские границы между двумя этими лагерями, тем больше была вероятность того (если ружьям суждено будет выстрелить, а бомбам — быть сброшенными), что произойдет это где-нибудь в горных районах Азии или в африканской пустыне.

Однако хотя конфронтация сверхдержав и влияла на межгосударственные отношения по всему миру и до некоторой степени стабилизировала их, полностью она их не контролировала. На земном шаре имелись два региона, в которых собственные зоны напряженности стран третьего мира, по существу не связанные с «холодной войной», создавали постоянные условия для конфликтов, периодически выливавшихся в военные действия. Это были Ближний Восток и северная часть Индийского субконтинента. (Не случайно оба этих региона являлись наследниками имперских схем государственного размежевания.) Вторую зону конфликтов было проще оградить от мировой «холодной войны», несмотря на попытки Пакистана втянуть в нее США, которые терпели неудачу вплоть до начала афганской войны 1980-х годов (см. главы 8 и 16). В результате Запад мало знает и еще меньше помнит о трех региональных войнах: о войне между Индией и Китаем 1962 года из-за плохо демаркированной границы между двумя этими странами, в которой победил Китай, а также об индо-пакистанской войне 1965 года, умело выигранной Индией, и

о втором индо-пакистанском конфликте 1971 года, возникшем в результате отделения Восточного Пакистана (Бангладеш), которое поддерживала Индия. В этих конфликтах США и СССР пытались действовать как доброжелательные нейтралы и миротворцы. Ситуация на Ближнем Востоке не являлась локальной, поскольку в нее напрямую были вовлечены несколько союзников Америки: Израиль, Турция и шахский Иран. Кроме того, как доказал непрерывный ряд военных и гражданских революций в этом регионе — начиная с Египта в 1952 году, за которым в 1950-е и 1960-е годы последовали Ирак и Сирия, в 1960-е и 1970-е — юг Аравийского полуострова, а затем и Иран в 1979 году, — этот регион был и остается социально нестабильным.

Эти региональные конфликты не имели существенной связи с «холодной войной»: СССР одним из первых признал Израиль, который впоследствии стал главным союзником США, а арабские и другие исламские государства, как правого, так и левого толка, одинаково боролись с коммунизмом у себя на родине. Главной подрывной силой являлся Израиль, где еврейские поселенцы построили более обширное еврейское государство, чем то было предусмотрено планом, разработанным под руководством Великобритании (изгнав при этом 700 тысяч палестинцев — больше, чем все израильское население в 1948 году) (Calvocoressi, 1989, p. 215). По этой же причине израильтяне раз в десятилетие устраивали новую войну с арабами (1948, 1956, 1967, 1973, 1982). В ходе этих войн (их можно сравнить с войнами, которые в восемнадцатом веке вел прусский король Фридрих II для укрепления своей власти над Силезией, отнятой им у соседней Австрии) Израиль превратился в грозную военную державу в своем регионе и овладел ядерным оружием, но не смог создать государственную основу отношений с соседними странами, не говоря уже о постоянно озлобленных палестинцах, находившихся внутри его увеличенных границ, и о противостоянии палестинской диаспоры на Ближнем Востоке. Крушение СССР отодвинуло Ближний Восток с передовой линии «холодной войны» на второй план, но он по-прежнему остается таким же взрывоопасным, как и раньше.

Напряженность в этом регионе сохранялась также благодаря трем менее значительным «горячим точкам»: восточному Средиземноморью, Персидскому заливу и пограничному региону между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией, где свою национальную независимость тщетно пытались завоевать курды, что опрометчиво посоветовал им сделать президент Вильсон в 1918 году. Не найдя постоянного сторонника среди могущественных держав, они испортили отношения со всеми своими соседями, которые применяли против них все доступные средства, включая ядовитые газы (в 1980-х годах), однако с переменным успехом, поскольку курды всегда славились своими умелыми боевыми действиями в горных районах. Западное Средиземноморье оставалось относительно спокойным регионом, поскольку и Греция, и Турция являлись членами НАТО, хотя конфликт между ними привел к турецкому вторже-

нию на Кипр, который был поделен на две части в 1974 году. С другой стороны, ирано-иракскому соперничеству в Персидском заливе суждено было привести к жестокой восьмилетней войне (1980—1988 годы) между Ираком и революционным Ираном и, после окончания «холодной войны», к вооруженному конфликту между США и их союзниками и Ираком в 1991 году.

Однако один регион третьего мира оставался вдалеке как от местных, так и от глобальных международных конфликтов (до кубинской революции). Это была Латинская Америка. За исключением маленьких материковых государств (Гайаны, Белиза (Британского Гондураса) и некоторых мелких островов Карибского моря), страны этого континента уже давно освободились от колониальной зависимости. В культурном и языковом отношении их население тяготело к Западу, поскольку большинство жителей этих стран были католиками и, за исключением некоторых областей Анд и континентальной Центральной Америки, говорили на европейских языках или понимали их. Унаследовав сложную расовую иерархию от иберийских завоевателей, этот регион перенял у них и традицию смешанных браков. Здесь было мало подлинно белых, за исключением южной оконечности континента—Аргентины, Уругвая, южных районов Бразилии, заселенных эмигрантами из Европы, где было очень мало туземцев. В обоих случаях успех и социальный статус уравновешивали расовое происхождение. В Мексике на президентский пост еще в 1861 году был избран индеец Бенито Хуарес. Во время написания этой книги в Аргентине на президентский пост был избран иммигрант—мусульманин ливанского происхождения, а в Перу—иммигрант из Японии. В США подобное было бы невозможно. До наших дней Латинская Америка все еще остается вне порочного круга этнической политики и национализма, которые оказывают разрушительное действие на другие континенты.

Кроме того, когда бóльшая часть этого континента ясно осознала, что находится в неоколониальной зависимости от одной из господствующих держав, США оказались достаточно дальновидны, чтобы не посылать канонерки и подводные лодки против больших государств (они без колебаний использовали их против малых), да и правительства от Рио-Гранде до мыса Горн прекрасно понимали, что лучше быть на стороне Вашингтона. Организация американских государств (ОАГ), основанная в 1948 году, со штаб-квартирой в Вашингтоне, отнюдь не являлась органом, собиравшимся противоречить США. Когда на Кубе произошла революция, ОАГ исключила ее из своих рядов.

V

Однако в то самое время, когда третий мир и его идеология находились в расцвете, концепция начала рушиться. В 1970-е годы стало очевидно, что ника-

ким общим названием или ярлыком нельзя адекватно охарактеризовать группу стран, все больше отличающихся друг от друга. Термин «третий мир» был по-прежнему удобен для того, чтобы отличать бедные страны мира от богатых, и, поскольку пропасть между двумя этими зонами, часто теперь называемыми «Севером» и «Югом», явно увеличивалась, это деление имело смысл. Разрыв в валовом национальном продукте между развитым и отсталым миром (т. е. между странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и странами со средними и отсталыми экономиками) * продолжал увеличиваться: валовой национальный продукт на душу населения первой группы стран в 1970 году был в среднем в 15,4 раза выше, чем у второй группы, а в 1990-м году превышал его более чем в 24 раза (*World Tables, 1991, Table 1*). Несомненно, третий мир больше не был единым.

В основном это являлось следствием неравномерного экономического развития. Триумф ОПЕК в 1973 году впервые создал ассоциацию государств третьего мира, в большинстве своем бедных и отсталых по всем критериям, которые теперь стали миллионерами мирового масштаба, особенно когда они состояли из крошечных малонаселенных лесных или песчаных участков, где правили шейхи и султаны (обычно мусульманские). Было просто невозможно зачислить в одну категорию, скажем, Объединенные Арабские Эмираты, каждый из полумиллиона жителей которых (1975) теоретически имел долю валового национального продукта более чем в 13000 долларов, что было почти в два раза больше валового национального продукта на душу населения в США в этот период (*World Tables, 1991, p. 596, 604*), и Пакистан, у которого в то время валовой национальный продукт равнялся 130 долларам на душу населения. У обладавших запасами нефти стран с большим населением дела шли не так хорошо, тем не менее стало очевидно, что государства, зависимые от экспорта одного основного вида сырья, как бы ни были они неблагополучны в других отношениях, могли стать баснословно богаты, даже если эти легкие деньги иногда пускались на ветер **. К началу 1990-х годов даже Саудовская Аравия умудрилась залезть в долги.

На втором месте располагалась та часть стран третьего мира, в которых быстрыми темпами шла индустриализация и которые догоняли страны первого мира, даже оставаясь заметно беднее. Южная Корея, чьи экономические

* ОЭСР объединила наиболее развитые капиталистические страны, включая Бельгию, Данию, Федеративную Республику Германии, Францию, Великобританию, Ирландию, Исландию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Швецию, Швейцарию, Канаду и США, Японию и Австралию. По политическим причинам эта организация, созданная во время «холодной войны», также включила в свой состав Грецию, Португалию, Испанию и Турцию.

** Это феномен не только третьего мира. Один циничный французский политик, когда ему сказали о больших нефтяных запасах в британском Северном море, пророчески заметил: «Они растратят их, и начнется кризис».

успехи были поразительны, имела валовой национальный продукт на душу населения (1989) не больше, чем Португалия, являвшаяся беднейшим из членов Европейского сообщества (*World Bank Atlas, 1990, p. 7*). Также, если отбросить качественные различия, Южную Корею больше нельзя было сравнивать, допустим, с Папуа — Новой Гвинеей, хотя валовой национальный продукт на душу населения двух этих стран в 1969 году был равным, а в середине 1970-х годов увеличивался примерно одинаково; теперь же он примерно в пять раз больше в Южной Корее (*World Tables, 1991, p. 352, 456*). Как мы видели, в международной лексике появился новый термин — «новые индустриальные государства». Не имелось четкого определения, но «практически везде упоминаются четыре «тихоокеанских тигра» (Гонконг, Сингапур, Тайвань и Южная Корея), а также Индия, Бразилия и Мексика, причем также учитываются процессы индустриализации в таких государствах третьего мира, как Малайя, Филиппины, Колумбия, Пакистан и Таиланд, и они включаются в этот список. В действительности ряд стран, в которых индустриализация была проведена быстрыми темпами, перекрывает границы трех миров, поскольку, строго говоря, к нему также должны принадлежать такие индустриальные рыночные экономики (т. е. капиталистические страны), как Испания, Финляндия и большинство бывших социалистических государств Восточной Европы, не говоря уже о коммунистическом Китае (с конца 1970-х годов).

Фактически в 1970-е годы наблюдатели стали говорить о «новом международном разделении труда», т. е. о масштабном перемещении отраслей промышленного производства из промышленно развитых стран, которые прежде их монополизировали, в другие части света. Это происходило в некоторой степени вследствие намеренного переноса фирмами производства части или всей своей продукции из старого индустриального мира в страны второго и третьего мира, который сопровождался перемещением отдельных сегментов высокотехнологичных отраслей, включая научные исследования и экспериментальные разработки. Революция на транспорте и в средствах коммуникаций сделала такое всемирное производство не только возможным, но и экономически выгодным. Кроме того, за ним стояло и стремление правительств третьего мира обеспечить индустриализацию своих стран путем завоевания экспортных рынков, если это требовалось (хотя желательно было обойтись без этого), даже за счет внутреннего рынка.

Подобная глобализация экономики, в которой может убедиться каждый, поинтересовавшись страной — изготовителем товаров, продаваемых в любом торговом пассаже в Северной Америке, начавшись в 1960-е годы, резко ускорилась в десятилетия мировых экономических трудностей после 1973 года. Ее небывалые темпы иллюстрирует пример той же Южной Кореи, где 80% работающего населения еще в конце 1950-х годов было занято в сельском хозяйстве, обеспечивавшем почти три четверти национального дохода (*Rado,*

1962, p. 740, 742—743). В 1962 году она торжественно приступила к своему первому пятилетнему плану. К концу 1980-х годов Южная Корея получала от сельского хозяйства лишь 10 % своего валового национального продукта, став по объему промышленной экономики восьмой страной некоммунистического мира.

На третьем месте, в нижних строчках международной статистики расположился ряд стран, которые, даже используя дипломатические эвфемизмы, трудно было назвать развивающимися, поскольку они явно не только оставались бедными, но отставали все больше и больше. Подгруппа под названием «развивающиеся страны с низким доходом» была тактично создана для того, чтобы отделить три миллиарда человеческих существ, чей валовой национальный продукт на душу населения (если они его, конечно, получали) в 1989 году был в среднем равен 330 долларам, от 500 миллионов более счастливых жителей Земли. В эту же подгруппу попали Доминиканская Республика, Эквадор и Гватемала, где валовой национальный продукт был примерно в три раза выше, чем у аутсайдеров, и еще более благополучная группа стран (Бразилия, Малайзия, Мексика и прочие), где валовой национальный продукт был в среднем в восемь раз выше. (У 800 миллионов жителей стран, занесенных в наиболее процветающую подгруппу, валовой национальный продукт на душу населения составлял 18280 долларов, т. е. был в 55 раз выше, чем у двух пятых человечества в нижней части статистического списка (*World Bank Atlas, 1990, p. 10*.) В результате, когда мировая экономика становилась по-настоящему глобальной, а после распада советского сектора и все более капиталистической, в которой преобладающее влияние имел бизнес, инвесторы и предприниматели обнаружили, что большие участки этой экономики не представляют для них интереса в смысле прибыльности, если, конечно, не подкупать политиков и государственных чиновников для того, чтобы они пускали деньги, изъятые у несчастных граждан, на вооружение или престижные проекты*.

Непропорционально большое число таких стран можно было найти на злосчастном Африканском континенте. Конец «холодной войны» лишил эти страны экономической и военной помощи, которая превратила некоторые из них, как, например, Сомали, в вооруженные лагеря и потенциальные поля сражений.

По мере того как расслоение среди бедных увеличивалось, глобализация порождала людские потоки, пересекавшие границы между любыми регио-

* Как правило, примерно 5 % от 200 тысяч долларов обеспечивают помощь солидного чиновника не самого высокого ранга. За тот же процент от 2 миллионов долларов вы имеете дело с непременным секретарем, за процент от 20 миллионов долларов — с министром или высшим чиновничеством, а доля от 200 миллионов долларов «оправдывает серьезное внимание главы государства» (*Holman, 1993*).

нами. Из богатых стран туристы многочисленными, как никогда раньше, потоками устремлялись в третий мир. В середине 1980-х годов (1985), если взять только мусульманские страны, шестнадцатимиллионная Малайзия принимала три миллиона туристов в год, семимиллионный Тунис — два миллиона, трехмиллионная Иордания — два миллиона (*Din, 1989, p. 545*). Потоки рабочих-мигрантов из бедных стран, стремившиеся в богатые страны, превратились в огромные лавины там, где им не преграждали путь политические барьеры. К 1968 году мигранты из Магриба (Туниса, Марокко и, главным образом, Алжира) уже составляли почти четверть всех иностранцев во Франции (в 1975 году эмигрировало 5,5 % алжирского населения), а одна треть всех иммигрантов в США прибыла из Центральной Америки (*Potts, 1990, p. 145, 146, 150*). Однако миграция происходила не только в старые индустриальные страны. Число иностранных рабочих в нефтедобывающих государствах Ближнего Востока и Ливии резко возросло — с 1,8 до 2,8 миллиона за какие-нибудь пять лет (1975—1980) (*Population, 1984, p. 109*). Большинство из них составили выходцы из самого ближневосточного региона, однако значительное количество прибыло из Южной Азии и еще более далеких краев. К несчастью, в кризисные 1970-е и 1980-е годы миграцию рабочих все труднее стало отделить от потоков мужчин, женщин и детей, которые бежали или были насильственно выселены в результате политических или этнических преследований, международных или гражданских войн, сталкиваясь в странах первого мира (теоретически преданных идее помощи беженцам, а на практике препятствующих иммиграции из бедных стран) с жестокими проблемами политической и правовой казуистики. За исключением США и, в меньшей степени, Канады и Австралии, которые разрешали и поддерживали массовую иммиграцию из стран третьего мира, остальные развитые государства предпочитали не разрешать въезд нежелательным пришельцам из бедных стран под давлением растущей ксенофобии среди местного населения.

VI

Небывалый «большой скачок» мировой капиталистической экономики и ее растущая глобализация не только раскололи третий мир и подорвали саму его концепцию, но и подтолкнули всех его обитателей к вступлению в современный мир. Не все этого хотели. Безусловно, появление многих фундаменталистских и традиционалистских движений, в это время получивших распространение в некоторых странах третьего мира, главным образом в исламском регионе (но не только там), явилось протестом против вторжения современного мира, хотя это, конечно, не касается всех движений, к которым был приклеен

этот ярлык*. Однако даже фундаменталисты понимали, что сами являются частью мира, теперь ставшего иным, чем во времена их отцов. Он пришел к ним в виде пыльных автобусов и грузовиков на проселочных дорогах, топливных насосов, транзисторных радиоприемников на батарейках, которые принесли в их дом мировые события (даже неграмотные имели возможность слушать радио, хотя в большей степени этой возможностью пользовались те, кто переселился в город). Но в мире, где сельские жители мигрировали в города миллионами, даже в аграрных африканских странах, где городское население увеличилось и составило треть (или больше) всего населения — в Нигерии, Заире, Танзании, Сенегале, Гане, Береге Слоновой Кости, Чаде, Центрально-Африканской Республике, Габоне, Бенине, Замбии, Конго, Сомали, Либерии,— почти все или работали в городе, или имели там родственников. С этого времени город и деревня перемешались. Обитатели самых отдаленных регионов теперь жили в мире пластиковых скатертей, бутылок с кока-колой, дешевых кварцевых часов и нейлоновых изделий. По странной прихоти истории отсталые страны третьего мира даже начали извлекать коммерческую выгоду из стран первого мира. На улицах европейских городов небольшие группы странствующих индейцев из южноамериканских Анд играли на флейте свои меланхолические мелодии, а на тротуарах Нью-Йорка, Парижа и Рима негры из Западной Африки продавали белым безделушки, точно так же как делали предки этих белых во время своих торговых поездок на «Черный континент».

Большие города стали кузницами перемен хотя бы только потому, что являлись передовыми по определению. «В Лиме,— любил повторять своим детям один предприимчивый выходец из Анд,— больше прогресса, больше стимулов» (*Julca*, 1992). Хотя мигранты и использовали опыт прежнего существования для того, чтобы обустроить свою городскую жизнь по образцу сельских общин, слишком многое в городе было новым и незнакомым, слишком многие его обычаи контрастировали с их прежними представлениями. Нигде не ощущалось это столь наглядно, как в поведении молодых женщин, чей отрыв от традиций оплакивался повсеместно, от Африки до Перу. Юноша-индеец, перебравшийся в Лиму, жалуется в своей песне:

Раньше ты была деревенской девушкой
И жила высоко в горах.
Теперь ты в Лиме, завиваешь волосы по-городскому,
Говоришь ученые слова и танцуешь твист.

* Так, обращение населения к протестантским фундаменталистским сектам, обычное в странах Латинской Америки, является скорее модернистской реакцией на косность, воплощенную в местном католицизме. Другие формы фундаментализма, например в Индии, аналогичны этническому национализму.

Не будь манерной, не задирай нос,
Ведь наши волосы по-прежнему одного цвета.

(Mangin, 1970, p. 31—32) *

Прогресс постепенно распространялся и в сельской местности (даже там, где жизнь не изменилась под воздействием современных технологий и передовых форм организации труда) в результате произошедшей в 1960-е годы «зеленой революции» — введения новых селекционных культур, а также благодаря расширению производства новых экспортных культур для продажи на мировом рынке. Это стало возможно вследствие развития массовых воздушных перевозок скоропортящихся товаров (тропических фруктов, цветов) и появления новых потребительских вкусов в странах развитого мира (кокаин). Последствия таких изменений в сельских регионах нельзя недооценить. Нигде старое и новое не вступали в более резкое противоречие, чем на амазонской границе Колумбии, которая в 1970-е годы стала перевалочным пунктом на пути транспортировки боливийской и перуанской коки и местом расположения лабораторий, перерабатывающих ее в кокаин. Это произошло через несколько лет после того, как здесь поселились крестьяне-колонисты, сбжавшие от государства и от хозяев, которых защищали признанные поборники крестьянского образа жизни — повстанцы из коммунистической группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии». Здесь население, жившее фермерством и тем, что можно добыть с помощью ружья, собаки и рыболовной сети, столкнулось с рынком в его наиболее безжалостной форме. Как могли растущие на клочке земли юкка и бананы конкурировать с культурой, сулящей баснословные, хотя и нестабильные прибыли, а прежний образ жизни — с взлетно-посадочными полосами и возникшими в результате экономического подъема поселками изготовителей и продавцов наркотиков, с их барами и борделями? (Molano, 1988)

Действительно, преобразования коснулись сельской местности, но даже здесь они зависели от городской цивилизации и городской промышленности, поскольку достаточно часто сама сельская экономика зависела от заработка мигрантов, переселившихся в город. Именно так обстояло дело в так называемых «черных хоумлендах»** ЮАР времен апартеида, где производилось лишь 10—15% дохода населения, а остальные поступления шли из заработков рабочих-мигрантов на территориях, населенных белыми (Ripken and Wellmer, 1978,

* Или образец нового типа африканской девушки из нигерийской массовой литературы: «Девушки теперь не такие, как раньше — тихие, скромные игрушки своих родителей. Они пишут любовные письма. Они жеманятся. Они требуют подарков от своих дружков. Они даже обманывают мужчин. Они уже не бессловесные существа, которых можно заполучить, задоблив их родителей» (Nwoga, 1965, p. 178—179).

** Территория, отведенная для африканцев в ЮАР во времена апартеида (примеч. пер.).

р. 196). Парадоксально, что в странах третьего мира, как и в некоторых странах первого мира, город становился спасителем сельской экономики, которую, несмотря на всю ее значимость, покидали те, кто на мигрантском опыте (своем или соседей) понял, что у деревенской жизни есть альтернатива. Они обнаружили, что им необязательно батрачить всю жизнь, влача нищенское существование на клочке истощенной каменистой земли, как делали их предки. Начиная с 1960-х годов по всему земному шару множество сельских поселений с романтическими и поэтому малопригодными для сельского хозяйства пейзажами покинули все, кроме стариков. Однако высокогорные общины, чьи жители нашли нишу в экономике больших городов (например, продавая фрукты или, точнее, клубнику в Лиме), могли поддерживать или преобразовывать сельскую экономику, перейдя к несельскохозяйственным доходам с помощью сложного симбиоза мигрантского и местного хозяйства (Smith, 1989, chapter 4). Важно отметить, что в этом частном случае, который достаточно хорошо исследован, мигранты редко становились рабочими. Они предпочитали вливаться в огромную сеть теневой экономики третьего мира в качестве мелких торговцев. Ибо главным социальным новшеством в третьем мире стало возникновение и рост нового класса средней и мелкой буржуазии (образованного мигрантами, зарабатывавшими деньги множеством способов), основой экономической жизни которого (особенно в бедных странах) являлась теневая экономика, не входившая в официальную статистику.

Итак, в последней трети двадцатого века широкая брешь между малочисленной прозападной элитой стран третьего мира и народными массами стала сокращаться благодаря происходившим в обществе изменениям. Мы всё еще не знаем, когда это случилось и в каких формах выразились эти изменения, поскольку большинство развивающихся стран не имело удовлетворительных статистических служб, механизмов изучения общественного мнения и рыночных изменений, а также необходимых социологических кадров. Поскольку на ранних стадиях преобразования, происходящие в широких слоях общества, нелегко обнаружить даже в странах с самыми лучшими статистическими службами, появление новой социальной и культурной моды в молодежной среде бывает непредсказуемо и зачастую не замечается даже теми, кто извлекает из этого доход, как, например, индустрия поп-культуры. Однако в городах третьего мира бесспорно наблюдались сдвиги в сознании средних и низших классов. Эти сдвиги были заметны даже в такой отсталой стране, как Бельгийское Конго (теперь Заир), иначе как можно объяснить тот факт, что разновидность поп-музыки, родившаяся здесь в застойные 1950-е годы, в 1960-е и 1970-е годы стала в Африке самым популярным направлением? (Manuel, 1988, p. 86, 97—101) И чем объяснить подъем политического самосознания, который в 1960-е годы побудил Бельгию предоставить Конго независимость фактически по первому требованию, хотя до того эта коло-

ния, одинаково враждебно относившаяся к туземному образованию и к политической активности среди местного населения, казалась большинству наблюдателей «столь же отрезанной от остального мира, как Япония перед реставрацией Мэйдзи»? (*Calvocoressi, 1989, p. 377*)

Несмотря на катаклизмы 1950-х годов, к 1960-м и 1970-м признаки важных социальных изменений были уже вполне очевидны в Западном полушарии, исламском мире и основных странах Южной и Юго-Восточной Азии. Парадоксально, что наименее заметны они были в странах социалистического лагеря, тесно соприкасавшихся с третьим миром, а именно в советской Средней Азии и на Кавказе. Редко обращают внимание на тот факт, что коммунистическая революция стала средством сохранения традиционных жизненных устоев. Направив свои усилия на преобразование четко определенных аспектов жизни — государственной власти, отношений собственности, экономической структуры и т. п., — она заморозила другие ее стороны в их предреволюционной форме или хотя бы защитила их от постоянных изменений, происходивших в капиталистическом обществе. Во всяком случае, ее самое сильное оружие — абсолютная государственная власть — оказалось менее эффективным в изменении человеческого поведения, чем считали идеологи, прославлявшие «человека нового социалистического общества» и клеймившие «тоталитаризм». Узбеки и таджики, жившие к северу от советско-афганской границы, были образованными и более цивилизованными и богатыми, чем те, кто жил к югу от нее, однако обычаи тех и других не имели резких различий, как можно было ожидать после семидесяти лет социализма. Кровавая месть была, возможно, не главной заботой советской власти на Кавказе начиная с 1930-х годов (хотя факт возникновения наследственной вражды из-за гибели человека в колхозной молотилке в годы коллективизации вошел в анналы советской юриспруденции). Даже спустя более полувека, в начале 1990-х годов, наблюдатели предупреждали об «опасности национального самоистребления (в Чечне), поскольку большинство чеченских семей втянуто в отношения кровной мести» (*Trofimov/Djangava, 1993*).

Культурные последствия этих социальных преобразований еще ждут своего историка. Здесь не место для их рассмотрения, хотя очевидно, что даже в самых консервативных социумах система взаимных обязательств и обычаев подвергалась все большим перегрузкам. «Многочисленная семья в Гане, как и повсюду в Африке, находится под воздействием колоссального стресса. Ее основы рушатся, подобно основам моста, по которому долго двигался слишком большой поток транспорта (...) Сельских стариков и городскую молодежь разделили сотни миль плохих дорог и века цивилизации» (*Harden, 1990, p. 67*).

С политической точки зрения проще оценить эти парадоксальные перемены. После вступления основной части населения, по крайней мере молодежи и городских жителей, в современную эпоху монополия малочисленных про-

западных элит, написавших первую главу постколониальной истории, была подвергнута сомнению. Вместе с ней под сомнение были поставлены программы, идеологии, даже словарь политического дискурса — всё, на чем строились новые государства. Новые представители городского населения, новые средние классы, какими бы образованными они ни были, просто в силу своей численности не могли походить на прежние элиты, чувствовавшие себя на равных с колониалистами и своими коллегами — выпускниками европейских или американских школ. Часто (это было особенно заметно в Южной Азии) эти элиты вызывали недовольство населения. Во всяком случае, массы бедняков не разделяли их веры в рожденную девятнадцатым веком идею секулярного прогресса. В мусульманских странах конфликт между старыми светскими лидерами и новой исламской народной демократией становился все более взрывоопасным. От Алжира до Турции ценности, которые в странах западного либерализма ассоциируются с конституционным правлением и торжеством закона, как, например, права женщин (там, где они существовали), приходилось защищать от демократии с помощью армии. Это делали вожди, некогда освободившие свои страны от колонизаторов, или их наследники.

Этот конфликт не ограничился только исламскими странами, так же как и протест против прежних ценностей прогресса не ограничивался лишь массами бедного населения. Отстаиваемая индийской партией Джаната идеология индуистской исключительности пользовалась значительной поддержкой нового бизнеса и средних слоев общества. Неистовый религиозно-этнический национализм, который в 1980-е годы превратил мирную Шри-Ланку в военную мясорубку, сравнимую только с Сальвадором, возник в процветающей буддистской стране совершенно неожиданно. Он стал следствием двух социальных трансформаций — глубокого кризиса в деревне, где рухнул социальный порядок, и массового роста прослойки образованной молодежи (*Spencer, 1990*). Деревенское общество, подвергшееся изменениям вследствие миграции населения в город и обратно и растущего расслоения на бедных и богатых, которые принесла с собой экономика наличных денег, ставшее социально нестабильным вследствие исчезновения физических и лингвистических признаков касты и статуса, разделявших людей, но также определявших их положение, теперь жило в постоянной тревоге за свою целостность. Этим, среди прочего, стали объяснять появление новых символов и ритуалов духовного единения, например внезапное развитие приходских форм буддистского богослужения в 1970-е годы, заменивших старые частные и домашние формы отправления религиозных обрядов, или введение в школах спортивных дней, начинавшихся с прослушивания национального гимна, звучавшего со взятых напрокат кассет.

Такой была политика изменяющегося и взрывоопасного мира. Еще менее предсказуемой ее делало то, что во многих странах третьего мира общена-

циональной политики в том смысле, как понимают ее на Западе со времен французской революции, или не существовало вовсе, или не имелось рычагов для ее функционирования. Там, где наличествовали давние политические традиции с народными корнями или хотя бы молчаливая поддержка массами «политических классов», которые ими руководили, определенную степень преемственности все же можно было поддерживать. Колумбийцы, как знают читатели Гарсиа Маркеса, продолжали рождаться маленькими либералами или маленькими консерваторами, как это было сто лет назад, хотя содержимое бутылок давно могло не соответствовать этикеткам. Индийский национальный конгресс преобразовывался, реформировался и делился на части за полвека, прошедшие с обретения независимости, однако до всеобщих выборов 1990 года, за незначительным исключением, в него продолжали выбирать тех, кого волновали его исторические цели и традиции. Хотя коммунизм и рушился в других частях Индии, благодаря левым традициям, укоренившимся в Западной Бенгалии, а также компетентному управлению, осуществляемому коммунистической (марксистской) партией Индии, коммунисты почти непрерывно возглавляли этот индийский штат, где символами антиколониальной борьбы против Великобритании всегда были не Ганди и даже не Неру, а террористы и Субха Боз.

Кроме того, структурные изменения сами по себе могли увлечь политику в направлениях, знакомых по истории стран первого мира. В «новых индустриальных странах» стал развиваться промышленный рабочий класс, требовавший прав для рабочих и создания профсоюзов, что видно на примере Бразилии, Южной Кореи и, конечно, Восточной Европы. Им не нужно было создавать политические рабочие и одновременно народные партии, напоминающие массовые социал-демократические движения, существовавшие в Европе перед Первой мировой войной, хотя примечательно то, что в Бразилии в 1980-е годы была создана именно такая успешная национальная партия — Рабочая партия (РТ). (Традиции рабочего движения, возникшего в своей родной среде — например, на автомобильных заводах Сан-Паулу, — представляли собой пеструю смесь воинствующего популизма и коммунизма, воззрений левой интеллигенции, а также идеологии католического духовенства, помогавшего этому движению встать на ноги.) * К тому же благодаря быстрому промышленному росту появился многочисленный класс образованных профессионалов, который, хотя и был далек от революционных выступлений,

* За исключением социалистической ориентации одной и антисоциалистической идеологии другой, сходство между бразильской Рабочей партией и современным польским движением «Солидарность» было поразительным: наличие настоящего пролетарского лидера — электрика с судоверфи или квалифицированного автомобилиста, мозги интеллектуалов и сильная поддержка Церкви. Это сходство становится даже больше, если мы вспомним, что Рабочая партия стремилась заменить коммунистическую организацию, которая ей противостояла.

приветствовал либерализацию авторитарных режимов промышленно развивающихся стран. Такое стремление к либерализации в 1980-е годы можно было найти в различных контекстах и с разными последствиями в Латинской Америке и дальневосточных странах, вступивших на путь индустриализации (Южная Корея и Тайвань), а также в государствах советского блока.

Однако имелись обширные пространства третьего мира, где политические последствия социальных преобразований было невозможно предвидеть. Несомненными здесь были только нестабильность и взрывоопасность, сохранявшиеся в течение полувека после Второй мировой войны.

Теперь нам предстоит обратиться к той части земного шара, которая для большей части стран третьего мира после деколонизации оказалась более подходящей и вдохновляющей моделью развития общества, чем Запад,— странам второго мира, социалистическим системам, созданным по образцу Советского Союза.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

«Реальный социализм»

Октябрьская революция не только эпохально разделила мир, создав первое посткапиталистическое государство и общество, но также разделила марксизм и социалистическую политику ⟨...⟩ После Октябрьской революции социалистическая стратегия и перспективы стали основываться на политических прецедентах, а не на анализе капитализма.

Горан Терборн (Göran Therborn, 1985, p. 227)

Сегодняшние экономисты ⟨...⟩ гораздо лучше, чем раньше, понимают, в чем отличие реальных способов работы экономики от официальных. Они знают о «второй экономике», может быть, даже и о третьей, т. е. о хитро-сплетении широко применяемых закулисных махинаций, без которых ничего не работает.

Моше Левин (Kerblay, 1983, p. xxii)

I

После того как в начале 1920-х годов улеглась пыль сражений мировой и гражданской войн и затянулись раны, большая часть того государства, которое до 1914 года являлось православной Россией, по-прежнему оставалась империей. Однако теперь эта империя находилась под властью большевиков и строила социализм. Это была единственная из древних династических и религиозных империй, которая выжила в Первой мировой войне, разрушившей и Османскую империю, султан которой являлся духовным главой всех правоверных мусульман, и империю Габсбургов, поддерживавшую особые отношения с Римско-католической церковью. Обе эти империи рухнули в результате тяжелых последствий поражения в Первой мировой войне. То, что Россия выжила как единое многонациональное государство, простирающееся от польской границы на западе до японской на востоке, произошло почти наверняка благодаря Октябрьской революции, поскольку конфликты, разру-

шившие более древние империи, проявились в Советском Союзе в конце 1980-х годов, когда вышла из строя коммунистическая система, удерживавшая этот союз с 1917 года. Что бы ни происходило в дальнейшем, возникшее в 1920-х годах государство было единым, хотя и крайне обнищавшим и отсталым — гораздо более отсталым, чем даже царская Россия, однако имело огромные размеры («одна шестая часть суши», как любили хвастаться коммунисты). Его целью являлось построение общества, отличного от капитализма и противостоящего ему.

В 1945 году границы региона, отколовшегося от мировой капиталистической системы, резко расширились. В Европе они теперь включали всю территорию к востоку от Эльбы в Германии до Адриатического моря, а также весь Балканский полуостров, за исключением Греции и малой (европейской) части Турции. Польша, Чехословакия, Венгрия, Югославия, Румыния, Болгария и Албания теперь входили в социалистическую зону, так же как и территория Германии, после войны оккупированная Красной армией, а в 1954 году ставшая Германской Демократической Республикой. Большая часть территорий, потерянных Россией в результате Первой мировой войны и революции 1917 года, как и один или два региона, ранее принадлежавших империи Габсбургов, также отошли к Советскому Союзу в период с 1939 по 1945 год. Одновременно будущий социалистический лагерь довольно широко распространился на Дальнем Востоке после установления коммунистических режимов в Китае (1949 год) и частично в Корее (1945 год), а также в ходе тридцатилетней войны (1945—1975) на территории бывшего Французского Индокитая (Вьетнам, Лаос, Камбоджа). Позже имело место еще некоторое расширение коммунистического лагеря в Западном полушарии (Куба — 1959 год), а также в Африке (1970-е годы), однако в основном мировой социалистический сектор принял свои очертания к 1950 году. Благодаря огромному числу китайцев теперь он включал около трети населения земного шара, хотя, как правило, социалистические государства, за исключением Китая, СССР и Вьетнама (58 миллионов), не были особенно велики. Их население составляло от 1,8 миллиона в Монголии до 36 миллионов в Польше.

Это была та часть земного шара, общественные системы которой в 1960-е годы на языке социалистической идеологии назывались «реальным социализмом» — не совсем ясный термин, как будто бы подразумевавший, что могут быть и другие, лучшие виды социализма, однако на практике имелся единственный реально работавший вид. Этот регион отличался еще и тем, что на его европейской территории социально-экономические системы наряду с политическими режимами полностью рухнули на границе 1980-х и 1990-х годов. На Востоке эти политические системы пока что удерживают свои позиции, хотя предпринятая ими в различных масштабах экономическая реорганизация закончилась ликвидацией социализма в традиционном

понимании этого слова, особенно в Китае. Отдельные режимы в других частях света, копировавшие «реальный социализм» или вдохновленные им, также потерпели крах или дошли до грани разрушения.

Первая особенность социалистического сектора заключается в том, что на протяжении большей части своего существования он являлся обособленной и в значительной степени замкнутой системой как в политическом, так и в экономическом отношении. Его взаимодействие с остальной мировой экономикой, капиталистической или находящейся под влиянием развитых капиталистических стран, было крайне ограниченным. Даже на пике подъема международной торговли в «золотую эпоху» лишь около 4 % экспорта развитых рыночных стран поступало в экономики с централизованным планированием; к 1980-м годам доля экспорта из стран третьего мира в страны социалистического лагеря была ненамного больше. Экспорт социалистических стран в страны остального мира несколько превышал их импорт, однако при этом две трети их внешней торговли в 1960-е годы (1965) приходилось на страны их собственного лагеря* (*UN International Trade, 1983, vol. 1, p. 1046*).

По объективным причинам передвижение населения из стран первого в страны второго мира было невелико, хотя некоторые восточноевропейские государства с 1960-х годов начали поощрять массовый туризм. Эмиграция в несоциалистические страны, так же как и временные поездки, строго контролировалась, а иногда и просто запрещалась. Политические системы социалистических стран, построенные преимущественно по образцу советской системы, нигде в мире не имели реальных аналогов. Они были созданы на основе строго иерархической и авторитарной однопартийной системы, монополизировавшей государственную власть, — иногда она фактически заменила собой государство, управляя командной экономикой с централизованным планированием и (по крайней мере теоретически) навязывая единую принудительную марксистско-ленинскую идеологию жителям своей страны. Сегрегация, или самоизоляция, «социалистического лагеря» (как, по советской терминологии, он стал называться с конца 1940-х годов) постепенно начала разрушаться в 1970-е и 1980-е годы. Тем не менее сама степень взаимной неосведомленности и непонимания, сохранявшаяся между двумя этими мирами, была огромна, особенно если вспомнить, что это был период, когда в сфере путешествий и средств коммуникаций произошли революционные преобразования. Долгое время очень мало информации о странах социалистического лагеря выходило за их пределы и так же мало сведений о других частях света проникало внутрь. В свою очередь, даже не специалисты, а просто образованные и умудренные опытом жители стран первого мира часто обнаруживали,

* Строго говоря, эти данные относятся к СССР и ближайшим сателлитам, но по ним можно судить о порядке цифр.

что не могут осмыслить то, что видели или слышали в странах, прошлое и настоящее которых так сильно отличалось от их собственного и язык которых зачастую был для них слишком сложен.

Однако основная причина разделения двух этих лагерей, без сомнения, была политической. Как мы знаем, после Октябрьского переворота Советская Россия видела в мировом капитализме врага, которого следует как можно быстрее разгромить, совершив мировую революцию. Однако этого не произошло, и Советская Россия оказалась изолированной и окруженной капиталистическими странами, самые могущественные из которых вначале хотели воспрепятствовать становлению этого центра мировой подрывной деятельности, а позднее разрушить его как можно скорее. Сам факт, что США до 1933 года официально не признавали существования СССР, хорошо иллюстрирует его первоначальный статус изгоя. Даже когда Ленин, который всегда реально оценивал ситуацию, был готов пойти на существенные уступки иностранным инвесторам в ответ на их поддержку российской экономики, на практике он не нашел желающих. Таким образом, молодой Советский Союз был вынужден следовать курсу самостоятельного развития фактически в полной изоляции от остальной мировой экономики. Как ни парадоксально, но вскоре именно это оказалось самым убедительным идеологическим аргументом в его пользу. Казалось, что СССР был застрахован от той глобальной экономической депрессии, которая разрушила капиталистическую экономику после краха на Уолл-стрит в 1929 году.

Политические факторы стали причиной изоляции советской экономики в 1930-е годы и затем еще большего обособления советской зоны влияния после 1945 года. «Холодная война» заморозила как экономические, так и политические отношения между двумя противостоящими лагерями. Практически все экономические связи, кроме самых незначительных, с обеих сторон подвергались жестокому государственному контролю. Торговля между двумя блоками зависела от политических отношений. Только в начале 1970-х и 1980-х годов появились признаки того, что изолированное экономическое пространство социалистического лагеря начинает интегрироваться в мировую экономику. Оглядываясь назад, мы можем видеть, что именно это стало началом конца «реального социализма». Трудно найти теоретическое объяснение тому, отчего советская экономика, пережившая революцию и гражданскую войну, не смогла наладить более тесных отношений с мировой экономикой. Ведь система централизованного планирования и экономика западного типа могут быть тесно взаимосвязаны, что доказывает пример Финляндии, которая в 1983 году получала из СССР четверть своего импорта и отправляла туда четверть своих экспортных товаров. Впрочем, для историка интерес представляет реальный, а не гипотетический социалистический лагерь.

Основное обстоятельство, касающееся Советской России, заключалось в том, что ее новые правители, большевики, не ожидали, что страна выживет в изоляции, не говоря уже о том, что она станет ядром самодостаточной коллективистской экономики («социализм в одной отдельно взятой стране»). Ни одного из условий, которые Маркс или кто-либо из его последователей прежде полагали существенными для развития социалистической экономики, не существовало на этой огромной территории, фактически считавшейся в Европе синонимом экономической и социальной отсталости. Основатели марксизма видели задачу русской революции лишь в том, чтобы вызвать волну революций в более промышленно развитых странах, где имелись предпосылки для построения социализма. Казалось, что именно это и произошло в 1917—1918 годах, и этим оправдывалось весьма спорное (по крайней мере в марксистской среде) решение Ленина взять курс на построение советской власти и социализма. Ленин считал, что Москва станет только временной штаб-квартирой социализма до тех пор, пока он не переместится в свою постоянную столицу — Берлин. Не случайно официальным языком Коммунистического интернационала, учрежденного в 1919 году в качестве генерального штаба мировой революции, был не русский, а немецкий.

Когда стало ясно, что на данный период, который вряд ли будет коротким, Советская Россия — единственная страна, где победу одержала пролетарская революция, логичная и фактически единственная убедительная политика для большевиков состояла в том, чтобы как можно скорее преобразовать ее из отсталой страны в страну с процветающей экономикой и обществом. Самым очевидным из известных путей представлялось сочетание тотального наступления на культурную отсталость невежественных, неграмотных и суеверных масс с всеобъемлющей технической модернизацией и промышленной революцией. Поэтому советская модель коммунизма стала образцом в первую очередь для отсталых стран, желавших преодолеть свою отсталость. Подобная концентрация сверхбыстрого экономического роста имела определенную привлекательность и для развитого капиталистического мира в «эпоху катастроф», когда он тщетно искал способы восстановления динамизма своей экономики. Еще более актуальной эта политика была для стран, находящихся за пределами Западной Европы и Северной Америки, большинство из которых в аграрной отсталой Советской России узнавало самих себя. Казалось, что советский способ экономического развития — централизованное государственное планирование, направленное на сверхбыстрое построение основных отраслей промышленности и инфраструктур, необходимых современному промышленно развитому обществу, — создан именно для них. Москва являлась не только более привлекательной, чем Детройт или Манчестер, поскольку была символом антиимпериализма; ее модель лучше подходила для стран, не обладавших ни частным капиталом, ни большим частным сек-

тором в промышленности. «Социализм» в этом смысле после Второй мировой войны вдохновил ряд только что обретших независимость колониальных стран, правительства которых, однако, отвергли коммунистическую политическую систему (см. главу 12). Поскольку страны, вошедшие в советский блок, также были отсталыми и аграрными, за исключением Чехословакии, будущей Германской Демократической Республики и (правда, в меньшей степени) Венгрии, советский экономический рецепт, казалось, им тоже подходил, и новые правители этих государств устремились к выполнению задачи экономического строительства с подлинным энтузиазмом. К тому же на первых порах эта модель казалась эффективной. Между Первой и Второй мировыми войнами, особенно в 1930-е годы, уровень роста советской экономики опережал все остальные страны, за исключением Японии, а в первые пятнадцать лет после Второй мировой войны экономики стран социалистического лагеря развивались настолько быстрее экономик западных стран, что советские лидеры, в частности Никита Хрущев, искренне верили, что при таком экономическом росте социализм в недалеком будущем перегонит по уровню производства капиталистические страны, причем такого же мнения придерживался и британский премьер-министр Гарольд Макмиллан. Почти ни один экономический обозреватель в 1950-е годы не сомневался, что так и будет.

Как ни странно, никаких рассуждений ни по поводу «планирования», являющегося основным условием социализма, ни по поводу быстрой индустриализации с приоритетом тяжелых отраслей промышленности нельзя было найти в работах Маркса и Энгельса, хотя обобщественная экономика предполагает планирование. Но социалисты, марксисты и им подобные до 1917 года были слишком заняты борьбой с капитализмом, чтобы размышлять о природе экономики, которая придет на смену капиталистической, а после Октябрьской революции Ленин, по его собственным словам, погружая одну ногу в глубокие воды социализма, не делал попыток нырнуть в неизвестное. Только вызванный гражданской войной кризис ускорил события. В середине 1918 года он привел к национализации всех отраслей промышленности и к военному коммунизму, с помощью которого приведенное в боевую готовность государство большевиков начало сражение не на жизнь, а на смерть против контрреволюции и иностранной интервенции и пыталось создать для этого ресурсы. Все военные экономики, даже в капиталистических странах, включают планирование и государственный контроль. Кстати, ленинское планирование вдохновлялось немецкой военной экономикой 1914—1918 годов (которая, как мы видели, была не лучшей моделью для своего времени). Коммунистическая военная экономика по своей природе имела принципиальную тенденцию к замене частной собственности и управления на общественные и к упразднению рынка и механизмов ценообразования, в частности, потому, что они были бесполезны в годы войны. Конечно, среди коммунистов су-

ществовали идеалисты вроде Николая Бухарина, видевшие в гражданской войне возможность заложить основы коммунистической утопии и рассматривавшие суровую кризисную экономику с постоянной нехваткой жизненно необходимого и «натуральным», а не кредитно-денежным распределением основных товаров (хлеба, одежды, билетов на трамвай) как спартанское предвосхищение этого социального идеала. Но когда советский режим вышел победителем из сражений 1918—1920 годов, стало очевидно, что военный коммунизм, как бы он ни был необходим в свое время, не может продолжаться, отчасти потому, что крестьяне восставали против насильственной экспроприации зерна, являвшегося основой их существования, а рабочие против тяжелой жизни, отчасти потому, что военный коммунизм не обеспечивал эффективных мер по восстановлению экономики, которая, по существу, лежала в руинах: производство железа и стали упало с 4,2 миллиона тонн в 1913 году до 200 тысяч в 1920-м.

В 1921 году Ленин с присущим ему реализмом ввел новую экономическую политику (НЭП), которая фактически восстановила рынок и, по его собственным словам, стала отступлением от военного коммунизма к «государственному капитализму». Но поскольку это произошло в то время, когда уже пришедшее в упадок производство в России снизилось до 10 % довоенного объема (см. главу 2), главной задачей для советского правительства стала широко-масштабная индустриализация с помощью государственного планирования. И после того как НЭП покончил с военным коммунизмом, государственный контроль и принуждение оставались единственной известной моделью экономики, основанной на обобщественной собственности и управлении. Первый планирующий орган — Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО), созданная в 1920 году, — был направлен на техническую модернизацию, однако ГОСПЛАН, учрежденный в 1921 году, имел более широкие задачи. Под этим названием он просуществовал до развала СССР. Он стал предшественником и прообразом всех государственных учреждений, созданных для планирования и управления макроэкономикой в двадцатом веке.

Новая экономическая политика стала в России объектом ожесточенных споров в 1920-е годы и вновь в начале правления Горбачева в 1980-е годы, но уже по противоположным причинам. В 1920-е годы ее бесспорно считали поражением коммунизма или, по крайней мере, отходом колонн, марширующих к социализму, с главной дороги, на которую, рано или поздно, эти колонны должны вернуться. Радикалы, в частности последователи Троцкого, хотели как можно быстрее покончить с НЭПом и начать массовый переход к индустриализации. Эту политику в конечном итоге и стал осуществлять Сталин. Умеренные политики во главе с Бухариным, считавшим необходимым отказаться от ультрарадикализма военного коммунизма, стояли за политические и экономические ограничения правительства, руководившего страной с

еще более явным, чем до революции, преобладанием крестьянского хозяйства. Они предпочитали постепенные преобразования. Ленин не мог ясно выразить свои взгляды на эту проблему после удара, перенесенного им в 1922 году (он дожил только до начала 1924 года), но, судя по всему, тоже предпочитал постепенные преобразования. С другой стороны, в полемике 1980-х годов нашли отражение поиски исторической альтернативы сталинизму, пришедшему на смену НЭПу,—иного пути к социализму, отличного от того, который наметили правые и левые большевики в 1920-е годы. В ретроспективе Бухарин виделся чем-то вроде предтечи Горбачева.

Теперь эта полемика уже не актуальна. Оглядываясь назад, мы видим, что первоначальное оправдание решения об установлении власти большевиков в России утратило смысл, когда «пролетарская революция» не смогла победить в Германии. Еще хуже было то, что Россия вышла из гражданской войны совершенно разоренной и гораздо более отсталой, чем до революции. Правда, она избавилась от царя, дворянства и буржуазии. Два миллиона русских оказались в эмиграции, лишив советское государство значительной части квалифицированных кадров. Было остановлено промышленное развитие, происходившее в царскую эпоху. Большинство промышленных рабочих, составлявших социальную и политическую базу большевистской партии, исчезли в вихре гражданской войны или превратились в правительственных и партийных чиновников. Осталась только Россия, еще глубже увязшая в прошлом, крестьянская масса, застывшая в неподвижности в восстановленных деревенских общинах, которым революция (вопреки постулатам раннего марксизма) дала землю или, скорее, распределение земли между которыми в 1917—1918 годах она приняла как необходимую цену своей победы и выживания. Во многих отношениях НЭП явился коротким «золотым веком» крестьянской России, над которой как бы парила партия большевиков, поскольку она никого уже не представляла. Как предвидел со своей обычной прозорливостью Ленин, этой партии и впредь предстояло оставаться у власти. Альтернативы не существовало. Но при этом страной фактически управляла прослойка крупных и мелких бюрократов, в среднем гораздо менее образованных и компетентных, чем раньше.

Какой же выбор имел этот режим, изолированный от остального мира, бойкотировавшийся иностранными правительствами и капиталистами и уверенно экспроприировавший российское имущество и капиталовложения? После 1920 года НЭПу, безусловно, блестяще удалось поднять из руин советскую экономику. К 1926 году советское промышленное производство отчасти достигло своего довоенного уровня, хотя это значило не так уж много. СССР оставался все той же почти исключительно аграрной страной, что и в 1913 году (крестьяне по-прежнему составляли 82% населения) (*Bergson/Levine, 1983, p. 100; Nove, 1969*), и лишь 7,5% населения было занято вне сельско-

го хозяйства. Что эта масса крестьян хотела продавать городу, что она хотела там покупать, какую часть своего дохода желала сберечь и сколько человек из многих миллионов, выбравших в свое время жизнь и работу в деревне, а не городскую нищету, теперь предпочли бы покинуть свои хозяйства — все эти вопросы определяли экономическое будущее России, поскольку помимо дохода от государственных налогов страна не имела никаких других источников денежных средств. Если не брать во внимание политические соображения, продолжение НЭПа, видоизмененного или нет, в лучшем случае привело бы лишь к умеренной индустриализации. Кроме того, без наличия развитой промышленности крестьяне не могли купить в городе достаточно товаров, чтобы хотеть продавать свои излишки. Этому обстоятельству (известному как «ценовые ножницы») суждено было стать петлей, в конце концов задушившей НЭП. Шестьдесят лет спустя аналогичные «ножницы» подорвали горбачевскую перестройку. Почему, рассуждали советские рабочие, они должны повышать производительность труда, чтобы получать более высокую заработную плату, раз экономик не производит достаточно промышленных товаров, которые можно купить на эти более высокие зарплаты? Но как можно было насытить потребительский рынок, пока советские рабочие не повысят свою производительность?

Поэтому трудно было рассчитывать на то, что НЭП, т. е. сбалансированное экономическое развитие, основанное на крестьянской рыночной экономике, управляемой государством, станет длительной стратегией. Для режима, избравшего социалистический путь развития, главными, безусловно, являлись политические аргументы, которые отвергали НЭП. Разве он не направил еще слабые силы нового общества на производство незначительных предметов потребления и создание мелких предприятий, вновь возрождавших только что свергнутый капитализм? И все же большевистскую партию заставляла колебаться возможная цена альтернативного варианта. Он означал индустриализацию силовыми методами — вторую революцию, но теперь уже не снизу, а навязанную сверху государственной властью.

Сталин, руководивший последующей железной эпохой в истории СССР, был автократом, отличавшимся исключительной, можно сказать уникальной, жестокостью, беспощадностью и отсутствием угрызений совести. Мало кто мог развернуть террор в столь широких масштабах. Не вызывает сомнений, что под руководством другого лидера большевистской партии страдания народов СССР были бы не так велики, а число жертв несравнимо меньше. Тем не менее любая политика быстрой модернизации в СССР в условиях того времени должна была быть беспощадной и, поскольку она навязывалась огромному количеству людей и требовала серьезных жертв, принудительной. Централизованная командная экономика, руководившая осуществлением «планов», неминуемо должна была быть похожа скорее на военное сражение, чем

на экономическую акцию. С другой стороны, так же как и военные акции, нравственно оправданные в глазах населения, эта головокружительная индустриализация первых пятилеток (1924—1941) порождала поддержку благодаря «крови, слезам, тяжкому труду и поту», требовавшимся от людей. По словам Черчилля, жертвоприношение само по себе может служить мотивацией. Как ни трудно в это поверить, сталинская система, снова превратившая крестьян в привязанных к земле крепостных и сделавшая важные секторы экономики зависимыми от труда заключенных ГУЛАГа (составлявших от 4 до 13 миллионов) (*Van der Linden, 1993*), получала почти повсеместную поддержку, хотя, конечно, не среди крестьянства (*Fitzpatrick, 1994*).

Плановая экономика пятилеток, пришедшая на смену НЭПу в 1928 году, неизбежно оказалась грубым инструментом, гораздо более грубым, чем сложные расчеты первых экономистов Госплана в 1920-х годах, которые, в свою очередь, были гораздо более грубыми, чем инструментарий, имевшийся в распоряжении правительств и крупных корпораций в конце двадцатого века. По существу, задачей плановой экономики являлось создание новых отраслей промышленности, а не осуществление их работы, и она немедленно отдала приоритет тяжелой промышленности и энергетике, служащим базисом любой большой промышленной отрасли экономики — угольной, металлургической, нефтяной и т. д. Исключительное сырьевое богатство СССР делало этот выбор не только логичным, но и удобным. В любой военной экономике (а советская плановая экономика и являлась родом военной экономики) цели производства могут, а зачастую и должны достигаться без учета цены и эффективности затрат. Как и в других подобных экстремальных случаях, наиболее действенный способ достижения целей в намеченные сроки — жесткие приказы, заставляющие трудиться изо всех сил. Формой управления такой экономикой становится кризис. Принципом работы советской экономики стало нарушение стандартных процедур постоянными авралами по приказу сверху. Никита Хрущев позднее тщетно старался найти способ заставить эту систему работать иначе, чем подчиняясь окрикам (*Khrushchev, 1990, p. 18*). Сталин же целенаправленно использовал штурмовые методы, сознательно ставя недостижимые цели, вдохновлявшие на нечеловеческие усилия.

Кроме того, поставленные цели должны были осуществляться повсюду, даже в самых отдаленных поселениях Азии, с помощью администраторов, управляющих, технологов и рабочих, которые, по крайней мере в первом поколении, были неопытны, плохо образованы и привыкли к деревянной сохе, а не к техническим новшествам. (Художник-карикатурист Дэвид Лоу, после посещения СССР в начале 1930-х годов, сделал набросок девушки-колхозницы, безуспешно пытающейся подоить трактор.) Примитивизм торжествовал повсюду, за исключением высшего начальства, по этой причине и несшего ответственность за все более тотальную централизацию. Как Наполеону и

его начальнику штаба некогда пришлось отвечать за военную некомпетентность своих маршалов, в основном произведенных из простых полевых офицеров, так и в советской системе принятие решений все больше концентрировалось на самом верху. Сверхцентрализация Госплана компенсировала нехватку руководителей на местах. Следствием подобного положения вещей стала невероятная бюрократизация экономического аппарата и всех других частей системы*.

Пока экономика оставалась на низком уровне и служила лишь фундаментом для современной промышленности, эта сработавшая на скорую руку система, созданная главным образом в 1930-е годы, действовала. Она даже вырабатывала определенную маневренность, правда, тоже достаточно примитивную. В то время, ставя перед собой задачи одного порядка, не обязательно было тут же ставить другие, вытекающие из предыдущих, как это происходит в сложных лабиринтах современной экономики. В действительности, в отсталой стране, изолированной от иностранной помощи, командная индустриализация, со всеми ее издержками и недостатками, принесла впечатляющие результаты. Благодаря ей СССР за несколько лет превратился в мощнейшую промышленную державу, которая, в отличие от царской России, смогла одержать победу в войне с Германией и выжить, несмотря на временную потерю территорий, на которых проживала треть ее населения, и разрушение половины своих промышленных предприятий. Следует добавить, что едва ли можно найти какой-либо другой режим, при котором люди готовы были приносить жертвы, выпавшие на долю русского народа во время войны (*Milward, 1979, p. 92—97*) и в 1930-е годы. Хотя система поддерживала нищенский уровень потребления у населения (в 1940 году было произведено лишь немногим более одной пары обуви на каждого жителя СССР), она гарантировала этот социальный минимум. Она давала людям работу, пищу, одежду и жилье, контролируемые цены и дозируемую квартплату, пенсии, медицинскую помощь и равенство, пока система привилегий для «номенклатуры» не вышла из-под контроля после смерти Сталина. Еще более широко советская система заботилась об образовании. Превращение в основном неграмотной страны в современный СССР по любым стандартам являлось выдающимся достижением. Для многомиллионного деревенского населения, для которого даже в самые тяжелые времена советское развитие означало открытие новых горизонтов, выход из темноты и невежества в город, к свету и прогрессу, не говоря уже о личных успехах и карьере, этот способ построения нового общества был вполне убедителен. Во всяком случае, другого оно не знало.

* «Если четкие инструкции должны быть выпущены для каждой группы товаров и каждой производственной единицы, да еще при отсутствии многоуровневого планирования, то на центр взваливается непосильная нагрузка» (*Dyker, 1985, p. 9*)

Однако эта история успеха не включала сельское хозяйство и тех, кто жил плодами его труда, поскольку индустриализация осуществлялась за счет эксплуатации крестьянства. Очень немногое можно сказать в пользу советской аграрной политики и отношения к крестьянству, за исключением, возможно, того, что крестьяне были не единственными, испытывшими на себе тяжесть «первоначального социалистического накопления» (по выражению одного из последователей Троцкого) *. На рабочих также легла часть тягот по созданию ресурсов для будущего общества.

Крестьянство, составлявшее большинство населения, являлось не только низшим по статусу в политическом и юридическом отношениях, по крайней мере до принятия Конституции 1936 года (на практике не действовавшей), не только облагалось более высокими налогами. Основная сельскохозяйственная политика, заменившая НЭП, а именно принудительная коллективизация, была чудовищно жестокой. Ее немедленным следствием стало снижение объема зерна и уменьшение поголовья домашнего скота почти в два раза, что вызвало страшный голод 1932—1933 годов. Коллективизация привела к спаду и так низкой производительности российского сельского хозяйства, которое смогло достичь уровня НЭПа лишь к 1940 году, а с учетом бедствий Второй мировой войны — лишь к 1950 году (*Tuma, 1965, p. 102*). Сплошная механизация, посредством которой пытались компенсировать этот спад, оказалась тогда (впрочем, как и впоследствии) совершенно неэффективной. После сулившего надежды послевоенного периода (когда советское сельское хозяйство даже поставляло на экспорт небольшие излишки зерна, хотя мысль о том, что СССР может стать самым крупным экспортером зерна, каким была царская Россия, никому не приходила в голову) советское сельское хозяйство перестало справляться с обеспечением продуктами питания собственного населения. Начиная с 1970-х годов СССР иногда закупал на мировом рынке до четверти необходимого ему зерна. Даже после небольшого послабления в системе коллективного хозяйства, разрешившего крестьянам производить зерно на продажу на небольших приусадебных участках, в 1938 году составлявших около 4% сельскохозяйственных площадей, на долю советского потребителя не приходилось почти ничего, кроме небольшого количества черного хлеба. Одним словом, СССР ценой огромных усилий сменил малопродуктивное фермерское хозяйство на низкоэффективное коллективное сельское хозяйство.

Как часто бывает, такое положение гораздо нагляднее, чем программа большевиков, отражало социальные и политические условия в Советской России. Кооперация и коллективизация в сочетании с частным сектором в

* Согласно Марксу, «первоначальные накопления» путем экспроприации и грабежа были необходимы для того, чтобы дать возможность капитализму приобрести исходный капитал, который затем в свою очередь стал источником накопления.

сельском хозяйстве (или даже без него, как в израильских *киббуцах*, где в гораздо большей степени соблюдались коммунистические принципы, чем в советских колхозах и совхозах) вполне могли быть успешны, в то время как чисто фермерское хозяйство зачастую гораздо успешнее извлекало субсидии у правительства, чем прибыль из земли*. В СССР аграрная политика потерпела явное поражение, однако ее методы зачастую копировались, по крайней мере вначале, новыми социалистическими режимами.

Другим аспектом советского развития, в пользу которого также можно сказать очень мало, была невероятно раздутая бюрократия, порожденная командным стилем руководства, с которой не мог справиться даже Сталин. Выдвигались серьезные предположения, что «большой террор» конца 1930-х годов был вызван отчаянными усилиями Сталина «преодолеть бюрократическую неразбериху, искусно уклоняющуюся от попыток государственного контроля» (*Lewin, 1991, p. 17*), или хотя бы помешать ей взять власть в свои косяные руки, что в конечном счете и произошло в эпоху Брежнева. Все старания сделать работу чиновников более гибкой и эффективной лишь увеличивали их количество и зависимость от них. В конце 1930-х годов бюрократический аппарат умножился в два с половиной раза, по темпам роста обогнав рост числа остальных трудящихся. Перед войной на двух производственных рабочих приходилось более одного чиновника (*Lewin, 1991*). При Сталине верхушку руководящих кадров составляли, как было сказано, «наиболее могущественные рабы, каждый из которых все время ходил по лезвию ножа. Их власть и привилегии омрачались постоянным *temento mori*». После окончания сталинской эпохи или, скорее, после хрущевского правления (Никита Хрущев был свергнут в 1964 году) ничего больше не препятствовало стагнации системы.

Третьим изъяном этой системы, который в конце концов и погубил ее, являлась ее негибкость. Она была приспособлена к постоянному росту выпуска продукции, характер и качество которой определялись заранее, однако при этом не имела механизмов для изменения ни количества (кроме увеличения), ни качества продукции, а также не была приспособлена к модернизации. Наоборот, эта система не знала, что делать с изобретениями, и не использовала их в гражданской экономике, так сильно отличающейся от военно-промышленных комплексов**. Что касается потребителей, то они не

* Так, в первой половине 1980-х годов Венгрия, где сельское хозяйство было в основном коллективным, экспортировала больше сельскохозяйственной продукции, чем Франция (с сельскохозяйственных площадей, в четыре раза меньших), и в два раза больше (по объему), чем Польша, где сельскохозяйственные площади были в три раза больше, чем в Венгрии. Польское сельское хозяйство, как и французское, не было коллективным (*FAO Production, 1986, FAO Trade, vol. 40, 1986*).

** «Не более трети всех изобретений находят применение в экономике, однако даже в этих случаях их распространение невелико» (*Vernikov, 1989, p. 7*). Данные относятся к 1986 году.

были обеспечены ни рынком, который отражал бы их вкусы, ни какой-либо возможностью выбора экономической и политической системы. Наоборот, планирующие органы лишь поощряли первоначальный курс системы на максимальное производство средств производства. Самое большее, на что можно было рассчитывать,— это на то, что по мере развития экономики будет производиться больше потребительских товаров, даже если организация промышленности по-прежнему направлена на производство средств производства. При этом система распределения была столь несовершенной (системы организации услуг почти не существовало), что повышение уровня жизни в СССР (начиная с 1940-х по 1970-е годы оно было впечатляющим) могло осуществляться только с помощью «теневой» экономики, которая стала быстро развиваться, особенно с конца 1960-х годов. Поскольку «теневая» экономика по определению не отражается в официальных документах, можно лишь догадываться о ее размерах. Имеются приблизительные подсчеты, что в конце 1970-х годов городское население СССР тратило около 20 миллиардов рублей на частные потребительские, медицинские и адвокатские услуги (Alexeev, 1990) плюс еще около 7 миллиардов на подарки для обеспечения этих услуг. Эта сумма сопоставима с общим объемом импорта страны.

Одним словом, советская система была направлена на скорейшую индустриализацию очень отсталой и неразвитой страны, исходя из предположения, что ее граждане будут довольствоваться уровнем существования, гарантирующим социальный минимум, и жизненными стандартами, годящимися лишь для того, чтобы не умереть с голоду. Очень многое зависело от того, какая часть средств, направленных на дальнейшую индустриализацию, будет отпущена государством на поддержание жизненного уровня граждан. Как ни малоэффективна и непроизводительна была советская система, она достигла своих целей. В 1913 году на долю царской империи, население которой составляло 9,4 % всего населения земного шара, приходилось 6 % суммарного мирового национального дохода и 3,6 % мирового объема промышленного производства. В 1986 году на долю СССР, население которого составляло менее 6 % населения земного шара, приходилось 14 % мирового национального дохода и 14,6 % мирового объема промышленного производства. (При этом объем сельскохозяйственной продукции увеличился очень незначительно — Bolotin, 1987, p. 148—152.) Россия превратилась в одну из крупнейших промышленных держав, и безусловно, статус сверхдержавы, поддерживавшийся ею в течение полувека, опирался на эти успехи. Однако вопреки ожиданиям коммунистов машина советского экономического развития была сконструирована таким образом, что развитие больше замедлялось, чем ускорялось, когда после преодоления определенной дистанции шофер нажимал на акселератор. В динамизме этой системы был заложен механизм ее упадка. А ведь именно она после 1944 года стала экономической моделью для стран, в которых жила треть человечества.

Русской революцией была создана весьма своеобразная политическая система. Левые европейские движения, включая марксистское рабочее и социалистическое движения, к которым принадлежала большевистская партия, опирались на две политические традиции: выборную, а иногда и прямую, демократию и централизованные революционные действия, унаследованные от французских якобинцев. Массовые рабочие и социалистические движения, в конце девятнадцатого века возникавшие в Европе почти повсеместно в виде партий, рабочих союзов, кооперативов или сочетания всего этого, были строго демократическими как по своей внутренней структуре, так и по политическим устремлениям. В тех странах, где конституций, основанных на широком избирательном праве, еще не существовало, эти движения являлись главными силами, добивавшимися их. В отличие от анархистов, марксисты были убежденными приверженцами *политических* действий. Политическая система СССР, впоследствии перенесенная на социалистический мир, вскоре отказалась от демократических принципов социалистических движений, хотя теоретически все более выказывала свою приверженность этим принципам *. Большевики пошли дальше якобинцев, которые, несмотря на свою склонность к революционной суровости и беспощадности действий, не одобряли индивидуальной диктатуры. Одним словом, поскольку советская экономика являлась командной, такой же была и советская политика.

Подобная эволюция частично отражала историю большевистской партии, частично кризисы молодого советского режима и необходимые ему приоритеты, а частично черты характера бывшего семинариста из Грузии, сына пьяницы сапожника, ставшего единоличным диктатором в СССР под придуманным им самим псевдонимом «Сталин», т. е. «человек из стали». Ленинская модель авангардной партии, кузницы уникальных дисциплинированных кадров профессиональных революционеров, подготовленных для выполнения задач, поставленных перед ними центральным руководством, уже несла в себе зачатки авторитаризма, на что с самого начала указывали другие, не менее революционные российские марксисты. Как можно было остановить подмену партией тех самых народных масс, на лидерство над которыми она претендовала? Или вытеснение на обочину ее выборных органов, включая съезды, выражавшие взгляды ее членов? Что можно было противопоставить лидерству Центрального комитета, из рядов которого в итоге выдвинулся единолич-

* Так, авторитарный централизм, столь характерный для коммунистических партий, сохранял официальное название «демократического централизма», а советская конституция 1936 года на бумаге является типичной демократической конституцией, с таким же количеством возможностей для многопартийных выборов, как, скажем, американская конституция. Это не было чистым очковитательством, поскольку большая ее часть была составлена Николаем Бухариным, который, как революционер-марксист с дореволюционным стажем, безусловно верил, что этот тип конституции удовлетворяет требованиям социалистического общества.

ный лидер (теоретически избираемый), на практике подмявший под себя всех и вся? Опасность, как оказалось, была вполне реальной, несмотря на то что Ленин не только не хотел, но и не мог быть диктатором, а большевистская партия подобно всем идеологическим левым организациям действовала скорее не как военный штаб, а как дискуссионный клуб. После Октябрьской революции она стала более решительной, когда большевики из группы, состоявшей из нескольких тысяч нелегалов, превратились в массовую партию сотен тысяч, а в конечном итоге и миллионов профессиональных агитаторов, администраторов, исполнителей и контролеров, уничтоживших «старых большевиков» и других поддерживавших их социалистов с дореволюционным стажем, как, например, Льва Троцкого. Не взяв ничего из старой политической культуры левых, они руководствовались лишь тем, что партия никогда не ошибается и что решения, принятые верховной властью, должны выполняться ради спасения революции.

Каким бы ни было отношение большевиков к демократии до революции как в партии, так и за ее пределами — к свободе слова, иным гражданским свободам и терпимости, в результате событий 1917—1921 годов форма правления становилась все более авторитарной, что было (или казалось) необходимым для поддержания непрочной, окруженной врагами советской власти. В действительности вначале правительство не было однопартийным и не отвергало оппозицию, однако гражданскую войну оно выиграло, будучи однопартийной диктатурой, опирающейся на мощный аппарат секретных служб и использовавшей террор против контрреволюционеров. Не менее важно, что в 1921 году партия сама отказалась от внутренней демократии, когда было запрещено коллективное обсуждение альтернативной политики. Руководящая теория «демократического централизма» на практике превратилась в недемократический централизм. Партия перестала руководствоваться собственным уставом. Ежегодные партийные съезды стали менее регулярными, а впоследствии, при Сталине, и вовсе крайне редкими. Годы НЭПа разрядили обстановку, но привели к осознанию того, что партия, может быть, и создает историю, однако при этом ее действия направлены во вред стране и народу. Решение начать промышленную революцию сверху автоматически привело систему к навязыванию власти, возможно еще более жестокому, чем в годы военного коммунизма, поскольку аппарат исполнительной власти к этому времени значительно разросся. Именно тогда последние весьма скромные признаки разделения властей, еще позволявшие отличать советское правительство от коммунистической партии, исчезли окончательно. Единое партийное руководство сконцентрировало в своих руках абсолютную власть, подчинив себе все остальные институты.

Именно в это время система превратилась в автократию под руководством Сталина, стремившуюся к полному контролю над жизнью и мыслями своих

граждан, чтобы само их существование было максимально подчинено достижению целей, определявшихся верховной властью. Конечно, не это представляли себе Маркс и Энгельс и не к этому стремился Второй (марксистский) интернационал и большинство его партий. Так, Карл Либкнехт, совместно с Розой Люксембург возглавивший германских коммунистов и убитый вместе с ней в 1919 году реакционными офицерами, даже не называл себя марксистом, хотя был сыном основателя немецкой социал-демократической партии. Австрийские марксисты, оставаясь приверженцами учения Маркса, не скрывали того, что идут своим собственным путем, и даже когда кто-либо из их соратников официально признавался еретиком, он не переставал считаться законным социал-демократом. Например, Эдуард Бернштейн, заклеенный за «ревизионизм», продолжал свою деятельность в качестве официального издателя работ Маркса и Энгельса. Мысль о том, что социалистическое государство должно заставлять всех граждан думать одинаково, не говоря уже о том, чтобы наделять своих лидеров непогрешимостью Папы Римского (нельзя было даже помыслить, что эту должность может занимать любой другой человек), до 1917 года не приходила в голову никому из социалистических лидеров.

Можно сказать, что социализм по Марксу для его приверженцев являлся страстным личным убеждением, системой надежды и веры, имевшей некоторые признаки светской религии (однако не в большей степени, чем у иных воинствующих идеологий). Возможно, более существенно то, что, воплотившись в массовое движение, гибкая теория неминуемо превращается в лучшем случае в катехизис, а в худшем — в символ самобытности и преданности, как флаг, которому надо отдавать честь. Отличительной чертой подобных массовых движений, как давно заметили социалисты Центральной Европы, является поклонение вождю и даже создание его культа, хотя склонность к спорам и соперничеству среди партий левого толка, как правило, препятствовала развитию культа лидера. Советский режим, возведя на Красной площади мавзолей Ленина (что не имело ничего общего с русской революционной традицией), где мумию великого вождя всегда можно было видеть и поклоняться ей, явно пытался использовать веру отсталого населения в христианских святых и их мощи. Можно также утверждать, что в большевистской партии, созданной Лениным, ортодоксия и нетерпимость насаждались из прагматических соображений. Подобно хорошему генералу (Ленин по сути и являлся разработчиком боевых действий), он не терпел «разговорчиков в строю», снижавших практическую эффективность. Кроме того, подобно другим гениям-практикам, он был убежден, что лучше всех знает, как поступать, и имел мало времени на выслушивание чужих мнений. Теоретически ему была близка ортодоксальность марксизма, даже его фундаментализм, поскольку он понимал, что любое вмешательство в текст теории, сутью которой являлась революция, играло на руку соглашателям и реформистам. На практи-

ке Ленин решительно видоизменял взгляды Маркса, добавлял к ним все, что хотел, при этом постоянно декларируя преданность учителю. Возглавляя до октябрьский период воинственное меньшинство российского левого фланга, Ленин заслужил среди российских социал-демократов репутацию человека, нетерпимого к инакомыслящим. Однако как только ситуация изменилась, он без колебаний объединился со своими противниками, которых незадолго до этого осуждал и разоблачал. Даже после победы Октябрьской революции он никогда не полагался на свой авторитет в партии, а лишь на силу аргументов. Его предложения почти никогда не принимались без острой полемики. Проживи Ленин дольше, он, без сомнения, продолжал бы разоблачать оппонентов и, как во время гражданской войны, его прагматическая нетерпимость не знала бы пределов. Однако нет свидетельств того, что он предвидел и стал бы терпеть ту разновидность навязанной стране государственной светской религии, которая возникла после его смерти. Возможно, Сталин создал ее неосознанно, лишь следуя тому, что считал господствующей тенденцией в отсталой крестьянской России с ее самодержавием и православной традицией. Но маловероятно, что без него эта тенденция получила бы развитие и была бы навязана другим социалистическим режимам или скопирована ими.

Стоит еще добавить, что возможность диктатуры заложена в любом однопартийном и несменяемом режиме. В партии большевиков-ленинцев, организованной по принципу централизованной иерархии, эта возможность стала реальной, поскольку существовала абсолютная убежденность большевиков в том, что революцию нельзя повернуть вспять и что ее судьба находится лишь в их руках и ни в чьих других. Большевики утверждали, что буржуазный режим может позволить себе сменить консерваторов на либералов, поскольку это не меняет самой природы капиталистического общества, однако он не захочет и не сможет мириться с коммунистическим режимом по той же причине, по которой коммунистический режим не потерпит своего свержения с помощью любой силы, которая стремится реставрировать прежний порядок. Революционеры, включая революционеров-социалистов, не являются демократами в электоральном смысле, как бы искренне они ни были убеждены, что действуют в интересах народа. И все же, хотя допущение, что партия есть политическая монополия, обладающая «руководящей ролью», и делало советский режим не более демократичным, чем Католическая церковь, оно не предполагало диктатуры личности. Именно благодаря Иосифу Сталину коммунистические политические системы превратились в ненаследственные монархии*.

* Сходство с монархией выражается в стремлении некоторых из этих государств передавать власть по наследству, что было совершенно немыслимо для первых социалистов и коммунистов. Северная Корея и Румыния являются двумя такими примерами.

Во многом Сталин — низкорослый *, осторожный, бесконечно подозрительный, жестокий, любивший работать по ночам — кажется скорее персонажем из «Жизни двенадцати цезарей» Светония, чем фигурой современной политики. Внешне невыразительный и не остающийся в памяти, «серое пятно» (как назвал его в 1917 году один современник, Суханов), он, если нужно, интриговал и завоевывал доверие, пока не достиг власти. Несомненные способности приблизили его к вершине еще до революции. Он был членом первого послереволюционного правительства, возглавляя комиссариат по делам национальностей. Став в конце концов единоличным лидером партии и государства, он не обладал тем ощущением своей судьбоносности, той харизмой и самоуверенностью, которые сделали Гитлера основателем и признанным главой своей партии и благодаря которым окружение подчинялось ему без всякого принуждения. Сталин управлял своей партией, как и всем, что находилось в пределах его личной власти, с помощью страха и террора.

Сделавшись чем-то вроде светского царя, защитника светского православия (мумия основателя которого, превращенного в светского святого, ожидала паломников в мавзолее рядом с Кремлем), Сталин проявил неплохие навыки связей с общественностью. Для российских земледельцев и скотоводов, живших по западным меркам в одиннадцатом веке, это почти наверняка был самый действенный путь легитимации нового режима. Точно так же примитивный, состряпанный на скорую руку, догматический катехизис, до которого Сталин низвел «марксизм-ленинизм», являлся идеальным средством для обработки тех, кто едва научился читать и писать **. Развязанный им террор нельзя рассматривать лишь как способ утверждения безграничной личной власти тирана. Несомненно, он наслаждался своей властью, страхом, который возбуждал, возможностью дарить жизнь или отнимать ее, так же как несомненно и то, что он был совершенно равнодушен к материальным выгодам, которые давало его положение. Независимо от психологической природы самого Сталина, теоретически сталинский террор являлся рационально отлаженным механизмом, хотя вне границ своего контроля действовал крайне осторожно. При Сталине всё было основано на принципе избежания риска, что, в свою очередь, отражало тот самый недостаток его уверенности в своем умении оценивать ситуацию (на большевистском жаргоне — «делать марксистский анализ»), которым блестяще владел Ленин. Головокружительная карьера Сталина говорит о том, что он постоянно и упорно преследовал

* Автор этих строк, видевший в мавзолее на Красной площади набальзамированное тело Сталина до его выноса в 1957 году, вспоминает потрясение, которое он почувствовал при виде столь тщедушного, но такого всемогущего человека. Симптоматично, что во всех фильмах и на всех фотографиях нельзя заметить, что его рост равнялся всего 5 футам и 3 дюймам (160 см).

** Так, «Краткий курс истории ВКПБ» 1939 года, несмотря на присущие ему лживость и примитивизм, с педагогической точки зрения был написан мастерски.

одну утопическую цель — построение коммунистического общества, — обожнованию которой он посвятил свои последние работы за несколько месяцев до смерти (*Stalin, 1952*).

Власть, полученная большевиками в результате Октябрьской революции, являлась единственным инструментом преобразования общества, которым они владели. Этот процесс подстерегали постоянно возникавшие трудности. (Именно они имелись в виду в абсурдном в других отношениях тезисе Сталина об обострении классовой борьбы спустя десятилетия после того, как «пролетариат взял власть».) Лишь решимость последовательно и безжалостно использовать власть для устранения всех возможных препятствий могла гарантировать конечный успех.

Основанную на этом допущении политику к кровавому абсурду привели три обстоятельства.

Первое — это уверенность Сталина в том, что лишь он один в конечном счете знает дорогу, по которой нужно идти к цели, и лишь он один может решительно следовать избранному курсу. Множество политиков и генералов обладают этим чувством исключительности, но только те, кто имеет абсолютную власть, в состоянии убедить других разделить эту уверенность. Так, массовые чистки 1930-х годов, которые, в отличие от более ранних форм террора, были направлены против самой партии, и в особенности против ее руководства, затронули многих убежденных большевиков, включая тех, кто поддерживал Сталина в борьбе с различными оппозициями в 1920-е годы и помогал в осуществлении коллективизации и индустриализации первых пятилеток. Жестокость этого периода и жертвы, которые он повлек, оказались больше, чем готовы были принять старые большевики. Без сомнения, многие из них вспомнили отказ Ленина поддержать кандидатуру Сталина в качестве своего преемника из-за его исключительной жестокости. XVII съезд ВКП(б) выявил наличие мощной антисталинской оппозиции. Действительно ли она представляла угрозу власти Сталина, мы не узнаем никогда, поскольку в период 1934—1939 годов четыре или пять миллионов членов партии и правительства были арестованы по политическим причинам, четыре или пять тысяч из них были казнены без суда и следствия и на следующем (XVIII) съезде партии, состоявшемся весной 1939 года, присутствовало лишь 37 выживших из 1827 делегатов XVII съезда партии, проходившего в 1934 году (*Kerblay, 1983, p. 245*).

Особую бесчеловечность этому террору придавало полное отсутствие каких-либо границ. Дело было не столько в вере, что великая цель оправдывает любые средства, необходимые для ее достижения (хотя, возможно, именно такая вера вдохновляла Мао Цзэдуна), и что принесенные жертвы — ничтожно малая плата за ту счастливую жизнь, которая ожидает бесконечные будущие поколения. Это был принцип тотальной войны на все времена. Ленинизм, возможно из-за огромной доли волонтаризма, оттолкнувшего от Лени-

на других марксистов, считавших его «бланкистом» и якобинцем, мыслил в основном военными категориями (Ленин восхищался Клаузевицем*), даже если в целом политический словарь большевиков об этом не свидетельствовал. Основная максима Ленина заключалась в двух словах: «кто кого?» Сражение велось как игра, где победитель получал все, а побежденный все терял. Как нам известно, даже либеральные государства, участвовавшие в обеих мировых войнах, также исповедовали этот принцип и не признавали совершенно никаких пределов страданий, которым они были готовы подвергнуть население стран противника, а во время Первой мировой войны — даже свои собственные войска. Безусловно, это принесение в жертву огромных масс людей, выбранных заранее, тоже стало частью военных действий — интернирование во время Второй мировой войны всех американских жителей японского происхождения или всех немцев и австрийцев, проживавших в Великобритании, на том основании, что среди них могут находиться потенциальные агенты врага. Все это на фоне общественного прогресса девятнадцатого века стало побочным рецидивом, выразившимся в возврате к варварству, которое, как темная туча, пронесется через всю эту книгу.

К счастью, в конституционных и преимущественно демократических государствах, где правит закон и есть независимая пресса, существуют определенные силы противодействия. В системах с абсолютной властью их нет, однако в конце концов могут возникнуть условия для ограничения власти, хотя бы из соображений выживания, поскольку использование абсолютной власти может быть самоубийственно. Ее логическим конечным результатом является паранойя. После смерти Сталина его наследники по молчаливому согласию решили положить конец кровавой эпохе, хотя до прихода к власти Горбачева о человеческой цене сталинских десятилетий могли говорить лишь диссиденты внутри страны и ученые и публицисты за границей. После окончания сталинизма советские политики могли умирать в своей постели и даже в преклонном возрасте. Поскольку в 1950-е годы ГУЛАГ опустел, СССР, по западным стандартам по-прежнему плохо обращавшийся с собственным населением, тем не менее перестал быть государством, которое в огромных масштабах сажало в тюрьмы и убивало своих граждан. К 1980-м годам количество заключенных в тюрьмах СССР оказалось даже меньше, чем в США (268 заключенных на 100 тысяч населения в СССР по сравнению с 426 заключенными на 100 тысяч населения в США) (Walker, 1991). Более того, в 1960-е и 1970-е годы СССР фактически превратился в общество, в котором обычный гражданин подвергался меньшему риску погибнуть от руки преступника в результате гражданского конфликта или по воле государства, чем во многих

* Карл фон Клаузевиц (1780—1831), немецкий военный теоретик и историк, сформулировал положение о войне как продолжении политики (примеч. пер.).

странах Азии, Африки и Американского континента. И все же СССР оставался полицейским государством, авторитарным и по всем реальным стандартам несвободным обществом. Гражданам была доступна лишь официально разрешенная информация (вся остальная находилась под запретом до прихода к власти Горбачева и начала «гласности»), а свобода путешествий и проживания зависела от официального разрешения — все более номинального в пределах СССР, однако вполне реального, когда требовалось пересечь границу даже «дружественной» социалистической страны. Во всех этих отношениях СССР несомненно отставал от царской России. Несмотря на то что в повседневной жизни нормы закона соблюдались, сохранялась возможность административного, т. е. без суда и следствия, заключения или ссылки.

Возможно, никогда не удастся подсчитать человеческую цену сталинских десятилетий в России, поскольку даже официальная статистика смертных казней и количества узников ГУЛАГа (имеющаяся или могущая стать доступной) не может учесть все потери, и результаты подсчетов очень сильно разнятся в зависимости от допущений, принятых экспертами. «Парадоксально, что мы лучше информированы о потерях домашнего скота в СССР за этот период, чем о числе уничтоженных противников режима» (*Kerblay, 1983, p. 26*). Одно лишь сокрытие данных переписи населения 1937 года говорит о почти непреодолимых препятствиях. И все же, какие бы ни делались предположения*, число прямых и косвенных жертв должно измеряться восьмизначными, а не семизначными цифрами. При таких условиях не слишком много значит, выбираем ли мы заниженную оценку ближе к 10, чем к 20 миллионам, или наоборот: любая является позорной и не имеет никаких оправданий, не говоря уже о законности. Без комментариев добавлю, что все население СССР в 1937 году, по некоторым сведениям, составило 164 миллиона, т. е. на 16,7 миллиона меньше, чем предсказывали демографические прогнозы второго пятилетнего плана (1933—1938).

Какой бы жестокой и диктаторской ни являлась советская система, она не была «тоталитарной». Этот термин стал популярен среди критиков коммунизма после Второй мировой войны, хотя был придуман еще в 1920-е годы итальянскими фашистами для характеристики своих целей. Первоначально он использовался почти исключительно для критики итальянского фашизма и немецкого национал-социализма. Тоталитаризм стремился к созданию всеобъемлющей централизованной системы, которая не только навязывала абсолютный физический контроль своему населению, но, благодаря монополии на пропаганду и обучение, фактически заставляла людей принимать ее ценности как свои собственные. Роман «1984» Джорджа Оруэлла (опубликованный в 1949 году) наиболее ярко выражает западное представление о тоталитаризме.

* О неточности таких методик см. *Kosinski, 1987, p. 151—152*.

литарном обществе: подвергнутые идеологической обработке массы, находящиеся под бдительным оком «Большого брата», с которым не согласны лишь редкие одиночки.

Безусловно, именно к такому обществу *стремился* Сталин, хотя Ленин и другие старые большевики, не говоря уже о Марксе, отвергли бы его планы с негодованием. В той мере, в какой это общество было направлено на обожевление вождя (что позднее скромно назвали «культом личности») или, по крайней мере, на то, чтобы представить его средоточием всех достоинств, оно добилось определенных результатов, высмеянных Оруэллом в своей книге. Как ни парадоксально, абсолютная власть Сталина при этом не играла особой роли. Воинствующие коммунисты за пределами социалистических стран, по-настоящему горевавшие, узнав о его смерти в 1953 году (таких было немало), были добровольными адептами движения, символом и вдохновителем которого они считали Сталина. В отличие от большинства иностранцев, все русские хорошо знали, сколько жертв требовало построение такого общества. Однако хотя бы потому, что Сталин являлся могущественным и легитимным правителем русских земель и их преобразователем, он многое значил для русского народа: чаще всего как лидер страны во время войны, ставшей подлинно национальной для великороссов.

Во всех других отношениях эта система не была тоталитарной, что вызывает большие сомнения в пригодности этого термина. Она не была эффективна в стеснении интеллектуальной свободы и явно не гарантировала перемены убеждений, однако при этом в огромной степени деполитизировала население. Официальные доктрины марксизма-ленинизма фактически не затрагивали сознания большинства людей, поскольку не имели к ним явного отношения, за исключением тех, кто делал карьеру, где требовались подобные эзотерические знания. Когда на площади Маркса в Будапеште людям, прожившим сорок лет в стране марксизма, задали вопрос, кто такой Карл Маркс, ответ был следующим:

Это был советский философ, Энгельс был его другом. Ну что еще? Он умер в преклонном возрасте. (Другой голос): Конечно, это политик. И еще — как же его звали? Ах да, Ленин, — в общем, он переводил работы Ленина на венгерский язык (*Garton Ash, 1990, p. 261*).

Большинством советских граждан основная часть шедших сверху публичных заявлений, политических или идеологических, скорее всего, вообще не воспринималась, если не имела прямого отношения к их повседневным нуждам, что бывало редко. Лишь интеллектуалы были вынуждены воспринимать их всерьез в обществе, построенном на идеологии, претендовавшей на рационалистичность и «научность». Парадоксально, но сам факт, что такие сис-

темы нуждались в интеллектуалах и предоставляли тем, кто публично не выражал несогласия с их принципами, значительные привилегии и преимущества, создавал социальное пространство, не контролируемое государством. Лишь жестокость сталинского террора могла полностью заставить молчать неофициальный интеллект. В СССР он вновь возник сразу же после того, как лед страха начал таять и наступила оттепель — так назывался известный роман (1954) Ильи Эренбурга (1891—1967), талантливого писателя, которому удалось избежать репрессий. В 1960-е и 1970-е годы инакомыслие как в форме нерешительного коммунистического реформизма, так и в форме тотального интеллектуального, политического и культурного диссидентства господствовало на советской сцене, хотя официально страна оставалась «монолитной» — любимый термин большевиков. Противоречия стали очевидны в 1980-е годы.

II

Коммунистические государства, появившиеся после Второй мировой войны, т. е. все, за исключением СССР, находились под контролем коммунистических партий, созданных по сталинским шаблонам. До некоторой степени это было верно даже для коммунистической партии Китая, которая в 1930 году под руководством Мао Цзэдуна стала проводить собственную, независимую от Москвы линию. Возможно, сказанное было в меньшей степени верно в отношении последующих членов «социалистического лагеря» из стран третьего мира — Кубы под руководством Фиделя Кастро и различных менее долговечных африканских, азиатских и латиноамериканских режимов, возникших в 1970-е годы, которые также официально стремились стать похожими на признанный советский образец. Все они имели однопартийные политические системы с высокоцентрализованными властными структурами, официально пропагандировали культурные и интеллектуальные ценности, определяемые властью, придерживались принципов централизованной плановой государственной экономики и — самый явный пережиток сталинского наследия — управлялись сильными верховными лидерами. Разумеется, в государствах, непосредственно оккупированных Советской армией, включая спецслужбы, местные правительства были вынуждены следовать советскому образцу, например организовывать показательные суды и чистки среди местных коммунистов. Подобные действия не вызывали большого энтузиазма у местных коммунистических партий. В Польше и Восточной Германии руководство старалось избегать подобных карикатурных юридических действий, и ни один руководящий коммунист не был казнен или передан в руки советских служб безопасности, хотя после разрыва с Тито видные лидеры Болгарии

(Трайчо Костов) и Венгрии (Ласло Райк) были казнены, а в последний год сталинского правления массовое судилище над руководством чешской компартии с нарочито антисемитским оттенком скосило старую гвардию местных коммунистов. Неизвестно, являлось ли это следствием все более параноидального поведения Сталина, разрушавшегося умственно и физически и планировавшего уничтожить даже самых преданных своих сторонников.

Несмотря на то что после победы Красной армии советское государство имело прекрасную возможность насаждать в Европе марионеточные режимы, это произошло лишь в четырех случаях: в Польше, в оккупированной части Германии, в Румынии (где местное коммунистическое движение состояло из нескольких сотен человек, большинство которых не были этническими румынами) и в Венгрии. В Югославии и Албании эти режимы во многом были доморощенными, в Чехословакии полученные коммунистической партией 40 % голосов на выборах 1947 года отражали ее действительную силу в то время, а в Болгарии коммунистическое влияние подкрепляли русофильские настроения. Коммунистическая власть в Китае, Корее и бывшем французском Индокитае — после начала «холодной войны» преимущественно в северных регионах этих стран — ничем не была обязана Советской армии, однако после 1949 года небольшие коммунистические режимы получили на некоторое время поддержку Китая. Последующие участники социалистического лагеря, начиная с Кубы, шли туда своим собственным путем, хотя повстанческие освободительные движения в Африке могли рассчитывать на значительную поддержку советского блока.

Однако даже в государствах, где власть коммунистов была навязана Красной армией, новый режим первоначально ощущал временную легитимность и даже определенную поддержку населения. Как мы видели (глава 5), идея строительства нового мира на месте почти полностью разрушенного старого вдохновляла многих интеллектуалов и молодежь. Несмотря на непопулярность партии и правительства, сама энергия и решимость, которые они вносили в задачу послевоенного строительства, рождали поддержку. Трудно отрицать успехи новых режимов в решении этой задачи. В более отсталых аграрных государствах, как мы видели, приверженность коммунистов индустриализации, т. е. прогрессу и современности, находила отклик далеко за пределами партийных рядов. Можно ли сомневаться, что такие страны, как Болгария и Югославия, стали развиваться гораздо быстрее, чем до войны? Только там, где отсталый и жестокий советский режим в 1939—1940 годах оккупировал и силой присоединил менее отсталые регионы, а также в советской зоне оккупации Германии (после 1954 года Германской Демократической Республике), которые СССР после 1945 года в течение некоторого времени продолжал грабить для своего восстановления, баланс был полностью отрицательным.

В политическом отношении коммунистические государства, независимо от того, была им навязана эта система или нет, начали с формирования единого блока под руководством СССР, который на почве антизападной солидарности поддержал даже коммунистический режим, к 1949 году полностью захвативший власть в Китае, хотя влияние Москвы на китайскую коммунистическую партию после того, как в середине 1930-х годов ее бессменным лидером стал Мао Цзэдун, было незначительным. Несмотря на заверения в преданности СССР, Мао пошел своим собственным путем. Сталин, будучи реалистом, старался не осложнять отношений с огромной независимой «братской» партией на Востоке. После того как в конце 1950-х годов Никита Хрущев все же испортил отношения с Мао, произошел разрыв с резкими взаимными обвинениями, когда Китай стал оспаривать советское лидерство в международном коммунистическом движении, хотя и не очень успешно. Отношение Сталина к государствам и коммунистическим партиям в странах Европы, оккупированных Советской армией, было менее миролюбивым, отчасти потому, что его войска все еще присутствовали в Западной Европе, но еще и оттого, что он считал, что может положиться на преданность местных коммунистов Москве и ему лично. Он был крайне удивлен, когда в 1948 году югославское коммунистическое руководство, столь лояльное, что лишь за несколько месяцев до этого в Белграде разместилась штаб-квартира восстановленного в начале «холодной войны» Коммунистического интернационала (теперь называвшегося Коммунистическим информационным бюро, или Коминформом), обострило свое сопротивление советским директивам, доведя его до открытого разрыва, а обращение Москвы к преданным коммунистам через голову Тито не нашло в Югославии никакого отклика. Характерно, что реакция Москвы вылилась в расширение чисток и показательных судов в руководстве оставшихся дружественных компартий.

В целом отделение Югославии не произвело эффекта на остальное коммунистическое движение. Политический развал советского блока начался после смерти Сталина в 1953 году, но особенно усилился после начала официальных атак на сталинскую эпоху в целом и, более осторожно, на самого Сталина на XX съезде КПСС в 1956 году. Несмотря на то что закрытый доклад Хрущева был обращен лишь к избранной советской аудитории (иностранцами коммунистам слушать его не разрешили), эти новости вскоре стали общеизвестны, и коммунистическая монолитность дала трещину. В зоне советского влияния это сказалось незамедлительно. Всего через несколько месяцев Москва согласилась с приходом лидеров-реформистов в Польше (вероятно, по совету китайцев), а в Венгрии началась революция. Новое венгерское правительство под руководством коммунистического реформатора Имре Надя провозгласило конец однопартийной системы, что Советы, возможно, и могли бы перенести (мнения в их руководстве разделились). Однако оно также объявило о вы-

ходе Венгрии из Варшавского договора и ее последующем нейтралитете, чего СССР пережить уже не смог. Венгерская революция была подавлена Советской армией в ноябре 1956 года.

То, что этот крупный кризис внутри советского блока не был использован западным альянсом (за исключением пропагандистских целей), продемонстрировало стабильность отношений Востока и Запада. Обе стороны молчаливо признавали границы зон влияния друг друга, и в 1950-е и 1960-е годы на земном шаре не произошло никаких локальных революционных изменений, которые могли бы поколебать этот баланс, за исключением кубинской революции*.

В государствах, где политика столь явно находится под контролем, нельзя провести четкой линии между политическим и экономическим развитием. Так, правительства Польши и Венгрии не могли не пойти на экономические уступки своим гражданам, столь решительно продемонстрировавшим свое неприятие коммунизма. В Польше произошла деколлективизация сельского хозяйства, хотя это не сделало его намного эффективнее; что более существенно, политическая мощь рабочего класса, во много раз увеличившегося благодаря бурному развитию тяжелой индустрии, с тех пор принималась во внимание. Именно движение промышленных рабочих Познани инициировало события 1956 года. С этого времени и до победы «Солидарности» в конце 1980-х годов на польских политиков и экономистов решающее влияние оказывало противостояние сильного режима и непоколебимого рабочего класса, который, вначале неорганизованный, затем превратился в классическое рабочее движение, как обычно в союзе с интеллектуалами, а в конечном итоге — в политическое движение, что и предсказывал Маркс. Однако идеология этого движения, как с грустью вынуждены были констатировать марксисты, являлась не антикапиталистической, а антисоциалистической. Как правило, внутренние конфликты в Польше были связаны с периодическими попытками польского правительства урезать дотации на поддержание потребительских цен. Это в свою очередь приводило к забастовкам, за которыми, как правило, следовали кризис в правительстве и уступки. В Венгрии руководство, навязанное Советами после подавления революции 1956 года, было гораздо более реформистским и эффективным. Под началом Яноша Кадара (1912—1989) оно стало проводить систематическую (возможно, при молчаливой поддержке со стороны влиятельных кругов в СССР) либерализацию режима, направленную на примирение с оппозицией и, в результате, на осуществле-

* Революции 1950-х годов на Ближнем Востоке — в Египте в 1952 году и в Ираке в 1958 году — вопреки опасениям Запада не изменили этого баланса (хотя и способствовали расширению дипломатических успехов СССР), главным образом потому, что местные режимы безжалостно устраняли своих коммунистических оппонентов повсюду, где они пользовались влиянием, как, например, в Сирии и Ираке.

ние целей 1956 года в тех рамках, которые СССР считал приемлемыми. Этот процесс происходил довольно успешно до 1980-х годов.

Не так было в Чехословакии, после жестоких чисток 1950-х годов являвшейся политически инертной, однако осторожно и нерешительно начавшей освобождаться от сталинского наследия. Во второй половине 1960-х годов этот процесс начал разрастаться, как снежная лавина. Происходило это по двум причинам. Словаки (включая словацкую часть компартии), никогда не чувствовавшие себя свободно в государстве, объединявшем две нации, поддерживали потенциальную внутривластную оппозицию. Не случайно человеком, избранным генеральным секретарем партии во время партийного переворота 1968 года, стал словак Александр Дубчек.

Кроме того, в 1960-е годы властям все труднее становилось сопротивляться всеобщему стремлению к реформированию экономики и привнесению определенной рациональности и гибкости в командную систему, созданную по советскому образцу. Как мы увидим ниже, к тому времени эта тенденция наблюдалась во всех странах коммунистического блока. Экономическая децентрализация, которая сама по себе не являлась политически взрывоопасной, стала таковой в сочетании с требованиями интеллектуальной и, в еще большей степени, политической либерализации. В Чехословакии эти требования были наиболее решительны не только потому, что сталинизм в этой стране был особенно жестоким и длительным, но также потому, что многие коммунисты (особенно в среде интеллектуалов, членов партии, пользовавшейся подлинно массовой поддержкой как до, так и после нацистской оккупации) были глубоко потрясены контрастом между коммунистическими надеждами, которые они все еще сохраняли, и реальностью нового режима. Как случалось часто в оккупированной нацистами Европе, где партия стала центром Сопротивления, компартия Чехословакии привлекала в свои ряды молодых идеалистов, чья приверженность в такое время являлась гарантией бескорыстия. Чего еще, кроме надежды, возможных пыток и смерти, могли ожидать те, кто, как друг автора этих строк, вступил в партию в Праге в 1941 году?

Как всегда, реформа шла сверху, т. е. от самой партии (что было неизбежно, принимая во внимание структуру коммунистических государств). «Пражская весна» 1968 года, предшествуемая и сопровождаемая политико-культурными волнениями, совпала с общемировым подъемом студенческого радикализма, о котором мы говорили выше (см. главу 10), — одного из тех редких движений, которое пересекло океаны и границы социальных систем от Калифорнии и Мехико до Польши и Югославии и породило мощные социальные сдвиги, инициатором которых, как правило, выступало студенчество. Программа действий коммунистической партии Чехословакии весьма неосторожно (с точки зрения Советов) стремилась осуществить переход от однопартийной диктатуры к многопартийной демократии. Сплоченность, а возмож-

но, и само существование восточноевропейского советского блока казались поставленными на карту, когда «Пражская весна» выявила и обострила имевшиеся внутри него противоречия. С одной стороны, проводившие жесткую линию режимы, не пользовавшиеся массовой поддержкой, как то было в Польше и Восточной Германии, опасались внутренней дестабилизации по чешскому образцу, который они жестко критиковали; с другой стороны, чехов с энтузиазмом поддержало большинство европейских коммунистических партий, реформированная венгерская компартия, а за пределами блока — независимый коммунистический режим Тито в Югославии и Румыния, которая с 1965 года под руководством нового лидера Николае Чаушеску (1918—1989) начала проводить линию на отделение от Москвы на националистической почве. (Во внутренней политике Чаушеску отнюдь не являлся коммунистическим реформатором.) И Тито, и Чаушеску посетили Прагу и встретили восторженный прием публики. В результате Москва, правда не без разногласий и колебаний, решила свергнуть пражский режим с помощью военной силы. Этот шаг фактически положил конец международному коммунистическому движению, возглавляемому Москвой, которое уже было подорвано кризисом 1956 года. Однако советский блок просуществовал еще двадцать лет, правда, лишь благодаря угрозе советского военного вмешательства. В эти последние двадцать лет существования советского блока даже руководство коммунистических партий потеряло последние остатки веры в то, что оно делало.

Между тем, совершенно независимо от политики, назрела острая потребность в реформировании или замене экономической системы советского типа, основанной на централизованном планировании. С одной стороны, развитые несоциалистические экономики процветали как никогда (см. главу 9), расширяя уже и так значительный разрыв между двумя системами. Это было особенно заметно в Германии, где обе системы сосуществовали в разных частях одной и той же страны. С другой стороны, рост социалистической экономики, обгонявшей западные экономики вплоть до конца 1970-х годов, начал явно замедляться. Рост валового национального продукта в СССР, в 1950-е годы составлявший 5,7% в год (почти столько же, сколько в 1928—1940 годах, в первые двенадцать лет индустриализации), снизился до 5,2% в 1960-е, до 3,7% в первой половине 1970-х, до 2,6% во второй половине этого десятилетия и до 2% в последние 5 лет до прихода к власти Горбачева (1980—1985) (*Ofer, 1987, p. 1778*). Сходными были и данные по Восточной Европе. Попытки сделать систему более гибкой, в основном путем децентрализации, в 1960-е годы осуществлялись почти повсеместно в советском блоке, включая СССР, когда премьер-министром был Косыгин. За исключением венгерских реформ, эти попытки не принесли особенного успеха, в одних случаях достигнув лишь небольшого эффекта, а в других (как произошло в Чехословакии) они не были разрешены по политическим мотивам. Довольно эксцентричный член се-

мьи социалистических государств, Югославия, также не добилась ощутимых результатов, когда из враждебности к сталинизму заменила плановую социалистическую экономику системой автономных кооперативных предприятий. Когда в 1970-е годы мировая экономика вступила в новый период неуверенности, никто на Западе и на Востоке больше не ожидал, что экономика «реального социализма» перегонит или хотя бы догонит экономику несоциалистических стран. Однако, хотя и более проблематичное, чем раньше, их будущее не внушало особых опасений. Вскоре этому суждено было измениться.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Времена упадка

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Десятилетия кризиса»

Меня недавно спросили, что я думаю об американском духе соперничества. Я ответил, что мне все равно. Ведь я, прежде всего, президент транснациональной компании; и если главный офис моей компании находится в Соединенных Штатах, то это чистая случайность.

Джонатан Шелл (NY Newsday, 1993)

Опросы общественного мнения показывают, что одним из настораживающих последствий массовой безработицы является углубляющееся отчуждение молодежи, которая, несмотря на все трудности, все еще надеется *устроиться на работу и реализовать себя* в профессиональном плане. По этой причине в ближайшем будущем мы рискуем превратиться в общество, в котором, во-первых, деление на «своих» и «чужих» станет еще более заметным (речь идет, грубо говоря, об обществе, расколотом на рядовых трудящихся и управленцев), а во-вторых, большинство сделается гораздо более разобщенным, причем группе относительно незащищенной молодежи будет противостоять группа более защищенных и опытных представителей работающего населения.

Генеральный секретарь ОЭСР (Investing, 1983, p. 15)

I

История двух десятилетий, в которые мир вступил после 1973 года,—это хроника утраты привычных ориентиров и постепенного погружения в пучину нестабильности и кризиса. Однако до начала 1980-х годов окончательное расставание с экономическим благополучием «золотой эпохи» было далеко не очевидно. Развитые страны заговорили о глобальном характере кризиса только после падения коммунистических режимов в Советском Союзе и других странах Восточной Европы, хотя еще в течение ряда лет экономические трудности классифицировались как временный экономический спад. Еще не

было преодолено полувековое табу на использование термина «депрессия», этого живого призрака «эпохи катастроф». Казалось, стоит только произнести это слово — и депрессия вернется; поэтому, давая оценку происходящему, специалисты предпочитали ограничиваться констатациями того, что «рецессия 1980-х годов является наиболее серьезной за последние полвека», не упоминая напрямую злополучные 1930-е. Цивилизация, основанная на магическом слове рекламы, попала в сети собственных иллюзий. И потому первые откровенные признания того, что нынешние экономические трудности на самом деле гораздо серьезнее экономического кризиса 1930-х годов, прозвучали только в начале 1990-х — в частности, в Финляндии.

Все сказанное нуждается в пояснении. Почему мировая экономическая система вдруг стала менее стабильной? По мнению экономистов, стабилизирующие экономику элементы теперь были даже прочнее, чем раньше, хотя некоторые либеральные правительства — например, администрации Рейгана и Буша в Соединенных Штатах, а также кабинеты Тэтчер и Мейджора в Великобритании — пытались их ослабить (*World Economic Survey, 1989, p. 10—11*). Компьютеризированный контроль, усовершенствованная система коммуникаций и более быстрая доставка снизили значение нестабильного «инвентарного цикла» прежней эпохи, когда огромный объем продукции производился «на всякий случай», например в перспективе возможного расширения рынка, а производство в случае снижения деловой активности полностью останавливалось. Новые методы, впервые внедренные японцами в 1970-е годы благодаря передовым технологиям, предусматривали производство более скромного количества продукции для поставок дилерам под конкретные заказы. Это позволяло в короткий срок менять структуру капиталовложений, оперативно реагируя на меняющийся спрос. На смену эпохи Форда пришла эпоха фирмы «Benetton». Другим важным фактором экономической стабилизации стали растущие государственные расходы и расширение той доли государственного бюджета, которая выделялась правительством на социальные нужды («трансфертные платежи» — социальные страховки, пособия и т. д.). Такие расходы в совокупности достигали примерно трети ВВП и постоянно росли в годы кризиса — из-за того что увеличивались затраты на пособия по безработице, пенсии и здравоохранение. Поскольку сейчас, в конце «короткого двадцатого века», когда пишутся эти строки, кризис еще продолжается, нам придется подождать какое-то время, прежде чем историки смогут воспользоваться своим излюбленным орудием — ретроспекцией и предоставить нам убедительное объяснение всего изложенного.

Разумеется, сравнение экономических проблем 1970—1990 годов с кризисом 1930-х не совсем обоснованно, хотя страх перед еще одной Великой депрессией тогда витал в воздухе. После произошедшего в 1987 году обвала американского (и мирового) фондового рынка и последовавшего за ним между-

народного биржевого кризиса 1992 года очень многие задавались вопросом о том, не вернулась ли Великая депрессия (Temin, 1993, p. 99). Но кризисные десятилетия, наступившие после 1973 года, напоминали Великую депрессию 1930-х годов в той же мере, в какой на нее походили десятилетия после 1873 года, в свое время также называемые депрессией. Глобальная экономическая система устояла, хотя ее «золотая эпоха» завершилась в 1973—1975 годах чем-то похожим на классический циклический спад, который всего за один год сократил промышленное производство в странах с «развитой рыночной экономикой» на 10%, а международную торговлю — на 13% (Armstrong, Glyn, 1991, p. 225). Тем не менее экономический рост в развитых капиталистических странах продолжался, хотя и гораздо медленнее, чем в «золотую эпоху». Исключение составляли азиатские страны так называемой «поздней индустриализации» (см. главу 12), в которых промышленная революция началась только в 1960-е годы. До 1991 года общий рост ВВП в развитых странах перемежался краткими периодами застоя — с 1973 по 1975 и с 1981 по 1983 (OECD, 1993, p. 18—19). Международная торговля промышленными товарами, этот классический показатель уровня экономического роста, продолжала развиваться, и в наиболее успешные 1980-е годы ее темпы были вполне сопоставимы с «золотой эпохой». В конце «короткого двадцатого века» развитые капиталистические страны, вместе взятые, оказались богаче и производили больше товаров, чем в начале 1970-х, а мировая экономика, средоточием которой они выступали, была намного динамичнее, чем раньше.

С другой стороны, в иных регионах земного шара ситуация выглядела гораздо менее благоприятной. В Африке, Западной Азии и Латинской Америке рост ВВП на душу населения вообще прекратился. Большинство жителей этих мест в 1980-е годы стали еще беднее, причем в больший отрезок этого десятилетия в африканских и азиатских странах рост производства прекратился полностью, а в латиноамериканских государствах — частично (UN World Economic Survey, 1989, p. 8, 26). Мало кто сомневался в том, что для этих районов земного шара 1980-е годы оказались периодом глубокой депрессии. Что же касается так называемых стран «развитого социализма», в 1980-е годы продолжавших свой скромный экономический рост, то после 1989 года их экономические системы полностью развалились. Вот здесь сравнение с Великой депрессией представляется вполне уместным, хотя и не отражает всю глубину кризиса начала 1990-х. В 1990—1991 годах ВВП России сократился на 17%, в 1991—1992 — на 19%, а в 1992—1993 — еще на 11%. Несмотря на некоторую стабилизацию, наблюдавшуюся в начале 1990-х, Польша с 1988 по 1992 год снизила ВВП на 21%, Чехословакия — почти на 20%, Румыния и Болгария — более чем на 30%. В середине 1992 года промышленное производство в этих странах составляло от половины до двух третей уровня 1989 года (Financial Times, 24/2/94; EIB papers, November 1992, p. 10).

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона дела складывались иначе. Сложно представить себе более поразительное сопоставление, нежели контраст между развалом экономических систем советского лагеря и впечатляющим взлетом китайской экономики в это же время. В отношении Китая и большинства стран Юго-Восточной и Восточной Азии, ставших в 1970-е годы самым динамичным в экономическом отношении регионом, термин «депрессия» вообще был неприменим. Но как ни странно, он вполне подходил к описанию Японии начала 1990-х, и хотя в целом экономический рост в развитых капиталистических странах продолжался, далеко не все здесь было благополучно. Проблемы, постоянно поднимавшиеся критиками капитализма в довоенные годы и, по большей части, на целое поколение устраненные «золотой эпохой» — бедность, массовая безработица, нищета и нестабильность (см. выше), — после 1973 года проявились с новой силой. Экономический рост в очередной раз сменился глубоким спадом, качественно отличным от «незначительных рецессий» 1974—1975, 1980—1982, а также конца 1980-х годов. Безработица в Западной Европе выросла в среднем с 1,5% в 1960-е годы до 4,2% в 1970-е (*Van der Wee, p. 77*). На самом пике экономического бума конца 1980-х безработица в странах Европейского сообщества достигла в среднем 9,2%, а в 1993 — уже 11%. Половина безработных (в 1986—1987) не имели работы более года, а треть — более двух лет (*Human Development, 1991, p. 184*). А поскольку потенциально работающее население не увеличивалось, как в «золотую эпоху», за счет роста рождаемости и поскольку среди молодежи уровень безработицы всегда выше среднего, ожидать полной занятости не приходилось*.

Что же касается бедности и нищеты, то в 1980-е годы население многих богатых и промышленно развитых стран в очередной раз привыкло к уличным попрошайкам и бездомным, ютящимся в картонных коробках. В 1993 году в Нью-Йорке каждую ночь около 23 тысяч мужчин и женщин были вынуждены спать на улице, и это только небольшая часть тех 3% жителей города, у которых хотя бы раз за последние пять лет не было крыши над головой (*New York Times, 16/11/93*). В 1989 году в Великобритании 400 тысяч человек были официально зарегистрированы как «бездомные» (*UN Human Development, 1992, p. 31*). Кто бы мог представить такое в 1950-е или даже в начале 1970-х?

Появление бездомных явилось одним из следствий заметно возросшего социально-экономического неравенства. Впрочем, по международным стан-

* С 1960 по 1975 год в промышленно развитых странах население в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось почти на 29 миллионов, а с 1970 по 1990 — только на 6 миллионов. При этом уровень безработицы среди молодежи в большинстве европейских стран в 1980-е годы оставался невысоким, за исключением социал-демократической Швеции и Западной Германии. Безработица среди молодежи с 1982 по 1988 год в Великобритании составляла 20%, в Испании — более 40%, в Норвегии — 46% (*UN World Survey, 1989, p. 15—16*).

дартам, богатые страны с «развитой рыночной экономикой» не были — или пока не были — слишком несправедливыми в распределении национального дохода. В наиболее незгалитарных из этих стран — Австралии, Новой Зеландии, США и Швейцарии — наиболее обеспеченные 20 % семей обладали таким уровнем дохода, который в среднем в 8—10 раз превышал уровень дохода наименее обеспеченных 20 %. «Верхним» 10 % принадлежало 20—25 % национального богатства, а в Швейцарии, Новой Зеландии и Сингапуре наиболее обеспеченные граждане имели гораздо больше. Но эти перепады не шли ни в какое сравнение с неравенством в таких странах, как Филиппины, Малайзия, Перу, Ямайка или Венесуэла, в которых те же 10 % наиболее обеспеченных располагали третью национального дохода. Еще хуже обстояло дело в Гватемале, Мексике, Шри-Ланке и Ботсване, где на это меньшинство приходилось более 40 % богатства нации, а также в Бразилии, отличавшейся наибольшим уровнем неравенства*. В этом оплоте социальной несправедливости на долю 20 % наименее обеспеченных слоев приходилось всего 2,5 % национального дохода, тогда как на долю 20 % наиболее обеспеченных — почти две трети. Наиболее обеспеченным 10 % бразильцев принадлежала почти половина национального богатства (*UN World Development, 1992, p. 276—277; Human Development, p. 152—153, 186*)**.

Тем не менее за «десятилетия кризиса» неравенство, бесспорно, углубилось и в странах с «развитой рыночной экономикой», в частности из-за прекращения автоматического роста доходов, к которому работающее население успело привыкнуть в «золотую эпоху». Возросло число богатых и бедных, углубились различия в уровне доходов средних слоев. С 1967 по 1990 год число чернокожих американцев, зарабатывающих менее 5000 и более 50000 долларов в год соответственно, выросло за счет уменьшения промежуточной группы (*New York Times, 25/9/92*). Поскольку богатые капиталистические страны были теперь богаче, чем когда-либо прежде, а граждане этих стран в целом чувствовали себя более защищенными системами щедрых социальных дотаций и социального страхования «золотой эпохи» (об этом см. выше), общественное недовольство оказалось не столь значительным, как можно было ожидать. Но правительственные финансы «съедались» огромными социальными выплатами, растущими быстрее, чем государственные доходы,

* Все остальные лидеры, т. е. страны, в которых коэффициент Джини составляет 0,6, также находятся в Латинской Америке. Коэффициент Джини, представляющий собой общепризнанный измеритель неравенства, варьирует от 0,0 (равное распределение дохода) до 1,0 (максимальное неравенство). Для Гондураса в 1967—1985 годах он составлял 0,62, а для Ямайки — 0,66 (*UN Human Development, 1990, p. 158—159*).

** У нас нет сравнительных данных в отношении ряда стран с наиболее неравномерным распределением национального богатства. В этот список должны войти также некоторые страны Африки и Латинской Америки, а из азиатских стран — Турция и Непал.

поскольку экономика развивалась медленнее, чем до 1973 года. Несмотря на значительные усилия, практически ни одному правительству богатых и в основном демократических стран — конечно же, речь идет о странах, не особенно враждебных к государственной системе социальной поддержки, — не удалось не только значительно сократить расходы в этой области, но даже успешно контролировать их*.

В 1970-е годы такое нельзя было даже представить. К началу 1990-х настроение неуверенности и недовольства начало распространяться даже в самых богатых странах. Мы увидим далее, что это весьма способствовало надолго традиционных политических структур этих государств. В 1990—1993 годах уже мало кто отрицал, что даже развитые капиталистические страны переживают депрессию. Никто не знал, что делать в подобной ситуации; предпочитали надеяться, что дела пойдут на лад сами собой. Но самый главный урок «десятилетия кризиса» заключался не в том, что капиталистическая система перестала быть столь же эффективной, как в «золотую эпоху», а в том, что ее функционирование вышло из-под контроля. Было непонятно, что делать с непредсказуемостью мировой экономики, поскольку инструменты для этого просто отсутствовали. Наиболее действенный и широко применяемый в «золотую эпоху» механизм управления экономикой — государственное вмешательство на национальном или международном уровне — больше не работал. В «десятилетия кризиса» национальное государство утратило свое экономическое влияние.

Это выяснилось далеко не сразу, поскольку, как это часто бывает, большинство политиков, экономистов и бизнесменов отказывалось признать необратимый характер сдвигов, наблюдаемых в мировой экономике. Экономическая политика большинства государств в 1970-е годы исходила из того, что экономический спад является временным. Еще год или два — и прежнее процветание и экономический рост вернутся. А потому не стоит менять экономическую политику, столь хорошо зарекомендовавшую себя на протяжении целого поколения. История 1970-х, взятая в целом, представляет собой хронику того, как правительства пытались выиграть время, обращаясь к старым кейнсианским рецептам. (А в отношении стран третьего мира и социалистических государств это еще и хроника больших долгов, взятых, как им тогда казалось, не надолго.) Так получилось, что в большинстве промышленно развитых стран в 1970-е годы социал-демократические правительства либо оставались у власти, либо же возвращались к ней после неудачных консервативных интер-

* В 1972 году 14 таких государств направляли 48% всех правительственных расходов на строительство жилья, социальные выплаты, пособия по безработице и здравоохранение. В 1990-х эта цифра достигла уже 51%. Среди упомянутых стран были Австралия, Новая Зеландия, США, Канада, Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Финляндия, ФРГ, Италия, Нидерланды, Норвегия и Швеция (*UN World Development, 1992, Table II*).

людей (как, например, в Великобритании в 1974 году и в США в 1976-м). Они не собирались отказываться от экономической политики «золотой эпохи».

В качестве единственной альтернативы выступала экономическая политика, предлагаемая небольшой группой ультралиберальных догматиков. Еще до кризиса изолированное меньшинство, верующее в безграничную свободу рынка, развернуло атаку на приверженцев кейнсианства и прочих защитников регулируемой экономики смешанного типа и полной занятости. После 1973 года идеологическое рвение давних апологетов индивидуализма заметно подогревалось очевидным бессилием и провалами правительственной экономической политики. На пользу сторонникам неолиберальных веяний пошло и учреждение Нобелевской премии по экономике. В 1974 году ее получил Фридрих фон Хайек, а два года спустя — Милтон Фридман, столь же неистовый приверженец экономического ультралиберализма *. После 1974 года развернулось активное наступление сторонников свободного рынка, не оказывавших, впрочем, решающего влияния на экономическую политику своих стран вплоть до начала 1980-х годов. Исключением стала Республика Чили, где террористический военный режим, свергнувший в 1973 году всенародно избранного президента, позволил американским советникам внедрить неограниченную рыночную систему. Тем самым, кстати, было продемонстрировано отсутствие внутренней взаимосвязи между свободным рынком и политической демократией. (Впрочем, отдавая должное профессору фон Хайеку, заметим, что в отличие от ультрарадикальных либералов времен «холодной войны», он и не утверждал, что такая связь существует.)

По сути своей противоборство между кейнсианцами и неолибералами не было ни теоретическим спором профессиональных экономистов, ни поиском практических путей преодоления насущных экономических проблем. (Кто, к примеру, мог бы предположить возможность сочетания экономической стагнации и быстрого роста цен, для которого в 1970-е годы придумали специальный термин «стагфляция»?) Скорее речь шла о войне непримиримых идеологий. Обе участвовавшие в ней стороны использовали экономические аргументы. Сторонники Кейнса утверждали, что высокая зарплата, полная занятость и государство «всеобщего благоденствия» сумели создать потребительский спрос, вызвавший, в свою очередь, экономический рост, и потому стимулирование дополнительного спроса позволяет наилучшим образом справиться с депрессией. С другой стороны, неолибералы доказывали, что экономика и политика «золотой эпохи» препятствовали контролю над инфляцией и сокращению расходов как в государственной, так и в частной сфере, пресекая тем самым рост прибыли, этого мотора капиталистической эко-

* Нобелевская премия по экономике была учреждена в 1969 году и до 1974 года присуждалась экономистам, не поддерживающим политику *laissez-faire*.

номики. В любом случае, полагали они, «невидимая рука» свободного рынка, описанная Адамом Смитом, способна гарантировать наивысший прирост «богатства народов» и его наилучшее распределение, с чем категорически не соглашались кейнсианцы. Причем экономика в каждом случае рационализировала идеологическую установку, некий априорный взгляд на человеческое общество. В частности, сторонники неолиберализма недолюбливали социал-демократическую Швецию, этот впечатляющий пример экономического успеха двадцатого века. Но это происходило отнюдь не потому, что данная страна, как и все, в «десятилетия кризиса» столкнулась с трудностями, а из-за того, что знаменитая шведская экономическая модель основывалась на «коллективистских ценностях равенства и солидарности» (*Financial Times*, 11/11/90). И напротив, британское правительство Маргарет Тэтчер не пользовалось популярностью в левых кругах даже в годы экономического подъема из-за своего асоциального и даже антисоциального эгоизма.

Подобные позиции нельзя было внушить с помощью логических доводов. Давайте предположим, например, что кто-то способен доказать, будто наилучший способ пополнения медицинских запасов крови — приобретение ее по рыночной стоимости. Является ли это аргументом против бесплатной и добровольной донорской системы Великобритании, которую столь красноречиво и убедительно защищал Р. М. Титмус в своем труде «Узы дарения» (*Titmuss, 1970*)? Разумеется, нет, и это несмотря на то, что Титмус также показал, что британский способ сбора крови был таким же надежным и более безопасным, чем коммерческий способ *. При равенстве прочих условий для большинства из нас то общество, в котором граждане готовы оказывать бескорыстную (пусть даже символическую) помощь неизвестным соотечественникам, гораздо лучше общества, в котором подобные поступки не практикуются. К примеру, в начале 1990-х итальянская политическая система рухнула под натиском протеста избирателей против повсеместной коррупции не потому, что итальянцы от нее реально страдали — многие жители Италии, может быть даже большинство, от нее только выигрывали, — но из-за морального давления. В лавине этого негодования устояли только те политические партии, которые не были частью системы. Дело в том, что защитников абсолютной свободы индивида не трогала очевидная социальная несправедливость неограниченного рыночного капитализма, причем даже в тех случаях, когда (как, например, в Бразилии в 1980-е годы) такой капитализм не мог обеспечить экономический рост. В противоположность этому сторонники равенства и социальной справедливости (в том числе и автор этих строк) не преминули воспользоваться тем аргументом, что капиталистическое процветание

* Это подтвердилось в начале 1990-х, когда в нескольких западных (но не британских) пунктах переливания крови пациентов заразили вирусом СПИДа.

может основываться и на относительно эгалитарном распределении дохода, как, например, в Японии*. То обстоятельство, что обе стороны переводили свои фундаментальные убеждения в прагматические аргументы, например в различные позиции относительно распределения ресурсов сугубо по рыночным ценам, носит вторичный характер. Прежде всего обе стороны стремились выработать политику, позволяющую преодолеть экономический спад.

В этом отношении сторонники экономического курса «золотой эпохи» не добились особого успеха. Отчасти это было вызвано их политической и идеологической верностью идеалам полной занятости, государства всеобщего благоденствия и послевоенной политики консенсуса. Или, что более верно, их усилия были парализованы взаимоисключающими требованиями капитала и труда, выдвигаемыми в тот период, когда экономический рост «золотой эпохи» уже не позволял прибылям и некоммерческим доходам расти, не мешая друг другу. В 1970-е—1980-е годы Швеции, социалистической стране *par excellence*, с впечатляющим успехом удавалось поддерживать полную занятость через государственное субсидирование промышленности, создание новых рабочих мест и значительное расширение государственного сектора, тем самым еще более расширяя сферу социальных дотаций. Но даже в этом случае такая политика стала возможной только за счет сдерживания жизненных стандартов наемных рабочих, беспримерного налогообложения больших доходов и значительного бюджетного дефицита. Поскольку возврата к эпохе «большого скачка» не последовало, подобные меры могли носить лишь временный характер, и уже с середины 1980-х годов от них начали отказываться. К концу «короткого двадцатого века» так называемая «шведская модель» стала непопулярной даже в собственной стране.

Что еще более важно, эта модель была подорвана начавшейся после 1970 года глобализацией экономики, которая отдала правительства всех стран — кроме, возможно, правительства США с их мощной экономической системой — на милость неконтролируемого «мирового рынка». (Нельзя, впрочем, отрицать того, что «рынок» с гораздо большим недоверием относился к левым правительствам, чем к консервативным.) В начале 1980-х даже такая большая и богатая страна, как Франция, в то время руководимая социалистическим правительством, ощутила невозможность поддержки экономики

* Годовой доход наиболее обеспеченных 20% японцев в 1980-е годы только в 4,3 раза превышал годовой доход беднейших 20%, что является самым низким показателем для индустриально развитых стран, включая Швецию. Средний показатель для восьми наиболее передовых стран Евросоюза в 1980-е годы был равен 6, а для США — 8,9 (*Kidron/Segal, 1991, p. 36—37*). Иначе говоря, в США в 1990 году было 93 миллиардера, в Европейском сообществе — 59, не считая еще 33, проживающих в Швейцарии и княжестве Лихтенштейн. В Японии таковых насчитывалось 9 (*ibid.*).

только собственными силами. Уже через два года после блестящей победы Франсуа Миттерана на президентских выборах Франция столкнулась с платежным кризисом, была вынуждена девальвировать франк и отказаться от кейнсианского принципа стимуляции спроса в пользу «жесткой экономии с человеческим лицом».

К концу 1980-х годов стало ясно, что неолибералы также пребывали в растерянности. Им было нетрудно атаковать неэффективность, убыточность и отсутствие гибкости, зачастую скрывавшиеся за экономическим фасадом «золотой эпохи», поскольку все это больше не подкреплялось неуклонным ростом благосостояния, полной занятостью и государственными выплатами. Спектр неолиберальных рецептов, направленных на то, чтобы очистить заржавевший корпус «смешанной экономической системы», был довольно широк. Даже британские левые в конце концов признали, что жесткие и шоковые меры, предложенные правительством Маргарет Тэтчер, были, вероятно, необходимы. Настало время развенчания многих иллюзий относительно выгод регулируемой государством промышленности и государственного администрирования, весьма распространенных в 1980-е годы.

Но заявлений о том, что бизнес — это хорошо, а правительство — плохо (по словам президента Рейгана, «правительство — это не решение, а сама проблема»), было явно недостаточно для формулирования альтернативной экономической политики. Ведь в мире той поры, включая рейгановские Соединенные Штаты, центральные правительства тратили на социальные нужды около четверти, в наиболее развитых странах Европейского союза — около 40 % ВВП (*UN World Development, 1992, p. 239*). Такими громадными секторами экономики можно было управлять, используя методы, заимствованные из бизнеса, и проявляя должное внимание к затратам и прибыли (что получалось далеко не всегда), но развиваться исключительно по рыночным законам они все-таки не могли, несмотря на попытки идеологов доказать обратное. Как бы то ни было, неолиберальные правительства не могли не управлять экономикой своих стран, несмотря на все славословия в адрес рыночной стихии. Более того, им никак не удавалось отказаться от бремени государственных расходов. После четырнадцати лет правления консерваторов в Великобритании, ставшей благодаря Маргарет Тэтчер наиболее «идейной» из всех либеральных режимов, с граждан взимались более высокие налоги, чем во времена лейбористов. В действительности единой для всех государств или какой-то особой неолиберальной экономической политики просто не было. Исключение составляли бывшие страны советского лагеря, где после 1989 года с подачи западных гуру от экономики предпринимались заведомо тщетные попытки мгновенно перевести экономику на рыночные рельсы. Самый могущественный из неолиберальных режимов, Соединенные Штаты эпохи Рейгана, на словах сохранявший приверженность фискальному консерватиз-

му (т. е. сбалансированному бюджету) и «монетаризму» Милтона Фридмана, фактически использовал для выхода из экономического спада 1979—1982 годов кейнсианские методы — в частности, наращивание бюджетного дефицита и увеличение капиталовложений в оборонную промышленность. Не желая отдавать доллар на милость рыночной стихии, Вашингтон после 1984 года обратился к политике осторожного регулирования валютного курса с использованием дипломатического давления (Kuttner, 1991, p. 88—94). Стоит также отметить, что режимы, наиболее приверженные политике *laissez-faire*, зачастую являлись, как, например, в случае с рейгановской Америкой и тэтчеровской Великобританией, глубоко националистическими и не склонными доверять остальному миру. Для историка очевидно, что эти установки противоречат друг другу. Как бы то ни было, триумфальное шествие неолиберализма было остановлено экономическим спадом начала 1990-х, а также неожиданным открытием того, что после крушения советского коммунизма самой динамичной и быстро развивающейся экономической системой в мире оказался коммунистический Китай. Так что преподаватели западных школ бизнеса и авторы книг по менеджменту, творящие в весьма выгодном литературном жанре, ринулись штудировать учение Конфуция в поисках секретов коммерческого успеха.

Экономические проблемы «десятилетий кризиса» оказались необычайно серьезными и социально опасными прежде всего потому, что конъюнктурные изменения совпали со структурными сдвигами в экономике. Новые веяния были вполне закономерны, хотя мировая экономика теперь сильно отличалась от экономики «золотой эпохи». Система производства преобразовывалась революционными технологиями и глобализацией — можно сказать, она была «транснационализована» до неузнаваемости. Все это имело далеко идущие последствия. К 1970-м годам было уже невозможно игнорировать глубочайшие социальные и культурные последствия «золотой эпохи» (которые мы рассматривали в предыдущих главах) и ее экологическое наследие.

Для того чтобы проиллюстрировать вышеизложенное, обратимся к анализу колебаний занятости и безработицы. Индустриализация в целом способствовала замещению человеческих навыков механическими операциями, а людского труда — силой машин, тем самым лишая людей работы. При этом вполне обоснованно предполагалось, что бурный экономический рост, обусловленный промышленной революцией, автоматически создаст дополнительные вакансии, которые позволят компенсировать потерю прежних рабочих мест. Никто, однако, не знал, какое количество безработных будет необходимо для эффективного функционирования подобной экономической системы. «Золотая эпоха» подтвердила правильность оптимистических прогнозов. Как мы уже видели (см. главу 10), экономический рост был настолько значительным, что даже в ведущих промышленных странах количество заня-

тых в производстве почти не сократилось. Но, несмотря на это, в «десятилетия кризиса» даже в благополучных странах количество безработных постоянно увеличивалось. С 1950 по 1970 год численность телефонисток, обслуживающих междугородние и международные линии в США, сократилась на 12%, тогда как количество звонков увеличилось в пять раз. Для сравнения заметим, что с 1970 по 1980 год число телефонисток уменьшилось на 40%, в то время как количество звонков утроилось (*Technology, 1986, p. 328*). Занятость сокращалась как в абсолютных, так и в относительных цифрах, причем это происходило довольно быстро. Нарастание безработицы в эти десятилетия носило уже не циклический, а структурный характер. Потерянные рабочие места не возвращались, как в лучшие времена, а исчезали навсегда.

Это происходило не только потому, что новое международное разделение труда перемещало промышленность в другие страны и регионы, превращая старые индустриальные центры в «свалки ржавого железа» или урбанистические ландшафты без всяких признаков жизни. Динамика развития новых индустриальных стран действительно впечатляет. В середине 1980-х семь таких стран третьего мира потребляли 24% и выпускали 15% всей производимой в мире стали; данный показатель, среди прочих, представляется весьма весомым*. К тому же, и это вполне естественно, в мире свободного перемещения капиталов через государственные границы трудоемкие отрасли промышленности перемещаются из стран с высоким уровнем заработной платы в страны с низким ее уровнем, т. е. из богатых капиталистических центров типа США — на периферию. (Сказанное, разумеется, не касается рабочих-мигрантов.) Зачем выплачивать техасскую зарплату в Эль-Пасо, если на противоположном берегу реки, в мексиканском Хуаресе, тот же рабочий, пусть даже менее квалифицированный, обойдется в 10 раз дешевле?

Но при этом даже страны, еще не вступившие или только вступившие в индустриализацию, подчинялись железной логике механизации, согласно которой рано или поздно самый дешевый человеческий труд становится дороже машинного. Столь же ощутимо на них воздействовали непререкаемые законы всемирной и неограниченной конкуренции. Каким бы дешевым ни был труд в Бразилии по сравнению с Детройтом и Вольфсбергом, автомобильная промышленность Сан-Паулу сталкивалась с той же проблемой нерентабельности человеческого труда, с которой были знакомы Мичиган и Нижняя Саксония. Во всяком случае, именно об этом говорили автору этих строк бразильские профсоюзные лидеры в 1992 году. Технологический прогресс позволяет бесконечно наращивать производительность и эффективность человеческого труда. С людьми все обстоит по-другому; чтобы убедиться в этом, дос-

* Речь идет о Китае, Южной Корее, Индии, Мексике, Венесуэле, Бразилии, Аргентине (*Piel, 1992, p. 286—289*).

таточно сопоставить увеличение скорости воздушных перевозок и улучшение мирового рекорда в беге на сто метров. В любом случае стоимость человеческого труда не может опускаться ниже признаваемого в данном обществе минимального уровня, необходимого для поддержания жизни. Люди плохо приспособлены к капиталистической системе производства. Чем выше уровень технологического развития, тем дороже человеческая составляющая производства по сравнению с машинной его составляющей.

Историческая трагедия «десятилетий кризиса» состояла в том, что производственная система избавлялась от человеческого труда гораздо быстрее, чем рыночная экономика создавала новые рабочие места. Этот процесс стимулировался международной конкуренцией, финансовым давлением на правительства, которые — прямо или косвенно — оставались самыми крупными работодателями, а также, особенно после 1980 года, господствовавшей в тот момент «теологией свободного рынка», требовавшей отдать наемных работников в полное распоряжение частных предпринимателей, которые по определению озабочены только материальной выгодой. Это, в частности, означало, что правительства и прочие публичные институты утрачивали статус «работодателя последней инстанции» (*World Labour, 1989, p. 48*). Упадок профсоюзного движения, ослабленного экономической депрессией и враждебностью неолиберальных правительств, лишь ускорил описанный процесс, поскольку прежде одной из главных задач профсоюзов являлось обеспечение права на работу. Мировая экономика продолжала развиваться, но автоматический механизм, отвечающий за создание новых рабочих мест для мужчин и женщин без специальной квалификации, рушился на глазах.

Сказанное можно пояснить, обратившись к примеру из другой области. Крестьянство, составлявшее большую часть населения в течение всей известной нам истории человечества, благодаря сельскохозяйственной революции оказалось ненужным. В прежние времена миллионы людей, чей труд на земле уже не требовался, с легкостью находили работу в другом месте, с одним только желанием работать и умением в новых условиях пользоваться старыми навыками, чтобы, например, выкопать канаву или построить стену, или же просто с желанием учиться в процессе работы. Но что произойдет с этими людьми, когда их труд в свою очередь станет ненужным? Даже если некоторые из них сумеют переквалифицироваться и освоить навыки высокого порядка, запрашиваемые информационным обществом (для которых все чаще требуется высшее образование), таких рабочих мест все равно не хватит (*Technology, 1986, p. 7—9, 335*). И какой же в таком случае будет судьба крестьян третьего мира, в массовом порядке продолжающих покидать свои деревни?

В богатых капиталистических странах на тот момент уже существовала система социальной защиты, хотя людей, попадавших в постоянную зависимость от этой системы, ненавидели и презирали те, кто считал, что зарабаты-

вает себе на хлеб насущный в поте лица своего. В бедных странах такие люди приобщались к обширной «теневой» или «параллельной» экономике, в рамках которой мужчины, женщины и дети кое-как перебивались за счет мелких работ, услуг, уловок, покупок, продаж и воровства. В богатых странах они формировали все более отчужденный и изолированный «внеклассовый элемент», чьи проблемы *de facto* считались неразрешимыми, но вторичными, поскольку такие люди составляли хоть и постоянное, но все же меньшинство. Негритянское население США * стало хрестоматийным примером этого социального дна. Кроме того, «черная экономика» присутствовала и в богатых странах. Исследователи с удивлением обнаружили, что в начале 1990-х годов 22 миллиона семей в Великобритании имели на руках более 10 миллиардов фунтов стерлингов наличными, или в среднем 460 фунтов стерлингов на одну семью; этот показатель, как отмечалось, столь высок именно потому, что «черная экономика» в основном оперирует наличными деньгами.

II

Сочетание депрессии и повсеместной реструктуризации экономики, призванной упразднить человеческий труд, стало зловещим фоном «десятилетний кризиса». Уже целое поколение выросло в мире полной занятости с уверенностью, что ту или иную работу всегда можно будет найти. Если депрессия начала 1980-х вернула неуверенность в жизнь промышленных рабочих, то к началу 1990-х значительная часть «белых воротничков» и профессионалов среднего звена в таких странах, как Великобритания, тоже почувствовали, что ни работа, ни будущее для них не гарантированы. В то время около половины жителей наиболее процветающих регионов Великобритании допускали, что могут остаться без места. По мере того как старый образ жизни рушился (см. главы 10 и 11), люди теряли привычные жизненные ориентиры. Отнюдь не случайно «восемь из десяти самых громких в истории Америки дел о серийных убийствах (...) расследовались в период, начинающийся с 1980 года». Подобные преступления совершались, как правило, белыми мужчинами от тридцати до сорока лет, «пережившими длительное одиночество, фрустрацию и гнев», зачастую сопровождаемые такими жизненными катастрофами, как потеря работы или развод **. Едва ли случайным было и провоцировавшее

* Черные эмигранты, прибывающие в США из стран Карибского моря и Латинской Америки, в целом ведут себя подобно любой другой группе эмигрантов и вытесняются с рынка труда не более, чем любые другие группы.

** «Все это особенно верно (...) в отношении миллионов людей, которые, прожив полжизни на одном месте, вдруг снимаются и переезжают. Они попадают в новое место, и если там приходится терять работу, то обращаться за помощью им просто не к кому».

эти преступления «становление в США культуры ненависти» (*Butterfield, 1991*). Эта ненависть хорошо различима в словах популярных песен 1980-х годов, а также просматривается в нарастающей жестокости фильмов и телепередач того времени.

Описанное чувство дезориентации и незащищенности привело к значительным разломам и сдвигам в политике развитых стран еще до того, как окончание «холодной войны» нарушило международное равновесие, на котором покоилась стабильность западных парламентских демократий. Во времена экономических неурядиц избиратели склонны винить в своих неприятностях правящий режим или партию, но новизна «десятилетия кризиса» заключалась в том, что антиправительственные выступления далеко не всегда шли на пользу оппозиции. Больше всего из-за этого потеряли западные социал-демократические и лейбористские партии, чей главный козырь — активная экономическая и социальная политика национальных правительств — утратил былую привлекательность, а традиционно поддерживавший их рабочий класс стал более разобщенным (см. главу 10). Уровень заработной платы внутри страны теперь гораздо более зависел от внешней конкуренции, а способность государства поддерживать его заметно снизилась. При этом депрессия расколола ряды традиционных сторонников социал-демократических партий. Одним рабочие места были (относительно) гарантированы, другие боялись их потерять, третьи трудились в исторически связанных с профсоюзами регионах и отраслях промышленности, четвертые работали в более стабильных новых отраслях и не испытывали на себе профсоюзного влияния, а пятые становились никому не нужными жертвами кризиса, превращаясь в маргиналов. Кроме того, с начала 1970-х часть избирателей (в основном молодых и/или принадлежащих к среднему классу) отвернулась от влиятельных левых партий и обратилась к более «специализированным» движениям — в основном экологическим, женским и прочим альтернативным. В начале 1990-х годов лейбористские и социал-демократические правительства стали такой же редкостью, как и в 1950-е годы, а кабинеты, формально возглавляемые социалистами, были вынуждены отказываться от традиционной политики.

Политические силы, заполнившие образовавшийся вакуум, были различными по своей направленности. Среди них можно было найти правые движения ксенофобского и расистского толка, всевозможные сепаратистские (но при этом отнюдь не всегда националистические) партии, а также «зеленые» и прочие разновидности «новых социальных движений», считавших себя левыми. Некоторые из них успешно влияли на политику своих стран, иногда даже доминируя на региональном уровне, хотя к концу «короткого двадцатого века» ни одной такой партии так и не удалось полностью вытеснить традиционные политические структуры. В целом уровень их поддержки варьировал

довольно широко. Самые влиятельные из «новичков» отказались от политики демократического и гражданского универсализма в пользу защиты интересов какой-либо одной группы, зачастую демонстрируя враждебность по отношению к иностранцам и инакомыслящим, а также к идее всеобъемлющего государства-нации, рожденной французской и американской революционными традициями. Становление этой политики «групповой идентичности» мы рассмотрим ниже.

При этом политический вес новых движений был обусловлен не столько содержательной стороной их программ, сколько отказом от «прежней политики». Некоторые из наиболее крупных движений такого рода положили негативизм в основу своей деятельности. Хорошими примерами здесь могут служить сепаратистская Северная лига в Италии или политический выбор 20 % американских избирателей, поддержавших на президентских выборах 1992 года малоизвестного миллионера из Техаса. Сюда же следует отнести и волеизъявления избирателей Бразилии и Перу, в 1989 и 1990 годах избравших глав своих государств, руководствуясь единственным соображением: раз о них раньше ничего не было слышно, они должны быть приличными людьми. В Великобритании в начале 1970-х годов лишь сохранение традиционно нерепрезентативной избирательной системы предотвратило появление влиятельной третьей партии, когда либералы, действуя самостоятельно или заодно с отошедшими от лейбористов умеренными социал-демократами, получали почти такую же (или даже бóльшую) поддержку электората, как и основные две партии, взятые по отдельности. Такого катастрофического падения популярности правящих партий, какое наблюдалось в конце 1980—начале 1990-х годов, западный мир не знал со времен Великой депрессии. Это касается прежде всего Социалистической партии Франции (1990), Консервативной партии Канады (1990) и партий правящей коалиции Италии (1993). Иначе говоря, в «десятилетия кризиса» устойчивые до того момента политические структуры демократических капиталистических государств начали распадаться. Что еще более серьезно, наибольший потенциал роста продемонстрировали те политические образования, которые сочетали популистскую демагогию, ярко выраженное личностное лидерство и враждебность к иностранцам. Люди, пережившие межвоенный период, имели все основания для разочарований.

III

Не слишком часто, но все же отмечалось, что начиная с того же 1970 года аналогичный кризис поразил и «централизованную плановую экономику» так называемого второго мира. Поначалу эти затруднения были незаметны из-за

жесткости политической системы этих стран, и потому их наступление показалось совершенно неожиданным, как, например, в Китае конца 1970-х годов, после смерти Мао, или в Советском Союзе середины 1980-х, после смерти Брежнева (см. главу 16). Уже с середины 1960-х годов стало очевидно, что плановой социалистической экономике просто необходимы реформы. В начале 1970-х в ней проявились бесспорные признаки экономического спада. Именно в этот момент социалистическая экономика попала, хотя и в меньшей степени, чем другие экономические системы, под влияние неконтролируемых колебаний и флуктуаций мировой экономики. Широкомасштабный выход СССР на мировой рынок зерна, а также нефтяной кризис 1970-х годов покончили с самодостаточностью «социалистического лагеря» как замкнутой экономической системы регионального масштаба, застрахованной от превратностей мирового экономического развития (см. выше).

Восток и Запад неожиданно оказались связанными друг с другом не только общемировыми экономическими процессами, не поддающимися никакому контролю, но и странной зависимостью системы противовесов, сложившейся в годы «холодной войны». Как мы уже видели (см. главу 8), такая система являлась стабилизирующим фактором — как для самих сверхдержав, так и для всего остального мира. Именно поэтому ее распад вверх в хаос весь мир. Причем этот беспорядок оказался не только политическим, но и экономическим. После неожиданного распада советской политической системы межрегиональное разделение труда и общая инфраструктура, созданная в советской зоне влияния, также развалились. Странам и регионам, входившим в эту систему, пришлось в одиночку справляться с трудностями свободного рынка, к чему они были мало приспособлены. Но при этом и Запад оказался не готов интегрировать остатки «параллельного мира» старой коммунистической системы в свою собственную экономику, даже если пожелал бы этого. Но Европейскому союзу, к примеру, это было совершенно не нужно *. Финляндия, одна из самых динамичных экономик послевоенной Европы, из-за краха советской экономической системы оказалась в глубоком кризисе. Германия, самая могущественная европейская держава, была вынуждена проводить политику жестких ограничений как внутри страны, так и в Европе в целом — потому что ее правительство (вопреки, заметим, предупреждениям банковских кругов) совершенно недооценило сложность и издержки поглощения относительно небольшой части социалистического мира — шестнадцатимиллионной Германской Демократической Республики. И все это были непредсказуе-

* Я вспоминаю вопль отчаяния, вырвавшийся у одного болгарина на международном семинаре в 1993 году: «И что же нам теперь делать? Мы потеряли свои рынки в бывших социалистических странах. Европейскому сообществу наша продукция не нужна. Из-за боснийской блокады мы, законопослушные члены ООН, не можем торговать даже с Сербией. И чем все это закончится?»

мые последствия крушения Советского Союза, в которое не верили до того самого момента, пока оно действительно не состоялось.

На Востоке, как и на Западе, немыслимое прежде становилось предметом активного обсуждения: замалчиваемые ранее проблемы были преданы гласности. Например, в 1970-е годы защита окружающей среды повсеместно стала важнейшим политическим вопросом, шла ли речь о запрете охоты на китов или сохранении сибирского озера Байкал. Учитывая ограничения, налагаемые тогда на публичные дискуссии, нам довольно трудно проследить развитие критической мысли в коммунистических странах. Однако к началу 1980-х ведущие экономисты реформистского толка, например Янош Корнаи в Венгрии, начали публиковать яркие критические исследования социалистической экономики, а безжалостные обличения недостатков советского общества, прозвучавшие в середине 1980-х, уже тогда вынашивались в Новосибирске и других научных центрах. Гораздо сложнее установить, когда именно сами коммунистические вожди перестали верить в социализм, поскольку после событий 1989—1991 годов им было выгодно относить свое обращение в капиталистическую веру на максимально ранний срок. Сказанное об экономике было еще более справедливо в отношении политики, по крайней мере в социалистических странах, что и продемонстрировала горбачевская перестройка. При всем своем восхищении фигурой Ленина многие коммунистические реформаторы, безусловно, предпочли бы отказаться от значительной части политического наследия ленинизма, хотя мало кто из них (за исключением руководителей Итальянской коммунистической партии, которым симпатизировали коммунисты Восточной Европы) был готов признать это открыто.

Большинство реформаторов в социалистическом мире мечтали превратить свои страны в некое подобие западных социально ориентированных демократий. Их идеалом выступал скорее Стокгольм, нежели Лос-Анджелес. Поэтому у Хайека или Фридмана вряд ли было много тайных почитателей в Москве или Будапеште. Неудача же заключалась в том, что экономический кризис в социалистических государствах совпал с кризисом «золотой эпохи» капитализма, ставшим одновременно и кризисом социальной демократии. Реформаторам не повезло еще и в том, что внезапный коллапс коммунизма сделал программы постепенного перехода к рыночной экономике нежелательными и непрактичными. А это, в свою очередь, совпало с триумфом (хотя и недолгим) жесткого радикализма свободного рынка в западных капиталистических странах. В силу указанных причин именно идеология ничем не ограничиваемой рыночной стихии вдохновляла на реформы теоретиков посткоммунистических стран, причем на практике она оказалась здесь столь же неосуществимой, как и повсеместно.

Несмотря на то что во многих отношениях кризисы на Западе и Востоке развивались параллельно и являлись составляющими общемирового эконо-

мического и политического кризиса, между ними имелись два существенных отличия. Для коммунистической системы, во всяком случае для стран советской сферы влияния, экономически отсталых и закосневших, он явился вопросом жизни и смерти. Пережить этот кризис им так и не удалось. Но в развитых капиталистических странах вопрос о выживании не стоял никогда. Политические системы этих стран давали трещины, но их способность к обновлению не ставилась под вопрос. Этим объясняются, хотя и не оправдываются, неправдоподобные прогнозы американского аналитика, согласно которым после падения коммунизма человечество ожидает либерально-демократическое будущее. Развитые страны столкнулись только с одной реальной проблемой: их территориальная целостность в будущем больше не была гарантирована. Впрочем, к началу 1990-х ни одно из западных государств-наций не распалось, несмотря на подъем сепаратистских движений.

В «эпоху катастроф» казалось, что крах капитализма близок. Великую депрессию окрестили, согласно названию одной известной книги, «последним из кризисов» (*Hutt, 1935*). Но к концу века в его неминуемый коллапс уже мало кто верил; хотя даже в 1976 году известный французский историк и торговец предметами искусства предсказывал скорый закат западной цивилизации на том основании, что жизненная сила американской экономики, этого авангарда западного мира, исчерпана (*Gimpel, 1992*). Этому автору казалось, что депрессия конца 1970-х «перейдет и в следующее тысячелетие». Правда, справедливости ради стоит сказать, что до середины или даже до конца 1980-х мало кто строил апокалиптические прогнозы и в отношении СССР.

Вместе с тем в силу динамичного и неконтролируемого характера капиталистической экономики социальная структура западных обществ испытала большие перегрузки, чем в социалистических странах, и потому с этой точки зрения кризис на Западе оказался более серьезным. Разрушение социальной структуры СССР и стран Восточной Европы стало следствием распада экономической системы этих государств, а не его предпосылкой. Там, где есть возможность сравнивать — например, в ситуации с Восточной и Западной Германией, — создается впечатление, что традиционные ценности и привычки немцев лучше сохранялись в коммунистической изоляции, чем в условиях «экономического чуда». Эмигрировавшие из Советского Союза евреи возродили в Израиле классическую музыкальную традицию, поскольку они приехали из страны, где посещение концертов классической музыки являлось нормой, по крайней мере в еврейской среде. Посещающая концерты публика там еще не успела превратиться в скромное меньшинство людей среднего и пожилого возраста*. Жителей Москвы и Варшавы меньше волновали такие важные для обитателей

* В начале 1990-х годов в Нью-Йорке, одном из крупнейших мировых музыкальных центров, из 10 миллионов жителей только 20 или 30 тысяч посещали концерты классической музыки.

Лондона или Нью-Йорка проблемы, как растущий уровень преступности, небезопасность пребывания в общественных местах, непредсказуемая агрессия празднующихся подростков. В социалистическом обществе практически отсутствовало эпатажное поведение, столь раздражавшее консервативную публику на Западе, усматривавшую в подобных выходках первые признаки распада цивилизации и мрачные «веймарские» аллюзии.

Сложно точно определить, до какой степени это различие между Востоком и Западом было обусловлено более высоким уровнем благосостояния в буржуазных странах и гораздо более жестким контролем со стороны социалистических государств. В некоторых отношениях и Восток, и Запад эволюционировали в одну и ту же сторону. Семьи становились меньше, браки распались с большей легкостью, чем раньше, население — во всяком случае, в более урбанизированных и промышленно развитых областях — практически не воспроизводилось. Насколько можно судить, влияние традиционных религий на Западе значительно ослабело, и хотя социологические опросы фиксировали возрождение религиозности в постсоветской России, это почти не сказывалось на увеличении числа прихожан. Как показали события, имевшие место после 1989 года, полки с таким же недовольством относились к попыткам Католической церкви регулировать их сексуальное поведение, как и итальянки, — несмотря на то что при коммунистах поляки выказывали страстную привязанность к Церкви по националистским и антисоветским соображениям. Бесспорно, коммунистические режимы предоставляли меньше социального пространства для субкультур, контркультур и различного рода андеграунда, а также подавляли диссидентство. Более того, люди, пережившие времена по-настоящему безжалостного и массового террора, отметившего историю большинства восточноевропейских стран, предпочитали не поднимать головы даже после смягчения режима. Тем не менее относительное спокойствие здешней общественной жизни не было обусловлено страхом. Коммунистическая система изолировала своих граждан от полномасштабного воздействия западных социальных трансформаций потому, что она изолировала их от воздействия западного капитализма. Все общественные изменения являлись результатом либо государственной политики, либо реакции граждан на эту политику. То, что государство не считало нужным менять, оставалось в прежнем состоянии. Главным парадоксом коммунизма у власти оказался его консерватизм.

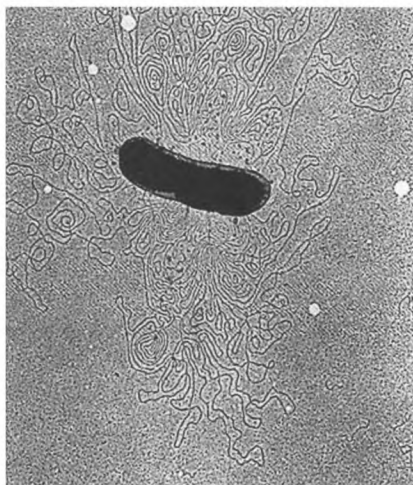
IV

Ситуацию на обширных территориях третьего мира (включая страны, вставшие на путь индустриализации) обобщать гораздо труднее. Поверхностный

МИР МЕНЯЕТСЯ



Прошлое: спускающиеся террасами поля в долине Липинг (Китай, провинция Гуйчжоу).



Настоящее: кишечная палочка, выделяющая хромосомы, под электронным микроскопом (увеличение ок. 55 тысяч раз).

ОТ СТАРОГО К НОВОМУ



Конец восьмимысячелетней истории: китайский крестьянин за плугом.



Старый мир встречается с новым:
семья турецких эмигрантов в Западном Берлине.



Эмигранты: выходцы из Индии с надеждой приезжают
в Лондон (1950-е годы).



Беженцы: Африка в конце двадцатого века.



Городская жизнь в прошлом: Ахмадабад (Индия).



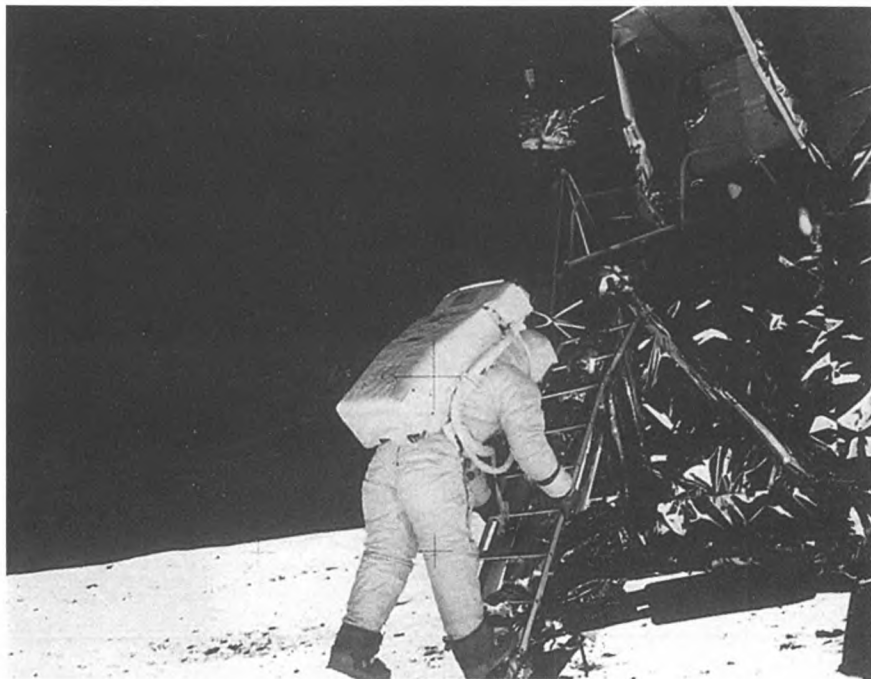
(слева) Городская жизнь
в настоящем: Чикаго.

(на противоположной странице
слева) Транспорт: железная дорога,
сохранившаяся с девятнадцатого века
(Аугсбург, Германия).

(на противоположной странице
справа) Транспорт: триумф двигателя
внутреннего сгорания в двадцатом
веке. Автомагистрали, машины
и городской смог
(Хьюстон, штат Техас).

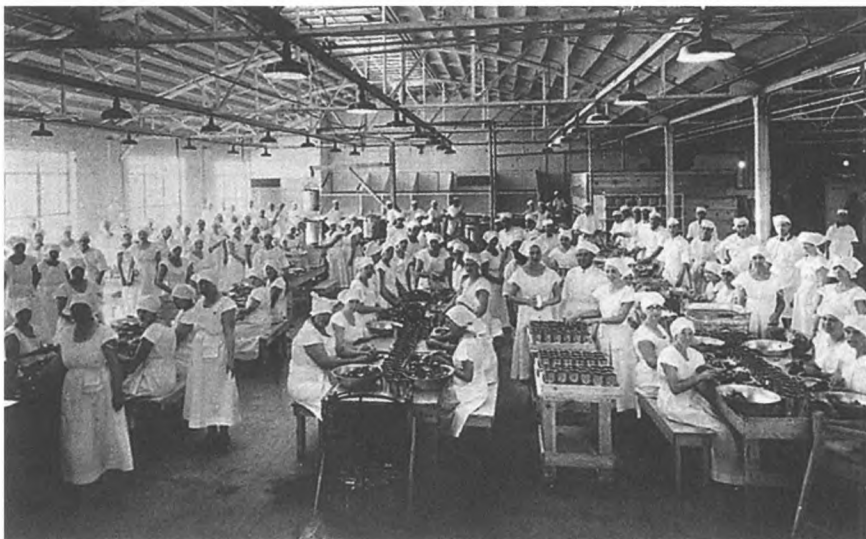


Городская жизнь: метро, час пик на станции Синдзюку (Токио).



Внеземной транспорт: первая высадка человека на Луне (1969).

ОТ ЛЮДЕЙ К МАШИНАМ



Люди на производстве: консервный завод в 1930 году (Амарилло, штат Техас).



Производство без людей: атомная электростанция.



Там, где работали люди: деиндустриализация на севере Англии (Миддлбург).

НОВЫЙ БЫТ



Революция на кухне:
холодильник.



Революция в гостиной: телевизор.



НОВЫЕ ПРАВИЛА



Старый режим — гражданская версия: Невилл Чемберлен (1869–1940), британский премьер-министр (1937–1940), на рыбалке.



(слева) Старый режим — военная версия: Льюис Фрэнсис Альберт Виктор Николас, первый граф Маунтбеттен Бирманский (1900–1979), последний вице-король Индии.

(на противоположной странице слева) Покупки в изменившемся мире: супермаркет.

(на противоположной странице справа) Отдых в изменившемся мире: миниатюрность и мобильность — портативная магнитола.



Новый режим — лидер как революционер:
Ленин произносит речь с грузовика (1917).



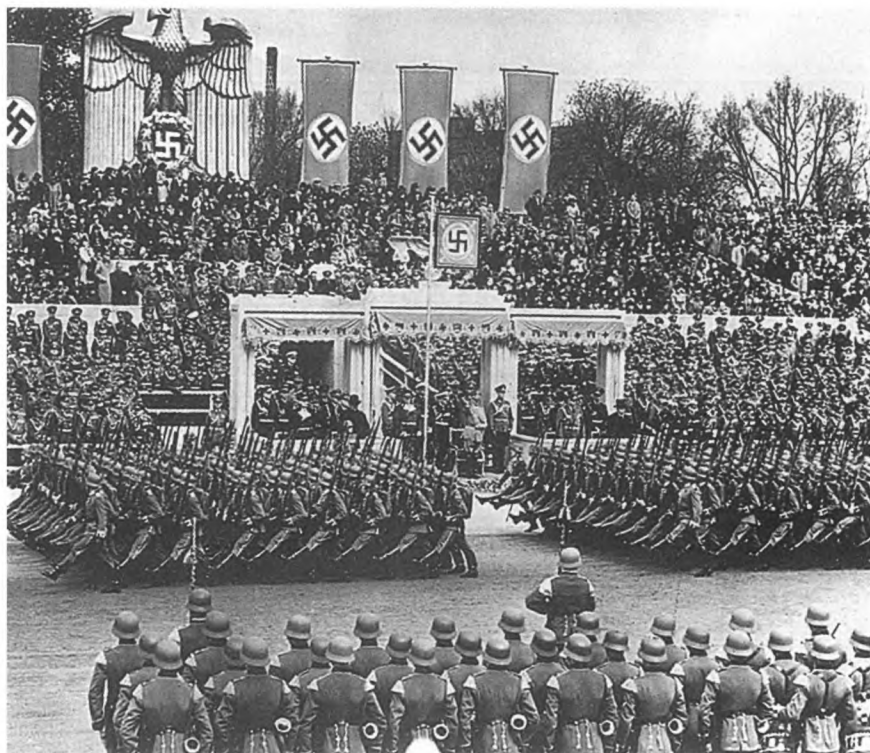
Новый режим — лидер как революционер: Ганди отправляется на переговоры
с британским правительством после посещения лондонского Ист-Энда (1931).

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ: ПРАВИТЕЛЬ КАК ИКОНА



(слева) Сталин (Иосиф Виссарионович Джугашвили, 1879–1953).

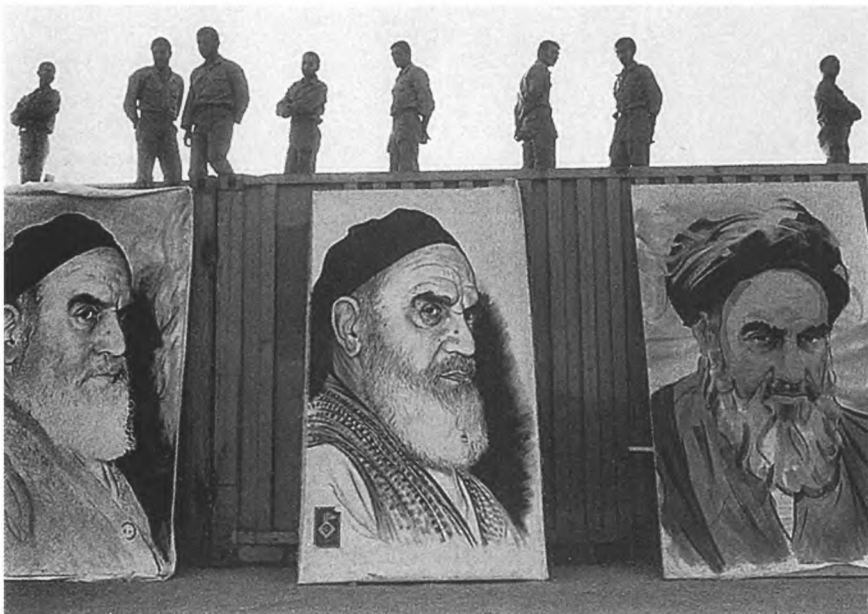
(внизу) Парад в честь дня рождения Гитлера (1939).



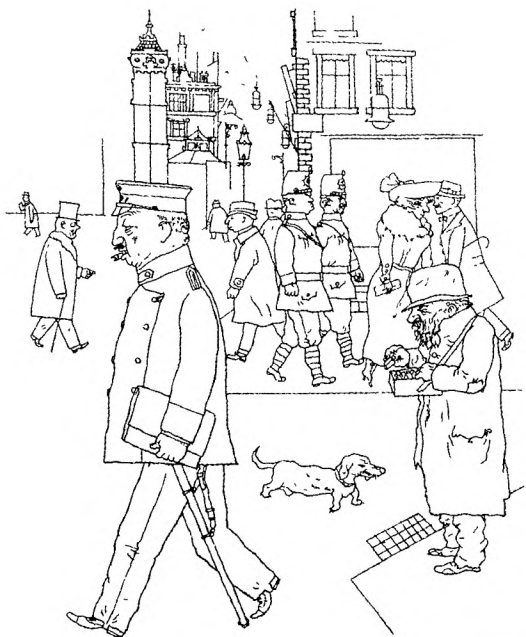


(слева) «Председатель МАО»: Мао Цзэдун (1893–1976) глазами Энди Уорхола.

(внизу) Могила аятоллы Хомейни (1900–1989), лидера революционного Ирана (Тегеран).



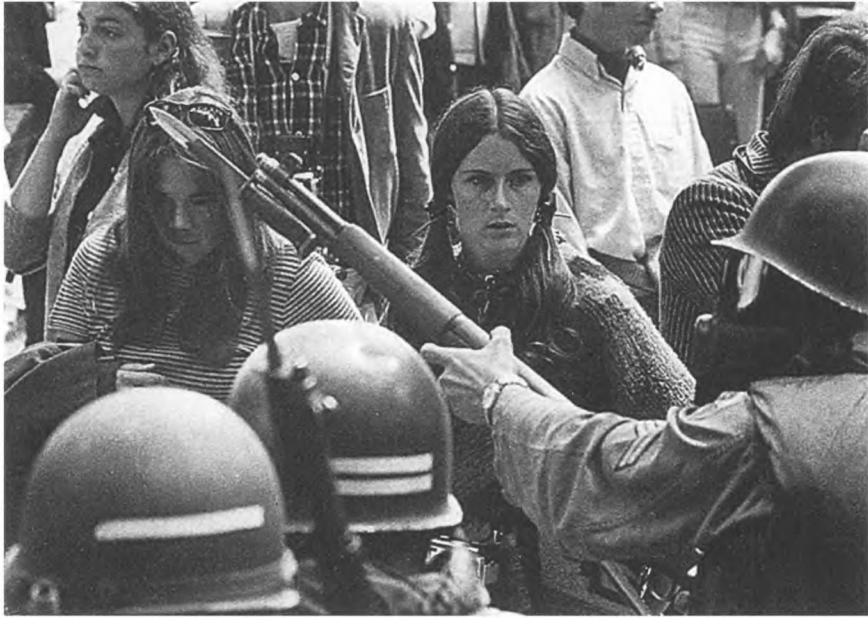
НОВЫЕ ФОРМЫ ПРОТЕСТА



(слева) После 1917 года:
художник как бунтарь.
ГЕОРГ ГРОС (1893–1959)
высмеивает правящий класс
Германии.

(внизу) 1930-е годы —
пролетариат: забастовка
британских докеров
(Лондон).





1960-е годы – студенты: демонстрация против войны во Вьетнаме (Беркли, Калифорния). Среди демонстрантов много женщин.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ



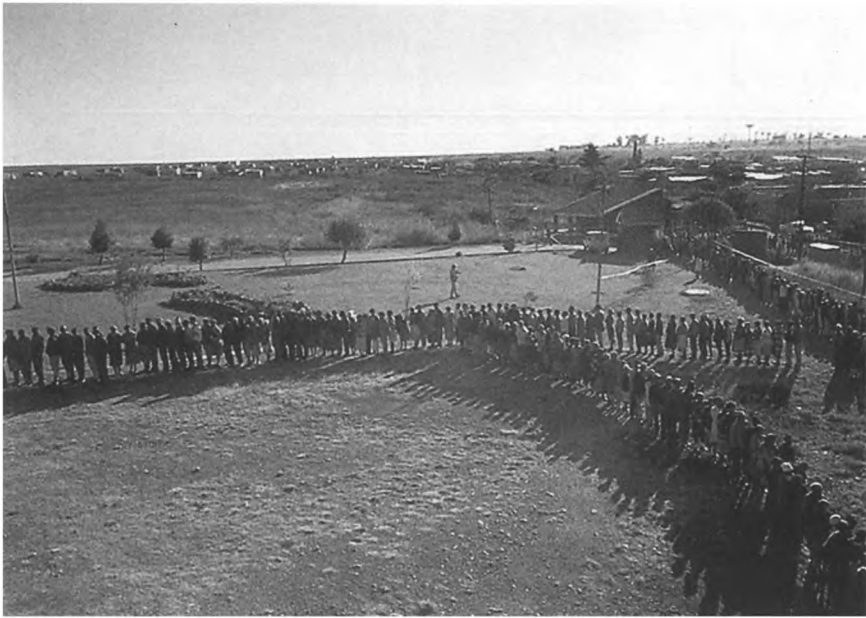
Итоги двадцатого века: претензии на мировое господство.



После войны в Персидском заливе (1991).



Последствия свободного рынка: бездомные.



В преддверии свободы: очередь на избирательном участке в ЮАР (1994).



Сараево спустя 80 лет
после 1914 года.

обзор переживаемых ими проблем был предпринят в главах 7 и 12. Мы видели, что «десятилетия кризиса» отразились на этих странах совершенно по-разному. Как можно сравнивать, например, Южную Корею, в которой с 1970 по 1985 год число обладателей телевизоров увеличилось с 6,4 до 99,1% населения (Jop, 1993), с Перу, где половина населения живет за чертой бедности, а среднедушевое потребление даже падает (Anuario, 1989), или с беднейшими африканскими странами? Проблемы, с которыми сталкивался Индийский субконтинент, были обусловлены трудностями экономического и социального роста. А в то же самое время в Сомали, Анголе и Либерии шли противоположные, разрушительные процессы, и это на континенте, будущее которого мало кому представляется оптимистическим.

С достаточной определенностью можно утверждать только одно: с начала 1970-х годов почти все страны третьего мира попали в колоссальную долговую зависимость. В 1990 году в число должников входили три страны с гигантским внешним долгом, составлявшим от 60 до 110 миллиардов долларов (Бразилия, Мексика и Аргентина), более 28 стран со средним объемом долговых обязательств на уровне 10 миллиардов, и должники, обремененные одним или двумя миллиардами. По подсчетам Всемирного банка (у которого имелись все основания быть информированным), среди 96 должников с «низкими» и «средними» доходами на душу населения только у семи внешний долг был заметно ниже миллиарда долларов — например, к таковым относились Лесото и Чад. Но и в этих странах внешний долг был в несколько раз выше, чем двадцать лет назад. Между тем в 1970 году в мире было только 12 стран, чей долг превышал миллиард долларов, и ни одной страны с долгом более 10 миллиардов. К началу 1980-х 6 стран обладали внешним долгом, сопоставимым с их ВВП или превышавшим его; к 1990 году уже 24 страны были должны больше, чем производили, включая все страны, лежащие к югу от Сахары. Неудивительно, что именно в Африке находилась большая часть стран с самым крупным внешним долгом (Мозамбик, Танзания, Сомали, Замбия, Конго, Берег Слоновой Кости); некоторые из них были опустошены войной, а другие не выдержали обвала цен на их экспортные товары. При этом, однако, страны, на которые легло наиболее тяжелое бремя обслуживания внешних долгов, т. е. те, в которых расходы на эти цели достигали четверти экспорта, распределялись по миру более равномерно. И действительно, среди прочих регионов планеты Африка, в сопоставлении с Юго-Восточной Азией, Латинской Америкой, бассейном Карибского моря, а также Ближним Востоком, смотрелась не так уж и плохо.

В принципе, выплатить такие долги было невозможно, но поскольку банки продолжали взимать с них проценты — около 9,6% в 1982 году, — банкиров такое положение дел устраивало. В начале 1980-х годов их охватила настоящая паника: самые крупные страны-должники Латинской Америки, включая

Мексику, не могли больше выплачивать проценты. Западная банковская система оказалась на грани краха, поскольку в 1970-е годы некоторые крупнейшие банки, инвестируя хлынувшие на Запад нефтедоллары, ссудили столь огромные суммы, что их ожидало неминуемое банкротство. К счастью для богатых стран, три латиноамериканских должника действовали порознь, что позволило заключить с ними отдельные соглашения об отсрочке платежей. Банки, при поддержке своих правительств и международных финансовых структур, выиграли время, постепенно списали утраченные активы и обеспечили себе платежеспособность. Долговой кризис не был преодолен, но уже не представлял смертельной угрозы. Это был, по-видимому, самый опасный момент для мировой капиталистической экономики со времен Великой депрессии 1929 года. Подробная история этого эпизода еще будет написана.

Долги бедных стран росли, а с их реальными или потенциальными активами этого не происходило. В «десятилетия кризиса» развитые капиталистические страны, подходящие к партнерам сугубо с точки зрения реальной или потенциальной прибыли, решили не иметь дел со многими странами третьего мира. В 1970 году в 19 из 42 стран с «низким уровнем дохода» вообще не поступило иностранных инвестиций. К 1990 году зарубежные инвесторы полностью потеряли интерес уже к 26 странам. Значительные внешние инвестиции (более 500 миллионов долларов) поступали только в 14 из 100 неевропейских стран с низким и средним уровнем дохода. По-настоящему крупные капиталовложения (свыше миллиарда) делались только в 8 странах, 4 из которых находятся в Восточной и Юго-Восточной Азии (Китай, Таиланд, Малайзия и Индонезия), а 3 — в Латинской Америке (Аргентина, Мексика и Бразилия)*. Но все же интегрирующаяся мировая экономическая система не полностью отвернулась от «потерянных» регионов. Самые маленькие и живописные из этих стран превратились в рай для туристов и офшорные убежища от правительственного контроля, что, возможно, в будущем поможет в чем-то изменить ситуацию в их пользу. Однако в целом значительная часть мира оказалась вне мировой экономики. Казалось, что после распада советского блока такая же участь ожидает и территорию от Триеста до Владивостока. В 1990 году Польша и Чехословакия были единственными странами бывшего социалистического лагеря, привлекавшими хотя бы какие-то иностранные инвестиции (*UN World Development, 1992, Tables 21, 23, 24*). На огромной территории бывшего Советского Союза располагались как богатые ресурсами области или республики, привлекавшие значительные капиталовложения, так и области, из-за своей бедности оставшиеся без всякой финансовой поддержки. Так или иначе, но большая часть бывшего советского блока постепенно приобщалась к третьему миру.

* Как ни странно, последней страной в этом списке оказался Египет.

Таким образом, основным итогом «десятилетий кризиса» можно считать увеличение экономического разрыва между бедными и богатыми странами. Реальный ВВП на душу населения в странах тропической Африки с 1960 по 1987 год упал с 14 до 8% от аналогичного показателя развитых стран, а в «наименее развитых странах» в целом (как африканских, так и неафриканских) — с 9 до 5% (*UN Human Development, 1991, Table 6*) *.

V

По мере того как транснациональная экономика укрепляла контроль над миром, она подрывала основы существования основного и с 1945 года универсального института международной политики — территориального государства-нации. Этим традиционным образованиям было уже не под силу выполнять большую часть своих прежних функций. Одновременно сдавали свои позиции и организации, ограниченные рамками национальных границ, — профсоюзы, парламенты, средства массовой информации. И напротив, транснациональные компании, валютные биржи и спутниковые средства коммуникации расширялись и укреплялись. Исчезновение сверхдержав, хоть как-то контролировавших соответствующие сферы влияния, поддержало эту тенденцию. Даже такие специфические для государств-наций двадцатого века функции, как перераспределение доходов с помощью «трансфертных платежей» — системы государственных социальных пособий, субсидий на образование и здравоохранение, других подобных отчислений, — трудно было ограничивать рамками национальных государств. На практике, разумеется, они старались выполнять привычные функции, но появление наднациональных образований вроде Европейского сообщества или союза не слишком способствовало этому. Полномочия государств-наций сокращались и еще по одной причине: в эпоху, когда в мире восторжествовала «теология свободного рынка», было принято верить традиционные полномочия государственных структур рыночной стихии.

На этом фоне парадоксальным, но едва ли удивительным выглядит следующее явление: наряду с ослаблением государств-наций в мире обозначилась тенденция дробления старых государственных образований на новые, менее крупные. Как правило, это делалось в порядке уступки какой-либо группе, требовавшей этнолингвистической монополии. Распространение по-

* Термин «наименее развитые страны» был введен Организацией Объединенных Наций. В большинстве таких стран ВВП составляет не более 300 долларов США на душу населения ежегодно. «Реальный ВВП» на душу населения обозначает фактическую покупательную способность, в отличие от официальных показателей, основанных на официальных обменных курсах и «международной покупательной способности».

добных автономистских и сепаратистских движений после 1970 года было характерно в основном для Запада — в частности, для Великобритании, Испании, Канады, Бельгии и даже Швейцарии и Дании, а также для Югославии — наименее централизованного социалистического государства. Кризис коммунистической системы в Восточной Европе привел к тому, что после 1991 года на ее территории образовалось больше новых и номинально национальных государств, чем когда-либо прежде. Причем до начала 1990-х Западное полушарие к югу от канадской границы оставалось практически не затронутым этим движением. В странах, переживших в 1980-е и 1990-е годы распад и дезинтеграцию (примерами могут служить Афганистан и некоторые африканские территории), альтернативой старому порядку явилось не столько возникновение новых государств, столько анархия.

На первый взгляд такое развитие событий кажется довольно странным: ведь совершенно ясно, что новые небольшие государства-нации столкнутся с теми же проблемами, только в бóльших масштабах. С другой стороны, ничего необъяснимого в сложившейся ситуации нет: стоит только вспомнить, что единственной существовавшей в конце двадцатого века моделью государства было замкнутое территориальное образование, обладающее автономными общественными институтами, — короче говоря, модель государства-нации «эпохи революций». Более того, после 1918 года все политические режимы начали придерживаться принципа «национального самоопределения», все больше и больше трактуемого в национально-лингвистических терминах. В этом отношении Ленин и Вильсон мыслили сходным образом. И Европа, созданная Версальским мирным договором, и политические образования, вошедшие в состав Советского Союза, задумывались как совокупность именно таких государств-наций. В случае с СССР (и последовавшей его примеру Югославией) имел место такой союз государств, члены которого обладали теоретическим (но не практическим) правом на отделение*. Если такие объединения распадались, то это происходило в соответствии с изначально заложенными линиями разлома.

Однако сепаратистский национализм «десятилетия кризиса» значительно отличался от движений, создававших государства-нации в девятнадцатом и в начале двадцатого века. Его появление было обусловлено тремя факторами. Первой причиной стало противодействие государств-наций включению в более крупные объединения. Оно стало особенно очевидным в 1980-е годы, когда действительные и потенциальные члены Европейского сообщества, иногда находящиеся в столь разных весовых категориях, как Норвегия и Великобритания госпожи Тэтчер, пытались сохранить региональную автономию,

* В этом их отличие от штатов США, которые после завершения в 1865 году гражданской войны между Севером и Югом лишились права на сецессию — за исключением, возможно, Техаса.

невзирая на общеевропейскую стандартизацию. При этом показательно, что протекционизм, этот главный инструмент экономической политики государства-нации, в «десятилетия кризиса» оказался менее эффективным, нежели в «эпоху катастроф». Хотя свобода международной торговли оставалась не только идеалом, но и в значительной мере реальностью, даже упрочившейся после падения командно-административных систем, некоторые государства практиковали негласные способы защиты от иностранной конкуренции. Самыми изобретательными в этой области оказались французы и японцы, хотя, возможно, еще более поразительным явилось умение итальянцев (в лице компании «Фиат») сохранить в своих руках львиную долю собственного автомобильного рынка. Тем не менее эти действия скорее были похожи на арьергардные бои, давались с большим трудом и далеко не всегда приводили к успеху. Наиболее яростное сопротивление свободной торговле отмечалось в тех случаях, когда затрагивалась не столько экономическая, сколько культурная идентичность нации. Французские и, в несколько меньшей степени, немецкие политики боролись за сохранение крупных государственных субсидий для своих крестьян не только потому, что дорожили их голосами на выборах. Они вполне искренне верили: уничтожение фермерского земледелия, при всей его неэффективности и неконкурентоспособности, приведет к уничтожению самобытного пейзажа, местных традиций, национального характера. Франция, при поддержке других европейских стран, не подчинилась требованию Америки разрешить свободное распространение фильмов и аудиовизуальной продукции не только потому, что это привело бы к наводнению кинотеатров и видеорынка американской продукцией. (Хорошо известно, что базирующаяся в Америке и контролируемая международным капиталом индустрия развлечений утвердила свою потенциальную мировую монополию, заменив собой прежнюю власть Голливуда.) Они справедливо считали недопустимым прекращение производства фильмов на французском языке, несмотря на более высокую себестоимость или более низкую прибыльность. Какими бы ни были экономические аргументы, в мире есть вещи, требующие нашей защиты. Станет ли хоть одно национальное правительство всерьез рассматривать вопрос о сносе кафедрального собора в Шартре или усыпальницы Тадж-Махал, если даже будет доказано, что возведение на этом месте пятизвездочной гостиницы, торгового комплекса или делового центра пополнит ВВП страны более основательно, чем прибыль от традиционных туристических маршрутов? Ответ очевиден.

Вторую причину правильнее всего было бы назвать коллективным эгоизмом богатства. Она отражала постоянно нарастающее экономическое неравенство континентов, регионов и отдельных стран. Старомодные правительства государств-наций, централизованные или федеральные, а также наднациональные образования типа Европейского сообщества взяли на себя

ответственность за развитие всей своей территории и, следовательно, за относительно равное распределение на ней обязанностей и льгот. Это также означало, что бедные и отсталые регионы субсидировались более богатыми и передовыми (посредством централизованных механизмов распределения), причем они получали даже инвестиционные привилегии. По этой причине руководство Европейского сообщества поступало достаточно мудро, принимая в свои ряды только те государства, чья экономическая отсталость и бедность казалась не слишком большой обузой для остальных. Любопытно, что подобный реализм полностью отсутствовал при создании в 1993 году Североамериканской зоны свободной торговли, объединившей США и Канаду с ВВП порядка 20000 долларов на душу населения по результатам 1990 года с Мексикой, где аналогичный показатель был в восемь раз меньше*. Нежелание более богатых областей субсидировать более бедные хорошо знакомо, в частности, специалистам по местному самоуправлению в США. Проблема «города в городе», населенного бедными и постоянно теряющего налоговую базу, возникла в основном из-за переезда более обеспеченного населения в пригороды. Кто же хочет платить за бедных? Богатые пригороды Лос-Анджелеса, например Санта-Моника и Малибу, предпочитали покинуть административные границы своего города, а в начале 1990-х по этой же причине за отделение проголосовало население Стейтен-Айленда, одного из пригородов Нью-Йорка.

Националистические движения «десятилетия кризиса» отчасти проистекали из этого коллективного эгоизма. Призывы к развалу Югославии исходили в основном от «европейских» Словении и Хорватии, а инициатива разделить Чехословакию — от Чехии, громкогласно заявлявшей о своей «западной» ориентации. Каталония и Страна Басков относились к самым обеспеченным и «развитым» областям Испании, а в Латинской Америке единственным выразителем серьезных сепаратистских устремлений оказался богатейший бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул. Наиболее концентрированным выражением описываемого здесь феномена может служить внезапный подъем в конце 1980-х годов так называемой Ломбардской лиги (позднее переименованной в Северную лигу). Она стремилась к отделению от Рима, политической столицы Италии, региона с центром в Милане, который являлся «экономической столицей» страны. Риторические приемы сторонников Лиги, вещавших о славном историческом прошлом и превосходстве ломбардского диалекта, были типичными приемами сепаратистского красноречия; реальной же причиной их активности было стремление богатой области оставить свои ресурсы при себе.

* В самой бедной стране Европейского союза, Португалии, ВВП примерно в три раза меньше, чем в среднем по союзу.

Третьей причиной, скорее всего, явилась общественная реакция на «культурную революцию» второй половины двадцатого столетия, на невиданное ранее разрушение традиционных социальных норм, структур и ценностей, породившее в душах многих жителей экономически развитых стран опустошенность и сиротство. Никогда раньше слово «сообщество» не употреблялось столь неразборчиво и бездумно, как в те десятилетия, когда сообщества в социологическом смысле слова в реальной жизни почти не осталось — отсюда, кстати, и появление таких терминов, как «разведывательное сообщество», «сообщество специалистов по связям с общественностью», «сообщество гомосексуалистов». Склонные к самоанализу американские авторы отмечали начавшийся еще в конце 1960-х годов подъем «групп общей идентичности» — объединений, к которым человек мог просто принадлежать, полностью и безраздельно, без каких-либо сомнений. Большая часть таких групп по понятным причинам строилась на общности этнических корней, хотя были и такие, которые практиковали групповой сепаратизм, используя ту же националистскую терминологию (можно сослаться на разговоры о «голубой нации», популярные среди активистов гомосексуального движения).

Анализ этого феномена на материале многих многонациональных государств показал, что политика «групп общей идентичности» не имела ничего общего с «национальным самоопределением», т. е. с желанием создать собственное территориально обособленное государство и стать «народом» (что и составляет сущность национализма). Сецессия не имела смысла для негритянского или итальянского населения Соединенных Штатов и не была частью их этнической политики. Политика украинцев в Канаде по своей сути была не украинской, но канадской*. Все это легко объяснимо: ведь сущностью этнической или другой подобной политики в городских (т. е. по определению гетерогенных) обществах является борьба с другими подобными группами за собственную долю ресурсов неэтнического государства. Конгрессмены, избираемые от городских округов Нью-Йорка и отстаивавшие такую «нарезку» округов, которая обеспечивала бы максимальное представительство латиноамериканцев, азиатов и гомосексуалистов, желали получить от города Нью-Йорка как можно больше.

Общность политики «этнической идентичности» с этническим национализмом *fin de siècle* заключалась в том, что она также подчеркивала наличие

* В самых крайних случаях эмигрантские общины могли придерживаться политики так называемого «дистанционного национализма», действуя от имени своей настоящей или мнимой родины и реализуя экстремальные модели национальной политики своих стран. Пионерами в этой области стали североамериканские ирландцы и евреи, но впоследствии глобальные диаспоры, порожденные миграцией, умножили число подобных групп. (Здесь уместно сослаться на общины сикхов.) «Дистанционный национализм» еще более укрепил свои позиции после распада социалистического лагеря.

неких экзистенциальных, изначальных, неизменных характеристик, присущих только членам этой группы, и никому другому. Поскольку фактические различия, отличавшие одну группу от другой, сокращались, на первый план выходило сознание собственной исключительности. В частности, молодые американские евреи обратились к своим «корням» только тогда, когда основные признаки их еврейского происхождения были уже утеряны, а о сегрегации и дискриминации предвоенной эпохи почти забыли. Хотя националисты Квебека настаивали на отделении, ссылаясь на «особый характер» своего общества, на самом деле квебекский национализм сумел стать заметной политической силой именно в то время, когда Квебек утратил черты «самобытности», которой он, бесспорно, обладал до начала 1960-х годов (*Ignatieff, 1993, p. 115—117*). Зыбкий характер этничности в городских обществах делал этот критерий групповой принадлежности произвольным и надуманным. Не менее 60% родившихся в Америке женщин *любого* этнического происхождения (исключение составляли черные, испаноязычные, немки и англичанки) выходили замуж за мужчин, не принадлежащих к их группе (*Lieberson, Waters, 1988, p. 173*). И потому принадлежность к определенной группе все чаще утверждалась за счет неприятия «чужих». Могли ли скинхеды-неонацисты Германии, усвоившие моду, прически и музыкальные вкусы космополитичной молодежной культуры, утверждать свою исконную «германскую идентичность», не избивая албанцев и турок? Как иначе, не уничтожая «чужих», можно было обосновать претензии на «исконно» хорватские или сербские территории, на которых издавна и мирно сосуществовали различные этнические группы и религии?

Трагедия этой политики исключительной национальной идентичности, независимо от того, ориентировалась она на создание независимых государств или нет, заключалась в ее неэффективности. Ее действенность была иллюзорной. Живущие в Бруклине американцы итальянского происхождения, которые все чаще подчеркивали свои итальянские корни и говорили друг с другом по-итальянски, извиняясь за недостаточное владение своим «родным языком»*, работали на американскую экономику, а ее их итальянское прошлое совершенно не интересовало — разве что для развития небольшого сегмента рынка. Претензии на обладание некоей негритянской, индустской, русской или женской истиной, непонятной и необъяснимой для чужих, были обречены за рамками организаций, чьей основной задачей являлось распространение подобных взглядов. Исламские фундаменталисты, изучавшие физику, не занимались исламской физикой, а еврейские инжене-

* Я слышал подобные разговоры в одном нью-йоркском супермаркете. При этом предки собеседников почти наверняка говорили не по-итальянски, а на неаполитанском, сицилийском или калабрийском диалекте.

ры не осваивают инженерные науки по-хасидски. Даже такие культурные националисты, как французы и немцы, поняли, что общение в глобальной деревне требует освоения общемирового языка, подобного средневековой латыни, каким в настоящее время стал английский. Мир, разделенный на гомогенные этнические участки вследствие геноцида, массового изгнания и «этнических чисток», вновь становился гетерогенным — из-за миграции (наемных рабочих, туристов, бизнесменов, технических специалистов), смешения стилей жизни, а также углубляющейся глобализации. Именно это происходило в странах Центральной Европы, этнически «очищенных» во время и после Второй мировой войны. В нашем все более урбанистичном мире подобное будет происходить постоянно.

Таким образом, политика национальной идентичности и национализм *fin de siècle* представляли не столько малоэффективными программами по преодолению проблем двадцатого века, сколько эмоциональной реакцией на эти проблемы. Но тем не менее по мере того, как двадцатое столетие подходило к завершению, отсутствие структур и механизмов, позволявших решать возникшие проблемы, становится все более очевидным. Государство-нация больше было не в состоянии с ними справиться. Но кому это было под силу?

Со времени учреждения Организации Объединенных Наций в 1945 году ради этой цели было создано множество организаций. Все они основывались на предпосылке, что США и СССР будут и впредь согласовывать свои действия в решении общемировых проблем. Но на деле все оказалось по-другому. Впрочем, в заслугу ООН можно поставить тот факт, что в отличие от своей предшественницы, Лиги Наций, она просуществовала всю вторую половину двадцатого века, причем членство в этой организации означало формальное признание суверенитета входящего в нее государства мировым сообществом. В соответствии со своим устройством ООН располагала только теми полномочиями и ресурсами, которые добровольно передавались ей государствами-членами, и потому не могла проводить независимую политику.

Потребность в глобальной координации действий привела к небывалому росту международных организаций в «десятилетия кризиса». К середине 1980-х годов в мире насчитывалось 365 межправительственных и не менее 4615 неправительственных международных организаций, т. е. в два с лишним раза больше, чем в начале 1970-х (Held, 1988, p. 15). Более того, необходимость немедленной координации действий по таким проблемам, как защита окружающей среды, была признана повсеместно. К сожалению, единственно доступные формальные процедуры, с помощью которых обеспечивалось согласие по таким вопросам, — международные договоры, по отдельности подписываемые и ратифицируемые суверенными государствами, — оказались инструментом неоперативным, неудобным и неэффективным, как то показали, например, попытки сохранить первозданной природу Антарктики или за-

претить охоту на китов. В 1980-е годы иракское правительство отравило газом тысячи собственных граждан, нарушив одну из немногих по-настоящему общепризнанных международных договоренностей — Женевский протокол 1925 года о запрете химического оружия. Данный факт предельно четко продемонстрировал неэффективность современных международных инструментов.

Тем не менее в распоряжении человечества оставались еще два способа осуществления скоординированных действий, и в «десятилетия кризиса» они приобрели особую популярность. Во-первых, не очень большие государства национально добровольно отказывались от части своих полномочий в пользу наднациональных структур, ибо больше не находили достаточно сил для самостоятельных действий. Европейское экономическое сообщество (в 1980-е годы переименованное в Европейское сообщество, а в 1990-е — в Европейский союз), удвоив число своих членов в 1970-е годы, в 1990-е расширилось еще более, укрепляя при этом свою власть над входящими в него государствами. Бесспорный характер этой двойной экспансии вызвал лавину протеста, причем как со стороны правительств стран — членов Евросоюза, так и со стороны национального общественного мнения. Могущество Сообщества/Союза объяснялось тем фактом, что его брюссельское руководство, никем не избираемое, было способно к независимым политическим инициативам и практически свободно от демократического давления снизу. Контроль над ним осуществлялся только косвенно, через периодические встречи и переговоры избранных представителей стран-участниц. Именно по этой причине Европейскому союзу удалось стать эффективным орудием наднациональной власти, ограничиваемым внешним вето лишь в чрезвычайных случаях.

Второй инструмент международной политики был еще более защищен от вмешательства национальных государств и демократических институтов. Речь идет об учрежденных после Второй мировой войны международных финансовых институтах, а именно о Международном валютном фонде и Всемирном банке (см. выше). Опираясь на поддержку олигархии развитых капиталистических стран, весьма неопределенно окрещенной «большой семеркой», в «десятилетия кризиса» эти структуры укрепили свое влияние. Это довольно легко объяснимо: неконтролируемые колебания международной торговли, долговой кризис в странах третьего мира и, после 1989-го, распад экономической системы советского блока поставили большое число стран в зависимость от внешних кредитов. Предоставление же внешних кредитов ставилось в зависимость от готовности местных властей строить свою политику в соответствии с замыслами международного банковского капитала. Триумф неолиберальной идеологии в 1980-е годы воплотился в политику массовой приватизации и неограниченного рынка, навязываемую слабым странам независимо от того, насколько она подходила для конкретной страны

(типичен в этом смысле пример постсоветской России). Было бы любопытно, но, к сожалению, совершенно бессмысленно поразмышлять над тем, что бы сказали Дж. М. Кейнс и Гарри Декстер Уайт по поводу трансформации тех механизмов, которые были созданы ими для совершенно иных целей — в частности, для обеспечения полной занятости в своих странах.

Мы убедились, что эффективные механизмы международной экономической политики все же существовали. Правда, то были механизмы навязывания бедным странам политики богатых стран. К сожалению, сейчас еще рано говорить о последствиях этой политики и ее влиянии на ход истории.

Двум регионам предстояло проверить на себе эту политику. Первым из них стали пространства бывшего Советского Союза и связанных с ним экономических систем Европы и Азии, лежавших в руинах после падения коммунистической системы. Вторым оказался пороховой погреб третьего мира. В следующей главе мы увидим, что начиная с 1950-х годов именно здесь складывался самый значительный очаг политической нестабильности в мире

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Третий мир и революция

В январе 1974 года эфиопский генерал Белета Абебе, совершавший инспекционную поездку, сделал остановку в солдатских казармах Годе. (...) Наутро во дворец поступило невероятное донесение: генерал арестован солдатами, которые насильно кормят его продуктами из солдатского пайка. Еда настолько непригодна, что генерал рискует отравиться и умереть. Император [Эфиопии] выслал вертолет с десантниками, которые освободили генерала и доставили его в госпиталь.

Рышард Капушинский. Император (Ryszard Kapuściński, 1983, p. 20)

Мы перестреляли [на учебной университетской ферме] столько коров, сколько смогли. Но пока мы занимались этим, крестьянки стали причитать: зачем убиваете бедных животных, что они вам сделали? Когда начались эти рыдания, мы прекратили убивать, но около восьмидесяти коров, почти четверть, были уже мертвы. Мы хотели перебить всех, но не смогли, потому что женщины нам помешали.

Пока мы были там, один парень на лошади поскакал в Айакучо и рассказал там, что произошло. Так что на следующий день обо всем этом сообщали в новостях на радио *La Voz*. Мы как раз шли обратно, и у некоторых товарищей были транзисторы. Мы слушали, и нам было приятно слышать про себя, вот ведь в чем дело!

Юный участник движения «Сияющий путь» (Tiempas, 1990, p. 198)

I

Анализ послевоенных изменений, происходивших в третьем мире, свидетельствует о важном отличии развивающихся стран от стран развитых. Если уже до начала «холодной войны» развитые страны характеризовала политическая и социальная стабильность, то развивающиеся страны являлись своего рода всемирным очагом революций—прошлых, настоящих или будущих. Что касается

социалистических стран, то скрытые за их непроницаемым фасадом подводные течения сдерживались властью коммунистической партии и угрозой военного вмешательства СССР. С 1950 года (или даты обретения независимости) по сегодняшний день лишь некоторые страны третьего мира сумели избежать революций, или военных путчей с целью подавления, предотвращения или ускорения революций, или каких-нибудь иных форм вооруженного внутреннего конфликта. Одним из редких исключений на сегодняшний день остается Индия и некоторые (бывшие) колонии под властью престарелых и авторитарных правителей типа доктора Банды в Малави (бывшее британское владение Ньясаленд) или непобедимого (до 1994 года) М. Феликса Уфуэ-Буаньи в Кот-д'Ивуаре. Таким образом, отличительным признаком развивающихся стран следует признать их постоянную социальную и политическую нестабильность.

На нестабильность третьего мира обратила внимание Америка — «страж» мирового порядка, усмотревший истинный источник смуты в аппетитах социалистических стран. Америка, по всей вероятности, опасалась, что СССР воспользуется революционной ситуацией в развивающихся странах для воплощения своей мечты о мировом господстве. И потому в течение всего периода «холодной войны» Америка всеми силами борется с угрозой советского мирового господства. В ход идет экономическая помощь третьему миру и идеологическая пропаганда, а также прямое или скрытое военное вмешательство или даже война, желательно при поддержке дружественной или купленной местной администрации, но можно и без нее. В этом и кроется основная причина постоянных военных конфликтов в развивающихся странах — просто развитые капиталистические и социалистические страны вступили в самый продолжительный, начиная с девятнадцатого века, период мира. Приведу цифры, опубликованные еще до распада Советского Союза: в ста или более «крупных войнах, военных действиях и конфликтах» с 1945 по 1983 год, в основном в странах третьего мира, погибло 19 или 20 миллионов человек. В том числе более 9 миллионов — в Восточной Азии; 3,5 миллиона — в Африке; 2,5 миллиона — в Южной Азии; более полумиллиона — на Ближнем Востоке. И это не считая жертв самого кровавого конфликта тех лет — ирано-иракской войны 1980—1988-х годов, которая на тот момент только начиналась. Страны Латинской Америки пострадали несколько меньше (*UN World Social Situation, 1985, p. 14*). Корейская война (1950—1953), в которой, по различным оценкам, погибло от трех до четырех миллионов человек (это в стране с тридцатимиллионным населением) (*Halliday/Cumings, 1988, p. 200—201*), и вьетнамская война (1945—1975) были самыми масштабными конфликтами такого рода. Крупные группировки американских войск напрямую участвовали только в этих войнах, причем на каждой из них пало около 50 тысяч американцев. Потери со стороны вьетнамцев и других народов Индокитая оценить сложно, однако, по самым скромным подсчетам, погибло не ме-

нее двух миллионов человек. Многие «непрямые» антикоммунистические военные конфликты были весьма кровопролитными, особенно в Африке. К примеру, в Мозамбике и Анголе с 1980 по 1988 год в гражданских войнах погибло около полутора миллионов человек (при населении в обеих странах около 23 миллионов), а 12 миллионов остались без крова или страдали от голода (*UN Africa, 1989, p. 6*).

На революционный потенциал развивающихся стран обратили внимание и социалистические государства. Мы уже убедились, что лидеры антиколониальных движений нередко считали себя социалистами, вступившими на тот же путь освобождения, прогресса и модернизации, что и Советский Союз. Некоторые европейски образованные руководители даже считали себя последователями Ленина и Маркса; однако в третьем мире в целом (за исключением Монголии, Китая и Вьетнама) коммунистические партии не пользовались особым влиянием и не были ведущей силой национального освобождения. При этом часть новых правительств сумела по достоинству оценить партии ленинского типа и создать на их основе свои партии. Примером может служить, в частности, партия Сунь Ятсена в Китае в начале 1920-х годов. Некоторые влиятельные коммунистические партии были впоследствии вытеснены с политической арены (как это произошло в Иране и Ираке в 1950-х) или уничтожены в результате кровавых чисток, как в Индонезии в 1965 году. Здесь в результате инспирированной, как принято считать, коммунистами попытки переворота погибло около полумиллиона членов коммунистической партии или подозреваемых в симпатиях к ней. Возможно, это было крупнейшее в истории политическое избиение инакомыслящих.

Советский Союз на протяжении десятилетий осторожно относился к революционным, радикальным и либеральным движениям в странах третьего мира, поскольку в общем не собирался расширять сферу своего влияния за пределы Восточной Европы на Западе и Китая (который он не мог полностью контролировать) на Востоке. Отношение к развивающимся странам не изменилось и при Хрущеве (1956—1964), когда в результате революций (в которых коммунистические партии не принимали активного участия) к власти пришли новые руководители, как, например, на Кубе (1959) или в Алжире (1962). В ходе деколонизации во главе многих африканских государств оказались национальные лидеры, считавшие себя по меньшей мере антиимпериалистами, социалистами и друзьями Советского Союза, особенно в тех случаях, когда СССР оказывал им техническую и другую помощь, не обремененную наследием колониализма. К таким политикам можно отнести Кваме Нкруму в Гане, Секу Туре в Гвинее, Модибо Кейто в Мали и легендарного Патриса Лумумбу в Бельгийском Конго: трагическая гибель сделала последнего героем и мучеником всего третьего мира. СССР даже переименовал учрежденный в 1960 году для студентов развивающихся стран Университет дружбы народов

в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Москва симпатизировала новым режимам и помогала им, быстро распростившись, впрочем, с чрезмерным оптимизмом. В бывшем Бельгийском Конго СССР оказал вооруженную поддержку сторонникам Лумумбы в гражданской войне (последовавшей за поспешным предоставлением независимости этой огромной колонии) против ставленников США и Бельгии. В результате в страну были введены военные силы ООН, что равно не понравилось обеим сверхдержавам. Так что ничего хорошего из этого не вышло*.

Когда один из новых режимов, а именно режим Фиделя Кастро на Кубе, официально провозгласил себя коммунистическим, СССР, к всеобщему изумлению, все-таки взял его под свою защиту, стараясь, однако, избежать ухудшения советско-американских отношений. И все-таки до середины 1970-х годов у нас не было достаточных оснований полагать, что Советский Союз планировал расширить границы коммунистического мира революционным путем. И даже после этого он просто пользовался сложившейся в странах третьего мира революционной ситуацией, а не создавал ее искусственно. Как, возможно, помнят читатели постарше, Хрущев надеялся, что в будущем капитализм отомрет из-за своей неспособности конкурировать с экономически более развитым социализмом.

И действительно, когда в 1960 году Китай начал оспаривать лидерство СССР в международном коммунистическом движении (прежде на это осмеливались только марксисты-диссиденты), опекаемые Москвой коммунистические партии третьего мира по-прежнему проводили сдержанную политику. Капитализм, раз уж он существует, не считался врагом; врагом являлись докапиталистические и патриархальные отношения, а также (американский) империализм, который их поддерживал. Предпочтение отдавалось не вооруженной борьбе, а созданию широкого народного или национального фронта, в котором «национальная» буржуазия или мелкобуржуазные элементы выступают союзниками левых сил. В целом стратегия Москвы в отношении стран третьего мира продолжала традиции Коминтерна 1930-х годов, несмотря на все обвинения в предательстве идеалов Великой Октябрьской революции (см. главу 5). Такая стратегия, возмущавшая сторонников вооруженного восстания, в ряде случаев казалась удачной, как, например, в Бразилии и Индонезии в начале 1960-х или в Чили в 1970-е годы. Неслучайно также, что эта «удачная» политика терпела полный крах перед лицом военных переворотов и последующего террора, как это произошло в Бразилии после 1964 года, в Индонезии — в 1965 и в Чили — в 1973.

* Известный польский журналист, находясь в провинции, контролируемой войсками Лумумбы, дал исчерпывающую картину трагической анархии, воцарившейся в бывшем Бельгийском Конго (*Kapuściński, 1990*).

И все же сторонники социальных революций с верой и надеждой взирали на третий мир. В нем проживало подавляющее большинство человечества. Он казался всемирным вулканом, готовым к извержению, сейсмическим полем, чьи толчки предупреждают о грядущем землетрясении. Даже известный социолог Дэниел Белл (*Bell, 1960*), провозгласивший «конец идеологии» для стабильного, либерального, капиталистического Запада «золотой эпохи», признавал, что в странах третьего мира мессианская и революционная традиция еще жива. На развивающиеся страны с надеждой смотрели не только старые революционеры закалки 1917 года или романтики, презирующие прошлое благополучие 1950-х. Все партии левого фланга, включая интеллигентов-либералов и умеренных социал-демократов, нуждались в чем-то большем, чем борьба за социальное законодательство или реальный рост заработной платы. Страны третьего мира могли поддержать устои левого движения; а партиям, сохранившим верность великой традиции Просвещения, идеалы нужны не меньше, чем практическая экономическая политика. Без идеалов они просто не выжили бы. Как иначе объяснить страстное стремление помогать третьему миру, исходящее от Скандинавских стран, этой цитадели развития без революций, или Нидерландов, или (протестантского) Всемирного совета церквей — современного эквивалента миссионерского движения девятнадцатого века? Иными словами, в конце двадцатого века именно стремление к идеалам заставляло европейских либералов помогать революционерам третьего мира.

II

К изумлению как противников, так и сторонников революции, после 1945 года главным видом революционной борьбы в третьем мире, т. е. практически повсеместно, становится партизанская война. В составленную в середине 1970-х годов «Хронологию крупнейших партизанских войн», состоявшихся после завершения Второй мировой, были включены тридцать две партизанские войны. Только три из них разразились в Европе — гражданская война в Греции в конце 1940-х годов, борьба Кипра против английского владычества в 1950-е и конфликт в Северной Ирландии, начавшийся в 1969 (*Laqueur, 1977, p. 442*). Все остальные имели место за пределами Европы и Северной Америки. Впрочем, не все революции начинались с повстанческих движений. Практиковались и государственные перевороты под руководством партий левого толка. Роль таких переворотов совершенно недооценивали в Европе вплоть до драматических событий 1974 года в Португалии, хотя в исламском мире подобные кризисы были в порядке вещей и вовсе не считались редкостью в странах Латинской Америки. Революцию в Боливии в 1952 году совершили

шахтеры и перешедшие на их сторону военные, а радикальные реформы в Перу в 1960-е и 1970-е годы осуществил военный режим. Сохранили свой революционный потенциал и традиционные массовые акции протеста, как это показала иранская революция 1979 года и события в Восточной Европе. И тем не менее в конце двадцатого века в центре внимания по праву оказалась именно партизанская война. Партизанская борьба пропагандировалась и идеологами левого фланга, критически настроенными по отношению к политике Советского Союза. Партизанское движение поддерживал Мао Цзэдун (после разрыва с Советским Союзом) и, после 1959 года, Фидель Кастро или, скорее, его соратник, странствующий революционер Че Гевара (1928—1967). Со своей стороны, вьетнамские коммунисты, с наибольшим размахом и успехом использовавшие партизанскую войну и завоевавшие всеобщее уважение за свою победу над французскими и мощными американскими силами, не приветствовали участия своих сторонников в идеологических междоусобицах левого фланга.

В 1950-е годы в третьем мире шло множество партизанских войн, в основном в тех странах, где бывшие колониальные державы или местные колонисты по какой-либо причине противились мирной деколонизации. В их число входили Малайя, Кения («движение мау-мау»), Кипр в распадающейся Британской империи, а также Алжир и Вьетнам с их гораздо более кровопролитными конфликтами — в распадающейся Французской империи. Было, впрочем, еще одно малочисленное повстанческое движение, более скромное, чем малайское (*Thomas, 1971, p. 1040*), нетипичное, но неожиданно успешное. О его успехах сообщали первые полосы газет всего мира. Речь идет о революции, победившей на Кубе 1 января 1959 года. Фидель Кастро (р. 1927) являлся достаточно типичной политической фигурой для Латинской Америки: сильный, молодой, харизматический мужчина из хорошей землевладельческой семьи, с неопределенной политической программой, но готовый личным примером подтвердить свою верность борьбе с тиранией. Даже его лозунги («Родина или смерть», первоначально «Свобода или смерть», и «Мы победим») напоминают лозунги более раннего периода антиколониальной борьбы: броские, но неопределенные. Начало политической карьеры Кастро известно плохо — мы знаем только о его принадлежности к вооруженным студенческим группам Гаванского университета. Затем Кастро готовит восстание против правительства генерала Фульхенсио Батисты (типичного для Кубы беспринципного политика, начавшего карьеру в звании сержанта с участия в военном перевороте 1933 года), который повторно пришел к власти в 1952 году и отменил конституцию. Кастро являлся сторонником активных действий: в его «послужном списке» нападение на военные казармы в 1953 году, тюрьма, изгнание и, наконец, руководство повстанческой высадкой на Кубу. Повстанцы со второй попытки закрепились в горах самой отдаленной провин-

ции. И эта плохо подготовленная, рискованная операция удалась. Впрочем, военное сопротивление партизанам оказалось весьма незначительным. Че Гевара, аргентинский врач и талантливый организатор, отправился завоевывать всю оставшуюся территорию Кубы всего со 148 сторонниками. К концу войны их стало 300. В декабре 1958 года отрядам под командованием Кастро удалось захватить первый город с населением около 1000 человек (*Thomas, 1971, p. 997, 1020, 1024*). Самое главное, на что Кастро оказался способен в 1958 году — хотя и это уже немало, — это доказать, что нерегулярной армии по силам контролировать большую «освобожденную территорию» и защищать ее от атак деморализованных правительственных войск. Впрочем, основной причиной победы Кастро стала слабость режима Батисты. Батиста был развращен коррупцией; вокруг него не было верных союзников, но только движимые личной выгодой и корыстными интересами приспешники. Режим рухнул под объединенными ударами оппозиционных сил, от демократической буржуазии до коммунистов, в тот самый момент, когда агенты режима, его солдаты, полицейские и палачи, поняли, что все кончено. Успех Кастро только подтвердил истинность их диагноза, и, что вполне естественно, именно его сторонники перехватили власть. Так пал слабый режим, практически не имевший защитников. Победа повстанческой армии искренне воспринималась большинством кубинцев как начало эпохи освобождения и безграничных возможностей, которые воплотит молодой командующий. Наверное, ни у одного политического лидера двадцатого века (а двадцатый век видел немало боготворимых массами вождей) не бывало таких благодарных и верных слушателей, как у этого высокого, бородатого, рассеянного человека в мятой униформе, который мог часами делиться своими путанными мыслями с внимательной и снисходительной аудиторией (включая автора этих строк). Революция наконец-то переживалась как всеобщий праздник. Что будет дальше? Наверное, что-то хорошее.

Неудивительно, что латиноамериканские повстанцы 1950-х годов взяли на вооружение не только риторику борцов за независимость, от Боливара до кубинца Хосе Марти, но и лозунги антиимпериалистической и социал-революционной традиции партий левого фланга. Они выступали как за «аграрную реформу», какой бы смысл в это понятие ни вкладывался (см. выше), так и (во всяком случае, косвенно) против США. Сказанное особенно справедливо для беднейших стран Центральной Америки, которые «так далеко от Бога и так близко от США», как выразился однажды мексиканский диктатор Порфирио Диас. Впрочем, при всем своем радикализме, ни Кастро, ни его соратники не были коммунистами и (за исключением двоих) не заявляли о каких-либо своих марксистских пристрастиях. И действительно, Коммунистическая партия Кубы, единственная, не считая чилийской, крупная коммунистическая партия Латинской Америки, не сочувствовала Кастро, пока некоторые коммуни-

сты не присоединилась к нему на последнем этапе борьбы. В целом отношения между Кастро и коммунистами были достаточно натянутыми. Американские дипломаты и политики постоянно спорили, является ли движение Кастро прокоммунистическим (если да, то ЦРУ, свергнувшее прокоммунистическое правительство в Гватемале в 1954 году, знало, что делать),— и решили, что не является.

И все-таки сближение Кастро с коммунистами оказалось неизбежным. Во-первых, коммунизм был общей социал-революционной идеологией потенциальных сторонников вооруженных восстаний. Второй причиной стала яростная антикоммунистическая политика США времен сенатора Маккарти, побудившая повстанцев Латинской Америки, и без того ненавидевших империализм, еще более благосклонно отнестись к Марксу. «Холодная война» довершила дело. И коль скоро новый режим враждовал с США (а это было неизбежно, в частности, из-за угрозы американским инвестициям, вложенным в кубинскую экономику), он мог с полной уверенностью рассчитывать на симпатию и поддержку со стороны главного противника американцев. К тому же предложенная Кастро управленческая методика, а именно неофициальные выступления перед миллионами слушателей, совершенно не годилась для руководства даже такой маленькой страной, как Куба, в течение сколько-нибудь длительного времени. Ведь даже популизм должен быть организованным. И коммунистическая партия оказалась единственной партией, сумевшей организовать революционный процесс. Кастро и коммунисты нуждались друг в друге, их интересы сошлись. Впрочем, к марту 1960 года (гораздо раньше, чем Кастро решил, что Куба должна стать социалистической, а сам он — коммунистом, хотя и на свой лад) США уже считали его коммунистом, а ЦРУ получило приказ свергнуть его режим (*Thomas, 1971, p. 1271*). В 1961 году в заливе Свиней американская разведка предприняла неудачную попытку сделать это. Но коммунистическая Куба выстояла — в семидесяти километрах от Флориды, ослабленная экономической блокадой США и все более зависимая от СССР.

Трудно представить себе революцию, более способную вдохновить левых на Западе и в развивающихся странах к концу десятилетия глобального консерватизма или пропагандировать тактику партизанской войны. У кубинской революции и вправду было для этого все: романтика и ликующие толпы и яростные бои в горах под началом студенческих вожаков с их юношеским бескорытием — самым старшим из них едва за тридцать, — и все это в тропическом раю, пульсирующем в ритме румбы. Такую революцию могли с чистой совестью приветствовать все революционеры левого фланга.

И действительно, кубинскую революцию поддержали многие критики проводимой СССР политики мирного сосуществования с капиталистическими странами. Пример Кастро вдохновил воинствующих интеллектуалов Ла-

тинской Америки, где пальцы всегда на курке и в чести бескорыстная храбрость, особенно вкупе с пафосными жестами. С Кубы искры восстания перекинулись на весь континент. Его практически вдохновлял Че Гевара, вождь панамериканской революции, мечтавший о «втором, третьем, четвертом Вьетнаме». А нужную идеологию выработал блестящий молодой француз (кто же еще?), предложивший идею, согласно которой в готовые к революции страны нужно было только импортировать небольшие группы вооруженных повстанцев и, выбрав подходящие горы, создать «очаги» (*focos*) массового освободительного движения (*Debray, 1965*).

По всей Латинской Америке в порыве энтузиазма молодые люди вставали под знамена Кастро, Троцкого или Мао Цзэдуна, чтобы принять участие в обреченных на поражение восстаниях. За исключением Центральной Америки и Колумбии, где повстанцы могли рассчитывать на поддержку крестьян, бóльшая часть таких восстаний терпела поражение практически сразу. На поле боя оставались тела великих вождей — самого Че Гевары в Боливии, такого же мужественно-прекрасного и харизматически-мятежного священника Камильо Торреса в Колумбии — и многих безымянных борцов за свободу. Повстанцы избрали на редкость неудачную стратегию борьбы. Впоследствии история показала, что при благоприятных условиях успешные и продолжительные партизанские войны во многих странах Латинской Америки все-таки *были* возможны. Примером тому является движение ФАРК (Вооруженные революционные силы Колумбии), действующее с 1964 года, а также маоистская группировка «Сияющий путь» (*Sendero Luminoso*) в Перу в 1980-е годы.

Впрочем, повстанческие движения в большинстве своем не были крестьянскими — ФАРК скорее редкое исключение. На пространствах третьего мира в основном сражались молодые интеллектуалы, как правило, выходцы из среднего класса. К ним присоединялись студенты, сыновья и (реже) дочери нарождающейся сельской буржуазии. В этом отношении ничего не изменилось даже после того, как по инициативе революционных партий в Аргентине, Бразилии, Уругвае, а также в Европе с конца 1960-х годов * партизанская война переместилась из сельской местности в город. В городе легче осуществить террористическую акцию, чем в сельской местности, где вся надежда на поддержку крестьян. Большой город анонимен, там можно купить оружие и даже рассчитывать на поддержку некоторых представителей среднего клас-

* Самым заметным исключением из этого правила являются активисты так называемых «повстанческих движений гетто», таких как Временная ИРА (Ирландская республиканская армия) в Ольстере, недолго просуществовавшее движение «Черные пантеры» в Соединенных Штатах и палестинские партизаны, родившиеся в лагерях беженцев. В большинстве своем эти повстанческие движения пополнялись с улицы, а не со школьной скамьи, особенно в тех странах, где в гетто почти нет представителей среднего класса.

са. Этим «городским партизанским» (или «террористическим») группам удавалось наносить весьма ощутимые удары, осуществляя громкие убийства (например, убийство адмирала Карреро Бланко, официального преемника Франко, баскской группировкой ЭТА в 1973 году или убийство итальянского премьер-министра Альдо Моро «красными бригадами» в 1978), не говоря уже о налетах с целью достать средства для революционной деятельности.

В Латинской Америке основным проводником перемен являлась гражданская политическая борьба — или военные перевороты. В странах Центральной Америки военные никогда не сходили с политической сцены, за исключением революционной Мексики и крошечной Коста-Рики, фактически отказавшейся от собственной армии после революции 1948 года. При этом приход к власти правых военных режимов во многих странах Южной Америки в 1960-е годы был вызван не только противостоянием вооруженным повстанцам. В 1955 году в Аргентине в результате военного переворота было свергнуто правительство популиста Хуана Доминго Перона (1895—1974), опиравшегося на поддержку рабочих и бедняков, после чего военные с переменным успехом боролись за власть с его сторонниками. Массовое движение перонистов победить не удалось, но создать гражданскую альтернативу военному режиму оно так и не сумело. В 1972 году Перон вернулся из изгнания в окружении заискивающих левых, чтобы вновь показать военным свое превосходство, но военный режим в очередной раз прорвался к власти сквозь кровь, пытки и патриотическую риторику, после чего пал в результате короткой, решительной и бессмысленной англо-аргентинской войны 1982 года.

В сходных условиях военные пришли к власти в Бразилии, где их противниками оказались наследники величайшего популиста Жетулиу Варгаса (1883—1954). В начале 1960-х годов они симпатизировали левым партиям, поддерживали демократизацию, земельную реформу и не доверяли США. Слабые попытки бразильских повстанцев свергнуть военный режим в конце 1960-х годов, послужившие предлогом для жесточайших репрессий, не причинили ему ни малейшего урона. Впрочем, с начала 1970-х годов военный режим стал менее жестким, и к 1985 году страна вернулась к гражданскому правлению. В Чили противниками военного режима стали объединенные левые силы — социалисты, коммунисты и другие «сторонники социального прогресса»; в европейской (и чилийской) традиции их принято называть «Народным фронтом» (см. главу 5). Чилийский Народный фронт уже побеждал на выборах в 1930-е годы, когда Вашингтон был менее подозрителен, а в Чили как никогда были сильны конституционные устои. В 1970 году лидер блока Народного единства Сальвадор Альенде был избран президентом. Однако его правительство вскоре потеряло контроль над страной и в 1973 году было свергнуто в результате военного переворота — при поддержке или даже непосредственном организационном участии США. После этого Чили преврати-

лось в обычное полицейское государство 1970-х годов — с официальными и тайными казнями и террором, постоянными пытками заключенных и массовыми ссылками политических оппозиционеров. Генерал Пиночет оставался у власти 17 лет и проводил в стране либеральную экономическую политику, продемонстрировав, кроме всего прочего, что либерализм в экономике не обязательно сопровождается демократией в политике.

Военный переворот в революционной Боливии в 1964 году был также, по всей видимости, осуществлен при поддержке США. Америка, скорее всего, опасалась кубинского влияния в стране, где в ходе неудачного вооруженного восстания погиб сам Че Гевара. Впрочем, Боливию вообще невозможно контролировать с помощью армии. И все же военная диктатура продержалась там 15 лет, в течение которых сменяющие друг друга генералы все с большей благосклонностью поглядывали на наркобизнес. Хотя военный режим в Уругвае оправдывал применение пыток и казней, ссылаясь на хорошо организованное и влиятельное «городское повстанческое» движение, только популярностью левого народного фронта, составившего конкуренцию традиционной для Уругвая двухпартийной системе, можно было объяснить военный переворот 1973 года в этой единственной в Латинской Америке стране с прочной демократической традицией. Впрочем, уругвайцы остались верны своим демократическим принципам и после переворота, отклонив поставленную на голосование диктаторами антидемократическую конституцию. В 1985 году они вернулись к гражданской форме правления.

Если в странах Латинской Америки, Азии и Африки повстанческие движения добились значительных успехов, то в развитых странах они не имели никакого смысла. Однако повстанческие движения третьего мира породили большое число бунтарей, революционеров и диссидентов среди молодежи развитых стран. В 1969 году журналисты сравнивали толпы молодежи на рок-концертах Вудстокского музыкального фестиваля с «армией отдыхающих повстанцев» (*Chapple and Garofalo, 1977, p. 144*). Участники студенческих волнений в Париже и Токио как икону несли портреты Че Гевары. Его мужественное бородатое лицо и классический берет заставляли трепетать даже далекие от политики сердца деятелей контркультуры. Проведенный всемирным движением «новых левых» опрос показал, что ни одно имя (кроме имени философа Маркузе) не упоминалось в среде левых интеллектуалов так часто, как имя Че Гевары, хотя на демонстрациях представители левых партий развитых стран чаще скандировали имя вьетнамского лидера Хо Ши Мина («Хо Хо Хо Ши Мин»). Что еще (кроме борьбы за ядерное разоружение) могло сплотить радикалов в развитых странах, если не стремление поддержать повстанцев третьего мира и (как то было в США во время вьетнамской войны) нежелание воевать против них? Книга кубинского психолога, участника алжирского освободительного движения, «Униженные этой земли» приобрела огром-

ную популярность в среде интеллектуалов левого фланга, покорив их своей проповедью насилия как способа духовного освобождения угнетенных.

В целом образ смуглых партизан, сражающихся в тропических джунглях, в 1960-е годы стал для радикалов развитых стран неотъемлемой частью, а может быть, и основным источником вдохновения. Упование на «третий мир», убеждение в том, что планета спасется через освобождение бедной аграрной «периферии», которую эксплуатировала и привела к «зависимости» так называемая «мировая система», получили широкое распространение среди левых в развитых странах. Если, как считали сторонники этой теории, причина всех несчастий лежит не в появлении современного промышленного капитализма, а в покорении в шестнадцатом веке стран третьего мира европейскими колонизаторами, то поворот этого исторического процесса в двадцатом веке даст слабосильным революционерам развитых стран шанс покончить со своей беспомощностью. Неудивительна популярность подобных взглядов среди американских марксистов, которые уж точно не могли осуществить социалистическую революцию в США своими силами.

III

В процветающих капиталистических странах уже и не вспоминали об осуществлении социальной революции путем классического восстания масс. И тем не менее на самом пике западного благополучия, в самом сердце капиталистического мира западные правительства неожиданно и без видимой причины столкнулись с необычным явлением. Это явление не только подозрительно напоминало старомодную революцию, но и в полной мере продемонстрировало слабость стабильных на первый взгляд режимов. В 1968—1969 годах по всему миру прокатилась волна восстаний. Бунтовали в основном недавно вышедшие на политическую арену студенты: даже в небольших западных странах их было уже сотни тысяч, а вскоре это число возросло до нескольких миллионов (см. главу 10). К тому же существовали три политических фактора, из-за которых студенческие волнения оказались весьма эффективными. Во-первых, студентов было легко мобилизовать на огромных фабриках знания — университетах, которые к тому же оставляли им гораздо больше свободного времени, чем рабочим на гигантских заводах. Во-вторых, большая часть студентов обучалась в городах, а значит — перед глазами политиков и объективами прессы. И наконец, в-третьих, студенты принадлежали к образованным классам, часто к состоятельному среднему классу и — практически повсеместно, но особенно в странах третьего мира — являлись также кузницей кадров для правящих элит своих стран. Поэтому решиться стрелять в студентов было несколько сложнее, чем в рабочих. Массовые акции протеста в

Восточной и Западной Европе, даже уличные бои в Париже в мае 1968 года прошли практически без жертв. Властям не нужны были мученики. Там, где случались крупные избиения восставших — например, в Мехико в 1968 году, где, по официальным данным, во время разгона демонстрации армией было убито двадцать восемь и ранено двести человек (*González Casanova, 1975, vol. 2, p. 564*), — вектор политики менялся навсегда.

Так что студенческие волнения оказались неожиданно действенными, особенно в 1968 году во Франции или «жаркой осенью» 1969 года в Италии, где были задействованы и огромные массы рабочих, что временно парализовало экономику этих стран. Но, конечно же, эти восстания не были настоящими революциями и не могли ими стать. Что касается участвовавших в них рабочих, то им бунты позволяли усилить свои позиции в торге с работодателями, и поэтому революционерами в полном смысле слова они не были. Студенты развитых стран, со своей стороны, редко интересовались такой ерундой, как свержение правительств или захват власти. Впрочем, французские студенты вплотную приблизились к свержению генерала де Голля в мае 1968 года и уж точно сократили срок его президентства (он ушел в отставку в следующем году), а антивоенные выступления американских студентов в том же году заставили уйти президента Линдона Джонсона. (Ближе всего к рычагам власти оказались студенты третьего мира; напротив, в социалистических странах студенчество не имело возможности влиять на политику своих государств.) Студенческие волнения являлись скорее культурной революцией, протестом против ценностей среднего класса. Мы подробно рассматривали культурные революции в главах 10 и 11.

Культурная революция 1960-х привела в политику многих студентов. Часть из них обратилась к признанным авторитетам радикальных революций и тотальных социальных перемен — Марксу, героям Октябрьской революции, не запятанным наследием сталинизма, и Мао. Впервые со времен победы над фашизмом марксизм, отныне представленный не только советским социализмом, заинтересовал большое число молодых западных интеллектуалов. (Правда, в третьем мире интерес к нему никогда не иссякал.) В результате возник особый университетский марксизм, нередко с легкостью сочетавшийся с другими модными академическими философиями и идеологиями, националистическими или религиозными, ибо он рождался в аудиториях, а не в реальной жизни. При этом, однако, последователи неомарксизма нередко были адептами вооруженной борьбы, а сторонникам вооруженной борьбы философская рефлексия совершенно не нужна. Когда революционные мечты развеялись, многие радикалы вернулись или, скорее, повернулись к традиционным партиям левого толка. По этой причине некоторые партии смогли частично восстановить свое влияние и реорганизоваться (например, Французская социалистическая партия или Итальянская коммунистическая

партия). Поскольку радикальное движение было по преимуществу интеллектуальным, многие его участники впоследствии избрали академическую карьеру. В результате в США, например, в научный мир пришло невиданное ранее число исследователей с радикальными политико-культурными взглядами. Другая часть интеллектуалов считала себя верными последователями октябрьской традиции и вступала в небольшие, по возможности тайные, группы «авангарда» ленинского типа. Такие группировки создавались либо с подрывными целями, либо для «внедрения» в более крупные организации. В этом сходство первого и третьего мира: в развивающихся странах тоже появилось множество нелегальных террористических групп, пытающихся компенсировать общее поражение повстанческих движений очаговыми актами насилия. В 1970-е годы самыми известными группами большевистского типа в Европе являлись так называемые «красные бригады». В результате возник своеобразный подпольный мир, объединивший группы «прямого действия» националистического и социал-революционного толка с международной сетью различных — по большому счету небольших — «красных армий», а также с палестинскими и баскскими повстанцами, ИРА и другими подобными образованиями. Вся эта система накладывалась на криминальное подполье, кишела агентами спецслужб и пользовалась защитой, а иногда и покровительством арабских стран или социалистических стран Восточной Европы.

Словом, 1970-е годы стали поистине золотой эрой для авторов шпионских романов. Но на Западе этот шпионский рай оказался также эпохой пыток и контртерроризма. Возможно, то был самый мрачный период в новой истории, когда неуловимые «эскадроны смерти» в машинах без номерных знаков похищали людей на улицах. Ни для кого не секрет, что эти «эскадроны смерти» подчинялись армии, полиции, спецподразделениям или госбезопасности, теперь фактически независимым от государственного или общественного контроля. Шли так называемые «грязные войны»*.

Нечто подобное происходило даже в демократической Великобритании, стране с долгой и прочной правовой и демократической традицией. Здесь на первом этапе вооруженного конфликта в Северной Ирландии наблюдались серьезные нарушения прав человека. В 1975 году на это обратила внимание организация «Международная амнистия», включившая Великобританию в свой доклад о применении пыток. Хуже всего в этом отношении обстояли дела в Латинской Америке. Напротив, социалистические страны практически не были затронуты этими зловещими тенденциями. Для них годы террора уже миновали, террористических организаций здесь просто не существова-

* По самым скромным подсчетам, во время такой «грязной войны» в Аргентине с 1976 по 1982 год «исчезли» или погибли десять тысяч человек (*Las Cifras*, 1988, p. 33).

ло, имелись разве что небольшие группы диссидентов, хорошо знавших, что перо порой сильнее меча, а пишущая машинка (помноженная на общественные протесты на Западе) — сильнее бомбы.

Студенческие волнения 1960-х стали последним отзвуком уходящей мировой революции. Революционными в них были как утопическое стремление к тотальной переоценке ценностей и построению нового, лучшего общества, так и попытка добиться результата при помощи прямых ударов и баррикад на улицах или засад в горах. Студенческие волнения стали глобальными, и не только потому, что революционная традиция с 1789 по 1917 в идеологическом отношении была универсальной и интернациональной (даже такое исключительно националистическое движение, как сепаратистская организация басков ЭТА, типичное порождение 1960-х, считало себя в каком-то смысле марксистским). Студенческие волнения оказались глобальными потому, что впервые в истории человечества окружающий нас мир — во всяком случае, мир студенческих идеологий — в свою очередь стал глобальным. Одни и те же книги почти одновременно появлялись в книжных магазинах Буэнос-Айреса, Рима и Гамбурга. (В 1968 году в каждом из этих городов можно было купить труды Герберта Маркузе.) Одни и те же революционеры колесили по всей планете — от Парижа до Гаваны и от Сан-Паулу до Боливии. Студенты конца 1960-х были первым поколением в истории человечества, считавшим быстрые и дешевые перелеты и телекоммуникацию чем-то само собой разумеющимся. Они без труда поняли, что события в Сорбонне, Беркли и Праге происходят в глобальной деревне, в которой, по мнению канадского идеолога левых Маршалла Мак-Люэна (еще одно культовое имя конца 1960-х), все мы теперь живем.

И все-таки события конца 1960-х имели мало общего с революционной традицией 1917 года. Скорее, это была попытка воплотить в жизнь дорогой в прошлом идеал. Казалось, что баррикады вырастут как по волшебству, если делать вид, что так оно и есть. Консервативный французский социолог Реймон Арон достаточно точно охарактеризовал «события мая 1968 года» как уличный театр или психодраму.

На Западе в возможность социальной революции уже не верил практически никто. Многие радикалы теперь даже не считали класс промышленных рабочих, названный Марксом «могильщиком капитализма», революционным по определению, только из-за его верности былой идеологии. Идеологически подкованные ультралевые в Латинской Америке и независимые участники демонстраций в Северной Америке отвернулись от «пролетариата», считая его врагом радикализма. Ведь пролетариат из патриотизма поддерживал войну во Вьетнаме и пользовался привилегиями, положенными рабочей аристократии. Казалось, что будущее революции теперь — на (быстро пустеющих) задворках крестьянских поселений третьего мира. Однако тот факт,

что крестьян приходилось выводить из апатии пришлым апостолам вооруженной революционной борьбы, вроде Кастро или Че Гевары, несколько поколебал прежнее убеждение в том, что историческая необходимость заставит «голодных и рабов», о которых поется в «Интернационале», разорвать свои цепи самостоятельно.

Но даже в тех странах, где революция стала реальностью или хотя бы возможностью, она больше не воспринималась как всемирная. Движения, на которые возлагали свои надежды революционеры 1960-х годов, оказались полной противоположностью интернациональным движениям. Вьетнамские, палестинские и многие другие освободительные движения являлись по преимуществу узконациональными. С внешним миром они были связаны лишь в двух отношениях. Во-первых, во главе этих движений нередко стояли коммунисты с широкой революционной программой. Во-вторых, биполярность «холодной войны» автоматически делала врагов США друзьями СССР и наоборот. При этом былой интернационализм больше не принимался в расчет — вспомним хотя бы коммунистический Китай, который, несмотря на словесную приверженность мировой революции, проводил жесткую националистическую политику. Эта политика в 1970-е и 1980-е годы привела Китай к союзу с США против коммунистического СССР, а также к международному вооруженному конфликту с тем же СССР и коммунистическим Вьетнамом. Представления о мировой революции изменились; ей на смену пришли широкие «региональные» движения — panaфриканское, панарабское и особенно панамериканское. Такие движения имели реальные основы, особенно в сознании воинствующих интеллектуалов, которые говорили на одном языке (испанском или арабском) и свободно переезжали из страны в страну, чтобы возглавить революционные восстания или спастись от преследований. Не будет ошибкой считать некоторые из этих движений — в частности, движение Фиделя Кастро — отчасти глобалистскими. Ведь сам Че Гевара воевал одно время в Конго, а Куба в 1970-е годы направляла свои войска на помощь революционным режимам в Анголе и Эфиопии. Впрочем, за исключением левых Латинской Америки, в возможность какого-то всеафриканского или всеарабского социалистического братства мало кто верил. Распад просуществовавшей всего три года Объединенной Арабской Республики Египта и Сирии с отчасти присоединившимся к ним Йеменом (1958—1961), а также постоянные разногласия между сирийскими и иракскими последователями Партии арабского социалистического возрождения наглядно демонстрировали хрупкость надежд на мировую революцию.

Лучшим подтверждением угасания мировой революции явился распад преданного ей международного движения. После 1956 года СССР и возглавляемые им международные силы потеряли монополию на революционность и обладание универсальной теорией и идеологией. Появилось множество

разновидностей марксизма, несколько — марксизма-ленинизма и даже две или три коммунистические партии, которые и после 1956 года не убрали портреты Сталина со своих знамен (китайская, албанская, а также отколовшаяся от ортодоксальной компартии Индии «марксистская» коммунистическая партия).

Остатки возглавляемого Москвой международного коммунистического движения прекратили свое существование между 1956 и 1968 годом. Китай разорвал отношения с Советским Союзом в 1958—1969 годах и безуспешно призывал социалистические страны к выходу из Варшавского договора и созданию альтернативных коммунистических партий. В это же время многие западные коммунистические партии во главе с компартией Италии начали открыто дистанцироваться от Москвы. Даже образованный в 1947 году «социалистический лагерь» имел свою традицию лояльности СССР — от полного подчинения Болгарии* до столь же полной независимости Югославии. Ввод в 1968 году советских войск в Чехословакию, где предпринималась попытка сменить одну разновидность коммунизма на другую, стал последним гвоздем, забитым в гроб «пролетарского интернационализма». После этого даже дружественные Москве коммунистические движения начали открыто критиковать СССР и проводить отличную от Москвы политику (примером такой политики служит так называемый «еврокоммунизм»). Конец Коммунистического интернационала одновременно стал концом революционного социалистического братства, поскольку диссидентские и антимосковские революционные силы не сумели создать никаких эффективных международных организаций, за исключением узкосектантских. Единственной организацией, отдаленно напоминающей былые мечты об интернациональном освободительном движении, являлся старый или, скорее, возрожденный Социалистический интернационал (1951), теперь включавший правящие и подобные им партии (в основном западные), которые в принципе отказались от революции в любой ее форме и в большинстве случаев уже не верили в идеи Маркса.

IV

Однако, если революционная традиция Октября себя исчерпала (а многие считали, что исчерпала себя и предшествующая ей якобинская традиция 1793 года), то породившая ее социальная и политическая нестабильность никуда не исчезла. Вулканическая активность продолжалась. По мере того как капиталистическая «золотая эпоха» подходила к концу, в мире поднималась

* Болгария даже хотела войти в состав СССР на правах союзной республики, но ей отказали по дипломатическим соображениям.

новая волна революций. Последним актом этой драмы стал кризис западных коммунистических режимов в 1980-е годы, завершившийся их распадом в 1989 году.

Хотя революции 1970-х годов происходили в основном в странах третьего мира, они не были чем-то единым ни с политической, ни с географической точки зрения. Как ни странно, первая революция 1970-х произошла в Европе. В апреле 1974 года в Португалии свергли самый старый на континенте диктаторский режим, а вслед за этим пала и не столь прочная ультраправая военная диктатура в Греции (см. выше). После долгожданной смерти генерала Франко в 1975 году Испания мирно перешла от авторитарного режима к парламентской демократии, завершив возврат Южной Европы к демократической форме правления. Все эти процессы можно считать преодолением остаточных проявлений европейского фашизма и наследия Второй мировой войны.

Путч радикально настроенных военных в Португалии отчасти был вызван затяжными колониальными войнами в Африке, которые страна вела с начала 1960-х годов. Военные операции шли без особых проблем, за исключением кампании в крошечной колонии Гвинея-Биссау, где, наверное, самый талантливый из всех африканских лидеров, Амилькар Кабрал, сумел в конце 1960-х дать отпор португальской армии. В этот период, последовавший за конфликтом в Конго и укреплением режима апартеида в ЮАР (создание резерваций для черных, «шарпевильская резня»), число африканских повстанческих движений заметно возросло. Впрочем, особых успехов они не добились; кроме того, их постоянно ослабляли межплеменная рознь и советско-китайские разногласия. В начале 1970-х, опираясь на активную поддержку Советского Союза (Китай тогда сотрясали катаклизмы «великой культурной революции»), освободительные войны в Африке разгорелись с новой силой. Однако полную независимость последние колонии смогли получить только в 1975 году, после португальской революции. Вскоре после этого Мозамбик и Ангола, в результате американского и южноафриканского вмешательства, вновь были втянуты в кровопролитные войны — на этот раз гражданские.

Одновременно с распадом португальской империи разразилась революция в самой старой независимой стране Африканского континента — в охваченной голодом Эфиопии. В 1974 году там был низложен император, и на смену ему пришла леворадикальная военная хунта, решительно заявившая о своей дружбе с СССР и приверженности идеалам Маркса и Ленина. (После этого Советы отказали в поддержке другому региональному союзнику, диктатору Сомали (1969—1991) Сиаду Барре, переключившись на эфиопов.) Однако в самой Эфиопии новый режим встретил значительное сопротивление и в 1991 году был свергнут альянсом национально-освободительных движений марксистского толка.

Все эти трансформации создали своего рода моду на режимы, верные (по крайней мере, на словах) делу социализма. Так, военный режим провозгласил государство Дагомея Народной Республикой Бенин. В том же 1975 году остров Мадагаскар (Малагасийская Республика) после военного переворота объявил о своей социалистической ориентации. Народная Республика Конго (не путать с ее огромным соседом — бывшим Бельгийским Конго, переименованным в Заир во время правления необычайно хищного проамериканского диктатора Мобуту Сесе Секо) всячески подчеркивала свою приверженность социализму, и это опять-таки под властью военных. И наконец, в Южной Родезии (Зимбабве) одиннадцатилетние попытки привести страну к независимости под властью «белого меньшинства» в 1976 году окончились неудачей из-за мощного натиска двух повстанческих движений, разделенных племенной принадлежностью и политической направленностью (советской и китайской ориентации соответственно). В 1980 году Зимбабве становится независимым государством под началом одного из партизанских вождей.

Хотя формально все эти движения и продолжали революционную традицию 1917 года, на самом деле в их основе лежали совсем другие тенденции — и прежде всего из-за огромной разницы между теми общественными системами, которые анализировали Маркс или Ленин, и постколониальными африканскими государствами. Единственной страной Африки, хотя бы отчасти подходящей для марксистского анализа, являлась индустриально развитая капиталистическая ЮАР. В этой стране возникло по-настоящему массовое освободительное движение, преодолевшее племенные и расовые барьеры, — Африканский национальный конгресс (АНК), который поддерживали профсоюзы и хорошо организованная коммунистическая партия. После окончания «холодной войны» АНК удалось свергнуть режим апартеида. Но даже здесь идеи освобождения пользовались разной степенью поддержки у различных племен; например, среди зулусов они были не слишком популярны, что было на руку расистам. Практически повсюду, за исключением небольшой группы европейски образованных городских интеллектуалов, «национальные» или другие движения основывались главным образом на племенной лояльности. Это помогало империалистам восстановить против новых режимов те или иные племена — в частности, в Анголе. В подобных странах марксизм-ленинизм выступал прежде всего механизмом формирования дисциплинированных партий или авторитарных правительств.

Вывод американских войск из Индокитая ускорил наступление коммунистов в Азии, и вскоре под их началом оказался весь Вьетнам. Режимы сходной ориентации установились в Лаосе и Камбодже, причем в последнем случае — под предводительством партии «красных кхмеров». Сочетание теоретического маоизма парижских кафе, проповедуемого их вождем Пол Потом (р. 1925), и стремления отсталых, но вооруженных крестьян уничтожить загнивающую

городскую цивилизацию привело к чрезвычайно пагубным последствиям. Полпотовский режим уничтожал своих граждан в масштабах, поразительных даже для двадцатого века,— было убито не менее 20 % населения,— пока его не погубило в 1978 году вьетнамское вмешательство, восстановившее более гуманный характер правления. Но даже после этого — таков один из самых мрачных эпизодов в истории современной дипломатии — Китай и США продолжали поддерживать остатки режима Пол Пота по антисоветским и антивьетнамским соображениям.

В конце 1970-х годов пламя революции обожгло даже США: Центральная Америка и страны Карибского бассейна, бесспорная зона доминирования американцев, тоже, как тогда показалось, качнулись влево. Впрочем, ни революция в Никарагуа, в 1979 году свергнувшая семейство Сомоса, оплот американского владычества в небольших республиках этого региона, ни нарастающее партизанское движение в Сальвадоре, ни даже генерал Торрихос, отобравший у американцев Панамский канал, не могли поколебать американское господство сильнее, чем кубинская революция. Еще меньше на это была способна революция на крошечном островке Гренада в 1983 году, для борьбы с которой президент Рейган мобилизовал всю американскую военную мощь. Но все же успех этих движений разительно отличался от неудач 1960-х годов, и поэтому в правление президента Рейгана (1980—1988) Вашингтон охватила настоящая истерия. Действительно, все эти движения, без всякого сомнения, были революционными, хотя и принадлежали к уже известному нам латиноамериканскому типу. Главным их новшеством, озадачивающим и настораживающим представителей традиционного, т. е. светского и антиклерикального, марксизма, стал выход на сцену католических священников-марксистов, поддерживавших восстания, участвовавших в них и даже руководивших ими. Эта тенденция, узаконенная «теологией освобождения» и получившая поддержку латиноамериканской епископальной конференции в Колумбии (1968), оформилась после кубинской революции *, неожиданно встретив горячее интеллектуальное содействие ордена иезуитов и, что было более ожидаемо, оппозицию со стороны Ватикана.

Если для историка вполне очевидно серьезное отличие революций 1970-х, заявлявших о своем родстве с Октябрем 1917 года, от этого самого Октября, то США видели в них часть всемирного наступления коммунистической сверхдержавы. Свою роль здесь сыграли и правила игры «холодной войны»: потери одного игрока неизменно давали преимущество другому. А поскольку Америка в этот период поддерживала консервативные силы в большинстве

* Автор настоящих строк вспоминает, как Фидель Кастро в одной из своих знаменитых публичных речей в Гаване выразил удивление таким поворотом событий и призвал своих слушателей благосклонно принять новых союзников.

стран третьего мира, революции означали ее проигрыш. Кроме того, Вашингтон полагал, что у него есть основания беспокоиться по поводу наращивания Советами ядерных вооружений. Как бы то ни было, «золотая эпоха» мирового капитализма с присущим ей господством доллара подошла к концу. Статус США как сверхдержавы был ощутимо поколеблен вполне предсказуемым поражением во Вьетнаме, откуда величайшая военная держава на земле была вынуждена уйти в 1975 году. Мир не знал подобной катастрофы со времен победы Давида над Голиафом. Можно с большой долей вероятности предположить, особенно в свете «войны в Заливе» 1991 года, что, будь Америка более уверенной в своих силах, она не снесла бы с такой покорностью удар, нанесенный ей в 1973 году странами ОПЕК. Ведь это объединение представляло собой группу арабских (в основном) государств, не обладавших никаким политическим весом (не считая нефтяных скважин) и не вооруженных, как теперь, до зубов за счет неоправданно высоких цен на нефть.

Вполне естественно, что в малейших признаках ослабления своего мирового господства Соединенные Штаты усматривали вызов своей мощи или попытку СССР доминировать на планете. Поэтому революции 1970-х породили явление, названное «второй холодной войной» (*Halliday, 1983*). В этой войне, как и раньше, сражались «подопечные» двух сверхдержав — сначала в Африке, а потом и в Афганистане, где впервые с 1945 года советские войска сражались на чужой территории. СССР, по всей видимости, полагал, что новые революции позволят ему несколько изменить в свою пользу международный баланс сил. Вернее, речь шла о частичной компенсации крупных дипломатических неудач 1970-х годов, когда Вашингтону удалось склонить на свою сторону Египет и Китай. СССР не вмешивался в дела Американского континента, но гораздо шире, чем раньше, причем иногда весьма успешно, вмешивался в дела других стран, особенно африканских. Тот факт, что Советский Союз способствовал тому, чтобы Фидель Кастро отправил кубинских солдат на помощь Эфиопии в войне против союзного американцам режима Сомали (1977), а также в Анголу, правительство которой воевало с финансируемым США движением УНИТА и войсками ЮАР, говорит сам за себя. Наряду с термином «социалистические страны» советская пропаганда широко использовала новый термин — «страны социалистической ориентации». Во всяком случае, так называли Анголу, Мозамбик, Эфиопию, Никарагуа, Южный Йемен и Афганистан, когда их представители приезжали на похороны Брежнева в 1982 году. СССР не провоцировал и не контролировал революции в этих странах, но с готовностью их приветствовал.

И тем не менее последующий распад или свержение нескольких режимов наглядно показали, что ни «советские амбиции», ни «мировой коммунистический заговор» не имели к этому никакого отношения. СССР мог быть связан с этими процессами лишь косвенно, поскольку в 1980-е годы советская

система сама вступила в полосу кризиса, завершившегося в конце концов ее распадом. Падение «реального социализма», а также вопрос о том, можно ли считать эти события революцией, мы рассмотрим ниже. А пока стоит заметить, что важнейшая революция 1970-х годов, самым серьезным образом подорвавшая мировое господство США, не имела ничего общего с «холодной войной».

Речь пойдет о свержении иранского шаха в 1979 году — самой значительной революции 1970-х, которая занимает выдающееся место среди крупнейших революций двадцатого века. Ее подтолкнула развернутая шахом программа масштабной модернизации и индустриализации экономики (не говоря уже о перевооружении), опиравшаяся на прочную поддержку США и нефтяные доходы, многократно возросшие после ценовой революции 1973 года. Одержимый манией величия шах (что не редкость среди абсолютных монархов, располагающих сильной и безжалостной тайной полицией) стремился превратить Иран в самую развитую страну Западной Азии. Модернизация, с точки зрения шаха, означала аграрную реформу, в ходе которой издольщики и арендаторы начали разоряться и мигрировать в города. Население Тегерана за несколько лет выросло с 1,8 миллиона (в 1960 году) до 6 миллионов. И хотя государственные субсидии аграрному сектору повышали производительность труда на высокотехнологичных предприятиях, в целом по стране объем производства продуктов питания на душу населения в 1960-е и 1970-е годы не только не вырос, но продолжал падать. К концу 1970-х Иран ввозил бóльшую часть продовольственных товаров из-за границы.

Надежды шаха на неконкурентоспособную на мировом рынке иранскую промышленность — теперь финансируемую за счет продажи нефти и всячески опекаемую внутри страны — также не оправдались. Упадок сельского хозяйства, убыточная промышленность, масштабный импорт (не последнее место в котором занимало оружие) и нефтяной бум повлекли за собой инфляцию. В результате уровень жизни большинства иранцев (не занятых в современных секторах экономики и не принадлежащих к процветающей городской буржуазии) перед революцией заметно ухудшился.

Реформы в сфере культуры также не принесли желаемого результата. Искреннее стремление шаха (и его супруги) изменить положение женщин не могло встретить понимания в мусульманской стране, в чем позднее убедились и афганские коммунисты. А горячее желание улучшить систему образования повысило всеобщую грамотность (хотя около половины населения по-прежнему оставалось безграмотным) и вызвало появление множества революционно настроенных студентов и интеллектуалов. В свою очередь, индустриализация укрепила положение рабочего класса, особенно в нефтяной отрасли.

Шах оказался на троне в 1953 году, в результате организованного ЦРУ государственного переворота, подавившего массовое антиправительственное

движение, и по этой причине не мог рассчитывать на поддержку большого числа сторонников или апеллировать к легитимности своей власти. В прошлом династия Пехлеви прославилась разве что государственным переворотом под началом персидского офицера Реза-хана, в 1925 году получившего титул шаха. Тем не менее в 1960-е и 1970-е годы коммунистическая и националистическая оппозиции успешно контролировались тайной полицией, а деятельность сепаратистских и этнических движений подавлялась наряду с деятельностью левых повстанческих групп, марксистских или марксистско-исламских. Этим движениям не удалось разжечь пламя революции в городах, что, как мы знаем из опыта Парижа 1789 года и Петрограда 1917 года, является обязательным условием ее победы. Между тем иранская деревня хранила спокойствие.

Нужная «искра» родилась благодаря феномену, сугубо специфическому для Ирана,—наличию хорошо организованного и политически активного исламского духовенства, обладавшего уникальным для мусульманского мира (включая шиитов) общественным влиянием. Иранские священнослужители, наряду с торговцами и ремесленниками, всегда активно участвовали в политической жизни страны. Теперь им удалось мобилизовать растущий городской плебс, т. е. огромный слой, имевший все основания для недовольства режимом.

Духовный лидер этого движения, способный, опытный и беспощадный аятолла Хомейни, с середины 1960-х годов находился в изгнании. В 1960-е он возглавил массовые волнения в священном городе Кум, направленные против предложенного шахом референдума по земельной реформе, а также против полицейских репрессий в отношении духовенства. Тогда Хомейни осудил монархию как неисламскую. В начале 1970-х годов он выступил за создание чисто исламского государства, призвал духовенство восстать против деспотии шаха и в конце концов взять власть в свои руки. Фактически это означало проповедь исламской революции. Кстати, такая постановка вопроса показалась довольно радикальной даже политически активному шиитскому духовенству. В сознание масс новые идеи внедрялись при помощи новых технологий — аудиокассет. Массы слушали. В 1978 студенты священного города Кум вышли на многотысячную акцию протеста против убийства, осуществленного, как предполагалось, тайной полицией. По демонстрантам открыли огонь. В память о погибших мучениках были организованы новые демонстрации, повторявшиеся каждые сорок дней. Волнения нарастали, и к концу года на улицы вышло уже несколько миллионов человек. Возобновили свою активность повстанцы. Нефтяники объявили массовую забастовку, а торговцы закрыли свои лавки. Вся страна оказалась парализованной, а армия не сумела или отказалась подавить восстание. Шестнадцатого января 1979 года шах покинул страну. Иранская революция победила.

Новизна иранской революции состояла прежде всего в ее идеологии. Большинство революций после 1789 года следовало идеям и риторике западных революций, а точнее, их коммунистической или социалистической, безусловно светской разновидности. Традиционные левые партии существовали и в Иране, они сыграли определенную роль и в свержении шаха, в частности в организации рабочих забастовок. И тем не менее новый режим расправился с левыми практически сразу. Иранская революция стала первой революцией, задуманной и победившей под знаменем религиозного фундаментализма. На месте свергнутого режима она утвердила популистскую теократию, провозгласившую своей официальной программой возврат в VII век нашей эры, во времена хиджры, когда был написан Коран. Революционерам старой закалки все это казалось не менее странным, чем, скажем, фантастические видения того, как папа Пий IX встает во главе революции в Риме в 1848 году.

Вышеизложенное не означает, что религиозные движения отныне будут питать все революции, хотя с 1970-х годов они получили широкую поддержку среди среднего класса и интеллектуалов исламского мира, а под влиянием иранской революции стали гораздо более радикальными. Между 1979 и 1982 годом * исламские фундаменталисты поднимали восстание (жестоко подавленное) в управляемой партией БААС Сирии, штурмовали святые места в благочестивой Саудовской Аравии и организовали убийство президента Египта. При этом на смену старой традиции 1789/1917 не пришла ни новая революционная доктрина, ни иной универсальный проект изменения мира, отличный от тотальной трансформации мира старого.

Нельзя даже утверждать, что старая революционная традиция полностью исчерпала себя или потеряла свой потенциал, хотя падение коммунизма в Советском Союзе фактически покончило с ней на довольно большой части земного шара. Революционная идеология сохранила заметное влияние в Латинской Америке, где самое крупное радикальное движение 1980-х годов, перуанское «*Sendero Luminoso*», считало своим духовным учителем Мао Цзэдуна. Эта традиция сохраняла авторитет в странах Африки и в Индии. Более того, к искреннему изумлению людей, не подвергавших сомнению банальности «холодной войны», многие авангардные партии советского типа в самых отсталых странах третьего мира благополучно пережили развал СССР. Коммунисты честно выигрывали выборы на юге Балкан, а на Кубе, в Никарагуа, в Анголе и даже в Кабуле (после вывода советских войск) успешно доказывали,

* Другие религиозные движения, придерживающиеся тактики активных действий (заметно укрепившиеся в этот период), в которых отсутствует или намеренно исключается элемент универсализма, стоит рассматривать как разновидность этнических движений. Примером тому является, в частности, воинствующий буддизм сингальского населения Шри-Ланки, а также индуистский или сикхский экстремизм в Индии.

что они не просто ставленники Москвы. Но даже в этих странах старая революционная традиция постепенно деградировала или разрушалась изнутри, как, например, в Сербии, где коммунистическая партия превратилась в партию сербского шовинизма, или в палестинском движении, где светский левый фланг постепенно вытеснялся сторонниками исламского фундаментализма.

V

Таким образом, революциям конца двадцатого столетия присущи две важные особенности — угасание прежней, радикальной традиции и выход на политическую арену масс. Как мы уже видели (см. главу 2), лишь небольшая часть революций после 1917—1918 года инициировалась низами. Большую их часть осуществило активное, сплоченное и идеологически подкованное меньшинство. Иногда преобразования навязывались сверху (например, в результате военных переворотов), что, впрочем, не означало, что такие революции в определенных обстоятельствах не могли стать истинно народными. За исключением нескольких случаев иностранного вмешательства, такие революции и не смогли бы победить без поддержки масс. И все же в конце двадцатого века «массы» вышли на политическую арену уже на первых, а не на вторых ролях. Разумеется, активизм меньшинства по-прежнему проявлял себя, будь то в форме сельского или городского партизанского движения или террористической деятельности. Подобные феномены получили самое широкое распространение, причем как в развитых государствах, так и на обширных территориях Южной Азии и исламского мира. По подсчетам Государственного департамента США, количество террористических актов в мире выросло со 125 в 1968 году до 831 в 1987, а число их жертв увеличилось соответственно с 241 до 2905 человек (*UN World Social Situation, 1989, p. 165*).

Стало больше политических убийств — стоит лишь вспомнить убийства египетского президента Анвара Садата (1981) и индийских премьер-министров Индиры Ганди (1984) и Раджива Ганди (1991). Яркими примерами ориентированных на насилие небольших групп выступают Временная Ирландская республиканская армия в Великобритании и баскское движение ЭТА в Испании. Такие группы хороши прежде всего своей малочисленностью — для террористических актов требуется всего несколько сотен или десятков активистов, которые располагают мощной и дешевой портативной взрывчаткой или другим подобным оружием, щедро рассыпанным сегодня по всему земному шару. Их существование стало симптомом нарастающего одичания всех трех миров; оно вносило заметный вклад в общее ощущение тревоги и страха, охватившее урбанизированное человечество на пороге нового тысячелетия. При этом их вклад в дело политической революции был ничтожным.

Совсем другое дело — готовность миллионов людей выйти на улицу, проявившаяся, в частности, во время иранской революции или десять лет спустя в Восточной Германии, когда многие граждане ГДР в едином порыве заявили о своем неприятии режима, уходя или уезжая в Западную Германию. (Впрочем, благодаря решению Венгрии открыть свои границы сделать это можно было довольно легко.) За два месяца до падения Берлинской стены на территорию ФРГ перебрались 130 тысяч человек (*Umbruch, 1990, p. 7—10*). Примерно так же обстояло дело и в Румынии, где телевидение впервые показало начало революции: перекошенное лицо диктатора в тот момент, когда согнанная на центральную площадь толпа вместо приветствий принялась свистеть. Или на оккупированных палестинских территориях, где массовое неповиновение (интифада) после 1987 года доказывало, что отныне израильская оккупация будет держаться только на силе, а не на пассивности и молчаливой покорности. Что бы ни приводило в движение инертные до того массы — а современные средства массовой информации вроде телевидения или аудиокассет не позволяли изолировать от мира даже самые удаленные уголки земного шара, — теперь все решалось готовностью людей выйти на улицу.

Народным волнениям было, конечно, не под силу самостоятельно свергать правительства. Ведь демонстрации можно остановить при помощи насилия или автоматных очередей, как в Пекине. (Впрочем, хотя в массовых протестах на площади Тяньаньмэнь участвовала лишь небольшая часть населения Китая, власти решились применить силу далеко не сразу.) Такие массовые выступления указывают правящим режимам на утрату ими легитимности. В Иране, как и в Петрограде в 1917 году, утрату легитимности классически продемонстрировал отказ армии и полиции повиноваться приказам. В Восточной Европе массовые протесты показали коммунистическим режимам, деморализованным в отсутствие советской поддержки, что их дни сочтены. Все это явилось убедительным подтверждением мысли Ленина о том, что «голосование ногами» может быть эффективнее голосования на выборах. Разумеется, «тяжелая поступь народных масс» сама по себе не могла вызвать революцию. Толпа — это ведь не армия, а статистическая совокупность граждан. Чтобы эффективно действовать, ей нужны вожаки, политическая организация и стратегия. В Иране массы мобилизовала политическая кампания противников режима; но эта кампания перешла в революцию прежде всего из-за готовности миллионов выйти на улицу. Стоит также вспомнить и более ранние примеры всеобщей политической мобилизации по политическому призыву свыше. В частности, в 1920-е и 1930-е годы (см. главу 7) Индийский национальный конгресс призывал рядовых индийцев не сотрудничать с британцами, а сторонники президента Перона в 1945 году требовали освободить своего кумира из-под ареста в знаменитый «День верности» на Пласа-де-Майо в Буэнос-Айресе. Впрочем, значение имело не столько количество про-

тестующих, сколько сама ситуация, которая делала эту численность практически эффективной.

Пока не совсем ясно, почему «голосование ногами» стало настолько важной частью политического процесса конца двадцатого века. Одной из причин, возможно, является повсеместное увеличение разрыва между властью и народом. При этом в государствах, обладавших политическими механизмами для определения мнения своих граждан, а также каналами для выражения гражданами своих политических симпатий, полная утрата контакта или революция вряд ли были возможны. С демонстрацией полного вотума недоверия, как правило, сталкивались режимы, потерявшие или (как Израиль на оккупированных территориях) никогда не имевшие легитимности, особенно если властям удавалось убеждать себя в обратном^{*}. Впрочем, массовые политические выступления стали привычными и в странах с прочными парламентскими и демократическими устоями — свидетельством тому явился политический кризис 1992—1993 годов в Италии. Столь же типичным явлением стало возникновение во многих развитых странах новых политических партий, главной причиной популярности которых стало то, что они *никак не связаны* с прежними партиями.

Еще одной причиной нового подъема масс могла стать всеобщая урбанизация, особенно в странах третьего мира. В классическую «эпоху революции», с 1789 по 1917, правительства свергались в городах, а пришедшие им на смену режимы долго оставались у власти благодаря молчаливому безразличию деревни. Напротив, после 1930 года революции начинались уже в сельской местности, а потом, победив в деревне, переносились в город. Но в конце двадцатого века почти повсеместно, за исключением наиболее отсталых регионов, революции снова стали зарождаться в городах. И это было неизбежно: большинство населения теперь проживало в городских условиях, а город — средоточие власти — благодаря новым технологиям и при условии лояльности горожан к властям способен защитить себя от деревенского натиска. Война в Афганистане (1979—1988) показала, что опирающийся на города режим может выжить даже в стране, охваченной классической партизанской войной, ведомой повстанцами, которых прекрасно финансируют и хорошо вооружают. Причем он способен на это даже после вывода дружественной иностранной армии. Никто не ожидал, что правительство президента Наджибуллы так долго удержится у власти после вывода советских войск; кстати, когда оно в конце концов пало, это произошло не потому, что Кабул не имел больше сил отражать атаки повстанцев-крестьян, а из-за того, что его предали собственные офицеры. После войны 1991 года в Персидском заливе Саддам

^{*} За четыре месяца до развала Германской Демократической Республики на выборах в местные органы власти 98,85% населения поддержали правящую партию.

Хусейн остался у власти — несмотря на крупные восстания на юге и севере страны и свой слабый военный потенциал — в основном благодаря тому, что ему удалось сохранить за собой Багдад. В конце двадцатого века успешной революцией могла стать только городская революция.

Но есть ли у революции будущее? Последует ли за четырьмя мощными волнами революций двадцатого столетия — 1917—1920, 1944—1962, 1974—1978 и 1989 — дальнейший распад и свержение правящих режимов? Если вспомнить, что в двадцатом веке почти все государства пережили революцию, вооруженную контрреволюцию, военный переворот или вооруженный гражданский конфликт*, вряд ли стоит всерьез говорить о возможности исключительно мирных конституционных изменений, как это наивно предсказывали в 1989 году сторонники либеральной демократии. Мир на пороге третьего тысячелетия весьма далек от стабильности.

Однако, хотя о насильственном характере будущих перемен можно говорить почти наверняка, их смысл нам пока не совсем ясен. Под занавес «короткого двадцатого века» мир пребывает скорее в состоянии общественного надлома, а не революционного кризиса, хотя, разумеется, в нем есть страны, в которых, подобно Ирану в 1970-е годы, сложились все условия для насильственного свержения утративших легитимность ненавистных режимов. Так, пока пишутся эти строки, таким представляется положение дел в Алжире, а раньше, до свержения режима апартеида, такой была ситуации в ЮАР. (Сказанное не означает, что потенциальная или реальная революционная ситуация непременно приводит к успешной революции.) Тем не менее фокусированное и «точечное» недовольство в отношении *status quo* сегодня менее распространено, нежели смутное отторжение настоящего, недоверие к имеющимся политическим структурам или просто процесс постепенной дезинтеграции, который политики по возможности пытаются сгладить.

Сегодняшний мир стал более жестоким, и, что не менее важно, он полон оружия. До прихода Гитлера к власти, при всей остроте расовых конфликтов в Германии и Австрии, трудно было представить, чтобы подростки, похожие на нынешних «бритоголовых», могли поджечь населенный эмигрантами дом, уничтожив турецкую семью из шести человек. В 1993 году этот инцидент шокирует, но не удивляет. И это происходит в самом сердце добропорядочной

* Без учета небольших государств с населением менее полумиллиона человек к странам с «последовательно конституционными» режимами можно отнести только США, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ирландию, Швецию, Швейцарию и Великобританию (за исключением Северной Ирландии). В странах, перенесших оккупацию во время Второй мировой войны, все-таки произошел разрыв конституционной традиции. Впрочем, некоторые бывшие колонии или экзотические страны, не знавшие военных переворотов или иных внутренних потрясений, можно также с натяжкой считать «неревлюционными». В число таковых входят, например, Гайана, Бутан и Объединенные Арабские Эмираты.

Германии, в городе Золингене, гордящемся давними социалистическими традициями!

Более того, сегодня приобрести разрушительное оружие и взрывчатку настолько легко, что привычную для развитых стран монополию государства на вооружение уже нельзя считать чем-то само собой разумеющимся. А после того как порядок советского блока сменился анархией бедности и жадности, никто не готов поручиться, что ядерное оружие или технологии его изготовления не окажутся во власти негосударственных структур.

Так что в третьем тысячелетии насильственные преобразования продолжатся. Неясно одно — к чему это нас приведет?

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Крах социализма

Будущее (революционной России) определяется одним непременным условием: «черный рынок» власти здесь должен оставаться под замком, ибо даже Церковь в свое время не устояла перед его могуществом. Если к русским проникнет европейская модель взаимовлияния власти и капитала, под угрозой окажется не Россия и даже не коммунистическая партия, а само существование коммунизма в этой стране.

Вальтер Беньямин (1979, р. 195—196)

Официальная коммунистическая доктрина больше не является единственной советской идеологией. Новые веяния — своеобразный сплав различных образов мышления и систем отсчета — пронизали общество, партию и даже партийное руководство. (...) Косный и догматический «марксизм-ленинизм» более не удовлетворяет насущные нужды режима.

М. Левин (1983, р. XXVI)

Основой модернизации является научно-технический прогресс. (...) Пустые разговоры здесь не помогут — нам нужны знания и квалифицированные работники. Сегодня Китай примерно на двадцать лет отстает от ведущих мировых держав в развитии науки, техники и образования. (...) Япония начала внедрять научно-технические достижения уже в эпоху революции Мэйдзи. Эта революция была разновидностью модернизации, реализуемой зарождающейся японской буржуазией. Будучи пролетариями, мы обязаны и сумеем добиться еще больших результатов.

Дэн Сяопин. Уважайте знания, уважайте профессионалов (1977)

I

В 1970-е годы одна из социалистических стран была особенно озабочена проблемой своей относительной экономической отсталости — во многом благо-

даря блестящим успехам соседней Японии. Китайский коммунизм не являлся разновидностью коммунизма советского, а Китай не входил в советскую сферу влияния. Во-первых, к моменту победы коммунистической революции население Китая уже значительно превышало население как Советского Союза, так и любой другой страны мира. Даже с поправкой на возможную неточность китайских демографических данных примерно каждый пятый обитатель планеты в то время проживал на территории материкового Китая. (Существовала также довольно многочисленная китайская диаспора в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.) Во-вторых, Китай отличала не только исключительная национальная однородность — около 94 % населения страны принадлежали к этнической группе хань, — но и политическая целостность, сохранявшаяся с незначительными перерывами на протяжении двух тысячелетий. Причем почти весь этот период китайская империя и, вероятно, большинство ее подданных считали Китай центром мира и образцом для всего остального человечества. В противоположность этому практически все страны победившего социализма, начиная с СССР, были и рассматривали себя культурно отсталыми и периферийными образованиями по сравнению с более передовым центром мировой цивилизации. Ярким примером осознания собственной неполноценности выступала та непримиримость, с какой сталинская Россия подчеркивала интеллектуальную и технологическую независимость от Запада, приписывая себе авторство ведущих изобретений того времени — от телефона до самолета*.

По-иному складывалась ситуация в Китае, который с полным правом считал свою классическую культуру, живопись, каллиграфию и общественные институты творческим достижением китайского народа и образцом для всеобщего — включая Японию — подражания. У Китая и китайцев определенно не было ощущения своей интеллектуальной и культурной отсталости по сравнению с другими странами и их гражданами. На протяжении столетий соседние государства не представляли для Китая существенной военной угрозы, а освоение огнестрельного оружия помогло китайцам успешно отражать атаки кочевников. Все это укрепляло чувство национального превосходства, хотя и не защитило империю от экспансии западного империализма. Технологическая слабость Китая, проявившаяся в полной мере только в девятнадцатом веке из-за очевидного отставания в военной сфере, была обусловлена не столько низким уровнем техники или образования, сколько отличавшими традиционную китайскую цивилизацию самодостаточностью и самоуверен-

* Интеллектуальные и научные достижения России с 1830 по 1930 год действительно значительны и включают ряд крупных технических открытий, которым, однако, редко удавалось найти практическое применение из-за экономической отсталости страны. Но выдающиеся достижения и международное значение небольшой группки русских интеллектуалов только подчеркивали общую отсталость России от Запада.

ностью. По той же причине Китай не спешил пойти по пути Японии после революции 1868 года, т. е. развернуть «модернизацию», целиком и полностью основанную на европейских образцах. Обновление стало возможным только после падения древней китайской империи, хранительницы традиционной культуры, и только путем социальной революции, ставшей одновременно и восстанием против конфуцианской системы.

Китайский коммунизм носил в одно и то же время социальный и, если так можно выразиться, национальный характер. Коммунистические идеи быстро распространялись прежде всего из-за чрезвычайной бедности китайского народа. Причем бедствовали как рабочие крупных портовых городов Центрального и Южного Китая, жившие в анклавах «иностранного владычества» и достаточно развитой промышленности — в Шанхае, Кантоне и Гонконге, — так и крестьяне, составлявшие около 90 % населения страны. Крестьянам приходилось еще труднее, чем промышленным рабочим, среднедушевой уровень потребления которых был в 2,5 раза выше. Западному читателю сложно представить себе всю глубину нищеты тогдашнего Китая. Так, на момент коммунистической революции, по данным 1952 года, средний китаец жил в основном на полкило риса в день и потреблял восемьдесят граммов чая *ежегодно*. Новая пара обуви покупалась один раз в пять лет (*China Statistics, 1989, Tables 3.1, 15.2, 15.5*).

Националистический компонент китайского коммунизма стимулировался в первую очередь интеллектуалами из высшего и среднего слоя, из среды которых вышла бóльшая часть руководителей Китая двадцатого века, а также распространенным среди рядовых китайцев убеждением в том, что ни стране в целом, ни отдельным ее гражданам «варвары-иностранцы» ничего хорошего не принесут. И поскольку с середины девятнадцатого века Китай атаковали, завоевывали, делили и эксплуатировали все иностранные государства, которым только удавалось до него добраться, в подобных предположениях была изрядная доля истины. Массовые антиимпериалистические движения националистического толка возникали в стране и раньше; в частности, можно упомянуть так называемое «боксерское восстание» 1900 года. Но только сопротивление японской агрессии превратило китайских коммунистов из маленькой группки агитаторов, какими они являлись в 1930-е годы, в лидеров и представителей всего китайского народа. А борьба коммунистов против угнетения китайских бедняков делала их призывы к национальному освобождению и возрождению предельно убедительными для масс, в особенности — для крестьянства.

В этом состояло их преимущество перед конкурирующей (и более старой) партией Гоминьдан, которая попыталась собрать единую и мощную Китайскую Республику из рассыпавшихся в 1911 году обломков китайской империи, находившихся под властью военных правителей. Краткосрочные задачи двух

партий не исключали друг друга; политической базой обеих выступали по преимуществу промышленно развитые города китайского юга (где республика расположила свою новую столицу); их руководство формировалось из представителей одной и той же образованной элиты с преобладанием среднего класса в одной партии и рабочих и крестьян — в другой. Например, в обеих партиях был примерно одинаковый процент выходцев из феодальной и чиновничьей знати, элиты императорского Китая, хотя у коммунистов было чуть больше лидеров, получивших образование западного типа (*North/Pool, 1966, p. 378—382*). Обе организации вышли из антимонархических волнений 1900-х годов; обе были усилены так называемым «движением четвертого мая» пекинских студентов и преподавателей, развернувшимся после 1919 года. Лидер партии Гоминьдан Сунь Ятсен, патриот, демократ и социалист, искал совета и поддержки у Советской России — единственной на тот момент революционной и антиимпериалистической державы в мире. Большевицкая однопартийная система лучше подходила для целей Сунь Ятсена, чем западная многопартийная демократия. Фактически именно благодаря этой смычке с СССР коммунистическое движение смогло превратиться в значительную политическую силу; сначала оно стало составной частью официального националистического фронта, а после смерти Сунь Ятсена в 1925 году смогло принять участие в крупном северном наступлении, в ходе которого Республика включила в свой состав половину ранее не контролируемых территорий. Впрочем, преемнику Сунь Ятсена Чан Кайши (1887—1975) так и не удалось взять под свой контроль весь Китай, хотя в 1927 году он разорвал отношения с русскими и разгромил коммунистическое движение, которое в то время в основном поддерживалось немногочисленным рабочим классом.

После этого коммунистам пришлось обратиться за поддержкой к крестьянам. Они развернули партизанскую войну против Гоминьдана, которая в целом оказалась не слишком успешной — прежде всего из-за разногласий внутри самой компартии и непонимания Москвой китайских реалий. В 1934 году, совершив так называемый «великий поход», их войска были вынуждены отступить в отдаленные области северо-западного Китая. Благодаря этим событиям Мао Цзэдун, давний сторонник опоры на деревню, сделался неоспоримым лидером коммунистической партии; при этом, правда, коммунисты ни на шаг не приблизились к власти. Более того, перед японским вторжением 1937 года правительству Гоминьдана удалось взять под свой контроль почти всю территорию Китая.

И все же Гоминьдан не пользовался популярностью среди китайцев. Отказавшись от проекта революционного переустройства общества, который одновременно был проектом модернизации и духовного возрождения, эта партия начала заметно проигрывать коммунистам. Чан Кайши так и не сумел

стать похожим на Ататюрка — еще одного лидера обновленческой, антиимпериалистической, националистической революции, который также дружил с Советским Союзом и использовал коммунистов в своих целях, после чего отвернулся от них, хотя и не так резко, как китайский руководитель. Подобно Ататюрку, Чан Кайши тоже опирался на вооруженные силы; но его армия была достаточно равнодушна к национальной или революционной идее, ибо набираемым в нее солдатам винтовка и военная форма просто казались лучшим способом выжить во времена междоусобиц. Военачальники Чан Кайши знали — как знал это и Мао Цзэдун, — что в эпоху перемен «винтовка рождает власть», а вместе с ней — выгоду и богатство. Режим Чан Кайши опирался в основном на городской средний класс и на состоятельных «заморских» китайцев; его беда заключалась лишь в том, что 90 % граждан Китая проживали в деревне, а городов здесь было не так уж много. Огромной страной управляли (если ею вообще можно было управлять) местная знать и всевозможные «сильные личности» — от местных военных начальников с их мелкими армиями до помещиков и чиновников прежней администрации, с которыми партия Гоминьдан смогла договориться. После нападения Японии на Китай гоминьдановцы почти сразу уступили японцам стратегически важные портовые города, на которые, собственно, и опиралась власть Чан Кайши. А в непокоренной части страны его администрация вела себя как коррумпированный военно-помещичий режим, неспособный эффективно противостоять японскому вторжению. Напротив, коммунисты возглавили массовое сопротивление захватчикам на оккупированных территориях. И потому в 1949 году, когда коммунисты пришли к власти, без труда одолев Гоминьдан в короткой гражданской войне, их встретили как законных правителей Китая, истинных наследников императорской власти, воцарившихся после сорока лет «междоусобицы». Рядовые китайцы благосклонно приняли новый режим еще и потому, что он формировался на основе партии марксистско-ленинского типа, способной создать дисциплинированную общенациональную структуру, которая могла доносить все решения столицы до самой глухой деревни огромной страны. Именно этого люди ждали от настоящей империи. Так что, по-видимому, главным вкладом ленинского большевизма в дело переустройства мира стала *организация*, а не идеология.

Но разумеется, новая власть представляла собой не просто возрожденную империю, хотя коммунисты сумели удачно использовать опыт тысячелетней китайской традиции, которая, с одной стороны, предопределяла отношение простых китайцев к любому правительству, наделенному «мандатом неба», а с другой — диктовала китайским чиновникам четкое видение их обязанностей. Едва ли в какой-либо другой коммунистической стране в ходе политических дебатов могли ссылаться на беседу, которую вели между собой верно-подданный мандарин и император Цзяцзин в шестнадцатом веке *. Как раз об

этом в 1950-е годы писал искушенный знаток Китая — корреспондент лондонской газеты «*Times*», — предположивший, что в двадцать первом веке единственной коммунистической страной в мире останется Китай. В то время подобное заявление шокировало многих, включая автора этих строк. Но для большинства китайцев коммунистическая революция прежде всего означала реставрацию — восстановление мира, порядка, благосостояния, административной преемственности, величия огромной империи и древней цивилизации.

В течение нескольких лет после коммунистической революции казалось, что ожидания большинства китайцев будут воплощены в жизнь. С 1949 по 1956 год урожай зерновых вырос более чем на 70% (*China Statistics, 1989, p. 165*); скорее всего, это произошло потому, что китайским крестьянам пока не слишком мешали. Хотя вмешательство Китая в корейскую войну (1950—1952) вызвало в мире серьезную тревогу, способность китайцев нанести поражение, а потом сдерживать наступление мощных американских сил выступила бесспорным показателем национального подъема. В начале 1950-х годов был осуществлен переход к планированию в различных сферах экономики. Однако очень скоро непогрешимый «великий кормчий» вверг молодую Народную Республику в два десятилетия серьезных испытаний. Начавшееся в 1956 году быстрое ухудшение отношений Китая с Советским Союзом привело в 1960 году к громкому разрыву между двумя странами. В результате Москва прекратила оказывать Китаю техническую и любую другую помощь. Разумеется, прекращение советского содействия не могло стать главным фактором резкого ухудшения жизни китайцев; на то имелись внутренние причины. Среди них были: форсированная коллективизация сельского хозяйства в 1955—1957 годах; политика «большого скачка» в промышленности, начатая в 1958 году, и последовавший вслед за этим чудовищный голод 1959—1961 годов (возможно, самый массовый голод двадцатого века) **; наконец, десятилетие «культурной революции», завершившееся со смертью Мао в 1976 году.

Считается, что ответственность за все эти «катаклизмы» в основном лежит на Мао. Его политика нередко вызывала недовольство руководства партии, а иногда — например, в отношении «большого скачка» — и открытую оппози-

* См. статью «Хай Жуй критикует императора» в «*Жэньминь жибао*» за 1959 год. Тот же самый автор (У Хань) в 1960 году написал либретто для классической пекинской оперы «Разжалование Хай Жуя», с которой через несколько лет начнется «культурная революция» (*Leys, p. 30, 34*).

** По официальным данным, население Китая в 1959 году составляло 672,07 миллиона человек. Учитывая естественный прирост населения за предыдущие семь лет, а это по меньшей мере 20 человек на каждую тысячу ежегодно (или, строго говоря, 21,7 на каждую тысячу), можно было предположить, что население Китая к 1961 году достигнет 699 миллионов. Но на деле к данному моменту оно составило только 658,59 миллиона, т. е. на сорок миллионов меньше, чем ожидалось (*China Statistics, 1989, Tables T3.1 и T3.2*).

цию, которую Мао преодолел только с помощью «культурной революции». И все же невозможно ухватить дух того времени, не разобравшись в особенностях китайского коммунизма, глашатаем которого провозгласил себя Мао. В отличие от русского коммунизма, китайский коммунизм практически не имел прямого отношения к Марксу и марксизму. Это «послеоктябрьское» движение шло к Марксу *через* Ленина или, точнее, через сталинский «марксизм-ленинизм». В познании марксизма сам Мао в основном опирался на сталинский «Краткий курс истории ВКП(б)», изданный в 1939 году. За «марксистско-ленинской» оболочкой скрывался исконно китайский утопизм, особенно ярко проявившийся во взглядах самого лидера китайской революции, который получил традиционное китайское образование и впервые побывал за границей, только став главой государства. Разумеется, этот утопизм переключался с марксизмом, поскольку у всех социально-революционных утопий есть что-то общее, а Мао вполне искренне принимал те аспекты учения Маркса и Ленина, которые подтверждали его точку зрения, и использовал их для доказательства собственной правоты. В целом же представление Мао об идеальном обществе, объединенном тотальным консенсусом, в котором «конечной целью является полное самоотречение индивида и его абсолютное растворение в коллективе», этот своеобразный «коллективистский мистицизм», совершенно противоречило классическому марксизму, для которого, по крайней мере в теории, конечной целью выступало полное освобождение и самореализация индивида (Schwartz, 1966). Характерный для Мао акцент на духовное преображение человека ради лучшего общества, хотя и напоминает ленинскую, а затем и сталинскую веру в сознательность и волюнтаризм, звучал гораздо более настойчиво. При всем своем доверии к политическим действиям и решениям Ленин прекрасно понимал, что обстоятельства часто налагают жесткие ограничения на человеческие планы, и даже Сталин сознавал, что его власть не беспредельна. Осознать безумие «большого скачка» можно, лишь помня о непоколебимой вере Мао во всемогущество «субъективных сил», о его убежденности в том, что люди, когда захотят, и вправду способны сокрушать горы и штурмовать небеса. Пусть эксперты рассуждают о возможном и невозможном; революционный порыв преодолевает любые преграды, а сознание преображает материю. Поэтому роль «коммуниста» не просто важнее роли «эксперта»; данные понятия исключают друг друга. Всеобщая волна энтузиазма приведет к *мгновенной* индустриализации Китая уже в 1958 году; страна через века совершит скачок в то будущее, где коммунистическое общество начнет функционировать *немедленно*. Одной из характерных черт преобразований, проводимых Мао, стало появление во дворах бесчисленных плавильных печей, которые позволили Китаю всего за год удвоить производство стали и даже утроить его к 1960 году — прежде чем в 1962 году данный показатель обвалился до уровня, предшествующего «боль-

шому скачку». Другой особенностью стало создание 24 тысяч «народных коммун» — новых крестьянских хозяйств, организованных в 1958 году всего за два месяца. Народные коммуны были целиком и полностью коммунистическим институтом. Ибо коллективизации подверглись не только все аспекты крестьянской жизни, включая семейный быт — в частности, появились общественные ясли, освободившие женщин от домашних дел и ухода за детьми, в результате чего они смогли отправляться на полевые работы наравне с мужчинами. Было предусмотрено бесплатное распределение шести важнейших услуг, заменивших зарплату и денежный доход и включавших обеспечение продуктами, медицинское обслуживание, образование, похороны, посещение парикмахерской и кинотеатра. Впрочем, система не прижилась. Довольно скоро от нее пришлось отказаться из-за пассивного сопротивления крестьян, хотя, прежде чем это случилось, новая политика вкупе с силами природы (как во время сталинской коллективизации) успела вызвать массовый голод 1960—1961 годов.

В каком-то отношении вера Мао в возможность волевого преобразования общества основывалась на его вере в «народ», готовый обновиться и творчески, с традиционным для китайцев энтузиазмом, принять участие в великом марше в будущее. Эта вера в целом была романтической верой художника; впрочем, по мнению специалистов, художника не очень хорошего. («Это лучше картин Гитлера, но хуже картин Черчилля» — так отозвался о творчестве Мао британский ориенталист Артур Уэйли.) Та же вера заставила Мао, несмотря на скептицизм других коммунистических лидеров, в 1956—1957 годах призвать старую интеллигенцию к участию в кампании «ста цветов»; вождь решил, что под влиянием революции и, возможно, вдохновляясь его личным примером, интеллектуалы уже успели переродиться. («Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ».) Когда, в полном соответствии с предвидением более трезвых товарищей, стало очевидно, что освобождение мысли отнюдь не привело к единодушному славословию нового порядка, Мао укрепился в своем естественном недоверии к интеллигенции. Все это найдет отражение в политике «культурной революции», когда высшее образование практически прекратило свое существование, а интеллектуалов принудительно отправляли на «трудовое перевоспитание» в деревню*. Но вот вера Мао в крестьян, призванных решать все производственные проблемы «большого скачка» на основе «соревнования всех школ» (т. е. школ местного кре-

* В 1970 году общее количество студентов во всех китайских «учреждениях высшего образования» составляло 48 тысяч человек; в технических вузах обучались 23 тысячи студентов (1969), а в педагогических — 15 тысяч (1969). Отсутствие каких-либо сведений об аспирантских программах, скорее всего, говорит об отсутствии таковых. В 1970 году к изучению естественных наук приступили 4260 студентов, а социальных наук — 90 студентов. И это в стране с населением в 830 миллионов человек (*China Statistics, Tables T17.4, T17.8, T17 10*).

стьянского опыта), ничуть не пострадала. Ведь Мао — причем подтверждение этой мысли он также черпал из диалектики Маркса — был совершенно убежден в необходимости борьбы, конфликта и постоянных противоречий. Китайский лидер считал их не только имманентными существованию, но и способными предотвратить возврат Китая к прежней социальной модели, для которой принципы неизменности и гармонии стали источником слабости. Следовательно, революцию и сам коммунизм нужно было спасать от вырождения путем постоянного возобновления борьбы. И потому революция должна была длиться вечно.

Маоистская политика представляла собой «сочетание крайних форм вестернизации и частичного возвращения к традиционным моделям». Традиционной являлась прежде всего структура власти — ведь в китайской империи (по крайней мере, в периоды сильной, а значит, и легитимной императорской власти) естественными считались безграничное могущество правителя и столь же безграничная покорность подданных (*Ни, 1966, р. 241*). Тот факт, что 84 % крестьянских хозяйств безмолвно подверглись коллективизации в течение одного только 1956 года, причем без эксцессов, присущих коллективизации в СССР, говорит сам за себя. Для китайских лидеров, как и для советских коммунистов, первейшим приоритетом выступала индустриализация. Убийственная абсурдность «большого скачка» была обусловлена в первую очередь убеждением нового китайского (и советского) режима в том, что сельское хозяйство способно одновременно обеспечивать промышленное перевооружение и поддерживать себя, причем без каких-либо капиталовложений со стороны государства. На практике это означало замену «материальных» стимулов на «моральные», что с поправкой на китайскую действительность выливалось в замену технологий (которых не было) на практически безграничное количество мускульной силы (которая имела в достатке). В то же время деревня со времен освободительной войны оставалась главной опорой созданной Мао системы, причем в отличие от СССР «большой скачок» сполна затронул и ее. Вопреки советскому опыту, в маоистском Китае не наблюдалось массовой урбанизации. Лишь в 1980-е годы доля сельского населения снизилась до 80 %.

Как бы ни шокировали нас крайности правления Мао, под началом которого бесчеловечность и обскурантизм сочетались с сюрреалистическими глупостями откровенной мании величия, не стоит забывать о том, что по сравнению с ужасающе бедными странами третьего мира дела в Китае обстояли не так уж плохо. Под занавес эпохи Мао душевые показатели потребления продуктов китайцами (в калориях) даже несколько превышали среднеарифметический мировой уровень. Эти цифры были выше, чем в четырнадцати странах Латинской Америки и в тридцати восьми африканских странах. На азиатском фоне Китай также смотрелся неплохо, опережая почти все страны Южной и Юго-Восточной Азии, за исключением Малайзии и Сингапура

(*Taylor/ Jodice, 1983, Table 4.4*). Средняя продолжительность жизни возросла с 35 лет в 1949 году до 68 в 1982 во многом благодаря значительному (не считая периода великого голода) падению уровня смертности (*Liu, 1986, p. 323—324*). Поскольку население Китая (даже с поправкой на голод) с 1949 по 1976 год увеличилось примерно с 540 до 950 миллионов человек, очевидно, что китайской экономике удавалось прокормить растущее население, причем даже несколько лучше, чем в начале 1950-х годов, и чуть-чуть улучшить его снабжение одеждой (*China Statistics, Table T15.1*). Система образования (включая начальную ступень) значительно пострадала как в силу голода — тогда посещаемость учебных заведений упала на 25 миллионов человек, — так и от эксцессов «культурной революции», снизившей ее еще на 15 миллионов. Тем не менее в год смерти Мао в начальной школе училось в шесть раз больше детей, чем в год его прихода к власти, — т. е. 96 % всех детей страны по сравнению с 50 % в 1952. Хотя в 1987 году более четверти населения старше 12 лет оставалось неграмотным или «полуграмотным» — для женщин этот показатель составлял 38 %, — не стоит забывать, что китайская письменность исключительно сложна и только небольшое число родившихся до 1949 года китайцев сумели овладеть ею в полной мере (*China Statistics, p. 69, 70—72, 695*). Скорее всего, западным скептикам достижения этого периода не покажутся убедительными, хотя на Западе было немало людей, сочувствующих китайцам. Но индийские или индонезийские наблюдатели, а также большинство изолированных от мира китайских крестьян, живущих идеалами своих отцов, оценят достижения Мао достаточно высоко.

Тем не менее бесспорно то, что после революции отношения Китая с другими странами значительно осложнились. В особенности это касается его капиталистических соседей. Хотя в годы правления Мао (1960—1975) ВВП на душу населения рос весьма впечатляющими темпами, Китай все же отставал от Японии, Гонконга, Южной Кореи и Тайваня, с которыми не могли не сравнивать свою страну китайские аналитики. В целом же высокий на первый взгляд китайский ВВП не превышал ВВП Канады, уступал ВВП Италии и составлял всего четверть ВВП Японии (*Taylor/Jodice, Tables 3.5, 3.6*). Бесперспективный курс, избранный «великим кормчим» с середины 1950-х годов, удавалось проводить только потому, что Мао в 1965 году и при поддержке военных поддержал анархическое движение «красных охранников» — хунвейбинов, натравив их на сомневающихся партийных руководителей и интеллектуалов. На какой-то период «великая культурная революция» парализовала Китай; так продолжалось до тех пор, пока Мао с помощью армии не восстановил порядок и прежнюю систему партийного контроля. Впрочем, к тому моменту Мао доживал последние дни, а реальная поддержка его курса была не слишком велика. В итоге маоизм не пережил смерти своего основателя, наступившей в 1976 году, и последовавшего за нею ареста «банды четы-

рех» — группы ультрамаоистов, возглавляемых вдовой «великого кормчего» Цзян Цин. Пришедший на смену Мао прагматичный Дэн Сяопин провозгласил новый политический курс.

II

Новый курс Дэн Сяопина стал откровенным и публичным признанием того, что структура «реального социализма» нуждается в радикальных переменах. Впрочем, к началу 1980-х стало ясно, что кризис переживают все социалистические страны. Темпы роста советской экономики неуклонно снижались от пятилетки к пятилетке, начиная с 1970 года. Ухудшились практически все основные экономические показатели: ВВП, промышленное и сельскохозяйственное производство, объем инвестиций, производительность труда, доход на душу населения. Советская экономика если и не регрессировала, то продвигалась вперед чрезвычайно медленно. Доля СССР в международной торговле промышленными товарами, и раньше не особенно высокая, также сокращалась. Если в 1960-е годы основными статьями советского экспорта являлись промышленное оборудование, транспортные средства, металл и изделия из него, то в 1985 году 53 % этого экспорта составляли энергоносители, т. е. нефть и газ. Напротив, почти 60 % импорта приходилось на машины и оборудование, металлы, продукты промышленного производства (СССР, 1987, р. 15—17, 32—33). Советский Союз становился чем-то вроде «энергетического придатка» более развитых стран — в основном собственных сателлитов в Восточной Европе, в частности Чехословакии и Германской Демократической Республики. В лице СССР эти страны имели практически неограниченный рынок сбыта, причем для сохранения такого положения им не нужно даже было реформировать свои экономические системы*.

Однако в 1970-е начали ухудшаться не только экономические показатели социалистических стран. Прекратилось совершенствование и базовых социальных показателей — в частности, продолжительности жизни. Именно данное обстоятельство сильнее всего подорвало веру в социализм, поскольку способность этой социальной системы улучшать жизнь простых людей, поддерживая социальную справедливость, лишь косвенно зависела от умения социализма создавать материальные ценности. «Замерзание» средней продолжительности жизни в СССР, Польше и Венгрии на протяжении последних двадцати лет перед падением коммунизма (а в некоторые годы этот показа-

* «Экономисты того времени считали, что советский рынок неисчерпаем, а Советский Союз сможет обеспечить необходимое количество энергии и сырья для непрерывного экономического роста» (D. Rosati, K. Mizsei, 1989, p. 10).

тель даже снижался) стало поводом для серьезного беспокойства, ибо в большинстве других стран, включая Кубу и коммунистические страны Азии, люди жили все дольше и дольше. Если в 1969 году продолжительность жизни в Австрии, Финляндии и Польше составляла в среднем 70,1 года, то в 1989 году поляки жили на четыре года меньше, чем австрийцы и финны. В такой ситуации демографы пытались говорить об оздоровлении нации, но к сожалению, причиной этого «оздоровления» являлась лишь смерть людей, которые в капиталистических странах могли бы выжить (Riley, 1991). Подобные тенденции с тревогой отмечали сторонники реформ в СССР и других социалистических странах (World Bank Atlas, 1990, p. 6—9; World Tables, 1991, passim).

Еще одним симптомом упадка социализма стало частое употребление термина «номенклатура», который, по-видимому, проник на Запад благодаря статьям и книгам диссидентов. До этого времени партийные «кадры», которые составляли основу командной системы коммунистических стран, за границей воспринимались с уважением и невольным восхищением, хотя репрессированные коммунистическими режимами диссиденты, например троцкисты в СССР и Милован Джилас в Югославии (Milovan Djilas, 1957), предупреждали об опасности вырождения номенклатуры в коррумпированную бюрократию. В 1950-е и даже в 1960-е годы в западной, и особенно американской, прессе преобладало убеждение, что секретом распространения коммунизма по всему миру являлись четкие и слаженные действия коммунистических партий и их монолитных, самоотверженных «кадров», которые неукоснительно (а порой и жестко) проводили в жизнь «линию партии» (Fainsod, 1956; Brzezinski, 1962; Duverger, 1972).

С другой стороны, термин «номенклатура», до 1980 года остававшийся исключительной принадлежностью советского административного жаргона, довольно точно характеризовал уязвимые места партийной бюрократии эпохи Брежнева — низкую компетенцию в сочетании с коррупцией. И действительно, со временем становилось все более очевидным, что в Советском Союзе главными рычагами управления выступают блат, кумовство и взяточничество.

После «Пражской весны» социалистические страны Восточной Европы, за исключением Венгрии, отказались от серьезных экономических реформ. Что касается немногочисленных попыток вернуться к экономике командного типа в ее сталинской форме (как в Румынии Чаушеску) или в маоистской форме, когда волюнтаризм и моральный подъем заменяли экономический расчет (как на Кубе Кастро), то чем меньше о них будет сказано, тем лучше. Позже реформаторы назовут годы правления Брежнева «эпохой застоя» — в основном потому, что в это время прекратились всякие попытки серьезных экономических преобразований. Покупать зерно за границей было гораздо легче, чем налаживать работу внутреннего рынка. «Смазывать» ржавые шестеренки советской экономики с помощью повсеместных взяток было проще,

чем «прочистить» систему, не говоря уже о ее замене. Кто мог знать, каким окажется далекое будущее? А в краткосрочной перспективе казалось более важным угодить потребителю или, во всяком случае, сдерживать его недовольство. И потому в первой половине 1970-х условия жизни большинства советских граждан заметно улучшились.

Между двумя мировыми войнами СССР был практически выключен из глобальной экономики, а значит, Великая депрессия на него не повлияла. Во второй половине двадцатого века европейские социалистические страны гораздо активнее участвовали в мировых экономических процессах и поэтому в полной мере ощутили на себе кризис 1970-х годов. Насмешка истории состоит в том, что настоящими жертвами кризиса глобальной капиталистической экономики, сменившего «золотую эпоху» процветания, стали страны «развитого социализма» и СССР, а также некоторые государства третьего мира. А развитые рыночные страны, хотя и испытали некоторые потрясения, до начала 1990-х годов переживали кризис без особых потерь. Так, на экономический рост Германии и Японии кризис почти не повлиял. И напротив, «реальный социализм» вынужден был заниматься не только собственными системными проблемами, все менее разрешимыми, но и проблемами меняющейся и нестабильной мировой экономики, в которую он стремительно начал интегрироваться. Все вышесказанное удачно иллюстрирует международный нефтяной кризис 1973 года, радикально изменивший цены на энергоносители. Тогда под давлением всемирного картеля производителей нефти в лице ОПЕК (Организация стран—экспортеров нефти) цена на нефть (на тот момент довольно низкая и к тому же в послевоенный период неуклонно снижающаяся) выросла в четыре раза, а в конце 1970-х, после иранской революции,—еще в три раза. В самом деле, флуктуация цен выглядела весьма драматично: если в 1970 средняя цена на нефть составляла 2 доллара 53 цента за баррель, то в конце 1980-х тот же баррель стоил уже 41 доллар.

У нефтяного кризиса было два явно благоприятных последствия. Нефтедобывающие страны, видное место среди которых занимал СССР, фактически начали превращать свои нефтяные запасы в золото. Это было похоже на гарантированный выигрыш в еженедельной лотерее — миллионы текли в страну без всяких усилий. В итоге экономические реформы откладывались, а Советский Союз получил возможность расплачиваться с капиталистическими странами за быстро растущий импорт промышленных товаров. С 1970 по 1980 год доля энергоносителей в советском экспорте в развитые страны выросла с 19 до 32% (СССР, 1987, р. 32). По оценкам некоторых исследователей, именно внезапно свалившееся богатство в середине 1970-х годов подвигло брежневский режим к более активному соперничеству с США на международной арене (именно в то время третий мир захлестнула новая волна революций) и к самоубийственной гонке вооружений (Maksimenko, 1991).

Второе благоприятное последствие нефтяного кризиса заключалось в том, что у стран-миллиардеров из ОПЕК (часто обладавших небольшим населением) появилось значительное количество «свободных» нефтедолларов. Международная банковская система превращала их в займы и ссуды, доступные всем желающим. Немногие развивающиеся страны устояли тогда перед соблазном позаимствовать миллионы, которые сами просились в карманы; именно это обстоятельство в начале 1980-х вызвало общемировой кризис неплатежей. Для обратившихся к внешним займам социалистических стран — в частности, для Польши и Венгрии — эти деньги казались благом, позволявшим одновременно инвестировать в промышленность и повышать уровень жизни своих граждан.

Но из-за этого социалистические страны острее ощутили последствия мирового кризиса 1980-х годов: их экономическим системам, в частности польской экономике, просто не доставало гибкости для эффективного использования хлынувших ресурсов. Показательно, что из-за роста цен потребление нефти в Западной Европе в 1973—1985 годах сократилось на 40 %, а в СССР и Восточной Европе — только на 20 % (Köllö, 1990, p. 39). Другими примерами нерационального использования энергии стало резкое увеличение себестоимости производства нефти в СССР, а также истощение нефтяных месторождений в Румынии. В начале 1980-х Восточную Европу охватил энергетический кризис. Это, в свою очередь, привело к нехватке продуктов питания и промышленных товаров — за исключением тех стран, которые, подобно Венгрии, продолжали заимствовать деньги, ускоряя инфляцию и снижая фактическую заработную плату. Вот так европейские страны «реального социализма» встретили последнее десятилетие своего существования. Единственным более или менее эффективным средством борьбы с кризисом виделся возврат к традиционной сталинской системе централизованного планирования, по крайней мере там, где такое планирование еще существовало (в Венгрии и Польше, например, оно уже практически не применялось). В 1981—1984 годах это принесло временное облегчение. Внешний долг социалистических стран уменьшился на 35—70 % — за исключением все тех же Венгрии и Польши. Многие ошибочно надеялись, что прежний экономический рост вернется, а систему не придется реформировать. Это в свою очередь «привело к „большому скачку назад“, к долговому кризису и дальнейшему ухудшению экономического положения» (Köllö, p. 41). Именно в это время СССР возглавил Михаил Сергеевич Горбачев.

III

Обратимся теперь к политике стран «реального социализма», поскольку именно политике, как высокой, так и уличной, суждено было в 1989—1991 годах привести к падению коммунизма в СССР и странах Восточной Европы.

С политической точки зрения Восточная Европа всегда являлась ахиллесовой пятой советской системы, а Польша и, в меньшей степени, Венгрия были ее самым уязвимым местом. Как мы уже видели, после «Пражской весны» большинство европейских коммунистических режимов утратили доверие своих граждан*. Порядок держался на принуждении, за которым стояла угроза советского военного вмешательства, или, в лучшем случае (как, например, в Венгрии), на большем материальном благополучии и минимуме свобод, поддерживать которые со временем стало невозможно из-за экономического спада. При этом, за единственным исключением, ни в одной из этих стран не была возможна организованная политическая или иная публичная оппозиция. И только в Польше благодаря сочетанию трех факторов такая возможность была реализована. Во-первых, общественное мнение Польши объединяло не только неприятие существующей власти, но и антирусский, антисемитский, католический национализм. Во-вторых, Церковь сохранила свою независимость от власти. Наконец, в-третьих, с середины 1950-х годов рабочий класс регулярно демонстрировал свою политическую мощь, организуя масштабные забастовки. В таких условиях режим предпочитал сохранять терпимость или даже идти на уступки — в 1970 году коммунистический лидер страны даже ушел в отставку — в надежде, что оппозиция не приобретет организованный характер. Между тем имеющееся у коммунистов поле для политического маневра угрожающе сузилось. Уже с середины 1970-х им противостояло организованное рабочее движение, поддерживаемое искушенными в политике интеллектуалами, в основном бывшими марксистами, и все более напористая польская Церковь, которую вдохновило состоявшееся в 1978 году избрание польского кардинала первым в истории Папой-славянином.

В 1980 году триумф профсоюзного движения «Солидарность», превратившегося в настоящую общенациональную оппозицию, опирающуюся на массовые забастовки, показал две вещи: коммунистическая власть в Польше исчерпала себя, но свергнуть ее одной агитацией не удастся. В 1981 году Церковь и государство согласились обезопасить страну от военного вмешательства СССР (которого серьезно опасались); в результате в стране на несколько лет было введено военное положение, сохранявшее легитимность в глазах и коммунистического руководства, и общества. Порядок довольно легко удалось восстановить, но правительство, по-прежнему беспомощное перед лицом экономических проблем, ничего не сумело предложить оппозиции, а следовательно, и обществу. Вопрос стоял так: либо в ситуацию все же вмешаются русские, либо режиму довольно скоро придется отказаться от ключевого эле-

* Исключение составляли только менее развитые части Балканского полуострова, в частности Албания, южная часть Югославии и Болгария. Здесь коммунистические партии выиграли первые многопартийные выборы после 1989 года. Однако даже тут слабость коммунистической системы вскоре стала очевидной.

мента коммунистического правления — однопартийной системы. Но по мере того как другие коммунистические правительства Восточной Европы с тревогой наблюдали за развитием событий в Польше, тщетно пытаясь не допустить появления в своих странах оппозиции польского образца, становилось все более ясно, что советской интервенции не будет.

В 1985 году генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза стал убежденный сторонник реформ Михаил Горбачев. Это не было случайностью. Прежний генеральный секретарь и глава КГБ Юрий Андропов (1914—1984) в 1983 году фактически порвал с брежневским наследием, но из-за его болезни и смерти реформы пришлось отложить на два года. Все коммунистические правительства, как внутри, так и за пределами советской орбиты, прекрасно понимали, что близятся радикальные перемены. При этом никто, включая и нового генерального секретаря, не знал, к чему эти новации могут привести.

Эпоха застоя, предмет резкой критики Горбачева, стала для советской элиты периодом бурного политического и культурного брожения. Речь идет не только о немногочисленной советской «верхушке», принимавшей реальные политические решения; сюда можно отнести довольно большую часть образованного и технически подготовленного среднего класса, а также различных специалистов, приводивших в движение экономику страны: ученых, техническую интеллигенцию, различного рода экспертов и руководителей предприятий. Сам Горбачев в какой-то мере принадлежал к этому новому поколению образованных «кадров»: он получил юридическое образование, тогда как классический путь наверх в сталинскую эпоху (а часто и позже) вел от заводского станка — через диплом инженера или агронома — в партийный аппарат. Масштабы этого незримого брожения сложно оценить, исходя только из числа новоявленных диссидентов, которых было в лучшем случае несколько сотен. Прежде запрещенная или полуполюгальная критика и самокритика заполнила культурное пространство брежневского СССР. Это произошло прежде всего благодаря бесстрашным главным редакторам «толстых журналов» (в частности, главному редактору журнала «Новый мир»). Дух критики проник и в важнейшие сферы партийной и государственной жизни — например, в службы безопасности и внешней политики. Без этого внутреннего брожения призыв Горбачева к гласности не вызвал бы столь быстрого и широкого отклика.

Но не следует путать чаяния политической и интеллектуальной элиты с ожиданиями большинства. В отличие от жителей коммунистических стран Восточной Европы, советские люди не знали и не могли знать никакой другой власти, и потому коммунистический режим казался им легитимным и вполне приемлемым. Коммунизм могли сравнивать разве что с немецкой оккупацией 1941—1944 годов, в которой трудно было найти что-то хорошее.

В 1990 году каждый житель Венгрии старше 60 лет обладал юношескими или взрослыми воспоминаниями о прежних временах, в то время как жителю СССР, чтобы помнить об этом, надо было дожить почти до 90 лет. Государственный строй Советского Союза не менялся со времен гражданской войны, а политический режим характеризовался практически непрерывной преемственностью власти. Исключение составляли только территории на западной границе, присоединенные (или повторно обретенные) СССР в 1939—1940 годах. Это было что-то вроде прежней царской империи при новом управлении. Именно поэтому вплоть до конца 1980-х годов СССР почти не сталкивался с политическим сепаратизмом. Сепаратистские тенденции отмечались только в Прибалтийских республиках, которые с 1918 по 1941 являлись независимыми государствами, на Западной Украине, до 1918 года входившей в империю Габсбургов, и, возможно, в Молдавии (бывшей Бессарабии), с 1918 по 1940 год принадлежавшей Румынии. Но даже в Прибалтике диссидентов было не намного больше, чем в России (*Lieven, 1993*).

В довершение всего советский режим не просто вырос на местной почве — он в нее «врос». Со временем среди членов партии, в которую раньше вступали преимущественно этнически русские, стало появляться все больше представителей Прибалтийских и Закавказских республик. Режим приспосабливался к народу, а народ каким-то образом приспосабливался к режиму. Как писал диссидент-сатирик Зиновьев, в СССР действительно появился «новый советский человек», пусть даже он (или она, насколько в СССР вообще учитывались различия между мужчиной и женщиной) совершенно не соответствовал своему официальному определению. Он или она чувствовали себя в системе довольно уверенно (*Zinoviev, 1979*). Система обеспечивала гарантированное трудоустройство и полный комплекс социальных услуг — скромный, но доступный. Советский человек жил в социально и экономически эгалитарном обществе и обладал одним, по крайней мере, из приписываемых социализму преимуществ — «правом на праздность», упоминавшимся Полем Лафаргом (*Lafargue, 1883*). Более того, большинству советских людей брежневская эпоха казалась не «застоем», а наилучшим временем в их жизни, жизни их родителей и даже дедушек и бабушек.

Неудивительно поэтому, что реформаторы столкнулись не только с противодействием бюрократии, но и с сопротивлением многих простых людей. С характерным для представителя элиты раздражением один из сторонников реформ писал: «Наша система породила людей, материально зависимых от общества, которые больше стремятся получать, а не отдавать. К этому привела политика так называемого эгалитаризма (...) пропитавшая советское общество насквозь. (...) Тот факт, что наше общество разделено на два класса — тех, кто принимает решения и распределяет, и тех, кто подчиняется и получает, является огромным тормозом общественного развития. *Homo soveticus*

одновременно является и балластом, и препятствием. С одной стороны, он противится реформам, а с другой стороны, выступает в роли основы существующей системы» (*Afanassiev, p. 13—14*).

С социально-политической точки зрения СССР являлся стабильным государством. Отчасти эта стабильность была обусловлена изоляцией от внешнего мира, основанной на страхе и цензуре, но дело не ограничивалось только этим. Случайно ли то, что в СССР не было студенческих волнений, подобных волнениям 1968 года в Польше, Чехословакии и Венгрии? И что даже после прихода Горбачева к власти реформаторское движение почти не затронуло молодежь? (Исключение составляли только Прибалтийские республики.) Что это было скорее «восстание тридцати- и сорокалетних», т. е. поколения, появившегося на свет после Второй мировой войны, но до начала комфортного брежневского «оцепенения»? Советским обывателям реформы были совершенно не нужны.

Перемены, как обычно, шли «сверху». Пока далеко не ясно, каким образом убежденному и искреннему стороннику реформ удалось 15 марта 1985 года возглавить КПСС, став преемником Сталина на этом посту. Подробности тех событий мы узнаем не раньше, чем последние страницы советского периода окончательно станут достоянием истории и перестанут быть поводом для обвинений и самооправданий. Впрочем, здесь важны не столько тонкости кремлевской политики, сколько те два условия, благодаря которым у власти оказался такой человек, как Горбачев. Во-первых, убежденных сторонников социализма крайне возмущало разложение партийного руководства, характерное для эпохи Брежнева. А коммунистическая партия, даже вырождающаяся, не могла существовать без искренних лидеров-социалистов; точно так же невозможно представить себе Католическую церковь без епископов и кардиналов, выступающих носителями настоящей веры. Во-вторых, образованные и технически компетентные слои, приведшие в движение советскую экономику, прекрасно понимали, что без радикальных, фундаментальных изменений систему ожидает неизбежный крах. Кризис назревал не только из-за низкой эффективности и негибкости системы, но и потому, что слабеющая экономика была уже не в силах удовлетворять все потребности военной сверхдержавы. Уровень военных расходов дошел до опасной отметки уже в 1980 году, когда впервые за много лет советские вооруженные силы приняли непосредственное участие в войне. Пытаясь обеспечить хотя бы минимум стабильности в соседнем Афганистане, Советский Союз ввел свои войска на территорию этого государства, которым с 1978 года руководили местные коммунисты. Народно-демократическая партия Афганистана состояла из двух враждующих фракций, каждая из которых восстановила против себя местных землевладельцев, мусульманское духовенство и других сторонников прежнего порядка такими «нечестивыми» мерами, как земельная реформа и предоставление

гражданских и политических прав женщинам. С начала 1950-х годов и с молчаливого согласия Запада Афганистан тихо пребывал в советской сфере влияния. Однако ввод советских войск на его земли США сочли серьезным выпадом в отношении «свободного мира». Американцы — через Пакистан — наладили бесперебойное снабжение мусульманских фундаменталистов деньгами и оружием. Как и ожидалось, афганские власти при поддержке советской армии без особого труда взяли под контроль крупные города, но СССР это стоило очень дорого. Афганистан превратился — как на то и надеялись некоторые американские политики — в советский Вьетнам.

У нового советского лидера, желающего преобразований, был единственный вариант действий: ему надо было как можно скорее покончить с «холодной войной» и прекратить конфронтацию с Соединенными Штатами, которая обескровливала экономику. Именно это стало ближайшей целью Горбачева и его величайшим достижением, ибо ему достаточно быстро удалось убедить недоверчивые правительства Запада в мирном характере советских намерений. В результате Горбачев приобрел на Западе огромную и стойкую популярность, резко контрастирующую с нарастающим в СССР недовольством его политикой, жертвой которого он и пал в 1991 году. Но если один человек мог положить конец четырем десятилетиям «холодной войны», то таким человеком, несомненно, стал Горбачев.

С начала 1950-х годов экономисты коммунистических стран пытались сделать плановую экономику более рациональной и гибкой, вводя рыночное ценообразование и расчет прибыли и убытков на предприятиях. Таким путем, в частности, шли сторонники реформ в Венгрии. Если бы не ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году, чешские реформаторы пошли бы еще дальше. И чехи, и венгры надеялись, что эти меры в свою очередь подтолкнут либерализацию и демократизацию политической системы. Горбачев разделял подобную точку зрения*, рассчитывая на восстановление (или установление) более совершенного общества, чем существующий «реальный социализм». На данном этапе влиятельные сторонники реформ не собирались, хотя бы по политическим соображениям, полностью отказываться от социализма. Однако постепенно экономисты-реформаторы стали приходить к заключению, что плановая система хозяйствования, недостатки которой с 1980-х годов широко обсуждались в обществе, не поддается реформированию изнутри**.

* Еще до своего избрания генеральным секретарем Горбачев открыто признавал, что разделяет весьма «широкую», фактически социал-демократическую, позицию Итальянской коммунистической партии (*Montagni, 1989, p. 85*).

** Самые интересные исследования по этому вопросу принадлежат перу венгерского автора Яноша Корнаи. См., в частности, его работу «Экономика дефицита»: *Jonas Kornai, Economics of Shortage (Amsterdam, 1980)*.

IV

Свою кампанию по преобразованию социализма Горбачев начал с двух лозунгов — с «перестройки» и «гласности»*.

Однако вскоре выяснилось, что между гласностью и перестройкой существуют неразрешимые противоречия. Реформы можно было проводить, только опираясь на командно-административную структуру, унаследованную от сталинских времен. Такая же ситуация была характерна и для царской России — реформы там всегда начинались «сверху». Но монолит «партия-государство» одновременно выступал основным препятствием на пути преобразования системы, поскольку он сам создал эту систему, приспособился к ней, был в ней жизненно заинтересован и не мог найти ей альтернативу**. Конечно, командно-административная система являлась не единственным фактором, блокирующим реформы; в частности, реформаторы, причем не только в России, обличали в этом «бюрократию», не чувствующую нужд страны и неспособную поддержать инициативы народа. Но сказанное отнюдь не отменяет тот бесспорный факт, что большая часть партийно-государственного аппарата встретила реформы с безразличием, граничащим с враждебностью. Гласность была призвана мобилизовать общественное мнение против сопротивляющегося партийного аппарата. Но логическим следствием распространения гласности явилось ослабление единственной силы, способной на активные действия. Как указывалось выше, структура советской системы и ее *modus operandi* были преимущественно военными. Демократизация армии вряд ли повысит ее дееспособность. Но если вооруженные силы больше не требуются, упразднить их можно только после того, как будет представлена эффективная гражданская альтернатива; в противном случае реформы приведут не к перестройке, а к хаосу. Иначе говоря, Советский Союз эпохи Горбачева упал в пропасть между гласностью и перестройкой.

Ситуация усугублялась тем, что программа гласности была продумана гораздо более детально, чем программа перестройки. Гласность подразумевала установление (или восстановление) конституционного и демократического строя, основанного на верховенстве закона и широких гражданских свободах. Это подразумевало отделение партии от государства, а также (в противо-

* В качестве интересного примера взаимовлияния идей, высказываемых официальными сторонниками реформ и диссидентами в годы правления Брежнева, можно сослаться на то, что Солженицын призывал к «гласности» в своем открытом письме к съезду Союза писателей СССР еще в 1967 году, перед своей высылкой из Советского Союза.

** Как говорил в 1984 году автору настоящей книги один коммунистический чиновник по поводу китайской «перестройки», «мы вводим в нашу систему некоторые элементы капитализма, но не знаем, к чему все это может привести. С 1949 года ни один китаец (за исключением нескольких стариков в Шанхае) не знает, что такое капитализм».

положность всей советской традиции, начиная со Сталина) переход правительственных полномочий от партии к государству, что влекло за собой отказ от однопартийной системы и руководящей роли партии. Это также означало восстановление Советов на всех уровнях, в форме демократически избираемых представительных органов, вплоть до Верховного Совета, который, в качестве суверенной законодательной ассамблеи, наделял полномочиями и контролировал исполнительную власть. Во всяком случае, такова была теория.

И действительно, новая конституционная система постепенно была установлена. После этого в 1987—1988 годах наметились и общие контуры экономической перестройки: возникла сеть мелких частных предприятий-кооперативов («вторая экономика»), а также было разрешено банкротство убыточных государственных заводов и фабрик. Но в реальности разрыв между риторикой экономических реформ и ухудшающейся экономической ситуацией увеличивался день ото дня.

В этом заключалась огромная опасность. Конституционные реформы по сути упразднили один набор политических механизмов, заменив его другим. Но оставался открытым вопрос о функциях новых институтов власти; ясно было лишь то, что процесс принятия политических решений в демократическом государстве более сложен, чем в военно-административном государстве. Для большинства людей единственная разница между этими двумя системами заключалась в том, что в первом случае каждые несколько лет они могли бы участвовать в настоящих демократических выборах и голосовать за партии, критикующие правительство. Впрочем, настоящим критерием успеха перестройки являлась не новая управленческая теория, а эффективная работа экономики, которую проще всего оценивать по конкретным результатам. Ведь большую часть советских граждан интересовали прежде всего размеры их реальной заработной платы, продолжительность рабочего дня, количество и ассортимент доступных товаров и услуг, легкость, с какой все это можно было себе позволить. Однако в то время как было вполне ясно, против чего выступали сторонники экономических реформ и что они стремились упразднить, с их позитивными взглядами дело обстояло сложнее. К сожалению, их конструктивная альтернатива — так называемая «социалистическая рыночная экономика», основанная на автономных и экономически жизнеспособных предприятиях, частных или кооперативных, и управляемая из «центра макроэкономического планирования», — по существу оставалась пустой фразой. Сторонники реформ стремились воспользоваться преимуществами капитализма, не отказавшись от выгод социализма. Никто не знал, как будет происходить переход от плановой экономики к новой системе, а также каким образом будет функционировать получившаяся в результате экономика смешанного типа. В частности, у молодых реформаторов особой популярностью пользовалась ультралиберальная рыночная модель в духе Рейга-

на или Тэтчер, обещавшая, как им тогда казалось, радикальное, но *автоматическое* решение всех проблем. (Как и следовало ожидать, этого не произошло.)

Возможно, для сторонников Горбачева самым доступным образцом для подражания выступала далекая «новая экономическая политика» 1921—1929 годов. Тогда реализация НЭПа «принесла ощутимые плоды, за несколько лет оживив сельское хозяйство, торговлю, промышленность и финансы», и значительно улучшила экономическую ситуацию «при помощи рыночных механизмов» (*Vernikov, 1989, p. 13*). С завершением эпохи Мао сходная политика рыночного либерализма и демократизации привела к значительным экономическим успехам в Китае, рост ВВП которого в 1980-е годы уступал только показателям Южной Кореи и составлял в среднем 10% в год (*World Bank Atlas, 1990*). И все же не стоило сравнивать отчаянно бедную, отсталую в технологическом отношении и практически полностью крестьянскую Россию 1920-х годов с урбанистическим и промышленно развитым Советским Союзом 1980-х, самый передовой промышленный сектор которого, военно-промышленно-научный комплекс (включая космическую программу), работал на рынке, где имелся единственный покупатель — государство. Перестройка, несомненно, оказалась бы более эффективной, если бы Россия того времени (подобно Китаю 1980-х) на 80% состояла из крестьян, чьи самые смелые мечты о богатстве ограничивались приобретением единственного телевизора. (Уже в начале 1970-х годов около 70% советских граждан смотрели телевизор в среднем полтора часа в день) (*Kerblay, p. 140—141*).

Конечно, различия между советской и китайской перестройкой нельзя объяснить только лишь «разницей во времени» или даже тем очевидным фактом, что китайцы старались сохранить в неприкосновенности свою командно-административную систему. По-видимому, Китай удачно воспользовался культурными традициями Дальнего Востока, которые способствуют экономическому росту при любой социальной системе. Но это решать уже историкам двадцать первого века.

Мог ли кто-нибудь в 1985 году предполагать, что СССР и его Коммунистическая партия через шесть лет прекратят свое существование, а все остальные коммунистические режимы Восточной Европы тоже исчезнут? Правительства Запада оказались совершенно не готовы к такому повороту событий; отсюда можно заключить, что прежние разговоры о неизбежном крахе идеологического врага носили в основном пропагандистский характер. Тем временем Советский Союз все стремительнее двигался к своему концу. Происходило это из-за комбинации гласности, которая вызвала дезинтеграцию властных структур, и перестройки, нарушившей работу прежних экономических механизмов и не создавшей новых. Жизненные стандарты советских граждан ухудшались день ото дня. Страна внедряла начала демократии и

плюрализма, сползая к экономической анархии: с 1989 года, впервые после введения централизованного планирования, в России больше не было пятилетнего плана (*Di Leo, 1992, p. 100*). Сложившаяся ситуация являлась очень опасной, так как подрывала и без того непрочное экономическое и политическое единство СССР.

Поскольку в Советском Союзе шли процессы структурной децентрализации, составные части страны удерживались вместе в первую очередь благодаря всесоюзным институтам: партии, армии, силам безопасности, централизованному планированию. Центробежные тенденции стали очевидными уже в долгие годы правления Брежнева. Фактически СССР представлял собой систему автономных «феодальных княжеств». Местных правителей (партийных секретарей союзных республик с подчиненными им председателями исполкомов, а также директоров больших и малых предприятий, обеспечивающих экономическую жизнь страны) объединяла только зависимость от московского центра, который назначал, переводил и смещал кадры, а также необходимость выполнить спускаемый сверху план. В этих достаточно широких рамках местное начальство пользовалось значительной свободой действий. Действительно, экономика просто не смогла бы функционировать без развития экономических связей, независимых от центра, и обеспечивали их именно эти люди. Сеть сделок по обмену услугами с другими кадрами, занимающими сходные должности, являлась своего рода «параллельной экономикой», существовавшей наряду с центральным планированием. К сказанному можно добавить, что по мере превращения Советского Союза в сложное индустриальное и урбанистическое общество кадры, которые отвечали за реальное производство, распределение и заботу о гражданах, всё с большим недоверием относились к министерствам и партийному руководству, чьи конкретные функции стало теперь сложно определить. Исключение составляла разве что «функция» личного обогащения, широко реализуемая чиновниками в брежневский период. Неприятие явной и повсеместной коррупции номенклатуры и явилось первым толчком к реформам, причем Горбачева поддержали многие экономисты и руководители предприятий, особенно работавшие в военно-промышленном комплексе. Эти люди искренне хотели улучшить управление деградирующей и с научно-технической точки зрения малоэффективной экономической системой, ибо никто лучше их не представлял себе реальное состояние дел. К тому же для работы им не требовались санкции партии; если бы вся партийная бюрократия вдруг исчезла, каждый из них остался бы на своем месте. Они были необходимы, а партийная бюрократия — нет. И действительно, им удалось пережить развал Советского Союза и даже организовать в 1990 году собственную «группу давления» — Научно-промышленный союз СССР. После падения коммунизма эта организация (а также ее наследники) объединяла потенциально законных владель-

цев, прежде руководивших своими предприятиями, не имея фактического права собственности.

Тем не менее коррумпированная, неэффективная и во многом паразитическая административная система была необходима экономике, построенной по командному принципу. И потому альтернативой партийной власти на ближайшее будущее должна была стать не демократическая или конституционная власть, а безвластие. Так и произошло. Горбачев (как впоследствии и сменивший его Ельцин) перенес свои полномочия с партии на государство и в качестве конституционного президента легально получил возможность управлять страной при помощи указов. На бумаге такая власть превышала власть прежних советских лидеров, включая Сталина (*Di Leo, 1992, p. 111*). Но на это почти никто не обратил внимания — за исключением разве что недавно сформированных демократических или, скорее, конституционно-общественных ассамблей в лице Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР (1989). Ведь страной больше никто не руководил или, по крайней мере, в ней никто никому не подчинялся.

Вышедший из-под контроля Советский Союз, подобно летящему на рифы гигантскому танкеру, стремительно двигался в сторону дезинтеграции. «Линии разлома» наметились уже давно. С одной стороны, это была система территориальной автономии власти, в значительной степени воплощенная в федеративном устройстве, с другой — автономные экономические комплексы. Поскольку официальной теорией образования Советского Союза являлась территориальная обособленность национальных групп (как в пятнадцати союзных республиках*, так и в автономных областях и краях), в систему была заложена возможность распада по национальному признаку, хотя до этого времени сепаратизм проявлялся лишь в трех Прибалтийских республиках. Первые националистические организации — «национальные фронты» — появились только после 1988 года в ходе кампании гласности (в частности, в Эстонии, Латвии, Литве и Армении). Однако на этом этапе национализм, даже в Прибалтике, был направлен не против центра, а против медленно перестраивающихся местных коммунистических организаций или же, как в Армении, против соседей (в лице Азербайджана). В борьбу за независимость национальные движения включились далеко не сразу. Но уже с 1989—1990 годов национализм принимает более радикальный характер, чему способствует выход на политическую арену сторонников решительных реформ, продолжающееся сопротивление партийной номенклатуры в новых органах власти,

* Помимо РСФСР (Российской Федерации), значительно превосходившей другие республики как по территории, так и по численности населения, в состав СССР также входили Армения, Азербайджан, Белоруссия, Эстония, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Украина и Узбекистан.

обостряющиеся противоречия между Михаилом Горбачевым и его жертвой, соперником и — в будущем — преемником Борисом Ельциным.

Сражаясь с советской бюрократией, реформаторы искали поддержки у националистов союзных республик. В результате последние значительно укрепили свои позиции. В самой России звучали призывы поставить интересы своей республики выше интересов других республик, которые субсидировались Россией и при этом жили лучше ее; это был мощный аргумент радикалов в борьбе с партийной бюрократией, укрепившейся в центральном аппарате. Борис Ельцин, партийный функционер старой закалки, у которого качества политика старого стиля (жесткость и хитрость) сочетались с качествами политика нового времени (демагогией, общительностью и умением прислушиваться к прессе), проложил себе путь наверх, завоевав власть в Российской Федерации. Это позволило ему обойти учреждения горбачевского Советского Союза. И действительно, функции союзного государства и его основной составляющей, РСФСР, не были четко разделены. Преобразовав Россию в одну из республик, Ельцин *de facto* способствовал дезинтеграции Союза, на смену которому должна была прийти ельцинская Россия. В 1991 году так и произошло.

Экономический распад способствовал политической дезинтеграции. После отмены планирования и государственного заказа согласованная и упорядоченная *всесоюзная* экономическая система прекратила свое существование. Края, области и другие территориальные образования стремились к самодостаточности или, в крайнем случае, к двусторонним бартерным обменам. Директора крупных предприятий, давно привыкшие к такому положению дел, меняли промышленные товары на продукты питания у председателей колхозов. Ярким примером тому стало преодоление нехватки хлеба в Ленинграде первым секретарем обкома КПСС Гидасповым. Он позвонил Назарбаеву, республиканскому партийному лидеру Казахстана, и договорился о поставках хлеба в обмен на обувь и сталь (*Boldyrev, 1990*). Подобные факты свидетельствовали о вопиющей неэффективности системы всесоюзного распределения. «Партикуляризм, автаркия, возвращение к примитивным обменам оказались реальными следствиями законов, освободивших экономическую инициативу на местах» (*Di Leo, p. 101*).

«Точка возврата» была пройдена во второй половине 1989 года — накануне двухсотлетней годовщины французской революции. Интересно, что французские историки-ревизионисты как раз в это время много писали о незначительном влиянии французской революции на политику двадцатого века. Политический надлом последовал (как и во Франции восемнадцатого века) вслед за созывом летом того же года новых, демократически избранных ассамблей. Экономический распад стал необратимым между октябрём 1989 года и маем 1990 года. Впрочем, всеобщее внимание в тот момент было приковано к другому событию, связанному с положением в СССР, но вторичному по своей сути,—

внезапному и опять-таки непредсказуемому падению коммунистических режимов Восточной Европы. С августа и до конца 1989 года коммунисты отказались от власти или потеряли ее в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Германской Демократической Республике. За исключением Румынии, все это происходило без единого выстрела. Вскоре после этого коммунизм пал в двух балканских государствах, не входивших в советскую сферу влияния,—в Югославии и Албании. Германская Демократическая Республика была присоединена к Западной Германии, а в Югославии началась гражданская война. За этими процессами пристально наблюдал не только Запад; коммунистические правительства на других континентах с возрастающим беспокойством следили за происходящим. В целесообразности безграничной гласности и ослабления государства сомневались как сторонники радикальных экономических реформ в Китае, так и последователи традиционного централизованного планирования на Кубе (см. главу 15). В середине 1989 года, когда демократизация перекинулась с Советского Союза на Китай, здешнее правительство, после понятных колебаний и резких внутренних разногласий, укрепило свою власть, подавив массовые волнения при помощи насилия. Войска разогнали массовую студенческую демонстрацию на главной площади страны; при этом, как полагают (достоверных данных на момент написания этих строк по-прежнему нет), погибло несколько сотен человек. Запад ужаснулся трагедии на площади Тяньаньмэнь, а коммунистическое правительство Китая утратило остатки доверия молодых китайских интеллектуалов, но благодаря такому повороту событий китайские власти смогли беспрепятственно продолжать экономическую либерализацию, не опасаясь внутренних политических проблем. Таким образом, после 1989 года коммунизм прекратил свое существование только в СССР и его сателлитах (включая Монголию, между двумя мировыми войнами выбравшую советский, а не китайский протекторат). На данном этапе кризис практически не затронул три коммунистических режима Азии (Китай, Северную Корею и Вьетнам), а также изолированную и далекую Кубу.

V

После французской революции прошло двести лет, и события 1989—1990 годов в Восточной Европе невольно тоже хотелось назвать «революцией». Под таковой мы понимаем свержение существующего строя—и действительно, в социалистических странах этого региона сменился государственный строй. И все же слово «революция» выбрано не совсем удачно, потому что ни одно коммунистическое правительство Восточной Европы *не было свергнуто*. Нигде, за исключением Польши, не сформировались внутренние силы, представлявшие серьезную угрозу для коммунистической власти. Но и здесь появ-

ление мощной политической оппозиции вызвало не мгновенное разрушение системы, а ее постепенную трансформацию в процессе переговоров, компромиссов, преобразований: после смерти генерала Франко в 1975 году аналогичным путем перешла к демократической форме правления Испания. Единственной угрозой для режимов, находящихся в советской орбите, выступала позиция Москвы, которая дала понять, что на военное вмешательство ради спасения верных ей руководителей, как в 1956 или в 1968, она более не пойдет. С завершением «холодной войны» Москва заметно утратила интерес к своим сателлитам; по ее мнению, если коммунистические правительства региона хотели остаться у власти, им следовало придерживаться той же гибкой политики либерализации и реформ, что проводилась польскими и венгерскими коммунистами. Впрочем, консерваторов в Берлине и Праге теперь ни к чему не принуждали; они оказались предоставленными собственной участи.

Невмешательство Советского Союза усугублялось несостоятельностью государственного устройства социалистических стран. Правительства удерживали власть только благодаря созданному ими вокруг себя политическому вакууму, не оставлявшему альтернативы существующему положению вещей — за исключением иммиграции (доступной немногим) или участия в немногочисленных интеллигентских кружках. Большинство граждан довольствовалося такой ситуацией, так как никаких иных перспектив они не видели. Самые энергичные, талантливые, целеустремленные устраивались внутри системы, поскольку она контролировала все должности и места, требующие неординарных качеств или подразумевающие их публичное выражение. Сюда относились даже такие далекие от политики виды деятельности, как прыжки с шестом или игра в шахматы. Сказанное верно и в отношении официально допускаемой оппозиции в лице деятелей искусства, которые, по мере того как система теряла контроль над обществом, получали все большую свободу творчества. Правда, после падения коммунизма отказавшимся эмигрировать писателям-диссидентам пришлось заплатить за это высокую цену — их воспринимали как коллаборационистов*. Неудивительно поэтому, что люди по большей части выбирали спокойную жизнь и формально поддерживали систему, в которую уже давно верили только младшие школьники. Они продолжали ходить на выборы и на демонстрации даже после исчезновения серьезных наказаний за инакомыслие. Одна из причин, объясняющих особо яростное обличение системы в странах типа ГДР и Чехословакии, заключалась в том, что «подавляющее большинство граждан принимало участие в показательных выборах просто чтобы избежать неприятностей, которые, впрочем, уже дав-

* Даже такой страстный противник коммунизма, как Александр Солженицын, начинал свою писательскую карьеру в рамках системы, которая из реформаторских соображений позволила издать его первые произведения.

но никого не пугали; все ходили на обязательные демонстрации. <...> Осведомители легко покупались за мизерные привилегии. Люди часто соглашались доносить после весьма мягкого внушения» (*Kolakowski, 1992, p. 55—56*).

При этом в систему не верил уже никто, даже ее руководители. Власти, несомненно, очень удивились, когда «массы» отбросили былую пассивность и отказались подчиняться — вспомним, к примеру, запечатленное фотокамерой в 1989 году удивление президента Чаушеску: собравшаяся на площади толпа почему-то свистит, а не аплодирует ему. Причем в изумление коммунистических вождей поверг не сам факт неповиновения, а активность народа. В решающие моменты ни одно коммунистическое правительство Восточной Европы не отдало приказа стрелять в своих граждан. Все они мирно сложили с себя полномочия; исключением стала разве что Румыния, но и там сопротивление было недолгим. Возможно, восстановить порядок и не удалось бы — но власти даже и не пытались сделать это. Нигде не было видно убежденных коммунистов, готовых погибнуть в казематах за свою веру или хотя бы за довольно впечатляющие результаты сорокалетнего коммунистического строительства. Да и что они стали бы защищать? Экономические системы, неполноценность которых на фоне экономики Запада бросалась в глаза, которые понемногу разваливались и не поддавались реформированию, несмотря на серьезные и умные попытки сделать это? Системы, полностью утратившие те рациональные основания, в которых черпали свою веру коммунистические «кадры» прошлого, т. е. убеждение в том, что социализм превосходит капитализм и в будущем придет ему на смену? Кто теперь мог верить в такие вещи, казавшиеся вполне правдоподобными в 1940-е или даже 1950-е годы? Социалистические страны ныне не только не сохранили единство, но и воевали друг с другом (как, например, Китай и Вьетнам в начале 1980-х годов), а значит, и единого «социалистического лагеря» больше не было. Советский Союз, страна Октябрьской революции, все еще оставался одной из двух сверхдержав — но это все, что осталось от былых надежд. При этом все правительства социалистических стран, за исключением Китая, как и большинство коммунистических партий третьего мира, прекрасно понимали, сколь многим они обязаны существованию этого «противовеса» экономическому и стратегическому господству США. Но в настоящее время СССР явно тяготился непосильной военно-политической ношей, и вскоре даже не зависящие от Москвы коммунистические государства (Югославия, Албания) почувствовали, насколько серьезно их ослабит исчезновение второй сверхдержавы.

Как бы то ни было, время настоящих коммунистов прошло, причем как в Европе, так и в СССР. В 1989 году лишь немногие люди моложе шестидесяти лет помнили Вторую мировую войну и движение Сопротивления, связавшие воедино патриотизм и коммунизм, а для пятидесятилетних это время было уже довольно далеким прошлым. Для многих граждан Восточной Европы ле-

гитимность их государств основывалась только на официальной риторике и рассказах стариков*. Более молодые члены партии были уже не коммунистами в прежнем смысле слова, а просто мужчинами и женщинами, делавшими карьеру в странах, которым выпало развиваться при социализме. По мере того как времена менялись, они, если позволялось, с легкостью расставались с прежними взглядами. Короче говоря, люди, управлявшие странами-сателлитами СССР, либо утратили веру в коммунизм, либо вообще никогда ее не имели. Пока система функционировала, они действовали по ее правилам. Когда стало ясно, что Советский Союз отпустил их в свободное плавание, реформаторы (как в Польше и Венгрии) постарались договориться о мирном отказе от коммунизма, а сторонники «твердой линии» (как в Чехословакии и ГДР) просто пребывали в ступоре до тех пор, пока не становилось ясно, что гражданам больше их не слушаются. Но в обоих случаях, осознав, что их время истекло, коммунисты уходили без шума. Это, кстати, выглядело своего рода местию западным пропагандистам, уверявшим, что «тоталитарные» режимы никогда не сдаются просто так.

На смену им на короткое время приходили мужчины и (гораздо реже) женщины, представлявшие инакомыслящих или оппозицию, которые инициировали те самые акции процесса, что служили «последним звонком» прежнему режиму. За исключением Польши, где основу оппозиции составляла Церковь и профсоюзное движение, новое руководство восточноевропейских стран состояло из смелых, но немногочисленных интеллектуалов, которые вдруг оказывались во главе масс; как и во время революции 1848 года, среди них было немало ученых и людей искусства. Ненадолго философы-диссиденты (Венгрия) или историки-медиевисты (Польша) становились президентами или премьер-министрами, а драматург Вацлав Гавел был избран президентом Чехословакии при поддержке довольно эксцентричных советников, от скандального американского рок-музыканта до аристократа из рода Габсбургов (князя Шварценберга). Шли бесконечные дискуссии о «гражданском обществе» — о совокупности добровольных общественных организаций или частных инициатив, которые заменят собой авторитарное государство, и о возврате к истинным принципам революции, позже искаженным большевиками**.

* Все было несколько иначе в таких коммунистических странах третьего мира, как Вьетнам, где борьба за независимость продолжалась до середины 1970-х годов, а значит, гораздо большее число людей непосредственно в ней участвовало.

** Автор хорошо помнит одну дискуссию на вашингтонской конференции 1991 года. Посол Испании в США охладил тогда пыл присутствующих, напомнив, что после смерти генерала Франко в 1975 году студенты и бывшие студенты, многие из которых разделяли либерально-коммунистические взгляды, пребывали в аналогичной эйфории. «Гражданское общество», сказал он, просто означало, что молодым идеологам, на короткое время заговорившим от лица всего народа, хотелось думать, что такая ситуация сохранится навсегда.

К сожалению, как и в 1848 году, момент свободы и истины оказался мимолетным. К политическому руководству вскоре пришли люди, которые обычно и занимают подобные должности. «Национальные фронты» и «гражданские движения», создававшиеся по принципу *ad hoc*, распадались так же быстро, как и возникали.

Нечто подобное происходило и в Советском Союзе, где до августа 1991 года распад партийно-государственного аппарата протекал не особенно быстро. Все более очевидным становился провал перестройки; соответственно падало доверие к Горбачеву, чего не понимали на Западе, где популярность советского лидера оставалась оправданно высокой. В итоге президенту СССР приходилось постоянно лавировать, вступая в союзы и альянсы с различными политическими группировками, которые возникли с развитием советского парламентаризма. Это в свою очередь лишило его доверия со стороны как ранее поддерживавших его реформаторов, так и отступающих партийных структур. Горбачев войдет в историю как трагическая фигура, подобно «царю-освободителю» Александру II (1855—1881), который разрушил то, что стремился реформировать, и, занимаясь этим, погиб сам*.

Обаятельный, искренний, умный и непритворно преданный коммунистическим идеям (которые, по его мнению, были искажены во времена сталинизма), Горбачев оказался слишком зажатым, чтобы полноценно участвовать в кипении демократической политики, благодаря ему и зародившейся. Он был слишком осторожным для решительных действий и бесконечно далеким от жизни городской и индустриальной России, с которой он, как партийный функционер, практически не сталкивался. Его главная проблема заключалась не в отсутствии эффективной стратегии экономических реформ — таковой не было и после его ухода, — а в незнании повседневных реалий собственной страны.

Интересно сравнить Горбачева с другим советским лидером этого периода — с Нурсултаном Назарбаевым, который в 1984 году на гребне реформ пришел к власти в Казахстане. Подобно многим другим советским политикам, но в отличие от Горбачева и политических деятелей несоциалистических стран, Назарбаев пришел наверх от заводского станка. Переключившись с партии на государство, он стал президентом республики, провел необходимые реформы, включая децентрализацию и введение рыночной экономики, и пережил падение Горбачева и развал КПСС — события, которых совершенно не одобрял. После распада СССР он становится одним из самых влиятельных политиков призрачного Содружества Независимых Государств. Укрепляя собст-

* Александр II отменил крепостное право и провел ряд других реформ. Он был убит представителями революционного движения, которое впервые набрало силу именно в годы его правления.

венную власть, прагматичный Назарбаев последовательно заботился о том, чтобы рыночные реформы не имели тяжелых социальных последствий. Рынку — да, бесконтрольному росту цен — решительное нет. Его излюбленной стратегией являлось заключение двусторонних торговых сделок с другими советскими (или бывшими советскими) республиками — он ратовал за создание общего рынка в Средней Азии, — а также учреждение совместных предприятий с иностранными партнерами. При этом Назарбаев не имел ничего против радикальных экономистов — некоторых из них он даже пригласил на работу из России. Одним из его советников выступал идеолог корейского «экономического чуда». Казахский лидер не раз демонстрировал трезвое понимание того, как функционирует послевоенная рыночная экономика. Путь к выживанию и, возможно, к успеху мостится булыжником реализма, а не благими намерениями.

Последние годы существования Советского Союза явились своего рода катастрофой замедленного действия. Падение коммунизма в Восточной Европе в 1989 году, а также вынужденное согласие Москвы на воссоединение Германии ясно показали, что Советский Союз не обладает былым международным влиянием, не говоря уже о статусе сверхдержавы. Это подтверждалось и неспособностью СССР хоть как-то повлиять на кризис в Персидском заливе в 1990—1991. С точки зрения международных отношений СССР представлял страной, потерпевшей полное поражение в какой-то затяжной войне — только вот войны этой не было. Впрочем, СССР сохранил вооруженные силы и военно-промышленный комплекс бывлой сверхдержавы, и это налагало серьезные ограничения на его политику. И хотя ситуация на международной арене подогревала сепаратистские настроения в некоторых республиках, особенно в Прибалтике и Грузии — в частности, Литва попробовала свои силы, демонстративно провозгласив независимость в марте 1990 года*, — все-таки распад Советского Союза произошел не по вине националистов.

Основной причиной распада стала дезинтеграция центральной власти. Именно она обрекла республики и регионы страны на самостоятельное выживание, а значит, спасение всего, что можно, из-под руин летящей под откос экономики. В последние два года существования Советского Союза в стране не хватало продуктов питания и промышленных товаров. Отчаявшиеся реформаторы, в основном из числа ученых-теоретиков, для которых гласность была очевидным благом, прибегли к «апокалиптическому» экстремизму. Они решили до основания разрушить старую систему; по их мнению, ее должны были сокрушить тотальная приватизация и введение стопроцентно свобод-

* Армянские националисты, которые, со своей стороны, способствовали распаду СССР своими притязаниями на Нагорный Карабах, благоразумно не стремились к такому исходу, ибо не могли не понимать, что само существование Армении при таком раскладе окажется под угрозой.

ного рынка — немедленно и любой ценой. Предлагались планы по реализации этих замыслов в течение нескольких недель или месяцев (в частности, появилась программа «500 дней»). Но авторы подобных программ не имели ни малейшего представления о том, как функционирует настоящий свободный рынок или капиталистическая экономика. В свою очередь, заезжие американские и британские финансовые эксперты, настойчиво предлагавшие русским радикальные меры, ничего не знали о реальном состоянии советской экономики. И те и другие справедливо полагали, что существующая система (или, вернее, существовавшая ранее командная экономика) сильно уступала экономическим системам, основанным на частной собственности и частном предпринимательстве, а ее модифицированные и обновленные формы обречены заранее. Но ни те ни другие не понимали самого главного: они не знали, каким образом плановую командную экономику можно практически превратить в экономику рыночную. Им ничего не оставалось, как повторять абстрактные банальности о преимуществах свободного рынка. Рынок автоматически наполнит товарами полки магазинов. Товары не будут больше удерживаться производителями, как только спрос и предложение вступят в свои права. Многие жители измученного Советского Союза прекрасно понимали, что этого не произойдет. Когда после распада СССР на какое-то время Россия обратилась к «шоковой терапии», именно так оно и оказалось. Более того, все серьезные исследователи утверждали, что и к 2000 году доля государственного сектора в советской экономике останется достаточно высокой. Но сторонники Фридриха фон Хайека и Милтона Фридмана осуждали саму идею экономики смешанного типа. А значит, у них не могло быть практических рецептов того, как такая система должна функционировать или изменяться.

И все-таки фатальный кризис оказался не экономическим, а политическим. Руководство Советского Союза, партия, экономисты, чиновники, военные, сотрудники спецслужб, спортсмены не хотели распада СССР. Маловероятно также, чтобы в таком исходе, даже после 1989 года, были заинтересованы большие группы граждан за пределами Прибалтийских республик; даже с поправкой на возможную неточность статистических данных, на референдуме в марте 1991 года 76 % проголосовавших все-таки высказались за сохранение Советского Союза в качестве «обновленной Федерации суверенных и равноправных республик, в которых будут полностью защищены права и свободы граждан любой национальности» (*Правда*, 25/1/91). Ни один крупный российский политик не добивался распада СССР. Но неуклонное ослабление центра укрепляло центробежные силы и в конечном счете делало распад страны неминуемым. Этому в значительной мере способствовала политика Бориса Ельцина, чья популярность росла с падением популярности Михаила Горбачева. К тому времени Союз стал фикцией, единственной реальностью

оставались республики. В конце апреля Горбачев, совместно с представителями девяти крупнейших республик *, подписал соглашение о скорейшем заключении Союзного договора. Этот договор, подобный австро-венгерскому «историческому компромиссу» 1867 года, был призван сохранить центральную власть федерации во главе с президентом, избираемым прямым голосованием граждан, отвечающую за вооруженные силы, внешнюю политику, координацию финансовой политики и внешнеэкономические связи. Договор должен был быть подписан 20 августа.

Для большей части прежнего советского партийного руководства этот договор казался очередной бумажной выдумкой Горбачева, которая ничего не изменит. Более того, эти люди считали, что его подписание способно окончательно развалить СССР. За два дня до 20 августа практически все политические «тяжеловесы» страны — министр обороны, министр внутренних дел, глава КГБ, вице-президент и премьер-министр, партийные руководители, — объединившись, объявили, что в отсутствие президента и генерального секретаря (находившегося на своей крымской даче под домашним арестом) власть взял Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Это был не столько путч — в Москве никого не арестовали и даже телестудии не были взяты под контроль, — сколько публичная демонстрация того, что настоящая власть есть и она действует. «Путчисты» были абсолютно уверены, что граждане поддержат или хотя бы молчаливо примут восстановление порядка. Действительно, их не свергла ни революция, ни народное восстание, москвичи оставались равнодушными, а призывы к всеобщей забастовке не получили отклика. Как не раз бывало в российской истории, эту драму разыграла группа актеров за спиной многострадального народа.

Впрочем, все это не совсем верно. Тридцать или даже двадцать лет назад одного напоминания о том, где находится власть, было бы уже достаточно. Даже теперь большинство советских граждан молчаливо приняли происходящее: по результатам опросов, 48% простых людей и (что более предсказуемо) 70% членов партии поддержали путч (*Di Leo, 1992, p. 141, 143*). Более того, многие зарубежные правительства (о чем некоторые из них потом предпочитали забыть) рассчитывали на успех путча **. Но власть партии/государства раньше держалась на всеобщем автоматическом послушании, а не на принуждении. В 1991 году ни власти центра, ни всеобщего послушания уже не существовало. Впрочем, на большей части Советского Союза переворот был вполне осуществим; ибо каковы бы ни были настроения вооруженных сил или спец-

* То есть всех, за исключением стран Балтии, Молдавии и Грузии, а также, по неизвестным причинам, Киргизии.

** В первый день путча официальная газета финского правительства мельком упомянула арест президента Горбачева на третьей из четырех страниц, посвященных новостям. Газета обратилась к комментариям только после провала путча.

служб, в столице надежные войска вполне можно было найти. Но символических претензий на власть теперь оказалось недостаточно. Горбачев оказался прав: перестройка нанесла поражение путчистам, изменив общество. Но перестройка погубила и самого Горбачева.

Символический путч можно было подавить при помощи столь же символического сопротивления, поскольку путчисты совершенно не стремились к гражданской войне. Напротив, они собирались предотвратить именно то, чего опасалось большинство населения,— сползание в такой конфликт. И в то время как призрачные органы власти СССР поддерживали путчистов, представитель несколько более действенных российских органов власти Борис Ельцин, окруженный несколькими тысячами сторонников, которые вышли на его защиту, мужественно останавливал танки перед телекамерами всего мира. Храбро, но в то же время безо всякого риска, Ельцин (чье политическое чутье и умение принимать решения резко контрастировали с тактикой Горбачева) мгновенно воспользовался сложившейся ситуацией. Он распустил коммунистическую партию и экспроприировал ее собственность. Он взял под опеку России остатки собственности СССР, который формально прекратил свое существование спустя несколько месяцев. Про Горбачева забыли. Мир, который уже был готов принять переворот, теперь смирился с более энергичным «контрпереворотом» Ельцина и стал считать Россию естественной преемницей распавшегося Советского Союза— в частности, в ООН и других международных организациях. Попытка спасти от разрушения прежнюю структуру власти покончила с ней быстрее и действеннее, чем можно было ожидать.

Впрочем, приход к власти Ельцина не решил ни одной экономической, государственной и общественной проблемы. В некотором отношении он их даже усугубил, поскольку другие республики теперь боялись России, своего «большого брата», хотя никогда раньше не опасались Советского Союза, государства, не имевшего национальной специфики. Националистические лозунги Ельцина были призваны сплотить армию, костяк которой всегда состоял из этнических русских. А поскольку в союзных республиках проживало значительное русское население, намеки Ельцина на пересмотр межреспубликанских границ усугубили сепаратистские тенденции. В частности, Украина немедленно провозгласила независимость. Впервые у народов, привыкших к равномерно распределяемому всеобщему гнету со стороны центра, появился повод опасаться угнетения со стороны Москвы в интересах одной нации. Это положило конец даже видимости единства, поскольку пришедшее на смену СССР призрачное Содружество Независимых Государств вскоре утратило всякую реальность. Один из последних советских символов, на удивление успешная союзная сборная, завоевавшая на Олимпиаде 1992 года больше наград, чем американцы, ненадолго пережила Советский Союз. Таким об-

разом, распад СССР вернул российскую историю почти на четыреста лет назад, в результате чего современная Россия обрела примерно то же значение, которое имела в допетровскую эпоху. А поскольку Россия начиная с середины восемнадцатого столетия являлась крупной международной державой, распад советского государства оставил после себя пустое пространство от Триеста до Владивостока. Новая история еще не знала ничего подобного; сопоставимые по масштабам сдвиги наблюдались разве что во время недолгой гражданской войны 1918—1920 годов, когда на карте Европы образовалась обширная зона потенциальных беспорядков, конфликтов и катастроф. Вот эти проблемы и предстояло решать дипломатам и военным в конце второго тысячелетия.

VI

В заключение сделаем еще несколько замечаний. Прежде всего поразительно, насколько непрочной оказалась хватка коммунизма, покорявшего огромные территории быстрее, чем любая другая идеология со времен зарождения ислама. Упрощенный марксизм-ленинизм стал догматической (светской) ортодоксией на бескрайних пространствах от Эльбы до китайских морей — и мгновенно прекратил свое существование вслед за падением коммунистических режимов. У этого необычного исторического феномена могут быть два объяснения. Во-первых, коммунизм основывался не на массовом «обращении» масс, а на вере партийных кадров, или, используя выражение Ленина, «авангарда». Даже знаменитое изречение Мао, согласно которому настоящие повстанцы должны чувствовать себя среди крестьян как рыба в воде, подразумевало различие между активным элементом (рыбой) и пассивной средой (водой). Неофициальные рабочие и социалистические движения, включая некоторые массовые коммунистические партии, порой срастались с общинами, в которых действовали; так было, например, в шахтерских поселках. Но с другой стороны, все правящие коммунистические партии по определению являлись элитами меньшинства. «Массы» принимали коммунизм отнюдь не по идеологическим соображениям; они просто сравнивали, какие материальные блага мог предложить коммунизм по сравнению с другими общественными системами. Когда дальнейшая изоляция граждан от контактов с иностранцами стала невозможной, отношение к коммунизму сделалось скептическим. Ведь коммунизм по сути являлся инструментальной верой, для которой настоящее служило лишь средством достижения неопределенного будущего. За редкими исключениями — например, во время патриотических войн, оправдывающих подобные жертвы, — такая идеология скорее подходит сектам или элитарным группам, а не универсальным церквам, которые, не-

взирая на свою озабоченность проблемой вечного спасения, вынуждены действовать в повседневности, здесь и сейчас. Ожидаемое веками земное спасение, смысл жизни коммунистических «кадров», постепенно отодвигалось в неопределенное будущее; в результате они обратились к простым человеческим радостям. И когда это случилось, партия не сумела предложить им свое руководство и попечение. Ведь коммунизм по природе своей был нацелен на победу и не выработал поведенческих ориентиров на случай поражения.

Но в чем же причина падения коммунизма или, вернее, его надлома? Парадоксально, но распад Советского Союза стал весомым аргументом в пользу теории Карла Маркса, которую Советы неизменно стремились воплотить в жизнь. В 1859 году Маркс писал: «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. (...) На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции». Трудно найти более яркий пример марксистских «производительных сил», вступивших в конфликт с социальной, институциональной и идеологической надстройкой. Эта надстройка сначала превратила отсталые аграрные общества в промышленно развитые, а затем сама превратилась в оковы производства. Таким образом, первым итогом новой «эпохи социальных революций» стала дезинтеграция старой системы.

Но что заменит старую систему? Здесь мы не разделяем оптимизма Маркса, утверждавшего, что свержение прежней системы с неизбежностью ведет к установлению лучшего порядка, поскольку «человечество ставит перед собой только разрешимые задачи». Проблемы, которые «человечество» или, скорее, большевики поставили перед собой в 1917 году, не могли быть решены в ту эпоху и в тех исторических условиях или решались лишь отчасти. Сегодня только очень самонадеянные люди могут утверждать, что в ближайшем будущем появится решение проблем, возникших после распада Советского Союза. Маловероятно также, что граждане бывшего СССР и коммунистических стран Балканского полуострова почувствуют серьезные улучшения на протяжении жизни следующего поколения.

С распадом Советского Союза опыт построения «развитого социализма» завершился. Даже те страны, где коммунистические системы выстояли и успешно развиваются (например, Китай), отказались от плановой экономики, основанной на исключительно государственной форме собственности или

кооперативной собственности, но без рынка. Повторятся ли подобные эксперименты в будущем? Скорее всего, нет, по крайней мере, в своей прежней форме. Впрочем, повторение подобного опыта маловероятно в любой форме, за исключением военного времени или других чрезвычайных обстоятельств.

Дело в том, что советский эксперимент задумывался не как глобальная альтернатива капитализму, а как набор конкретных мер, подходящих для отдельно взятой, огромной и отсталой страны в определенное и неповторимое историческое время. Из-за провала революций в других странах Советскому государству пришлось строить социализм в одиночку. И это в стране, где, согласно единодушному признанию русских и западных марксистов, на тот момент не существовало условий для подобного строительства. Попытка сделать это увенчалась значительными успехами, например победой над фашистской Германией во Второй мировой войне. Но все это далось ценой огромных человеческих жертв и за счет создания бесперспективной экономической и политической системы, в пользу которой даже нечего сказать. (Разве не предупреждал Георгий Плеханов, «отец русского марксизма», что Октябрьская революция в лучшем случае приведет к созданию «китайской империи», но только красной?) Страны «развитого социализма», сателлиты СССР, построили несколько более эффективные экономические системы и понесли — по сравнению с Советским Союзом — меньше людских потерь. Возрождение подобной модели социализма невозможно, нежелательно и — даже при благоприятных обстоятельствах — вряд ли необходимо.

Но ставит ли провал советского эксперимента под сомнение проект традиционного социализма — экономической системы, основанной на общественной собственности и плановом управлении средствами производства, распределения и обмена? Отдельные экономисты еще до Первой мировой войны писали, что такая система теоретически возможна; кстати, эта теория разрабатывалась экономистами, далекими от социалистических взглядов. Что у такой системы на практике будут недостатки, хотя бы из-за ее бюрократизма, не вызывало сомнений. Что эта система будет отчасти использовать ценовую политику — как рыночное ценообразование, так и «расчетные цены», — было совершенно очевидно, ибо социализму все-таки приходилось считаться с пожеланиями потребителей. В 1930-е годы, когда в западной прессе шли оживленные дискуссии по этому вопросу, экономисты-социалисты говорили о возможности сочетать планирование, лучше децентрализованное, со свободным ценообразованием. Разумеется, жизнеспособность подобной экономической системы не означает ее превосходства перед, скажем, более социально справедливой смешанной экономикой «золотой эпохи». Это также не означает, что большинство людей согласилось бы жить в подобных экономических условиях. Мы просто пытаемся отделить «социализм» как общее понятие от осуществленного на практике «развитого социализма». Провал

советского эксперимента не означает невозможность других видов социализма. Сама неспособность бесперспективной командно-административной системы преобразовать себя в «рыночный социализм» демонстрирует принципиальные различия двух этих форм экономики.

Трагедия Октябрьской революции заключалась в том, что она оказалась способна произвести на свет только бездушный, жестокий, командный социализм. Один из самых проникательных экономистов 1930-х годов, социалист Оскар Ланге, вернувшийся из США, чтобы строить социализм в родной Польше, накануне своей кончины беседовал в лондонской больнице с друзьями и почитателями, включая автора этих строк. И вот что он тогда сказал:

Если бы я жил в России в 1920-е годы, я был бы сторонником постепенных мер, как Бухарин. Если бы я участвовал в советской индустриализации, я, подобно самым проникательным советским экономистам, советовал бы задавать более гибкие и ограниченные цели. И все же, думая о прошлом, я спрашиваю себя: а была ли альтернатива этому жестокому и, по сути, стихийному рывку вперед — первому пятилетнему плану? Мне хочется верить, что это так, но я не могу. У меня нет ответа.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Конец авангарда — искусство после 1950 года

В 1950-е годы к искусству стали относиться как к выгодному бизнесу.

Дж. Райтлингер (G. Reitlinger, The Economics of taste, vol. 2, 1982, p. 14)

Холодильники, кухонные плиты и другие белоснежные предметы бытовой техники стали сегодня цветными. Это, конечно, ново и хорошо сочетается с поп-артом. Как мило — ты достаешь из холодильника апельсиновый сок, а на тебя со стены летит Волшебник Мандрагора*.

Стадз Теркел (Studs Terkel, Divisions Street: America, 1967, p. 217)

I

Какими бы очевидными и глубокими ни являлись общественные корни искусства, многие исследователи (включая автора этой книги) нередко помещают его за рамки современного ему контекста. Считается, что искусство живет по своим законам, а значит, и оценивать его следует преимущественно с этих позиций. Но сегодня, в эпоху глобальных общественных изменений, этот привычный для нас метод исторического анализа представляется менее пригодным. И дело не только в том, что постепенно стирается или вообще исчезает грань между тем, что можно, а что нельзя считать «искусством», «творчеством» или «изобретением». (Например, представители одного влиятельного направления литературной критики *fin de siècle* посчитали невозможным, неуместным и недемократичным решать, что «лучше» или «хуже» — «Макбет» Шекспира или Бэтмен.) Просто с некоторых пор искусство (или то, что назвали бы «искусством» исследователи прошлого) развивается в основном под воздействием внешних сил. А в эпоху беспрецедентного научно-технического прогресса эти внешними силами в первую очередь являются новые технологии.

* Персонаж американских комиксов, появившийся в 1934 году: первый борец с преступностью, наделенный сверхъестественными возможностями (*примеч. пер.*).

Новые технологии сделали искусство общедоступным. Благодаря радио звук—музыка и слово—вошел в повседневную жизнь развитых и многих развивающихся стран. С изобретением транзистора радио покорило весь мир. Радиоприемник превратился в компактный портативный механизм на батарейках, а радиовещание сделалось независимым от официальной (почти всегда городской) электросети. Граммофон уже устарел. Даже технические усовершенствования не сделали его менее громоздким. У любителей классической музыки завоевали особую популярность модные в 1950-е годы долгоиграющие пластинки, появившиеся в 1948 году (*Guinness, 1984, p. 193*). Ведь классические произведения, в отличие от популярных мелодий, редко умещаются на обычной 3- и 5-минутной пластинке в 78 оборотов. Но настоящим прорывом в мире музыки стало изобретение аудиокассет. Аудиокассеты прослушивались на небольших портативных магнитофонах, очень популярных в 1970-е годы. Кассеты было легко копировать. И в 1980-е годы музыка зазвучала отовсюду. Ее слушали через наушники, подключавшиеся к небольшим портативным приспособлениям — плеерам (первенство в разработке которых принадлежало японцам). Музыка неслась из довольно больших переносных магнитол. Научно-техническая революция имела не только культурные, но и политические последствия. В 1961 году у французских солдат были портативные радиоприемники. И президент де Голль по радио убедил их не участвовать в военном перевороте. В 1970-е годы сторонники опального аятоллы Хомейни, будущего лидера иранской революции, ввозили в Иран, переписывали и раздавали магнитофонные записи его речей.

Телевидение не сделалось таким же компактным, как радио. Ведь визуальное изображение, в отличие от звукового, сильно проигрывает от сокращения размеров передающего устройства. Но телевидение принесло с собой движущийся образ. Телевизор по-прежнему оставался более дорогим и громоздким, чем радиоприемник. Но вскоре даже бедняки в развивающихся странах начали обзаводиться телевизорами. Для этого потребовалось лишь наличие городской инфраструктуры. В 1980-е годы 80% бразильских семей имели телевизор. В 1950-е годы в США, а в 1960-е—в благополучной Великобритании основным видом досуга сделался просмотр телепередач, заменивших собой радио и кино. Массовый интерес к телевидению оставался очень высоким. В развитых странах телевизор (с помощью видеомангитфона, который все еще стоил довольно дорого) передавал на домашний экран множество движущихся образов. В результате резко снизилась посещаемость кинотеатров—ведь видеомангитфон предложил зрителю практически неограниченный выбор фильмов и времени «сеансов». А с появлением домашних компьютеров «маленький экран» сделался, наверное, самым важным индивидуальным средством связи с внешним миром.

Но новые технологии не только сделали искусство общедоступным. Изменилось само отношение к искусству. Человек, выросший в эпоху электронной

компьютерной музыки, не станет каждый день слушать «живую» музыку или ее записи. Современный человек не будет по много раз воспроизводить один и тот же звук или визуальный ряд (подобно тому, как раньше перечитывались тексты). Театр с его простой линейной последовательностью образов несравним с телевизионной рекламой (которая за тридцать секунд разыгрывает драматическое повествование) или с мгновенным переключением телеканалов. Итак, новые технологии преобразили мир искусства; естественно, что так называемые популярные виды искусства и развлечений изменились быстрее и более кардинально, чем «высокое» или традиционное искусство.

II

Рассмотрим теперь, как изменялось «высокое» искусство.

«Эпоха катастроф» завершилась. Прежние (европейские) центры «высокого» искусства постепенно перемещались в другие страны. На смену «эпохе катастроф» пришла эпоха беспрецедентного экономического роста. И в искусство начали вкладывать значительные средства. К сожалению, при ближайшем рассмотрении оказывается, что на самом деле все обстояло не настолько благополучно.

Послевоенная Европа (а под Европой большинство людей на Западе между 1947 и 1989 годом понимали Западную Европу) уже не была главной обителью «высокого» искусства. Мировым центром визуальных искусств сделался Нью-Йорк, а не Париж. Под центром стали понимать прежде всего рынок произведений искусства или рынок самих художников. Жюри Нобелевского комитета по литературе (а политическое чутье этого уважаемого собрания всегда интереснее его литературных вкусов) с 1960-х годов начало проявлять интерес к неевропейской литературе, которую оно прежде совершенно игнорировало. Раньше исключение делалось только для североамериканских авторов, которым (начиная с Синклера Льюиса в 1930 году) регулярно присуждались Нобелевские премии. В 1970-е годы все любители серьезной литературы читали латиноамериканскую прозу. Все поклонники хорошего кино восхищались (или делали вид, что восхищаются) индийским режиссером Сатъяджитом Реем (1921—1992) и великими японскими режиссерами. Фильмы японских режиссеров, в частности Акиры Куросавы (1910—1998), в 1950-е годы регулярно занимали призовые места на международных кинофестивалях. И потому неудивительно, что в 1986 году Нобелевскую премию по литературе присуждают нигерийскому писателю Воле Шойинке (р. 1934).

Архитектура, самое монументальное из визуальных искусств, также в основном развивается за пределами Европы. Как мы уже видели, между двумя мировыми войнами она прогрессировала не особенно бурно. После Второй

мировой войны наибольшее число зданий «интернационального стиля» возводится в Соединенных Штатах. А уже в 1970-е годы по всему миру, подобно паутине, вырастают «дворцы мечты» для процветающих бизнесменов и состоятельных туристов. Их легко узнать по центральному «нефу», гигантским «оранжереям» с растущими деревьями, тропическими растениями и фонтанами, по скользящим внутри или снаружи прозрачным лифтам, щедрому использованию стекла и театральному освещению. Для буржуазного общества конца двадцатого века эти здания выполняли ту же функцию, какую выполняла опера для светского общества конца девятнадцатого. Впрочем, образцы архитектуры авангарда есть во многих странах. Ле Корбюзье (1887—1965) спроектировал крупные городские ансамбли в Чандигархе, одном из крупнейших городов Индии. Оскар Нимейер (р. 1907) — архитектор многих строений в Бразилии, столице одноименного государства. И, наверное, одним из самых величественных и прекрасных архитектурных сооружений модернизма (причем построенных при поддержке государства, а не частного капитала, и не с целью получения прибыли) является Национальный музей антропологии в Мехико (1964).

В прежних европейских центрах искусства создавалось все меньше и меньше шедевров. Исключение составляла разве что Италия, где движение Сопротивления (которым руководили в основном коммунисты) увенчалось десятилетием культурного возрождения, известным в мире более всего по «неореалистическому» кино. Послевоенные французские художники значительно уступали художникам парижской школы между двумя мировыми войнами. Но и эта школа была лишь отражением великой эпохи, царившей до Первой мировой войны. Французская литература известна скорее «интеллектуализмом», чем «художественностью» или творческим богатством. Французские писатели изобретали главным образом новые формы (например, «новый роман» в 1950-е и 1960-е годы) или писали нехудожественную прозу (в частности, Ж. П. Сартр). Смог ли хоть один серьезный послевоенный французский прозаик вплоть до 1970-х годов добиться популярности за пределами Франции? В Великобритании дела обстояли несколько лучше. В 1950-е годы Лондон превратился в один из музыкальных и театральных мировых центров. Здесь начинали свою деятельность многие архитекторы авангарда, чьи необычные сооружения принесли им признание скорее за границей — в Париже или Штутгарте, — чем дома. Послевоенная Великобритания заняла более достойное место в мире западноевропейского искусства, чем в межвоенный период. Но и она не могла похвастаться особыми достижениями в области литературы, в которой у нее всегда были сильные позиции. После Второй мировой войны появилась разве что независимая ирландская поэзия. Что касается ФРГ, то контраст между ее возможностями и творческими достижениями (а также между блестящим веймарским прошлым и бесталанным

боннским настоящим) просто разителен. И этого не объяснить только разрушительными последствиями двенадцатилетнего правления Гитлера. Показательно, что в течение пятидесяти послевоенных лет многие талантливые немецкие поэты и прозаики были родом из Восточной, а не Западной Германии (Целан, Грасс и многие другие).

Разумеется, между 1945 и 1990 годами Германия была разделена на Западную и Восточную. Впрочем, контраст между двумя ее частями — воинствующе либеральной и коммунистически централизованной — иллюстрирует один любопытный аспект существования «высокой» культуры. В социалистических странах были созданы весьма благоприятные условия для ее развития. Конечно, речь идет не обо всех видах искусства. Сказанное не относится и к кровавым диктатурам, таким, как сталинизм или маоизм, или к их более мягким версиям, например режимам Чаушеску в Румынии (1961—1989) или Ким Ир Сена в Северной Корее (1945—1994).

С одной стороны, поскольку в социалистических странах искусство зависело от народа, т. е. от правительства и его финансовой поддержки, предпочтения типичной диктатуры с присущим ей монументализмом ограничивали свободу творчества. Власти требовали от художников творить в рамках сентиментальной мифологии «социалистического реализма». Возможно, популярные в 1950-е годы огромные открытые пространства, обрамленные высотными зданиями в неовикторианском стиле (стоит только вспомнить Смоленскую площадь в Москве), и найдут когда-нибудь своих почитателей. Предоставим будущему судить об архитектурных достоинствах подобных сооружений. С другой стороны, в тех странах социализма, где мелочной опеки власти над художниками не было, щедрость государственной поддержки искусства (или, как считают некоторые, неумение коммунистических правителей считать деньги) пришлась весьма кстати. Не случайно одного из самых известных режиссеров оперного авангарда Запад «импортировал» из Восточного Берлина.

В целом творческие достижения СССР были весьма незначительны, особенно по сравнению с дооктябрьским периодом или даже мощным культурным брожением 1920-х годов. Исключение составляла разве что поэзия, самый личностный из всех видов искусства. После Октябрьской революции культурная преемственность сохранилась прежде всего в поэтическом творчестве. Здесь важны такие имена, как Ахматова (1889—1966), Цветаева (1892—1941), Пастернак (1890—1960), Блок (1880—1921), Маяковский (1893—1930), Бродский (1940—1996), Вознесенский (р. 1933), Ахмадулина (р. 1937). Развитие кино и живописи сдерживала жесткая ортодоксия, одновременно идеологическая, эстетическая и бюрократическая, а также полная изоляция от внешнего мира. Страстный культурный национализм, возникший в некоторых советских республиках в брежневскую эпоху, — православный и славя-

нофильский в России (в книгах Солженицына), мистически-средневековый в Армении (в фильмах Параджанова) — стимулировался тем, что интеллектуалам, отвергавшим систему и все, что с ней связано, не оставалось ничего иного, как обратиться к местным консервативным традициям. При этом советские интеллектуалы оказались в изоляции не только от системы, но и от большинства своих сограждан. Это большинство считало систему вполне легитимной и по мере сил к ней приспособлялось — ведь ничего другого не предвиделось; к тому же уровень жизни в 1960-е и 1970-е годы заметно повысился. Интеллектуалы ненавидели правителей и презирали их подданных, причем даже когда некоторые из них (как, например, неославянофилы) идеализировали русскую душу и давно исчезнувшего русского крестьянина. В такой атмосфере нелегко создавать шедевры, и потому отмена государственного принуждения привела скорее к беспокойным метаниям, чем к творческому расцвету. Даже Солженицын (который, вероятно, войдет в число крупнейших писателей двадцатого века) нередко в своих книгах («Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус») обращался к прямой проповеди. Он просто не имел возможности учить или выносить исторические оценки в иной форме.

В коммунистическом Китае до конца 1970-х инакомыслие жестоко подавлялось. Это особенно очевидно на фоне редких идеологических послаблений («пусть расцветают сто цветов»), во время которых намечались жертвы последующих «чисток». Пик правления Мао Цзэдуна приходится на «культурную революцию» 1966—1976 годов — беспрецедентное для двадцатого века наступление на культуру, образование и свободомыслие. Власти на целое десятилетие фактически отменили среднее и высшее образование. Музыкальные произведения (как иностранные, так и китайские) практически не исполнялись, а музыкальные инструменты нередко уничтожались. Кино- и театральные репертуар ограничивался несколькими политически корректными опусами, которые бесконечно повторялись. (Их политкорректность оценивала жена «великого кормчего», в прошлом шанхайская киноактриса второго плана.) Естественно, что «культурная революция» в сочетании с традиционной китайской ортодоксией (смягчившейся, но не отвергнутой после смерти Мао) не породила большого числа шедевров.

А вот в коммунистических странах Восточной Европы искусство процветало, в особенности после ослабления идеологического гнета, которое намечалось в период десталинизации. Киноиндустрия Польши, Чехословакии и Венгрии (о которой раньше никто и не слышал) с конца 1950-х годов переживает настоящий подъем; здесь снимаются чрезвычайно интересные фильмы. В этих странах искусство продолжает развиваться вплоть до падения коммунизма, разрушившего механизм культурного производства. Даже «закручивание гаек» (после 1968 года в Чехословакии и 1980 года в Польше) не смогло

остановить творческий процесс. Особое место в данном отношении занимает ГДР, где многообещающий подъем киноиндустрии, обозначившийся в начале 1950-х, был пресечен властями. Разумеется, относительный расцвет в социалистическом мире тех видов искусства, которые сильно зависят от государственной поддержки, объяснять гораздо сложнее, чем, например, подъем литературного творчества. Ведь даже самый невыносимый идеологический гнет не помешает писать книги «в стол» или для узкого круга друзей*. И действительно, при всей немногочисленности своих первых читателей некоторые восточноевропейские авторы позже получили широкое международное признание. Имеются в виду, например, писатели из Восточной Германии, которые были гораздо талантливей своих западногерманских коллег, или чешские авторы, ставшие известными на Западе только благодаря внутренней и внешней эмиграции после 1968 года.

Все эти таланты объединяет важное преимущество, о котором большинство писателей, режиссеров и театральных деятелей Запада (отличавшихся, кстати, необыкновенным политическим радикализмом, особенно в США и Великобритании) могли только мечтать. Творческие люди в Восточной Европе были востребованы публикой. В отсутствие подлинной политической жизни и свободы слова *только деятели искусства* имели возможность выразить мысли и чувства своих сограждан (или, во всяком случае, их образованной части). Впрочем, конфликт художника и власти не ограничивался только коммунистическими странами; он проявлял себя повсюду, где люди творчества находились в оппозиции к политической системе. В частности, благодаря режиму апартеида в ЮАР появилась очень хорошая литература. Многие латиноамериканские интеллектуалы в 1950-е — 1990-е годы жили под постоянной угрозой высылки из родной страны, что весьма способствовало созданию шедевров в этой части Западного полушария. Все сказанное справедливо и в отношении турецких интеллектуалов.

Тем не менее в Восточной Европе искусство не просто служило формой дозволенной оппозиции. Молодые художники и писатели верили, что после кошмара военного времени их страны вступят в новую эпоху; и ничего страшного, если это произойдет при коммунистической власти. Многие, сегодня неохотно вспоминающие об этом, в первые послевоенные годы открыли паруса своей творческой юности буйным ветрам утопии. Кто-то искал вдохновения в настоящем. Так, Исмаил Кадаре (р. 1930), едва ли не первый албанский писатель с мировым именем, стал голосом не столько режима Энвера Ходжи, сколько вестником маленькой горной страны, которая благода-

* При этом, однако, процесс размножения такой литературы оставался достаточно трудоемким, поскольку приходилось обходиться только печатной машинкой и копиркой. Из соображений политической безопасности коммунистический мир до перестройки не знал, что такое ксерокс.

ря его творчеству еще при коммунизме громко заявила о себе. (Измаил Када-ре эмигрировал из Албании в 1990 году.) Но большинство интеллектуалов в социалистических странах рано или поздно оказывались в оппозиции к правящему режиму, причем в ситуации тотального противостояния сверхдержав им зачастую приходилось отказываться от единственной предлагаемой альтернативы, будь то эмиграция или работа на радио «Свободная Европа». И даже там, где, как в Польше, отрицание режима сделалось всеобщим, люди постарше слишком хорошо помнили послевоенную историю своей страны, чтобы с легкостью принимать всевозможные оттенки «серого», не говоря уже о «черном» и «белом». Отсюда трагизм фильмов Анджея Вайды (р. 1926), двойственность картин молодых чешских режиссеров 1960-х годов, неоднозначный подтекст прозы восточногерманских писателей Кристи Вольф (р. 1929) и Хайнера Мюллера (р. 1929). Они утратили иллюзии, но не изменили своей мечте.

Парадоксально, но в целом в странах второго и третьего мира интеллектуалы и люди творчества пользовались всеобщим уважением, обладая относительным благосостоянием и привилегиями, — когда их не подвергали гонениям. В социалистических странах интеллектуалы нередко принадлежали к прослойке самых богатых граждан и обладали редкими для этих «коллективных тюрем» правами — ездить за рубеж и читать иностранную литературу. При социализме интеллектуалы не имели политического влияния, но зато во многих странах третьего мира (а после падения коммунизма на какое-то время и в бывших странах «развитого социализма») общественный статус интеллектуала был достаточно высоким. Известные латиноамериканские писатели (любых политических взглядов) занимали важные дипломатические посты. Наибольшей популярностью пользовался Париж, поскольку штаб-квартира ЮНЕСКО находится рядом со знаменитыми кафе на левом берегу Сены. Университетские профессора получали министерские портфели — как правило, по части экономики. В конце 1980-х возникла мода на кандидатов в президенты (или президентов) из мира искусства; она затронула Перу, Литву, посткоммунистическую Чехословакию. Пионерами в этой области в двадцатом веке оказались молодые государства, как европейские, так и африканские, в которых важные государственные посты нередко занимали всемирно известные люди творчества. Это мог быть пианист, как в Польше в 1918 году, поэт, как в Сенегале, или танцор, как в Гвинее. А вот в большинстве развитых стран Запада писатели, поэты, драматурги и музыканты в политическом отношении оставались бесперспективными и в лучшем случае могли рассчитывать на портфель министра культуры — как Андре Мальро во Франции или Хорхе Семпун в Испании.

Благодаря небывалому экономическому росту, отличавшему рассматриваемый период, в искусство вкладываются значительные государственные и

частные средства. Даже правительство Великобритании, никогда не блиставшее в качестве мецената, в конце 1980-х годов выделяет на развитие искусства более миллиарда фунтов — по сравнению с 900 тысячами фунтов в 1939 году (*Britain: An Official Handbook, 1961, p. 222; 1990, p. 426*). Частное финансирование было менее щедрым, за исключением США, где миллиардеры тратили на образование и культуру огромные средства — и получали за это налоговые льготы. Богатыми американцами двигала как подлинная любовь к искусству (особенно распространенная среди магнатов первого поколения), так и стремление обзавестись своеобразным «статусом Медичи», который в обществе без формальной иерархии был важен не менее чем богатство. Но теперь коллекционеры не просто передавали музеям свои собрания, как это происходило раньше; они предпочитали строить собственные музеи, называя их в свою честь. В крайнем случае, музей отводил меценату особое крыло или галерею, где тот выставлял свои коллекции в соответствии с собственными вкусами.

В начале 1950-х, после почти полувекового спада, рынок искусства переживает небывалый подъем. Цены на картины французских импрессионистов, постимпрессионистов и ранних парижских модернистов взлетели до небес. В 1970-е годы международный рынок искусства, переместившийся сначала в Лондон, а затем в Нью-Йорк, по объему сделок сравнялся с рынком «эпохи империй», а в 1980-е играющие на повышение дельцы побили и этот рекорд. С 1975 по 1989 полотна импрессионистов и постимпрессионистов выросли в цене в 23 раза (*Sotheby, 1992*). Впрочем, сравнение с прошлым здесь не слишком уместно. Действительно, миллионеры, как и раньше, коллекционировали картины, причем владельцы наследственных состояний, как правило, предпочитали старых мастеров, а нувориши больше интересовались новым искусством. Но покупка произведений искусства постепенно превращалась в способ вложения капитала; точно так же когда-то приобретались акции золотых приисков. Вряд ли к ценителям искусства можно отнести Железнодорожный пенсионный фонд Великобритании, хотя эта организация, следуя советам мудрых консультантов, сделала на предметах искусства хорошие деньги. Идеальной сделкой конца 1980-х стала покупка магнатом из Западной Австралии полотна Ван Гога, причем большую часть из 31 миллиона долларов ему предоставили акционеры, рассчитывающие, вероятно, что рост цен сделает такое вложение эффективнее банковских займов. Как это часто бывает, их ждало разочарование: господин Бонд из Перта разорился, а бум на произведения искусства завершился в начале 1990-х.

Отношения искусства и капитала всегда остаются двойственными. Сложно сказать, до какой степени шедевры искусства второй половины двадцатого века были обязаны своим появлением большим деньгам, за исключением, разумеется, архитектуры, где большое, в целом, выступает синонимом пре-

красного или, во всяком случае, имеет больше шансов попасть в туристические справочники. С другой стороны, экономика, бесспорно, затронула самые разные виды искусства. Речь идет прежде всего об интеграции искусства в академическую жизнь и высшие учебные заведения, повсеместный расцвет которых мы уже отмечали (см. главу 10). Данному процессу были присущи как универсальные тенденции, так и частные особенности. В целом развитие культуры в двадцатом веке, а именно появление индустрии развлечений (порожденной массовым рынком) оттеснило традиционное высокое искусство в своеобразные «элитные гетто», причем во второй половине двадцатого века в них оказались в основном люди с высшим образованием. Ведь любители оперы и театра, читатели классики и серьезной поэзии и прозы, посетители музеев и картинных галерей по меньшей мере заканчивали среднюю школу. (Исключение составляли только жители социалистических стран; там власти просто не давали развиваться рыночной индустрии развлечений.) А в конце двадцатого века массовая культура большинства развитых стран свелась как раз к индустрии развлечений — кино, радио, телевидению и поп-музыке. Впрочем, элита сумела сказать свое слово и здесь, придав рок-музыке максимально близкое ей звучание. В остальном между массовой и элитарной культурой произошло полное размежевание: потребители «низкого» сталкивались с «высоким» лишь эпизодически — например, слушая арию Пуччини в исполнении Паваротти на чемпионате мира по футболу в 1990 году или мелодии Баха и Генделя, «инкогнито» звучащие в телерекламе. Тому, кто не стремился стать частью среднего класса, не было никакого дела до театральных постановок Шекспира. И наоборот, всякий желающий повысить свой социальный статус должен был интересоваться шекспировскими пьесами, поскольку без знакомства с ними сдать прилично даже школьные экзамены было невозможно. В некоторых странах разрыв между образованными и необразованными слоями был настолько велик, что газеты выпускались как будто для жителей двух разных планет. Так было, например, в Великобритании, отличавшейся жесткостью социальной структуры.

Если же говорить о частностях, то небывалое распространение высшего образования обеспечило работой и аудиторией тех, чье творчество не пользовалось коммерческим успехом. Лучший пример тому — современная литература. Поэты преподают в университетах или колледжах. В ряде стран образ жизни университетских преподавателей и писателей сблизился до такой степени, что в результате в 1960-е годы возник новый литературный жанр — роман из жизни университетского кампуса. А поскольку эта жизнь была хорошо знакома большей части потенциальных читателей, новый жанр процветал. Помимо обычной для любого романа темы взаимоотношения полов в университетском романе описывались и более диковинные предметы: академические обмены, международные семинары, университетские слухи, сту-

денческий быт. Во всем этом, впрочем, был и отрицательный аспект. Появился особый спрос на литературные произведения, которые интересно разбирать на семинарах, а это в свою очередь вызвало к жизни тексты повышенной сложности и невразумительности. Авторы зачастую следовали примеру великого Джеймса Джойса, у поздних работ которого комментаторов было не меньше, чем увлеченных читателей. Поэты писали стихи для других поэтов или для студенческих семинаров. Университетские оклады, гранты и экзаменационные билеты сулили некоммерческой литературе если не процветание, то, во всяком случае, беззаботное существование. Увы, еще один побочный продукт прогресса академической науки несколько подорвал позиции этой разновидности искусства. Новоявленные схоласты попытались утвердить собственную независимость от предмета своего изучения, заявляя о том, что в любом тексте есть только то, что в него вкладывает читатель. По их словам, критик, интерпретирующий «Госпожу Бовари», является таким же полноправным автором романа, как и Флобер, или — поскольку роман до сих пор существует только благодаря прочтению других — даже в большей степени, чем сам Флобер. Подобные воззрения уже давно поощрялись авангардистами театра и кино, для которых Шекспир или Верди выступали прежде всего сырьем для их собственных смелых и подчас скандальных интерпретаций. Несмотря на отдельные успехи, подобные эксперименты в целом усиливали изоляцию «высокого» искусства, поскольку сводились к комментированию более ранних интерпретаций, до конца понятных только людям сведущим. Новая мода проникла даже в массовое кино; интеллектуальные режиссеры стремились демонстрировать свою эрудицию элите, способной воспринимать их аллюзии, в то время как для наивных масс (а также для кассовых сборов) отводились секс и насилие*.

Мы не знаем, как будущие историки культуры оценят достижения «высокого» искусства второй половины двадцатого века. Но они обязательно обратят внимание на упадок (по крайней мере, частичный) многих жанров, бурно развивавшихся в девятнадцатом веке или даже в первой половине двадцатого. Первой на ум здесь приходит скульптура. Если основной формой этого вида искусства считать памятники известным личностям, то после Первой мировой войны они практически не создаются; исключение являла разве что скульптура диктаторских режимов, но здесь, по всеобщему убеждению, количество отнюдь не переходило в качество. По сравнению с межвоенным периодом сдала свои позиции и живопись. В то время как составить список все-

* В частности, «Неприкасаемые» (1987) Брайана де Палмы, на первый взгляд гангстерский фильм про Чикаго времен Аль Капоне (на самом деле — стилизация под этот жанр), содержит явную аллюзию на фильм Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“», совершенно непонятную зрителям, не видевшим знаменитые кадры падения коляски с одесской лестницы.

мирно известных художников, работавших во второй половине двадцатого века, довольно сложно, назвать мастеров, творивших между двумя мировыми войнами, не составит особого труда. Сразу вспоминаются имена Пикассо (1881—1973), Матисса (1869—1954), Сутина (1894—1943), Шагала (1889—1985) и Руо (1871—1958) из «парижской школы», Клее (1879—1940), двух-трех русских и немецких художников, а также одного или двух испанских и мексиканских. Сравнится ли с этим подобный список конца двадцатого века — даже если включить в него «абстрактных экспрессионистов» нью-йоркской школы, Френсиса Бэкона и пару немцев?

Общий упадок классической музыки в какой-то мере компенсировался частым исполнением классических произведений. В международные или национальные репертуары вошло очень мало опер, написанных после 1950 года; в основном повторялись произведения композиторов, самые младшие из которых появились на свет в 1860 году. За исключением некоторых немецких и английских композиторов (Генце, Бриттена и еще двух или трех), оперы почти никто не писал. Американцы — например, Леонард Бернстайн (1918—1990) — избрали менее формальный жанр мюзикла. Симфонии теперь сочиняли в основном русские*. Между тем инструментальная симфония являлась самым значительным музыкальным достижением девятнадцатого века. Причем талантливых композиторов не стало меньше; просто они отказывались от традиционных форм творческого самовыражения, несмотря на непоколебимое преобладание последних на рынке «высокого» искусства.

Отход от традиционных для девятнадцатого века жанров характерен и для художественной прозы. Разумеется, романы, как и раньше, создавались, читались и покупались. Однако наиболее талантливые литературные произведения второй половины двадцатого века, описывающие все общество или целую историческую эпоху, рождаются на периферии западной культуры — исключение составляет разве что Россия, где роман (особенно в раннем творчестве Солженицына) является главным способом творческого переосмысления сталинизма. Традиционные романы создавались на Сицилии (например, «Леопард» Лампедузы), в Югославии (Иво Андрич, Мирослав Крлежа), в Турции и конечно же в странах Латинской Америки. Латиноамериканская проза, совершенно неизвестная в мире до начала 1950-х годов, вскоре получает международное признание. Роман, мгновенно покоривший читателей во всем мире, был написан в Колумбии, в стране, которую большинство образованных людей с трудом находили на карте — по крайней мере, до того, как ее название стало ассоциироваться с кокаином. Конечно же речь идет о романе «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса. А талантливая проза еврей-

* Прокофьев написал семь симфоний, Шостакович — пятнадцать и даже Стравинский — три. Вот только все это было написано (или задумано) в первой половине двадцатого века.

ских писателей многих стран, в особенности США и Израиля, стала отражением тяжелой травмы, нанесенной этому народу нацизмом.

Но упадок классических жанров «высокого» искусства и литературы явно нельзя объяснить отсутствием талантов. Конечно, мы не слишком много знаем о тех законах, которые регулируют распределение исключительных дарований в истории; однако следует, на мой взгляд, исходить из того, что первостепенную роль здесь играет не количественная динамика, но быстрая смена творческих мотиваций, а также форм и методов самовыражения. Вряд ли сегодняшние жители Тосканы менее одарены, чем флорентийцы эпохи Возрождения. Дело лишь в том, что современные люди искусства отказались от традиционных способов самовыражения, поскольку появились иные способы, более привлекательные или выгодные. Так, между двумя мировыми войнами для молодых композиторов-авангардистов, например Орика или Бриттена, было интереснее сочинять музыку к фильмам, а не струнные квартеты. Заметную часть живописи и графики с блеском заменила фотография; яркий пример тому — господство фотографии в мире моды. Роман с продолжением, в межвоенный период практически исчезнувший как жанр, в век телевидения возродился в виде телесериала. Фильмы, создание которых после развала голливудской системы «поточного производства» допускало большее самовыражение, заняли место романа и драмы, тем более что посещаемость кинотеатров неуклонно падала, а потенциальные зрители теперь оставались дома один на один с телевизором, а позже — с видеомэгнитофоном. На каждого ценителя театра, способного назвать по две пьесы пяти крупных современных драматургов, теперь приходилось пятьдесят любителей кино, знающих все популярные фильмы десятка известных режиссеров. И в этом нет ничего удивительного. Только престиж социального статуса, все еще связанного со старомодной «высокой» культурой, несколько замедлил упадок ее традиционных жанров*.

Классическая «высокая» культура переживала упадок еще по двум причинам. Во-первых, во второй половине двадцатого века во всем мире победило общество массового потребления. С начала 1960-х годов жителей развитых стран (и все большее число жителей урбанизированного третьего мира) с рождения до смерти окружала реклама — символы потребления и развлечения. Городская жизнь протекала под звуки коммерческой поп-музыки. А вот влияние «высокого» искусства, причем даже на самые культурные слои общества, стало в лучшем случае эпизодическим, особенно после того как обусловленный новыми технологиями триумф звука и образа заметно сократил влияние главного носителя «высокой» культуры — печатного слова. Большинство те-

* Блестящий французский социолог Бурдьё проанализировал функцию культуры как показателя классовых различий в своей книге «Разграничение» (*Bourdieu, «La Distinction», 1979*).

перь предпочитало развлекательную литературу: женщины читали любовные романы, мужчины — детективы, а в эпоху либерализации те и другие принялись за эротические и порнографические сочинения. Любителей серьезной литературы — людей, читавших не просто с целью повышения профессиональной квалификации или образовательного уровня, — становилось все меньше. И хотя благодаря небывалому распространению высшего образования число читающих в абсолютных цифрах выросло многократно, желание читать заметно ослабло даже в тех странах, где неграмотных — теоретически — вовсе не было. Печатная продукция уже не являлась единственным (помимо личного общения) источником информации об окружающем мире. С начала 1950-х годов даже дети из образованных слоев развитых стран Запада начинали читать далеко не так легко и естественно, как когда-то их родители.

Словом, отныне в потребительских обществах Запада доминировали не тексты священных книг (и не книги светских писателей), а торговые марки товаров и вообще всего, что продается. Популярные брэнды появлялись на футболках (или других предметах одежды) подобно волшебным заклинаниям, а их обладатели приобщались к стилю жизни (в основном молодежному), который те символизировали и причастность к которому обещали. В подобных обществах поклонялись «иконам» массового потребления — всевозможным «звездам» и прохладительным напиткам. Неудивительно, что в 1950-е годы, в самом сердце западной потребительской демократии, некогда ведущее направление живописи отступило перед творцами образов, гораздо более могущественных, нежели образы традиционного искусства. «Поп-арт» (Уорхол, Лихтенштейн, Раушенберг, Олденбург) с максимальной точностью и беспристрастностью воспроизводил визуальные вехи американского потребительства: банки из-под супа, флаги, бутылки кока-колы, портреты Мэрилин Монро.

Убогая с эстетической точки зрения (в смысле искусства девятнадцатого века), эта новая мода тем не менее подтверждала, что триумф массового рынка основывался на удовлетворении не только материальных, но и духовных потребностей покупателей. Рекламные агентства давно догадывались об этом, организуя кампании по продаже не отбивных, а «самого кулинарного искусства», не мыла, а «мечты о красоте», не супа быстрого приготовления, а «семейного счастья». В 1950-е годы стало ясно, что у массовой культуры имеется собственное эстетическое измерение, основанное на своеобразном «низовом» творчестве, иногда активном, но чаще все-таки пассивном. И производителям пришлось с этим считаться. Данное обстоятельство объясняет, в частности, барочные излишества американских автомобилей 1950-х годов. А в 1960-е годы социологи и литературоведы принялись активно исследовать феномены, ранее отрицаемые как «коммерческие» или эстетически «нулевые», — иначе говоря, все то, что привлекало женщин и мужчин с улицы

(*Banham, 1971*). Интеллектуалы старшего поколения, которых теперь все чаще причисляли к «элитистам» (это слово с энтузиазмом подхватили радикалы 1960-х), с презрением относились к «массам», считая их пассивными потребителями товаров, которые навязывает большой бизнес. Однако популярность в 1950-е годы рок-н-ролла (подростковое выражение, пришедшее из негритянских блюзов Северной Америки) ясно показывала, что массы и сами знали или, во всяком случае, смутно понимали, что им нравится. Компании звукозаписи, сделавшие огромные деньги на продаже рок-музыки, отнюдь не создали ее сами и никак не могли предугадать ее появление. Они просто позаимствовали ее на улице. Безусловно, от такого развития событий сама рок-музыка отнюдь не выиграла. Двигателями «искусства» (если слово «искусство» здесь вообще применимо) теперь считались сами обыватели, а не элита. Более того, по убеждению популистов (как «рыночников», так и отвергающих «элитизм» радикалов), важно было различать не «хорошее» и «плохое» или «сложное» и «простое», а «массовое» и «не слишком массовое». Для старомодной концепции искусства здесь не было места.

Еще более важной причиной упадка «высокого» искусства явился провал «модернизма», с конца девятнадцатого века утверждавшего неутилитарный характер творчества и обосновывавшего стремление художника к безграничной свободе. Постоянное обновление составляло саму основу этого понятия. Сторонники модернизма видели в развитии искусства постоянный прогресс — по аналогии с наукой и техникой. Из этого следовало, что сегодняшний стиль неизменно лучше стиля вчерашнего. Данное направление по определению относилось к авангарду. Термин *avant-garde* вошел в обиход критиков в 1880-е годы и обозначал меньшинство, которое мечтает завоевать внимание большинства, но на самом деле гордится, что пока этого не сделало. Вне зависимости от своей конкретной формы «модернизм» основывался на отрицании буржуазно-либеральных условностей девятнадцатого века в общественной жизни и в искусстве. Он стремился создать искусство, отвечающее революционному в технологическом и социальном отношении двадцатому веку, которому явно не подходили эстетика и стиль жизни эпохи королевы Виктории, кайзера Вильгельма и президента Теодора Рузвельта (см. *Эпоха империй*, гл. 9). В идеале обе задачи должны были совпасть: например, кубизм являлся отрицанием викторианского подхода к живописи и одновременно его альтернативой, так же как и коллекции «произведений искусства», отбираемые художниками по собственному желанию. Но на практике эти две задачи часто не совпадали; яркими примерами тому стали «писсуарные поиски» Марселя Дюшана и «искания» дадаистов. То было уже не искусство, а антиискусство. В идеале общественные ценности, осуществления которых художники-модернисты ожидали от двадцатого века, а также способы их выражения — слова, звуки, образы — должны были слиться воедино, как они

слились в архитектуре модерна, ориентированной на поиск форм, наиболее соответствующих социальной утопии. Но на практике форма и субстанция не были логически связаны. Почему, например, высотные здания «лучезарного города» (*cite radieuse*) Ле Корбюзье должны были иметь плоские, а не остроконечные крыши?

И все же, как мы уже видели, в первой половине двадцатого века модернизм продолжал развиваться. Никто пока не заметил слабости его теоретических оснований, тупики, задаваемые его формулами, еще не исследовались в должной мере (например, 12-тоновая музыкальная композиция или абстрактная живопись), а его целостность не разъедалась внутренними противоречиями и разломами. Творческие поиски авангарда и его социальные надежды подкреплялись опытом Первой мировой войны, всемирного экономического кризиса и ожидания мировой революции. Эпоха борьбы с фашизмом не способствовала рефлексии. Модернизм, если не брать работу промышленных дизайнеров и рекламных агентств, все еще ассоциировался с авангардом и оппозицией. Но в целом его торжество так и не состоялось.

В капиталистических странах он опережал победу над Гитлером. Модернизм в искусстве и архитектуре покорила США, заполнив картинные галереи и офисы крупных компаний полотнами «абстрактных экспрессионистов», а деловые кварталы американских городов — символами «интернационального стиля», длинными прямоугольными коробками, стоящими на боку, которые не столько скребли небо, сколько соревновались в высоте своих крыш. Такие здания могли быть очень изящными, как Сигрем-билдинг архитектора Л. Миса ван дер Роэ, или просто очень высокими, как здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В Европе, в чем-то следовавшей американской моде (которая теперь к тому же ассоциировалась с «западными ценностями»), модернизм становится господствующим фактором культурного пространства. В частности, в Великобритании, где он ранее пребывал в упадке, модернизм даже пережил возрождение.

И тем не менее с конца 1960-х наблюдается все более активное противодействие модернизму; в 1980-е эту тенденцию начали именовать «постмодернизмом». То было не столько «движение», сколько отрицание любых установленных критериев оценки и ценности искусства или даже самой возможности такой оценки. В архитектуре, где постмодернизм заявил о себе раньше всего, небоскребы увенчались чиппендейловскими фронтонами, причем, как ни странно, первым к ним обратился сам изобретатель термина «интернациональный стиль» Филип Джонсон (р. 1906). Теоретики архитектуры, которые раньше считали асимметричную линию Манхэттена образцом современного урбанистического пейзажа, принялись превозносить неструктурированный Лос-Анджелес, эту «пустыню» деталей без формы, рай (или ад) тех, кто «делает все по-своему». Если раньше архитектура развивалась под воз-

действием эстетических и моральных критериев, какими бы иррациональными они ни были, то теперь все изменилось.

Впрочем, архитектурные достижения авангарда в целом весьма значительны. С 1945 года было построено множество аэропортов, заводов, офисных зданий, общественных учреждений. Развитым странам чаще требовались музеи, университеты и театры, а развивающимся — городские кварталы. В 1960-е годы в различных уголках земного шара в этом стиле застраивались целые города. Модернизм наложил свой отпечаток даже на архитектуру социалистических стран, в которых благодаря новым технологиям стало возможным быстрое и дешевое жилищное строительство. В результате появилось много прекрасных зданий, даже шедевров архитектуры, а наряду с ними — немало зданий уродливых. А также — колоссальное количество обезличенных и враждебных человеку «коробок». Сравнение парижского искусства 1950-х и 1920-х годов ясно показывает, насколько живопись и скульптура после Второй мировой войны уступают своим аналогам межвоенного периода. Во второй половине двадцатого века искусство все более сводится к сериям довольно странных трюков, посредством которых художники старались добиться немедленного узнавания своей творческой манеры. То была вереница манифестов отчаяния и непричастности перед лицом заполнившего все культурное пространство неискусства, в котором захлебывались художники старого стиля (например, поп-арта, *art brut* Дюбюффе и т. п.). Здесь можно было также найти немыслимые каракули, всевозможный хлам или просто пошутки, низводящие до абсурда и нелепости (*ad absurdum*) то искусство, которое приобреталось из коммерческих соображений. Именно с такой целью некоторые художники венчали своей подписью груды кирпича и горку земли («минималистское искусство») или создавали настолько недолговечное произведение («перформанс»), что его никак нельзя было превратить в товар и купить.

Подобного рода авангардизм источал аромат тления. Будущее ему уже не принадлежало, хотя никто пока не знал, за кем оно останется. Авангардисты как никогда остро ощущали свою обособленность. На фоне революции в сфере восприятия и изображения, осуществленной делателями денег, богемные искания новых форм казались просто детской забавой. Что такое футуристическая имитация скорости на холсте по сравнению с настоящей скоростью? Ведь сегодня кто угодно может установить видеокамеру на подножку электровоза. Что такое электронные музыкальные эксперименты модернистов, проходившие в практически пустых залах, по сравнению с рок-музыкой, сделавшей электронный звук музыкой миллионов? И если все «высокое» искусство теперь пребывало в изоляции, то доля авангарда в этих «гетто» не только была незначительной, но и продолжала сокращаться. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить объемы продаж композиторов-авангардистов с

продажами музыкантов-классиков, например Шёнберга с Шопеном. С возникновением поп-арта даже абстракционизм, последний оплот модернизма в визуальных искусствах, утратил право на гегемонию. В искусстве вновь появляется предметность.

Следовательно, постмодернизм атаковал как набирающие силу, так и исчерпавшие себя жанры. Или, скорее, он выступил против любых форм искусства — и имевших общественное звучание (например, строительства), и во все не имевших такового (например, картин, которые продаются в частные руки). По этой причине его, в отличие от раннего авангардизма, нельзя свести только лишь к направлению в искусстве. Термин «постмодернизм» проник во многие сферы человеческой деятельности, не имеющие к искусству ни малейшего отношения. К началу 1990-х появились «постмодернистские» философы, социологи, антропологи, историки и т. д., которые никогда раньше не пользовались авангардистской терминологией, даже будучи порой причисляемыми к авангарду. Понятно, что литературная критика встретила новые веяния с энтузиазмом. Сначала всевозможные направления постмодернизма (деконструктивизм, постструктурализм и т. д.) завоевали огромную популярность в среде французской интеллигенции. Затем мода на постмодернизм достигла литературных кругов Америки, а оттуда распространилась на те социальные и гуманитарные науки, которые еще не были на тот момент затронуты его влиянием.

Все виды постмодернизма разделяли изначальный скептицизм в отношении существования объективной реальности или/и возможности постичь эту реальность посредством разума. Все они тяготели к радикальному релятивизму. Все бросали вызов миру, основанному на противоположных допущениях, т. е. миру, преобразованному наукой и техникой, а также идеологии прогресса, отражающей такое представление. Развитие этого странного, но вполне предсказуемого противостояния мы рассмотрим в следующей главе. В пределах более узкой сферы высокого искусства оно не казалось слишком уж острым. Ибо мы уже убедились (*Эпоха империй*, глава 9), что авангард раздвинул границы творчества (или, во всяком случае, границы того, что понималось под его конечным продуктом, который можно продать, сдать в аренду или еще каким-либо выгодным способом отделить от творца под видом «искусства») практически до бесконечности. За что постмодернизм действительно был ответственным, так это за провоцирование конфликта между теми, кого отталкивала «нигилистическая фривольность» новых направлений, и теми, кто считал, что «серьезное» отношение к искусству есть лишь пережиток прошлого. Что плохого, считали они, в изображении «отбросов цивилизации, прикрытых пластиком», которые столь сильно возмущали социального философа Юргена Хабермаса, последнего столпа знаменитой Франкфуртской школы? (*Hughes, 1988, p. 146*).

Таким образом, нельзя сказать, что влияние постмодернизма затронуло только искусство. Тем не менее термин «постмодернизм» не случайно вошел в более широкий обиход именно из этой сферы. Ведь сущностью авангарда стала попытка выразить то, что невозможно было выразить при помощи прежних изобразительных средств; он стремился по-новому отразить реальность двадцатого века. То была одна из двух «половинок» великой мечты нашего столетия — второй стал поиск путей радикальной трансформации этой реальности. Каждая из этих граней была по-своему революционной, обе имели дело с одним и тем же миром. Иногда они накладывались друг на друга, как, например, в 1880-е и 1890-е годы, а также в период между 1914 и 1945 годами, когда люди творчества зачастую делались революционерами и радикалами и в том, и в другом смысле — причем не всегда левыми по политическим убеждениям. Наконец, оба устремления в конечном счете провалились, хотя поиск новых путей отражения и преобразования реальности настолько сильно повлиял на историю двадцатого века, что это влияние еще долгие годы будет определять развитие общества.

При ретроспективном взгляде очевидно, что проект авангарда был обречен с самого начала. Это было обусловлено как его интеллектуальной непоследовательностью, так и тем способом культурного производства, который был принят в либерально-буржуазном обществе. Почти все авангардистские манифесты минувшего столетия отличались несоответствием целей и средств, поставленных задач и способов их разрешения. «Новое» отнюдь не обязательно должно означать полный отказ от «старого». Музыка, в которой умышленно используется атональность, не обязательно должна быть похожа на музыку Шёнберга, основанную на произвольной последовательности двенадцати тонов музыкального лада. Более того, такую последовательность нельзя считать единственным отличительным свойством серийной музыки и не всякая серийная музыка обязательно атональна. Кубизм, при всех его достоинствах, вообще не имеет никакой рациональной теории. Сам отказ от прежних методов и правил может быть таким же произвольным, как и выбор инноваций. Эквивалент модернизма в шахматах, так называемая школа «гипермодерна» 1920-х годов (Рети, Грюнфельд, Нимцович и др.), не стремилась изменить правила игры, как это предлагали некоторые другие школы. Она просто выступила против традиционных условностей («классической» школы Тарраша), используя парадоксальные подходы и методы: последователи этой школы любили оригинальные дебюты и предпочитали наблюдать за центром, а не завоевывать его. Многие поэты и писатели в своей области поступали точно так же. Они принимали какие-то традиционные приемы, например стихотворный размер и рифму, где это было необходимо, и отказывались от некоторых других правил стихосложения. Кафка был не менее «модернистским» писателем, чем Джойс, хотя его проза не столь авантюрна.

Даже в тех случаях, когда модернизм претендовал на интеллектуальное обоснование, например при описании современной «эпохи машин» или, позднее, компьютеров, это обоснование оказывалось чисто метафорическим. Как бы то ни было, попытка совместить «технологическое изготовление произведений искусства» (*Benjamin, 1961*) с прежней моделью индивидуальной творческой личности, зависимой только от собственного вдохновения, полностью провалилась. Творчество теперь стало процессом скорее коллективным, чем индивидуальным, и скорее технологичным, нежели ручным. Молодые французские кинокритики, которые в 1950-е годы разработали теорию кино как произведения единственного творца-режиссера, основываясь на популярных черно-белых голливудских фильмах 1930-х и 1940-х годов, выглядели совершенно нелепо. Ведь сотрудничество и разделение труда изначально лежат в основе деятельности людей, организующих вечерний кино- и телевизионный досуг или занятых в производстве любых других видов продукции для интеллектуального потребления — например, газет или журналов. Люди творчества, обратившиеся к средствам выражения двадцатого века, — а все эти средства имели прямое отношение к побочным продуктам массового потребления или являлись ими, — ни в чем не уступали художникам, придерживающимся классической буржуазной модели девятнадцатого века: они просто не могли более оставаться классическими творцами-одиночками. Их единственная непосредственная связь с предшественниками проходила через тот ограниченный сектор «высокого» искусства, в котором люди всегда творили группами, — через сцену. Если бы Акира Куросава (1910—1998), Лукино Висконти (1906—1976) или Сергей Эйзенштейн (1898—1948) — а это только три величайших режиссера двадцатого века, прошедших через школу театральных постановок, — решили творить в духе Флобера, Курбе или даже Диккенса, у них бы просто ничего не вышло.

Таким образом, по наблюдению философа Вальтера Беньямина, эпоха «технического изготовления» преобразила не только творческий процесс, превратив кино и его производные (телевидение и видео) в главный вид искусства двадцатого века, но и сам способ человеческого восприятия реальности и произведений искусства. Теперь к искусству приобщались отнюдь не посредством светской молитвы и поклонения, «храмами» для которых выступали музеи, картинные галереи, концертные залы и театры, типичные для буржуазной культуры девятнадцатого века. Последними оплотами старомодного потребления искусства оказались туризм, заполнивший музеи и картинные галереи иностранцами (а не соотечественниками, как прежде), и образование. Разумеется, приобщенных таким образом к искусству людей было больше, чем раньше. Но даже те из них, кто, растолкав толпу перед полотном «Весна» в галерее Уффици, застывал в немом восхищении, или кто не остался равнодушным к Шекспиру, которого пришлось читать к экзамену по

литературе, все-таки жили в гораздо более многообразном и многоцветном мире. Чувственные впечатления, даже идеи, наплывали на них со всех сторон — из газетных заголовков и рисунков, статей и рекламы, наконец, музыки из наушников, а глаза между тем пробегают страницу, и все это — при одновременном воздействии образа, голоса, печатного слова и звука. И все это — поверхностно, пока вдруг что-то не привлечет к себе особое внимание. Горожане уже давно подобным образом воспринимали улицу, на которой еще со времен романтизма проходили народные ярмарки и представления. Новизна заключалась в том, что благодаря современным технологиям повседневная частная и общественная жизнь до отказа наполнилась проявлениями искусства. Эстетический опыт стал теперь чем-то неизбежным; «произведения искусства» растворились в потоках слов, звуков и образов, превратившись в универсальное пространство того, что когда-то называли искусством.

Но уместно ли в таком случае вообще называть все это многообразие «искусством»? Поклонники «высокого» искусства находят его проявления и сегодня, хотя в развитых странах остается все меньше произведений, созданных индивидуальными творцами. Та же участь постигла вообще все продукты творчества, не предназначенные для массового воспроизводства, за исключением разве что архитектуры. Можно ли сегодня в принципе оценивать искусство, исходя из критериев буржуазной цивилизации девятнадцатого века? И да, и нет. Ведь творчество никогда не оценивалось по хронологическому принципу, а произведение искусства не считалось лучше только оттого, что принадлежало к прошлому, как думали мастера Возрождения, или настоящему, как полагали авангардисты. В конце двадцатого века, когда искусство занялось обслуживанием экономических интересов потребительского общества, авангардистские критерии были доведены до абсурда: ведь предприниматели извлекали прибыль из кратких циклов моды или мгновенной продажи предметов массового потребления для интенсивного, но кратковременного использования.

С другой стороны, в искусстве сохранялась необходимость отличать глубокое от тривиального, хорошее от плохого, профессиональное от любительского. Это стало тем более необходимо, что некоторые исследователи отрицали подобные различия, полагая, будто единственным критерием оценки искусства является объем продаж, а всякие попытки провести подобное размежевание грешат элитизмом. По мнению постмодернистов, объективных критериев оценки прекрасного вообще нет. При этом только идеологи искусства и бизнесмены осмеливались высказывать столь абсурдные взгляды публично, причем в своей частной жизни они, как правило, чувствовали грань между добром и злом. В 1991 году один процветающий британский ювелир вызвал скандал, заявив на деловой конференции, что делает деньги, продавая всякую дребедень людям, которым не хватает вкуса купить что-нибудь

стоящее. Вот он, в отличие от теоретиков постмодернизма, прекрасно понимал, что оценка качества является неотъемлемой частью жизни.

Но если мы все-таки вправе выносить исторические оценки, уместно ли это в сегодняшнем урбанизированном мире, где все сложнее отделить друг от друга искусство и быт, сокровенные переживания и их публичные проявления, работу и отдых? Или, скорее, уместны ли подобные оценки за стенами специализированных учреждений — школ, университетов и научных институтов, последнего прибежища традиционного искусства? Ответить на этот вопрос достаточно сложно, поскольку сама попытка сделать это (или хотя бы сформулировать вопрос) уже имплицитно содержит в себе ответ. В принципе можно написать историю джаза или проанализировать его творческие открытия, исходя из критериев оценки классической музыки. Но при этом придется учесть значительные различия, касающиеся социальной среды, материальных затрат и аудитории. А вот можно ли применять традиционные критерии оценки к рок-музыке, уже не совсем ясно, хотя она также берет свое начало от блюза черных американцев. С одной стороны, творческие достижения и превосходство над современниками Луи Армстронга и Чарли Паркера не вызывают сомнений. Но с другой стороны, человеку, плохо знакомому с современной музыкой, сложно выделить отдельную рок-группу в мощном звуковом потоке, захлестнувшем музыкальное пространство последних сорока лет. Голос Билли Холлидей еще волнует слушателей, родившихся через много лет после ее смерти. Но могут ли быть сегодня у группы «Rolling Stones» такие же страстные поклонники, как в 1960-е годы? Или увлечение определенными звуковыми и визуальными образами основано прежде всего на ассоциациях? Может быть, дело не в том, что музыка прекрасна сама по себе, а в том, что это «наша музыка»? Впрочем, все это достаточно сложно. К тому же сегодня еще рано говорить о роли и принципах выживания искусства в двадцать первом веке.

А вот в научной сфере ситуация складывалась несколько по-иному с самого начала.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Маги и их ученики: естественные науки во второй половине двадцатого века

Вы думаете, в современном мире есть место философии?

Разумеется, есть, но только когда философия основана на последних достижениях науки ⟨...⟩ Философия не должна противопоставлять себя науке. Ведь наука не только значительно расширила и преобразила наши представления о мире и человеке — она радикально изменила правила игры человеческого разума.

Клод Леви-Стросс (1988)

Автор работы по газовой динамике, написанной при поддержке фонда Гуггенхайма, заявил, что задачи его исследования были в основном продиктованы нуждами военной промышленности. С этой точки зрения подтверждение следствий общей теории относительности Эйнштейна является просто увеличением «точности баллистических ракет за счет объяснения незначительных гравитационных эффектов». Иначе говоря, после Второй мировой войны физики вплотную занялись проблемами, имеющими практическое военное значение.

Маргарет Жакоб (1993, р. 66—67)

I

Никогда раньше наука не развивалась столь бурно, а повседневная жизнь не была столь зависима от научно-технического прогресса, как в двадцатом веке. Но ни в одну историческую эпоху после отречения Галилея человек не находился в более сложных отношениях с наукой. А значит, историку двадцатого века придется искать объяснение этому парадоксу. Но для начала необходимо рассмотреть указанный феномен более детально.

В 1910 году общее количество немецких и британских физиков и химиков составляло около восьми тысяч. К концу 1980-х годов во всем мире число уче-

ных и инженеров, занятых в различного рода исследовательских проектах, достигло пяти миллионов. Около миллиона ученых проживало в США, ведущей научной державе, и несколько больше — в Европе*. При этом даже в развитых странах относительное число ученых оставалось незначительным. А вот абсолютное число выросло весьма существенно — с 1970 года оно увеличилось (даже в развитых странах) примерно в два раза. К концу 1980-х годов ученые образовали своего рода «вершину айсберга» научно-технических кадров, порожденных невиданной революцией в образовании второй половины двадцатого века (см. главу 10). Ученые составляли около 2% всего населения земного шара и примерно 5% населения США (UNESCO, 1991, Table 5.1). «Пропуском» в академический мир являлась защита кандидатской диссертации, ставшей критерием принадлежности к научной среде. В 1980-е годы в развитых странах Запада в год в среднем защищалось 130—140 таких диссертаций на миллион жителей (Observatoire, 1991). Даже наименее социально ориентированные развитые страны выделяли на научные исследования астрономические суммы (в основном из общественных фондов). Ведь до начала 1980-х годов только США имели возможность в одиночку проводить дорогостоящие фундаментальные исследования.

Появились и некоторые новшества. В частности, хотя 90% научных работ (число которых удваивалось каждые два года) публиковались на четырех основных языках — английском, русском, немецком и французском, — европейская наука в двадцатом веке пришла в упадок. В «эпоху катастроф», и особенно в период краткого триумфа фашизма, центр тяжести научных исследований переместился в США, где он пребывает и поныне. Если с 1900 по 1933 год американским ученым было присуждено только семь Нобелевских премий за открытия в области естественных наук, то с 1933 по 1970 — уже семьдесят семь. Некоторые страны, изначально являвшиеся поселениями европейских колонистов, — например, Канада, Австралия и еще недостаточно оцененная Аргентина** — также стали центрами независимых научных исследований. Ряд других стран (например, Новая Зеландия и ЮАР) по территориальным или политическим соображениям приглашали исследователей из-за рубежа. Количество ученых значительно выросло и за пределами Европы — в частности, в странах Восточной Азии и в Индии. До 1945 года только одному ученому из стран Азии была присуждена Нобелевская премия за открытия в области естественных наук (Ч. Раман — премия по физике, 1930 год). После 1946 года премии получили уже более десяти ученых из Японии, Китая, Индии и Пакистана. Но и этот небывалый рост числа премий не дает полной картины

* Еще больше ученых (около 1,5 миллиона) насчитывал бывший СССР. Впрочем, возможно, советских ученых нельзя приравнивать к ученым других стран.

** Три Нобелевские премии за открытия в области естественных наук с 1947 года.

развития науки в странах Азии. Таким же образом количество Нобелевских премий, присужденных американским ученым до 1933 года, лишь косвенно свидетельствовало об успехах науки в США. Но наряду с этим в конце двадцатого века абсолютное и особенно относительное число ученых ряда стран оставалось достаточно низким. Речь идет прежде всего о странах Африки и Латинской Америки.

Необходимо также отметить, что не менее трети лауреатов Нобелевской премии из стран Азии проживали в США (двадцать семь американских лауреатов Нобелевской премии — иммигранты в первом поколении). Тем временем мир становился все более глобальным. Ученые теперь говорили на одном языке и использовали единую методологию. В результате научные исследования парадоксальным образом сконцентрировались в нескольких центрах, обладающих необходимыми финансовыми возможностями. Эти центры в основном находились в высокоразвитых и богатых странах — прежде всего в США. В «эпоху катастроф» талантливые ученые покидали Европу по политическим соображениям. После 1945 года ученые иммигрировали из бедных стран в богатые уже по экономическим причинам*. Все это вполне естественно, поскольку с начала 1970-х годов доля расходов развитых капиталистических стран на науку составляла три четверти общемировых расходов в этой области. Для сравнения: бедные («развивающиеся») страны тратили на науку не более 2—3% (*UN World Social Situation, 1989, p. 103*).

Но и в развитых странах научные центры располагались достаточно компактно. Это произошло отчасти из-за концентрации ресурсов и исследователей (повышавшей эффективность научной деятельности), а отчасти из-за возникновения иерархии или, скорее, олигархии научных учреждений. Олигархия появилась благодаря небывалому распространению высшего образования в двадцатом веке. В 1950-е и 1960-е годы половина кандидатских диссертаций в США защищались в пятидесяти наиболее престижных университетах. В эти университеты постепенно приезжали работать самые талантливые молодые ученые. В мире демократии и популизма ученые являлись элитой, сконцентрированной в нескольких научных центрах, получавших необходимое финансирование. Ученые как вид тяготели к образованию групп, поскольку общение — потребность обсуждать свою работу — было важнейшей составляющей их деятельности. Со временем научная деятельность становилась все более непонятной для неученых. Неученые в свою очередь отчаянно пытались разобраться в проблемах современной науки. Для этого существовало огромное число научно-популярных работ (которые иногда писали да-

* Временная «утечка мозгов» из США наблюдалась разве что во времена маккартизма. Стоит отметить значительные точечные «утечки» по политическим соображениям из стран советской сферы влияния (Венгрия 1956-го, Польша и Чехословакия 1968-го, Китай и СССР в конце 1980-х), а также непрекращающуюся эмиграцию ученых из Восточной в Западную Германию.

же крупные ученые). Интересно, что с ростом специализации уже сами исследователи требовали от научных статей не только изложения результатов, но и подробного их объяснения.

Значение научных открытий для всех сфер человеческой деятельности в двадцатом веке очень велико. Но фундаментальная наука, т. е. знание, не выводимое из непосредственного опыта и не подлежащее использованию и пониманию без долгих лет обучения (завершающегося эзотерической аспирантурой), до конца девятнадцатого века не имела широкого практического применения. При этом уже в семнадцатом веке физика и математика руководили инженерной мыслью. К середине Викторианской эпохи работа промышленности и средств связи опиралась на открытия в области химии и электричества конца восемнадцатого и начала девятнадцатого века. Научные исследования считались необходимым условием развития новых технологий. В девятнадцатом веке новые технологии, основанные на научных достижениях своего времени, получили достаточно широкое распространение. Но практики того времени не очень хорошо представляли себе, как использовать передовые научные теории. Разве что, когда представлялся случай, они превращали теории в идеологию. Так было с законами Ньютона в восемнадцатом веке и с теорией Дарвина — в девятнадцатом. При этом во многих сферах своей деятельности человек все еще руководствовался только опытом, экспериментом, навыками, просвещенным здравым смыслом и, в лучшем случае, результатами систематического распространения знаний о передовых на тот момент научных методах и технологиях. Так обстояли дела в сельском хозяйстве, строительстве и медицине, а также во многих других областях человеческой деятельности, обеспечивавших необходимые повседневные нужды или потребность в роскоши.

Но примерно в 1970-х годах происходят значительные изменения. В «эпоху империй» на практике начинают применяться не только научные открытия прошлого (благодаря которым были созданы, например, автомобили, самолеты, радио и кино), но и современные научные теории — в частности, теория относительности, квантовая теория и генетика. Самые эзотерические и революционные научные открытия теперь мгновенно находят практическое применение. Примером тому служат такие изобретения, как беспроводный телеграф или рентген, созданные благодаря научным открытиям конца девятнадцатого века. Фундаментальная наука «короткого двадцатого века» появилась еще до 1914 года, и высокие технологии были в ней заложены с самого начала. (Впрочем, во многих уголках земного шара даже во второй половине двадцатого века в повседневной жизни люди прекрасно обходились без достижений современной науки.)

Так обстоят дела и сегодня. Как мы уже видели в главе 9, высокие технологии, основанные на результатах современных фундаментальных исследова-

ний, вызвали экономический бум второй половины двадцатого века — и не только в развитых странах. Без новейших открытий генетики Индия и Индонезия не сумели бы обеспечить продуктами питания быстро растущее население своих стран. К концу двадцатого века в сельском хозяйстве и медицине стали широко использоваться достижения биологии. И все эти порожденные фундаментальными открытиями высокие технологии были совершенно непонятны для рядовых граждан даже наиболее развитых стран. Теперь едва ли несколько десятков или, в лучшем случае, сотен человек на всем земном шаре с самого начала понимали возможное практическое применение какого-либо научного открытия. Когда в 1938 году немецкий физик Отто Ган открыл деление атомного ядра, даже наиболее сведущие в этой области ученые, в частности великий Нильс Бор (1885—1962), сомневались, что у этого открытия может быть практическое применение в мирное или военное время — по крайней мере, в ближайшем будущем. И если бы физики, догадавшись, как использовать деление ядра на практике, не поделились своими соображениями с военными и политиками, те так и остались бы в неведении. Ведь чтобы понять значение этого открытия, требовалась кандидатская степень по физике, а для политиков это маловероятно. Знаменитая работа Алана Тьюринга 1935 года, заложившая основы современной компьютерной теории, по сути являлась умозрительным исследованием по математической логике. В годы Второй мировой войны Тьюринг и некоторые другие ученые получили возможность извлечь практическую пользу из этой теории, применив ее для дешифровки. Но когда работа Тьюринга была опубликована, ее прочитало всего несколько математиков и никто не обратил на нее внимание. Даже в своем собственном колледже этот неуклюжий и бледный гений, в то время младший научный сотрудник и любитель оздоровительных пробежек (после своей смерти Тьюринг стал культовой фигурой в гомосексуальной среде), не пользовался особым уважением — по крайней мере, я ничего такого не припомню *. Но даже в тех случаях, когда ученые решали проблемы общемирового значения, только горстка интеллектуалов могла разобраться в специфике их деятельности. В частности, автор этой книги работал в Кембридже в то

* Тьюринг покончил жизнь самоубийством в 1954 году из-за обвинений в гомосексуализме. Гомосексуализм в то время рассматривали как преступление и патологическое состояние одновременно. Считалось, что от него можно избавиться при помощи медицинских или психологических методов. Тьюринг не вынес принудительного «лечения». Он стал не столько жертвой криминализации гомосексуальности в Великобритании до 1960-х годов, сколько жертвой неспособности примириться с собой. Его наклонности не создавали ему никаких проблем ни в школе, ни в Королевском колледже в Кембридже, ни в компании эксцентриков в Битчли, где он во время войны занимался дешифровкой перед переездом в Манчестер. Только человек, совершенно беспомощный в бытовых вопросах, мог сообщить в полицию, что его ограбил очередной любовник. В результате полиция задержала сразу двух преступников.

время, когда Крик и Уотсон занимались расшифровкой структуры ДНК (двойной спирали). Это открытие было немедленно признано одним из наиболее значительных научных прорывов века. И хотя я был лично знаком с Криком, ни я, ни большинство других сотрудников Кембриджа и не подозревали об этих невероятных исследованиях. А между тем открытие вызревало всего в нескольких десятках метров от нашего колледжа, в лабораториях, мимо которых мы с коллегами ходили каждый день, и в пабах, где мы пили пиво. И дело даже не в том, что нас не интересовали подобные проблемы. Просто те, кто этим занимался, не считали нужным нам о них рассказывать. Ведь мы ничем не могли им помочь и даже не сумели бы правильно оценить их трудности.

Во второй половине двадцатого века самые сложные и непостижимые научные открытия практически сразу превращались в технологии. В частности, изобретение транзистора (1948 год) явилось побочным продуктом исследований в области физики твердого тела, а точнее, электромагнитных свойств анизотропных кристаллов (через 8 лет исследователи получили Нобелевскую премию по физике). Лазер (1960) появился не в результате исследований по оптике, а в процессе работы над созданием вибраций молекул в резонансе с электрическим полем (*Bernal, 1967, p. 563*). Создатели лазера в свою очередь получили Нобелевские премии по физике, так же как и — с большим опозданием — советский ученый (работавший также в Кембридже) Петр Капица (1978). Капице была присуждена Нобелевская премия за исследования в области низкотемпературной сверхпроводимости. Во время Второй мировой войны американцы и англичане поняли, что значительная концентрация ресурсов может в рекордно короткие сроки решить самые сложные технологические проблемы*. После войны это переросло в соперничество высоких технологий — какими бы дорогостоящими ни являлись подобные проекты. Соперничество велось прежде всего в военной сфере, а также в некоторых других областях, повышавших национальный престиж (в частности, в сфере космических исследований). В итоге повысился интерес к практическому применению результатов любых фундаментальных исследований. Ведь фундаментальная наука, как оказалось, обладает значительным практическим потенциалом. Яркий пример тому — использование лазеров. Лазеры появились в 1960 году в результате лабораторных исследований, а уже к началу 1980-х началась продажа компакт-дисков. Биотехнологии нашли еще более широкое практическое применение. Комбинирование ДНК, т. е. комбинирование генов одного вида с генами другого вида, было впервые опробовано на

* Теперь более или менее ясно, что нацистской Германии не удалось создать атомную бомбу не потому, что немецкие ученые не знали, как ее создать, или не пытались это сделать, а потому, что немецкая военная машина не пожелала выделить на эти цели необходимые ресурсы. Немцы отказались от этой идеи и сконцентрировались на разработке менее дорогостоящих ракет, что обещало быструю отдачу.

практике в 1973 году. Через двадцать лет биотехнологии превратились в наиболее финансируемую область медицины и сельского хозяйства.

Благодаря колоссальному росту информационного потока научные открытия все быстрее превращались в технологии. И люди стали использовать высокие технологии, совершенно не понимая принципов их работы. Образцом современного высокотехнологичного устройства являлся набор кнопок (или клавиатура) с полной «защитой от дурака». Достаточно нажать несколько кнопок — и запускается независимый, самообучающийся и по возможности самостоятельный технологический процесс. Ограниченных и ненадежных навыков или интеллектуальных способностей обычного человека уже не требуется. И действительно, подобные устройства были часто запрограммированы на то, чтобы целиком и полностью обходиться без человеческого вмешательства. Участие человека требовалось только в случае ошибок в работе механизма. Типичный пример подобного снижения роли «человеческого фактора» — кассы супермаркетов 90-х годов двадцатого века. Кассиру нужно лишь определить номинал банкнот и монет местной валюты и ввести в кассовый аппарат количество покупаемых товаров. Автоматический сканер переводит код покупки в ее стоимость, суммирует стоимость всех товаров, вычитает ее из суммы банкнот, предложенных покупателем, и сообщает кассиру сумму сдачи. Технологический процесс, стоящий за этими операциями, чрезвычайно сложен и основан на согласованной работе тонкого оборудования и сложного программирования. Но при отсутствии поломок для работы на этом высокотехнологичном чуде двадцатого века от кассира требуется только умение различать количественные числительные, внимательность и развитая способность целенаправленно бороться со скукой. Даже грамотность не является обязательной. Для большинства кассиров безличные силы, сообщающие покупателю, что сумма покупки составляет 2 фунта 15 пенсов, а кассиру — что сумма сдачи с банкноты достоинством в 10 фунтов составляет 7 фунтов 85 пенсов, совершенно неинтересны и непонятны. Для работы на кассовом аппарате не нужно знать его устройство. «Ученики магов» перестали страшиться своего невежества.

Работа кассира в супермаркете наглядно иллюстрирует практический аспект взаимоотношений человека и машины конца двадцатого века. Для работы с чудесами современной техники нам больше не требуется их понимать или изменять, даже если известно, как они устроены. Кто-то другой сделает или уже сделал это за нас. Мы даже можем считать себя специалистами в определенной области — если сумеем починить, спроектировать или сконструировать какой-либо механизм. Но перед большинством других высокотехнологичных механизмов мы остаемся невежественными и неумелыми обывателями. И даже если мы понимаем устройство того или иного механизма и положенные в его основу научные принципы, теперь это совершенно излиш-

не. Игроку в покер не нужно знать технологический процесс производства карт. Офисный служащий, отправляющий факс, совершенно не представляет, почему некий аппарат в Лондоне воспроизводит текст, введенный в другой такой же аппарат в Лос-Анджелесе. Чтобы отправить факс, не нужно быть специалистом в области электроники.

Наука конца двадцатого столетия через насыщенную высокими технологиями ткань повседневности ежечасно являла миру свои чудеса. Наука сделалась такой же необходимой и вездесущей, как Аллах для правоверного мусульманина. Ведь даже в самых удаленных уголках земного шара теперь использовались транзисторные радиоприемники и электронные калькуляторы. Точно неизвестно, когда способность науки добиваться сверхъестественных результатов вошла в коллективное сознание урбанизированных слоев промышленно развитых стран. Но это произошло никак не позже взрыва первой атомной бомбы в 1945 году. И именно в двадцатом веке наука изменила мир и наше представление о нем.

Как и следовало ожидать, научные достижения двадцатого века способствовали распространению определенных идеологий. Ведь наука прежде всего демонстрирует могущество человеческого разума (в девятнадцатом веке научные достижения также привели к торжеству ряда светских идеологий). В двадцатом веке ожидалось ослабление сопротивления науке со стороны традиционных религиозных учений, этого оплота борьбы с наукой в девятнадцатом веке. Но в двадцатом веке не просто снизилось значение традиционных религий, как мы увидим это в дальнейшем. В развитых странах религиозная практика стала не менее зависима от научно-технического прогресса, чем любая другая сфера человеческой деятельности. Еще в начале двадцатого века епископ, имам или праведник проповедовали так, словно Галилей, Ньютон, Фарадей или Лавуазье никогда не существовали — ведь в то время можно было обходиться исключительно технологиями пятнадцатого века. Даже технологии девятнадцатого века не были несовместимы с теологией или священными текстами. Но закрывать глаза на конфликт между наукой и Священным Писанием в эпоху, когда Ватикан использует спутниковую связь или устанавливает подлинность Туринской плащаницы при помощи метода радиоуглеродной датировки; когда речи ссыльного аятоллы Хомейни распространяются в Иране на аудиокассетах; когда мусульманские страны обзаводятся ядерным оружием, — уже гораздо сложнее. Использование достижений научно-технического прогресса достигло невиданных ранее масштабов. Например, в Нью-Йорке *fin de siècle* продажу высокотехнологичных электронных или фототоваров в основном контролируют хасиды. Хасидизм — ответвление восточного мессианского иудаизма, известного (помимо строгой приверженности ритуалам и национальному костюму польских евреев восемнадцатого века) своим убеждением в превосходстве экзальтированных эмоций над

рациональным мышлением. Верховенство науки было отчасти официально признано. Ортодоксальные протестанты в США, отвергавшие эволюционизм как противоречащий Священному Писанию (где сказано, что мир в его современном виде был создан за шесть дней), требовали, чтобы учение Дарвина было исключено из школьной программы или, во всяком случае, сопровождалось изучением «науки о сотворении мира».

И тем не менее отношения человека с наукой в двадцатом веке можно назвать весьма непростыми, хотя наука являлась величайшим достижением человека и человек теперь зависел от науки. Наука развивалась на фоне вспышек подозрительности и страха, иногда перераставших в яркое пламя ненависти и неприятия. И на этом неопределенном пространстве между наукой и антинаукой, среди ищущих Истину в абсурде и пророков мира фикций, во второй половине двадцатого века бурно развивается англо-американский литературный жанр — фантастика. Жанр фантастики был предвосхищен Жюлем Верном (1828—1905), а его родоначальником еще в конце девятнадцатого века стал Герберт Уэллс (1866—1946). Более легкомысленная фантастика (в основном популярные космические теле- и киновестерны), с космическими капсулами вместо лошадей и смертоносными лучами вместо шестимиллиметровых кольтов, продолжала традицию фантастических приключений — с антуражем в стиле хай-тек. Более серьезная фантастика второй половины двадцатого века придерживалась менее оптимистического или, во всяком случае, неоднозначного взгляда на человечество и его будущее.

Противники науки, относившиеся к ней со страхом и подозрением, выдвигали четыре основных аргумента: наука слишком сложна для понимания; ее практические и моральные следствия непредсказуемы и, возможно, губительны; наука подчеркивает беспомощность человека; она подрывает авторитет власти в обществе. Кроме того, наука опасна по самой своей природе, поскольку вмешивается в естественный порядок вещей. Первые два аргумента выдвигались как учеными, так и обычными людьми; последние два разделяли только непосвященные. Обычные люди боролись с ощущением собственного бессилия, выискивая необъяснимые с точки зрения современной науки феномены. Как сказал Гамлет, «много в мире есть того, что вашей философии не снилось» (перевод Б. Пастернака). Обычные люди принципиально отказывались признавать, что эти феномены когда-нибудь будут объяснены официальной наукой, и верили в необъяснимое в основном из-за его абсурдности. Ведь в непредсказуемом и не подлежащем познанию мире все кажутся одинаково беспомощными. Чем значительнее прогресс науки, тем пронзительнее тоска по всему необъяснимому. После Второй мировой войны (кульминацией которой стало испытание атомной бомбы) американцы (1947), а затем и перенимавшие их культурную моду англичане начали отмечать многочисленные появления «неопознанных летающих объектов». Все это явно вдох-

новлялось фантастической литературой. НЛО якобы принадлежали внеземным цивилизациям, отличным от нашей и превосходящим ее. Самые настойчивые наблюдатели видели существ странной формы, выходящих из «летающих тарелок», а одному или двум землянам даже посчастливилось в летающих тарелках прокатиться. Появление НЛО отмечалось по всему миру, но дистрибутивная карта приземлений инопланетян выявила бы явное предпочтение, оказываемое Соединенным Штатам и Великобритании. Скептицизм в отношении существования НЛО объяснялся завистью недалеких ученых, не способных разобраться в феноменах, превосходящие их ограниченные способности, или даже заговором тех, кто специально держит обычных людей в интеллектуальном рабстве, скрывая от них высшую мудрость.

И это была не просто вера в магию и чудеса. Такая вера характерна для традиционных обществ, где сверхъестественное вмешательство в реальность—дело привычное. Сверхъестественное вмешательство вызывает у традиционного сознания меньше удивления, чем, например, появление в небе самолета или телефонный разговор. Вера в необъяснимое не была и постоянным человеческим изумлением перед жуткими, непонятными и удивительными явлениями. (Стоит только вспомнить об огромном количестве популярной литературы, появившейся после изобретения книгопечатания, от старинных пространных гравюр на дереве до современных глянцевого журналов из супермаркетов.) Вера в необъяснимое являлась прежде всего свидетельством полного неприятия науки. Враждебное отношение к науке иногда носило вполне осознанный характер. Например, американские маргинальные правозащитники яростно протестовали против добавления в питьевую воду фтора. (Обнаружилось, что при добавлении в воду этого элемента значительно сокращается заболеваемость кариесом.) Ожесточенная борьба велась не только во имя свободы выбора, но и—со стороны наиболее радикальных групп—против якобы существовавшего гнусного замысла нанести вред здоровью людей посредством обязательной интоксикации. Здесь неприятие науки как таковой слилось со страхом перед ее практическими последствиями. Стэнли Кубрик ярко продемонстрировал это в своем фильме «Доктор Стрейнджлав» (1964).

Росту страха перед наукой способствовала и свойственная американской культуре болезненная мнительность. Ведь повседневная жизнь теперь была заполнена продуктами современных технологий (включая медицинские) с присущим им риском. Благодаря необъяснимой страсти американцев разрешать все разногласия в судебном порядке мы имеем возможность ознакомиться с этими страхами более подробно (*Huber, 1990, p. 97—118*). Приведет ли использование спермицидной мази к патологии развития плода? Опасны ли линии электропередач для здоровья живущих по соседству людей? Пропасть между экспертами, обладающими хоть каким-то критерием оценки, и

обычными людьми, у которых были только страх и надежда, становилась все непреодолимей. Эксперты могли рассудить, что незначительная степень риска — вполне приемлемая плата за замечательные достижения. Обычные люди по вполне понятным причинам стремились к нулевому риску (по крайней мере, в теории) *.

Все это был страх перед всеобъемлющей, необъяснимой мощью науки. Степень страха и его направленность менялись с изменением взглядов человека на природу и общество (*Fischhof et al., 1978, p. 127—152*) **.

Однако в первой половине двадцатого века науке в основном угрожали не те, кто чувствовал себя униженным ее безграничным и бесконтрольным могуществом, а те, кто считал, что в силах контролировать науку. Два политических режима двадцатого века (речь здесь не идет о нескольких случаях религиозного фундаментализма) из принципа вмешивались в научные исследования. При этом они являлись истыми приверженцами безграничного научно-технического прогресса и, в одном случае, идеологии, которая идентифицировала научно-технический прогресс с «наукой» и приветствовала покорение природы разумом. И между тем советский сталинизм и немецкий национал-социализм отвергали науку даже в тех случаях, когда пользовались ее плодами. Для этих режимов совершенно неприемлемым было то, что наука подвергала сомнению их идеологические установки и априорные истины.

По той же причине эти режимы находились в сложных отношениях с физикой. Идеологи нацизма отвергали физику как «еврейскую», а советские идеологи — как недостаточно «материалистическую» в ленинском смысле слова. Но оба режима вынуждены были использовать открытия физики на практике, поскольку промышленность уже не могла без них обходиться. При этом национал-социалисты лишили себя цвета европейской научной мысли, отправив в изгнание евреев и идеологических оппонентов. Германия разрушила свою научную базу и подорвала существовавший в начале двадцатого века немецкий приоритет в этой области. Между 1900 и 1933 годами 25 из 66 Нобелевских премий по физике и химии были присуждены немецким уче-

* Разница между убеждениями и поведением в этой области огромна. Например, люди, не отстающие перед более серьезным и бесспорным риском (например, при управлении машиной на шоссе или при поездке в нью-йоркском метро), иногда отказываются принимать аспирин на том основании, что он в некоторых редких случаях обладает рядом побочных эффектов.

** Эксперты так оценили степень риска и преимущества следующих двадцать пяти технических изобретений (в порядке убывания преимуществ и возрастания риска): холодильники, ксероксы, контрацептивы, подвесные мосты, атомная энергия, компьютерные игры, рентген, ядерное оружие, компьютеры, вакцинация, фторирование воды, солнечные батареи, лазеры, транквилизаторы, фотоаппараты Polaroid, электроэнергия, получаемая при сжигании ископаемого топлива, моторные транспортные средства, кинематографические спецэффекты, пестициды, опиаты, консерванты, операции на сердце, коммерческая авиация, генная инженерия и ветряные мельницы (*Wildavsky, 1990, p. 41—60*).

ным. После 1933 года немецкие ученые получали только одну из десяти Нобелевских премий за открытия в области естественных наук. Кроме того, у сталинизма и немецкого фашизма сложились непростые отношения с биологией. Расистская политика фашистской Германии ужасала серьезных генетиков, которые (в основном из-за неприятия расистской евгеники) уже после Первой мировой войны дистанцировались от генетической селекции человека, подразумевавшей уничтожение «слабых». К сожалению, среди немецких биологов и медиков нашлось и немало сторонников расизма (*Proctor, 1988*). Советский сталинизм в свою очередь находился в сложных отношениях с генетикой. Причиной тому являлись официальные идеологические установки, в частности убежденность властей, что при достаточных усилиях возможны любые изменения. Но советские биологи считали, что к эволюции в целом и к сельскому хозяйству в частности такой подход неприменим. В других обстоятельствах спор биологов-эволюционистов, сторонников Дарвина (считавших, что по наследству передаются только видовые признаки), и сторонников Ламарка (считавших, что по наследству передаются и приобретенные признаки) решался бы на научных семинарах и в лабораториях. Большинство советских ученых высказались за теорию Дарвина, хотя бы потому, что не было найдено убедительных доказательств в пользу наследования приобретенных признаков. При Сталине последователь Мичурина Трофим Денисович Лысенко (1898—1976) снискал одобрение властей, пообещав во много раз увеличить урожай сельскохозяйственной продукции при помощи метода Ламарка и сократить слишком медленный цикл традиционного выращивания растений и животных. В то время противоречить властям было опасно. Академик Николай Иванович Вавилов (1885—1943), самый выдающийся советский генетик, умер в тюрьме, куда попал за несогласие со взглядами Лысенко. Вавилова поддержали все крупные советские генетики. После Второй мировой войны власти вынудили остальных советских биологов отказаться от генетики, как ее понимали во всем остальном мире. И только спустя некоторое время после смерти Сталина взгляды Лысенко подверглись критике. Но результаты подобной политики для советской науки оказались, естественно, губительными.

Немецкий национал-социализм и советский коммунизм при всех их различиях сближало убеждение, что граждане обязаны придерживаться единственно «верного учения», которое формулирует и навязывает «сверху» политико-идеологическая власть. И потому двусмысленное и подозрительное отношение к науке, которое появилось в двадцатом веке во многих странах, нашло при таких режимах вполне официальное выражение. В этом их отличие от тех государств, где власти занимали позицию агностиков в отношении личных убеждений своих граждан. Власти научились этому во время богатого кризисами девятнадцатого века. И действительно, появление на полити-

ческой арене «светских ортодоксальных режимов» (как мы уже видели в главах 4 и 13) стало побочным продуктом «эпохи катастроф». И эти режимы просуществовали недолго. Как бы то ни было, серьезные попытки надеть на науку смирительную рубаху идеологии оказались малопродуктивными (в частности, в советской биологии) или совершенно нелепыми. Т. е. наука развивалась сама по себе и параллельно утверждалось превосходство официальной идеологии (как в советской и немецкой физике) *. В результате в конце двадцатого века официально контролировали науку только государства, исповедующие религиозный фундаментализм. Но остальное человечество не утратило своего недоверия к науке. Это произошло в том числе потому, что научные открытия становились все более невероятными и абстрактными. И все-таки страх перед возможными практическими следствиями научных открытий появился не раньше второй половины двадцатого века.

Естественно, ученые лучше и раньше других осознали, чем чреваты практические следствия их открытий. После первого испытания атомного оружия (1945 год) некоторые ученые обратились к властям с предупреждением об опасности той разрушительной силы, которая теперь находится в распоряжении человечества. Но сама мысль о том, что научные открытия в будущем могут стать причиной глобальных катастроф, зародилась не раньше второй половины двадцатого века. Первая волна страха — это ужас перед кошмаром ядерной войны между сверхдержавами, не исчезавший на всем протяжении «холодной войны». Более позднюю и мощную волну породил экономический кризис, начавшийся в 1970-е годы. Однако в «эпоху катастроф», вероятно из-за значительного снижения темпов экономического роста во всем мире, лишь немногие все-таки опасались последствий человеческого вмешательства в природу или, в худшем случае, неспособности природы адаптироваться к пагубным последствиям человеческой деятельности **. При этом сами ученые теперь находились в некотором недоумении перед собственными теориями и открытиями.

II

Примерно в середине «эпохи империй» происходит размежевание между теоретическими научными открытиями и реальностью, основанной на чувст-

* Так, например, в нацистской Германии Вернеру Гейзенбергу позволили преподавать теорию относительности с тем, однако, условием, чтобы не упоминалось имя Эйнштейна (Peierls, 1992, p. 44).

** «Мы можем спать спокойно, зная, что Создатель вложил в свои творения своего рода „защиту от дурака“, а значит, человек бессилен причинить природе по-настоящему серьезный вред», — писал в 1930 году Роберт Милликен, сотрудник Калифорнийского технологического института (Нобелевская премия по физике за 1923 год).

венном опыте. Также прерывается связь между наукой и тем особым видом логики (своеобразным способом мышления), который основан на здравом смысле. Эти два разрыва преемственности взаимно обусловили друг друга. Теперь прогрессом естественных наук руководили скорее теоретики, пишущие уравнения (т. е. математические предложения) на бумаге, а не экспериментаторы в лабораториях. В двадцатом веке именно теоретики указывали практикам, что тем следует искать и находить в свете теоретических построений. И потому двадцатый век можно с полным правом назвать веком математики. Единственным исключением из этого правила являлась молекулярная биология, в которой, по уверениям специалистов, теоретические построения были еще недостаточно развиты. Но наблюдение и опыт все же не отошли на второй план. Наоборот, благодаря появлению новых приборов и научных методов в двадцатом веке технологии претерпели наиболее революционные изменения после семнадцатого века. Многие изобретатели даже удостоились Нобелевской премии, что является доказательством высшего научного признания*. Приведем только один пример. Электронный микроскоп (1937) и радиотелескоп (1957) позволили преодолеть ограниченность простого оптического увеличения. В результате стало возможным более глубокое изучение молекул, атомов и удаленных галактик. Автоматизация лабораторной рутины и появление все более сложных лабораторных расчетов, в частности при помощи компьютеров, значительно увеличили возможности экспериментаторов и создающих модели теоретиков. В результате в некоторых областях знания, в частности в астрономии, появились открытия — иногда даже случайные, в свою очередь породившие инновационные теории. Вся современная космология зиждется на следствиях двух таких открытий: наблюдение Хаббла о расширении вселенной, основанное на спектральном анализе галактик (1929); и открытие в 1965 году микроволнового фонового излучения (радиощума) Пензиасом и Вильсоном. И хотя научные открытия — результат согласованной работы теоретиков и практиков, в «коротком двадцатом веке» ведущая роль принадлежала именно теоретикам.

Для самих ученых полный отрыв теоретических построений от данных чувственного опыта и здравого смысла означал прежде всего разрыв с привычной определенностью научного знания и его методологии. Последствия этого разрыва лучше всего проследить на основе физики — неоспоримой царицы наук первой половины двадцатого века. Объектом физических исследований являются как мельчайшие частицы материи (органические и неорганические), так и устройство и структура самых крупных материальных тел, например

* После Первой мировой войны более двадцати Нобелевских премий по физике и химии были полностью или частично присуждены за новые исследовательские методы, устройства и технические приемы.

Вселенной. Поэтому физика оставалась столпом естественных наук даже в конце двадцатого века, несмотря на растущее соперничество наук о живой природе. А ведь благодаря открытиям молекулярной биологии в этих науках начиная с 1950-х годов происходят поистине революционные изменения.

Не было науки более незыблемой, последовательной и методологически завершенной, чем классическая физика. Но и ее основания оказались подорванными теориями Планка и Эйнштейна, а также радикальным переосмыслением теории атома, последовавшим за открытием радиоактивности в 90-х годах девятнадцатого века. Классическая физика была объективной, т. е. описываемые ею явления поддавались наблюдению, пределом которого служили технические возможности приборов (например, оптического микроскопа или телескопа). Классическая физика не была двусмысленной: объект или феномен являлся либо чем-то одним, либо другим, причем провести границу между двумя категориями было достаточно легко. Ее законы были универсальными, действуя одинаково на уровне космоса и на молекулярном уровне. Связывающие явления механизмы поддавались пониманию (иначе говоря, их можно было выразить через категории «причины» и «следствия»). В результате созданная физикой картина мира являлась детерминистской, а задачей лабораторных экспериментов было подтвердить этот детерминизм, исключив, насколько возможно, сложную путаницу обыденных явлений, скрывавших эту стройную картину. Только невежда или ребенок мог заявить, что полет птиц или бабочек не подчиняется законам тяготения. Ученые прекрасно понимали «ненаучный» характер подобных утверждений, и их как ученых это не касалось.

Но между 1885 и 1914 годом все эти характеристики классической физики были поставлены под сомнение. Является ли свет непрерывным движением волны или эмиссией дискретных частиц (фотонов), как полагал вслед за Планком Эйнштейн? В некоторых случаях удобнее было считать свет волнами, а в некоторых случаях — частицами, но какая связь существует между волнами и частицами? И что тогда представляет собой свет на самом деле? Вот что писал великий Эйнштейн через 20 лет после появления этой загадки: «Теперь мы имеем две теории света, каждая из которых нам совершенно необходима; но приходится признать, что между этими теориями нет никакой логической связи, несмотря на двадцать лет колоссального труда физиков-теоретиков, пытающихся эту связь установить» (*Holton, 1970, p. 1017*). Что происходит внутри атома, который теперь считается не элементарной, следовательно, неделимой частицей материи (как это предполагается его греческим названием), а сложной системой, состоящей из ряда еще более элементарных частиц? Первое предположение в этой связи, последовавшее за величайшим открытием Резерфордом атомного ядра в Манчестере в 1911 году (этим триумфом экспериментального воображения, заложившим основу современной

ядерной физики и так называемой «фундаментальной науки»), заключалось в том, что электроны циркулируют по орбитам вокруг ядра, как планеты вокруг солнца. Но изучение структуры отдельных атомов (особенно структуры водорода Нильсом Бором, знавшим о «квантах» Макса Планка) опять-таки продемонстрировало глубочайшие расхождения между поведением электрона и — цитируя самого Нильса Бора — «восхитительно стройным набором концепций, которые по праву называются классической теорией электродинамики» (*Holton, 1970, p. 1028*). Предложенная Бором модель «работала», т. е. обладала блестящими объяснительными и прогностическими возможностями. Вот только с позиций классической механики она являлась «абсолютно иррациональной и абсурдной», совершенно не объясняя, что точно происходит внутри атома, когда электрон «перепрыгивает» или каким-то иным способом перемещается с одной орбиты на другую. Или что происходит между тем моментом, когда электрон появляется в одном месте, а потом вдруг обнаруживается в другом?

И какова теперь точность научных наблюдений, если оказалось, что процесс наблюдения физических явлений на субатомном уровне изменяет эти явления? По этой причине, чем точнее мы хотим знать положение частицы на субатомном уровне, тем неопределеннее становится ее скорость. Приведем весьма типичное высказывание по поводу возможности любых способов детального наблюдения за точным положением электрона: «Характеристики электрона можно измерить, только уничтожив его» (*Weisskopf, 1980, p. 37*). Этот парадокс был в 1927 году обобщен в знаменитый «принцип неопределенности» блестящим молодым немецким физиком Вернером Гейзенбергом и с тех пор носит его имя. Тот факт, что в названии принципа фигурировало слово «неопределенность», достаточно показателен. Название определяло круг проблем, волновавших исследователей нового научного пространства, отказавшихся от былой точности научных построений. И дело совсем не в том, что сами ученые сомневались в своих построениях или приходили к спорным заключениям. Напротив, их теоретические выкладки, при всем кажущемся неправдоподобии и странности, подтверждались результатами наблюдений и опыта. В частности, общая теория относительности Эйнштейна, казалось бы, нашла свое подтверждение в 1919 году. Изучавшая солнечное затмение британская экспедиция обнаружила, что свет от ряда удаленных звезд отклонялся в направлении солнца в соответствии с общей теорией относительности. В практическом отношении физика элементарных частиц являлась такой же предсказуемой и закономерной, как и классическая физика, только совершенно в ином роде; и как бы то ни было, на макроатомном уровне законы Ньютона и Галилея оставались совершенно справедливыми. Так что ученые испытывали некоторое недоумение, не зная, как совместить старые и новые теории.

Между 1924 и 1927 годами этот дуализм, не дававший покоя физикам первой четверти двадцатого века, был преодолен или, скорее, обойден при помощи блестящих построений математической физики. Речь идет о квантовой механике, почти одновременно созданной в нескольких странах. То, что находится внутри атома, является не волной или частицей, а неразделимым «квантовым состоянием», которое представляет собой либо волну, либо частицу, либо то и другое вместе. Рассматривать квантовое состояние как непрерывное или прерывистое движение бессмысленно, поскольку мы никогда не сможем шаг за шагом проследить весь путь электрона. Такие понятия классической физики, как положение в пространстве, скорость или инерция, просто неприменимы за рамками принципа неопределенности Гейзенберга. Разумеется, появились и другие теории, приводящие к вполне предсказуемым результатам. Эти теории описывали особые состояния, вызванные «волнами» или вибрацией (отрицательно заряженных) электронов, находящихся в ограниченном пространстве атома около (положительно заряженного) ядра. Последовательные «квантовые состояния» в ограниченном пространстве вызвали поддающиеся определению совокупности различной частоты, которые, как это показал Шредингер в 1926 году, могли быть с точностью вычислены, так же как и соответствующая им энергия («волновая механика»). Такое описание поведения электрона обладало замечательными прогностическими и объяснительными возможностями. В частности, много лет спустя, во время атомной реакции в Лос-Аламосе, при попытке создания атомной бомбы был впервые получен плутоний. Количество плутония оказалось настолько мало, что его свойства не поддавались наблюдению. Однако на основе количества электронов в атоме этого элемента, а также конфигурации девятиста четырех электронов, вибрирующих вокруг ядра, *и ничего больше*, ученые (верно) предсказали, что плутоний — коричневый металл с плотностью около 20 граммов на кубический сантиметр, обладающий определенной электрической и тепловой проводимостью и эластичностью. Квантовая механика объясняла, почему атомы (а также молекулы и основанные на них образования более высокого уровня) остаются стабильными или, скорее, почему для изменения их состояния требуется дополнительная энергия. Нередко отмечалось, что даже феномен живого — в частности, структура ДНК и сопротивление нуклеотидов термальным воздействиям при комнатной температуре — основан на базовых квантовых эффектах. Например, одни и те же цветы расцветают каждую весну именно из-за стабильности конфигурации различных нуклеотидов (*Weisskopf, 1980, p. 35—38*).

Но этот великий и удивительно плодотворный прорыв в понимании законов природы стал возможен за счет отрицания всего того, что раньше считалось в науке определенным и адекватным, а также за счет вынужденного отказа от недоверия к абсурдным на первый взгляд представлениям. Все это вы-

зывало беспокойство ученых старшего поколения. Чего стоит хотя бы концепция «антиматерии», предложенная кембриджским ученым Полем Дираком в 1928 году. Дирак открыл, что его уравнение имеет решение, только если допустить существование электронных состояний с энергией меньше энергии вакуума. И многие физики с энтузиазмом приняли «антиматерию», совершенно бессмысленную с точки зрения здравого смысла (Steven Weinberg, 1977, p. 23—24). Само понятие «антиматерия» подразумевало сознательный отказ от установки, что прогресс теоретических построений обязан считаться с любыми установленными представлениями о реальности: теперь именно реальности приходилось подстраиваться под математические уравнения. Но принять все это оказалось не просто даже ученым, уже давно отказавшимся от убеждения великого Резерфорда, что любую хорошую физическую теорию можно объяснить официантке.

Даже великие первооткрыватели новой науки, например Макс Планк и Альберт Эйнштейн, никак не могли примириться с завершением эпохи определенности. В частности, Альберт Эйнштейн выразил сомнения по поводу истинности исключительно вероятностных законов, а не детерминистской причинности, в своей знаменитой фразе «Бог не играет в кости». Для этого утверждения не было никаких оснований, кроме «внутреннего голоса, говорившего мне, что квантовая механика не является окончательной истиной» (цит. по M. Jammer, 1996, p. 358). Некоторые создатели квантовой механики мечтали устранить противоречия, подчинив одну область другой: Шредингер надеялся, что его «волновая механика» превратит «скачки» электронов с одной атомной орбиты на другую в непрерывный процесс изменения энергии и таким образом сохранит классические представления о пространстве, времени и причинности. Скептические первооткрыватели новой науки, особенно Планк и Эйнштейн, вздохнули с облегчением, и совершенно напрасно. Новая эпоха уже наступила. Старые правила больше не годились.

Но сумеют ли физики приспособиться к постоянным противоречиям? Нильс Бор полагал, что могут и просто обязаны. Потому что, учитывая природу человеческого языка, не существует способа выразить целостность природы посредством одной и единой системы. Потому что не может быть одной-единственной, всеобъемлющей модели всего на свете. Все, что нам остается делать,— это постигать реальность различными способами и соединять их так, чтобы они дополняли друг друга, «образуя исчерпывающую совокупность различных описаний, включающих явно противоречивые понятия» (Holton, 1970, p. 1018). В этом заключается смысл введенного Бором «принципа дополнительности», который по сути являлся метафизической концепцией, близкой понятию «относительности». Бор позаимствовал его из источников, весьма далеких от физики, и рассматривал как имеющий универсальную сферу применения. «Дополнительность» Бора была призвана не содейство-

вать исследованиям в области ядерной физики, а скорее, успокоить физиков, оправдав их замешательство. Притягательность этого принципа зиждется прежде всего на его иррациональности. Ведь даже если мы все (и не в последнюю очередь умные ученые) знаем, что существуют различные способы восприятия одной и той же реальности — иногда несовместимые или противоречащие друг другу, но равно необходимые для постижения реальности в ее целостности, — мы все равно не представляем, как это все можно соединить в единую систему. Воздействие сонаты Бетховена на слушателей можно анализировать с точки зрения физики, физиологии или психологии; наконец, сонату можно просто слушать — но совершенно не ясно, как эти способы понимания связаны между собой. Этого не знает никто.

Однако растерянность ученых не стала меньше. С одной стороны, в середине 20-х годов двадцатого века появился ряд обобщений новой физической теории, который позволил с чрезвычайной эффективностью проникать в тайны природы. Основные концепции квантовой революции с успехом применяются и в конце двадцатого века. Если мы не разделяем мнения тех, кто считает нелинейный анализ (ставший возможным благодаря изобретению компьютера) радикальным научным подходом, то после открытий 1900—1927 годов в физике не произошло новых революций. Физика развивалась эволюционным путем в рамках одной концептуальной парадигмы. С другой стороны, в физике наблюдался рост универсальной непоследовательности. В 1931 году эта непоследовательность достигла последнего оплота определенности — математики. Австрийский логик и математик Курт Гедель доказал, что основанием системы аксиом не может быть сама эта система. Любая последовательная система может иметь своим основанием только утверждения, внешние по отношению к этой системе. В свете «теоремы Геделя» невозможно себе представить непротиворечивый, внутренне последовательный мир.

В этом заключался «кризис в физике», если процитировать название книги молодого британского марксиста Кристофера Кодвелла (1907—1937), самоучки и интеллектуала, погибшего во время гражданской войны в Испании. И это был не только «кризис основ», как назывался в математике период с 1900 по 1930 (см. главу 10), но и кризис общенаучной картины мира. Физики привычно пожимали плечами перед лицом философских вопросов и между тем все глубже проникали в открывшееся перед ними новое пространство. Тем временем второй кризис общенаучной картины мира становился все более очевидным. В 30-е и 40-е годы двадцатого века постоянно усложнялась структура атома. Ушел в прошлое простой дуализм положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. Атом оказался населенным постоянно растущей флорой и фауной элементарных частиц — некоторые из них и вправду вели себя достаточно странно. В 1932 году кембриджский исследователь Чедвик открыл первую из этих элементарных частиц —

нейтрально заряженные нейтроны. К этому времени появились теоретические предположения о существовании других элементарных частиц, в частности с нулевой массой и нейтрально заряженного нейтрино. Число этих субатомных частиц, как правило, быстро распадающихся и нестабильных, постоянно росло, в частности, из-за появившегося после Второй мировой войны метода бомбардировки в высоковольтных ускорителях. К концу 1950-х годов таких частиц насчитывалось уже более ста, и это был не предел. Ситуация еще больше осложнилась в начале 1930-х годов благодаря открытию, что помимо электрических сил, связывающих воедино ядро и электроны, в атоме действуют две новые и непонятные силы. Так называемое «сильное взаимодействие» связывало нейтрон и положительно заряженный протон в атомном ядре, а так называемое «слабое взаимодействие» вызывало определенные виды распада частиц.

Но в неразберихе естественно-научных концепций двадцатого века остался нетронутым один важный и преимущественно эстетический критерий. Хотя неопределенность поставила под вопрос все остальные критерии истинности, эстетический критерий приобретал все большее значение. Подобно поэту Китсу, исследователи верили, что «в прекрасном — правда, в правде — красота» (перевод Г. Кружкова), хотя и несколько по-иному, чем Китс. Красивая теория (которая, кстати, уже сама по себе являлась вероятным доказательством истинности) должна быть изящной, экономной и универсальной. Она должна объединять и упрощать, как это делали все великие теории прошлого. Научные революции Галилея и Ньютона показали, что небом и землей управляют одни и те же законы. Революция в химии свела бесконечное разнообразие материальных форм к девятиста двум системно связанным между собой элементам. Открытия физики девятнадцатого века продемонстрировали, что электричество, магнетизм и оптические явления имеют одну и ту же природу. И тем не менее новая революция в науке привела не к упрощению, а к усложнению. Великолепная теория относительности Эйнштейна, которая описывала гравитацию как проявление искривления времени и пространства, привнесла в наши представления о природе мучительный дуализм: «с одной стороны, существует сцена — искривленное пространство и время, гравитация; с другой стороны, существуют актеры — электроны, протоны и электромагнитные поля, и между ними нет никакой связи» (*Steven Weinberg, 1979, p. 43*). Последние сорок лет своей жизни Эйнштейн, этот Ньютон двадцатого века, работал над созданием «единой теории поля», которая бы объединила электромагнетизм с гравитацией, но безуспешно. А затем появилось еще два явно не связанных друг с другом класса сил природы, очевидно не имевших никакого отношения к электромагнетизму и гравитации. И потому увеличение числа элементарных частиц, каким бы многообещающим оно ни было, могло быть только временной, предварительной истиной. Ведь при всем

изяществе деталей в наших представлениях о новом атоме не было той красоты, какой отличались прежние представления об атоме. Даже самые убежденные прагматики той эпохи, для которой единственным критерием истинности гипотезы являлась ее объяснительная способность, иногда мечтали о благородной, прекрасной и универсальной «теории всего на свете», если воспользоваться фразой кембриджского физика Стефена Хокина. Но создание такой теории отступало все дальше и дальше, хотя начиная с 1960-х годов у физиков в очередной раз появилась надежда на создание такой теории. И действительно, к началу 1990-х многие физики были убеждены, что наконец-то достигли некоего элементарного уровня и что все многообразие элементарных частиц можно свести к достаточно простой и связной совокупности.

Между тем на неопределенном пространстве между такими различными дисциплинами, как метеорология, экология, ядерная физика, астрономия, динамика жидкостей, и различными областями математики (разрабатываемыми сначала в Советском Союзе и несколько позже — на Западе, и не в последнюю очередь благодаря небывалому развитию компьютеров, являвшихся одновременно аналитическим инструментом и объектом вдохновения) возникла очередная возможность синтеза с не совсем удачным названием «теория хаоса». Ее открытием стала не столько непредсказуемость результатов абсолютно детерминистских научных методов, сколько совершенно универсальный характер форм и парадигм природы в ее самых различных и очевидно не связанных между собой проявлениях*.

Теория хаоса ознаменовала новый поворот классической концепции причинности. Она разорвала связь между причинностью и предсказуемостью; суть этой теории заключалась не в том, что события происходили случайно, а в том, что следствия из точно указанных причин не являлись предсказуемыми. Все это вызвало огромный интерес у палеонтологов и историков. Ведь это означало, что цепь исторических или эволюционных событий абсолютно последовательна и объяснима, но вот только *post factum*. Т. е. ничего нельзя точно предсказать с самого начала, потому что если бы все повторилось вновь, то любое изменение на ранней стадии, каким бы незначительным и неважным оно ни казалось в момент своего появления, привело бы к «повороту эволюции в совершенно иное русло» (Gould, 1989, p. 51). У этого подхода могут быть далеко идущие политические, экономические и социальные следствия.

* Развитие теории хаоса в 1970-е и 1980-е годы имеет много общего с «романтической» научной школой, появившейся в начале девятнадцатого века. Эта школа возникла преимущественно в Германии («Натурфилософия») как реакция на «классическую» науку Франции и Великобритании. Интересно, что два выдающихся новатора в этой новой области исследования (Файгенбаум и Либхабер — см. Gleick, p. 163, 197) вдохновлялись страстным антиньютониевским «Учением о цвете» Гете, а также его же трактатом «Опыт о метаморфозе растений», который можно рассматривать как антиэволюционный (см. также главу 15).

Мир квантовой физики казался во многом абсурдным. Но при исследовании атома представления повседневной жизни (которой жили даже физики) не были затронуты напрямую. А вот закрыть глаза на другое потрясающее основы открытие оказалось уже не так легко. Речь идет о невероятном факте, предсказанном теоретиками на основе теории относительности, но обнаруженном в результате наблюдений только в 1929 году. Американский астроном Хаббл показал, что вселенная расширяется с головокружительной скоростью. Это расширение, примириться с которым оказалось сложно многим ученым (некоторые из них создавали альтернативные теории «стабильного состояния» космоса), было подтверждено результатами других астрономических наблюдений в 1960-е годы. Теперь было уже невозможно не рассуждать о том, куда это расширение приведет Вселенную (и нас вместе с ней), когда и каким образом оно началось и что собой представляет история Вселенной, начавшейся с «Большого взрыва». Все это привело к бурному развитию космологии, самой популярной области науки двадцатого века. Естественные науки принялись изучать свою историю. Исключением являлась разве что геология и связанные с ней дисциплины, принципиально не занимавшиеся подобными вопросами. В результате эксперимент (т. е. воспроизведение явлений природы) в точных науках отошел на второй план. Ну как можно воспроизводить события, неповторимые по определению? Так что «расширение Вселенной» внесло в умы ученых и простых людей еще большую сумятицу.

Эта сумятица утвердила тех, кто жил в «эпоху катастроф» и размышлял о подобных вещах, в убеждении, что старому миру пришел конец или, по крайней мере, его ожидают радикальные преобразования, а наступающая эпоха еще не приняла отчетливых очертаний. Великий Макс Планк был абсолютно уверен, что существует связь между кризисом в науке и повседневной жизни:

Мы переживаем поистине уникальный исторический момент. Нам довелось ощутить на себе самый настоящий кризис основ. Во всех областях нашей духовной и материальной жизни мы достигли критического поворотного пункта. Это относится не только к ситуации, сложившейся в обществе, но и к фундаментальным ценностям личной и общественной жизни (...). Храм науки заполонили борцы с традициями. Вряд ли найдется хоть одна научная аксиома, которую бы сегодня кто-нибудь не оспаривал. В то же время почти у каждой абсурдной теории имеются последователи и сторонники.

(Planck, 1933, p. 64)

Вполне естественно, что немец, представитель среднего класса, воспитанный на определенности девятнадцатого столетия, выражает подобные мысли в эпоху Великой депрессии и прихода к власти Гитлера.

Тем не менее большинство ученых не испытывали ни малейшего уныния. Они бы вполне согласились с Резерфордом, заявившим в 1923 году Британской ассоциации: «Мы живем в героическую эпоху физики» (Howarth, 1978, p. 92). Каждый номер научного журнала, каждый коллоквиум — а большинство ученых все еще совмещали сотрудничество и соперничество — приносили новые, увлекательные и глубокие результаты. Научное сообщество все еще оставалось достаточно небольшим (и особенно небольшим было число ученых, работавших в таких передовых областях, как ядерная физика и кристаллография), так что почти все молодые исследователи надеялись совершить фундаментальные открытия. Ученым завидовали. Несомненно, те из нас, кто учился в Кембридже, откуда вышло больше тридцати британских лауреатов Нобелевской премии первой половины двадцатого века (а это и была британская наука того времени), прекрасно знали, что бы мы стали изучать, если бы лучше разбирались в математике.

И действительно, ученые ожидали от будущего только дальнейших триумфов и интеллектуальных прорывов. И потому мирились с фрагментарностью, несовершенством и неточностью сегодняшних теорий. Ученые считали все это временным явлением. И действительно, к чему страшиться будущего исследователям, ставшим лауреатами Нобелевской премии в двадцать с небольшим лет? * Но с другой стороны, как можно было этим мужчинам (и немногим женщинам), своей работой утверждавшим ценность пошатнувшейся идеи прогресса, оставаться равнодушными к эпохе кризисов и катастроф, в которую они жили?

И они конечно же не остались в стороне. «Эпоха катастроф» явилась поэтому одной из редких эпох наибольшей политизированности ученых. И это произошло не только потому, что, как продемонстрировала массовая эмиграция европейских ученых по расовым или идеологическим соображениям, неприкосновенность ученых уже не являлась само собой разумеющейся. Как бы то ни было, типичный британский ученый 1930-х годов состоял в левой кембриджской «Антивоенной группе» ученых. Он только утверждался в своем радикализме, если знал о неприкрытых радикальных симпатиях своих более знаменитых коллег, от членов Королевского научного общества до лауреатов Нобелевской премии: Бернала (кристаллография), Галдейна (генетика), Нидхэма (химическая эмбриология) **, Блэкетта (физика), Дирака (физика) и математика Г. Х. Харди, считавшего, что двадцатый век знает только двух великих людей, сопоставимых с его любимым австралийским игроком в крикет Доном Брэдманом, — Ленина и Эйнштейна. Типичного американского

* Революцию в физике 1924—1928 годов совершили люди, родившиеся в 1900—1902 годах, — Гейзенберг, Паули, Дирак, Ферми, Джозелио. Шредингеру, Бройлю и Макс Борну было по тридцать с небольшим.

** Нидхэм впоследствии стал известным историком науки в Китае.

ученого 1930-х годов во время «холодной войны» нередко ждали неприятности политического характера за его довоенный (и не только) радикализм. Пример тому — Роберт Оппенгеймер (1904—1967), главный создатель атомной бомбы, или химик Лайнус Полинг (1901—1994), лауреат двух Нобелевских премий, за достижения в химии и в борьбе за мир, а также Ленинской премии. Как правило, типичный французский ученый 1930-х годов симпатизировал Народному фронту и активно поддерживал движение Сопротивления во время Второй мировой войны, что делали очень немногие французы. Типичный ученый-беженец из Центральной Европы враждебно относился к фашизму при всем своем равнодушии к подобным вопросам. Ученые, оставшиеся или не сумевшие покинуть фашистские государства или СССР, конечно же не остались в стороне от политики своих стран, хотя бы потому, что политика им навязывалась, как приветствие «Хайль Гитлер» в Германии. Великий физик Макс фон Лое (1897—1960) нашел способ не отдавать салют — выходя из дома, он всегда нес что-то в обеих руках. В отличие от гуманитарных или общественных наук, такая политизация была нетипична для естественных наук. Предмет исследования естественных наук не требует (за исключением некоторых разделов биологии) и не предполагает никакой мировоззренческой позиции в отношении человека, хотя часто предполагает определенную позицию в отношении существования Бога.

Ученые оказались политизированными и по еще одной причине. Они с полным основанием считали, что простые люди, включая политиков, имеют лишь смутное представление о тех невероятных возможностях, которыми располагает современная наука (при условии ее адекватного использования). Мировой экономический кризис и приход Гитлера к власти явились косвенным тому доказательством. (Напротив, идеологическая поддержка советского марксизма в отношении естественных наук ввела в заблуждение многих западных ученых того времени, поверивших, что Советский Союз намерен реализовать свой научный потенциал.) Технократия и радикализм сошлись в одной точке, потому что на том этапе именно «левые», с их идеологической приверженностью науке, рационализму и прогрессу (консерваторы метко окрестили их «сайентистами») *, осознавали и поддерживали «Социальную функцию науки», если процитировать название широко известной книги-манифеста своего времени (*Bernal, 1939*), автором которой (что неудивительно) был блестящий и воинствующий физик-марксист. Вполне естественно, что правительство французского Народного фронта (1936—1939) учредило пост помощника государственного секретаря по научно-исследовательским делам (который получила лауреат Нобелевской премии Ирен Жо-

* Это слово впервые появилось во Франции в 1936 году (*Guerlac, 1951, p 93—94*).

лио-Кюри), а также создало механизм, до сих пор являющийся основным инструментом финансирования французских научных исследований — НЦНИ (Национальный центр научных исследований). И действительно, все более очевидной становилась, по крайней мере для самих ученых, необходимость не только государственного финансирования научных исследований, но и их организации со стороны государства. Британский правительственный научный отдел, в котором в 1930 году работало 743 человека, уже не отвечал потребностям времени. Через тридцать лет количество сотрудников возросло до семи тысяч человек (*Bernal, 1967, p. 931*).

Пик политизированности в науке пришелся на Вторую мировую войну. Это был первый конфликт со времен французской революции, когда ученых систематически и централизованно мобилизовали для военных целей. Повидимому, союзники преуспели в этом несколько больше, чем Германия, Италия и Япония, поскольку изначально не рассчитывали на быструю победу за счет имеющихся в непосредственном распоряжении ресурсов и методов (см. главу 1). Трагедия состояла еще и в том, что применение атомной бомбы также стало детищем антифашизма. Обычная война между национальными государствами вряд ли подвигла бы ведущих физиков, многие из которых бежали от фашизма, призывать правительства Великобритании и США к созданию атомной бомбы. Последующий ужас ученых, их отчаянные попытки в последнюю минуту предотвратить применение бомбы, а также их сопротивление созданию водородной бомбы прежде всего свидетельствуют о накале *политических* страстей. И действительно, самыми яростными противниками атомного оружия после Второй мировой войны стали те члены научного сообщества, которые принадлежали к политизированному поколению эпохи борьбы с фашизмом.

Тем временем война убедила западные правительства, что финансирование научных исследований в невиданных ранее масштабах следует признать оправданным, а в будущем даже совершенно необходимым. Ни одно государство, за исключением США, не сумело бы изыскать два миллиарда долларов (в ценах военного времени) для создания атомной бомбы во время войны. Верно и то, что до 1940 года ни одно правительство не смело и думать о том, чтобы направить даже небольшую часть этих денег на некий умозрительный проект, основанный на невразумительных расчетах безумных ученых. Но после войны государственные расходы на научные исследования стали поистине беспредельными или, скорее, пределом стала доходность экономики. В 1970-е годы правительство США финансировало две трети американских научных исследований, причем объем финансирования составлял почти пять миллиардов долларов в год. Число ученых и инженеров при этом достигло одного миллиона человек (*Holton, 1978, p. 227—228*).

III

Ученые охладели к политике после Второй мировой войны. К началу 1950-х годов радикализм практически исчез из научных лабораторий. Для ученых Запада уже не было тайной, что советским научным сотрудникам в обязательном порядке навязывались некоторые странные и безосновательные представления. Даже самые верные приверженцы коммунизма не сумели переварить теории Лысенко. Многие западные ученые постепенно понимали, что режимы советского типа не являются привлекательными ни с материальной, ни с моральной точки зрения. При этом, несмотря на мощную пропаганду, «холодная война» между Западом и советским блоком не разожгла даже отдаленного подобия тех политических страстей, которые бушевали в ученой среде в эпоху борьбы с фашизмом. Причиной тому стала прежде всего традиционная близость либерального и марксистского рационализма. К тому же СССР в отличие от нацистской Германии никогда не казался Западу серьезной угрозой — даже если считалось, что он стремится завоевать Запад (на этот счет, впрочем, существовали серьезные сомнения). Большинство западных ученых просто считали СССР, страны советского блока и коммунистический Китай дурными государствами (а ученых этих стран — достойными сожаления), но никак не империями зла, жаждущими крестового похода на Запад.

Научные сотрудники развитых стран Запада какое-то время оставались равнодушными к политике. Они наслаждались своими интеллектуальными победами, а также значительными средствами, которые теперь выделялись на науку. К тому же щедрая финансовая поддержка со стороны правительств и крупных корпораций воспитала ученых нового типа. Они не задавались вопросом о целях своих спонсоров и не задумывались о возможных последствиях более широкого применения полученных результатов — в частности, для военных нужд. В крайнем случае занятые в подобных проектах ученые выступали против запрета на опубликование результатов своих исследований. И действительно, большая часть огромной армии кандидатов наук, работающих в НАСА (Национальном управлении по авиации и исследованию космического пространства), учрежденном в 1958 году с целью соперничества с СССР, интересовалась целями своей деятельности так же мало, как и любая другая армия. В конце 1940-х годов многие ученые все еще мучительно сомневались, участвовать или нет в военной правительственной программе биологических и химических исследований*. Но уже через несколько лет подобные учреждения не сталкивались с проблемами при наборе персонала.

* Я помню замешательство моего друга биохимика (в прошлом пацифиста, впоследствии коммуниста), которому предложили работу в соответствующей британской организации.

Во второй половине двадцатого века наука оказалась более политизированной именно в странах советской сферы влияния. И потому неслучайно крупнейшим советским (и международным) глашатаем диссидентства стал Андрей Сахаров (1921—1989) — физик, один из создателей водородной бомбы. Советские ученые *par excellence* принадлежали к новому, большому, образованному и технически грамотному среднему классу. Появление этого класса можно считать крупнейшим достижением советской системы — и этот класс очень хорошо понимал всю ее слабость и ограниченность. Советский Союз больше нуждался в советских ученых, чем Запад — в западных. Только силами научных сотрудников отсталая советская экономика — между прочим, в качестве сверхдержавы — противостояла мощи США. Благодаря работе ученых Советскому Союзу удалось на какое-то время обогнать Запад в такой высокотехничной области, как космические исследования. В результате СССР запустил первый искусственный спутник Земли (1957), осуществил первый пилотируемый полет мужчины и женщины в космос (1961, 1963) и первый выход человека в открытый космос. Вполне естественно, что советские ученые, сконцентрированные в научно-исследовательских институтах или специальных «научных городках», умные и сплоченные, получившие после смерти Сталина некоторую свободу, критично относились к советской системе, в рамках которой, впрочем, социальный статус ученого был выше статуса любой другой профессии.

IV

Но какое влияние оказали все эти политические и идеологические перипетии на развитие естественных наук? Очевидно, что гораздо меньшее, чем на науки гуманитарные и общественные, не говоря уже о различных идеологиях и философиях. На естественные науки повлияла разве что эмпирическая методология, ставшая общепринятой в эпоху эпистемологической неопределенности: гипотезы верифицируются — или, в терминологии Карла Поппера (1902—1994), которой следовали многие ученые, — фальсифицируются опытом. И это ставило границы влиянию идеологий. Интересно, что экономика, хотя и подчиняющаяся критериям логичности и последовательности, процветала на Западе в качестве своеобразной теологии. Можно даже утверждать, что она превратилась в самое авторитетное течение светской теологии — ведь экономическая теория может быть сформулирована (и часто формулируется) в обход эмпирической проверки. А вот в физике подобное вряд ли возможно. И потому несложно проследить зависимость конфликтующих между собой школ экономической мысли и модных экономических течений от современных событий и идеологических дебатов — а например, для космологии такую связь установить не удастся.

И все же развитие естественных наук отражало свое время, несмотря на эндогенный характер многих важных исследований. В частности, беспорядочный рост количества элементарных частиц (особенно в начале 1950-х годов) заставил теоретиков обратиться к поиску упрощений. (Изначально) произвольный характер этих новых и предположительно «конечных» частиц (из которых, как теперь считалось, состоят протоны, электроны, нейтроны и т. д.) явствует из самого их названия, пришедшего в голову физику из романа «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса: кварки (1963). Через какое-то время кварки разделили на четыре подкласса; у каждого кварка имелся свой соответствующий антикварк. Кварки называли «верхним», «нижним», «странным» и «очарованным», при этом каждый кварк обладал «ароматом». Понятно, что все эти слова не использовались в своем прямом значении. На основе теории кварков появились удачные научные прогнозы. В результате удалось обойти молчанием тот факт, что к началу 1990-х годов существованию кварков не было обнаружено никакого экспериментального подтверждения*. Предоставим физикам судить, были ли результаты этих новых исследований упрощением лабиринта элементарных частиц или же появлением нового уровня сложности. Впрочем, скептически настроенному (хотя и восхищенному) стороннему наблюдателю стоит вспомнить о титанических усилиях, затраченных в конце девятнадцатого столетия на поддержание научного убеждения в существовании «эфира», пока открытия Эйнштейна и Планка не отправили его в музей псевдонаучных теорий наряду с «флогистоном» (см. *Эпоха империи*, глава 10).

Отсутствие непосредственной связи подобных теоретических построений с реальностью, которую они объясняли, — а в распоряжении ученых оставался разве что метод фальсифицируемости гипотез — открыло все эти построения внешнему влиянию. Естественно, что в век господства технологий формированию таких построений в значительной степени способствовали механические аналогии. Речь идет прежде всего о методах коммуникации и контроля над живыми организмами и машинами, которые после 1940 года привели к созданию теории, известной под различными названиями, — кибернетика, общая теория систем, теория информации и т. д. После Второй мировой войны, и особенно после изобретения транзисторов, с головокружительной скоростью начали развиваться компьютеры. С появлением компьютеров в распоряжении ученых оказались огромные возможности для механического моделирования того, что раньше считалось исключительными физическими и психическими особенностями живых организмов, включая

* Джон Мэддокс утверждает, что слово «обнаружено» можно понимать по-разному. Были установлены эффекты, производимые кварками, но, по-видимому, кварки встречаются не по отдельности, а только парами или тройками. Физики озабочены не существованием кварков как таковых, а тем, что кварки никогда не пребывают в одиночестве.

человеческий. Так что неудивительно, что в конце двадцатого века ученые считали мозг по преимуществу сложной системой обработки информации. Во второй половине двадцатого века нередко обсуждался вопрос, возможно ли (и если да, то каким образом) отличить человеческий мозг от «искусственного интеллекта» — иначе говоря, какие функции человеческого мозга нельзя воспроизвести в компьютере. И потому вполне естественно, что компьютерное моделирование подстегивало соответствующие исследования. Скорее всего, изучение нервной системы (т. е. электрических нервных импульсов) вообще не принесло бы ощутимых результатов без открытий электроники. Но все это были по своей сути редукционистские аналогии, которые, возможно, покажутся людям будущего такими же устаревшими, какими нам сегодня кажутся механистические представления о движении человеческого тела, принятые в восемнадцатом веке.

Впрочем, аналогии весьма полезны для создания конкретных моделей. К тому же на мировоззрение ученых не мог не повлиять их образ жизни. Ведь мы живем в век, когда, по словам одного известного ученого, «конфликт между сторонниками постепенных изменений и приверженцами теории катастроф проник во все сферы человеческой деятельности» (*Steve Jones, 1992, p. 12*). И потому вполне естественно, что этот конфликт проник в науку.

В буржуазном девятнадцатом веке наука развивалась в рамках парадигмы улучшения и прогресса, преемственности и постепенности. Ход истории, каким бы он ни был, не знал скачков. Геологические сдвиги и эволюция жизни на Земле протекали не за счет катастроф, а за счет незначительных изменений. Даже вероятный в отдаленном будущем конец Вселенной должен был наступить постепенно, в результате незаметного, но неизбежного превращения энергии в теплоту в соответствии со вторым законом термодинамики («тепловая смерть Вселенной»). Но в двадцатом веке наука разработала совершенно иную картину мира.

Вселенная возникла пятнадцать миллионов лет назад в результате сверхмощного взрыва и, если верить современным космологическим теориям, закончит свое существование так же драматично. Жизнь звезд и планет во Вселенной полна катаклизмов. Интересно, что новые, сверхновые, красные гиганты, белые карлики, черные дыры и т. д. до 20-х годов двадцатого века считались только периферийными астрономическими явлениями или вообще не признавались. Многие геологи долго отвергали теорию массивных горизонтальных сдвигов, а именно движения континентов по всему земному шару на протяжении истории Земли, несмотря на достаточно серьезные свидетельства в пользу такой теории. Насколько можно судить по необыкновенно ожесточенной полемике с главным сторонником «дрейфа материков» Альфредом Вегенером, многие геологи не принимали новую теорию в основном по идеологическим соображениям. Как бы то ни было, отрицание невоз-

возможности континентальных сдвигов из-за непонимания соответствующих геологических механизмов так же малоубедительно *a priori* (учитывая все свидетельства в пользу противоположного), как и аргумент лорда Келвина. Лорд Келвин утверждал, что геологическая датировка возраста Земли неверна, поскольку физика, как ее понимали в девятнадцатом веке, сильно его преуменьшала. Но в 60-е годы двадцатого века немыслимое раньше стало общим местом геологии: земной шар представляет собой постоянное (иногда очень быстрое) движение гигантских плит («глобальная тектоника») *.

Не менее важно, что в 60-е годы двадцатого века из палеонтологии в геологию и теорию эволюции вернулось представление о прямых катастрофических изменениях. И опять-таки *prima facie evidence* было давно известно: каждый школьник знает об исчезновении динозавров в конце мелового периода. Но такова была сила дарвинистского убеждения—эволюция происходит не в результате катастроф (или творения), а посредством медленных и незаметных изменений, начавшихся с момента возникновения жизни на Земле,—что этот явный биологический катаклизм почти не обсуждался. Считалось, что геологический возраст Земли достаточно велик для проявления любых известных нам эволюционных изменений. Стоит ли удивляться, что в эпоху многочисленных катаклизмов эта непоследовательность эволюции начала привлекать к себе пристальное внимание. Приведем еще один пример. Геологи и палеонтологи, сторонники теории катастроф, считают наиболее вероятным механизмом подобных изменений бомбардировку из открытого космоса, т. е. столкновение Земли с одним или несколькими очень крупными метеоритами. В соответствии с некоторыми расчетами каждые триста тысяч лет к Земле приближается астероид, достаточно крупный для уничтожения цивилизации на Земле. Столкновение с таким астероидом эквивалентно примерно восьми миллионам Хиросим. Подобные сценарии всегда казались частью доисторического прошлого; и ни один солидный ученый не стал бы всерьез задумываться над такими вопросами до наступления эпохи атома. Теории постепенных эволюционных изменений, время от времени прерываемых относительно внезапными изменениями, в 1990-е годы считались достаточно спорными, но теперь обсуждение велось уже *внутри* научного сообщества. Даже неискушенный наблюдатель не мог не заметить появление в самой далекой от повседневной жизни области двух математических теорий—теории катастроф (в 1960-е годы) и теории хаоса (в 1980-е годы). Первая из них, воз-

* *Prima facie* свидетельства состояли прежде всего в том, что а) «подходят» друг другу по форме очертания удаленных континентов—прежде всего западного побережья Африки и восточного побережья Южной Америки; б) в этих случаях существует сходство геологических пластов, а также в) в географической дистрибуции определенных типов наземных животных и растений. Я прекрасно помню свое удивление категорическим отказом коллег-геофизиков в 1950-х годах—незадолго до возникновения глобальной тектоники—объяснять подобные явления.

никшая в 1960-е годы во Франции в процессе исследований по топологии, объясняла ситуации, возникающие при переходе от постепенных изменений к внезапным разрывам, иначе говоря, она объясняла взаимодействие непрерывных и прерывистых изменений. Вторая теория (зародившаяся в Америке) моделировала неопределенные и непредсказуемые ситуации, в которых очевидно незначительные события (порхание бабочки) могут привести к значительным результатам (урагану) где-то в другом месте. Жителям последних десятилетий двадцатого века нетрудно понять, почему представления о хаосе и катастрофах занимали умы ученых в целом и математиков в частности.

V

С 70-х годов двадцатого века окружающий мир вторгается в лаборатории и научные семинары уже не так прямо, но все так же властно. Оказывается, распространение новых технологий, влияние которых на окружающую среду многократно возросло благодаря значительному экономическому росту во всем мире, может привести к фундаментальным и, вероятно, необратимым изменениям на планете Земля или, во всяком случае, на Земле как месте обитания живых организмов. Такая перспектива представлялась еще более грозной, чем возможность ядерной катастрофы, занимавшей умы и воображение людей во время долгой «холодной войны». Ведь атомную мировую войну между СССР и США можно было предотвратить, что и произошло на самом деле. А вот избавиться от побочных продуктов научного прогресса было уже гораздо сложнее. Так, в 1973 году химики Роуланд и Молина впервые отметили, что фреоны (часто используемые в холодильниках и аэрозолях) истощают озоновый слой. Этого нельзя было заметить раньше, поскольку выброс в атмосферу подобных химических соединений (фреон-11 и фреон-12) до начала 1950-х годов не достиг и сорока тысяч тонн. (А вот с 1960 по 1972 в атмосферу попало уже более 3,6 миллиона тонн этого вещества.) * К началу 1990-х весь мир знал о существовании озоновых дыр. Самым важным в этой связи являлся вопрос, насколько быстро будет протекать истощение озонового слоя и через какое время Земля окажется не в силах пополнять запасы озона естественным путем. При этом считалось, что если избавиться от фреонов, озон обязательно появится снова. «Парниковый эффект», т. е. неконтролируемое повышение температуры в атмосфере из-за выброса различных газов (предмет серьезного обсуждения начиная с 1970-х годов), уже в 1980-е годы оказался в центре внимания ученых и политиков (Smil, 1990). Это была вполне реальная опасность, хотя и несколько преувеличенная.

* UN World Resources, 1986, Table 11.1, p. 319.

Примерно в это же время слово «экология», созданное в 1873 году для обозначения области биологии, занимавшейся взаимодействием организмов с окружающей средой, приобретает известное нам квазиполитическое значение (E. M. Nicholson, 1970) *. Таковы были естественные последствия экономического бума (см. главу 9).

Все эти страхи хорошо объясняют, почему политики и идеологи в 1970-е годы предприняли повторное наступление на естественные науки. Под ударом оказались даже те науки, в которых обсуждалась возможность ограничения научных исследований по практическим или моральным соображениям.

В прошлый раз такие вопросы всерьез обсуждались в конце эпохи геологической гегемонии. Неудивительно, что необходимость наложить ограничения на научные исследования рассматривалась прежде всего для тех областей знания, которые имели (или казалось, что имели) непосредственное отношение к человеческим проблемам. Здесь речь идет прежде всего о генетике и эволюционной биологии. Ведь в течение каких-нибудь десяти лет после Второй мировой войны в молекулярной биологии произошли революционные изменения, открывшие универсальный механизм наследственности — «генетический код».

Революция в молекулярной биологии не стала полной неожиданностью. После 1914 года считалось само собой разумеющимся, что феномен живого должен и может быть объяснен с позиций физики и химии, а не с позиций особой сущности живых организмов **. И действительно, биохимические модели возможного происхождения жизни на Земле из солнечного света, метана, аммиака и воды появились уже в 1920-е годы (в основном по антирелигиозным соображениям) в Советской России и Великобритании, причем к обсуждению этого вопроса привлекались серьезные научные круги. Кстати, богоборчество продолжало и дальше воодушевлять исследователей: примером тому могут служить Крик и Лайнус Полинг (Olby, 1970, p. 943). Наибольшие успехи биологии принесла биохимия, а также физика. Выяснилось, что молекулы белка можно кристаллизировать, а значит, и изучать кристаллографически. Было установлено, что некое вещество, а именно дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), играет важную и, возможно, центральную роль в наследственности. Не исключено, что оно является носителем генетической информации, так как его отдельные участки соответствуют определенным ге-

* «Экология (...) также является главной интеллектуальной дисциплиной и инструментом, позволяющим нам надеяться, что в человеческой эволюции возможны изменения, что человеческая история может принять новое направление, а человек прекратит по-варварски обращаться с окружающей средой, от которой зависит его собственное будущее».

** «Каким образом события пространства и времени, имеющие место в рамках пространственной границы живого организма, можно объяснить при помощи законов физики и химии?» (E. Schrödinger, 1944, p. 2)

нам. Вопрос, каким образом ген «вызывает синтез другой подобной себе структуры, в которой воспроизводятся даже мутации исходного гена» (*Muller, 1951, p. 95*), иначе говоря, в чем заключается механизм наследственности, серьезно разрабатывался уже в конце 1930-х годов. После войны стало ясно, что, по словам Крика, «грядут великие события». Открытие Криком и Уотсоном двойной спирали ДНК и объяснение «воспроизводства гена» при помощи изящной химико-механической модели ничуть не проигрывают от того факта, что в начале 1950-х годов сходные результаты были получены другими исследователями.

Революционное открытие структуры ДНК, «крупнейший прорыв в биологии» (*J. D. Bernal*), оказавший первостепенное влияние на науки о жизни во второй половине двадцатого века, касался в основном генетики и, поскольку дарвинизм в двадцатом веке был основан исключительно на генетике, теории эволюции*. Впрочем, щекотливый характер этих проблем известен, ведь научные модели в этих областях нередко несут идеологическую подоплеку — мы помним долг Дарвина Мальтусу (*Desmond/Moore*, глава 18). К тому же научные модели часто становятся основой политических теорий (стоит только вспомнить «социальный дарвинизм»). Еще один пример — концепция «расы». Из-за расистской политики нацизма либерально настроенные интеллектуалы (к которым принадлежало большинство ученых) практически отказались от этой концепции. Многие ученые по вполне понятным причинам опасались, что обнаружение результатов систематических исследований в области генетически обусловленных различий между человеческими сообществами спровоцирует расистские настроения. В целом на Западе, в рамках пришедшей на смену фашизму идеологии демократии и равенства, возродился старый спор о том, что играет более важную роль в формировании человека: «природа или воспитание» либо наследственность или среда. Очевидно, что человека формируют и наследственность и среда, и гены и культура. При этом консерваторы с готовностью принимали общество неустрашимого, т. е. генетически определенного, неравенства. В свою очередь «левые», приверженные идее равенства, полагали, что неравенство преодолимо через социальное переустройство, поскольку неравенство в конечном счете является порождением среды. Естественно, разгорелся спор по поводу интеллектуальных способностей детей; этот спор затронул политическую проблему: должно ли быть школьное образование всеобщим? В результате оказался напрямую затронутым не только вопрос расы (который, впрочем, постоянно обсу-

* Этот прорыв также «касался» в первую очередь механико-математического варианта экспериментальных научных дисциплин. Вот почему это открытие не всегда вызывало энтузиазм у исследователей, изучавших те науки о жизни, где открытия не так легко переводятся на язык формул или носят экспериментальный характер, — в частности, в зоологии и палеонтологии (см. *R. C. Lewontin The Genetic Basis of Evolutionary Change*).

ждался), но и гораздо более серьезные вопросы. Глубина подобных вопросов стала очевидной в связи с возрождением феминистского движения (см. главу 10). Некоторые феминистки утверждали, что *все* умственные различия между мужчинами и женщинами носят по преимуществу культурный характер — иначе говоря, обусловлены средой. В частности, модная замена термина «пол» на термин «гендер» подразумевала, что «женщина» — категория не столько биологическая, сколько социальная. Ученый, решившийся на исследование подобных щекотливых вопросов, попадал на своеобразное политическое «минное поле». Даже те, кто сознательно шел на подобные исследования, как, например, гарвардский социобиолог Э. Уилсон (р. 1929), уклонялись от прямых высказываний на эту тему*.

Обстановка еще больше накалилась из-за того, что сами ученые, особенно работавшие в социальных областях наук о живой природе — теории эволюции, экологии, этологии, или социального поведения животных, и т. д., — зачастую использовали антропоморфные метафоры или переносили свои выводы на человеческое поведение. Социобиологи и популяризаторы их исследований утверждали, что (мужские) черты, сформировавшиеся в течение тысячелетий, когда примитивный человек был вынужден приспособливаться к жестким условиям среды обитания (*Wilson, ibid.*), все еще оказывают решающее воздействие на наше социальное поведение. Это возмутило не только женщин, но и профессиональных историков. Теоретики эволюции теперь рассматривали естественный отбор, в свете великой биологической революции, как борьбу за выживание «гена-эгоиста» (*Dawkins, 1976*). Даже сторонники жесткого дарвинизма недоумевали, какое отношение генетический отбор имел к спорам о человеческом эгоизме, конкуренции и сотрудничестве. Наука снова оказалась под прицелом критиков, хотя на этот раз — и это важно — решающая атака не велась сторонниками традиционных религий, за исключением разве что незначительных фундаменталистских групп. Духовенство смирилось с гегемонией лабораторий и искало теологического утешения в научной космологии. И действительно, теории «Большого взрыва» вполне

* «На основе доступной мне информации я могу сделать следующий вывод. В том, что касается качества и масштабов генетического разнообразия, влияющего на поведение, *homo sapiens* является типичным видом мира животных. И если такое сопоставление правомерно, то психическое единство человечества должно перейти из статуса догмы в статус гипотезы, подлежащей проверке. Высказать подобные идеи в США сегодня достаточно непросто; к тому же все вышесказанное в определенных научных кругах считается наказуемой ересью. Но если социальные науки стремятся к абсолютной честности, им все же придется посмотреть правде в глаза (...) Ученым все-таки следует изучить вопрос генетически обусловленного поведенческого разнообразия, а не хранить заговор молчания из благих побуждений» (*Wilson. Biology and the Social Sciences, 1977, p. 133*).

Прямой смысл этого замысловатого отрывка такой: существуют расы, и эти расы по генетическим причинам не равны в определенных, подлежащих исследованию областях.

могли рассматриваться человеком верующим как доказательство сотворения мира Богом. С другой стороны, западная культурная революция 1960-х и 1970-х годов породила серьезные неоромантические и иррационалистические нападки на научную картину мира, которые могли легко превратиться из радикальных в реакционные.

Естественные науки, далекие от открытых конфликтов наук о жизни, оставались в стороне от подобных дебатов вплоть до 1970-х годов. Но в 1970-е годы стало очевидным, что научные исследования больше нельзя рассматривать в отрыве от социальных последствий практического применения высоких технологий, которые наука теперь порождала практически сразу. Благодаря генной инженерии, которая в будущем могла создать наряду с другими формами жизни и человеческий организм, возник вопрос о необходимости определенных ограничений для научных исследований. Первыми подобные мнения высказали сами ученые, в частности биологи. Ведь к этому времени некоторые элементы «технологий Франкенштейна» оказались неотделимы от чистого исследования. Технологии являлись продолжением научных исследований и даже — как это случилось с расшифровкой генома человека, иначе говоря, плана по определению всех генов человеческой наследственности — фактически служили основой исследований. Критика подрывала незыблемые ранее (а для многих и сейчас) принципы научного исследования, а именно: за вычетом некоторых незначительных уступок общественной морали *, наука должна заниматься поиском истины, куда бы ни привел ее этот поиск. Ученые не несут ответственности за те выводы, которые военные и политики сделают из результатов их исследований. При этом, как отметил один американский ученый в 1992 году, «все крупные американские ученые, с которыми я знаком, получают прибыль от биотехнологий» (*Lewontin, 1992, p. 37, p. 31—40*), или, по словам другого ученого, «центральной проблемой научных исследований сегодня является проблема авторства» (*ibid., p. 38*). Все это делало чистоту поиска научной истины еще более сомнительной.

Таким образом, фокус сместился с проблемы поиска истины на невозможность отделить истину от условий ее поиска и последствий ее практического применения. При этом спор шел преимущественно между оптимистами и пессимистами в отношении человеческой природы. Сторонники ограничений или самоограничений в научных исследованиях исходили из того, что человечество в его современном состоянии не способно управлять оказавшимися в его распоряжении колоссальными возможностями и даже не способно верно оценить тот риск, который они с собой несут. Ведь даже маги, желавшие полной свободы для своих изысканий, не доверяли своим ученикам. Требования безграничной свободы «применимы к научным исследова-

* Особенно таких, как ограничения на эксперименты над людьми.

ниям, а не к последствиям их практического применения, некоторые из которых должны быть ограничены» (*Baltimore, 1978*).

И тем не менее все эти аргументы не достигали цели. Ведь ученые прекрасно понимали, что научные исследования не бывают безгранично свободными хотя бы потому, что зависят от всегда ограниченных ресурсов. И вопрос даже не в том, будет ли кто-нибудь указывать ученым, что им делать, а в том, кто должен вырабатывать подобные ограничения и на каком основании. Для многих ученых, чьи исследовательские центры прямо или косвенно получали средства из общественных фондов, такой контролирующей инстанцией являлось правительство. А критерии правительств, при всей их искренней приверженности ценностям свободного исследования, весьма далеки от критериев Планка, Резерфорда или Эйнштейна.

Приоритетами правительства по определению не могли быть приоритеты «свободного исследования», особенно когда исследование было дорогостоящим. А с завершением глобального экономического бума, при значительном сокращении доходов, даже правительствам самых богатых стран пришлось экономить. Приоритетами правительств не были и приоритеты «прикладных исследований», в которых было занято подавляющее большинство ученых, поскольку такие исследования проводились не с целью «увеличения объема знания» (хотя это и могло быть результатом подобных исследований), но из-за необходимости достижения определенных практических результатов — например, поиска лекарства от рака или СПИДа. Участники подобных исследовательских проектов нередко занимались не тем, что интересно лично им, но тем, что считалось общественно полезным или экономически выгодным, или тем, для чего нашлись деньги. Хотя они и не теряли надежду, что все это в итоге приведет их к фундаментальным исследованиям. В таких обстоятельствах было нелепо кричать о невыносимых ограничениях на научные исследования, ссылаясь на то, что человек от природы является существом, которому необходимо «удовлетворять любопытство, потребность в исследованиях и экспериментировании» (*Lewis Thomas in Baltimore, p. 44*), или что к вершинам знания необходимо стремиться только потому, что, как говорят альпинисты, «они есть».

На самом деле наука (а под «наукой» большинство людей понимает именно точные науки) являлась слишком значительной и мощной силой, необходимой для жизни общества в целом и его «казначеев» в частности, чтобы быть предоставленной самой себе. Парадокс заключался в том, что в конечном счете вся мощь технологий двадцатого века и построенная на ней экономика все больше зависели от относительно небольшого числа людей, для которых далеко идущие последствия их деятельности являлись побочными и часто тривиальными. Для этих людей полет человека на Луну или передача в Дюссельдорф через спутник футбольного матча из Бразилии представляли гораздо

меньший интерес, чем открытие радиошума, отмеченного во время поиска феноменов, мешающих коммуникации, и подтвердившего теорию происхождения Вселенной. Но, подобно греческому математику Архимеду, они знали, что живут и работают в мире, который их не понимает и не интересуется их деятельностью. Их призывы к свободным исследованиям были подобны *cri de coeur* Архимеда: «Во имя богов, не наступите на мой круг», обращенному к римским солдатам, для защиты от которых он изобрел военные машины и на которых не соизволил обратить внимание, когда те хотели его убить. Все это было понятно, но не имело никакого отношения к реальной жизни.

Ученых защищали только созданные ими для изменения реальности силы. Ведь оказалось, что эти силы зависели от того, насколько во многих отношениях непостижимая и привилегированная элита — непостижимая даже в конце столетия, хотя бы даже из-за своего относительного равнодушия к внешним проявлениям власти и богатства — имела возможность заниматься своим делом. Всем государствам, которые в двадцатом веке мешали этой элите, пришлось пожалеть об этом. И потому все правительства финансировали естественные науки, которые — в отличие от искусства и большинства гуманитарных наук — не могли эффективно функционировать без материальной поддержки, и, насколько это возможно, не вмешивались в деятельность ученых. Но правительства интересуют не Истина (за исключением диктатур и режимов религиозного фундаментализма), но инструментальная истина. В лучшем случае правительства могут поощрять «чистые» (т. е. бесполезные на данный момент) исследования, поскольку они могут в один прекрасный день вылиться во что-нибудь полезное, или из соображений национального престижа, для которого Нобелевские премии важнее даже олимпийских медалей и пока еще ценятся выше. На таком вот фундаменте и было воздвигнуто победоносное здание научных исследований и теорий, благодаря которым двадцатый век останется в истории человечества не только веком трагедий и катастроф, но и веком духовного прогресса.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

На пути к третьему тысячелетию

Мы стоим на пороге эры величайшей неопределенности, нескончаемых конфликтов и отсутствия элементарного *status quo*. ⟨...⟩ По-видимому, мы переживаем один из тех всемирных исторических кризисов, которые описывал Якоб Буркхардт. Хотя мы сегодня и обладаем более эффективными средствами для борьбы с такими явлениями, современный кризис ничуть не менее серьезен, чем кризис, имевший место после 1945 года. Разве что сегодня нет победителей и побежденных — даже в Восточной Европе.

М. Штюмер (Bergedorf, 1993, p. 59)

Проект социализма и коммунизма провалился, но не исчезли проблемы, которые он пытался решить: бесстыдное использование социальных привилегий и безграничная власть денег, нередко направляющие сам ход событий. И если опыт двадцатого века не послужит человечеству должным уроком, то в будущем кровавый смерч рискует повториться с новой силой.

*Александр Солженицын
в интервью газете «New York Times», 28 ноября 1993 (Solzhenitsyn, 1993)*

Стать свидетелем распада трех государств — необыкновенная удача для писателя. Я видел падение Веймарской республики, фашистского режима и ГДР, но вряд ли проживу достаточно долго, чтобы увидеть распад ФРГ.

Хайнер Мюллер (Muller, 1992, p. 361)

I

«Короткий двадцатый век» заканчивается проблемами, решения которых никто пока не знает. На ощупь пробираясь сквозь окутавший их глобальный туман, люди, которым выпало жить в конце двадцатого века, с уверенностью знали только одно — завершилась историческая эпоха. А больше они не знали практически ничего.

Так, впервые за последние двести лет мир 1990-х годов не имел системы или структуры международных отношений. Сам за себя говорит тот факт, что после 1989 года, в отсутствие какого бы то ни было независимого механизма определения границ и без третьих сторон в роли беспристрастных посредников, возникли десятки новых государств. Где былое сообщество великих держав, устанавливавшее или, по крайней мере, формально утверждавшее спорные границы? Где победители Первой мировой войны, надзиравшие за перекраиванием карты Европы и мира, где-то просто проводя новую границу, а где-то настаивая на плебисците? (И где, наконец, хорошо знакомые дипломатам прошлого международные конференции, совершенно не похожие на построенные по законам рекламного бизнеса короткие саммиты под вспышки фотокамер, которые пришли им на смену?)

И что вообще представляли собой «мировые державы» конца второго тысячелетия, прежние или новые? Только США могли считаться великой державой в том смысле, как это понималось в 1914 году. Но что это означало на практике, было не вполне ясно. Территория России уменьшилась до размеров середины семнадцатого века. Никогда еще со времен Петра Великого политический вес России не был таким незначительным. Великобритания и Франция превратились в государства регионального масштаба, хотя и обладающие ядерным оружием. Германия и Япония в экономическом отношении, безусловно, представляли «великими державами», но при этом не считали необходимым подкреплять, как раньше, свое экономическое могущество военной мощью, даже когда им предоставляли такую возможность, хотя никто и не знал, к чему это могло привести. А каким оказывается международный политический статус недавно возникшего Европейского союза, претендующего на некую общую политическую стратегию, но совершенно не способного обзавестись таковой, в отличие, например, от консолидированного экономического курса? И вообще — далеко не ясно, не прекратят ли к концу первой четверти двадцать первого века свое существование многие современные государства.

Не определены были задачи игроков на международной арене; следовательно, неясным казался характер глобальных опасностей. В течение «короткого двадцатого века» мировые войны, как «холодные», так и обычные, велись великими державами и их союзниками по все более ужасающим сценариям массового уничтожения, с риском завершиться ядерной катастрофой, спровоцированной мировыми гигантами. К счастью, ее удалось избежать. Каким бы ни было будущее, сам факт исчезновения или трансформации всех великих держав, за исключением одной, означает, что третья мировая война прежнего типа маловероятна.

Однако эпоха войн отнюдь не завершилась. События 1980-х годов, а именно англо-аргентинская война 1983 года и ирано-иракская война 1980—

1988 годов, свидетельствуют о постоянной угрозе новых конфликтов, не имеющих никакого отношения к глобальному столкновению сверхдержав. Человечество давно не знало такого числа вооруженных операций в Европе, Азии и Африке, как после 1989 года, причем далеко не все они официально считались войнами. Речь идет о вооруженных конфликтах в Либерии, Анголе, Судане, на Африканском Роге, в бывшей Югославии, в странах Кавказа и Закавказья, на вечно тлеющем Ближнем Востоке, в бывших советских республиках Средней Азии и в Афганистане. Поскольку далеко не всегда было ясно, кто с кем и почему воюет, подобные случаи национального распада и дезинтеграции зачастую не подходили под классическое определение «войны», международной или гражданской. Тем не менее жители этих стран вряд ли считали, что живут в мирное время, особенно если совсем недавно они вели нормальный образ жизни, как это было, например, в Боснии, Таджикистане и Либерии. Кроме того, как показали события на Балканах в начале 1990-х годов, не существует четкой границы между внутренними региональными конфликтами и легко узнаваемой войной старого типа, в которую они часто перерастают. В целом глобальная угроза войны никуда не исчезла. Она просто приняла иную форму.

Несомненно, жители стабильных, влиятельных и благополучных стран (например, Евросоюза в отличие от соседней проблемной зоны, Скандинавских стран в отличие от бывшей советской территории Балтийского побережья) считали себя надежно защищенными от подобных кровавых столкновений, но то было обманчивое впечатление. Традиционно устойчивые государства-нации сами переживали серьезный кризис, сделавший их достаточно уязвимыми для различного рода негативных воздействий. Разумеется, им не грозили скорый распад и дезинтеграция, но их серьезно ослабил новый феномен, обозначившийся во второй половине двадцатого века: развитые страны лишились монополии на эффективное применение насилия, что является главным критерием политического веса любого государства. Итогом этого стала демократизация (или приватизация) средств уничтожения, а также приход насилия и разрушения *во все* уголки земного шара.

Деятельность ИРА в Великобритании и попытка взорвать Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 1993 году показали, что небольшие группы политических (или любых других) диссидентов способны сеять смерть и разрушения практически где угодно. Вплоть до конца «короткого двадцатого века» ущерб, причиненный террористическими организациями, в целом оставался весьма скромным — если не считать потерь, которые несли страховые компании. Ведь неофициальный терроризм, в отличие от боевых действий, ведущихся государством, носил избирательный характер, поскольку его цели (если они вообще были) являлись скорее политическими, чем военными. Террористы, как правило — когда речь не шла об организации взрывов в обществен-

ных местах,— использовали оружие, предназначенное для единичных, а не для массовых убийств. С другой стороны, на международных рынках оружия достаточно легко можно было приобрести и атомную бомбу, а также материалы и технологии для ее создания. И не существовало причин, мешавших террористическим организациям воспользоваться этим.

В результате подобной демократизации средств уничтожения значительно возросли расходы на борьбу с терроризмом. В частности, правительству Великобритании, столкнувшемуся с вооруженным сопротивлением нескольких сотен католических и протестантских экстремистов в Северной Ирландии, пришлось поддерживать порядок при помощи двадцати тысяч солдат, восьми тысяч специально обученных полицейских и ассигнований в размере трех миллиардов фунтов стерлингов в год. Примерно так же обстояло дело в ситуации небольших военных конфликтов, вспыхивавших вблизи границ благополучных государств. Много ли можно привести примеров, когда даже самые богатые страны в течение долгого времени оказывались в состоянии поддерживать такие траты?

Некоторые конфликты, разгоревшиеся сразу после окончания «холодной войны», особенно в Боснии и Сомали, сделали достаточно очевидной эту неощущаемую ранее ограниченность государственной власти. Все вышесказанное проливает свет на потенциальный источник международной напряженности в третьем тысячелетии — стремительно расширяющуюся пропасть между богатыми и бедными странами. Богатые ненавидят бедных, и наоборот. В частности, исламский фундаментализм был движением, направленным не столько против модернизации по западному образцу, сколько против «Запада» как такового. Не случайно активисты подобных движений нападали на западных туристов, как это случилось в Египте, или убивали местных жителей, выходцев с Запада, как в Алжире. В свою очередь, в богатых странах ксенофобия была направлена в основном против иммигрантов из стран третьего мира, так что в конце концов Европейский союз закрыл свои границы для многочисленных бедных граждан развивающихся стран, ищущих работу. Даже в США появились признаки серьезной оппозиции к привычной терпимости по отношению к неконтролируемой иммиграции.

И тем не менее с политической и военной точки зрения ни одна из сторон не могла полностью подчинить себе другую. Почти каждый прямой конфликт между государствами Севера и Юга заканчивался неизбежной победой Севера благодаря его богатству и значительному техническому превосходству, как это убедительно показала в 1991 году война в Персидском заливе. Даже наличие нескольких ядерных боеголовок у той или иной страны третьего мира, равно как и средств их доставки, вряд ли служило эффективным сдерживающим фактором. Ведь западные государства — как видно на примере Израиля и антииракской коалиции — оказались и готовы, и способны наносить упре-

ждающие удары по своим потенциальным противникам, на тот момент еще слишком слабым. С военной точки зрения Запад вполне мог обращаться с третьим миром как с «бумажным тигром», по выражению Мао.

И все же во второй половине «короткого двадцатого века» становилось все более очевидным, что Запад выигрывает у стран третьего мира битвы, но не войны, или, скорее, что военные успехи, если таковые были, не гарантировали последующего контроля над побежденными территориями. В прошлом осталось главное преимущество империализма: готовность населения колоний после завоевания покорно повиноваться небольшой группе завоевателей. Империи Габсбургов не составляло труда управлять Боснией и Герцеговиной, но в начале 1990-х годов военные советники западных правительств предупредили, что контроль над этим раздираемым войной регионом потребует присутствия в течение неопределенного времени нескольких сотен тысяч солдат, т. е. мобилизации, сравнимой с крупномасштабной войной. Управлять колонией Сомали всегда было нелегко, один раз англичане даже были вынуждены прибегнуть к военной силе, и все же ни Лондону, ни Риму тогда не казалось, что Мухаммед бен Абдалла, знаменитый «Безумный мулла» — постоянный источник беспокойства для колониальных властей. Но в начале 1990-х годов несколько десятков тысяч американских и ооновских солдат бесславно покинули эту африканскую страну, столкнувшись с перспективой бессрочной и бессмысленной оккупации. Даже военная мощь США оказалась бессильной, когда на соседнем Гаити (который традиционно являлся сателлитом Вашингтона и зависел от него экономически) местный генерал, командующий армией, вооруженной американским оружием и сформированной по американскому образцу, воспрепятствовал возвращению законно избранного и (неохотно) поддержанного Америкой президента, фактически подталкивая США к оккупации острова. Американцы, в свою очередь, отказались оккупировать Гаити — как они уже делали с 1915 по 1934 год, — вовсе не потому, что тысяча одетых в военную форму головорезов гаитянской армии представляла серьезную военную угрозу, а из-за того, что не знали, как решить гаитянские проблемы с помощью внешней интервенции.

В целом «короткий двадцатый век» завершился международной нестабильностью не вполне ясного свойства. При этом не было сформировано никаких механизмов по ее преодолению либо контролю над ней.

II

Причиной тому была не только неподдельная глубина и серьезность международного кризиса, но и явный провал всех программ — как старых, так и новых — по улучшению человеческого удела.

«Короткий двадцатый век» можно уподобить эпохе религиозных войн; при этом самыми кровавыми и воинствующими оказались светские «религии», возникшие в девятнадцатом веке, например социализм и национализм, в которых место божественного начала заняли абстрактные идеи или «великие вожди». Возможно, еще до завершения «холодной войны» распространение крайних форм подобного светского обожествления пошло на убыль. Речь идет прежде всего о различных вариациях культа личности, которые, если можно так выразиться, превратились из вселенских церквей в разрозненные и конфликтующие друг с другом секты. Причина их мощного воздействия на массы заключалась не столько в способности вызывать переживания, сходные с переживаниями верующих традиционных религий,— на что, кстати, никогда не претендовала идеология либерализма,— сколько в обещании решить важнейшие проблемы человеческого сообщества. И именно к концу двадцатого века стала бесспорной полная несостоятельность таких притязаний.

Развал Советского Союза привлек внимание прежде всего к краху советского коммунизма, т. е. к попытке построить экономическую систему на абсолютной собственности государства на средства производства и всеобъемлющем централизованном планировании, в обход рынка и нормального ценообразования. Все иные исторические формы социализма также закладывали в основу экономики общественную (хотя не обязательно государственную) собственность на средства производства, распределения и обмена и полный отказ от частного предпринимательства и рыночного распределения ресурсов. Так что крах советского коммунизма, в свою очередь, подорвал надежды некоммунистического социализма, хотя такие режимы и правительства далеко не всегда открыто провозглашали социалистические идеалы. На сегодня остается открытым вопрос: есть ли будущее у какой-либо из форм марксизма, в котором коммунизм черпал свое интеллектуальное обоснование и вдохновение? Но очевидно, что если бы Маркс (несомненно, один из величайших мыслителей человечества) прожил бы несколько дольше, то все версии марксизма, сформулированные после 1890-х годов в качестве программ политической борьбы или социалистического движения, подверглись бы значительной переработке.

С другой стороны, так же явно потерпела крах и другая утопия, противоположная советскому коммунизму. Имеется в виду слепая вера в экономику, в которой ресурсы *целиком и полностью* распределяются неконтролируемым рынком в условиях неограниченной конкуренции. Считалось, что такое положение вещей приведет не только к появлению максимального количества товаров и услуг, но и к максимальной сумме человеческого счастья, а значит, создаст единственное общество, достойное именоваться «свободным». Но общество *laissez-faire* в чистом виде никогда не существовало. В отличие от со-

ветской утопии, вплоть до 1980-х годов никто не предпринимал попыток воплотить эту либеральную утопию в жизнь. В течение почти всего «короткого двадцатого века» либеральная идея бытовала в основном в качестве удобной платформы, позволяющей критиковать низкую эффективность существующих экономических систем, а также усиление государственной власти и бюрократизм. На Западе наиболее последовательная попытка такого рода принадлежала Маргарет Тэтчер, причем экономическая несостоятельность этого режима стала общепризнанной еще до ее отставки и даже в Великобритании его приходилось вводить с некоторой постепенностью. Когда же политикой *laisser-faire* стремились заменить экономические системы советского типа — в сжатые сроки и посредством «шоковой терапии», рекомендованной западными консультантами, — результаты оказывались экономически плачевными и социально и политически губительными. Ибо теоретические основания неолиберальной теологии, несмотря на все свое изящество, были весьма далеки от реальности.

Крах советской модели утвердил сторонников капитализма в убеждении, что экономика не может эффективно работать без фондовой биржи. В свою очередь, крушение либеральной модели укрепило сторонников социализма в более обоснованной уверенности в том, что разнообразные человеческие отношения, включая экономические, слишком важны для общества, чтобы отдавать их на произвол рынка. К тому же экономисты-скептики отрицали прямую зависимость между экономическими успехами той или иной страны и наличием в ней выдающихся экономических талантов*. При этом весьма вероятно, что наши потомки сочтут противопоставление капитализма и социализма как полярных и взаимно исключаящих друг друга систем пережитками идеологической и религиозной «холодной войны» двадцатого века. Это противопоставление может показаться им таким же неинтересным, какими в восемнадцатом и девятнадцатом веках казались те споры об истинной сущности христианства, что велись между католиками и реформаторами различного толка в шестнадцатом и семнадцатом веках.

Но в еще большей растерянности пребывали сторонники программ и экономических политик промежуточного или смешанного типа, которым были

* Можно даже предположить наличие обратной зависимости. Например, Австрия до 1938 года отнюдь не являлась символом экономического процветания, несмотря на одну из самых знаменитых школ экономической мысли. Она добилась значительных экономических успехов только после Второй мировой войны, когда там вряд ли проживал хотя бы один экономист с мировым именем. Германия, в университетах которой не преподавались признанные во всем мире экономические теории, ничуть от этого не пострадала. Сколько цитат из трудов южнокорейских или японских экономистов можно найти в обычном номере «*American Economic Review*»? Имеется и обратный пример. Это Скандинавские страны — социал-демократические, процветающие и располагающие самыми известными на сегодняшний день экономическими кадрами.

обязаны своим существованием главные «экономические чудеса» двадцатого века. Такие модели прагматично сочетали общественное и частное, рынок и планирование, государство и бизнес — в соответствии с местными условиями и идеологиями. В этих случаях речь шла не о претворении в жизнь некоей искусственно созданной, интересной и убедительной модели, которая вполне могла быть теоретически правдоподобной; целью подобных программ являлись практические успехи, а не теоретическая последовательность. «Десятилетия кризиса» продемонстрировали ограниченность экономических подходов «золотой эпохи», но — на тот момент — не сумели предложить убедительные альтернативы. Они помогли выявить неожиданные и порой весьма драматичные социальные и культурные ограничения всемирной экономической революции, развернувшейся после 1945 года, а также ее потенциально катастрофические экологические последствия. Иначе говоря, они показали, что институты, создаваемые человеческими коллективами, утратили контроль над коллективными последствиями человеческих поступков. И действительно, одна из причин краткой популярности неолиберальной утопии заключалась именно в том, что она предлагала обойтись без подобных институтов коллективного принятия решений. Пусть индивидуумы стремятся к своим целям без всяких ограничений — и, к чему бы это ни привело, результат все равно будет наилучшим из всех возможных. И, как не вполне убедительно доказывали сторонники такой политики, остальные программы все равно окажутся еще хуже.

В то время как программные идеологии конца девятнадцатого и начала двадцатого века на исходе тысячелетия переживали разброд и шатания, традиционные религии — древнейший вид духовного утешения страждущих — тоже ничего не могли предложить взамен. Религии Запада сдавали свои позиции даже в тех странах — и прежде всего в США, — где посещение церкви и следование религиозным ритуалам все еще считалось обычным делом (*Kosmin/Lachman, 1993*). Пришли в упадок многие течения протестантизма. Церкви и часовни, построенные в начале двадцатого века, в конце столетия пустовали или же использовались не по назначению даже в таких местах, как Уэльс, где Церковь способствовала формированию национальной идентичности. Мы уже видели, что с начала 1960-х годов католицизм стремительно приходит в упадок. Даже в бывших коммунистических странах, где Церковь стала символом оппозиции непопулярным режимам, после падения коммунизма католические «овцы» так же отбились от пастырей, как и повсюду. Некоторые обозреватели считают возможным религиозное возрождение на постсоветском православном пространстве, но к концу двадцатого века не появилось убедительных свидетельств этого маловероятного, хотя и возможного развития событий. Во всем мире все меньше мужчин и женщин следуют учению Христа, несмотря на все его достоинства.

При этом упадок традиционных религий, по меньшей мере в развитых урбанизированных странах, не компенсировался подъемом воинствующего сектантства или появлением новых культов, служащих иррациональным прибежищем в мире, который невозможно понять и контролировать. Несмотря на широкую известность подобных сект, культов и верований, их популярность была относительно невелика. В Великобритании только 3—4 % евреев принадлежали к различным ультраортодоксальным сектам и группам. И не более 5 % взрослого населения США входило в воинствующие или миссионерские секты (*Kosmin, Lachman, 1993, pp. 15—16*)*.

А вот в третьем мире и на его границах сложилась совершенно иная ситуация — за исключением, видимо, Дальнего Востока, жители которого из-за влияния конфуцианства в течение тысячелетий оставались невосприимчивыми к официальной религии. Казалось весьма вероятным, что как только широкая публика начнет активно участвовать в общественной жизни своих стран, традиционные религиозные учения, основанные на обыденном восприятии окружающего мира, приобретут особое значение. Так и случилось в последние десятилетия двадцатого века, когда малочисленные секуляризированные и модернизированные элиты таких стран, еще недавно способствовавшие их приобщению к Западу, оказались оттесненными на периферию (см. главу 12). Политизированные религии Востока приобретали еще большую привлекательность благодаря тому, что они, практически по определению, выступали врагами западной цивилизации, которая казалась главным фактором социального распада, и богатых и безбожных стран Запада, как никогда эксплуатировавших бедные страны. А поскольку подобные движения неизменно были направлены против вестернизированных представителей высших слоев с их «мерседесами» и эмансипированными женщинами, в эту борьбу привносилось классовое звучание. На Западе их обозначают привычным (но не вполне удачным) термином «фундаментализм». Но как бы они ни назывались, подобные движения всегда брали за образец более простую, стабильную и понятную эпоху воображаемого прошлого. Поскольку пути назад, «во время оно», не было — а подобным идеологиям нечего было сказать по поводу современных проблем, не имеющих никакого отношения к проблемам пасторальных кочевников древнего Востока, — они оказались не в состоянии предложить никаких эффективных рецептов. Фундаментализм скорее стал симптомом недуга, каким венский остроумец Карл Краус называл психоанализ — «заболеванием, которое ошибочно считают лекарством от этого заболевания».

* Я учитывал здесь последователей только тех учений, которые относят себя к «пятидесятникам», «церквам Христа», «свидетелям Иеговы», «адвентистам седьмого дня», «ассамблеям Господа», «церкви святости», «заново рожденным» и «харизматикам».

Сказанное верно и в отношении того вороха лозунгов и эмоций — не заслуживающих даже названия идеологии,— которые расцвели пышным цветом на развалинах институтов и идеологий прошлого, подобно тому как зарастали сорняками руины европейских городов после бомбардировок Второй мировой войны. Речь идет о ксенофобии и всевозможных попытках самоидентификации. Бежать от враждебного настоящего — отнюдь не значит решить или хотя бы сформулировать его насущные проблемы (см. главу 14). И действительно, наиболее близкая к подобному подходу политическая программа, а именно отстаиваемое Вильсоном и Лениным «право нации на самоопределение» для предположительно однородных в этническом, лингвистическом и культурном отношении «наций», к началу нового тысячелетия свелась к жестокому и трагичному фарсу. В начале 1990-х годов, возможно, впервые с начала двадцатого века, обозреватели-реалисты независимо от своих политических пристрастий (речь здесь не идет о малочисленных группах националистов) открыто заговорили об отказе от «права на самоопределение»*.

В очередной раз сочетание интеллектуальной пустоты и сильных, даже отчаянных, массовых эмоций оказалось мощным политическим оружием, крайне эффективным во времена кризисов, неопределенности и — на значительной части земного шара — распада государств и общественных институтов. Подобно послевоенному ожесточению, некогда породившему фашизм, религиозно-политическое брожение в странах третьего мира вкупе с тоской по самоидентификации и общественному порядку (а призывы к «единению» часто сопровождалось призывами к «порядку») создали необходимую почву для появления новых, весьма действенных политических сил. В свою очередь, эти силы иногда свергали прежние режимы и создавали новые. При этом они были столь же неспособны предложить эффективные решения проблем нового тысячелетия, как фашизм, не умевший справиться с проблемами «эпохи катастроф». В конце «короткого двадцатого века» было даже не совсем ясно, способны ли они организовать массовые национальные движения того масштаба, какой сделал некоторые фашистские движения социально опасными еще до того, как они добрались до решающего орудия — государственной власти. Основным достоинством таких режимов, видимо, являлась их

* Сравните пророчество 1949 года русского эмигранта Ивана Ильина (1882—1954), который размышлял о последствиях «жесткого этнического и территориального размежевания» в постбольшевистской России. «В лучшем случае появится несколько отдельных государств, причем ни у одного из них не будет бесспорных границ, наделенного настоящей властью правительства, законов, судов, армии или этнически однородного населения. По сути это окажется набором ярлыков. И в течение последующих десятилетий будут постепенно формироваться новые государства — в результате процессов отделения или дезинтеграции. Каждое из них вступит со своими соседями в долгую борьбу за территорию и население, и Россия погрузится в бесконечную череду гражданских войн» (цит. по: *Chiesa, 1993, p. 34, 36—37*).

невосприимчивость к академической экономической теории и антигосударственной риторике либерализма, идентифицирующей со свободным рынком. Если бы текущие задачи потребовали повторной национализации промышленности, то теоретические аргументы их не остановили бы — если они вообще могли их понять. Но даже при всей своей небесспорной готовности что-то предпринять, они ничуть не лучше всех остальных знали, что именно надо делать.

III

Конечно же, автор этой книги знал это не лучше других. А между тем некоторые тенденции кажутся настолько очевидными, что представляется возможным выделить самые важные международные проблемы и даже указать на некоторые предпосылки их решения.

Самыми важными и в долгосрочной перспективе решающими выступают две проблемы: демографическая и экологическая. Ожидается, что население земного шара, колоссально возросшее с середины двадцатого века, стабилизируется на отметке десять миллиардов человек (что в пять раз превышает численность населения в 1950 году) примерно к 2030 году, в основном за счет снижения рождаемости в странах третьего мира. Если этот прогноз окажется неверным, будущее становится еще более неопределенным. Если же допустить правильность этого прогноза, то немедленно возникнет новая глобальная проблема — как поддержать численность населения (или, скорее, флуктуации его численности) примерно на одном уровне. (Значительное снижение численности населения земного шара, маловероятное, но все-таки возможное, породило бы сложности другого рода.) При этом предполагаемый рост населения неизбежно привел бы к его неравному распределению в различных регионах. В целом, как и в «коротком двадцатом веке», численность населения прежде всего стабилизируется в богатых и развитых странах. Причем в некоторых развитых странах население даже не будет воспроизводиться, как это было, например, в 1990-е годы.

Развитые государства с их многочисленными пенсионерами и малочисленными детьми, окруженные бедными странами, обремененными огромной армией молодежи, стремящейся к скромным заработкам за границей, по стандартам Сальвадора или Марокко кажущимся баснословными, столкнутся с неизбежным выбором. Им придется либо разрешить массовую иммиграцию (которая вызовет напряженность в обществе), либо наглухо отгородиться от пришельцев, которые им необходимы (что в долгосрочной перспективе непрактично), либо придумать что-то еще. Наиболее вероятным выходом из этого тупика было бы разрешение временного проживания в стране на опре-

деленных условиях, без предоставления гражданских социальных и политических прав — т. е. создание неэгалитарных обществ. Подобные сценарии варьируют от режима откровенного апартеида, как в ЮАР или Израиле (отвергнутого, кстати, далеко не всеми государствами), до неформальной терпимости к иммигрантам, которые, сохраняя приверженность исторической родине, не предъявляют никаких претензий к принимающей их стране, рассматривая последнюю исключительно как временный источник дохода. Транспорт и средства коммуникации двадцатого века, а также огромная разница в заработках между бедными и богатыми странами делают подобную двойственность существования вполне возможной. Предоставим же вечным оптимистам и утратившим иллюзии скептикам судить о том, приведет ли все это в отдаленном либо ближайшем будущем к смягчению трений между гражданами богатых стран и иммигрантами из стран бедных.

Ибо такие трения, без всякого сомнения, окажут самое значительное влияние на национальную и международную политику ближайших десятилетий.

Экологические проблемы, очень важные в перспективе, в рассматриваемый период еще не казались слишком уж страшными. Разумеется, их не стоит недооценивать, хотя с начала 1970-х годов, когда они прочно вошли в общественное сознание и стали темой публичных дебатов, их нередко (и ошибочно) рисовали в апокалиптических тонах. Однако то обстоятельство, что «парниковый эффект» к 2000 году едва ли погубит Бангладеш и Нидерланды, а исчезновение некоторых видов животных и растений в истории Земли никогда не было редкостью, конечно же, не повод для оптимизма. Стремление поддерживать на прежнем уровне экономический рост конца двадцатого века (если допустить такую возможность) будет иметь необратимые и, вероятно, катастрофические последствия для природы и человечества, которое является ее частью. Это не приведет к разрушению нашей планеты и не сделает ее абсолютно непригодной для жизни, но определенно изменит сам способ существования биосферы и вполне может сделать ее непригодной для жизни вида *homo sapiens* в нынешнем количестве. Кроме того, порожденная развитием техники способность человека изменять окружающую среду такова, что даже при сохранении сегодняшних темпов экономического роста время, отведенное нам на решение экологической проблемы, измеряется скорее десятилетиями, чем столетиями.

Касаясь нашего ответа на приближающийся экологический кризис, с полной определенностью можно констатировать лишь три обстоятельства. Прежде всего, человечеству следует выработать единую глобальную стратегию, несмотря на то что более эффективными порой представляются меры локального характера — например, стремление заставить 4 % населения земного шара, проживающие в США (крупнейший источник загрязнения), платить за бензин столько, сколько он действительно стоит. Во-вторых, цели экологиче-

ской политики должны быть радикальными и реалистичными одновременно. Данному критерию, кстати, совершенно не соответствуют сугубо коммерческие решения — в частности, желание включить издержки по защите окружающей среды в потребительскую стоимость товаров и услуг. Опыт США свидетельствует, что даже самые умеренные попытки увеличить налог на потребление энергии могут вызвать непреодолимые политические сложности. Динамика роста цен на энергоносители с 1973 года показала, что в обществе свободной рыночной экономики следствием двенадцати- или даже пятнадцатикратного увеличения цен на нефть в течение шести лет стало не снижение потребления энергии, а более эффективное ее использование. При этом значительно возросли инвестиции в разработку новых и часто экологически спорных источников невозполнимого ископаемого топлива. Но использование таких источников, в свою очередь, вновь привело бы к снижению цен, а значит, спровоцировало бы новый рецидив расточительности. С другой стороны, стремление к нулевому росту, не говоря уже о фантазиях вроде возвращения к так называемому примитивному симбиозу человека с природой, при всем своем радикализме абсолютно нереалистично. В нынешней ситуации нулевой рост приведет лишь к «замораживанию неравенства» между богатыми и бедными странами. Такая перспектива скорее устраивает среднего жителя Швейцарии, чем среднего жителя Индии. Неслучайно экологические проекты находят поддержку в основном у процветающих стран, а также в среде высшего и среднего класса всех государств (за исключением разве что бизнесменов, наживающихся на деятельности, связанной с загрязнением окружающей среды). Бедные и не имеющие работы, число которых неуклонно растет, выступают за дальнейшее «развитие», а не за его ограничения.

И все-таки правы были именно сторонники экологической политики — богатые и не очень. В обозримом будущем темпы экономического развития придется свести к уровню, позволяющему поддерживать его «устойчивость» — несмотря на расплывчатость этого понятия, — а в перспективе установить равновесие между человечеством, потребляемыми им ресурсами и его влиянием на окружающую среду. Сегодня никто не знает, как именно это можно сделать и при какой численности населения, уровне развития техники и потребления станет возможным подобное равновесие. Разумеется, научные исследования укажут бы, как избежать необратимых последствий экологического кризиса, но проблема поиска равновесия является не научно-технической, а социально-политической. С полной уверенностью можно утверждать лишь одно. Подобное равновесие несовместимо с мировой экономикой, при которой бизнес в бесконтрольной погоне за прибылью и конкурентной борьбе по определению интересуется только собственной выгодой. С точки зрения защиты окружающей среды, если человечество намерено выжить, в будущем капитализме «кризисных десятилетий» не найдется места.

IV

Проблемы мировой экономики, если их рассматривать изолированно от всех прочих проблем, за единственным исключением, представлялись менее серьезными. Мировой экономический рост не прекратится и без каких-либо особых мер. Если верна периодизация Кондратьева, то человечество еще до конца второго тысячелетия должно было вступить в новую эру подъема. Впрочем, ее наступление может быть несколько отсрочено из-за дезинтеграции советского социализма, анархии и вооруженных конфликтов в некоторых регионах, а также излишней приверженности идеалам свободной торговли, которая всегда вызывала больше энтузиазма у экономистов, чем у историков экономики. Тем не менее масштабы этой новой экспансии обещали быть огромными. Как мы уже видели, «золотая эпоха» затронула прежде всего страны «развитой рыночной экономики» — а это примерно двадцать государств с совокупным населением около 600 миллионов человек (1960). Глобализация и международное перераспределение производства будут, как предполагалось, продолжаться, вовлекая в мировую экономическую систему большую часть оставшихся 6 миллиардов. Даже закоренелые пессимисты не станут отрицать, что такая перспектива выглядела весьма благоприятной для бизнеса.

Серьезной проблемой, которая портила общую картину, выступало очевидное и необратимое углубление пропасти между бедными и богатыми странами. Этот процесс несколько ускорился из-за отрицательного влияния кризиса 1980-х годов на значительную часть третьего мира, а также пауперизации многих бывших социалистических стран. На фоне резкого роста численности населения в развивающихся государствах эта пропасть будет, скорее всего, увеличиваться. Убеждение неоклассических экономистов, согласно которому неограниченная международная торговля позволит более бедным странам приблизиться в своем развитии к богатым, противоречит как опыту истории, так и здравому смыслу*. Глобализация экономики, которая в течение многих поколений развивалась в рамках растущего неравенства, почти наверняка только усугубит эти проблемы.

Как бы то ни было, экономическая деятельность не существует и не может существовать вне более широкого контекста, а также определяемых ею последствий. Как мы убедились выше, в конце двадцатого века три аспекта мировой экономики внушали вполне обоснованные опасения. Прежде всего, новые технологии продолжали вытеснять человеческий труд из сферы производства товаров и услуг, не создавая взамен достаточного количества рабо-

* Гонконг, Сингапур, Тайвань и Южная Корея, которые обычно приводят в качестве успешных примеров стимулируемой экспортом индустриализации, составляют менее 2% населения стран третьего мира.

чих мест и не гарантируя темпов экономического роста, необходимых для их создания. Поэтому лишь немногие западные аналитики всерьез рассматривали перспективу хотя бы временного возвращения к полной занятости «золотой эпохи». Во-вторых, в то время как труд по-прежнему являлся главным фактором производства, в процессе глобализации экономики индустриальные мощности перемещались из богатых стран с высокой стоимостью труда в страны, чьим основным преимуществом, при прочих равных условиях, были дешевые рабочие руки и мозги. Все это может привести к перераспределению рабочих мест между регионами с высокой и низкой зарплатой и — в соответствии с законами свободного рынка — к падению высокой заработной платы под давлением глобальной конкуренции. Страны ранней индустриализации, в частности Великобритания, скорее всего, начнут эволюционировать в направлении экономик с дешевой рабочей силой, что чревато тяжелыми социальными последствиями. Кроме того, на этой основе им все равно не удастся конкурировать с «новыми индустриальными странами». В прошлом подобные проблемы решались при помощи соответствующей государственной политики, т. е. протекционизма. Однако — и в этом состоит еще один настораживающий аспект мировой экономики *fin de siècle* — бурный рост вкупе с идеологией свободного рынка ослабил или вообще устранил большую часть механизмов, позволяющих сглаживать социальные последствия экономических неурядиц. Мировая экономика постепенно приобретает черты мощного и не поддающегося регулировке двигателя. В итоге неясно, возможно ли его контролировать в принципе, и если да, то кто должен это делать.

Сказанное затрагивает множество экономических и социальных проблем, которые стоят более остро в одних странах — например, в Великобритании — и менее остро в других — например, в Южной Корее.

Основой экономического чуда «золотой эпохи» стало увеличение реальных доходов населения в странах «развитой рыночной экономики» — ведь экономике, основанной на массовом потреблении, требуются многочисленные потребители, способные покупать высокотехнологичные товары длительного пользования*. Большую часть этих доходов составляла заработная плата, полученная на высокооплачиваемых рынках труда. Но теперь само существование таких рынков оказалось под вопросом, хотя наличие многочисленных потребителей было как никогда необходимо для успешного функционирования экономики. Разумеется, в богатых странах потребительский рынок несколько стабилизировался благодаря переходу значительной части рабочей силы из сферы производства в сферу услуг (в которой, как правило,

* Далеко не все знают о том, что доля экспорта развитых стран (за исключением США) в страны третьего мира в 1990 году была меньше, чем в 1938. Запад (включая США) в 1990 году отправлял в третий мир менее 1/5 своего экспорта (*Bairoch, 1993, Table 6.1, p. 75*).

рабочие места более стабильны), а также благодаря значительному росту социальных выплат (по большей части за счет взимаемых государством налогов). В конце 1980-х годов на все эти выплаты приходилось около 30 % совокупного ВВП развитых стран Запада, тогда как в 1920-е годы — менее 4 % (Vairoch, 1993, p. 174). Сказанное, кстати, объясняет, почему обвал фондовой биржи на Уолл-стрит в 1987 году — крупнейший после 1929 года — не привел к мировой депрессии, как в 1930-е годы.

Однако именно эти два стабилизирующих фактора оказались теперь под угрозой. К концу «короткого двадцатого века» западные правительства и ортодоксальные экономисты пришли к заключению, что уровень государственных социальных выплат и пособий слишком высок и требует снижения. В результате обычным явлением стало массовое сокращение занятости в самых стабильных прежде секторах сферы услуг — в государственном секторе и банковских и финансовых структурах с их технологически избыточной офисной занятостью. Все это не содержало в себе непосредственной угрозы мировой экономике, пока относительный упадок прежних рынков компенсировался экспансией в других частях света или пока число людей с растущими доходами увеличивалось быстрее, чем с доходами низкими. Можно высказаться и более резко: если мировая экономика не считается с меньшинством бедных стран, неинтересных и ненужных с экономической точки зрения, то почему она не может отнестись подобным образом и к самым бедным гражданам капиталистического мира, ведь число потенциально интересных потребителей все равно остается достаточно большим! С высоты равнодушия к человеческим нуждам, с которой обзоревают окружающий мир экономисты и финансисты, кому нужны те 10 % населения США, чья почасовая оплата с 1979 года сократилась на 16 %?

В глобалистской перспективе, присущей любой модели экономического либерализма, неравенство в развитии не имеет особого значения, если глобальные результаты являются скорее положительными, чем отрицательными*. С этой точки зрения трудно найти причины, не позволяющие Франции, после расчетов сравнительной себестоимости, отказаться от собственного сельского хозяйства и импортировать все продовольственные товары из-за границы. Или, если это технически осуществимо и выгодно, почему бы не перенести съемки всех телевизионных программ в мире, например, в Мехико? Однако с такой постановкой вопроса вряд ли согласятся те, кто живет не только в мировой, но и в национальной экономике, т. е. все национальные правительства и большинство граждан их стран. И не в последнюю очередь потому, что невозможно избежать социально-политических последствий глобальных экономических сдвигов.

* В целом доказать это можно достаточно часто.

Какой бы ни была природа упомянутых здесь проблем, ничем не ограниченная и неконтролируемая глобальная, свободная, рыночная экономика вряд ли способна их решить. Напротив, более вероятным представляется скорее усиление таких тенденций, как постоянный рост безработицы и неполной занятости. Ведь бизнес, заинтересованный прежде всего в максимизации прибыли, рационально стремится а) к сокращению занятости, поскольку человеческая рабочая сила дороже компьютерной; б) к возможно большему снижению отчислений на социальное страхование или других подобных налогов. И нет ни малейших оснований для предположений, что глобальная, свободная, рыночная экономика справится с этими проблемами. До 1970-х годов национальный и мировой капитализм функционировал в совершенно иных условиях и далеко не всегда успешно. Уже для девятнадцатого века по меньшей мере спорно то, что, «в противовес классической модели, в соответствии с которой свободная торговля, возможно, являлась основной причиной депрессии и протекционизма, она в то же время была и основным источником развития большинства стран, которые сегодня считаются богатыми» (*Bairoch, 1993, p. 164*). А в двадцатом веке экономические чудеса совершались не благодаря экономике *laisser-faire*, а вопреки ей.

И потому было маловероятно, что мода на экономическую либерализацию и «маркетизацию», господствовавшая в 1980-е годы и достигшая пика идеологического самодовольства после распада советской системы, продержится долго. Сочетание мирового экономического кризиса начала 1990-х годов с сокрушительным провалом либеральной экономической политики, использованной бывшими социалистическими странами в качестве «шоковой терапии», охладило пыл многих прежних энтузиастов подобного подхода. И действительно, вряд ли кто-либо раньше мог предположить, что в 1993 году западные экономические советники будут говорить, что «возможно, Маркс был все-таки прав». Однако адекватно оценивать ситуацию мешали два серьезных препятствия. Прежде всего, на тот момент отсутствовала потенциальная политическая угроза капиталистической системе, исходившая ранее от Советского Союза или, в ином роде, от немецкого фашизма. Именно ее наличие, как я попытался показать, и подтолкнуло капитализм к реформам. Исчезновение Советского Союза, упадок рабочего движения, низкая эффективность традиционных войн в третьем мире, переход бедняков развитых странах в малочисленную категорию «деклассированных элементов» — все эти факторы сдерживали реформаторскую инициативу. Впрочем, укрепление позиций ультраправых, а также неожиданная поддержка прежнего режима в бывших коммунистических странах выступали настораживающими факторами, обратившими на себя внимание уже в начале 1990-х годов. Вторым препятствием оказался сам процесс глобализации, который только ускорился в результате разрушения национальных механизмов защиты «жертв» свобод-

ной глобальной экономики от социальных последствий того, что гордо называли «системой построения благосостояния (...) повсеместно признанной наиболее эффективной за всю историю человечества».

Хотя, например, редактор газеты «*Financial Times*» (24/12/93), из которой и взята вышеприведенная цитата, признает, что «на сегодняшний день эта сила все-таки не является совершенной. (...) Примерно две трети населения земного шара практически не выиграли от наращивания темпов экономического роста. Даже в развитых странах граждан с минимальным доходом теперь несколько больше, чем раньше».

По мере того как приближалось третье тысячелетие, становилось все более очевидным, что важнейшая задача современности состоит не в том, чтобы злорадствовать по поводу краха советского коммунизма, но в том, чтобы вновь проанализировать врожденные пороки капитализма. Как нужно изменить капиталистическую систему, чтобы от них избавиться? Поскольку, как заметил Джозеф Шумпетер по поводу циклических флуктуаций капиталистической экономики, «они не похожи на миндалины, которые можно лечить отдельно от всего организма; они подобны биению сердца и сродни самой сущности организма, в котором функционируют» (*Schumpeter, 1939, I, v*).

V

Западные обозреватели отреагировали на распад советской системы, немедленно заявив о вечном триумфе капитализма и либеральной демократии — некоторые не особенно проницательные американские аналитики склонны смешивать эти два понятия. Ибо даже если капитализм конца «короткого двадцатого века» переживал не лучшие времена, коммунизм советского типа, несомненно, был мертв и вряд ли мог возродиться. С другой стороны, ни один аналитик начала 1990-х годов не смотрел на будущее либеральной демократии столь же оптимистично, как на будущее капитализма. С некоторой долей уверенности можно было констатировать лишь то, что большинство государств (за исключением немногочисленных фундаменталистских режимов) продолжают заявлять о своей глубочайшей приверженности демократическим идеям, организуют более или менее свободные выборы и порой терпят формальную оппозицию, понимаемую, впрочем, по-разному*.

* Так, один сингапурский дипломат говорил мне, что развивающимся странам пойдет на пользу некоторая «отсрочка» в утверждении демократии. Когда же демократия наконец устоит, она будет не столь либеральной, как на Западе, но более авторитарной, делающей упор скорее на общественное благо, нежели на права личности. Для такой демократии будет характерно наличие одной-единственной доминирующей партии и — почти всегда — централизованной бюрократии и «сильной государственной власти».

И действительно, наиболее характерной чертой политической ситуации конца двадцатого века является нестабильность. По самым оптимистическим прогнозам, большинство современных государств едва ли сохранят существующий образ правления в течение ближайших 10—15 лет. Даже страны с традиционно предсказуемой системой власти, например Канада, Бельгия или Испания, не могут быть уверены, что сохранятся в качестве единых государств через 10—15 лет; значит, неопределенным является и характер режимов, которые могут прийти им на смену. Иначе говоря, политику вряд ли можно считать благодатным полем для футурологических прогнозов.

И тем не менее выделить основные черты международного политического ландшафта не так уж сложно. Прежде всего, неоднократно отмечалось ослабление роли национального государства — основного политического института со времен «эпохи революции». Причиной тому служила прежняя монополия национального государства на власть и законность, а также концентрация в руках государства различного рода политических инициатив. Ныне его роль оказалась подорванной как изнутри, так и извне. Государство постепенно уступало свои полномочия и функции различным наднациональным образованиям. К тому же распад крупных государств и империй породил множество мелких государств, слишком слабых, чтобы отстаивать свои интересы в эпоху международной анархии. В довершение всего национальные государства теряли монополию на эффективную власть и свои исторические привилегии в рамках собственных границ. Об этом свидетельствует, в частности, развитие частных охранных агентств и курьерских служб, конкурирующих с охранными и почтовыми услугами, которые прежде практически повсеместно осуществляло государство.

Впрочем, государство отнюдь не становилось ненужным, а его деятельность нельзя было считать полностью неэффективной. В каком-то смысле способность национального государства контролировать своих граждан и влиять на их деятельность значительно возросла благодаря современным технологиям. Большинство финансовых и административных транзакций, совершаемых гражданами (за исключением мелких наличных платежей), теперь заносилось в компьютер, а любые виды коммуникаций (кроме частной беседы двух людей на открытом воздухе) стало возможным перехватить и записать. Кроме того, само положение государства изменилось. С начала восемнадцатого века до второй половины двадцатого национальное государство практически непрерывно расширяло сферу своего влияния, возможности и функции. В этом по большей части и состоял процесс «модернизации». Во всех типах режимов — либеральных, консервативных, социал-демократических, фашистских или коммунистических — жизнь граждан практически полностью определялась (за исключением периодов межгосударственных конфликтов) деятельностью или бездействием государства. Даже воздействие на

граждан глобального экономического бума или Великой депрессии благодаря политике государства и его институтов носило опосредованный характер*. В конце двадцатого века национальное государство пытается защититься от влияния мировой экономики, которую оно теперь не в состоянии контролировать, а также от международных институтов, созданных ради преодоления его внешнеполитических слабостей. Оно стремится преодолеть свою очевидную неспособность оказывать гражданам те услуги, которые не сложно было оказывать еще несколько десятилетий назад, а также неготовность выполнять свою основную функцию — поддерживать общественный порядок и законность. А поскольку в процессе своего развития национальное государство взяло на себя и централизовало слишком много разнообразных функций, а также установило для себя весьма высокие стандарты общественного порядка и контроля, то неспособность поддерживать их на прежнем уровне оказалась вдвойне мучительной.

Тем не менее государство (или иная форма власти, представляющей общественные интересы) оставалось как никогда необходимым — прежде всего из-за потребности компенсировать последствия социального и экологического неравенства, порождаемого рыночной экономикой. Кроме того, оно, как это показал опыт реформирования капитализма в 1940-е годы, оставалось востребованным в силу желания обеспечить удовлетворительную работу экономики. Сложно представить, что бы произошло с населением большинства развитых стран без государственных субсидий и перераспределения национального дохода. Ведь экономика этих стран базировалась на постоянно сжимающемся фундаменте работающей части населения, «зажатого» между растущим числом людей, труд которых не востребован высокотехнологичной экономикой, и все увеличивающейся долей неработающих пенсионеров. Нелепо даже предположить, что граждане Европейского союза, чей совокупный доход на душу населения с 1970 по 1990 год вырос на 80%, в 1990 году обладали бы более низким уровнем дохода и благосостояния чем тот, который считался само собой разумеющимся в 1970 году (*World Tables, 1991, p. 8—9*). Но такая ситуация стала возможна прежде всего благодаря поддержке государства. Предположим — а такой сценарий вполне вероятен, — что в результате тенденций, существующих уже сейчас, через двадцать лет появятся экономические системы, в которых работает только четверть населения, а национальный доход в два раза превышает сегодняшний. Кто, кроме государства, сумеет обеспечить минимум дохода и благосостояния для всех? Кто сможет про-

* По мнению Байроха, тот факт, что в 1930-е годы швейцарский ВВП на душу населения упал, а шведский вырос (несмотря на то что Великая депрессия для Швейцарии оказалась менее болезненной), «в значительной степени объясняется социально-экономическими мерами, предпринятыми правительством Швеции, и отсутствием таковых со стороны властей Швейцарии» (*Bairoch, 1993, p. 9*).

тивостоять сползанию в неравенство, столь явно наметившемуся в «десятилетия кризиса»? Судя по опыту 1970—1980-х годов, отнюдь не свободный рынок. Если эти десятилетия чему-то нас научили, так это тому, что крупнейшей глобальной политической проблемой, и особенно в развитых странах, было не умножение национального богатства, а его перераспределение в интересах всего населения. Сказанное справедливо даже для «бедных» стран, добивающихся ускоренного экономического роста. ВВП на душу населения в Бразилии, этом оплоте социального неравенства, в 1939 году почти в 2,5 раза превышал ВВП Шри-Ланки, а в конце 1980-х — почти в 6 раз. Но в Шри-Ланке, которая до конца 1970-х субсидировала сельскохозяйственное производство, а также предоставляла своим гражданам бесплатное образование и медицинское обслуживание, новорожденный в среднем имел возможность прожить на несколько лет больше, чем в Бразилии. В 1969 году детская смертность в Бразилии была в 2 раза выше, чем в Шри-Ланке, а в 1989 году — уже в 3 раза выше (*World Tables*, p. 144—147, 524—527). Процент неграмотных бразильцев в 1989 году в 2 раза превышал соответствующий показатель Шри-Ланки.

И потому именно распределение, а не экономический рост станет крупнейшей политической проблемой нового тысячелетия. Нерыночное выделение ресурсов или, по крайней мере, безжалостное ограничение деятельности рынка совершенно необходимы для предотвращения надвигающегося экономического кризиса. То есть судьба человечества в третьем тысячелетии будет зависеть от восстановления систем общественного регулирования.

VI

В этой связи возникают две основные проблемы. Какими будут природа и сфера компетенции новых органов, принимающих решения? Будут ли они наднациональными, национальными, региональными, глобальными? Или же речь будет идти о той или иной комбинации всех этих уровней? И как будет строиться их взаимодействие с народами, судьбу которых они стремятся решать?

Первая проблема носит в целом технический характер, поскольку необходимые органы власти на данный момент уже существуют, как существуют в теории — но не на практике — модели взаимодействия между ними. Расширяющийся Европейский союз явился своего рода полигоном для апробирования их деятельности, при этом многие конкретные предложения относительно разделения труда между глобальными, наднациональными, национальными и внутринациональными органами власти нередко вызвали неодобрение со стороны какого-нибудь из упомянутых уровней. На данный момент международные органы власти обладают весьма ограниченными полномочиями, хотя и стремятся расширить сферу своего влияния, навязывая свою полити-

ческую и экологическую политику странам, нуждающимся в займах. Евросоюз является уникальным образованием и, будучи продуктом особой и, вероятно, неповторимой исторической конъюнктуры, скорее всего, так и останется уникальным, если, конечно, на месте бывшего Советского Союза не появится сходное политическое образование. Сложно предвидеть темпы расширения полномочий этих наднациональных институтов. Тем не менее такое расширение неизбежно, и можно даже предположить, как именно оно произойдет. Дело в том, что эти органы власти во всем мире уже функционируют через менеджеров гигантских международных финансовых организаций, объединивших ресурсы олигархии самых богатых и влиятельных стран. А поскольку пропасть между бедными и богатыми странами будет только расширяться, возрастет и финансовое влияние соответствующих международных институтов. Проблема заключается в том, что с 1970-х годов Всемирный банк и Международный валютный фонд при политическом содействии США поддерживали непреложные принципы свободного рынка, частного предпринимательства и глобальной свободы торговли. Все это прекрасно подходило для американской экономики двадцатого века и британской экономики середины девятнадцатого века, но совсем не обязательно годится для всего человечества. То есть глобальное регулирование окажется эффективным только при условии отказа великих экономических держав от традиционной политики. Но, по-видимому, в ближайшем будущем подобных изменений не предвидится.

А вот вторая проблема отнюдь не является технической. Мир конца двадцатого столетия, основанный на определенных принципах политической демократии, столкнулся с проблемой выработки политических решений, причем президентские и парламентские выборы не имеют к данной проблеме никакого отношения. В целом мир столкнулся с проблемой роли обычных людей в эпоху, справедливо называемую — во всяком случае, до возникновения феминизма, — «веком простого человека». В двадцатом веке любому правительству следовало — по мнению некоторых, оно было даже обязано — быть «из народа» и «для народа», но в операционном смысле править от «имени народа» становилось все сложнее и сложнее. Впрочем, эта проблема далеко не нова. Хорошо известные политологам и сатирикам политические трудности демократии (отчасти затронутые в предыдущих главах) были всецело осознаны в тот момент, когда всеобщее избирательное право перестало быть особенностью США.

Но затруднения демократии с недавних пор значительно возросли. Общественное мнение, постоянно фиксируемое в социологических опросах и пропагандируемое вездесущими средствами массовой информации, сделалось необычайно действенным политическим фактором, но при этом, однако, органам власти теперь приходилось принимать все больше решений, для кото-

рых общественное мнение никак не могло служить ориентиром. Это могли быть решения, непопулярные у большинства избирателей, причем избиратели, веря в их необходимость для общего блага, нередко считали последствия таких решений вредными для себя лично. В итоге к концу двадцатого века политики некоторых демократических стран пришли к выводу, что любые предложения поднять налоги самоубийственны с электоральной точки зрения, а выборы превратились в соревнования по фискальной безответственности. В то же время избирателям и парламентам постоянно приходилось сталкиваться с вопросами, для решения которых неспециалисты, т. е. подавляющее большинство граждан, просто не имели требуемой квалификации — например, вопросы о будущем атомной энергетики.

Впрочем, в некоторых случаях граждане даже демократических государств настолько идентифицировали себя с целями своих правительств, обладающих легитимностью и пользующихся всеобщим доверием, что в обществе возникло чувство «общих интересов», как, например, в Великобритании времен Второй мировой войны. Можно привести и другие случаи базового консенсуса между основными политическими оппонентами, в результате чего правительства беспрепятственно проводили политику, не вызывавшую значительных разногласий. Мы уже убедились, что такое положение дел было характерно для некоторых западных стран в «золотую эпоху». Правительства также полагались на согласованные оценки своих технических или научных советников, мнения которых совсем нелишни в деле управления простыми людьми. Когда советники приходили к сходным решениям или консенсус в целом превышал разногласия, область политических разногласий сужалась. Когда же эксперты не могли прийти к единому мнению, властям приходилось действовать вслепую, подобно присяжным, внимательно выслушивающим экспертов-психологов со стороны обвинения и защиты, но не доверяющим ни одному из них.

Но мы уже видели, что в «десятилетия кризиса» политический и интеллектуальный консенсус оказался подорванным, особенно в областях, непосредственно связанных с выработкой политических решений. Что касается народов, которые полностью идентифицировали себя со своими правительствами, то к началу 1990-х годов их осталось не так много. Разумеется, в мире немало стран, граждане которых поддерживают идею сильного, активного и социально ответственного государства, наделенного, поскольку оно служит общему благу, свободой действий в определенных сферах. К сожалению, большинство правительств *fin de siècle* имели мало общего с этим идеалом. С другой стороны, те страны, правительства которых сами по себе вызвали подозрение, следовали американской модели индивидуального анархизма, смягченной судебным контролем и политикой лоббирования. Или же — и таких государств достаточно много — власть в этих странах была настолько кор-

румпированной, что граждане вообще не ожидали от нее никакого общественного блага. Такое положение дел было достаточно распространенным во многих странах третьего мира и, как это показали события в Италии 1980-х годов, оказалось не чуждо и развитым странам.

В итоге наиболее эффективно работали те организации, которые вообще не придерживались демократической практики принятия решений: частные корпорации, наднациональные институты и, разумеется, недемократические режимы. В демократической системе не так-то просто отстранить политиков от принятия решений, даже если некоторым странам и удавалось вывести центральные банки из-под их контроля, а здравый смысл требовал распространения подобной практики и на другие страны. Тем не менее правительства все чаще пытались игнорировать чужое мнение, причем как избирателей, так и законодательных органов. Или, во всяком случае, они торопились принять решение, а затем ставили общество перед свершившимся фактом, надеясь на разногласия, непостоянство и инертность общественного мнения. Политика постепенно превращалась в своеобразное упражнение в уклончивости, поскольку политики боялись говорить избирателям то, что те не хотели слышать. При этом после окончания «холодной войны» прятать непопулярные действия за железный занавес «национальной безопасности» стало гораздо сложнее. Стратегия уклончивости, несомненно, будет и дальше набирать силу. Даже в демократических странах институты принятия решений будут все больше выводиться из-под контроля электората. В результате, скорее всего, сохранятся лишь косвенные формы общественного контроля — выборный характер правительства, формирующих инструменты выработки решений. Многие правительства, стремящиеся к концентрации власти (как, например, в Великобритании в 1980-е и начале 1990-х годов), целенаправленно наращивали число подобных *ad hoc* органов, неподотчетных избирателям и прозванных «*quangos*». Даже страны, не обладающие эффективной системой разделения властей, по достоинству оценили такое отступление от демократии. А в таких странах, как США, этот процесс вообще являлся неизбежным, поскольку конфликт между исполнительной и законодательной властью, изначально присущий их системе управления, исключительно затруднял процесс принятия решений в обычных условиях.

К концу двадцатого века многие граждане перестали интересоваться политикой, предоставив государственные дела так называемому «политическому классу» — кажется, это название появилось в Италии. Речь идет об особой «группе интересов», состоящей из профессиональных политиков, журналистов, лоббистов и т. д., представители которой читают написанные друг другом речи и политические статьи. Многим людям политический процесс казался совершенно неинтересным или просто чем-то таким, что малозаметно, но неизбежно влияет на повседневную жизнь — благоприятно или нет. С од-

ной стороны, растущее благосостояние, усилившийся интерес к частной жизни и развлечениям, а также потребительский эгоизм делали политику менее важной и привлекательной, с другой — граждане, считавшие, что выборы им ничего не дают, их просто игнорировали. С 1960 по 1988 год число рабочих, принимавших участие в президентских выборах в США, уменьшилось на треть (*Leighly, Naylor, 1992, p. 731*). Упадок массовых партий, классовых или идеологических, устранил основной общественный механизм превращения «простых людей» в политически активных граждан. Даже коллективная идентификация со своей страной теперь осуществлялась через национальные виды спорта, спортивные команды и другие неполитические символы, а не через государственные институты.

Может сложиться впечатление, что в результате деполитизации гражданского населения у власти появилась большая свобода принятия решений. Но в действительности все оказалось наоборот. Различные меньшинства, не прекращавшие борьбу за отдельные аспекты общих интересов или — несколько чаще — за узкие интересы своих групп, получили возможность влиять на отработанный процесс принятия решений столь же (если не более) эффективно, как и многоцелевые политические партии. Ведь в отличие от крупных партий малые инициативные группы концентрировали всю свою энергию на преследовании единственной цели. Более того, растущее стремление правительств обойти выборный процесс укрепило политическое влияние средств массовой коммуникации, которые теперь проникали в каждый дом и превратились в мощное средство передачи информации из общественной сферы рядовым мужчинам, женщинам и детям. СМИ сделали значимыми игроками на политической арене прежде всего благодаря своему умению выискивать и обнародовать то, о чем власти предпочли бы умолчать, а также служить средством выражения тех общественных настроений, которые более не могли транслироваться посредством формальных демократических механизмов. Политики использовали СМИ в своих целях и в то же время боялись их. Ведь технический прогресс весьма затруднил эффективный контроль над ними даже для авторитарных режимов. А общее ослабление государственной власти, присущее демократическим режимам, не допускало их монополизации. К концу двадцатого века стало очевидным, что СМИ превратились в более важный компонент политического процесса, чем партии и избирательные системы, и, скорее всего, таковыми они и останутся — если только политики не откажутся от демократии. Однако, несмотря на роль мощного противовеса секретности, насаждаемой правительствами, СМИ ни в какой мере не являлись инструментом демократического правления.

Ни СМИ, ни законодательные органы, избранные посредством всеобщего голосования, ни «народ» сам по себе не могли управлять в прямом смысле этого слова. С другой стороны, правительство (или любой другой подобный

ему орган принятия решений) теперь могло управлять народом против его воли или даже без его участия не в большей степени, чем «народ» мог обходиться без решений правительства или не повиноваться этим решениям. Хорошо это или плохо, но в двадцатом веке простые люди стали полноправными коллективными участниками исторического процесса. Все режимы, за исключением теократических, получали свои полномочия именно у народа. Сказанное справедливо даже для тех режимов, которые проводили политику террора и убивали своих граждан в огромных количествах. Само понятие «тоталитаризма», некогда довольно модное, подразумевало популизм; ибо, если не важно, что «народ» думает о тех, кто управляет от его имени, зачем напрягаться и заставлять его думать так, как этого хотели бы его правители? Все меньше оставалось тех правительств, которые черпали свои полномочия в непререкаемом послушании божеству или традиции или в уважении низших к высшим в иерархически построенном обществе. Даже исламский фундаментализм, самый успешный вариант теократии, опирался не на волю Аллаха, а на массовую мобилизацию простых людей против непопулярных правительств. Имел «народ» право избирать правительство или нет, его влияние на общественные дела, активное или пассивное, было решающим.

И действительно, именно потому, что двадцатый век знал множество чрезвычайно жестоких режимов, а также режимов, стремящихся силой навязать власть меньшинства большинству — как, например, апартеид в ЮАР, — он ярко продемонстрировал ограниченность власти, основанной исключительно на принуждении. Даже самые безжалостные и жестокие правители прекрасно понимали, что сама по себе неограниченная власть не заменяет политических качеств и навыков, необходимых в деле государственного управления: убеждения общества в легитимности режима, некоторой поддержки со стороны народа, умения разделять и властвовать и — особенно во времена кризиса — готовности граждан к послушанию. Когда в 1989 году граждане отказались подчиняться социалистическим правительствам Восточной Европы, власти сложили с себя полномочия, несмотря на полную поддержку со стороны чиновников, вооруженных сил и сил безопасности. Иначе говоря, опыт двадцатого века (каким бы странным на первый взгляд ни казалось такое утверждение) прежде всего показал, что против воли всего народа вполне можно управлять некоторое время, против воли некоторой его части — долгое время, но нельзя управлять все время против воли всего народа. Сказанное не может служить утешением для постоянно подвергающихся угнетению меньшинств или народов, страдавших от угнетения в течение одного или нескольких поколений.

Разумеется, это не является и ответом на вопрос, какими должны быть идеальные отношения между принимающими решения властными структурами и народом. Для выработки эффективной политики руководителям при-

дется учитывать пожелания людей или, во всяком случае, большинства из них, даже если власти и не собираются следовать воле народа. Вместе с тем управлять на основе одной только этой воли невозможно. К тому же навязать непопулярные решения сложнее именно массам, а не малочисленным группировкам, наделенным какой-либо властью. Проще установить предельные нормы выброса загрязняющих веществ для нескольких крупных автомобильных компаний, чем убедить миллионы водителей сократить потребление бензина. Все европейские правительства уже осознали, что если отдать будущее Евросоюза в руки простых избирателей, результаты окажутся, скорее всего, неблагоприятными или, во всяком случае, непредсказуемыми. Каждый серьезный обозреватель прекрасно понимает, что многие политические решения, которые необходимо принять в начале двадцать первого века, будут непопулярными. Возможно, очередная эпоха всеобщего благоденствия и роста, подобно «золотой эпохе», и смягчила бы настроение граждан, но ни возврата в 1960-е годы, ни снижения социальной и культурной нестабильности и напряженности «десятилетий кризиса» в ближайшее время не ожидается.

Если наиболее распространенной политической практикой останется всеобщее голосование — что весьма вероятно, — нас ожидают два основных сценария. В странах, где процесс принятия решений все еще осуществляется в рамках демократической процедуры, он все чаще будет протекать, минуя выборы или, скорее, сопряженные с ними формы контроля. Выборные органы власти будут, подобно осьминогу, все больше скрываться за облаком туманной риторики, сбивая с толку избирателей. Второй возможностью является воссоздание такого консенсуса, который предоставил бы органам власти значительную свободу действий, по крайней мере до тех пор, пока граждане не имеют достаточных причин для недовольства. Такая политическая модель появилась в девятнадцатом веке во времена Наполеона III: это демократические выборы «спасителя народа» или режима, спасшего нацию, — т. е. «демократия плебисцита». Подобный режим не обязательно приходит к власти конституционным путем, но если он ратифицируется посредством достаточно честных выборов с несколькими соперничающими между собой кандидатами и даже некоторой оппозицией, то удовлетворяет критерию демократической легитимности, присущему *fin de siècle*. Это, однако, не оставляет перспектив для либеральной парламентской демократии.

VII

В этой книге читатель не найдет готовых ответов на вопросы, с которыми человечество столкнулось в конце второго тысячелетия. Написанное мною может разве что разобраться в сущности возникших проблем и лучше понять

предпосылки их решения, но отнюдь не укажет, существуют ли эти предпосылки сегодня и появятся ли они в будущем. По прочтении этой книги станет более очевидной вся ограниченность наших знаний — например, насколько плохо разбирались в происходящем те, кому пришлось принимать важнейшие общественные решения двадцатого столетия. И насколько мало число тех событий, особенно во второй половине двадцатого столетия, которые были спрогнозированы заранее. Все это только подтверждает давно известную истину, согласно которой история — в числе прочих, возможно, более важных феноменов — является хроникой преступлений и безумств рода человеческого. А значит, историку не к лицу пророчествовать.

Так что я не стану завершать написанное прогнозами по поводу ландшафта будущего, ведь жизнь уже изменилась до неузнаваемости благодаря тектоническим сдвигам «короткого двадцатого века», а события настоящего приведут к еще более серьезным переменам. Сегодня у нас меньше оснований для надежд на лучшее будущее, чем в середине 1980-х, когда автор этой книги завершил трилогию, посвященную истории «долгого девятнадцатого столетия» (1789—1914), следующими словами: «Имеются достаточные основания предполагать, что мир двадцать первого столетия переменится к лучшему. Если человечеству удастся избежать тотального уничтожения (например, в результате ядерной катастрофы), то вероятность такого поворота событий достаточно высока».

Но даже историк, в силу своего возраста не смеющий надеяться на благие перемены до конца своей жизни, не станет отрицать возможность некоторых улучшений в ближайшие двадцать или пятьдесят лет. Вполне вероятно, что пришедшая на смену «холодной войне» дезинтеграция окажется временной, хотя сейчас она и представляется несколько более затянувшейся, чем период распада и разрушения после двух мировых войн. Разумеется, все эти надежды и страхи нельзя считать прогнозами на будущее. Но мы все же догадываемся, что за непроницаемым облаком нашего незнания и неумения точно предвидеть конечный результат все еще действуют те исторические силы, которые определили ход двадцатого века. Мы живем в мире, который завоеван, лишен своих корней и изменен мощным процессом экономического и научно-технического развития капитализма, властвующего уже два или три столетия. Мы также знаем или, во всяком случае, имеем достаточные основания для предположений о том, что такое развитие событий не может продолжаться *ad infinitum*. Появились внутренние и внешние признаки того, что мы вплотную приблизились к историческому кризису, а значит, наше будущее не может быть продолжением настоящего. Силы, созданные научно-техническим прогрессом, являются теперь достаточно мощными для уничтожения всего сущего, а значит, и материальных основ жизни человека. Общественные структуры, включая социальные основания капиталистической эконо-

мики, могут вот-вот обрушиться из-за распада всего того, что мы унаследовали от прошлого. Наш мир могут подорвать как влияния извне, так и процессы внутренней дезинтеграции. А значит, ему придется измениться.

Мы не знаем будущего. Мы знаем только, что так сложилась история, и — если читатель разделяет аргументацию автора этой книги — понимаем, почему. Мы можем быть уверены только в одном. Если человечество задумывается о будущем, то это будущее не может быть продолжением прошлого или настоящего. Попытки построить третье тысячелетие на прежних основаниях будут обречены на неудачу. А ценой неудачи, т. е. альтернативой изменившемуся обществу, является пустота.

Библиография

- Abrams, 1945: Mark Abrams, *The Condition of the British People, 1911—1945* (London, 1945).
- Acheson, 1970: Dean Acheson, *Present at the Creation: My Years in the State Department* (New York, 1970).
- Afanassiev, 1991: Juri Afanassiev, in M. Paquet ed. *Le court vingtième siècle, préface d'Alexandre Adler* (La Tour d'Aigues, 1991).
- Agosti/Borgese, 1992: Paola Agosti, Giovanna Borgese, *Mi pare un secolo: Ritratti e parole di centosei protagonisti del Novecento* (Turin, 1992).
- Albers/Goldschmidt/Oehlke, 1971: *Klassenkämpfe in Westeuropa* (Hamburg, 1971).
- Alexeev, 1990: M. Alexeev, book review in *Journal of Comparative Economics* vol. 14, p. 171—173 (1990).
- Allen, 1968: D. Elliston Allen, *British Tastes: An enquiry into the likes and dislikes of the regional consumer* (London, 1968).
- Amnesty, 1975: Amnesty International, *Report on Torture* (New York, 1975).
- Andrić, 1990: Ivo Andrić, *Conversation with Goya: Bridges, Signs* (London, 1990).
- Andrew, 1985: Christopher Andrew, *Secret Service: The Making of the British Intelligence Community* (London, 1985).
- Andrew/Gordievsky, 1991: Christopher Andrew and Oleg Gordievsky, *KGB: The Inside Story of its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev* (London, 1991).
- Anuario, 1989: *Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe: Edición 1989* (Santiago de Chile, 1990).
- Arlacchi, 1983: Pino Arlacchi, *Mafia Business* (London, 1983).
- Armstrong, Glyn, Harrison: Philip Armstrong, Andrew Glyn, John Harrison, *Capitalism Since 1945* (Oxford, 1991 edn).
- Arndt, 1944: H. W. Arndt, *The Economic Lessons of the 1930s* (London, 1944).
- Asbeck, 1939: Baron F. M. van Asbeck, *The Netherlands Indies' Foreign Relations* (Amsterdam, 1939).
- Atlas, 1992: A. Fréron, R. Héryn, J. July eds, *Atlas de la France Universitaire* (Paris, 1992).
- Auden: W. H. Auden, *Spain* (London, 1937).
- Babel, 1923: Isaac Babel, *Konarmiya* (Moscow, 1923); *Red Cavalry* (London, 1929).
- Bairoch, 1985: Paul Bairoch, *De Jéricho à Mexico: villes et économie dans l'histoire* (Paris, 1985).
- Bairoch, 1988: Paul Bairoch, *Two major shifts in Western European Labour Force: the Decline of the Manufacturing Industries and of the Working Class* (mimeo) (Geneva, 1988).
- Bairoch, 1993: Paul Bairoch, *Economics and World History: Myths and Paradoxes* (Hemel Hempstead, 1993).
- Ball, 1992: George W. Ball, 'JFK's Big Moment' in *New York Review of Books*, p. 16—20 (13 February 1992).
- Ball, 1993: George W. Ball, 'The Rationalist in Power' in *New York Review of Books* 22 April 1993, p. 30—36.

- Baltimore, 1978: David Baltimore, 'Limiting Science: A Biologist's Perspective' in *Daedalus* 107/2 spring 1978, p. 37—46.
- Banham, 1971: Reyner Banham, *Los Angeles* (Harmondsworth, 1973).
- Banham, 1975: Reyner Banham, in C. W. E. Bigsby ed. *Superculture. American Popular Culture and Europe*, p. 69—82 (London, 1975).
- Banks, 1971: A. S. Banks, *Cross-Polity Time Series Data* (Cambridge MA and London, 1971).
- Barghava/Singh Gill, 1988: Motilal Barghava and Americk Singh Gill, *Indian National Army Secret Service* (New Delhi, 1988).
- Barnet, 1981: Richard Barnet, *Real Security* (New York, 1981).
- Becker, 1985: J. J. Becker, *The Great War and the French People* (Leamington Spa, 1985).
- Bédarida, 1992: François Bédarida, *Le génocide et le nazisme: Histoire et témoignages* (Paris, 1992).
- Beinart, 1984: William Beinart, 'Soil erosion, conservationism and ideas about development: A Southern African exploration, 1900—1960', in *Journal of Southern African Studies* 11, 1984, p. 52—83.
- Bell, 1960: Daniel Bell, *The End of Ideology* (Glencoe, 1960).
- Bell, 1976: Daniel Bell, *The Cultural Contradictions of Capitalism* (New York, 1976).
- Benjamin, 1961: Walter Benjamin, 'Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit' in *Illuminationen: Ausgewählte Schriften*, p. 148—184 (Frankfurt, 1961).
- Benjamin, 1971: Walter Benjamin, *Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze*, p. 84—85 (Frankfurt, 1971).
- Benjamin, 1979: Walter Benjamin, *One-Way Street, and Other Writings* (London, 1979).
- Bergson/Levine, 1983: A. Bergson and H. S. Levine eds. *The Soviet Economy: Towards the Year 2000* (London, 1983).
- Berman: Paul Berman, 'The Face of Downtown' in *Dissent* autumn 1987, p. 569—573.
- Bernal, 1939: J. D. Bernal, *The Social Function of Science* (London, 1939).
- Bernal, 1967: J. D. Bernal, *Science in History* (London, 1967).
- Bernier/Boily: Gérard Bernier, Robert Boily et al., *Le Québec en chiffres de 1850 à nos jours*, p. 228 (Montréal, 1986).
- Bernstorff, 1970: Dagmar Bernstorff, 'Candidates for the 1967 General Election in Hyderabad' in E. Leach and S. N. Mukherjee eds, *Elites in South Asia* (Cambridge, 1970).
- Beschloss, 1991: Michael R. Beschloss, *The Crisis Years: Kennedy and Khrushchev 1960—1963* (New York, 1991).
- Beyer, 1981: Gunther Beyer, 'The Political Refugee: 35 Years Later' in *International Migration Review*, vol. XV, p. 1—219.
- Block, 1977: Fred L. Block, *The Origins of International Economic Disorder: A Study of United States International Monetary Policy from World War II to the Present* (Berkeley, 1977).
- Bobinska/Pilch, 1975: Celina Bobinska, Andrzej Pilch, *Employment-seeking Emigrations of the Poles World—Wide XIX and XX C.* (Cracow, 1975).
- Bocca, 1966: Giorgio Bocca, *Storia dell'Italia Partigiana Settembre 1943—Maggio 1945* (Bari, 1966).
- Bokhari, 1993: Farhan Bokhari, 'Afghan border focus of regions' woes' in *Financial Times*, 12 August 1993.
- Boldyrev, 1990: Yu. Boldyrev in *Literaturnaya Gazeta*, 19 December 1990, cited in Di Leo, 1992.
- Bolotin, 1987: B. Bolotin in *World Economy and International Relations* № 11, 1987, p. 148—152 (in Russian).
- Bourdieu, 1979: Pierre Bourdieu, *La Distinction: Critique Sociale du Jugement* (Paris, 1979), English trs: *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste* (Cambridge MA, 1984).
- Bourdieu, 1994: Pierre Bourdieu, Hans Haacke, *Libre-Echange* (Paris, 1994).
- Britain: *Britain: An Official Handbook* 1961, 1990 eds. (London, Central Office for Information).
- Briggs, 1961: Asa Briggs, *The History of Broadcasting in the United Kingdom* vol. 1 (London, 1961); vol. 2 (1965); vol. 3 (1970); vol. 4 (1979).

- Brown, 1963: Michael Barratt Brown, *After Imperialism* (London, Melbourne, Toronto, 1963).
- Brecht, 1964: Bertolt Brecht, *Über Lyrik* (Frankfurt, 1964).
- Brecht, 1976: Bertolt Brecht, *Gesammelte Gedichte*, 4 vols (Frankfurt, 1976).
- Brzezinski, 1962: Z. Brzezinski, *Ideology and Power in Soviet Politics* (New York, 1962).
- Brzezinski, 1993: Z. Brzezinski, *Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the Twenty-first Century* (New York, 1993).
- Burks, 1961: R. V. Burks, *The Dynamics of Communism in Eastern Europe* (Princeton, 1961).
- Burlatsky, 1992: Fedor Burlatsky, 'The Lessons of Personal Diplomacy' in *Problems of Communism*, vol. XVI (41), 1992.
- Burloiu, 1983: Petre Burloiu, *Higher Education and Economic Development in Europe 1975—1980* (UNESCO, Bucharest, 1983).
- Butterfield, 1991: Fox Butterfield, 'Experts Explore Rise in Mass Murder' in *New York Times* 19 October 1991, p. 6.
- Calvo-coressi, 1987: Peter Calvo-coressi, *A Time for Peace: Pacifism, Internationalism and Protest Forces in the Reduction of War* (London, 1987).
- Calvo-coressi, 1989: Peter Calvo-coressi, *World Politics Since 1945* (London, 1989 edn).
- Carritt, 1985: Michael Carritt, *A Mole in the Crown* (Hove, 1980).
- Carr-Saunders, 1958: A. M. Carr-Saunders, D. Caradog Jones, C. A. Moser, *A Survey of Social Conditions in England and Wales* (Oxford, 1958).
- Catholic: *The Official Catholic Directory* (New York, annual).
- Chamberlin, 1933: W. Chamberlin, *The Theory of Monopolistic Competition* (Cambridge MA, 1933).
- Chamberlin, 1965: W. H. Chamberlin, *The Russian Revolution, 1917—1921*, 2 vols (New York, 1965 edn).
- Chandler, 1977: Alfred D. Chandler Jr, *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business* (Cambridge MA, 1977).
- Chapple/Garofalo, 1977: S. Chapple and R. Garofalo, *Rock'n Roll Is Here to Pay* (Chicago, 1977).
- Chiesa, 1993: Giulietta Chiesa, 'Era una fine inevitabile?' in *Il Passagio: rivista di dibattito politico e culturale*, VI, July—October, p. 27—37.
- Childers, 1983: Thomas Childers, *The Nazi Voter: The Social Foundations of Fascism in Germany, 1919—1933* (Chapel Hill, 1983).
- Childers, 1991: 'The Sonderweg controversy and the Rise of German Fascism' in (unpublished conference papers) *Germany and Russia in the 20th Century in Comparative Perspective*, p. 8, 14—15 (Philadelphia, 1991).
- China Statistics, 1989: State Statistical Bureau of the People's Republic of China, *China Statistical Yearbook 1989* (New York, 1990).
- Ciconte, 1992: Enzo Ciconte, *Ndrangheta dall'Unità a oggi* (Barri, 1992).
- Cmd 1586, 1992: British Parliamentary Papers and 1586: *East India (Non-Cooperation)*, XVI, p. 579, 1922. (Telegraphic Correspondence regarding the situation in India.).
- Considine, 1982: Douglas M. Considine and Glenn Considine, *Food and Food Production Encyclopedia* (New York, Cincinnati etc., 1982). Article in 'meat', section, 'Formed, Fabricated and Restructured Meat Products'.
- Crosland, 1957: Anthony Crosland, *The Future of Socialism* (London, 1957).
- Dawkins, 1976: Richard Dawkins, *The Selfish Gene* (Oxford, 1976).
- Deakin/Storry, 1966: F. W. Deakin and G. R. Storry, *The Case of Richard Sorge* (London, 1966).
- Debray, 1965: Régis Debray, *La révolution dans la révolution* (Paris, 1965).
- Debray, 1994: Régis Debray, *Charles de Gaulle: Futurist of the Nation* (London, 1994).
- Degler, 1987: Carl N. Degler, 'On re-reading "The Woman in America"' in *Daedalus*, autumn 1987.
- Delgado, 1992: Manuel Delgado, *La Ira Sagrada: anticlericalismo, iconoclastia y antiritualismo en la España contemporánea* (Barcelona, 1992).

- Delzell, 1970: Charles F. Delzell ed., *Mediterranean Fascism, 1919—1945* (New York, 1970).
- Deng, 1984: Deng Xiaoping, *Selected Works of Deng Xiaoping (1975—1984)* (Beijing, 1984).
- Desmond/Moore: Adrian Desmond and James Moore, *Darwin* (London, 1991).
- Destabilization, 1989: United Nations Inter-Agency Task Force, *Africa Recovery Programme/Economic Commission for Africa, South African Destabilization, The Economic Cost of Frontline Resistance to Apartheid* (New York, 1989).
- Deux Ans, 1990: *Ministère de l'Éducation Nationale: Enseignement Supérieur, Deux Ans d'Action, 1988—1990* (Paris, 1990).
- Di Leo, 1992: Rita di Leo, *Vecchi quadri e nuovi politici: Chi comanda davvero nell'ex-Urss?* (Bologna, 1992).
- Din, 1989: Kadir Din, 'Islam and Tourism' in *Annals of Tourism Research*, vol. 16/4, 1989, p. 542 ff.
- Djilas, 1957: Milovan Djilas, *The New Class* (London, 1957).
- Djilas, 1962: Milovan Djilas, *Conversations with Stalin* (London, 1962).
- Djilas, 1977: Milovan Djilas, *Wartime* (New York, 1977).
- Drell, 1977: Sidney D. Drell, 'Elementary Particle Physics' in *Daedalus* 106/3, summer 1977, p. 15—32.
- Duberman et al., 1989: M. Duberman, M. Vicinus and G. Chauncey, *Hidden From History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past*, New York, 1989.
- Dutt, 1945: Kalpana Dutt, *Chittagong Armoury Raiders: Reminiscences* (Bombay, 1945).
- Duverger, 1972: Maurice Duverger, *Party Politics and Pressure Groups: A Comparative Introduction* (New York, 1972).
- Dyker, 1985: D. A. Dyker, *The Future of the Soviet Economic Planning System* (London, 1985).
- Echenberg, 1992: Myron Echenberg, *Colonial Conscripts: The Tirailleurs Sénégalais in French West Africa, 1857—1960* (London, 1992).
- EIB Papers, 1992: European Investment Bank, *Cahiers BEI/EIB Papers*, J. Girard, *De la recession à la reprise en Europe Centrale et Orientale*, p. 9—22 (Luxemburg, 1992).
- Encyclopedia Britannica, article 'war' (11th edn, 1911).
- Ercoli, 1936: Ercoli, *On the Peculiarity of the Spanish Revolution* (New York, 1936); reprinted in Palmiro Togliatti, *Opere IV/i*, p. 139—154 (Rome, 1979).
- Esman, 1990: Aaron H. Esman, *Adolescence and Culture* (New York, 1990).
- Estrin/Holmes: Saul Estrin and Peter Holmes, 'Indicative Planning in Developed Economies' in *Journal of Comparative Economics* 14/4 December 1990, p. 531—554.
- Eurostat: Eurostat. *Basic Statistics of the Community* (Office for the Official Publications of the European Community, Luxemburg, annual since 1957).
- Evans, 1989: Richard Evans, *In Hitler's Shadow: West German Historians and the Attempt to Escape from the Nazi Past* (New York, 1989).
- Fainsod, 1956: Merle Fainsod, *How Russia Is Ruled* (Cambridge MA, 1956).
- FAO, 1989: FAO (UN Food and Agriculture Organization), *The State of Food and Agriculture: world and regional reviews, sustainable development and natural resource management* (Rome, 1989).
- FAO Production: *FAO Production Yearbook*, 1986.
- FAO Trade: *FAO Trade Yearbook* vol. 40, 1986.
- Fitzpatrick, 1994: Sheila Fitzpatrick, *Stalin's Peasants* (Oxford, 1994).
- Firth, 1954: Raymond Firth, 'Money, Work and Social Change in Indo-Pacific Economic Systems' in *International Social Science Bulletin*, vol. 6, 1954, p. 400—410.
- Fischhof et al., 1978: B. Fischhof, P. Slovic, Sarah Lichtenstein, S. Read, Barbara Coombs, 'How Safe is Safe Enough? A Psychometric Study of Attitudes towards Technological Risks and Benefits' in *Policy Sciences* 9, 1978, p. 127—152.
- Flora, 1983: Peter Flora et al., *State, Economy and Society in Western Europe 1815—1975: A Data Handbook in Two Volumes* (Frankfurt, London, Chicago, 1983).

- Floud *et al.*, 1990: Roderick Floud, Annabel Gregory, Kenneth Wachter, *Height, Health and History: Nutritional Status in the United Kingdom 1750—1980* (Cambridge, 1990).
- Fontana, 1977: Alan Bullock and Oliver Stallybrass eds., *The Fontana Dictionary of Modern Ideas* (London, 1977 edn).
- Foot, 1976: M. R. D. Foot, *Resistance: An Analysis of European Resistance to Nazism 1940—1945* (London, 1976).
- Francia, Muzzioli, 1984: Mauro Francia, Giuliano Muzzioli, *Cent'anni di cooperazione: La cooperazione di consumo modenese aderente alla Lega dalle origini all'unificazione* (Bologna, 1984).
- Frazier, 1957: Franklin Frazier, *The Negro in the United States* (New York, 1957 edn).
- Freedman, 1959: Maurice Freedman, 'The Handling of Money: A Note on the Background to the Economic Sophistication of the Overseas Chinese' in *Man*, vol. 59, 1959, p. 64—65.
- Friedan, 1963: Betty Friedan, *The Feminine Mystique* (New York, 1963).
- Friedman, 1968: Milton Friedman, 'The Role of Monetary Policy' in *American Economic Review*, vol. LVIII, № 1, March 1968, p. 1—17.
- Fröbel, Heinrichs, Kreye, 1986: Folker Fröbel, Jürgen Heinrichs, Otto Kreye, *Umbruch in der Weltwirtschaft* (Hamburg, 1986).
- Galbraith, 1974: J. K. Galbraith, *The New Industrial State* (2nd edn, Harmondsworth, 1974).
- Gallagher, 1971: M. D. Gallagher, 'Léon Blum and the Spanish Civil War' in *Journal of Contemporary History*, vol. 6, № 3, 1971, p. 56—64.
- Garton Ash, 1990: Timothy Garton Ash, *The Uses of Adversity: Essays on the Fate of Central Europe* (New York, 1990).
- Gatrell/Harrison, 1993: Peter Gatrell and Mark Harrison, 'The Russian and Soviet Economies in Two World Wars: A Comparative View' in *Economic History Review* XLVI, 3, 1993, p. 424—452.
- Giedion, 1948: S. Giedion, *Mechanisation Takes Command* (New York, 1948).
- Gillis, 1974: John R. Gillis, *Youth and History* (New York, 1974).
- Gillis, 1985: John Gillis, *For Better, For Worse: British Marriages 1600 to the Present* (New York, 1985).
- Gillois, 1973: André Gillois, *Histoire Secrète des Français à Londres de 1940 à 1944* (Paris, 1973).
- Gimpel, 1992: 'Prediction or Forecast? Jean Gimpel interviewed by Sanda Miller' in *The New European*, vol. 5/2, 1992, p. 7—12.
- Ginneken/Heuven, 1989: Wouter van Ginneken and Rolph van der Heuven, 'Industrialisation, employment and earnings (1950—1987): An international survey' in *International Labour Review*, vol. 128, 1989/5, p. 571—599.
- Gleick, 1988: James Gleick, *Chaos: Making a New Science* (London, 1988).
- Glenny, 1992: Misha Glenny, *The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War* (London, 1992).
- Glyn, Hughes, Lipietz, Singh, 1990: Andrew Glyn, Alan Hughes, Alan Lipietz, Ajit Singh, 'The Rise and Fall of the Golden Age' in Marglin and Schor, 1990, p. 39—125.
- Gómez Rodríguez, 1977: Juan de la Cruz Gómez Rodríguez, 'Comunidades de pastores y reforma agraria en la sierra sur peruana' in Jorge A. Flores Ochoa, *Pastores de puna* (Lima, 1977).
- González Casanova, 1975: Pablo González Casanova, coord. *Cronología de la violencia política en América Latina* (1945—1970), 2 vols (Mexico DF, 1975).
- Goody, 1968: Jack Goody, 'Kinship: descent groups' in *International Encyclopedia of Social Sciences*, vol. 8, p. 402—403 (New York, 1968).
- Goody, 1990: Jack Goody, *The Oriental, the Ancient and the Primitive: Systems of Marriage and the Family in the Pre-Industrial Societies of Eurasia* (Cambridge, 1990).
- Gopal, 1979: Sarvepalli Gopal, *Jawaharlal Nehru: A Biography, vol. II, 1947—1956* (London, 1979).
- Gould, 1989: Stephen Jay Gould, *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History* (London, 1990).

- Graves/Hodge, 1941: Robert Graves and Alan Hodge, *The Long Week-End: A Social History of Great Britain 1918—1939* (London, 1941).
- Gray, 1970: Hugh Gray, 'The landed gentry of Telengana' in E. Leach and S. N. Mukherjee eds. *Elites in South Asia* (Cambridge, 1970).
- Guerlac, 1951: Henry E. Guerlac, 'Science and French National Strength' in Edward Meade Earle ed., *Modern France: Problems of the Third and Fourth Republics* (Princeton, 1951).
- Guidetti/Stahl, 1977: M. Guidetti and Paul M. Stahl eds., *Il sangue e la terra: Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'800* (Milano, 1977).
- Guinness, 1984: Robert and Celia Dearling, *The Guinness Book of Recorded Sound* (Enfield, 1984).
- Haimson, 1964/65: Leopold Haimson, 'The Problem of Social Stability in Urban Russia 1905—1917' in *Slavic Review*, December 1964, p. 619—664; March 1965, p. 1—22.
- Halliday, 1983: Fred Halliday, *The Making of the Second Cold War* (London, 1983).
- Halliday/Cumings, 1988: Jon Halliday and Bruce Cumings, *Korea: The Unknown War* (London, 1988).
- Halliwell, 1988: Leslie Halliwell's *Filmgoers' Guide Companion* 9th edn, 1988, p. 321.
- Hànak, 1970: 'Die Volksmeinung während des letzten Kriegsjahres in Österreich-Ungarn' in *Die Auflösung des Habsburgerreiches. Zusammenbruch und Neuorientierung im Donauraum*, Schriftenreihe des österreichischen Ost- und Südosteuropainstituts vol. III, Vienna, 1970, p. 58—66.
- Harden, 1990: Blaine Harden, *Africa, Despatches from a Fragile Continent* (New York, 1990).
- Harff/Gurr, 1988: Barbara Harff and Ted Robert Gurr, 'Victims of the State: Genocides, Politicides and Group Repression since 1945' in *International Review of Victimology*, I, 1989, p. 23—41.
- Harff/Gurr, 1989: Barbara Harff and Ted Robert Gurr, 'Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: Identification and Measurement of Cases since 1945', *International Studies Quarterly*, 32, 1988, p. 359—371.
- Harris, 1987: Nigel Harris, *The End of the Third World* (Harmondsworth, 1987).
- Hayek, 1944: Friedrich von Hayek, *The Road to Serfdom* (London, 1944).
- Heilbroner, 1993: Robert Heilbroner, *Twenty-first Century Capitalism* (New York, 1993).
- Hilberg, 1985: Raul Hilberg, *The Destruction of the European Jews* (New York, 1985).
- Hill, 1988: Kirn Quaille Hill, *Democracies in Crisis: Public policy responses to the Great Depression* (Boulder and London, 1988).
- Hilgerdt: See *League of Nations*, 1945.
- Hirschfeld, 1986: G. Hirschfeld ed., *The Policies of Genocide: Jews and Soviet Prisoners of War in Nazi Germany* (Boston, 1986).
- Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970*, part 1C, p. 89—101, p. 105 (Washington DC, 1975).
- Hobbes: Thomas Hobbes, *Leviathan* (London, 1651).
- Hobsbawm, 1974: E. J. Hobsbawm, 'Peasant Land Occupations' in *Past & Present*, 62, February 1974, p. 120—152.
- Hobsbawm, 1986: E. J. Hobsbawm, 'The Moscow Line' and international Communist policy 1933—1947' in Chris Wrigley ed. *Warfare, Diplomacy and Politics: Essays in Honour of A. J. P. Taylor*, p. 163—188 (London, 1986).
- Hobsbawm, 1987: E. J. Hobsbawm, *The Age of Empire 1870—1914* (London, 1987).
- Hobsbawm, 1990: E. J. Hobsbawm, *Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality* (Cambridge, 1990).
- Hobsbawm, 1993: E. J. Hobsbawm, *The Jazz Scene* (New York, 1993).
- Hodgkin, 1961: Thomas Hodgkin, *African Political Parties: An introductory guide* (Harmondsworth, 1961).
- Hoggart, 1958: Richard Hoggart, *The Uses of Literacy* (Harmondsworth, 1958).

- Holborn, 1968: Louise W. Holborn, 'Refugees I: World Problems' in *International Encyclopedia of the Social Sciences* vol. XIII, p. 363.
- Holland R. F., 1985: R. F. Holland, *European Decolonization 1918—1981: An introductory survey* (Basingstoke, 1985).
- Holman, 1993: Michael Holman, 'New Group Targets the Roots of Corruption' in *Financial Times*, 5 May 1993
- Holton, 1970: G. Holton, 'The Roots of Complementarity' in *Daedalus*, autumn 1978, p. 1017.
- Holton, 1972: Gerald Holton ed., *The Twentieth-Century Sciences: Studies in the Biography of Ideas* (New York, 1972).
- Home, 1989: Alistair Home, *Macmillan*, 2 vols (London, 1989).
- Housman, 1988: A. E. Housman, *Collected Poems and Selected Prose* edited and with an introduction and notes by Christopher Ricks (London, 1988).
- Howarth, 1978: T. E. B. Howarth, *Cambridge Between Two Wars* (London, 1978).
- Hu, 1966: C. T. Hu, 'Communist Education: Theory and Practice' in R. Mac-Farquhar ed., *China Under Mao: Politics Takes Command* (Cambridge MA, 1966).
- Huber, 1990: Peter W. Huber, 'Pathological Science in Court' in *Daedalus*, vol. 119, № 4, autumn 1990, p. 97—118.
- Hughes, 1969: H. Stuart Hughes, 'The second year of the Cold War: A Memoir and an Anticipation' in *Commentary*, August 1969.
- Hughes, 1983: H. Stuart Hughes, *Prisoners of Hope: The Silver Age of the Italian Jews 1924—1947* (Cambridge MA, 1983).
- Hughes, 1988: H. Stuart Hughes, *Sophisticated Rebels* (Cambridge and London, 1988).
- Human Development: United Nations Development Programme (UNDP) *Human Development Report*, (New York, 1990, 1991, 1992).
- Hutt, 1935: Allen Hutt, *This Final Crisis* (London, 1935).
- Ignatieff, 1993: Michael Ignatieff, *Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism* (London, 1993).
- ILO, 1990: ILO *Yearbook of Labour Statistics: Retrospective edition on Population Censuses 1945—1989* (Geneva, 1990).
- IMF, 1990: International Monetary Fund, Washington: *World Economic Outlook: A Survey by the Staff of the International Monetary Fund*, Table 18: Selected Macro-economic Indicators 1950—1988 (IMF, Washington, May 1990).
- Investing: *Investing in Europe's Future* ed. Arnold Heertje for the European Investment Bank (Oxford, 1983).
- Isola, 1990: Gianni Isola, *Abbassa la tua radio, per favore. Storia dell'ascolto radiofonico nell'Italia fascista* (Firenze, 1990).
- Jacobmeyer, 1985: Wolfgang Jacobmeyer, *Vom Zwangsarbeiter zum heimatlosen Auslander: Die Displaced Persons in Westdeutschland, 1945—1951* (Gottingen, 1985).
- Jacob, 1993: Margaret C. Jacob, 'Hubris about Science' in *Contention*, vol. 2, № 3 (Spring 1993).
- Jammer, 1966: M. Jammer, *The Conceptual Development of Quantum Mechanics* (New York, 1966).
- Jayawardena, 1993: Lal Jayawardena, *The Potential of Development Contracts and Towards sustainable Development Contracts, UNU/WIDER: Research for Action* (Helsinki, 1993).
- Jensen, 1991: K. M. Jensen ed., *Origins of the Cold War: The Novikov, Kennan and Roberts 'Long Telegrams' of 1946*, United States Institute of Peace (Washington, 1991).
- Johansson/Percy, 1990: Warren Johansson and William A. Percy ed., *Encyclopedia of Homosexuality*, 2 vols (New York and London, 1990).
- Johnson, 1972: Harry G. Johnson, *Inflation and the Monetarist Controversy* (Amsterdam, 1972).
- Jon, 1993: Jon Byong-Je, *Culture and Development: South Korean experience*, International Inter-Agency Forum on Culture and Development, September 20—22 1993, Seoul.

- Jones, 1992: Steve Jones, review of David Raup, *Extinction: Bad Genes or Bad Luck?* in *London Review of Books*, 23 April 1992.
- Jowitt, 1991: Ken Jowitt, 'The Leninist Extinction' in Daniel Chirot ed., *The Crisis of Leninism and the Decline of the Left* (Seattle, 1991).
- Julca, 1993: Alex Julca, From the highlands to the city (unpublished paper, 1993).
- Kakwani, 1980: Nanak Kakwani, *Income Inequality and Poverty* (Cambridge, 1980).
- Kapuczinski, 1983: Ryszard Kapuczinski, *The Emperor* (London, 1983).
- Kapuczinski, 1990: Ryszard Kapuczinski, *The Soccer War* (London, 1990).
- Kater, 1985: Michael Kater, 'Professoren und Studenten im dritten Reich' in *Archiv f. Kulturgeschichte* 67/1985, № 2, p. 467.
- Katsiaficas, 1987: George Katsiaficas, *The Imagination of the New Left: A global analysis of 1968* (Boston, 1987).
- Kedward, 1971: R. H. Kedward, *Fascism in Western Europe 1900—1945* (New York, 1971).
- Keene, 1984: Donald Keene, *Japanese Literature of the Modern Era* (New York, 1984).
- Kelley, 1988: Alien C. Kelley, 'Economic Consequences of Population Change in the Third World' in *Journal of Economic Literature*, XXVI, December 1988, p. 1685—1728.
- Kerblay, 1983: Basile Kerblay, *Modern Soviet Society* (New York, 1983).
- Kershaw, 1983: Ian Kershaw, *Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich: Bavaria 1933—1945* (Oxford, 1983).
- Kershaw, 1993: Ian Kershaw, *The Nazi Dictatorship: Perspectives of Interpretation*, 3rd edn. (London, 1993).
- Khrushchev, 1990: Sergei Khrushchev, *Khrushchev on Khrushchev: An Inside Account of the Man and His Era* (Boston, 1990).
- Kidron/Segal, 1991: Michael Kidron and Ronald Segal, *The New State of the World Atlas*, 4th ed (London, 1991).
- Kindleberger, 1973: Charles P. Kindleberger, *The World in Depression 1919—1939* (London and New York, 1973).
- Koivisto, 1983: Peter Koivisto, 'The Decline of the Finnish—American Left 1925—1945' in *International Migration Review*, XVII, 1, 1983.
- Kolakowski, 1992: Leszek Kolakowski, 'Amidst Moving Ruins' in *Daedalus* 121/2, spring 1992.
- Kolko, 1969: Gabriel Kolko, *The Politics of War: Allied diplomacy and the world crisis of 1943—1945* (London, 1969).
- Köllö, 1990: Janos Köllö, 'After a dark golden age—Eastern Europe' in *WIDER Working Papers* (duplicated) (Helsinki, 1990).
- Kornai: Janos Kornai, *The Economics of Shortage* (Amsterdam, 1980).
- Kosinski, 1987: L. A. Kosinski, review of Robert Conquest, 'The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivisation and the Terror Famine' in *Population and Development Review*, vol. 13, № 1, 1987.
- Kosmin/Lachman, 1993: Barry A. Kosmin and Seymour P. Lachman, *One Nation Under God: Religion in Contemporary American Society* (New York, 1993).
- Kraus, 1922: Karl Kraus, *Die letzten Tage der Menschheit: Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog* (Wien—Leipzig, 1922).
- Kulischer, 1948: Eugene M. Kulischer *Europe on the Move: War and Population Changes 1917—1947* (New York, 1948).
- Kuttner, 1991: Robert Kuttner, *The End of Laissez-Faire: National Purpose and the Global Economy after the Cold War* (New York, 1991).
- Kuznets, 1956: Simon Kuznets, 'Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations' in *Economic Development and Culture Change*, vol. 5, № 1, 1956, p. 5—94.
- Kyle, 1990: Keith Kyle, *Suez* (London, 1990).

- Ladurie, 1982: Emmanuel Le Roy Ladurie, *Paris—Montpellier: PC-PSU 1945—1963* (Paris, 1982).
- Lafargue: Paul Lafargue, *Le droit à la paresse* (Paris, 1883); *The Right to Be Lazy and Other Studies* (Chicago, 1907).
- Land Reform: Philip M. Raup, 'Land Reform' in art. 'Land Tenure', *International Encyclopedia of Social Sciences*, vol. 8, p. 571—575 (New York, 1968).
- Lapidus, 1988: Ira Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge, 1988).
- Laqueur, 1977: Walter Laqueur, *Guerrilla: A historical and critical study* (London, 1977).
- Larkin, 1988: Philip Larkin, *Collected Poems* ed. and with an introduction by Anthony Thwaite (London, 1988).
- Larsen E., 1978: Egon Larsen, *A Flame in Barbed Wire: The Story of Amnesty International* (London, 1978).
- Larsen S. et al., 1980: Stein Ugevik Larsen, Bernt Hagtvet, Jan Fetter, My Klebost et al., *Who Were the Fascists?* (Bergen—Oslo—Tromsø, 1980).
- Lary, 1943: Hal B. Lary and Associates, *The United States in the World Economy: The International Transactions of the United States during the Interwar Period*, US Dept of Commerce (Washington, 1943).
- Las Cifras, 1988: *Asamblea Permanente para los Derechos Humanos, Las Cifras de la Guerra Sucia* (Buenos Aires, 1988).
- Latham, 1981: A. J. H. Latham, *The Depression and the Developing World, 1914— 1939* (London and Totowa NJ, 1981).
- League of Nations, 1931: *The Course and Phases of the World Depression* (Geneva, 1931; reprinted 1972).
- League of Nations, 1945: *Industrialisation and Foreign Trade* (Geneva, 1945).
- Leaman, 1988: Jeremy Leaman, *The Political Economy of West Germany 1945—1985* (London, 1988).
- Leighly, Naylor, 1992: J. E. Leighly and J. Naylor, 'Socioeconomic Class Bias in Turnout 1964—1988: the voters remain the same' in *American Political Science Review*, 86/3 September, 1992, p. 725—736.
- Lenin, 1970: V. I. Lenin, *Selected Works in 3 Volumes* (Moscow, 1970: 'Letter to the Central Committee, the Moscow and Petrograd Committees and the Bolshevik Members of the Petrograd and Moscow Soviets', October 1/14 1917, V. I. Lenin op. cit., vol. 2, p. 435; Draft Resolution for the Extraordinary All-Russia Congress of Soviets of Peasant Deputies, November 14/27, 1917, V. I. Lenin, loc. cit., p. 496; Report on the activities of the Council of People's Commissars, January 12/24 1918, loc. cit., p. 546).
- Leontiev, 1977: Wassily Leontiev, 'The Significance of Marxian Economics for Present-Day Economic Theory' in *Amer. Econ. Rev. Supplement* vol. XXVIII, 1 March 1938, republished in *Essays in Economics: Theories and Theorizing*, vol. 1, p. 78 (White Plains, 1977).
- Lettere: P. Malvezzi and G. Pirelli eds *Lettere di Condannati a morte della Resistenza europea*, p. 306 (Turin, 1954).
- Lévi-Strauss: Claude Lévi-Strauss, Didier Eribon, *De Près et de Loin* (Paris, 1988).
- Lewin, 1991: Moshe Lewin, 'Bureaucracy and the Stalinist State' unpublished paper in *Germany and Russia in the 20th Century in Comparative Perspective* (Philadelphia, 1991).
- Lewis, 1981: Arthur Lewis, 'The Rate of Growth of World Trade 1830—1973' in Sven Grassman and Erik Lundberg eds, *The World Economic Order: Past and Prospects* (London, 1981).
- Lewis, 1938: Cleona Lewis, *America's Stake in International Investments* (Brookings Institution, Washington, 1938).
- Lewis, 1935: Sinclair Lewis, *It Can't Happen Here* (New York, 1935).
- Lewontin, 1973: R. C. Lewontin, *The Genetic Basis of Evolutionary Change* (New York, 1973).
- Lewontin, 1992: R. C. Lewontin, 'The Dream of the Human Genome' in *New York Review of Books*, 28 May 1992, p. 32—40.
- Leys, 1977: Simon Leys, *The Chairman's New Clothes: Mao and the Cultural Revolution* (New York, 1977).
- Lieberson, Waters, 1988: Stanley Lieberson and Mary C. Waters, *From many strands: Ethnic and Racial Groups in Contemporary America* (New York, 1988).

- Liebman/Walker/Glazer: Arthur Liebman, Kenneth Walker, Myron Glazer, *Latin American University Students: A six-nation study* (Cambridge MA, 1972).
- Lieven, 1993: Anatol Lieven, *The Baltic Revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence* (New Haven and London, 1993).
- Linz, 1975: Juan J. Linz, 'Totalitarian and Authoritarian Regimes' in Fred J. Greenstein and Nelson W. Polsby eds, *Handbook of Political Science*, vol. 3, *Macropolitical Theory* (Reading MA, 1975).
- Liu, 1986: Alan P. L. Liu, *How China Is Ruled* (Englewood Cliffs, 1986).
- Loth, 1988: Wilfried Loth, *The Division of the World 1941—1955* (London, 1988).
- Lu Hsün: as cited in Victor Nee and James Peck eds, *China's Uninterrupted Revolution: From 1840 to the Present*, p. 23 (New York, 1975).
- Lynch, 1990: Nicolas Lynch Gamero, *Los jóvenes rojos de San Marcos: El radicalismo universitario de los años setenta* (Lima, 1990).
- McCracken, 1977: Paul McCracken et al., *Towards Full Employment and Price Stability* (Paris, OECD 1977).
- Macluhan, 1962: Marshall McLuhan, *The Gutenberg Galaxy* (New York, 1962).
- Macluhan, 1967: Marshall McLuhan and Quentin Fiore, *The Medium is the Massage* (New York, 1967).
- McNeill, 1982: William H. McNeill, *The Pursuit of Power. Technology, Armed Force and Society since AD 1000* (Chicago, 1982).
- Maddison, 1969: Angus Maddison, *Economic Growth in Japan and the USSR* (London, 1969).
- Maddison, 1982: Angus Maddison, *Phases of Capitalist Economic Development* (Oxford, 1982).
- Maddison, 1987: Angus Maddison, 'Growth and Slowdown in Advanced Capitalist Economies: Techniques of Quantitative Assessment' in *Journal of Economic Literature*, vol. XXV, June 1987.
- Maier, 1987: Charles S. Maier, *In Search of Stability: Explorations in Historical Political Economy* (Cambridge, 1987).
- Maksimenko, 1991: V. I. Maksimenko, 'Stalinism without Stalin: the mechanism of "zastoï"' unpublished paper in *Germany and Russia in the 20th Century in Comparative Perspective* (Philadelphia, 1991).
- Mangin, 1970: William Mangin ed., *Peasants in Cities: Readings in the Anthropology of Urbanization* (Boston, 1970).
- Manuel, 1988: Peter Manuel, *Popular Musics of the Non-Western World: An Introductory Survey* (Oxford, 1988).
- Marglin and Schor, 1990: S. Marglin and J. Schor eds, *The Golden Age of Capitalism* (Oxford, 1990).
- Marrus, 1985: Michael R. Marrus, *European Refugees in the Twentieth Century* (Oxford, 1985).
- Martins Rodrigues, 1984: 'O PCB: os dirigentes e a organização' in O Brasil Republicano, vol. X, tomo III of Sergio Buarque de Holanda ed., *Historia Geral da Civilização Brasileira*, p. 390—397 (São Paulo, 1960—1984).
- Mencken, 1959: Alistair Cooke ed. *The Viking Mencken* (New York, 1959).
- Jean A. Meyer, *La Cristiada*, 3 vols (Mexico D. F., 1973—1979); English: *The Cristero Rebellion: The Mexican People between Church and State 1926—1929* (Cambridge, 1976).
- Meyer-Leviné, 1973: Rosa Meyer-Leviné, *Leviné: The Life of a Revolutionary* (London, 1973).
- Miles et al., 1991: M. Miles, E. Malizia, Marc A. Weiss, G. Behrens, G. Travis, *Real Estate Development: Principles and Process* (Washington DC, 1991).
- Miller, 1989: James Edward Miller, 'Roughhouse diplomacy: the United States confronts Italian Communism 1945—1958' in *Storia delle relazioni internazionali*, V/1989/2, p. 279—312.
- Millikan, 1930: R. A. Millikan, 'Alleged Sins of Science' in *Scribners Magazine* 87(2), 1930, p. 119—130.
- Milward, 1979: Alan Milward, *War, Economy and Society 1939—1945* (London, 1979).
- Milward, 1984: Alan Milward, *The Reconstruction of Western Europe 1945—1951* (London, 1984).
- Minault, 1982: Gail Minault, *The Khilafat Movement: Religious Symbolism and Political Mobilization in India* (New York, 1982).
- Misra, 1961: B. B. Misra, *The Indian Middle Classes: Their Growth in Modern Times* (London, 1961).

- Mitchell/Jones: B. R. Mitchell and H. G. Jones *Second Abstract of British Historical Statistics* (Cambridge, 1971).
- Mitchell, 1975: B. R. Mitchell, *European Historical Statistics* (London, 1975).
- Moisi, 1981: D. Moisi ed., *Crises et guerres au XXe siècle* (Paris, 1981).
- Molano, 1988: Alfredo Molano, 'Violencia y colonización' in *Revista Foro: Fundación Foro Nacional por Colombia*, 6 June 1988, p. 25—37.
- Montagni, 1989: Gianni Montagni, *Effetto Gorbaciov: La politica internazionale degli anni ottanta. Storia di quattro vertici da Gineva a Mosca* (Bari, 1989).
- Morawetz, 1977: David Morawetz, *Twenty-five Years of Economic Development 1950—1975* (Johns Hopkins, for the World Bank, 1977).
- Mortimer, 1925: Raymond Mortimer, 'Les Matelots' in *New Statesman*, 4 July 1925, p. 338.
- Muller, 1951: H. J. Muller in L. C. Dunn ed. *Genetics in the 20th Century: Essays on the Progress of Genetics During the First Fifty Years* (New York, 1951).
- Muller, 1992: Heiner Muller, *Krieg ohne Schlacht: Leben in zwei Diktaturen* (Cologne, 1992).
- Muzzioli, 1993: Giuliano Muzzioli, *Modena* (Bari, 1993).
- Nehru, 1936: Jawaharlal Nehru, *An Autobiography, with musings on recent events in India* (London, 1936).
- Nicholson, 1970: E. M. Nicholson cited in *Fontana Dictionary of Modern Thought: 'Ecology'* (London, 1977).
- Noelle/Neumann, 1967: Elisabeth Noelle and Erich Peter Neumann eds, *The Germans: Public Opinion Polls 1947—1966*, p. 196 (Allensbach and Bonn, 1967).
- Nolte, 1987: Ernst Nolte, *Der europäische Bürgerkrieg, 1917—1945: National-sozialismus und Bolschewismus* (Stuttgart, 1987).
- North/Pool, 1966: Robert North and Ithiel de Sola Pool, 'Kuomintang and Chinese Communist Elites' in Harold D. Lasswell and Daniel Lerner eds, *World Revolutionary Elites: Studies in Coercive Ideological Movements* (Cambridge MA, 1966).
- Nove, 1969: Alec Nove, *An Economic History of the USSR* (London, 1969).
- Nwoga, 1970: Donatus I. Nwoga, 'Onitsha Market Literature' in *Mangin*, 1970.
- Observatoire, 1991: Comité Scientifique auprès du Ministère de l'Education Nationale, unpublished paper, *Observatoire des Thèses* (Paris, 1991).
- OECD Impact: OECD: *The Impact of the Newly Industrializing Countries on Production and Trade in Manufactures: Report by the Secretary-General* (Paris, 1979).
- OECD National Accounts: *OECD National Accounts 1960—1991*, vol. 1 (Paris, 1993).
- Ofer, 1987: Gur Ofer, 'Soviet Economic Growth, 1928—1985' in *Journal of Economic Literature*, XXV/4, December 1987, p. 1778.
- Ohlin, 1931: Bertil Ohlin, for the League of Nations, *The Course and Phases of the World Depression* (1931; reprinted Arno Press, New York, 1972).
- Olby, 1970: Robert Olby, 'Francis Crick, DNA, and the Central Dogma' in *Holton*, 1972, p. 227—280.
- Orbach, 1978: Susie Orbach, *Fat is a Feminist Issue: the anti-diet guide to permanent weight loss* (New York and London, 1978).
- Ory, 1976: Pascal Ory, *Les Collaborateurs: 1940—1945* (Paris, 1976).
- Paucker, 1991: Arnold Paucker, *Jewish Resistance in Germany: The Facts and the Problems (Gedenkstaette Deutscher Widerstand*, Berlin, 1991).
- Pavone, 1991: Claudio Pavone, *Una guerra civile: Saggio storico sulla moralità nella Resistenza* (Milan, 1991).
- Peierls, 1992: Peierls, Review of D. C. Cassidy, 'Incertainity: The Life of Werner Heisenberg' in *New York Review of Books*, 23 April 1992, p. 44.
- People's Daily, 1959: 'Hai Jui reprimands the Emperor' in *People's Daily Beijing*, 1959, cited in Leys, 1977.
- Perrault, 1987: Giles Perrault, *A Man Apart: The Life of Henri Curriel* (London, 1987).

- Peters, 1985: Edward Peters, *Torture* (New York, 1985).
- Petersen, 1986: W. and R. Petersen, *Dictionary of Demography*, vol. 2, art: 'War' (New York—Westport—London, 1986).
- Piel, 1992: Gerard Piel, *Only One World. Our Own To Make And To Keep* (New York, 1992).
- Planck, 1933: Max Planck, *Where Is Science Going?* with a preface by Albert Einstein; translated and edited by James Murphy (New York, 1933).
- Polanyi, 1945: Karl Polanyi, *The Great Transformation* (London, 1945).
- Pons Prades, 1975: E. Pons Prades, *Republicanos Españoles en la 2a Guerra Mundial* (Barcelona, 1975).
- Population, 1984: UN Dept of International Economic and Social Affairs: *Population Distribution, Migration and Development. Proceedings of the Expert Group, Hammamet (Tunisia) 21—25 March 1983* (New York, 1984).
- Potts, 1990: Lydia Potts, *The World Labour Market: A History of Migration* (London and New Jersey, 1990).
- Pravda, 25 January 1991.
- Proctor, 1988: Robert N. Proctor, *Racial Hygiene: Medicine Under the Nazis* (Cambridge MA, 1988).
- Programma 2000: PSOE (Spanish Socialist Party), *Manifesto of Programme: Draft for Discussion*, January 1990 (Madrid, 1990).
- Prost: A Prost, 'Frontières et espaces du privé' in *Histoire de la Vie Privée de la Première Guerre Mondiale à nos Jours* vol. 5, p. 13—153 (Paris, 1987).
- Rado, 1962: A. Rado ed., *Welthandbuch: internationaler politischer und wirtschaftlicher Almanach 1962* (Budapest, 1962).
- Raw, Page, Hodgson, 1972: Charles Raw, Bruce Page, Godfrey Hodgson, *Do You Sincerely Want To Be Rich?* (London, 1972).
- Ranki, 1971: George Ranki in Peter F. Sugar ed., *Native Fascism in the Successor States: 1918—1945* (Santa Barbara, 1971).
- Ransome, 1919: Arthur Ransome, *Six Weeks in Russia in 1919* (London, 1919).
- Rate-China, 1973: Manfred Hinz ed., *Rate-China: Dokumente der chinesischen Revolution (1927—1931)* (Berlin, 1973).
- Reale, 1954: Eugenio Reale, *Avec Jacques Duclos au Banc des Accusés à la Réunion Constitutive du Cominform* (Paris, 1958).
- Reed, 1919: John Reed, *Ten Days That Shook The World* (New York, 1919 and numerous editions).
- Reinhard et al., 1968: M. Reinhard, A. Armengaud, J. Dupaquier, *Histoire Générale de la population mondiale*, 3rd edn (Paris, 1968).
- Reitlinger, 1982: Gerald Reitlinger, *The Economics of Taste: The Rise and Fall of Picture Prices 1760—1960*, 3 vols (New York, 1982).
- Riley, 1991: C. Riley, 'The Prevalence of Chronic Disease During Mortality Increase: Hungary in the 1980s' in *Population Studies*, 45/3 November 1991, p. 489—497.
- Riordan, 1991: J. Riordan, *Life After Communism*, inaugural lecture, University of Surrey (Guildford, 1991).
- Ripken/Wellmer, 1978: Peter Ripken and Gottfried Wellmer, 'Bantustans und ihre Funktion für das südafrikanische Herrschaftssystem' in Peter Ripken, *Südliches Afrika: Geschichte, Wirtschaft, politische Zukunft*, p. 194—203, Berlin, 1978.
- Roberts, 1991: Frank Roberts, *Dealing with the Dictators: The Destruction and Revival of Europe 1930—1970* (London, 1991).
- Rosati/Mizsei, 1989: D. Rosati and K. Mizsei, *Adjustment through opening* (1989).
- Rostow, 1978: W. W. Rostow, *The World Economy: History and Prospect* (Austin, 1978).
- Russell Pasha, 1949: Sir Thomas Russell Pasha, *Egyptian Service, 1902—1946* (London, 1949).
- Samuelson, 1943: Paul Samuelson, 'Full employment after the war' in S. Harris ed., *Post-war Economic Problems*, p. 27—53 (New York, 1943).

- Sareen, 1988: T. R. Sareen, *Select Documents on Indian National Army* (New Delhi, 1988).
- Sassoon, 1947: Siegfried Sassoon, *Collected Poems* (London, 1947).
- Schatz, 1983: Ronald W. Schatz, *The Electrical Workers. A History of Labor at General Electric and Westinghouse* (University of Illinois Press, 1983).
- Schell, 1993: Jonathan Schell, *A Foreign Policy of Buy and Sell* (*New York Newsday*, 21 November 1993).
- Schram, 1966: Stuart Schram, *Mao Tse Tung* (Baltimore, 1966).
- Schrödinger, 1944: Erwin Schrodinger, *What Is Life: The Physical Aspects of the Living Cell* (Cambridge, 1944).
- Schumpeter, 1939: Joseph A. Schumpeter, *Business Cycles* (New York and London, 1939).
- Schumpeter, 1954: Joseph A. Schumpeter, *History of Economic Analysis* (New York, 1954).
- Schwartz, 1966: Benjamin Schwartz, 'Modernisation and the Maoist Vision' in Roderick MacFarquhar ed., *China Under Mao: Politics Takes Command* (Cambridge MA, 1966).
- Scott, 1985: James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven and London, 1985).
- Seal, 1968: Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the later Nineteenth Century* (Cambridge, 1968).
- Sinclair, 1982: Stuart Sinclair, *The World Economic Handbook* (London, 1982).
- Singer, 1972: J. David Singer, *The Wages of War 1816—1965: A Statistical Handbook* (New York, London, Sydney, Toronto, 1972).
- Smil, 1990: Vaclav Smil, 'Planetary Warming: Realities and Responses' in *Population and Development Review*, vol. 16, № 1, March 1990.
- Smith, 1989: Gavin Alderson Smith, *Livelihood and Resistance: Peasants and the Politics of the Land in Peru* (Berkeley, 1989).
- Snyder, 1940: R. C. Snyder, 'Commercial policy as reflected in Treaties from 1931 to 1939' in *American Economic Review*, 30, 1940, p. 782—802.
- Social Trends*: UK Central Statistical Office, *Social Trends 1980* (London, annual).
- Solzhenitsyn, 1993: Alexander Solzhenitsyn in *New York Times* 28 November 1993.
- Somary, 1929: Felix Somary, *Wandlungen der Weltwirtschaft sett dem Kriege* (Tubingen, 1929).
- Sotheby: *Art Market Bulletin*, A Sotheby's Research Department Publication, End of season review, 1992.
- Spencer, 1990: Jonathan Spencer, *A Sinhala Village in Time of Trouble: Politics and Change in Rural Sri Lanka* (New Dehli, 1990).
- Spero, 1977: Joan Edelman Spero, *The Politics of International Economic Relations* (New York, 1977).
- Spriano, 1969: Paolo Spriano, *Storia del Partito Comunista Italiano*. Vol. II (Turin, 1969).
- Spriano, 1983: Paolo Spriano, *I comunisti europei e Stalin* (Turin, 1983).
- SSSR, 1987: SSSR v tsifrah v 1987, p. 15—17, 32—33.
- Staley, 1939: Eugene Staley, *The World Economy in Transition* (New York, 1939).
- Stalin, 1952: J. V. Stalin, *Economic Problems of Socialism in the USSR* (Moscow, 1952).
- Starobin, 1972: Joseph Starobin, *American Communism in Crisis* (Cambridge MA, 1972).
- Starr, 1983: Frederick Starr, *Red and Hot: The Fate of Jazz in the Soviet Union 1917—1980* (New York, 1983).
- Stat. Jahrbuch: Federal Republic Germany, Bundesamt fur Statistik, *Statistisches Jahrbuch für das Ausland* (Bonn, 1990).
- Steinberg, 1990: Jonathan Steinberg, *All or Nothing: The Axis and the Holocaust 1941—1943* (London, 1990).
- Stevenson, 1984: John Stevenson, *British Society 1914—1945* (Harmondsworth, 1984).
- Stoll, 1990: David Stoll, *Is Latin America Turning Protestant: The Politics of Evangelical Growth* (Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1992).
- Stouffer/Lazarsfeld, 1937: S. Stouffer and P. Lazarsfeld, *Research Memorandum on the Family in the Depression*, Social Science Research Council (New York, 1937).

- Stürmer, 1993: Michael Stürmer in 'Orientierungskrise in Politik und Gesellschaft? Perspektiven der Demokratie an der Schwelle zum 21. Jahrhundert' in (*Bergedorfer Gesprächskreis, Protokoll N° 98 Hamburg—Bergedorf, 1993*).
- Stürmer, 1993: Michael Stürmer, 99 *Bergedorfer Gesprächskreis* (22—23 May, Ditchley Park): *Wird der Westen den Zerfall des Ostens überleben? Politische und ökonomische Herausforderungen für Amerika und Europa* (Hamburg, 1993).
- Tanner, 1962: J. M. Tanner, *Growth at Adolescence*, 2nd edn (Oxford, 1962).
- Taylor/Jodice, 1983: C. L. Taylor and D. A. Jodice, *World Handbook of Political and Social Indicators*, 3rd edn (New Haven and London, 1983).
- Taylor, 1990: Trevor Taylor, 'Defence industries in international relations' in *Rev. Internal. Studies* 16, 1990, p. 59—73.
- Technology, 1986: US Congress, Office of Technology Assessment, *Technology and Structural Unemployment: Reemploying Displaced Adults* (Washington DC, 1986).
- Temin, 1993: Peter Temin, 'Transmission of the Great Depression' in *Journal of Economic Perspectives*, vol. 7/2, spring 1993, p. 87—102.
- Terkel, 1967: Studs Terkel, *Division Street: America* (New York, 1967).
- Terkel, 1970: Studs Terkel, *Hard Times: An Oral History of the Great Depression* (New York, 1970).
- Therborn, 1984: Göran Therborn, 'Classes and States, Welfare State Developments 1881—1981' in *Studies in Political Economy: A Socialist Review*, N° 13, spring 1984, p. 7—41.
- Therborn, 1985: Göran Therborn, 'Leaving the Post Office Behind' in M. Nikolic ed. *Socialism in the Twenty-first Century*, p. 225—251 (London, 1985).
- Thomas, 1971: Hugh Thomas, *Cuba or the Pursuit of Freedom* (London, 1971).
- Thomas, 1977: Hugh Thomas, *The Spanish Civil War* (Harmondsworth, 1977 edition).
- Tiempos, 1990: Carlos Ivan Degregori, Marfil Francke, José López Ricci, Nelson Manrique, Gonzalo Portocarrero, Patricia Ruiz Bravo, Abelardo Sánchez León, Antonio Zapata, *Tiempos de Ira y Amor. Nuevos Actores para viejos problemas*, DESCO (Lima, 1990).
- Tilly/Scott, 1987: Louise Tilly and Joan W. Scott, *Women, Work and Family* (second edition, London, 1987).
- Titmuss: Richard Titmuss, *The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy* (London, 1970).
- Tomlinson, 1976: B. R. Tomlinson, *The Indian National Congress and the Raj 1929—1942: The Penultimate Phase* (London, 1976).
- Touchard, 1977: Jean Touchard, *La gauche en France* (Paris, 1977).
- Townshend, 1986: Charles Townshend, 'Civilization and Frightfulness: Air Control in the Middle East Between the Wars' in C. Wrigley ed. (see *Hobsbawm, 1986*).
- Trofimov/Djangava, 1993: Dmitry Trofimov and Gia Djangava, *Some reflections on current geopolitical situation in the North Caucasus* (London, 1993, mimeo).
- Tuma, 1965: Elias H. Tuma, *Twenty-six Centuries of Agrarian Reform: A comparative analysis* (Berkeley and Los Angeles, 1965).
- Umbruch: See Fröbel, Heinrichs, Kreye, 1986.
- Umbruch, 1990: Federal Republic of Germany: *Umbruch in Europa: Die Ereignisse im 2. Halbjahr 1989. Eine Dokumentation, herausgegeben vom Auswärtigen Amt* (Bonn, 1990).
- UN Africa, 1989: UN Economic Commission for Africa, Inter-Agency Task Force, Africa Recovery Programme, *South African Destabilization: The Economic Cost of Frontline Resistance to Apartheid* (New York, 1989).
- UN Dept of International Economic and Social Affairs, 1984: See *Population, 1984*.
- UN International Trade: UN International Trade Statistics Yearbook, 1983.
- UN Statistical Yearbook (annual).

- UN Transnational, 1988*: United Nations Centre on Transnational Corporations, *Transnational Corporations in World Development: Trends and Prospects* (New York, 1988).
- UN World Social Situation, 1970*: UN, Department of Economic and Social Affairs, *1970 Report on the World Social Situation* (New York, 1971).
- UN World Social Situation, 1985*: UN Dept of International Economic and Social Affairs: *1985 Report on the World Social Situation* (New York, 1985).
- UN World Social Situation, 1989*: UN Dept of International Economic and Social Affairs: *1989 Report on the World Social Situation* (New York, 1989).
- UN World's Women*: UN Social Statistics and Indicators Series K N° 8: *The World's Women 1970—1990: Trends and Statistics* (New York, 1991).
- UNCTAD*: UNCTAD (UN Commission for Trade and Development) *Statistical Pocket Book 1989* (New York, 1989).
- UNESCO*: UNESCO *Statistical Yearbook*, for the years concerned.
- US Historical Statistics*: US Dept of Commerce. Bureau of the Census, *Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970*, 3 vols (Washington, 1975).
- Van der Linden, 1993*: 'Forced labour and non-capitalist industrialization: the case of Stalinism' in Tom Brass, Marcel van der Linden, Jan Lucassen, *Free and Unfree Labour* (IISH, Amsterdam, 1993).
- Van der Wee*: Herman Van der Wee, *Prosperity and Upheaval: The World Economy 1945—1980* (Harmondsworth, 1987).
- Veillon, 1992*: Dominique Veillon, 'Le quotidien' in *Ecrire l'histoire du temps présent. En hommage à François Bédarida: Actes de la journée d'études de l'IHTP*, p. 315—328 (Paris CNRS, 1993).
- Vernikov, 1989*: Andrei Vernikov, 'Reforming Process and Consolidation in the Soviet Economy', *WIDER Working Papers WP 53* (Helsinki, 1989).
- Walker, 1988*: Martin Walker, 'Russian Diary' in the *Guardian*, 21 March 1988, p. 19.
- Walker, 1991*: Martin Walker, 'Sentencing system blights land of the free' in the *Guardian*, 19 June 1991, p. 11.
- Walker, 1993*: Martin Walker, *The Cold War: And the Making of the Modern World* (London, 1993).
- Ward, 1976*: Benjamin Ward, 'National Economic Planning and Politics' in Carlo Cipolla ed., *Fontana Economic History of Europe: The Twentieth Century*, vol. 6/1 (London, 1976).
- Watt, 1989*: D. C. Watt, *How War Came* (London, 1989).
- Weber, 1969*: Hermann Weber, *Die Wandlung des deutschen Kommunismus: Die Stalinisierung der KPD in der Weimarer Republik* 2 vols (Frankfurt, 1969).
- Weinberg, 1977*: Steven Weinberg, 'The Search for Unity: Notes for a History of Quantum Field Theory' in *Daedalus*, autumn 1977.
- Weinberg, 1979*: Steven Weinberg, 'Einstein and Spacetime Then and Now' in *Bulletin, American Academy of Arts and Sciences*, xxxiii. 2 November 1979.
- Weisskopf, 1980*: V. Weisskopf, 'What Is Quantum Mechanics?' in *Bulletin, American Academy of Arts & Sciences*, vol. xxxiii, April 1980.
- Wiener, 1984*: Jon Wiener, *Come Together: John Lennon in his Time* (New York, 1984).
- Wildavsky, 1990*: Aaron Wildavsky and Karl Dake, 'Theories of Risk Perception: Who Fears What and Why?' in *Daedalus*, vol. 119, N° 4, autumn 1990, p. 41—60.
- Willett, 1978*: John Willett, *The New Sobriety: Art and Politics in the Weimar Period* (London, 1978).
- Wilson, 1977*: E. O. Wilson, 'Biology and the Social Sciences' in *Daedalus* 106/4, autumn 1977, p. 127—140.
- Winter, 1986*: Jay Winter, *War and the British People* (London, 1986).
- 'Woman', 1964: 'The Woman in America' in *Daedalus* 1964.
- The World Almanack* (New York, 1964, 1993).

- World Bank Atlas: The World Bank Atlas 1990* (Washington, 1990).
- World Development*: World Bank: *World Development Report* (New York, annual).
- World Economic Survey, 1989*: UN Dept of International Economic and Social Affairs, *World Economic Survey 1989: Current Trends and Policies in the World Economy* (New York, 1989).
- World Labour, 1989*: International Labour Office (ILO), *World Labour Report 1989* (Geneva, 1989).
- World Resources, 1986: A Report by the World Resources Institute and the International Institute for Environment and Development* (New York, 1986).
- World Tables, 1991*: The World Bank: *World Tables 1991* (Baltimore and Washington, 1991).
- World's Women*: see *UN World's Women*.
- Zetkin, 1968: Clara Zetkin, 'Reminiscences of Lenin' in *They Knew Lenin: Reminiscences of Foreign Contemporaries* (Moscow, 1968).
- Ziebur, 1990: Gilbert Ziebur, *World Economy and World Politics 1924—1931: From Reconstruction to Collapse* (Oxford, New York, Munich, 1990).
- Zinoviev, 1979: Aleksandr Zinoviev, *The Yawning Heights* (Harmondsworth, 1979).

Эрик Хобсбаум

ЭПОХА КРАЙНОСТЕЙ
Короткий двадцатый век
(1914—1991)

Маркетинг Татьяна Киселева
Менеджеры Ольга Орлова, Юлия Козлова
Ответственный за выпуск Виктор Обухов
Редактор Анна Райская
Корректор Лидия Селютина
Художественное оформление Дмитрий Черногаев
Компьютерная верстка Алексей Касьян

ЛР № 071895 от 09.06.99.
Подписано в печать 20.08.04. Формат 70×100/16.
Бум. офсет № 1. Гарнитура Charter.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз.
Заказ № 2294

Издательство Независимая Газета.
101000, Москва, ул. Мясницкая, 13.
E-mail: ngbooks@ng.ru
Наши книги в Интернете:
www.petro-pol.com, www.esterum.com

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»
105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

ERIC HOBSBAWM **AGE** **of extremes**

THE SHORT TWENTIETH CENTURY

Эрик Хобсбаум родился в 1917 году. Член Британской академии и Американской академии искусств и наук, обладатель почетных степеней университетов разных стран.

Книга *Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991)* неизменно попадает во все каталоги книг по всеобщей истории. Разгадка этого феноменального успеха проста: английский ученый создал детальный и оригинальный обзор важнейших явлений и процессов, характерных для мирового общества в период между 1914 и 1991 годами. При этом он не только суммировал факты, но и постарался вписать их в систему исторического синтеза, воссоздавая дух времени.

Основные вопросы, на которых сосредоточивается Хобсбаум, — наступление тотальной войны, революция в России, Великая депрессия, упадок либерализма и приход диктатур, объединение антифашистских сил во Второй мировой войне, деколонизация и конец империй, «золотая эпоха» послевоенного подъема и период последующих экономических кризисов, развитие стран третьего мира, возникновение и распад социалистической системы. Отдельные главы посвящены культурной революции, науке и искусству.

Автор с одинаковой внутренней логикой описывает, как радио изменило жизнь бедняков, рассказывает о ходе и значении гражданской войны в Испании или объясняет влияние развития мировой экономики на сельское хозяйство. Но главное — он никогда не бывает скучен.

ISBN 5-86712-162-3



9 785867 121624